САГА О ВОРТИНГЕ

ОРСОН СКОТТ КАРД

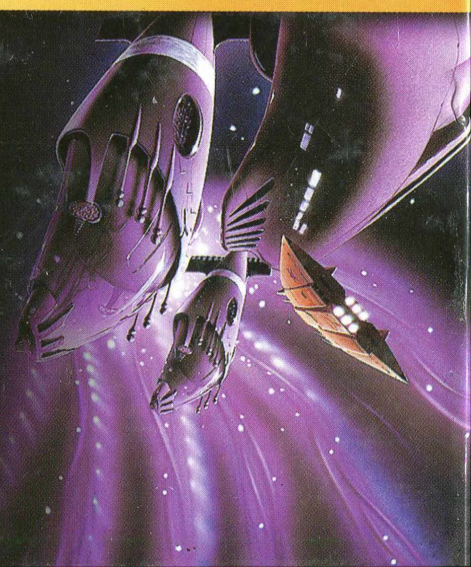


САГА О ВОРТИНГЕ

ЗОЛОТАЯ БИБЛИОТЕКА ФАНТАСТИКИ



ОРСОН СКОТТ КАРД



ЗОЛОТАЯ
БИБЛИОТЕКА
ФАНТАСТИКИ

ORSON SCOTT

CARD

THE WORTHING SAGA

ОРСОН СКОТТ

КАРД

САГА О ВОРТИНГЕ

ACT
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва
2002

УДК 821.111(73)-312.9
ББК 84 (7США)-44
К21

Серия основана в 1999 году

Orson Scott Card
THE WORTHING SAGA
1985

Перевод с английского А.В. Жикаренцева

Серийное оформление А.А. Кудрявцева

Художник А.Е. Дубовик

Печатается с разрешения автора и литературных агентств
Barbara Bova и Matlock.

Подписано в печать 21.06.02 г. Формат 84×108$^{1}/_{32}$.
Усл. печ. л. 32,76. Тираж 10000 экз. Заказ № 1234.

Кард О.С.
К21 Сага о Вортинге: Фантаст. романы / О.С. Кард; Пер. с англ. А.В. Жикаренцева. — М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. — 622, [2] с. — (Золотая библиотека фантастики).

ISBN 5-17-015138-1

Это — хроники времени, когда наука подарила людям бессмертие — и дар бесконечной жизни оказался проклятием. Потому что жизнь без риска, без опасности, без конца — суть жизнь, лишенная смысла.

Это — хроники времени, когда человечество лишилось будущего — казалось бы, навсегда. Однако в мир пришел НОВЫЙ ЛИДЕР. Лидер, готовый принести человечеству НОВЫЙ СМЫСЛ ЖИЗНИ. Лидер, готовый повести легионы завоевателей Вселенной — вперед, к неизведанным и еще не покоренным звездным рубежам.

Так начинается сага о войне, мужестве и героизме.

Так начинается «Сага о Вортинге»...

УДК 821.111(73)-312.9
ББК 84 (7США)-44

© Orson Scott Card, 1978, 1979, 1980, 1982, 1989, 1990
© Перевод. А.В. Жикаренцев, 2001
© Художник. А.Е. Дубовик, 2002
© ООО «Издательство АСТ», 2002

От автора

В этой книге впервые собраны воедино все истории о Вортинге. В некотором роде, этот цикл является основополагающим в моей работе в фантастике. Первым фантастическим рассказом, что я написал, был «Медник», ранняя его версия; я послал рассказ в «Аналог», когда мне было девятнадцать лет.

В те времена «Аналог» был единственным научно-фантастическим журналом, который значился в справочнике «Книжный рынок»; а так как до этого я ни разу не сталкивался ни с одним НФ-изданием, то других я и не знал. «Медник» пришел в «Аналог» как раз тогда, когда умер Джон Кэмпбелл, долгие годы являвшийся его редактором. Его преемник отверг рассказ, хотя и прислал мне в ответ письмо со словами поддержки и ободрения.

Я воспринял это как знак, что нахожусь на верном пути, и написал еще несколько связанных между собой рассказов — «Ферма Вортинга» и «Постоялый Двор Вортинга». Кроме того, я начал писать длинную, но так и оставшуюся незавершенной книгу о первом контакте детей Вортинга с внешним миром. Переехав в Рибейрано Прето, Бразилия (где я служил миссионером в церкви Святых Последних Дней), в свободное от работы время я задумал и частично написал предысторию мира Вортинга, объяснив, каким образом эти люди получили такие необычные физические способности и как вышло, что они оказались на этой планете Вортинга. Тогда-то я и придумал сомек с его невыносимой, но забывающейся болью, планету Капитолий и необычный корабль, пилотируемый Язоном. В те годы мои познания в науке и в

фантастике были весьма поверхностными. Конечно, я читал трилогию Айзека Азимова «Основание» — сходство Капитолия с Трантором очевидно, — но этим все практически и ограничивалось, и поэтому большую часть времени проводил изобретая заново колесо, если можно так выразиться. Потом я бросил роман и обратился к написанию пьес, а после того как моя миссия закончилась, начал работать в Театральной Компании Юта Вэлли.

В 1975 году компания оказалась на мели, и я снова обратился к фантастике. Поскольку «Медник» получил весьма неплохие отзывы от «Аналога», я достал из ящика рукопись и перечитал ее. Очевидно, прошедшие годы многому научили меня, поскольку я счел необходимым переписать рассказ заново — от начала и до конца. После чего я снова послал его в «Аналог», и снова он вернулся с отказом. Только на этот раз Бен Бова, который стал главным редактором журнала, объяснил, почему рассказ был отвергнут. «"Аналог" не публикует фэнтэзи, — написал он, — но если у вас имеются какие-нибудь научно-фантастические произведения, я бы с удовольствием с ними познакомился».

Раньше мне даже в голову не приходило, что «Медник» — это фэнтэзи; я же понимал, что в основе его сюжета лежит научно-фантастическая теория. Кроме того, незадолго до этого я прочитал сборник рассказов Зенны Хендерсон и знал, что произведения, в которых действуют люди со сверхъестественными способностями, относятся к жанру научной фантастики. И все же после прочтения «Медника» действительно оставалось ощущение, словно ты попал в мир фэнтэзи — средневековый уклад жизни, лесные дебри и необъяснимые чудеса. Некоторое время я подумывал вернуться к истории Язона Вортинга, которая подвела бы под «Медника» и остальные рассказы научно-фантастическую основу, однако в тот момент у меня бы не хватило терпения на роман. Вместо этого я написал повесть «Игра Эндера»,

которая и стала моей первой принятой работой и положила начало моей карьере в качестве фантаста.

Однако прошло время, и я все-таки вернулся к рассказам о Вортинге. Как я ни пытался забыть о них, ничего не получалось: мать постоянно спрашивала меня, что я собираюсь делать со своими «голубоглазыми людьми». Она перепечатывала для меня те ранние рассказы — я, конечно, печатал неплохо, но куда мне было до ее искусства выдавать по сто двадцать слов в минуту без единой ошибки — и будучи первой читательницей рассказов о Лесе Вод, она, как и я, поверила, что в этих историях скрыта какая-то сила, хотя я сам тогда еще не знал, как их лучше изложить.

В то время я уже работал в «Знамени», официальном журнале Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней (мормоны). Двое других редакторов, Джэй Пэрри и Лэйн Джонсон, также увлекались написанием фантастики. Обеденные часы мы проводили в кафетерии при церкви, поглощая салаты, запивая их дешевой содовой и разрабатывая идеи. Большинство моих рассказов, опубликованных сразу после «Игры Эндера», возникли именно в часы подобных посиделок. Тогда же я начал развивать идею сомека в таких произведениях, как «Петля жизни», «Конец игры» и «Убивая детей»; но главным во всех этих рассказах была не фантастика. Они повествовали о людях и о том, как люди создают и уничтожают друг друга.

Когда Бен Бова предложил мне написать роман для новой серии книг, которую он составлял вместе с «Баронет» и «Эйс», я сразу вспомнил про роман о Язоне Вортинге и немедленно приступил к работе. Но когда я показал первые пятьдесят страниц Джэю Пэрри, тот сказал, что роман получается слишком затянутым. Слишком затянутым?! На этих пятидесяти страницах я изложил большую часть имеющегося у меня сюжета. Если я начну урезать, то не останется вообще ничего. Но потом я понял, что имел в виду Джэй —

история *кажется* затянутой. Я пытался рассказать ее как можно быстрее, и потому, как камешек по озеру, прыгал по глади повествования, совершенно не заботясь о том, чтобы задержаться и нарисовать какую-либо сцену, которая позволит читателю втянуться в историю, или выписать поярче персонаж.

Я вернулся, снизил скорость, начал заново. Но теперь начались проблемы с внутренней структурой произведения — оно распадалось на части. Я умел писать только короткие рассказы, и потому, совершенно отчаявшись, превратил роман в серию коротких повестей, каждая из которых была подана от лица другого персонажа. В результате вышел весьма неплохой роман с очень слабой, размытой структурой. Но даже в таком виде он был признан годным к публикации и под названием «Жаркий сон» начал свой нелегкий путь к выходу в свет. Последнюю редакцию романа я закончил глубокой ночью, за несколько часов до моей свадьбы, а утром снял с нее фотокопии и закинул на почту, после чего помчался по туннелю под Главной улицей в церковь, где ждала меня моя невеста, Кристин Аллен. Я опаздывал на несколько минут, и у нее уже возникли вполне понятные сомнения насчет нашего будущего, если первым делом я подумал о рукописи, а уж потом о свадьбе.

Спустя несколько месяцев Бен Бова предложил мне собрать истории о сомеке, которые он купил для «Аналога», дописать новые и опубликовать их в сборнике, который готово выпустить издательство «Баронет». Результатом явилась книга «Капитолий». Наиболее удачные из этих рассказов попали и в эту книгу. Другие же были настолько бездушны и искусственны, что я из милосердия к вам, дорогие читатели, позволил им тихо кануть в Лету. Однако на то время они были лучшими из моих экспериментов с пером. «Капитолий» появился весной 1978 года, это была моя пер-

вая научно-фантастическая книга — примерно в то же время родился мой первенец Джеффри.

Годом спустя вышел «Жаркий сон» с ужаснейшей обложкой от «Баронет», при виде которой я страшно расстроился — ведь рисунок в точности воспроизводил одну из сцен книги. Тогда-то я и узнал — а позже это не раз подтверждалось, — что, если есть в романе сцена, которая, попав на обложку, может полностью уничтожить эффект от книги, она непременно будет на обложке. А еще хуже было то, что какой-то умник написал сразу над моим именем «Писатель, получивший премию "Хьюго"», тогда как в 1978 году я стал вторым, но не первым в списке кандидатов на награду «Хьюго». На самом-то деле на Всемирном Конвенте Любителей Научной Фантастики в Фениксе я получил премию имени Джона Кэмпбелла (дается лучшему новому писателю).

Вскоре после выхода книги я получил письмо от Майкла Бишопа, писателя, которым я восхищался и с которым, к моему превеликому сожалению, все никак не мог познакомиться. Он заранее извинялся за свой отзыв о «Жарком сне» в «Журнале Фэнтэзи и Научной Фантастики». Отзыв еще не вышел, но исправлять его уже поздно, писал он. Дело в том, что Бишоп весьма резко прошелся по мне за то, что я позволил издателям поставить на обложке «Писатель, получивший премию "Хьюго"», однако вскоре после написания статьи он обнаружил, что его издатель сотворил то же самое с одной из его собственных книг, приписав Бишопу награды, которых тот не получал. Это и положило начало дружбе, которая продолжается и по сей день, хотя не без некоторых трений по поводу «что такое писать» — в этом вопросе мы, мягко скажем, несколько расходимся.

Его отзыв о «Жарком сне» был довольно критичен, но тем не менее весьма и весьма полезен — пожалуй, самый полезный отзыв о книге, что я когда-либо встречал. Бишоп

обращал внимание на ошибки в сюжете, объясняя, что я сделал не так. Как раз в то время я начал работу над своим третьим романом под названием «Повелитель песен» и собирался придать ему ту же фрагментарную, отрывистую структуру, что и в «Жарком сне». Но прочитав отзыв Бишопа, я нашел способ связать долгое повествование в одно целое. Это было начало моего понимания структуры романа; повествование стало подчиняться мне, и в моем распоряжении оказался целый набор абсолютно новых приемов.

Но «Жаркий сон» не отпускал меня. Теперь я знал, как именно следует его написать, и его нынешняя форма меня совершенно не устраивала. Тем не менее он медленно, но верно продавался, а это означало, что читателям он все же нравился. Кроме того, меня абсолютно не устраивали те неудачные рассказы в «Капитолии» — но и этот сборник продавался, связывая мое имя с произведениями, которыми сам я был очень недоволен.

На Конвенте в Санта-Роза, за ужином, я обсудил эти вопросы с главным редактором издательства «Эйс» Сьюзан Эллисон. Она согласилась изъять «Жаркий сон» и «Капитолий» из печати, если я напишу новый роман под названием «Хроники Вортинга», где будет изложена та же самая история, только значительно исправленная и поданная с бóльшим мастерством. Однако написание новой книги отодвинулось до осени 1981 года — я как раз учился на первом семестре в «Нотр Дам». Тогда меня захватила страсть к средневековой литературе, и, основываясь на собственных теориях литературного творчества, вооруженный замечательной книгой «Жизнь затерянной страны» в качестве источника для описания жизни примитивного общества, я сел за работу над «Хрониками Вортинга». Роман получился очень сложный по структуре, но вместе с тем и наиболее выдержанный тематически. Отнюдь не самая слабая из моих работ, история Язона Вортинга, теперь стала самой сильной.

Годы шли; мои старые книги переставали издаваться. Автор всегда болезненно переносит этот процесс; как отец, которому перестали писать дети, он вспоминает о своих старых книгах и думает, вот бы вновь услышать о них что-нибудь. Я безмерно благодарен Тому Догерти и Бет Мичем, моему издателю и редактору из «Тора», которые сочли достойной идею объединить в одном томе «Хроники Вортинга», лучшие истории из «Капитолия» и самые первые мои рассказы, написанные в жанре фэнтэзи, с которых начался не только цикл о Вортинге, но и вся моя карьера писателя-фантаста.

Во время написания «Хроник Вортинга» у меня не было под рукой тех первых рассказов — «Фермы Вортинга», «Постоялого Двора Вортинга» и «Медника». Поэтому, когда мне требовалась какая-то деталь из них, я полагался на одну лишь память и поэтому не задумываясь перекраивал все в соответствии с замыслом романа. Теперь же, возвращаясь к первоначальным историям, я вижу, что они настолько отличаются от вошедших в роман эпизодов, что мне пришлось бы полностью их переписать, чтобы как-то уместить в общую структуру. Я даже начал делать заметки, собравшись было переработать рассказы, но в конце концов решил издать их в первоначальном виде. Ведь одной из главных тем в «Хрониках Вортинга» является сама природа повествования, поэтому будет лучше, если я, придерживаясь идеи этой книги, представлю эти рассказы в первозданном виде, чтобы вы сами увидели, как время меняет суть повествования. Какие-то изменения появились в результате того, что за прошедшие годы я накопил опыт и овладел мастерством писателя. Кроме того, я повзрослел и стал лучше понимать людей. Однако больше всего на эти рассказы повлиял сам роман. Они стали именно такими, какими нужны были мне. Такова, как мне кажется, суть всех историй, когда-либо рассказанных людьми, — они прежде всего служат человеку. И

это касается не только художественных книг, но и новостей, всевозможных слухов, исторических работ, биографий, мемуаров. Все они принимают ту форму, в которой они нам нужнее.

И все же я верю в эти сказания. Они жили во мне с самой моей юности. Прошло немало времени, прежде чем я набрался опыта, чтобы рассказать их так, как хотел бы, однако все эти годы я не переставая думал о них. И сейчас я предлагаю их вам в надежде, что и вы найдете в них силу и правду.

ХРОНИКИ ВОРТИНГА

Лэрду и Салли, поскольку любая
история, которая справедлива,
правдива для вас.

Глава 1

ДЕНЬ, КОГДА ПРИШЛА БОЛЬ

На многие планеты Населенных миров боль пришла внезапно, как гром среди ясного неба. Словно какое-то древнее, успокаивающее чувство вдруг покинуло людей, чувство, которого никто не замечал, пока оно не пропало, и никто не знал, как теперь быть, но все поняли, что в самом сердце мира что-то изменилось. Краткая вспышка в районе звезды по имени Аргос прошла незамеченной; минут годы, прежде чем астрономы свяжут День, Когда Пришла Боль, с Концом Вортинга. Но все уже свершится, миры разрушатся, и золотой век безвозвратно канет в прошлое.

В деревню Лэрда боль пришла, когда все спали. Той ночью пастыри не явились людям во сне. Маленькая сестричка Лэрда по имени Сала проснулась, в ужасе крича, что бабушка умерла, бабушка умерла!

Лэрд сел на своей низенькой кровати, ничего не понимая. Во сне он видел, как отец увозит бабушку на кладбище, — но ведь это случилось давным-давно, она умерла около года назад, разве нет? Отец кубарем скатился с деревянной двухместной кровати, где спали они с матерью. С тех пор как Салу отняли от груди, по ночам в доме никто не плакал. Может, она проголодалась?

— Бабушка умерла, только что она была, и вдруг ее нет, словно мошка в огне, умерла!

«Словно белка в зубах лисицы, — мысленно добавил Лэрд. — Словно ящерица, извивающаяся в пасти кота».

— Да, умерла, — кивнул отец, — но не сегодня, давно. — Он поднял ее своими громадными руками, руками кузнеца, и прижал к себе. — Почему ж ты плачешь, если ее уже так давно нет с нами?

Но Сала безутешно рыдала, будто боль от утраты была еще слишком свежа.

И тогда Лэрд перевел взгляд на кровать, где раньше спала бабушка.

— Отец, — прошептал он. — Отец.

Ибо на постели лежало бездыханное тело, еще не успевшее окоченеть — хотя Лэрд хорошо помнил, что бабушку похоронили уже давно.

Отец уложил Салу обратно в кроватку, и девочка зарылась носом в соломенный матрас, чтобы ничего не видеть. Но Лэрд смотрел, как отец осторожно дотронулся до набитой соломой подушки возле головы своей матери.

— Еще даже не остыла, — пробормотал он. И закричал в ужасе и муке: — Мама!

Этот крик поднял на ноги всех, даже путников, ночевавших в комнатах второго этажа; все собрались в спальне.

— Вы видите?! — кричал отец. — Она уже с год как умерла, не меньше, а тело ее лежит в постели и даже не остыло еще!

— С год?! — изумился старый писарь, приехавший верхом на осле накануне вечером. — Чушь какая! Да она вчера подавала мне суп на ужин. Неужели не помните, как она шутила, что, если постель моя окажется слишком холодна, твоя жена придет и с удовольствием ее согреет, а если же там станет чересчур жарко, тогда уж ей самой придется спать со мной?

Лэрд пытался привести мысли в порядок:

— Да, я помню, но мне кажется, что она сказала это очень давно, и при этом я точно помню, что сказала она это тебе, а тебя я до вчерашнего вечера ни разу не видел.

— Я похоронил тебя! — Отец бессильно опустился перед кроватью матери на колени и разрыдался. — Я похоронил тебя, забыл, и вот ты вернулась, и вернулось все это горе!

Плач. Звук рыданий был непривычен для деревни у Плоского Залива, и никто не знал, как справляться со слезами. Плакали только проголодавшиеся младенцы, поэтому мать спросила:

— Эльмо, может, ты поешь чего-нибудь? Давай я сготовлю, хочешь?

— Нет! — выкрикнул отец. — Ты что, не видишь? У меня умерла мать!

Схватив жену за руку, он грубо оттолкнул ее в сторону, так что она налетела на табуретку и, споткнувшись, упала, ударившись головой о стол.

Это было еще страшнее, чем лежащее в постели мертвое тело, похожее на окоченевшую пташку. Никогда в жизни Лэрд не видел, чтобы один человек причинял боль другому. Отец и сам был ошеломлен собственной вспышкой гнева:

— Тано, Танало, что же я наделал?

Он не знал, как утешить ее, плачущую, сжавшуюся на полу. Раньше здесь никого не приходилось утешать. Повернувшись ко всем остальным, отец произнес:

— Я был так зол... Никогда прежде я не был так зол, но она-то тут при чем? Эта ярость... ведь Тано ничего плохого мне не сделала!

Кто мог ответить ему? Что-то резко изменилось в мире, и люди это понимали; всем доводилось переживать приступы гнева, но прежде между мыслью и поступком всегда вставала какая-то невидимая преграда, успокаивая и охлаждая страсти. Однако этой ночью спокойствие не наступало. Они

чувствовали это, ничто не унимало их страхов, ничто не шептало: «Все хорошо, все в порядке».

Сала выглянула из-за спинки кровати и сказала:

— Ангелы ушли, мама. Некому больше за нами присматривать.

Мать поднялась с пола и, пошатываясь, подошла к дочери:

— Не говори глупостей, малышка. Ангелы приходят разве что во сне.

«Здесь что-то не так, — сказал себе Лэрд. — Этот путник прибыл прошлым вечером, и как он утверждает, бабушка разговаривала с ним, но с моими воспоминаниями творится что-то странное. Ведь я помню, что эти слова путешественник произнес вчера, только ответила бабушка ему много лет назад. С моей памятью что-то случилось, я же хорошо помню, как плакал у ее могилы, а сама могила-то даже и не вырыта».

Мать подняла на отца растерянный взгляд.

— Моя рука все еще болит, там, где я ударилась об пол, — сказала она. — Болит, и как сильно!

Непреходящая боль! Да о таком никто и слыхом не слыхивал! Тогда она подняла руку — на локте красовался огромный синяк, а чуть ниже алела кровоточащая царапина.

— Может, я убил тебя? — озадаченно спросил отец.

— Нет, — ответила мать. — Не думаю.

— Тогда почему идет кровь?

Старый писарь вздрогнул и, кивнув, дрожащим голосом проговорил:

— Я читал книги, пришедшие к нам из древних времен, — начал он, и взоры всех присутствующих обратились к нему. — Так вот, я читал такие книги, и в них рассказывается о ранах, из которых кровь хлещет, как из перерезанного горла коровы. Там рассказывается и о великой скорби над телами внезапно умерших людей, и о гневе, заставляющем людей нападать друг на друга. Но это было давным-давно, когда

люди еще уподоблялись животными, а Бог был молод и неопытен.

— Тогда что все это значит? — нахмурился отец. Человек необразованный и темный, он еще больше, чем Лэрд, верил, что люди, которые читают книги, знают ответы на все вопросы на свете.

— Не знаю, — пожал плечами писарь. — Может быть, это значит, что Бог покинул нас или что мы стали ему безразличны.

Лэрд смотрел на тело бабушки, лежащее на кровати.

— Или что Бог умер? — предположил он.

— Глупости, как может Бог умереть? — презрительно фыркнул старый писарь. — Ему подвластна вся вселенная.

— Значит, в его власти решать, может ли он умереть?

— Мне только не хватало с детьми спорить. — Писарь поднялся, намереваясь вернуться к себе в комнату, и остальные путники восприняли это как сигнал расходиться.

Но отец так и не ложился спать — на коленях он простоял у смертного ложа матери до самого рассвета. Не спал и Лэрд, старавшийся вспомнить, что же за чувство было в нем еще вчера, а теперь вдруг исчезло, заставив его совсем по-другому смотреть на мир. Однако он так и не вспомнил, что же это было. Только Сала и мать спали в кровати родителей.

Перед самым рассветом Лэрд поднялся и, подойдя к спящей матери, увидел, что на ране образовалась засохшая корочка, а кровь остановилась. Успокоенный, он оделся и пошел доить овцу, которая вот-вот должна была перестать давать молоко. Каждая капля молока уходила на сыр и масло — близилась зима, и этим утром, почувствовав, как холодный ветерок взъерошил волосы, Лэрд с невольным страхом подумал о предстоящих морозах. До сегодняшнего дня он смотрел на будущее безмятежно, не задумываясь ни о засухе, ни о снеге. Но теперь настали времена, когда старух начали находить мертвыми в постелях. Настали времена, когда отец мог разъяриться и ударить мать, сбив ее с ног.

Настали времена, когда мать могла истечь кровью, как раненое животное. Поэтому предстоящая зима казалась не просто временем бездействия. Она предвещала конец надеждам.

Овца резко вскинула голову, заслышав что-то недоступное человеческому слуху. Лэрд перестал доить и поднял голову — на западе над горизонтом разливался яркий, мерцающий свет, словно звезда, сорвавшаяся с неба, звала на помощь. Затем свет угас за деревьями, растущими на той стороне реки. Лэрд понятия не имел, что это могло быть. Потом он вспомнил, что рассказывали им в школе о космических кораблях. Но космические корабли не залетали в Плоский Залив, не залетали они и на этот континент, да и на саму планету приземлялись лишь раз в десять — двадцать лет. Отсюда нечего было вывозить, и ничего с других планет не требовалось этому миру. Зачем же тогда прилетел звездолет? «Не будь дураком, Лэрд, — упрекнул он самого себя. — Обыкновенная падающая звезда, только этим странным утром ты чересчур взбудоражен и испуган, вот и напридумывал всякого».

С рассветом Плоский Залив ожил, и теперь и другие семьи обнаружили, что происходит нечто необычное — открытие, которое семья Лэрда сделала еще ночью. Как обычно в холодную погоду, все собрались в доме Эльмо, где был огромный стол и внутренняя кухня. Никого не удивило, что Эльмо еще не раздул огонь в своей кузне.

— Сегодня утром я обожглась кашей, — сказала Динно, лучшая подруга матери. Она вечно холила свои точеные пальцы. — Даже сейчас болит, будто вся рука в огне. Боже милостивый!

Мать тоже могла кое-чем похвастаться, но предпочла не распространяться об этом:

— Когда старый писарь собрался уезжать сегодня утром, осел лягнул его копытом в живот. Писарь сейчас на-

верху, говорит, что при такой боли целый день пути ему не выдержать. После завтрака его рвало.

Не было человека, который обо что-то не ударился, чем-то не порезался, поэтому к полудню все уже стали осторожнее и старались обдумывать свои действия. Омбер, один из людей, выкопавших могилу для бабушки, угодил себе по ноге лезвием лопаты. Из раны долго текла кровь, и сейчас Омбер, весь побелевший, ослабевший и едва живой, лежал в одной из комнат для гостей. А отец, у которого не шла из головы смерть бабушки, даже не прикоснулся к молотку в тот День, Когда Пришла Боль.

— Боюсь, что искра попадет мне в глаз или молот раздробит руку. Бог о нас больше не заботится.

В полдень бабушку похоронили. Весь день Лэрд и Сала помогали матери справляться с той работой по дому, которую обычно делала старушка. Ее место за столом было непривычно пусто. Зачастую кто-нибудь начинал: «Ба, слушай...» И каждый раз отец отворачивался, будто пытался отыскать что-то спрятанное глубоко в стенах. Никто не мог припомнить, чтобы прежде скорбь была чем-то большим, нежели тусклой горечью; никогда раньше близкий человек не уходил столь внезапно, никогда пустота в жизни не была так мучительна, а сырая земля на могиле так черна, так похожа на вспаханное по весне поле.

Ближе к вечеру умер Омбер, последняя капля его крови впиталась в неумело наложенную повязку. Он лежал рядом с писарем, который по-прежнему извергал из себя съеденную пищу и кричал от боли при каждом неловком движении. Ни разу в жизни никто еще не видел, чтобы человек, полный сил и энергии, вдруг умирал от какого-то небрежного удара лопатой.

Еще не успели выкопать могилу Омберу, когда дочь Брана, Клэни, свалилась в камин. Прежде чем умереть, она исходила криком часа три. Никто не мог и слова промолвить, когда ее тельце опускали в могилу — третью за один

день. Ибо для деревни, насчитывающей от силы человек триста, смерть троих, ушедших в один и тот же день, — настоящее бедствие, но смерть здорового, сильного мужчины и маленького ребенка потрясла особенно.

Путешественников в тот день не было — их число всегда уменьшалось с приходом холодов. И то хорошо, не пришлось обхаживать новых постояльцев. Мир изменился, стал жестоким — и все за один-единственный день. Укладываясь спать, Сала спросила:

— А я тоже умру сегодня ночью, как бабушка?

— Нет, — ответил Эльмо, но Лэрд не заметил уверенности в его голосе. — Нет, Сала, моя Сарела, ты не умрешь.

Но на всякий случай он оттащил ее соломенную постельку подальше от очага и набросил на девочку еще одно одеяло.

Лэрду не требовалось ничего объяснять, раз он сам видел достаточно. Он тоже отодвинул свою постель от огня. Эхо воплей Клэни до сих пор отдавалось в его ушах. Вся деревня слышала их — никакие стены не смогли заглушить надрывный плач девочки. Он не боялся пламени раньше, но стал бояться теперь. Уж лучше холод, чем боль и страдания. Все что угодно — только не эта неведомая прежде, ужасная боль.

Лэрд заснул, поглаживая синяк на колене — днем по неосторожности он ударился о ящик для поленьев. За ночь он просыпался трижды. Первый раз его разбудил тихий плач отца; когда же Эльмо заметил, что Лэрд не спит, он поднялся с постели, поцеловал мальчика, прижал к себе и сказал: «Спи, Ларелед, спи, все хорошо, все будет хорошо». Это была ложь, но Лэрд уснул.

Второй раз он проснулся от крика Салы, которой приснился очередной кошмар. Во сне она снова увидела умирающую бабушку, и мать успокаивала ее, напевая песенку, печали которой Лэрд раньше не понимал.

Любовь моя от меня далека,
Там, за рекой,
А река глубока.

Любимый мой позвал: «Приди»,
Но плыть не могу,
И нет пути.

Нашла я лодку, чтоб плыть к тебе,
Но холоден день,
И холодно мне.

Оделась теплее, ведь было не лето,
Но ночь наступила,
Мне ждать до рассвета.

Солнце взошло, ночь разогнав,
Лежал мой любимый,
Другую обняв.

Лэрд не слышал, что дальше пела мать. Он забылся сном, который и разбудил его в третий и последний раз за ночь.

Он сидел у Струящихся Вод, разлившихся в весеннем паводке, а по реке плыли плоты, и лесорубы гоняли их шестами, отталкивая друг от друга подальше. Но вдруг в небе вспыхнул огненный шар и понесся по направлению к реке. Лэрд знал, что огонь обязательно нужно остановить, он пытался крикнуть, чтобы тот остановился, но не мог издать ни звука, а огонь все приближался. Он обрушился прямо в реку, все плоты разом заполыхали, а мужчины на плотах закричали голоском Клэни и горящими факелами попадали в воду, где и утонули — и все это произошло из-за Лэрда, который не знал, что надо сказать, чтобы остановить небесный огонь.

Лэрд проснулся весь дрожа, терзаемый чувством вины из-за того, что не смог никого спасти. И вместе с тем он никак не мог понять, при чем же здесь он и в чем именно он провинился. Сверху донесся протяжный стон. Родители

спали. Лэрд не стал будить их, а поднялся на второй этаж сам. Старый писарь лежал в своей постели. Кровь была на его лице, кровь залила все простыни.

— Я умираю, — прошептал он, увидев фигуру Лэрда в струящемся из окна лунном свете.

Лэрд кивнул.

— Ты умеешь читать, паренек?

Он снова кивнул. Деревня была не такой прозябающей, чтобы дети не могли ходить в школу зимой. В десять лет Лэрд уже читал не хуже любого взрослого в деревне. Сейчас ему было четырнадцать, он превращался из мальчика в мужчину, но все так же любил читать и с азартом накидывался на любые тексты, которые только удавалось раздобыть.

— Тогда возьми себе Книгу Об Открытии Звезд. Она твоя. Все твое.

— Почему именно я? — прошептал Лэрд. Наверное, старый писарь заметил, с какой завистью прошлым вечером мальчик смотрел на книги. Может, он слышал, как после ужина Лэрд декламировал «Очи Струящихся Вод» Сале и ее подружкам. Но писарь ничего не отвечал, хотя еще дышал. Какие бы у него ни были на то причины, он хотел, чтобы книга досталась Лэрду. «Книга, которая будет моей, моей собственной». Книга Об Открытии Звезд — и это на следующий день, после того как пришла боль, после того как он увидел звезду, падающую в лес за Струящимися Водами.

— Спасибо, сэр, — проговорил он и потянулся, чтобы коснуться руки старого писаря.

Позади раздался какой-то шум. Это была мать, и она смотрела на мальчика расширенными глазами.

— С чего это ему отдавать тебе свои книги? — спросила она.

Губы писаря шевельнулись, но он не издал ни звука.

— Ты еще мальчишка, — продолжала мать. — Ты ленив и любишь перечить.

«Я знаю, я ничего не заслуживаю», — сказал Лэрд про себя.

— У него, наверное, семья есть. Когда он умрет, мы отошлем книги его родным.

Писарь из последних сил яростно мотнул головой.

— Нет, — прошептал он. — Отдайте книги мальчику!

— Не умирай в моем доме, — страдальчески взмолилась мать. — О Боже, еще одна смерть под нашей крышей!

— Простите, что потревожил вас, — выдавил старый писарь. И умер.

— Зачем ты пришел сюда?! — яростно шепнула мать Лэрду. — Видишь, что ты натворил?

— Я пришел, потому что услышал, как он стонет...

— Небось полез за книгами умирающего? Тебе не стыдно?

Лэрд хотел возразить, оправдаться, но ведь даже во сне его преследовало чувство вины, разве нет? Глаза матери были похожи на глаза овцы, которая вот-вот принесет очередного ягненка, и он не осмелился стоять на своем и ввязываться в спор.

— Пора овец доить, — сказал он и, сбежав вниз по лестнице, выскочил на улицу.

Ночи стали пронизывающе холодными, и белый иней лежал на траве. Овцы уже были готовы к дойке, вот только у Лэрда все валилось из рук. На морозе пальцы быстро онемели, и даже тепло животных не согревало его.

Хотя нет, вовсе не из-за мороза неловко дрожали его руки. Это все из-за книг, которые ждали его в комнате старого писаря. Из-за трех свежих могил, рядом с которыми скоро упокоится еще одно тело.

А еще это из-за мужчины и женщины, которые шли через реку, борясь с сильным течением. Глубина достигала десяти футов, но они шли, как будто под ногами была не вода, а хорошо утоптанная глина, и река расступалась перед ними. Лэрд подумал, что неплохо было бы спрятаться, но вместо этого словно против своей воли поднялся со ска-

меечки для дойки, отставил ведро с молоком подальше, чтобы его не перевернули овцы, и двинулся через кладбище навстречу незнакомцам.

Когда он приблизился, они уже стояли на берегу и смотрели на свежие могилы. Глаза их были полны горя. Волосы у мужчины были седыми, но тело оставалось сильным, а лицо его излучало уверенность и доброту. Женщина была молода, намного моложе матери, но лицо ее казалось суровым, сердитым. По ним было не видно, что только что они вышли из воды — даже в следах на берегу не блестела влага. А когда они повернулись к нему, даже в тусклом лунном свете его поразила необыкновенная голубизна их глаз. Он никогда не видел глаз, способных светиться в ночной темноте.

— Кто вы? — спросил он.

Мужчина ответил на каком-то неизвестном наречии, которого Лэрд не понял. Женщина покачала головой и ничего не сказала, однако мальчик почувствовал, что надо назвать незнакомцам свое имя.

— Лэрд, — произнес он.

— Лэрд, — откликнулась она. Его имя звучало как-то необычно в ее устах. В голову внезапно пришла мысль, что не следует никому говорить о том, каким образом они переправились через Струящиеся Воды.

— Я никому не скажу, — пообещал он.

Женщина кивнула. Затем он понял — хотя убейте, не знал, каким образом, — что должен отвести этих людей к себе домой.

Но он боялся чужеземцев.

— А вы ничего плохого моей семье не сделаете?

На глаза мужчины навернулись слезы, а суровая женщина отвернулась. В голове у Лэрда внезапно прозвучал чей-то голос:

— Мы и так уже сделали вам столько плохого, что будем раскаиваться до скончания времен.

И тогда он понял — или, во всяком случае, так ему показалось, — что означали его сон, та падающая звезда в День, Когда Пришла Боль, и сам тот День.

— Вы пришли забрать боль?

Мужчина покачал головой.

Как ни краток был миг надежды, разочарование не стало от этого менее горьким.

— Если вы не можете этого сделать, — сказал он, — так какой нам от вас толк?

Но его отец как-никак содержал гостиницу, поэтому он провел их через кладбище, мимо загона с овцами и впустил в дом, где мать уже кипятила воду для каши на завтрак.

Глава 2

ПЕРГАМЕНТ И ЧЕРНИЛА

— Завтракать будете? Небось всю ночь провели в дороге? — приветствовала их мать.

Лэрд ждал изумления и испуга, когда она услышит их голоса в своих мыслях, но ничего подобного не случилось. Похоже, они вообще не ответили ей, поскольку она повторила вопрос, и тогда ответ услышал сам Лэрд.

— Они не голодны, мама.

— Пусть гости сами за себя отвечают, — резко оборвала его мать. — Ну что, готовить на вас?

Мужчина покачал головой. Лэрда охватило желание принести Книгу Об Открытии Звезд. Он шагнул к лестнице.

— Ты куда собрался, Лэрд? — осведомилась мать.

— Книгу принести. Об Открытии Звезд.

— Не время для игр. Вон еще сколько работы.

— Они хотят, чтобы я почитал ее им.

— Ты что, за дуру меня принимаешь? Они словом не обмолвились, по-моему, они и по-верренски-то не говорят.

Лэрд промолчал. За него ответила Сала:

— Это правда, мама. Чтобы говорить со мной или с Лэрдом, им слова не нужны, а с тобой и папой они говорить не хотят.

Мать перевела взгляд с Салы на Лэрда.

— Это еще что за шуточки? Они говорят с вами, а с нами... — Она повернулась к незнакомцам: — Вы что, думаете, кто ни попадя может заходить ко мне в дом и заявлять, что со мной и толковать не о чем? Такие гости нам без надобности.

Мужчина положил на стол блестящий, сияющий камень.

Мать с подозрением посмотрела на переливающуюся диковинку.

— И что мне с этим делать прикажете? Он что, поможет пшенице быстрее созреть? Или залечит раны на моей руке? Или от него огонь в кузнице разгорится жарче? — Но она все-таки протянула руку и взяла камень со стола. — Он настоящий? — спросила она, но, смешавшись из-за упорного молчания чужеземцев, повернулась к Сале: — Он настоящий?

— Он само совершенство, — объяснила Сала. — Он стоит всех ферм в Плоском Заливе, всех домов в деревне, всей земли под ними и всего воздуха над ним, всей воды, что течет здесь... — Девочка прикрыла рот ладошкой, чтобы остановить поток слов.

— Принеси книгу, что они просят, — приказала мать Лэрду. И не сказав больше ни слова, вернулась к своей каше.

Лэрд взлетел вверх по лестнице и ворвался в комнату, где оставили тело старого писаря. Глаза мертвеца были за-

крыты, а на веках лежало по камешку. Живот под покрывалом провалился. Лэрду показалось, или он действительно уловил слабое дыхание?

— Сэр? — шепотом позвал Лэрд.

Но ответа не было. Лэрд подошел к туго набитой котомке старика. Внутри лежало пять книг, пачка пергаментов, листов двадцать, небольшая склянка с чернилами и несколько перьев. Лэрд кое-что знал о том, как изготовляется пергамент, а один из первых уроков в зимней школе был посвящен тому, как заострить и правильно расщепить перо. Вот только чернила оставались для него загадкой. Поколебавшись, Лэрд положил чернильницу обратно в котомку; ему подарили книги, а не то, из чего они делаются. Он быстренько просмотрел тиснения названий на дубленой коже обложек; нигде так мирно не существовали коровы с овцами, как в книгах: листы были сделаны из овечьей кожи, а обложки — из коровьих шкур. Вот оно, Открытие Звезд.

Он едва успел отложить остальные книги в сторону, как на лестнице послышались шаги. Это отец с Ханом Плотником пришли забрать труп. На подошвах их башмаков налипла грязь — могилу уже выкопали.

— А, заглянул разжиться вещичками помершего? — бодро приветствовал его Хан.

— Он мне сам подарил книги...

Отец покачал головой:

— Хан хотел сказать, что в комнате усопшего надо вести себя соответственно.

— Духи — не мухи, шапкой их не отгонишь, — объяснил Хан.

Лэрд с подозрением взглянул на тело старого писаря. Может, его дух сейчас здесь? И уже натачивает свой перочинный ножик, чтобы расщепить Лэрда, как перышко, когда тот заснет, ничего не подозревая? Лэрд передернулся. Только поверь в такое, и все — прощай, мирный сон.

— Ладно, парень, забирай книги, — сказал отец. — Они твои. Но береги их как следует. Они стоят больше, чем все железо, что прошло через мои руки.

Лэрд сделал большой крюк, обходя кровать, где отец и Хан заворачивали старика в старую конскую попону — что проку переводить доброе одеяло на мертвеца, который все равно ляжет в землю, — выбрался из комнаты и, не чуя под собой ног, понесся вниз по лестнице. Цепкие пальцы матери поймали его на последних ступеньках, так что он едва не потерял равновесие от неожиданности.

— Тебе что, мало похорон на сегодня? Осторожнее, теперь ангелы не подхватят тебя, если ты упадешь.

Лэрд вырвался.

— Все было нормально, это ты меня так толкнула, что я чуть не упал! — резко ответил он.

Она с размаху залепила ему пощечину. Голова его дернулась в сторону, а щеку словно пламенем обожгло. Они потрясенно воззрились друг на друга.

— Извини, — прошептал Лэрд.

Мать ничего не сказала, просто вернулась к столу, где начала раскладывать костяные ложки, предназначенные для новых гостей. Она не знала, что они умеют ходить по воде, но представляла, сколько стоит камень, которым с ней расплатились. Этого маленького чуда оказалось достаточно, чтобы окружить вновь прибывших заботой и вниманием.

Но у Лэрда мигом пропало всякое желание приближаться к незнакомцам, ведь они стали свидетелями его унижения и боли. Несмотря на все усилия, на глаза все-таки навернулись непрошеные слезы — ни разу в жизни на него никто не поднимал руку, и хотя боль уже утихла, страх ее остался.

— Она никогда раньше... — начал было объяснять он, но их голоса снова зазвучали у него в голове. Они утешили его, и Лэрд вручил им Открытие Звезд.

Мужчина взял книгу, раскрыл и начал водить пальцем по строчкам. Лэрд сразу понял, что читать он не умеет, по-

скольку палец его двигался слева направо, а не сверху вниз. «Чудеса творить вы умеете, а читать — нет», — с триумфом подумал Лэрд.

И сразу перед его мысленным взором возникли страницы, испещренные странными письменами, странными буквами, которые так легко бежали по белизне страницы, будто на изготовление пергамента не уходили долгие часы труда, а чернила не были редчайшей ценностью. Затем он увидел, как над страницей склоняется молоденькая девушка.

— Простите, — пробормотал он.

Мужчина указал на первое слово, провел пальцем по первому предложению и вопросительно взглянул на мальчика. «Читай», — приказал тихий голос, прозвучавший в уме Лэрда.

— После того как миры были погублены Абнером Дуном, минуло десять тысяч лет, прежде чем новые огни проложили себе путь между звездами.

Глаза мужчины расширились.

— Абнер Дун, — вслух повторил он.

Лэрд указал пальцем на эти слова в книге.

«Это имя пишется всего двумя буковками?» — спросил мысленный голос.

— Нет... это слова, не буквы. — Лэрд вытащил из короба лучину для растопки и начал рисовать ею в пыли на полу. — Вот «аб», вот «эн», а вот «ер», и соединяются они вот так. Эта связка говорит, что «эн» быстрая, а вот эта — что «аб» надо произносить долго, а окончание показывает, что это имя человека.

Мужчина и женщина с удивлением переглянулись и расхохотались. Лэрд ляпнул какую-нибудь глупость? Нет, похоже, дело не в этом.

«Да нет, — ответил голос у него в голове. — Ты здесь ни при чем. Дело в нас самих. Мы хотели изучить ваш язык и вашу письменность, но, как оказалось, все не так-то просто».

— Не, это на самом деле нетрудно, — возразил Лэрд. — У нас сто девяносто две буквы, тринадцать связок и семь окончаний.

Они снова засмеялись, и мужчина отрицательно покачал головой. Но тут его осенила идея.

— Язон, — сказал он, указывая на себя. — Язон.

И голос, звучавший в мыслях Лэрда, приказал:

«Напиши».

И он написал. Сначала «йа», затем «с», потом «он», и связал их, чтобы они обозначали «йасон». А закончил их знаком, который говорил, что это не просто имя, а имя Бога. Подобной чести удостаивались только великие правители, но Лэрд без малейших колебаний приписал окончание к имени этого человека. Язона.

Но, видно, мужчина каким-то образом понял, что это означает. Он взял из рук Лэрда палочку и поставил окончание имени Бога на имя Абнера, а свое собственное исправил на обычное.

В голове Лэрда возник образ насмешливо улыбающегося невысокого мужчины, одетого в странный, уродливый костюм. Лэрду этот человек не понравился. Голос внутри него произнес: «Абнер Дун».

— Вы знали его? — спросил Лэрд. — Знали Разрушителя Вселенной? Разлучника Человечества? Прогоняющего Сон Жизни?

Мужчина покачал головой. Это, видимо, означало, что Абнера Дуна Язон не знал. Да и как бы такое могло произойти, если только сам Язон не был дьяволом? И тут Лэрда кольнула тревога. Они обладали сверхъестественным могуществом, но с чего Лэрд взял, что их силы — силы добра?

В ответ пришло успокаивающее чувство, ощущение тепла, умиротворения, и Лэрд вздрогнул. Как мог он усомниться в них? И все-таки он спросил себя: «А разве мог я не усом-

ниться? Ведь они появились тотчас вслед за Днем, Когда Пришла Боль».

Язон протянул ему книгу. «Читай», — промолвил голос.

Зачастую он даже не понимал того, что читал. Произносить слова не составляло труда, алфавит-то он знал. Но большинство понятий было слишком сложно для него. Что знал он о космических кораблях, иных мирах, разведчиках и посланниках? Он надеялся, что двое иноземцев объяснят, что все это значит.

«Мы не можем».

— Почему? — спросил он.

«Потому что эти слова для нас ничего не значат. Мы понимаем прочитанное тобой так, как понимаешь это ты. Неведомое тебе неведомо и нам».

— Тогда почему бы вам не выучить наш язык, раз вы такие умные?

— Не груби взрослым, — крикнула мать с кухни, где толкла сушеный горох для каши.

Лэрд рассердился. Ведь она не слышала ни слова из разговора — и сразу уловила, что Лэрд делает что-то не так. Язон протянул руку и коснулся его колена. Успокойся. Все хорошо. Этих слов Лэрд не слышал, но все равно понял, что хотел сказать Язон, — понял по мягкому прикосновению руки, по успокаивающей улыбке.

«Язон выучит твой язык, — послышался голос. — Но Юстиция — нет».

— Юстиция? — переспросил Лэрд, сначала даже не поняв, что так зовут женщину.

Указав на себя, она откликнулась эхом:

— Юстиция. — Голос ее был тих и неуверен, будто говорить ей доводилось нечасто. — Юстиция, — снова повторила она. Потом рассмеялась и произнесла какое-то непонятное слово на языке, которого Лэрд никогда прежде не слышал.

«Это мое имя, — зазвучал в его мыслях тот же голос. — Юстиция, Справедливость. Имя Язона — это просто слово, и на каком бы языке ты ни говорил, оно всегда звучит одинаково. Но мое имя — это идея, и оно звучит в устах разных народов по-разному».

«Бессмыслица какая-то», — подумал Лэрд.

— Имя и есть имя. Оно означает тебя, как оно может означать что-то еще?

Мужчина и женщина переглянулись.

«Скажи-ка, а нет ли в этой книге чего-нибудь о месте, именуемом...»

И тут Юстиция произнесла вслух:

— Вортинг.

Лэрд покатал слово на языке.

— Вортинг, — протянул он. После чего начертил слово в пыли, чтобы запомнить, как оно пишется и не ошибиться, когда оно встретится в книге.

Он не заметил, как при этом слове глаза матери расширились и она выскользнула из кухни, даже не сказав обычного: «Я сейчас».

Он нашел искомое в самом конце книги:

— «На протяжении многих тысяч лет считалось, что либо оба Ковчега Дуна потерпели крушение, либо колонии, основанные ими, погибли. Действительно, если Ковчегу Райвтока и удалось основать колонию, то она и по сей день остается не найденной. Однако мир по имени Вортинг, названный так в честь Ковчега Вортинга, был наконец обнаружен. Геологер космического корабля «Дискаверер» четвертого класса, относящегося к Пятой волне, засвидетельствовал, что планета пригодна к обитанию, а потом, к превеликому изумлению всей команды, объявил, что она уже населена».

Теперь, как только попадались сложные слова, в уме Лэрда сразу возникали краткие, доступные объяснения каж-

дого нового понятия. Ковчеги Дуна были гигантскими космическими кораблями, оснащенными всем, что только может понадобиться 334 пассажирам для освоения новой планеты. Колония — это деревушка на только что открытой планете, где раньше не ступала нога человека. Судно четвертого класса «Дискаверер», относящееся к Пятой волне, — космический корабль, примерно пять тысячелетий назад посланный правительством исследовать внутренние области галактики. Геологер — машина или несколько машин, которые осматривали планету еще издалека и сразу видели, где на ней леса, а где горы, где нефть, а где железо, где плодородные земли, а где сплошной лед, где океаны, а где жизнь.

«Нет, с такой скоростью мы далеко не уедем», — произнес голос у него в голове. По нетерпению, отразившемуся на лице Юстиции, Лэрд понял, что разговаривает с ним именно она. Язон улыбался, когда она обращалась к нему, и отвечал ей вслух на своем непонятном языке.

— Кто вы такие? — раздался угрожающий голос отца.

Он стоял у двери, ведущей на кухню. Его могучие плечи полностью закрывали дверной проход; на фоне яркого пламени кухонного очага он казался огромным, темным великаном.

— Это Язон и Юстиция, — сказала Сала.

— Кто вы такие? — повторил отец. — Я не потерплю, чтобы мне отвечали голосами моих детей.

Лэрд, услышавший их мысленный ответ, заговорил:

— По-другому тебе и не ответят. Не сердись на нас, папа, — они говорят со мной, потому что иначе не могут. Язон только собирается учиться нашему языку.

— Кто вы такие? — в третий раз повторил отец. — Как вы смеете учить моего сына темному имени, сокрытому слову, когда ему еще и шестнадцати нет?

— Что за сокрытое имя? — поинтересовался Лэрд.

Отец не смог заставить себя произнести его вслух. Вместо этого он подошел туда, где Лэрд нацарапал палочкой слово, и затер надпись ногой.

Язон расхохотался, а Юстиция вздохнула. Лэрд, не дожидаясь их ответа, попытался объяснить:

— Отец, я нашел имя Вортинга в книге старого писаря. Это всего лишь название планеты.

Отец отвесил Лэрду пощечину.

— Есть время и место, чтобы произносить это имя, но не сейчас и не здесь.

Лэрд лишь разрыдался от боли — он ничего не мог с собой поделать, он же не привык к такому унижению. Это было слишком жестоко, ведь боль теперь так просто не проходит, а сейчас не огонь, не вода, не дикий зверь — родной отец стал ее причиной. И даже когда первая волна этой боли прошла, Лэрд продолжал всхлипывать и подвывать, как ужаленный пчелой пес.

Внезапно Язон стукнул кулаком по столу и вскочил с табуретки. Юстиция попыталась удержать его, но он успел произнести, запинаясь, несколько слов, значение которых было понятно.

— Имя мое, — сказал он. — Имя это мое может быть.

Отец слегка прищурился, будто бы, присмотревшись повнимательнее, можно было понять ломаный язык. Лэрд перевел для него:

— Кажется, он хочет сказать, что *его* имя... в общем, то самое слово.

Язон кивнул.

— По-моему, ты говорил, что твое имя Язон.

— Мое звать Язон Вортинг.

— Меня зовут Язон Вортинг, — поправил Лэрд.

Но стоило Лэрду произнести «Вортинг», как рука отца опять взмыла вверх, чтобы еще раз ударить его. Но Язон оказался быстрее и перехватил руку кузнеца.

— Никто в Плоском Заливе не смеет тягаться со мной силой, — сказал отец.

Язон лишь улыбнулся.

Отец попытался вырвать руку, но Язон едва заметно сжал пальцы, и отец закричал от боли.

Юстиция тоже вскрикнула, словно боль передалась ей. Двое чужеземцев яростно заспорили о чем-то на своем неизвестном языке, отец же, тяжело дыша, сжимал запястье. Обретя способность говорить, он повернулся к Лэрду:

— Мне не нужны такие постояльцы, и мне не нужно, чтобы ты совал нос в запретное. Они сейчас уйдут, а тебе я строго-настрого запрещаю иметь с ними дело.

Язон и Юстиция наконец перестали спорить — как раз вовремя, чтобы услышать последнюю фразу. В надежде убедить кузнеца передумать Юстиция достала из кармана тонкую золотую пластинку и пару раз согнула ее, чтобы показать, насколько она гибка.

Отец взял пластинку. Он сложил ее пополам, затем согнул снова и швырнул о входную дверь.

— Это мой дом, и это мой сын. Вы не нужны нам.

Затем отец вывел Лэрда из комнаты и потащил в кузню, где уже полыхал разгоревшийся огонь.

Лэрд трудился там все утро, он был голоден и страшно зол, но беспрекословно исполнял любое приказание отца. Тот прекрасно знал, что Лэрд ненавидит работать в кузне и вовсе не горит желанием узнать секреты кузнечного ремесла. Но мальчик исполнял все, что от него требовалось, как отрабатывал свое и в поле — но не более того. В другие дни отец мирился с этим — но не сегодня.

— Тебе надо многому у меня научиться, — крикнул он, заглушая рев пламени. — Такому всякие чужаки-недоумки тебя не научат!

«Они вовсе не недоумки», — про себя возразил Лэрд. Однако Юстиции рядом не было и его мысленное возраже-

ние никто не услышал, а вслух он ничего говорить не стал. Вовремя прикусить язык — этим искусством он овладел давно и в совершенстве.

— Толковый кузнец из тебя не получится, это я и сам вижу. У тебя руки слабые, как у отца твоей матери, да и плечи узки. Я тебя не толкнул?

Лэрд покачал головой.

— Давай качай сильнее.

Лэрд подналег на мехи, да так, что даже спина заныла.

— И в поле ты честно трудишься. Хоть ты еще мал для мужской работы, ты неплохо разбираешься в грибах и травах. Я снесу, даже если ты станешь свинопасом. Спаси и помилуй, Господи, да я смирюсь, даже если ты в конце концов будешь гонять гусей.

— Не волнуйся, пап, гусей я гонять не буду. — Ради красного словца отцу случалось перегибать палку.

— Уж лучше ты гусей пасти будешь, чем писарем станешь! В Плоском Заливе нет работы для писаря, здесь такой не нужен.

— Я не писарь, я плохо управляюсь с цифрами и половины слов в книге не понимаю.

Отец что было сил грохнул молотом по куску железа, так что тот раскололся на две половинки. Он в ярости бросил зажатую в щипцах половинку на пол, и раскаленное железо разлетелось на уже совсем мелкие кусочки.

— Бог ты мой, я не хочу, чтобы ты становился писарем вовсе не потому, что ты *недостаточно* для этого хорош! Ты *слишком* для этого хорош! Но мне будет стыдно, если окажется, что мой сын не годится ни на что другое, кроме как целый день царапать какие-то буковки!

Лэрд облокотился на рукоять мехов и изучающе посмотрел на отца. «Каким же образом изменила тебя пришедшая боль? В кузне ты ведешь себя все так же небрежно. Как и раньше, ты подходишь к пламени почти вплотную, хотя все

прочие, те, что работают с огнем, научились держаться от него подальше, и со всех сторон посыпались заказы на ложки с ручками подлиннее — а ведь раньше все довольствовались короткими. Однако ты не стал ковать себе щипцы подлиннее. Так что ж в тебе изменилось?»

— Если ты станешь писарем, — продолжал отец, — тебе волей-неволей придется покинуть Плоский Залив. Поселишься в Гавани Струящихся Вод или в Высокогорье, где-нибудь подальше отсюда.

— Мать ждет не дождется этого, — горько усмехнулся Лэрд.

Отец нетерпеливо дернул плечом:

— Не говори глупости. Просто ты слишком похож на ее отца, вот и все. Она не желает тебе ничего плохого.

— Иногда, — сказал Лэрд, — мне кажется, что в этом доме если я кому и нужен, так только Сале. — «Прежде казалось. До того, как появились чужеземцы».

— Ты мне нужен.

— Ага, чтобы качать мехи, пока ты не сойдешь в могилу? А затем качать мехи для того, кто займет твое место? Отец, я не хочу уходить из Плоского Залива. Я не хочу становиться писарем. Разве что иногда почитаю для гостя, да и то в конце года, как сейчас, когда нечего делать, кроме как обрабатывать шкуры, ткать да забивать скот. Развлекаются же другие тем, что сочиняют песни. Ты *сам* их сочиняешь.

Отец подобрал обломки железа и бросил их в лом. В горне уже разогревалась новая пластина.

— Качай мехи, Ларелед.

Это ласковое обращение и было ответом Лэрду. Гнев отца вспыхнул и пропал, он не будет запрещать ему читать, если это не помешает исполнению обязанностей по дому. Качая мехи, Лэрд запел:

Белочка ты белочка,
Где же все орехи?
В стенах бедных хижин
Велики прорехи.
Коли из амбара
Станешь воровать,
Ох, придется рыжий
Хвостик оторвать!

Отец расхохотался. Он сам сложил эту песню, когда прошлой зимой вся деревня собралась в их гостинице — вместе веселее пережидать лютые морозы. Это великая честь, когда твою песню кто-то запоминает, в особенности если этот кто-то — твой собственный сын. Лэрд знал, что пение порадует отца, но вовсе не рассчитывал его умилостивить. Он действительно любил отца и искренне желал, чтобы тот был счастлив, хоть у них было мало общего.

Отец спел другой куплет, который не очень нравился Лэрду. Но мальчик все равно рассмеялся — теперь уже с расчетом. Ибо когда куплет закончился, и отец с сыном отсмеялись, Лэрд сказал:

— Разреши им остаться. Пожалуйста.

Лицо отца потемнело, он вытащил железо из горна и начал бить по нему молотом, придавая форму серпа.

— Они говорят твоим голосом, Лэрд.

— Они говорят у меня в уме, — возразил Лэрд. — Как... — Он немножко поколебался, прежде чем решился произнести слово, пришедшее из глубокого детства. — Как ангелы.

— Если ангелы все-таки существуют, почему ж кладбище полным-полно? — спросил отец.

— Я сказал, *как* ангелы. Ничего дурного в этом нет. Они...

— Они что?

«Они умеют ходить по воде».

— Ничего дурного они нам не сделают. Они хотят научиться нашему языку.

— Этот человек умеет причинять боль. Как может ангел уметь такое?

На это нечего было ответить. До вчерашнего дня никто здесь не знал, что такое настоящая боль. Однако Язон протянул руку и заставил Эльмо Кузнеца корчиться от боли. Кто же захочет испытать такое на себе?

— Они умеют внушать то, что им нужно, — сказал отец. — Как знать, может, они заставили тебя им поверить? Внушили надежду, любовь и все прочее, что смогут использовать против тебя же? И против нас заодно? Времена наступили опасные. Намедни прошел слух, что выше по реке случилось убийство. Не просто смерть — именно убийство. Вчера. Кто-то там пришел в такую ярость, которой никогда раньше не видывали. И вот у нас появляется человек, который знает, что такое боль, так же хорошо, как я знаю, что такое железо.

Серп был готов. Отец сунул его обратно в горн, чтобы железо привыкло к своей новой форме, и потер о глину, чтобы оно познало вкус земли и не подвело во время жатвы. Затем он медленно опустил его в бочонок, и железо запело.

— И все-таки, — произнес Лэрд, подавая отцу точильный камень.

— Все-таки что?

— И все-таки, если они решат остаться, ты ведь не сможешь их прогнать?

Отец резко повернулся к сыну:

— Неужели ты думаешь, я позволю им остаться, только потому что их испугаюсь?

— Нет, — торопливо заверил Лэрд. — Но они же дали нам тот камень. И золото.

— Только низкий человек способен изменить принятое решение, пойдя на поводу у жажды наживы. Чего стоят золото и драгоценные камни, если вверх по реке люди начали

убивать друг друга? Твое золото не вернет бабушку из могилы. И не нарастит плоть на кости Клэни. А может, оно исцелит старого писаря? Или залечит пронзенную железом ногу?

— Они не причинили нам никакого вреда, отец. Он просто защитил меня, когда я совершил грех по его вине.

Лицо отца посерьезнело. Он вспомнил имя, которое Лэрд оскорбил напрасным упоминанием.

— Это имя Бога, — сказал отец. — Ты должен был узнать его, только когда поцелуешь лед в свою шестнадцатую зиму.

Теперь нахмурился и Лэрд.

— Неужели ты осмелишься прогнать того, кто проповедует имя Бога?

— Злой человек может упомянуть имя Господне с не меньшей легкостью.

— Но нам откуда знать, плохие они или хорошие? Неужели мы теперь станем изгонять всякого, упомянувшего имя Бога, только из страха, что он окажется богохульником? Но как тогда называться самому Богу?

— Вот ты уже разговариваешь, как писарь, — сказал отец. — Уже сам того не понимая, хочешь, чтобы они остались. Меня не страшит боль, не страшит богатство, меня не страшит даже тот, кто богохульствует и считает, что никакого вреда в этом нет. Меня страшит лишь то, что ты так жаждешь, чтобы они остались, что бы тебе ни пообещали...

— Ничего они мне не обещали!

— Я боюсь, что ты станешь другим.

При этих словах Лэрд горько рассмеялся:

— Тебе же самому не нравится, какой я. Какая разница, если я вдруг изменюсь?

Отец провел пальцем по острию серпа.

— Острый, — задумчиво промолвил он. — Только прикоснулся — и сразу порезался.

Он продемонстрировал палец Лэрду. На подушечке выступила капля крови. Отец протянул руку и коснулся окровавленным пальцем правого века Лэрда. Обычно этот ритуал совершался при помощи воды, но кровь была сильнее. Потом отец коснулся левого века сына, и Лэрд вздрогнул. Такой ритуал должен защитить Лэрда не только от внешних опасностей, но и от себя самого.

— Я позволю им остаться, — прошептал отец. — Но с одним условием — это никак не скажется на твоих обязанностях по дому.

— Спасибо, — негромко произнес Лэрд. — Клянусь, вреда от этого не будет никакого, наоборот, только послужит воле Бога.

— Все живое в конце концов исполняет волю Бога. — Отец положил серп на скамью. — Так, вот еще работка столяру. От лезвия не будет проку, если оно не ляжет удобно в чью-нибудь ладонь, а для этого понадобится рукоять. — Он повернулся и сверху вниз посмотрел на Лэрда — хотя роста они уже были почти одинакового. — Для чьей же руки делался ты, Лэрд? Видит Господь, не для моей.

Но мысли Лэрда уже обратились к Язону и Юстиции и к той работе, которая у них имелась для него. Он успел позабыть о боли отца.

— А ты обещаешь поговорить с матерью? Она ведь наверняка нагрузит на меня столько работы, сколько мне и не снилось. Сделает что угодно, лишь бы я поменьше виделся с гостями.

— Обещаю, — рассмеялся отец. Затем, взяв сына за плечо, он пристально посмотрел на него. — Их глаза подобны небу, — произнес он. — Смотри не улети. Как говорится, не выстрел охотника убивает утку, а удар о землю.

Так что той зимой Лэрда никто особенно не тревожил — разве что мать — то с приступами обиженного молчания, то с колкими замечаниями. С первого же дня их с Язоном

постоянно видели вместе — они не разлучались ни на минуту. Язон объяснял это тем, что ему нужно учить язык. Никто и не возражал, поскольку он не мешал, а только помогал Лэрду — вместе они быстрее справлялись с работой. Поэтому вместе они ходили в лес, вместе собирали грибы, пока те не исчезли с первым снегом. Как оказалось, Язон неплохо разбирался в травах, и хотя он по нескольку раз переспрашивал, как называется то или иное растение, вскоре выяснилось, что ему известно о флоре куда больше, нежели Лэрду, который до этого считал, что знает о местных травах все и вся.

— А там, откуда ты пришел, растут те же травы, что и здесь? — спросил его Лэрд однажды.

Запинаясь на каждом слове, Язон ответил:

— Все планеты происходить одних и тех кораблей от. Произошли.

— От одних и тех же кораблей.

— Да.

Лэрда заинтересовало подобное совпадение:

— А та планета Вортинга, о которой говорится в Книге Открытия Звезд, ты когда-нибудь бывал там?

Язон улыбнулся, как будто этот вопрос причинил ему радость и боль одновременно:

— Повидал. Но жить — нет.

— Но эта планета по имени Вортинг... она как-нибудь связана с именем Бога?

Язон не ответил. Вместо этого он указал на цветок:

— Вы когда-то ели это?

— Он ядовитый.

— Цветок быть... да, цветок ядовитый. — Язон оборвал стебель у самой земли и отшвырнул далеко в сторону, после чего разрыл почву и выдернул черный корень почти идеальной круглой формы.

— Для еды зимой. — Язон разломил корень на две половинки. Внутри он также был испещрен черными пятныш-

ками. — Вода горячить, — сказал он, отчаянно пытаясь подыскать верное слово.

— Сварить?

— Да. Что поднимается вверх?

— Пар?

— Да. Пить пар — получаются дети. — Произнеся это, Язон широко улыбнулся, чтобы показать, что как раз *это* свойство растения принимать безоговорочно не следует.

Они зашагали дальше. Лэрд набрел на целый выводок пригодных в пищу грибов и набил ими котомку. Лэрд болтал не умолкая, а Язон отвечал, как мог. Вскоре они вышли к болоту, где земля начинала проваливаться под ногами. Лэрд продемонстрировал, как пользоваться посохом, чтобы перепрыгивать опасные участки. В конце концов Язон так навострился, что ближе к полудню они с разбегу перемахивали через огромные водяные ямы и мчались дальше, не замочив даже подошв. Исключение составил только один случай, когда Язон вонзил посох слишком глубоко и тот застрял в грязи. Сидя в большой луже, Язон мучительными гримасами подыскивал подходящие к случаю выражения. Тогда-то Лэрд и научил его наиболее сочным словечкам из своего языкового запаса. Язон громко расхохотался.

— Да, в чем-то человеческие языки очень схожи, — проговорил он.

Тут Лэрд потребовал, чтобы Язон научил его словам, которые обычно использовались там, откуда он пришел. Когда настала пора возвращаться домой, оба изрядно поднаторели в использовании крепких словечек и выражений.

Крик «Лодка плывет!» раздался ближе к вечеру, когда путники обычно причаливают к берегу, чтобы поискать ночлега в какой-нибудь дружелюбной деревушке. Поэтому отец, мать, Лэрд и Сала сразу побежали на пристань, чтобы посмотреть на приближающееся суденышко. К их удивле-

нию, это оказался плот, хотя сезон лесосплава уже давно закончился и должен был вновь открыться только весной, после вскрытия рек. Костер, который часто разводили на плотах лесорубов, оказался больше обычного — один конец плота был полностью охвачен огнем, пламя полыхало у самой воды.

— Там человек! — крикнул кто-то, и жители деревни сразу бросились к своим лодкам.

Лэрд сел в лодку вместе с отцом. Благодаря сильным рукам кузнеца они первыми добрались до плота. Человек лежал на связке дров, уже занявшихся ярким пламенем. В надежде спасти его Лэрд перепрыгнул через борт лодки и оказался на плоту, но он опоздал — огонь уже охватил тело и пожирал ноги. Лэрд почувствовал запах обуглившегося человеческого мяса, запах, который впервые узнал, когда умерла от ожогов Клэни. Лэрд отшатнулся от костра, дотянулся до края лодки и, подтащив ее поближе, перебрался обратно.

— Он мертв, — сказал Лэрд. Затем отвратительный запах, страх, который он испытал на борту пылающего плота, и память о лижущих человеческое тело языках пламени сделали свое дело. Лэрд перегнулся через борт и его вырвало. Отец не произнес ни слова. «Ему стыдно за меня», — подумал Лэрд. Он оторвал глаза от бегущей под ним воды. Отец выпустил весла и махал руками, приказывая остальным возвращаться. Лэрд увидел его потемневшее лицо. «Ему стыдно за меня, стыдно, что я так перепугался? А может, он и не думает обо мне вовсе?» Лэрд перевел взгляд на плот, который быстро удалялся, увлекаемый сильным течением реки. И вдруг прямо на глазах у Лэрда рука горящего человека поднялась, обгорелая до черноты и пылающая, как факел; так она и замерла вытянутой, пальцы же свернулись, как сворачивается в трубочку бумага, брошенная в жар.

— Он еще жив! — воскликнул Лэрд.

Отец обернулся. Рука продержалась еще секунду, после чего бессильно рухнула обратно в пекло. Секунды превратились в минуты — наконец отец взял весла в руки и стал грести к берегу. Сидя на носу, Лэрд не видел его лица. Да и не очень хотел видеть.

Течение сносило лодку, и им пришлось причалить к берегу довольно далеко от пристани. Обычно отец, заведя лодку в спокойные прибрежные воды, гнал ее вверх по течению, но сейчас он спрыгнул на берег и затащил суденышко на каменный пляж Харвингов. Он молчал, а Лэрд не осмеливался с ним заговорить. Что можно сказать после представшей перед ними картины? Люди вверх по реке положили живого человека на горящий плот. И хотя человек не издал ни звука, ни малейшего стона, выдавшего его страдания, память о смерти Клэни была еще слишком свежа; эхо криков умирающей девочки до сих пор звучало в ушах, вновь и вновь не давая покоя.

— Может быть, — произнес отец, — может, он давно уже умер, а рука поднялась под действием жара.

«Точно, так и было», — подумал Лэрд. Это было только похоже на жест живого человека, но на самом деле в той руке уже не было жизни.

— Отец, — крикнула Сала.

Ага, значит, они не одни. На пригорке, возвышающемся на границе участка Харвингов, стоял Язон с Салой на руках. И только взобравшись вверх по склону, Лэрд увидел, что еще с ними была Юстиция — она лежала у ног Язона, сжавшись, словно убитый зверек. Но она не была мертва; тело ее сотрясали судороги.

Язон перехватил вопросительный взгляд Лэрда и объяснил:

— Она заглянула в разум человека на плоту.

— Так, значит, он был жив? — спросил Лэрд.

— Да.

— И ты тоже прочел его мысли?

Язон покачал головой:

— Мне и раньше приходилось бывать рядом с умирающими.

Лэрд посмотрел на Юстицию. Интересно, почему *ей* так захотелось поближе познакомиться со смертью? Язон отвернулся. Юстиция приподнялась на локте и взглянула на мальчика. В уме Лэрда возник ответ: «Я не боюсь знания». Только почему-то ему показалось, что она сказала не все. Лэрд не мог быть в этом уверен, но его не оставляло чувство, будто на самом деле она хотела сказать: «Я не боюсь знания *того, что я натворила*».

— Вы знаете многое, — произнес отец, остановившись у них за спинами. — Что это был за плот? Что это все означало?

Слова потоком хлынули в сознание Лэрда, и он заговорил:

— В верховьях реки из боли сотворили бога, и люди, живущие там, сожгли заживо человека, чтобы умилостивить боль и заставить ее отступить на время.

Лицо отца исказилось от гнева и отвращения:

— Да какой дурак мог в это уверовать?

И снова Лэрд ответил, словами, внушенными ему Язоном и Юстицией:

— Хотя бы тот самый человек на плоту.

— Он был уже мертв! — закричал отец.

Лэрд покачал головой.

— А я говорю — мертв! — Шатаясь, отец побрел прочь и исчез в сгущающихся сумерках.

Когда стихли его шаги, слух Лэрда уловил что-то необычное. Быстрое, тяжелое, прерывистое дыхание. Прошла секунда или две, прежде чем он понял, что это плачет Юстиция, хладнокровная, непоколебимая Юстиция.

Язон произнес что-то на своем родном языке. Она резко ответила что-то и, отстранившись от него, села на траве, уткнувшись лицом в колени.

— Сейчас она успокоится, — сказал Язон.

Сала заерзала у него на руках, и он опустил девочку на землю. Она подошла к Юстиции и погладила ее по вздрагивающему плечу.

— Я прощаю тебя, — произнесла Сала. — Я ни в чем тебя не виню.

Лэрд вознамерился было одернуть сестру — надо же ляпнуть такое взрослому человеку! Хотя Сала часто говорила глупости, у матери иногда даже ладонь вся горела после шлепков, отвешенных непослушной дочке. Но прежде чем он успел вымолвить хоть слово, Язон положил руку ему на плечо.

— Пойдем домой, — мягко сказал он и повел Лэрда прочь. Лэрд оглянулся только однажды и увидел заливаемую лунным светом Юстицию, держащую в объятиях Салу и укачивающую ее, будто это Сала плакала, а Юстиция ее успокаивала.

— Твоя сестра, — промолвил Язон. — Она очень хорошая и добрая.

Лэрд никогда раньше не задумывался об этом, но слова Язона были правдой. Не зная гнева, скора на прощение, Сала росла хорошей и доброй.

Несмотря на дружбу, крепнущую с каждым днем, Лэрд все еще немного стеснялся Язона и побаивался холодной Юстиции, которая вовсе не стремилась изучить язык деревни. Язон и Юстиция прожили у них дома три недели, прежде чем Лэрд набрался мужества спросить:

— А почему ты никогда не разговариваешь со мной при помощи мыслей, как это делает Юстиция?

Язон последний раз провел ножом по черенку лопаты, так что теперь лезвие сидело как влитое. Он продемонстрировал работу Лэрду.

— Ну как?

— Отлично, — кивнул Лэрд. Взяв у Язона лопату, он начал закреплять лезвие гвоздями. — Почему, — спросил он между ударами молотка, — ты не ответил мне?

Язон оглядел сарай:

— Еще какая работа по дереву требуется?

— Нет. Надо будет настрогать лучин, чтобы закоптить мяса на зиму, но это потом. Так почему ты никогда не говоришь со мной мысленно?

Язон вздохнул:

— Всю работу исполняет Юстиция. Я мало что умею.

— Ты слышишь мои мысли, даже когда я не говорю, точно так же, как она. Ты шел... шел вслед за ней, в тот день, когда я впервые вас увидел.

— Я слышу то, что слышу, но все остальное умеет только она.

Лэрду это не понравилось: женщине не положено быть сильнее мужчины. Во всяком случае, в Плоском Заливе такое не приветствуется. На что бы стала похожей жизнь, если бы мать обладала силой отца? Кто бы тогда защищал Лэрда? Да и согласилась бы мать работать в кузне?

«Там, откуда я пришла, — раздался в голове у Лэрда голос Юстиции, — не обращают внимания на то, кто сильнее — мужчина или женщина. Важно одно — как ты распорядишься собственной силой».

Она услышала их из дома. Поскольку ее совсем не интересовало изучение языка, она зачастую избегала их общества, предпочитая прясть вместе с матерью и Салой, которые постоянно пели песни. Если же ей вдруг что-то требовалось объяснить, то Сала не хуже Лэрда могла справиться с этим. И все-таки отсутствие Юстиции вовсе не означало, что ее нет рядом. Это раздражало Лэрда, поскольку он и Язон никогда не оставались наедине, как бы далеко ни уходили, как бы тихо ни говорили. Юстиция наверняка ведь знала, что это раздражает его, и все равно постоянно напоминала о своем незримом присутствии.

Что же касается объяснения Юстиции, то Лэрд вовсе не удивился, что ее народ не видел никакой разницы между полами. Там, откуда прибыли Юстиция и Язон, люди ходили по воде, умели причинять боль и разговаривать друг с другом не раскрывая рта. Так почему бы им не иметь и других странностей? Но Лэрда здесь больше интересовало другое.

— Так откуда же вы все-таки?

Язон улыбнулся, услышав этот вопрос:

— Она не скажет тебе.

— Почему?

— Потому что того места, откуда она родом, уже не существует.

— А ты разве не с нею?

Улыбка Язона померкла:

— То место, где она родилась, было создано мной. А той планеты, откуда я родом, тоже больше не существует.

— Мне не понять ваших загадок и тайн. Откуда же вы все-таки? — Лэрд вспомнил падающую звезду.

Конечно же, Язон сразу прочел его мысли:

— Мы пришли оттуда, откуда ты думаешь.

Значит, они путешествовали меж звезд.

— Тогда почему вы оказались здесь? Во вселенной столько разных мест, почему вы выбрали именно Плоский Залив?

— Спроси-ка лучше у Юстиции, — пожал плечами Язон.

— Чтобы спросить у Юстиции, мне стоит лишь подумать. Иногда она угадывает мои мысли наперед. Я просыпаюсь ночью и чувствую ее присутствие. Всегда кто-то прислушивается к моим сновидениям.

«Мы здесь, — прозвучал ответ Юстиции, — ради тебя».

— Ради сына какого-то кузнеца? Ради какого-то любителя собирать грибы? Что вам от меня нужно?

— То же, что и тебе от нас, — ответил Язон.

— И что же?

«Наша история, — произнесла Юстиция. — Откуда мы, что мы сделали, почему покинули родные места. И почему в мир вернулась боль».

— Вы и к этому причастны?

«Ты знал это с самого начала».

— Но что вы хотите от меня?

«Твои слова. Твой язык. Строчки, написанные на бумаге. Правдивый рассказ, изложенный простыми словами».

— Я не писарь.

«Это твое достоинство».

— Но кто будет читать написанное мной?!

«Это будет правдивая история. Видящие правду прочтут ее и поверят».

— И что с того?

На этот раз ответил Язон:

— После этого не будет больше горящих плотов, спускающихся вниз по реке.

Лэрд вспомнил обгоревшего человека, принесшего себя в жертву боли ради вымышленного бога. Лэрд еще сам не понял, добро или зло несут в себе Язон и Юстиция — привязанность к Язону тревожила еще больше. Но добро ли, зло ли — такой выход всяко лучше, чем пытки во имя Господа. Хотя он так и не понял, от него-то чего добиваются?

— Я никогда не исписывал больше страницы за раз, никто не читал ничего, кроме написанного мною имени, а ведь во вселенной обитают миллионы миллиардов людей. Вы так и не объяснили, почему именно я?

«Потому что наша история должна быть изложена простым языком, чтобы стать доступной всем простым людям. Она должна быть написана здесь, в Плоском Заливе».

— Таких деревень, как Плоский Залив, миллионы.

«Но я знала Плоский Залив. Знала тебя. А всех остальных знакомых мне мест больше не существует, куда же еще могла я направиться, чтобы найти новый дом?»

— Откуда тебе стало известно об этой деревне? Ты что, бывала здесь раньше?

— Все, хватит, — перебил поток вопросов Язон. — Она и так сказала тебе больше, чем следовало.

— Но откуда я знаю, что мне делать? Да и смогу ли я написать то, что вы требуете? И *следует ли* мне писать это?

За него Язон решать не мог:

— Это как ты пожелаешь.

— А в вашей повести будет объяснено, что все это значит? Почему умерла Клэни, почему вообще такое случилось с нами?

«Да, — ответила Юстиция. — Кроме того, будут даны ответы на такие вопросы, о существовании которых ты еще даже не подозреваешь».

Работа Лэрда началась, когда ему начали сниться очень странные сны. Он просыпался по четыре, по пять, по шесть раз за ночь и все с большим изумлением оглядывал бревенчатые стены, земляной пол и узенькую лестницу, ведущую на второй этаж к крошечным комнаткам для постояльцев. Огонь, рвущийся из камина. Кошка, потягивающаяся в тепле дома. Растянутые на распорках овечьи шкуры, которые пойдут на пергамент. Ткацкий станок в углу — естественно, единственный на всю деревню, этот станок стоял именно в доме кузнеца и хозяина гостиницы. Все это Лэрд видел с раннего детства, но после сновидений все казалось новым, незнакомым. Первая реакция — изумление, а затем наступала неприязнь. Ведь по сравнению с тем миром, что показывала ему во снах Юстиция, гостиница отца выглядела грязной, отвратительной, бедной и убогой.

«Это не мои воспоминания, — объяснила ему Юстиция. — Те сны, что я шлю тебе, пришли из прошлого Язона. Ты должен понять его мир, иначе как ты напишешь его историю?»

И все ночи напролет Лэрд бродил по чисто-белым коридорам Капитолия, где не смела оседать даже пыль. То там, то здесь коридоры выходили в ярко освещенные пещеры, полные народа, — Лэрд даже не представлял, что людей может быть так много. Однако вместе со сновидением приходило знание, что это всего лишь малая часть жителей того мира. Ибо коридоры пронизывали планету насквозь, углубляясь в самые недра — нетронутыми оставались лишь жалкие остатки некогда могучего океана. Именно там нашли прибежище последние обитатели животного мира Капитолия. Порой встречались маленькие садики с ухоженными, искусственно выращенными растениями, — не более чем пародия на природные леса, попытка сохранить в памяти хоть частицу прежнего мира. В них можно было искать грибы до скончания веков и не найти ничего, поскольку все, что в этих садиках росло, было заранее просчитано и предопределено.

Здесь он впервые увидел поезда, летящие по трубам от станции к станции; в своих снах Лэрд обладал странным гибким диском, при помощи которого можно было делать все что угодно: стоило ввести диск в специальную узкую щель, и Лэрд мог ездить на поездах, проходить через двери, оказываться в будках, внутри которых люди из далекого далека говорили с тобой, что-то рассказывали. Лэрд слышал о таких устройствах, но никогда раньше их не видел, поскольку жизнь в Плоском Заливе велась простая, непритязательная. Эти воспоминания были настолько реальны, настолько затягивали его, что как-то раз, идя по лесу походкой человека, проведшего всю жизнь в подземных переходах, он вдруг наткнулся на следы дикой свиньи и страшно удивился, поскольку на этажах Капитолия живые звери перевелись давным-давно.

После того как он немножко свыкся с неведомым доселе миром, сновидения превратились в связные рассказы.

Он видел актеров, чьи жизни записывались на забаву другим людям, причем записывалось даже то, что обычно совершается либо темной ночью, либо в запертой комнате. Он познакомился с оружием, которое пробуждает в людях жажду убийства — эта жажда горела в их глазах подобно яркому пламени. Жизнь Капитолия была жизнью осеннего листа, зацепившегося за край ограды ветреным днем.

И нигде смерть не ощущалась так остро, как в катакомбах Спящих. Снова и снова Юстиция демонстрировала ему людей, лежащих на стерильных постелях. Их воспоминания превратились в мыльные пузыри, и теперь они покорно ждали секунды, когда безмолвные служащие впрыснут смерть им в вены. Смерть в виде сомека, смерть, отсроченная на время, — смерть, пока замерзшие тела не восстанут из своих гробниц. Годы спустя молчаливые служащие будили Спящих, возрождали их воспоминания, и тогда люди вновь возвращались к жизни, гордясь собой так, будто достигли чего-то важного.

— Чего они боятся? — как-то раз спросил Лэрд у Язона, пока они готовили колбасу в кладовой, где хранились мясные припасы.

— Ну, прежде всего смерти.

— Но ведь они так и так умрут! Этот постоянный сон не прибавит им и денька жизни!

— Даже часа не прибавит. Всех нас ожидает одна и та же участь. — И он подвесил к потолку очередной кусок овечьих кишок, туго набитых мясом.

— Тогда почему? В этом нет никакого смысла.

— Дело в том, что важные люди Спят дольше и просыпаются реже. Поэтому они умирают сотни и сотни лет спустя.

— А как же друзья, близкие?

— В этом-то вся и суть.

— Зачем же жить, когда все твои друзья уже умерли?

— Извини, это вопрос не ко мне, — расхохотался Язон. — Я и сам всегда считал вечный сон дурацкой затеей.

— Так почему же они продолжали принимать сомек?

Язон лишь пожал плечами:

— Что тебе сказать? Я не знаю.

И тогда Лэрд услышал голос Юстиции: «Нет на свете таких глупостей, опасностей или страданий, на которые не пошли бы люди в надежде, что это возвысит их в глазах остальных, придаст им силы или почета. Я видела, как человек отравляет себя, уничтожает собственных детей, унижает ближнего, отрезает себя от мира — и все это делалось ради того, чтобы остальные сочли, будто он — Высшее создание».

— Но только настоящий выродок может так думать!

— С тобой многие бы согласились, — сказал Язон.

«Но такие люди не принимают сомек, — заметила Юстиция. — Они отрицают сон, поэтому проживают положенный век и умирают, тогда как те, кто живет исключительно ради чести и могущества сна, те, кто считает, что сомек — это вечная жизнь, — эти люди презирают отвергнувших сомек».

У Лэрда все это не укладывалось в голове. Неужели люди могут быть такими глупыми? Но Язон рассказал, что на протяжении многих тысячелетий вселенной правили люди, посвятившие жизнь служению сну и принимающие мнимую смерть как можно чаще, лишь бы отдалить момент, когда наступит сон, конца которому не будет. Да и как Лэрд может сомневаться в этом? Его сновидения о жизни на Капитолии были абсолютно ясны, а воспоминания — необыкновенно реалистичны.

— А где находится этот Капитолий?

— Его больше нет, — ответил Язон, перемешивая перченое, острое мясо, прежде чем сунуть очередную горсть его в толстую кишку.

— Что, целая планета вдруг взяла и исчезла?

— Остался лишь голый камень. Металлическое покрытие было уничтожено уже давно. Теперь там нет ни почвы, ни морской жизни.

«Ну, пройдет пара миллиардов лет, — встряла Юстиция, — и может, этот мир еще изменится».

— А куда подевались люди?

— Это часть той истории, которую ты напишешь.

— Это вы с Юстицией уничтожили Капитолий?

— Нет. Это сделал Абнер Дун.

— Так, значит, Абнер Дун действительно существовал?

— Я лично знал его, — кивнул Язон.

— И он был обыкновенным человеком?

— Скоро ты напишешь о том, как мы с Абнером Дуном встретились. Юстиция расскажет тебе об этом во сне, а когда ты проснешься, то все подробно изложишь на бумаге.

— Что, Юстиция тоже знала Абнера Дуна?

— Юстиции всего двадцать лет. А мы с Абнером Дуном познакомились где-то... пятнадцать-шестнадцать тысячелетий назад.

Лэрд было подумал, что Язон, который хоть и не часто, но все же допускал ошибки, перепутал цифры, но Юстиция заявила, что все правильно. «Именно так все и было, — сказала она. — Последние десять тысяч лет Язон проспал на морском дне, да и до этого не раз погружался в сон».

— Так ты... ты тоже пользовался сомеком, — еле выговорил Лэрд.

— Я был пилотом космического корабля, — объяснил Язон. — В те времена наши корабли были куда медленнее, чем нынешние. И мы, пилотирующие их, мы были единственными, кто действительно нуждался в сомеке.

— Но сколько же тебе лет?

— Еще до того, как на эту планету ступила нога человека, я был уже стар. А что, это имеет какое-то значение?

Лэрд не знал, как выразить обуревающие его чувства, а потому спросил о том, что было бы ему более понятно:

— Так ты Бог?

Язон не рассмеялся, услышав такую глупость. Вместо этого он задумался. Ответила Юстиция: «Всю свою жизнь я звала его Богом. Пока не узнала поближе».

— Но как ты можешь быть Богом, если Юстиция обладает куда большими возможностями, чем ты?

«Я его дочь, между нами пять сотен поколений. По-моему, достаточное время, чтобы дети Бога чему-то да научились».

Лэрд взял из рук Язона вереницу маленьких колбасок и повесил ее над огнем коптиться.

— Знаешь, мне никто не говорил, что Бог умеет делать колбаски.

— Это так, мелочь, чему только не научишься за долгую жизнь.

Был уже полдень, поэтому они направились в дом, где мать молча подала им блюдо с сыром, буханку горячего хлеба и сок перезрелых яблок.

— Вкуснее даже на Капитолии не едал, — отметил Язон, и Лэрд, припомнив безвкусную пищу, которой пичкали Язона в детстве, охотно согласился.

— Так, — сказал Язон. — Осталась последняя стадия подготовки, и ты можешь приступать к написанию книги. Но сейчас нам нужны чернила.

— Старый писарь оставил немножко, — напомнил Лэрд.

— Коровья моча, — скривился Язон. — Я научу тебя делать чернила, которые продержатся очень и очень долго.

Услышав это, мать не могла скрыть недовольство.

— В доме столько работы, — сказала она, — а ты забиваешь Лэрду голову всякими дурацкими затеями. Тоже мне важность — чернила!

Язон улыбнулся, но взгляд его был тверд:

— Тано, я трудился наравне с твоим сыном. Снег еще не выпал, а у вас уже столько запасов на зиму, сколько вы никогда не видывали. Кроме того, я заплатил за прожива-

ние, тогда как на самом-то деле это вы должны платить мне за мою работу. Предупреждаю, не упрекай меня в том, что мы с твоим сыном зря тратим время.

— Ты меня *предупреждаешь*?! И что ж ты со мной сделаешь, если я ослушаюсь, — убьешь под моей же крышей? — съязвила она, надеясь затеять свару.

Но его слова жалили, словно пчелы:

— Не стой у меня на пути, Тано, иначе я расскажу твоему мужу, что не он один в этом доме раздувал огонек в потайном горне. И опишу, какие именно путники качали мехи и подбрасывали поленья, дабы огонь твой не угасал.

Глаза матери округлились, и, резко умолкнув, она снова принялась крошить турнепс для супа.

Это ее смирение было настоящим признанием поражения. Лэрд смотрел на нее с презрением и страхом. Он думал о своем худеньком тельце и узких плечах, думал, какой же путник зачал его. «Что украла ты у жизни?» — мысленно спрашивал он мать.

«Ты сын своего отца, — раздался голос Юстиции. — И Сала тоже была зачата им. Те, кто охранял вас от боли, следили и за тем, чтобы незаконнорожденные дети не появлялись на свет».

Утешение было слабым. Мать всегда относилась к нему холодно, он боялся ее, но никогда даже не думал, что она умеет лгать и изворачиваться.

— Ну, Тано, что скажешь о моих успехах? Научился я языку? — бодро поинтересовался Язон.

— Иди, делай свои чернила, — хмуро буркнула мать. — Чем меньше времени ты будешь проводить в доме, тем лучше.

«Знаешь, мама, в последнее время мне тоже здесь что-то разонравилось».

На прощание Язон легонько чмокнул Юстицию в щечку. Юстиция молча проводила его горящим взглядом. Выйдя на улицу, Язон объяснил Лэрду:

— Юстиция терпеть не может, когда я начинаю играть на страхах и тем самым подчиняю себе людей. Она считает, что это дурно и отвратительно. Она-то привыкла управлять людьми, незаметно изменяя их желания, чтобы им даже в голову не пришло ослушаться ее. А я вот думаю, что это плохо отражается на умственных способностях и превращает людей в животных.

Лэрд молча пожал плечами. Мать разрешила ему заняться чернилами, это главное — не важно, как этого добились Язон и Юстиция.

Язон собирал со стволов древесные грибы и клал к себе в сумку, поручив Лэрду наломать ветвей шиповника и набить ими другую котомку. Коварные кусты так и норовили вцепиться шипами ему в руки, но он не жаловался, даже испытывал удовольствие, снося боль без малейшего стона. Ближе к сумеркам, уже по пути домой, Язон остановился у одной сосенки и соскреб с нее смолы, наполнив предусмотрительно захваченную плошку.

Грибы они сварили, порезали на кусочки, отварили снова и отлили полученную черную жидкость в отдельную миску. Раздавив в ней мелко накрошенные ветви терновника, они снова ее процедили, затем добавили сосновую смолу и поставили на огонь, где она и бурлила около часа. В конце концов, в последний раз пропустив ее сквозь холст, они получили две пинты блестяще-черных чернил.

— Они сохраняют яркость на протяжении целого тысячелетия, а надпись, сделанную ими, можно прочитать и через пять тысяч лет. Скорее пергамент обратится в пыль, чем исчезнут чернила, — сказал Язон.

— Где ты научился делать такие хорошие чернила?

— А где ты научился делать такой тонкий пергамент? — в ответ спросил Язон, беря из рук Лэрда лист. — Сквозь него мою руку видать.

— Ну, как сделать пергамент, знает каждый, — хмыкнул Лэрд. — Овцы носят его секрет на теле, до самой смерти, и делятся им с нами, когда мы свежуем их.

Той ночью Лэрду снилось, как Язон впервые встретился с Абнером Дуном. Как Бог повстречался с Сатаной. Как жизнь сошлась со смертью. Как Создатель столкнулся с разрушителем. Сон принесла ему Юстиция; извлекла она этот сон из дальних уголков памяти Язона. Воспоминания о воспоминаниях о воспоминаниях — вот что вертелось в уме у Лэрда, когда на следующее утро дрожащим пером он вывел первую строку.

Глава 3

КНИГА ДРЕВНИХ ВОСПОМИНАНИЙ

Вот как начал Лэрд свою книгу:

«Я — Лэрд из Гостиницы Плоского Залива. Я не писарь, но читал книги и знаком с буквами, связками и окончаниями. Поэтому хорошими свежими чернилами на изготовленном собственноручно пергаменте я пишу эту повесть, историю, которая на самом деле принадлежит не мне. Это воспоминания о снах, в которых мне приснилось детство другого человека, и сновидения эти были посланы мне, дабы я мог изложить историю его жизни. Прошу прощения, если я плохо пишу, ибо не часто мне приходилось заниматься этим делом. Я не обладаю стилем Симола из Грэйса, хотя и мечтаю, чтобы мое перо могло выводить такие изящные фразы, какие придумывает он. Но я умею лишь излагать все просто, как есть, — что я и делаю.

Имя того мальчика, о котором я вам расскажу, — Язон Вортинг, в ту пору его звали просто Джэйс, никому ведь и невдомек было, кто он такой и кем ему суждено стать. Он жил на мертвой ныне планете Капитолий, сотворенной из стали и пластика. Этот мир был настолько богат, что дети там ничего не делали — только ходили в школу да играли во всякие игры. Этот мир был настолько беден, что ни одного колоса не росло на земле, поэтому жителям его приходилось есть то, что присылали с других планет на огромных космических кораблях».

Лэрд перечитал написанное и остался доволен и испуган одновременно. Он был доволен тем, что ему удалось собрать вместе столько слов за раз. Тем, что повесть начиналась, как самая настоящая книга. А испуган, потому что знал, насколько он необразован: истинные писари непременно сочтут это детским лепетом. «Я и есть дитя».

— Ты мужчина, — возразил Язон. Он сидел на полу, привалившись к стене, и шил кожаные башмаки, которые сам вызвался сделать отцу. — И книга твоя получится — главное, чтобы в ней ты говорил только правду.

— Но вдруг я чего забуду?

— А ты и не обязан запоминать все до мельчайших подробностей.

— Мне иногда снится такое, чего я даже не понимаю.

— От тебя никто не требует, чтобы ты все понимал.

— Но откуда мне тогда знать, что правда, а что нет?

Язон расхохотался, пропустил длинную, толстую иглу сквозь кожу и затянул стежок.

— Это твои воспоминания о твоих же снах, о воспоминаниях Юстиции о хранящихся в моей памяти событиях, которые произошли со мной в далеком детстве, проведенном на планете, которая погибла более десяти тысяч лет назад. Чем еще это может быть, если не правдой?

— И с чего мне начать?

Язон пожал плечами:

— Мы выбирали не слепое орудие, мы выбирали человека, который изложит нашу историю на бумаге. Начни сначала, с самого важного.

Сначала? С самого важного? Лэрд быстро перебрал в уме то, что помнил о жизни Язона. Что же здесь важно? С чего начать? Страх и боль — вот что казалось сейчас самым важным Лэрду, ведь в детстве своем он никогда и ничего не боялся и не испытывал боли, не то что сейчас. И важнее всего — первый страх, первая боль, которые Язон пережил, чуть не распрощавшись с жизнью из-за какой-то сданной на «отлично» контрольной работы.

Случилось все на уроке, на котором изучалось движение и энергия звезд. Лишь несколько сотен из всех тринадцатилетних детей Капитолия проявили достаточные способности, чтобы быть допущенными к этой дисциплине. Джэйс наблюдал за задачами, возникающими над его партой, — маленькие звездочки и галактики кружили прямо перед ним, он мог держать в руках целую вселенную. Прямо под звездами возникал текст задания, и Джэйс набрал на клавиатуре ответы.

С подобными задачками Джэйс справлялся без труда. Учился он хорошо, и чем меньше оставалось вопросов, тем увереннее он становился: контрольная работа оказалась не из сложных. Застрял он на самом последнем вопросе. Он был абсолютно не связан с остальными задачами. К такому вопросу Джэйс был не готов. И все же тщательно проанализировав задачу, он подумал, что знает, какой может быть ответ. Он начал расчеты. В конце концов все уперлось в одну-единственную цифру. Вроде бы он знал, какой она должна оказаться, однако понятия не имел, как это доказать. Еще год назад он похвалил бы себя за догадку и без малейших колебаний ввел ответ. Но сейчас все изменилось. У него появилась возможность проверить собственную правоту.

Он посмотрел на преподавателя. Взгляд Хартмана Торрока блуждал по комнате. Джэйс стал осторожно перестраивать свое сознание. Секунду он привыкал к новому видению мира — возникло ощущение, будто он долго всматривался в какую-то точку перед собой, а потом внезапно перевел взгляд на что-то вдали. Его мысленный взор проник в глубины мозга Хартмана Торрока. Теперь Джэйс различал мысли учителя так ясно, словно сам думал о том же. В данный момент все помыслы преподавателя крутились вокруг женщины, которая поссорилась с ним сегодня утром. Он представлял себе, как ее тело могло бы содрогаться под ним от удовольствия и боли нынче ночью. Им овладевали грязные желания — подчинить ее себе, сделать подобием собственного языка, чтобы говорила она лишь о том, о чем думает он, и умолкала, когда того захочет он. Джэйсу Хартман Торрок никогда не нравился, теперь он его просто презирал. Мысли Торрока доставляли мало удовольствия.

Джэйс быстро миновал слой настоящих мыслей Торрока и ловко углубился в дебри невостребованных воспоминаний, разыскивая знания касательно звезд и их движений, перебирая память в поисках значения незнакомой цифры. Все это он проделывал с такой легкостью, словно копался в собственных воспоминаниях. Наконец перед ним возникла точная цифра, вплоть до четырнадцатого знака после запятой. Он извлек ее из мозга Торрока и ввел результат в электронную книжку. Список задач закончился. Контрольная работа выполнена. Он ждал.

Оценка была отличной — он набрал наивысшее число баллов. И все же над партой Джэйса возникло красное мерцание. Это означало, что тест провален. Либо компьютер дал сбой, либо зафиксировал какой-то обман. Торрок с обеспокоенным видом поднялся и поспешил к Джэйсу.

— В чем дело? — осведомился преподаватель.

— Понятия не имею, — ответил Джэйс.

— Сколько баллов ты набрал? — Он взглянул на результат — наивысшая оценка. — Так в чем же дело?

— Понятия не имею, — еще раз повторил Язон.

Торрок вернулся к собственному столу. Он что-то тихо бормотал себе под нос. Джэйс, как всегда, принялся считывать его мысли. И в самом деле, ошибся Торрок. Последнего вопроса не должно было быть в контрольной работе. В нем шла речь о тайнах, которых детям не полагалось знать. Торрок написал текст задачи прошлой ночью, намереваясь включить ее в завтрашний экзамен учеников-выпускников. Вместо этого он поставил ее в контрольную работу для начинающего класса. Джэйс вообще не должен был ответить на поставленный вопрос, и уж тем более ответить правильно. Верный ответ означал одно — каким-то образом он исхитрился списать.

«Но откуда он мог списать, у кого спросить? — думал Хартман Торрок. — В этой комнате никто не знал ответа, кроме меня самого! А я даже словом не заикался о задаче».

«Каким-то образом этот мальчишка выкрал у меня правильный ответ, — продолжал думать Торрок. — А подумают-то, что это я ему сказал, что обманул оказанное доверие, что нельзя мне открывать никаких тайн. И меня накажут. Лишат привилегий сомека. Как же этот мальчишка ухитрился узнать ответ? Как он это проделал?»

И тут Торрок вспомнил один весьма и весьма неприятный штришок из биографии Джэйса Вортинга — вспомнил о его отце. «Чего же еще ждать от сына Разумника?! — восторжествовал Торрок. — Он узнал мою тайну, поскольку он истинный сын своего отца».

Джэйс даже вздрогнул, ибо больше всего на свете боялся, что именно так учитель и подумает. Мальчика с детства пугали историями о его отце. Гомер Вортинг, чудовище в человеческом обличье, главарь Восстания Разумников, самый беспощадный и жестокий убийца за всю историю че-

ловечества. Он погиб на расстоянии многих световых лет от Капитолия, задолго до того, как мать Джэйса решила зачать ребенка. К тому времени война с Разумниками была закончена. Но и по сей день вся вселенная проклинала и страшилась избежавших расправы Разумников — о них ей напоминала память о восьми миллиардах человек, которых отец Джэйса спалил одной адской вспышкой.

Сначала Разумников никто не трогал. Но вот наступил момент, когда в, казалось бы, бесконечной войне между Империей и Восставшими (или между Узурпаторами и Патриотами — определение зависело от того, на чьей стороне вы находились) обе стороны начали использовать пилотов-телепатов. Последствия этого замысла были воистину кошмарны — люди, не обладающие телепатическими способностями Разумников, быстро оказались не у дел, так что та и другая стороны вскоре осознали, что Разумники, которые могли связываться друг с другом посредством силы мысли, вполне могут объединиться и против Империи, и против Восставших, сместить правительство и завладеть сомеком, а следовательно, и всей бюрократической машиной. В общем, было вынесено решение, что до тех пор, пока обычные люди не будут точно знать, что у Разумников на уме, этим проклятым телепатам не следует, да и просто нельзя доверять космические корабли.

По сути дела, пилоты-Разумники действительно намеревались в скором времени покончить с войной, примирив враждующие стороны. Когда же Империя и Восставшие попытались отстранить Разумников от командования, те сочли, что возможность добиться своего еще вполне реальна. Они захватили суда и объявили, что оба правительства распущены. В ответ Империя и Восставшие на какое-то время объединили свои усилия, дабы каленым железом выжечь телепатов. Сначала пилоты-Разумники только отступали. Даже несмотря на то, что каждого плененного Разумника

немедленно убивали, они пытались избежать кровопролития, надеясь вначале на победу, затем — на компромисс, а в самом конце — на милосердие. Однако во вселенной им места не было; Разумники должны были умереть. Гомера загнали в угол, и надежды на бегство у него не оставалось. Тогда-то он и принял решение унести с собой в могилу восемь миллиардов человек.

«И я его сын».

Воспоминания в один миг пронеслись перед мысленным взором Язона Вортинга. Хартман Торрок даже не догадывался, что происходит за непроницаемой маской, в которую превратилось лицо Джэйса.

— Анализ крови, — произнес Торрок.

Язон запротестовал, требуя объяснения причин.

— Вытяни руку.

Джэйс подчинился. Он знал, что анализ ничего не покажет. О, как они были умны, эти ярые ненавистники Разумников. Ученые были уверены в том, что способность проникать в разум другого человека переходит от матери к детям, она пассивна в дочерях, чтобы проявиться в сыновьях. У матери Джэйса ген Разумника не обнаружили, поэтому и у Джэйса его не могло быть, да и не было. И все-таки он обладал даром Разумника, он *видел*, что творится в умах людей. Он прекрасно понимал, что когда-нибудь кто-нибудь догадается, что, возможно, дар телепатии можно перенять не только от матери, но и от отца — вместе с глазами, голубыми, как грудка сизокрылки. Дар проникать внутрь людского разума проснулся в нем не сразу — он пришел, подобно волосяному покрову на теле, проступающему в период возмужания. Впервые заметив, что происходит, он страшно перепугался, ему показалось, что он сходит с ума. Однако позднее он понял, что невозможное свершилось: он унаследовал проклятие своего отца. Одна эта мысль приводила в ужас — насколько он похож на отца, на этого монстра-убийцу? И все-таки от дара Разумника было не так легко

отказаться. Он старался действовать как можно осторожнее, постоянно заставлял себя притворяться и делать вид, будто понятия не имеет о тайнах, выведанных в умах других людей. Проще всего было вообще не заглядывать к ним в разум. Но тогда он ощущал себя калекой, чьи ноги только что вылечили — как это можно не сорваться с места и не побежать, теперь, когда он знает, что ему это по силам?! За эти месяцы — или с тех пор минул уже год? — он научился осмотрительности, одновременно овладев искусством контроля и управления данной ему силой. А сегодня он позабыл про осторожность. Сегодня он показал, что знает то, чего в принципе не может знать.

«Но я же не из разума Торрока взял эту цифру, — успокаивал он себя. — Я всего лишь *подтвердил* ее, прояснил. А ответ сам высчитал».

Джэйс чуть не сорвался и не крикнул об этом вслух — «Я сам додумался до ответа на последний вопрос!» — но вовремя спохватился и прикусил язык. Торрок еще не объяснил ему, в чем дело. «Не наделай глупостей, — приказал себе Джэйс. — Ни в чем не сознавайся, если не хочешь распрощаться с жизнью».

Спустя секунду пришли результаты анализа, ряды циферок побежали над учительским столом, растворяясь в воздухе, похожие на стадо овец, утекающее за забор загона. Реакция отрицательная. Отрицательная. Отрицательная. Никаких признаков телепатического дара Разумника в Джэйсе.

За исключением одной маленькой детальки. Мальчик не мог знать ответ на вопрос.

— Ладно, Джэйс. Как ты это провернул?

— Что именно? — поинтересовался Джэйс. «Ну, как у меня получается врать? Старайся, Джэйс, старайся, от этого зависит твоя жизнь».

— Как справился с последним вопросом? Мы не проходили этого. Я не полный идиот: давать такой мелюзге теорему Крэка.

— А что такое теорема Крэка?

— Кончай прикидываться, — процедил Торрок. Он коснулся клавиатуры и вызвал на дисплей ответ Джэйса на последний вопрос. Один ряд чисел он специально выделил, отметив светящейся полоской. — Откуда тебе известна величина изгиба прямой на переходе к сверхсветовой скорости?

— Но никакое другое значение сюда не подходило, — совершенно искренне ответил Джэйс.

— И ты указал его с точностью до четырнадцатого знака после запятой? Двести лет ученые ломали головы, чтобы определить суть проблемы, а после этого лучшие математики Империи долгие годы корпели над расчетами, вычисляя точное значение получающейся дуги для *пяти* участков. Результат был получен всего пятьдесят лет назад — некоему Крэку удалось просчитать и доказать эту цифру до четырнадцатого знака. И ты хочешь сказать, я поверю, будто бы ты, сидя за этой партой, за каких-то пять минут раскусил проблему?!

До этой секунды остальные ученики упорно отводили взгляды от своего товарища. Теперь же, услышав, что Джэйсу известно значение теоремы Крэка и он умеет использовать его при решении задач, они глазели на одноклассника с благоговейным ужасом. Пускай он смошенничал, где-то разузнал цифру, зато он знал, как с ней *обращаться*, тогда как они только-только приступили к поверхностному ознакомлению с трудами Ньютона, Эйнштейна и Ахмеда. Всем сердцем они ненавидели Джэйса и желали ему смерти. Ведь он выставил их такими дураками, считали они.

Торрок тоже заметил взгляды других учеников и резко понизил голос:

— Не знаю, парень, откуда ты взял величину дуги, но если кто вдруг подумает, что это я объяснил тебе теорему, чего, клянусь Господом, я не делал, моя работа полетит к черту. К черту полетит мой *сомек*, срок сна у меня и так небольшой, всего лишь год в сомеке и три наверху, но это

же только *начало. Я спящий*, и тебе не отнять у меня мои привилегии.

— Не знаю, о чем вы говорите, — сказал Джэйс. — Я сам произвел все расчеты. Не моя вина, что величину дуги без труда можно было определить, основываясь на сформулированном вами вопросе.

— Да, определить можно было, но не с точностью до четырнадцатого знака, — прошипел Торрок. — А теперь выметайся отсюда, но завтра постарайся не опаздывать, у кое-кого наверняка возникнут вопросы к тебе. И мать твою порасспросим, потому что я *знаю, кто ты такой*, и к дьяволу анализ, я и без медицинских склянок докажу это. Ты умрешь у меня на глазах, я не позволю тебе разрушить мою жизнь.

Они никогда не испытывали симпатии друг к другу, и тем не менее злость учителя потрясла Джэйса. Он даже представить себе не мог, как это взрослый человек может в открытую заявить, что желает Джэйсу смерти. Он перепугался, словно маленький ребенок, повстречавший в лесу зубастого серого волка. Перед его глазами вставали оскаленные острые клыки, исходящая пеной пасть, и слышалось низкое, глухое рычание, рождающееся в утробе хищника.

И все же он обязан притворяться и дальше, будто даже не подозревает, какого именно признания пытается добиться Торрок.

— Мистер Торрок, я ничего не списывал. И раньше никогда этим не занимался.

— На всем Капитолии всего тысяча-другая людей умеет обращаться с данной величиной, мастер Вортинг. Однако миллионы наших соотечественников без труда справятся с задачей осведомления Маменькиных Сынков насчет человека, который ведет себя очень похоже на Разумника.

— Так вы обвиняете меня в...

— Ты и сам прекрасно знаешь, в чем я тебя обвиняю.

«Знаю, — про себя согласился Джэйс. — Знаю и то, что ты до смерти напуган, что ты считаешь меня подобием отца, думаешь, я убью тебя на месте, а ведь я всего лишь маленький мальчик, беспомощный юнец...»

— Готовьтесь к проверке, мастер Вортинг. Так или иначе, но мы узнаем, откуда ты взял эту величину — честным путем ты бы никогда ее не вычислил.

— Это вы так считаете!

— Только не до четырнадцатого знака.

«Да. Только не до четырнадцатого знака».

Джэйс поднялся и покинул классную комнату. Одноклассники старательно прятали глаза до тех пор, пока он не повернулся к ним спиной. И тогда взгляды, подобно буравчикам, вонзились в него. Неизбежное случилось, беда свалилась на голову ниоткуда, ведь все шло так мирно, он просто увлекся контрольной работой, над которой сейчас бились остальные ученики. «Что же я натворил?!»

Он приложил ладонь к считывающему устройству трубопровода, и двери распахнулись, пропуская его. По пути домой из школы он, как правило, не спешил. В это время дня народу в «червяке»-поезде было немного, а значит, дорога была опасна для жизни — на тех уровнях, где приходилось жить Джэйсу с матерью, скрывалось множество преступников, которых называли «стенными крысами» и которые в последнее время так осмелели, что врывались в поезда, грабили и убивали кого попало. Поезд огромной змеей скользил по туннелям, и Джэйс пробрался по нему, пока не оказался в вагоне, где сидело несколько человек. Пассажиры с подозрением уставились на него. Он только теперь осознал, что он уже далеко не маленький мальчик. Поэтому его, как и всякого незнакомца, начинают сторониться и опасаться.

Мать ждала его. Все как всегда, каждый раз, приходя домой из школы, он заставал ее за одним и тем же занятием —

сидя на стуле, она ждала его. Если бы он не знал, что она все еще работает, все еще зарабатывает те жалкие гроши, на которые они влачили свое существование, он мог бы подумать, что она садится напротив двери сразу после его ухода в школу и сидит так все время, пока он не вернется. Ее лицо казалось безжизненным, как у марионетки. Только после того как он поздоровался с ней и улыбнулся, уголки ее рта дрогнули; улыбнувшись в ответ, она медленно поднялась.

— Голоден? — спросила она.

— Не очень.

— Что-то случилось?

Язон пожал плечами.

— Давай я вызову меню.

Она ткнула пальцем в кнопку вызова. Меню в тот день не отличалось особым разнообразием — впрочем, как и всегда.

— Рыба, птица, мясо.

— Точнее, водоросли, бобы и человеческое дерьмо, — прокомментировал Джэйс.

— Надеюсь, ты не от меня научился так выражаться, — заметила мать.

— Извини. Мне рыбу. А вообще заказывай что хочешь.

Она набрала заказ. Затем принесла маленький столик, облокотилась на него и посмотрела на Джэйса, забившегося в угол комнаты.

— Что случилось?

Он рассказал.

— Но это же нелепица какая-то, — возмутилась мать. — Ты не можешь обладать генами Разумника. Меня подвергали обследованию трижды, прежде чем позволили родить от Гоме... от твоего отца. Я тебе об этом уже рассказывала, еще в детстве.

— Для них это не довод.

Для матери тоже, сделал вывод Джэйс из ее явного беспокойства, граничащего со страхом.

— Не волнуйся, ма. Ничего они не докажут.

Мать пожала плечами и закусила ладонь. Джэйс терпеть не мог, когда она это делала — подносила руку ко рту и прикусывала ладонь зубами. Он поднялся с пола, подошел к спальной стенке и опустил свою кровать. С размаху бросившись на нее, он вперился взглядом в потолок. В узорах плиток на потолке ему с самого детства виделось лицо. Когда он был совсем малышом, этот человек являлся ему во сне. Иногда он казался чудовищем, грозящим поглотить маленького Джэйса. Иногда это был его отец, который улетел куда-то далеко-далеко, но по-прежнему присматривает за ним. Когда Джэйсу исполнилось шесть лет, мать рассказала мальчику, кем был его отец на самом деле, и Джэйс понял, что все его сны оказались правдивы, — это действительно был его отец, и отец его был чудовищем.

Чего же так боится мать?

Джэйс не раз хотел заглянуть в ее разум, но сдерживал себя. Так, случайные, поверхностные мыслишки считывал, но дальше — ни-ни. Его пугало то, как она грызет собственную руку и безвольно оседает на стуле на время, пока его нет дома. Она знала ответы на все вопросы, о чем бы он ни спрашивал ее, но казалась какой-то безразличной ко всему окружающему — он инстинктивно боялся того, что может крыться в ее воспоминаниях, он не хотел этого знать.

Ибо воспоминания других людей воспринимались им чересчур близко к сердцу, как будто все это он пережил сам. Они крепко-накрепко врезались в память, поэтому, задержавшись в разуме другого человека, по прошествии определенного времени он начинал путаться, что принадлежит ему, а что — совершенно посторонней личности. Лежа в постели долгими ночами, он странствовал по близлежащим хибарам — он еще не настолько овладел даром прослушивания, чтобы достигать отдаленных уголков. И никто даже не подозревал о его присутствии. Люди думали свои

думы, что-то вспоминали, видели сны, не зная и не ведая о том, что за ними подглядывают. Ум Джэйса был далеко не девственен — чистый телом, он принимал участие как в роли мужчины, так и в роли женщины в таких изощренных оргиях, которых никак не ожидал от своих тихеньких и скромных соседей. В своих воспоминаниях Джэйс измывался над детьми, убивал человека во время бунта на нижнем уровне, обкрадывал работодателя, совершал акты саботажа, нанося незаметные повреждения системе подачи электричества, — он пережил все наиболее запоминающиеся, болезненные, унизительные поступки людей, в чьи умы он заглядывал. Хуже всего приходилось по утрам, когда он просыпался: каждый раз надо было разбираться, что же он натворил в действительности, а что — только в мыслях.

Ему не хотелось, чтобы воспоминания матери влияли на него подобным образом.

Но она была явно испугана. Она продолжала грызть ладонь, сидя за столом в ожидании ужина. «Почему ты так боишься, что кто-то обвинит меня в способностях Разумника?»

Он не выдержал и заглянул в ее разум. А заглянув, все узнал. Она вышла замуж за Гомера Вортинга еще до восстания, поэтому ее не тронули. Ожидая возвращения мужа, она обычно ложилась в сомек — так поступали все жены пилотов космических кораблей. И вот, в один прекрасный день, когда плоть ее все еще горела после пробуждения, сразу после того, как воспоминания были возвращены ей, участливые люди в белых стерильных одеждах поведали ей, что ее муж погиб, подробно описав, что он натворил перед смертью. Ей казалось, что они расстались всего несколько минут назад, незадолго до процедуры считывания памяти. Он поцеловал ее на прощание, она до сих пор ощущала призрачное, легкое прикосновение его губ — и вдруг оказалось, что он мертв, умер за год до того, как посчитали нуж-

ным разбудить вдову. Он превратился в монстра-убийцу, а она даже не успела зачать от него ребенка.

«Так почему же ты решила родить меня, мама?» В поисках ответа Джэйс заглянул поглубже, напрочь позабыв о своих намерениях выяснить причину ее тревоги. Но разницы и не было: его любопытство и ее страх вели к одной и той же разгадке. Она решила родить ребенка от Гомера, и непременно сына, поскольку отец Гомера, старый Улисс Вортинг, сказал, что она обязана это сделать.

Улисс Вортинг обладал такими же голубыми глазами, какие каждый день видел в зеркале Язон — глубокими, чистыми, без единого пятнышка, голубыми глазами, в которых словно сияло небо живого и благодатного мира. Улисс изучал молоденькую Юол, девушку, которую привел домой знакомиться с отцом космолетчик-сын, а она никак не могла понять, что же такое заинтересовало в ней этого необычного старика.

— Не знаю, — произнес наконец старый Улисс. — Не знаю, сильна ли ты или нет. Сколько останется от былой Юол, когда она свяжет судьбу с Гомером?

— Ну вот, правильно, попугай ее мной, — пошутил Гомер.

«Я не хочу слышать твой голос, — обратился Язон к возникшему из далекого прошлого образу отца. — Я не имею к тебе никакого отношения. У меня нет отца».

— Я не боюсь тебя, — ответила Юол. К кому она обращалась — к Гомеру или к Улиссу? — Может, я сильнее, чем ты думаешь.

Но про себя она думала: «Даже если я лишусь самой себя и стану лишь частицей Гомера, да будет так».

Улисс расхохотался. Как будто прочитав ее мысли, он сказал:

— Не женись на ней, Гомер. Она с радостью готова стать получеловеком.

— О чем мы вообще говорим? — немного нервно рассмеялась Юул.

— Мне плевать, на ком или на чем женится мой сын, — наклонился к ней Улисс. — Он не просит моего благословения и никогда не попросит. Но слушайте внимательно, юная леди. Речь идет о тебе и мне, а вовсе не о нем и тебе. Ты зачнешь от него ребенка, и это непременно должен быть мальчик, у которого будут такие же голубые глаза, как у меня. Если не получится с первого раза, ты будешь рожать до тех пор, пока не родишь того, кого нужно. Я не допущу, чтобы ты оставила меня без преемника только потому, что слишком слаба. Ведь ты бы даже и имени своего не помнила, не шепчи его тебе Гомер на ушко каждую ночь.

Эта речь привела ее в ярость:

— Не вашего ума дело, сколько у меня будет детей, мальчиков или девочек, и какого глаза будут их цвета... Какого цвета глаза! — Она так разозлилась, что даже начала путать слова. Улисс же лишь смеялся ей в лицо.

— Не обращай внимания, — успокоил ее Гомер.

«Не теряй самообладания!» — крикнул подслушивающий Язон.

— Он любит строить из себя эдакого сукина сына, — продолжал Гомер. — Он просто испытывает тебя на прочность, проверяет, сможешь ли ты выдержать его натиск.

— Не смогу, — призналась Юул, в самый последний момент попытавшись обратить сорвавшуюся с губ правду в неловкую шутку.

Улисс же пожал плечами:

— Мне-то что? Роди от Гомера сына с глазами цвета чистого неба, вот и все. И назови его Язоном, в честь моего отца. Мы передаем эти древние имена из поколения в поколение столько лет, что...

— Отец, ты начинаешь утомлять, — произнес Гомер. Произнес нетерпеливо, сделав ударение на слове «утомлять».

Язону захотелось хотя бы на секунду очутиться в прошлом и проникнуть в разум самого Гомера, а не довольствоваться воспоминаниями матери.

— Гомер — это я, — сказал Улисс, — таким же будет сын Гомера.

Вот, значит, какие слова запали ей в душу. «Гомер — моя копия, таким же будет сын Гомера. Роди сына с глазами цвета чистого неба. Назови его Язоном. Гомер — это я, таким же будет сын Гомера».

— Я не убийца, — прошептал Язон.

Мать вздрогнула.

— Но я вижу, что отец...

Она вскочила и кинулась к нему, опрокинув по дороге стул, протягивая к Джэйсу руку, словно пытаясь зажать ему рот.

— Следи за тем, что говоришь, сынок, разве ты не знаешь, что и у стен есть уши?

— Гомер — это я, — громко сказал Джэйс, — таким же будет сын Гомера.

Мать в ужасе воззрилась на него. Он словно назвал по имени глубокий ее страх. Подчинившись воле Улисса, она произвела на свет еще одного Разумника.

— Не может быть, — прошептала она. — От матери к сыну, только так...

— Должно быть, есть в этом мире и другие возможности, — проронил Джэйс, — а не только те, что кроются в X-хромосомах и обретают силу, совместившись с пассивной Y-хромосомой.

Внезапно она сжала руку в кулак и с размаху ударила по губам лежащего Джэйса. Он вскрикнул от боли; кровь залила рот. Он попытался заорать на мать и едва не захлебнулся. Она же отшатнулась и, всхлипывая, впилась зубами в руку, ударившую сына.

— Нет, нет, нет, — повторяла она. — От матери к сыну, ты чист, ты чист, не его сын — мой, не его сын — мой...

Однако, проникнув в разум матери, Язон увидел, что она смотрит на него теми же самыми глазами, которыми смотрела на любимого мужа. Как ни верти, а у Язона было лицо Гомера Вортинга, хорошо известное всем, даже детям, которых запугивали этим человеком-монстром с самой колыбели. Он был моложе, губы были чуточку полнее, глаза — мягче, и все равно это лицо когда-то принадлежало Гомеру. Мать любила и одновременно ненавидела его за это.

Она стояла посреди комнаты, лицом к двери, и Язон увидел: ей кажется, будто на пороге стоит вернувшийся Гомер, будто он улыбается и говорит: «Все уладилось, и я вернулся, чтобы вновь мы были с тобой единым целым». Язон проглотил скопившуюся во рту кровь, слез с кровати, обошел мать и встал перед ней. Она не замечала его. Ее помыслы сосредоточились на любимом муже, который протянул руку, коснулся ее щеки и произнес: «Юол, я люблю тебя», — и тогда она шагнула навстречу к нему, в его объятия.

— Мама, — позвал Язон.

Она вздрогнула; глаза ее прояснились, и она увидела, что сжимает в объятиях не мужа, а сына с разбитыми губами. Она разразилась рыданиями, приникла к нему, оторвала от пола и, заливая его лицо слезами, дотрагиваясь до окровавленных губ, принялась целовать, повторяя и повторяя:

— Прости, прости, прости, что родила тебя, простишь ли ты меня когда-нибудь?

— Я прощаю тебя, — прошептал Язон, — за то, что ты позволила мне родиться.

«Мать безумна, — про себя подумал он. — Безумна и знает, что я обладаю даром проникать в разум других людей. Если на нее как следует поднажать, она все расскажет — и тогда нам конец».

На следующий день ему придется идти в школу. Если он останется дома, он обличит сам себя. Тогда за ним придут прямо сюда и наткнутся на Юол, на жену самого Геме-

ра Вортинга — на Юол, суженую чудовища, так она мысленно называла себя. «О Господи, зачем я полез в ее разум?» — повторял он про себя, ворочаясь с боку на бок. Долгое время ему никак не удавалось уснуть; пришедший наконец сон был прерывист, и Джэйс часто просыпался, все пытаясь придумать выход из, казалось бы, безнадежной ситуации. Спрятаться, превратиться в «стенную крысу»? Он понятия не имел, как люди ухитряются выжить на Капитолии без специального кода на руке — они вынуждены всю жизнь скрываться в вентиляционных шахтах и красть все, что плохо лежит. Нет, он пойдет в школу и с открытым взглядом встретит любую опасность. Доказательств его вины нет. Он *сам* додумался до ответа. Ну, большей частью сам. Так что, пока анализ не покажет в Джэйсе ген Разумника, у Торрока никаких доказательств нет.

Утром он попрощался с матерью и, сев в трубопоезд, продремал всю дорогу до школы. Как ни в чем не бывало он отсидел утренние занятия, съел бесплатный обед, который обычно служил ему основной трапезой за день, после чего появился директор школы и пригласил Джэйса к себе в кабинет.

— А как же история? — спросил Джэйс, пытаясь сохранить на лице беззаботное выражение.

— От остальных занятий ты сегодня освобожден.

Торрок ждал в директорском кабинете, на губах его змеилась довольная улыбка.

— Мы подготовили тебе контрольную работу. Она не труднее той, вчерашней. Только вопросы писал не я. И поэтому ответов не знаю. Кто-то будет постоянно присутствовать рядом с тобой. Если уж вчера ты проявил себя таким гением, сегодня, безусловно, ты без труда повторишь свой успех.

Язон перевел взгляд на директора:

— А мне обязательно заново проходить тест? Вчера я все сделал правильно, почему я обязан снова сдавать контрольную работу?

Директор вздохнул, покосился на Торрока и беспомощно развел руками:

— Против тебя было выдвинуто серьезное обвинение. Эта проверка... она законна.

— Но это ничего не докажет.

— Твой анализ крови... вызывает определенные сомнения.

— Мой анализ крови дал отрицательную реакцию. И ни разу не вызывал никаких сомнений, с тех самых пор как я родился. Я что, виноват, что у меня был такой отец?!

«Да, — согласился про себя директор. — Это нечестно, но...»

— Существует еще несколько способов проверить твои способности, а анализ твоих генов показывает... некие отклонения от нормы.

— Гены у всех разные.

Директор снова вздохнул:

— Вот контрольная работа, мастер Вортинг. Удачи вам.

Торрок улыбнулся:

— Здесь три вопроса. Можешь думать, сколько душе угодно. Хоть всю ночь.

«А может, мне просто извлечь у тебя из памяти твои самые заветные секреты и рассказать их всему миру?» Но Джэйс не осмеливался заглянуть в разум Торрока. Он должен был пройти тест, основываясь исключительно на собственных знаниях. Возможно, на кону стоит его жизнь. Но упорно отказывая себе во всяком знании со стороны, он все же думал: может, все-таки заглянуть в чей-нибудь разум? Чтобы узнать, какую цель преследует эта проверка. Он явственно ощущал свою беспомощность. Торрок мог принуждать его, мог толковать результаты контрольной работы как угодно, а Джэйс был бессилен что-либо поделать.

Сев за парту и вглядевшись в рисунок витающих в воздухе звезд, Джэйс окончательно пал духом. Он даже вопроса толком не понимал. В нем присутствовало два символа,

которых он не знал, а движение звезд было, мягко говоря, несколько необычным. Да кто они такие, чтобы, подобно Господу Богу, распоряжаться его жизнью?

Все время им кто-то повелевал и распоряжался. Зачат он был только потому, что старый Улисс так сказал; Язона породила на свет не любовь, а чей-то древний бездушный умысел, которому следовала полусумасшедшая вдова. И вот снова он зависит от чьих-то планов, а сам даже толком не уверен, спасет его знание намерений окружающих людей или нет.

Но отчаяние ни к чему хорошему не приводит. Он изучил движение звезд, попытался осмыслить их эксцентрические прыжки, просмотрел цифры, после чего начал один за другим отбрасывать неверные варианты.

— А на вопросы обязательно отвечать по порядку? — спросил Джэйс.

Директор оторвал голову от работы:

— М-м-м?

— Можно я отвечу сначала на второй вопрос или на третий?

Директор кивнул и вновь углубился в писанину.

Язон быстренько проглядел вопросы: раз-два-три, раз-два-три. Они были связаны друг с другом и расставлены в порядке возрастания сложности — начинаясь с плохого и заканчиваясь худшим. Здесь даже теорема дуги не поможет. За кого его принимают, за гения?

Очевидно. Либо за гения, либо за Разумника. Либо он оказывается одним, либо другим. Срединного варианта не существует. И он приступил к работе.

День клонился к вечеру. В перерыве зашел Торрок и сменил на посту директора, который вернулся часом позже и принес обед на троих. Джэйс не мог есть. Он уловил суть первой проблемы, поняв кое-что из информации, прилагавшейся ко второму вопросу. Она-то и помогла ему ра-

зобраться в том, что следовало делать в первой задаче. И прежде чем Торрок успел очистить поднос, первый ответ был готов.

Часов в одиннадцать он заснул. Директор к тому времени уже храпел вовсю. Проснулся Джэйс рано утром, задолго до того, как в школе начинались занятия. Вторая задача все еще реяла в воздухе, ожидая ответа. И Язон тут же увидел, что надо сделать — ответ лежал в совершенно другом направлении, просто вчера он пошел не в ту сторону. Потребовалось пересмотреть значение дуги, кое-что подправить, и вот — все сошлось. Он ввел второй ответ.

Третья задача отняла больше времени, но, обладая знаниями по первым двум, он сразу понял, что в ней задействовано слишком много переменных, и без определенной информации, которая здесь отсутствовала, ее не решить. Или решить лишь частично — не более того. Проделав необходимые вычисления, он ввел полученные результаты, указал, что на остальное ответить в данных условиях невозможно, и сдал работу.

Над столом загорелся красный свет. Полнейший провал.

Он разбудил директора.

— Который час-то? — спросил спросонья старик.

— Самое время, чтобы подыскать другого козла отпущения, — ответил Джэйс.

Директор увидел красный отлив на парте и вскинул бровь.

— До свидания, — распрощался Язон и выскочил за дверь, решив не дожидаться, когда директор окончательно проснется и обдумает случившееся.

Школа располагалась неподалеку от университета, и он направился прямиком в университетскую библиотеку. Как учащийся он обладал большим доступом к информационной системе Капитолия, чем обычный гражданин, потому и решил воспользоваться университетской, а не общественной подстанцией. Однако, может, у него уже нет времени.

Красный свет, загоревшийся после введения результатов, мог означать что угодно — только благополучным исходом здесь и не пахло. Возможно, он провалил тест, а следовательно, «доказал», что без способностей Разумника первый тест не сдал бы никогда, и значит, на него начнется охота. Возможно, он прошел испытание, но никто не поверил, что без тех же способностей Разумника он сумел справиться с такими заданиями. Дело в том, что ни первый, ни второй тест сами по себе ничего не доказывали. Но если кому-то вдруг покажется, что мальчик ведет себя как-то странно, жить Джэйсу считанные секунды.

Выход оставался один. Мать верила, что дед Джэйса также был Разумником, и ее воспоминания о встрече с ним подтверждали это предположение. Способности, которыми обладал Джэйс, были разновидностью телепатии Разумников и передавались от отца к сыну. Это происходило не раз и не два, поэтому Улисс Вортинг знал о наследственной особенности, а значит, мог существовать еще кто-нибудь из Вортингов, обладающий тем же даром. Естественно, тот факт, что Маменькины Сынки не подозревали об этом, означал, что остальным потомкам Вортингов удалось скрыть свой тайный дар от остальных.

Мимо него бесконечными рядами бежали сотни пыльно-розовых пластиковых кабинок, каждая была обозначена серо-голубой литерой «С», эмблемой Бюро Связи. Он не раз бывал в местной библиотеке, а поэтому знал, где обычно собираются студенты, а где, как правило, не бывает ни души. Он направился в пустынный коридор, в старую секцию, где хранилась древняя аппаратура и где не хватало приспособлений, чтобы играть в наиболее популярные игры. Язон многие часы провел в библиотеке, поглощенный «Эволюцией». Суть игры заключалась в умении игрока вовремя приспособить животных к постоянным изменениям окружающей среды. Он достиг уровня, где надо было одновременно приспосабливать восемь животных и четыре расте-

ния. Джэйс играл очень неплохо, но сегодня он пришел сюда не за этим.

Он подключил считывающую машину и, когда раздался требующий идентификации личности сигнал, прижал к экрану ладонь. По дисплею побежали яркие полосы директорий. Джэйс поднялся наверх, затем снова спустился и двинулся влево, пока наконец не нашел искомое — генеалогическую программу. Он установил курсор на отделе «Генеалогия: родственники по одной линии» и нажал на «ввод». Появилась еще одна менюшка, уже попроще. На ней он выбрал отдел «Мужские потомки по мужской линии» и ввел собственное имя и код. Не успел он и глазом моргнуть, как в воздухе возникли дата и место его рождения. Подобно облачку пыли, они начали медленно оседать вниз. От его имени шла тоненькая ниточка к имени отца, а затем — к имени отца и так далее: Гомер Вортинг, Улисс Вортинг, Аякс Вортинг, снова Гомер, снова Язон. Вокруг этой колонны спиралью обвивались имена братьев — сотни, тысячи имен. Нет, с таким количеством родственников ему не справиться.

«Ближайшие пятеро братьев. Особое условие: живы в настоящее время», — ввел Язон.

Реки имен исчезли, на экране осталось только пять облачков. К его удивлению, из пятерых только двоих братьев можно было считать ближними родственниками — остальные трое происходили из семьи, которая отделилась от рода еще пятнадцать поколений назад. Значит, остаются двое.

«Место жительства в настоящее время», — напечатал он.

Ближайшим родственником оказался Тальбот Вортинг, внук Аякса Вортинга. Только жил он на планете, расположенной в сорока двух световых годах от Капитолия. Другой брат оказался поблизости: Радаманд Вортинг, правнук первого Гомера. Он находился здесь, на Капитолии, и служил в одном районном управлении. Хорошо хоть кто-то из родных благополучно устроился в этой жизни. Джэйс запросил

распечатку. Принтер в нескольких кабинках от него заработал, и Джэйс немедленно кинулся туда. Направляясь к выходу из библиотеки, он по пути заглянул в кабинку, которую только что использовал.

«Внимание! Вам приказано оставаться на месте. Вскоре к вашей кабинке подойдет проректор и снабдит вас дальнейшими инструкциями. Отказ подчиниться приказу может серьезно отразиться на вашей дальнейшей академической карьере».

Насколько понимал Джэйс, речь шла не просто об академической карьере. Речь шла о его жизни. Раз уж в дело вмешались проректоры, вряд ли можно надеяться, что результаты теста свидетельствуют в его пользу. К счастью, чтобы получить разрешение на вызов Маменькиных Сынков, требуется некоторое время — такой власти у университета не было. Конечно, заслышав о Разумнике, Сынки бы примчались мигом. Но эту весть до них еще надо донести.

Это при условии, если пройденный им тест убедил начальство, что он Разумник. Может, ошибка? Как бы это проверить? Чей разум расскажет Джэйсу правду? Он не умел проникать в умы людей на большом расстоянии, хотя и несколько раз пытался.

До кузена Радаманда от университета добираться было прилично — чуть ли не через всю планету. Джэйс выбрал «сквозной» поезд-экспресс и спустя час стоял в приемной перед кабинетом Радаманда Вортинга, администратора, отвечающего за район № 10 сектора Напа.

— Вы договаривались с управляющим о встрече, молодой человек? — поинтересовалась секретарша.

— Нет, в этом не было нужды, — ответил Джэйс.

Он попытался проникнуть мысленным взором сквозь двери кабинета Радаманда, но, не зная, кто внутри находится и где именно, шарил наугад. В результате он натыкался лишь на случайные всполохи умственной активности, несвязные и ничего не говорящие о человеке — так

случалось всегда, когда Джэйс пытался вслепую нащупать нужного человека.

— О встрече необходимо договариваться заранее, мальчик. — В голосе ее прозвучала угроза. Джэйс знал, что с этой девушкой шутить не стоит. Она только казалась хрупкой и уязвимой, на самом же деле она была специально обучена для мгновенного уничтожения любой возможной опасности — перед дверью своего офиса Радаманд держал телохранителя.

Джэйс какую-то секунду изучал ее, после чего извлек из ее памяти одно интересное имя:

— А Хилвоку тоже придется оповещать вас заранее о своем визите? Если он решит пожаловать в белом костюме и с кольцом в кармане?

Ее лицо покрылось густым румянцем.

— Нет, — покачала головой она. — Но откуда ты знаешь?..

— Передайте Радаманду Вортингу, что его голубоглазый кузен Язон с нетерпением ждет встречи с ним.

— Думаешь, самый умный? Таких кузенов, как ты, за день по пять штук заходит.

Но, взглянув в чисто-голубые глаза мальчика, она нерешительно дернулась, и Джэйс понял, что больше ее убеждать не требуется.

— Могу сказать одно — я достаточно умен, чтобы знать, сколько денег он сделал на сдаче в разработку нижних участков фундамента. И на детском труде, благо на последние уровни Маменькины Сынки стараются не соваться.

Эти сведения он извлек уже не из ее разума. Он наконец-то нащупал в соседней комнате своего кузена. И теперь он не замечал настороженного взгляда секретарши. Он углубился в разум Радаманда. Тот действительно обладал всеми способностями Разумника; эти черты и в самом деле передавались по наследству. Но сейчас вопрос заключался в ином: сумеет ли Язон благополучно унести отсюда ноги?

Радаманд был умен — он знал цену чужим тайнам. Районный администратор, мелкая сошка — но он знал все и вся, а репутация тихого, незаметного человечка помогла ему запустить щупальца в самое сердце Капитолия. А сила рождает силу, ибо чем дальше разносится слух о твоем могуществе, тем мощнее ты становишься, поскольку все начинают бояться тебя — и это также было известно Радаманду. Многие пытались застать его врасплох, но каждый раз он предугадывал выпады противников. Трупы людей, осмелившихся встать ему поперек дороги, могли найтись в любой части Капитолия — хотя действовал он чужими руками, ведь убийство было ему не по нраву. Куда большее удовольствие он испытывал, наблюдая за теми, кто, бесстрашно прожив всю жизнь, вдруг начинал испытывать панический страх перед ним. Он буквально смаковал панику, охватывающую его противников, которые вдруг понимали, что ему известно о них такое, чего не может знать никто.

Джэйс попал в серьезную переделку. Радаманд был куда сильнее его. Воспоминания кузена заполнили разум Джэйса и укрепились в нем, потеснив его собственную память. Джэйс ощущал наслаждение, которое этот человек испытывал, заставляя пресмыкаться других, и это ощущение было для него почти таким же сладким, как и для самого Радаманда.

Однако частичка самого Джэйса все же оставалась, и эта частичка взбунтовалась при виде того, что он натворил, при виде тех убийств, что были совершены якобы его руками, при виде жизней, которые он якобы разрушил. И смириться с такими воспоминаниями он не мог. «Да как я мог совершить такое! — закричал он мысленно. — Как мне исправить то, что я натворил?!»

Он разрыдался. Секретарша явно не ожидала подобной истерики. Перед ней стоял ребенок, но ребенок опасный, опасный своим непонятным сумасшествием, опасный странными слезами, необъяснимым страданием. Она медленно

поднялась и направилась к двери, ведущей в кабинет Радаманда.

Джэйс наконец добрался до самых глубин, до худших деяний, до тех убийств, которые Радаманд совершил собственными руками. Таковых было очень мало: Радаманд прекрасно знал, что человек, выгадывающий на чужих тайнах, не может допустить, чтобы кто-нибудь другой поймал его на крючок. А кому, как не дражайшим родственничкам, знать, что Радаманд — Разумник? Вслед за первым убийством неминуемо последовала череда других преступлений. Своего старшего брата он убил в приступе ярости, утопил в семейном бассейне; но от отца и от младших братьев эту вину ему было не укрыть. Они бы тут же разоблачили виновника. Поэтому он ворвался в дом и перебил всех родственников. Затем он обратился к помощи компьютера, вычислил тех, кто обладал голубыми глазами, свидетельствующими о даре Вортинга, и убил их. Избегнуть ареста не составило труда — он торговал информацией о сильных мира сего, и придворные интриганы не хотели лишиться такого ценного союзника. На всех прочих, не заинтересованных в покупке или продаже тайн, у него имелась другая управа — эти просто не смели вредить ему. Только двое из его родственников выжили в кровавой бойне. Тальбот, скрывшийся на далекой колонии, и Гомер, пилот космического корабля, возглавивший восстание и превративший Разумников в изгоев. Гомер, погибший в им же учиненной бойне. Радаманду больше ничего не угрожало. Его руки были обагрены кровью братьев, кровью отца, зато он теперь жил, ни о чем не заботясь.

Он даже не подозревал, что лет тринадцать назад вдова Гомера решила прибегнуть к искусственному осеменению и зачала сына. Радаманд не был готов к появлению Язона. Но когда он узнал о существовании Язона... хуже того, и Язон узнал, что...

— Братец, — прошипел Радаманд с порога своего кабинета.

Джэйс увидел смерть в уме Радаманда и бросился на пол прежде, чем тот успел выстрелить.

Второго выстрела не последовало. Радаманд выжидал, одновременно обшаривая разум Язона. Джэйс беспомощно смотрел, как его воспоминания открываются перед Радамандом. Радаманд же искал, кому еще известно, что Язон — Разумник. И сам того не желая, Джэйс вспомнил о матери. Стоило ему подумать о ней, как отзвук его мыслей мигом донесся до Радаманда и вернулся обратно — теперь вместе с решимостью убить и эту женщину тоже. Мать и сын умрут — иначе откроется, что еще существуют Разумники, тогда Радаманда рано или поздно найдут.

А как только Радаманд умрет, этот мир кончится — во всяком случае, для Радаманда, а на остальных ему было ровным счетом наплевать.

Намерения убить свою мать Язон вынести не смог. Он закричал и кинулся на Радаманда, который легко увернулся и расхохотался.

— Ну, давай, малыш. Удиви-ка меня.

«Что же я могу сделать, раз он наперед знает о всех моих намерениях?» На внезапность надеяться не стоило; когда враг знает все твои мысли, полагаться на быстроту реакции бесполезно. Как в шахматах — сейчас нужен был ход конем. Надо заставить его сделать ход.

— У тебя нет фигур, — отозвался Радаманд, перерывая мозг Джэйса в поисках домашнего адреса, чтобы потом без труда отыскать мать мальчишки.

— Радаманд Вортинг — Разумник, — громко провозгласил Язон. — И я тоже. Это передается по наследству, от отца к сыну.

Поверила ли ему секретарша Радаманда? Разумеется, поверила. У Радаманда не оставалось выхода. Если он не убьет ее, то спустя мгновение будет убит сам — в глазах обык-

новенного человека твари отвратительнее Разумника не существовало во вселенной, так что теперь секретарше верить было нельзя. Язон всего лишь мальчишка. Для Радаманда он угрозы не представлял. А вот женщина — опытная убийца, а об этом Радаманд был прекрасно осведомлен. Оставлять за спиной такого врага он не мог.

Взводя курок, Радаманд повернулся к секретарше, и тогда Язон кинулся прочь из офиса. Радаманду потребуется время, ведь ему придется обставить все так, чтобы его не обвинили в убийстве собственной помощницы. Но успеет ли Язон сбежать?

Из кабинета — да, успеет. Из сектора Радаманда — без проблем. Но, зная домашний адрес Джэйса, Радаманд все равно найдет его, где бы он ни спрятался. Даже среди «стенных крыс» у Радаманда имелись друзья, которые с удовольствием отловят мальчишку для своего босса.

А что может сделать Язон? Объявив во всеуслышание, что Радаманд — Разумник, он одновременно подпишет и свой собственный смертный приговор. У него оставался тот же выход, который когда-то избрал Тальбот Вортинг — бежать с Капитолия на какую-нибудь отдаленную планетку, до которой Радаманду не дотянуться.

С Капитолия мальчишка его лет мог отбыть двумя способами. Он мог вступить в армию или же улететь колонистом-добровольцем на одну из недавно открытых планет. Там уж Радаманд не станет его преследовать, это точно. Да и не посмеет — записавшись во Флот или в добровольцы, Язон выйдет из-под юрисдикции администрации Капитолия, которая не имеет власти над этими имперскими департаментами.

Однако немедленно отправиться в колонии он не сможет. Потому что тогда Радаманд отыщет мать и убьет ее. Сначала он должен спасти ее. Хотя во Флот ее не возьмут, в ее-то возрасте. Значит, выход один — колонисты.

Придется возвращаться домой и как можно быстрее. Несмотря на то что Радаманд наверняка знает, куда первым делом направится Язон, и, должно быть, уже поджидает где-нибудь на дороге, готовый убивать.

При мысли о Радаманде и смерти воспоминания, недавно им приобретенные, вновь затопили память. Он вспомнил лицо брата, которому сломал руку о бортик бассейна и которого держал под водой, пока тот не захлебнулся. «У меня нет брата», — помотал головой Язон. И тем не менее он отчетливо помнил его смерть. И то, как вонзил нож в глаз спящему отцу. И наслаждение, испытываемое при этом. Эти воспоминания не давали покоя. Прошлое терзало его.

«Это не мое прошлое! — закричал он про себя. — Не мое!»

Но воспоминания были сильны. Он просто не мог выбросить из головы то, что, как ему казалось, он совершил в прошлом. Всю дорогу, пока трубопоезд спешил по извилистым туннелям, пробираясь сквозь изъеденную сердцевину мира, Язон проплакал. Никто даже не посмотрел в сторону плачущего мальчика. Слезы в трубопоезде — привычное дело.

А дома Джэйс обнаружил разъяренную мать.

— Что ты натворил?! Днем отключился домашний компьютер, заявив, что ты направился на другую сторону *планеты!* На что мы будем жить этот месяц? За один день ты истратил половину того, что было отложено на еду... нельзя было подпускать тебя к деньгам, но ты всегда...

И в эту секунду она заметила, что лицо его покраснело и опухло от слез.

— Что случилось? — изумленно спросила она.

— Не следовало тебе рожать Гомеру Вортингу сына, — ответил Джэйс.

Мать растерянно взглянула на пульт компьютера, на котором по-прежнему светился красный тревожный огонек.

— Зачем ты убежал из школы? Звонил проректор. Даже двери опечатали, пока сами не убедились, что тебя здесь нет.

Язон немедленно подскочил к двери, открыл ее и подставил стул, чтобы она случаем не захлопнулась.

— И что им нужно от меня?

— Они что-то говорили про твой ответ на третий вопрос.

На тот самый, на который он ответил не полностью.

— Проректор сказал, что тебе известны вещи, которых ты не можешь знать, — продолжала мать. — Ты должен быть поосторожнее, Гомер. Нельзя показывать, что ты знаешь что-то, чего знать не можешь. Люди начинают беспокоиться.

— Я не Гомер.

Она вскинула бровь:

— Знаешь, он был пилотом космического корабля...

— Мы должны уходить, мама.

— Мне не хочется никуда идти. Ты делай то, что нужно, а я подожду здесь. Это мне нравится больше всего — ждать твоего возвращения. Я жду-жду, и вот ты возвращаешься. Мне так это нравится. Когда ты возвращаешься.

— Мама, если ты сейчас не пойдешь со мной, я уже никогда не вернусь.

Она отвернулась.

— Не угрожай мне, Джэйс. Это некрасиво.

— Если меня не поймает начальство школы, за мной пошлют Маменькиных Сынков! Кроме того, за мной сейчас гонится один человек, он хочет убить меня и *сделает это,* поскольку он очень могущественен.

— О, не принимай все так близко к сердцу, Джэйс, ты еще маленький мальчик.

— Он и тебя убьет.

— Где это видано, чтобы люди вот так, беспрепятственно, убивали друг друга?

— Мама, все, что говорят о Разумниках, это правда! — взорвался Джэйс. — Отец убил миллиарды людей, и Радаманд Вортинг — он тоже убийца! Он убил своего отца,

братьев, всех родственников, которых только мог найти — вот что такое Разумники, это убийцы, и он знает, что я направился сюда и что тебе все известно! Он замышляет убить нас и *убьет!* Мама, я тоже Разумник! Вот что ты наделала, родив меня, — подарила этому миру еще одного Разумника.

Она в ужасе зажала ему рот:

— Джэйс, что ты говоришь, дверь ведь открыта, люди могут не понять твоих шуток!

— Мы можем спастись, только если...

Но она не слушала. Она ждала. Одна-единственная мысль засела у нее в голове — она должна дождаться возвращения Гомера. И тогда все вернется на круги своя. Она не может справиться с обрушившимися на ее голову бедами, поэтому должна ждать, пока не вернется Гомер.

— Мама, он не придет. Мы сами должны отправиться к нему.

— Не говори глупостей. — Ее глаза изумленно расширились. — Он давным-давно забыл про меня.

Но Язон знал, что мать, эта безумная женщина, все-таки верит ему. Он может управлять ею, потому что она верит ему.

— Дорога будет долгой.

Она покорно направилась вслед за сыном, навсегда покидая квартиру.

— Значит, сомек, да? Мы будем Спать? Я не люблю Спать. Почему-то, пока Спишь, все так изменяется.

— На этот раз все останется по-старому, так мне пообещали.

Шагая по коридору, Джэйс все время ожидал, что их остановит окрик какого-нибудь констебля или, еще хуже, кого-нибудь из отряда Маменькиных Сынков. Радаманд не будет прятаться по углам, он воспользуется всем своим влиянием, чтобы найти и уничтожить Язона. Поэтому Джэйс был порядком удивлен, когда им удалось без приключений

добраться до местного пункта записи колонистов. Он ввел мать внутрь.

В комнате оказалось прохладно, работал вентилятор. Одну из стен украшала панорама утеса, окруженного осенними деревьями с опадающей листвой. Противоположный, более пологий склон каньона покрывал целый ковер из ярко окрашенных крон.

— Земная колония, — тихо шептал чей-то голос. — Возвращение домой. — Затем панорама изменилась, и появилась гора, по заснеженным склонам которой стремительно мчались лыжники. — Макор, планета вечной зимы.

— Где это? — спросила мать.

— Поймайте звезду на Макоре и привезите домой ее застывший луч. — На стене появилась россыпь фантастических кристаллов, растущих в расщелинах утеса. К ним взбирался альпинист.

Язон отпустил руку матери, заглядевшейся на охотника за кристаллами, и подошел к человечку за стойкой.

— Она сегодня немного не в себе, но тем не менее полна решимости отправиться в полет.

С колониями обычно не шутят. Ни один человек в здравом уме не отправится за пятьдесят световых лет от цивилизации, чтобы проснуться на дикой планетке, откуда не будет возврата, где не будет сомека и где придется прожить год за годом всю жизнь.

— Как раз имеется одно отличное местечко для нее.

— Нас интересует планета, на которой есть нормальная атмосфера, — сказал Язон. Не хватало еще, чтобы мать остаток жизни провела в скафандре.

— Во-во, о чем я и говорю. Козерог. Планета у желтого солнца, точь-в-точь Капитолий.

Джэйс заглянул к человечку в разум. На эту планету надо было завербовать как можно больше народу — там требовались шахтеры для добычи платины и алюминия, а также

женщины, которые бы обслуживали мужское население. Совсем не то, что искал Джэйс. Он немножко покопался в воспоминаниях чиновника, пока нужное имя наконец не всплыло в памяти.

— А как насчет Дункана? — поинтересовался Язон.

Человечек вздохнул.

— Чего ж ты сразу не сказал, что у тебя здесь связи? Дункан так Дункан.

Эта планета была настолько хороша, что ее даже не пришлось терраформировать.

Подошла мать:

— Куда мы направляемся?

— На Дункан, — ответил Язон. — Там хорошо.

— Надо заполнить анкету. — Чиновник начал вводить информацию в машину. Компьютер был старой модели, которой требовался специальный ящик-монитор. Да уж, пункт записи колонистов мог бы позволить что-нибудь посовременнее.

Имя? Род занятий? Родители? Домашний адрес? Дата рождения? Отвечая на вопросы, мать постепенно начала выходить из транса. Семейное положение?

— Вдова, — произнесла она и повернулась к Язону. — Его там нет, Джэйс. Он погиб.

Язон посмотрел ей в глаза, пытаясь сообразить, как лучше ответить. Мать выбрала не лучшее время, чтобы прийти в себя.

Человечек добродушно рассмеялся:

— И конечно, вы берете с собой сына.

— Верно, — кивнула мать.

В эту секунду Язон вдруг осознал, что сам он никуда лететь не собирается. Пускай жизнь его под угрозой, пускай он будет арестован или убит, как только выйдет за двери офиса, но судьба колониста не для него. Ему совсем не хочется бесследно сгинуть на окраине вселенной. У матери

был единственный выход — записаться в колонисты, но у него-то имеется другая альтернатива. Флот. Там он будет в безопасности, может, даже станет пилотом. Как отец.

— Нет, — сказал Джэйс.

— Если верить предоставленной вами информации, вы его единственный родитель и опекун, — заметил человечек. — И если вы того пожелаете, он обязан лететь с вами.

— Нет, — повторил Джэйс.

— Ты бросаешь меня! — закричала мать. — Никуда я не полечу!

— Только так ты можешь спастись, — ответил Джэйс.

— А тебе не приходила в голову мысль, что я вовсе не желаю спасаться?

Джэйс прекрасно знал мать и понимал ее куда лучше, чем она сама.

— На время полета тебя положат в сомек, — сказал он. — И ты заснешь.

В голове у нее ожили старые воспоминания. О том, как она засыпала и просыпалась в былые времена. И обычно рядом с ней стоял Гомер. Хотя в последний раз его рядом не оказалось.

— Нет, — нерешительно произнесла она. — Не хочу.

— Я тоже буду там, — соврал он.

— Неправда, — сказала она. — Ты хочешь бросить меня. Точно так же, как бросил твой отец.

Язон забеспокоился. Неужели она видит его насквозь, она же не обладает даром Разумника? Но нет, на самом деле ничего она не знает, это говорят ее страхи. Больше всего она боится, что, заснув, лишится еще и сына. «Вот уже во второй раз я поступаю с ней так, как не поступил бы ни с кем другим».

— Распишитесь вот здесь, — вступил в разговор чиновник. — Ваш персональный код.

Он подтолкнул к ним компьютер-блокнот.

— Не хочу, — повторила мать.

Джэйс спокойно набрал код, вытащив его из ее памяти. Чиновник было нахмурился, но когда компьютер подтвердил правильность кода, равнодушно пожал плечами.

— Экое доверие, — хмыкнул он. — А теперь ладошку дамочки...

Мать холодно взглянула на Язона.

— Старуха совсем свихнулась, так давай ее выпихнем на другую планету, да? Подонок, ненавижу тебя, ненавижу, как и твоего отца, все вы сволочи. — Она посмотрела на чиновника: — А вы знаете, кто у него отец?

Человечек передернул плечом. Конечно, знает, ведь у него на экране изложена вся история жизни Джэйса.

— Главное, мне он не сын.

— Только так ты можешь спастись, мама.

— Да кто ты такой — Господь Бог? Ты теперь решаешь, кому жить и как?

«Да, я теперь как Радаманд, — подумал Язон, снова вспомнив о смерти братьев, которых у него никогда не было. — Только я не буду нести людям смерть. Свой дар я обращу во спасение. Я не Радаманд. И не Гомер Вортинг». Но, прочитав мысли матери, Джэйс понял, что она настолько любит его, что скорее умрет, чем решится его оставить.

— Если ты останешься, — холодно процедил он, — тебя подвергнут допросам.

— И я все расскажу.

— Потому-то ты и должна улететь с Капитолия.

Чиновник улыбнулся.

— В колониях тайна личности — закон. Никаких наказаний, все преступления прошлой жизни аннулируются — вам предоставляется возможность начать все сначала, что бы вы раньше ни натворили.

— А воспоминания тоже будут стерты? — обернулась мать к человечку.

«Ну да, мама. Вот в чем вопрос. Как забыть то, что когда-то сделал? Как мне забыть, что, спасая твою жизнь, я вместе с тем ломаю ее?»

— Конечно, нет, — воскликнул чиновник. — Когда вы выйдете из сомека, воспоминания будут возвращены вам.

— Ты не любишь меня? — спросила мать.

Чиновник растерялся, огорошенный таким вопросом.

— Это она мне, — успокоил его Джэйс. — Люблю, мама.

— Тогда почему ты не хочешь быть рядом, когда я проснусь?

В отчаянии Язон прибег к методам убеждения, которых до этого избегал. Он решил сказать правду:

— Потому что я не могу все время только и делать, что заботиться о тебе.

— Ну конечно, — согласилась мать. — Зато я обязалась всю жизнь приглядывать за тобой.

Чиновник начал терять терпение:

— Прижмите сюда вашу ладонь, госпожа.

Она хлопнула рукой по экрану.

— Хорошо, ублюдок, я лечу! Только ты полетишь со мной! Запишите и его тоже, он отправляется вместе со мной!

— Но ты же сама этого не хочешь, мама, — мягко упрекнул ее Джэйс.

— Введите код, пожалуйста, — обратился к нему человечек. Чиновники, обслуживающие пункты приема колонистов, привыкли к людским протестам. Этому служаке было все равно, по своей воле отправится Язон в колонии или по чьей-то еще.

Тогда Джэйс ввел в компьютер код самого человечка. Разумеется, компьютер не сработал. Но Джэйс знал, что неверный код сразу высвечивается на экране, поэтому, едва взглянув на рядок цифр, чиновник тут же узнал его.

— Откуда тебе... — начал было он, но осекся. Глаза его сузились. — Убирайся вон, — процедил он. — Пшел отсюда.

Джэйс с радостью повиновался.

— Я ненавижу тебя! — неслись ему вслед вопли матери. — Ты хуже отца, ненавижу, ненавижу тебя!

«Может, эта ненависть поможет тебе выжить, — думал Язон. — И сохранить рассудок. Все равно сам себя я ненавижу сильнее, и в силе этой ненависти тебе со мной не сравниться. Я есть Радаманд. Я способен на то же, на что и он. Только что я расправился с собственной матерью. Вышвырнул ее прочь с планеты. Да, я спасал ей жизнь. Тогда почему же я не полетел вместе с ней? Я — Радаманд, я переделываю мир по-своему, ломаю и калечу чужие жизни в угоду себе. Я заслуживаю смерти, и надеюсь, что буду убит».

Он действительно желал себе смерти. А тем временем, совершенно автоматически, сканировал умы идущих по коридору людей. Никто за ним не гнался, никто его не искал. Так что шанс вырваться из ловушки еще оставался. И несмотря на отчаяние, он будет бежать, пока жива хоть малейшая надежда на спасение — пока его не схватят. Многовато для ищущего смерти.

Но как выбраться отсюда? Стоит лишь приложить ладонь к считывающему устройству, как его тут же обнаружат. А ведь он должен был что-то есть, как-то передвигаться, ему обязательно надо было связаться с центральным банком данных — но каждое действие неминуемо привлечет внимание Маменькиных Сынков, и Джэйса быстро схватят. Хуже того, теперь он получил официальный статус сироты, поскольку мать записалась в добровольцы-колонисты. Это значит, что роль опекуна взяло на себя государство. Теперь даже не потребуется возбуждать официальное дело, что обычно было весьма длительным процессом, — его могут начать искать прямо сейчас. И если он не запишется во Флот, конец наступит быстро.

Он воспользовался ближайшей кабинкой связи, чтобы добраться до директории и выяснить местоположение ближайшего пункта набора добровольцев. Контора оказалась

неблизко, придется добираться на поезде. Конечно, это не так далеко, как до Радаманда, но все равно путь предстоял дальний. Что же делать?

Вопрос этот разрешился сам собой. Выйдя из кабинки, Язон снова всмотрелся в прохожих — и на этот раз среди них обнаружился один из Маменькиных Сынков. Он пробирался к будке, надеясь схватить мальчика. Язон моментально нырнул в толпу, оставив шпика позади. Впервые в жизни он порадовался своим юным годам и невысокому росту — он незамеченным скрылся за углом, не выпуская из виду разум преследователя. «Потерял, — думал тот. — Потерял!»

Итак, его ищут, погоня добралась до кабинки за несколько минут. Значит, поезд отпадает. Даже если, коснувшись считывающего устройства, он немедленно вскочит в вагон перед самым отправлением, «червяк» и разогнаться толком не успеет, как Язона схватят. Придется идти пешком. Пункт располагался в двухстах уровнях над ним и в четырех секторах в сторону. Нечего и думать добраться до него за один день. Минимум завтра. И все это время ему придется голодать — только вода не требует идентификации личности. Только где ему провести ночь?

В одном из двадцатиметровых парков, под деревом. Лужайка была искусственной, зато дерево — настоящим. Грубая кора приятно щекотала кожу, острые иголки кололись, но он нуждался в этой боли. Нуждался в боли, чтобы заснуть; он должен был как-то отвлечься от воспоминаний о чужих и собственных поступках. Мать была безумна — в этом сомневаться не приходилось, поскольку он сам пережил то, что чувствовала она, теряя связь с реальностью и постоянно ожидая возвращения Гомера Вортинга. Да только он и сам был не менее безумен — в особенности сейчас, когда перед глазами стоял образ умирающего брата. «Почему эти воспоминания настолько сильны? Почему я не могу

отнестись к происшедшему, как к случаю из чужой жизни? И почему из этого нагромождения то и дело всплывает лицо моей матери?» Он не мог отличить чужое от своего. Может быть, если ему удастся стряхнуть с себя вину за деяния, совершенные Радамандом, он забудет и о том, как поступил с матерью? Однако как раз этого ему не хотелось. Дело сделано, как бы ни было мучительно это осознавать. Теперь он не вправе отказываться от собственного прошлого — даже если и прошлое Радаманда навсегда останется с ним. Уж лучше ужиться с Радамандом внутри себя, чем впасть в безумие, потеряв Язона.

Так он и заснул — в одну ладонь вонзились острые иголки, другую царапала шершавая кора. «Я — это то, что я делаю, — сказал он себе, перед тем как заснуть. Однако проснулся он, твердя про себя: — Я — это содеянное в прошлом. Я стану тем, что сделаю в будущем».

Целый день он шел, поднимался по бесконечным лестницам, не осмеливаясь пользоваться общественными лифтами, брел по коридорам, отдыхал на движущихся дорожках, когда это было возможно. В пункт, где набирали новобранцев для Флота, он вошел перед самым закрытием.

— Хочу вступить во Флот, — заявил Джэйс.

Офицер, отвечающий за набор, холодно оглядел его со всех сторон:

— Ростом маловат, да молод еще.

— Мне тринадцать. По возрасту подхожу.

— Родители согласие дали?

— Нахожусь на попечении у государства.

И не называя имени, Язон ввел в машину личный код. Над столом офицера возникла более подробная информация о просителе.

Офицер нахмурился. Имя Вортинга вряд ли кто забудет.

— Что, собираешься последовать по стопам отца?

Джэйс ничего не ответил. Он видел, что человек за столом не желает ему ничего дурного.

— Высокие результаты, великолепные способности. Твой отец был отличным пилотом — ну, до случившегося.

Значит, о Гомере Вортинге остались и добрые воспоминания. Джэйс проник в разум офицера и обнаружил нечто, весьма его удивившее. Мир, который уничтожил Гомер, отказал ему в разрешении набрать воды из океана. Гомера держали у планеты до тех пор, пока для его захвата не прибыл Флот. Значит, погибшие были не так уж невинны. Люди, служащие во Флоте, в отличие от остальной вселенной, не испытывали к Гомеру ненависти. Джэйс, всю жизнь стыдившийся своего происхождения, теперь даже не знал, что делать с новой информацией. Ему лишь оставалось надеяться, что во Флоте для него найдется местечко. Может быть, именно здесь он обретет друзей и опору.

Но офицер уже качал головой:

— Извини, парень, я передал твою заявку, и тебе отказали.

— Почему? — удивился Джэйс.

— Это не из-за отца. Код Девять. Что-то, связанное с твоими способностями. Мне запрещено объяснять тебе что-либо.

Впрочем, он и так сказал Джэйсу больше, чем сам того желал. Джэйсу отказали во вступлении во Флот из-за высоких баллов в школе. Он был слишком умен, чтобы его взяли в армию без согласия на то Управления Образования. Которого ему не видать как своих ушей, поскольку к выдаче подобных разрешений был причастен Хартман Торрок.

— Язон Вортинг, — раздался позади него чей-то голос. — А я тебя ищу.

Язон бросился бежать. Голос принадлежал человеку из подразделения Маменькиных Сынков, и человек этот собирался Джэйса арестовать.

Сначала толпа в коридоре помогала Язону. Людской поток двигался в обоих направлениях, и Джэйс, шмыгая сре-

ди прохожих, с каждой минутой удалялся от преследователя. Но вот к погоне присоединилось еще несколько человек — в конце концов за ним гнались уже шестеро. За всеми Язону было не уследить. Нелегко заглядывать в разум сразу шестерым и по отдельным картинкам определять месторасположение каждого.

Его поймали там, где собралось особенно много народа. Он был слишком мал и слаб, чтобы пробиться сквозь такое столпотворение. Бывшее преимущество обратилось в помеху, дар Разумника уже ничем не мог помочь ему, и вскоре он очутился на земле, а на руку ему наступил здоровенный хищно-шипастый ботинок. Боль не страшила его, он выдернул руку и, не обращая внимания на содранную кожу и хлынувшую кровь, чуть снова не улизнул в толпу. Но его опять схватили, скрутив по рукам и ногам; на запястьях защелкнулись наручники.

— Увертливая сволочь, — пробормотал один из Маменькиных Сынков.

— Почему вы гонитесь за мной?

— Потому что ты убегаешь. У нас такое правило — раз убегаешь, значит, виноват. — Он лгал. У них был приказ — любой ценой доставить Язона Вортинга, и доставить живым. Кто отдал такое приказание? Хартман Торрок? Радаманд Вортинг? Хотя какая разница. Надо было ему лететь вместе с матерью. Он рискнул жизнью, надеясь выменять жалкое существование колониста на что-то лучшее, — и проиграл.

Однако пришел за ним, чтобы сопроводить в тюрьму, вовсе не Радаманд и не Торрок. Перед ним стоял полный, лысеющий коротышка. Он приказал открыть наручники и пристегнуть Язона к своей руке. Невидимая цепь связала их запястья, не давая отойти друг от друга больше чем на метр.

— Надеюсь, ты не возражаешь, — заметил коротышка. — Не хотелось бы снова терять тебя, после всех этих неприятностей. У него вся рука в крови. Есть у кого аптечка?

Кто-то провел над рукой Джэйса аптечкой, кровь свернулась и остановилась. Тем временем человечек представился:

— Меня зовут Абнер Дун. Не могу сказать, что я твой верный друг и товарищ, но положиться в этом мире ты можешь только на меня. Сразу признаюсь, что буду немилосердно эксплуатировать тебя ради собственных нужд, но по крайней мере со мной тебе ничего угрожать не будет. Так что можешь забыть о кузене Радаманде и Хартмане Торроке.

Что еще известно этому человечку? Джэйс заглянул к нему в разум и понял — все.

— Когда ты решал три задачи, которые были даны тебе для проверки, я еще Спал, — сказал Дун. — Но когда ты справился с вопросом, ответ на который известен лишь горстке ученых-физиков, которые и сами не были уверены в собственных выводах... в общем, служащие Сонных Зал немедленно разбудили меня. Таковы были инструкции. Если б тебя упустили, я бы не пожалел никого.

Они шагали по туннелю, использовавшемуся исключительно высокопоставленными лицами. Однако Дун проник в него с такой же легкостью, с которой обычный человек может воспользоваться подземкой — просто приложил ладонь к двери. Невдалеке их ждала частная машина. Вид у нее был весьма впечатляющий, и мальчик охотно залез внутрь.

— А кто ты такой? — спросил он.

— На этот вопрос я ищу ответ с тех самых пор, как научился думать. И в конце концов пришел к выводу, что я ни Бог, ни Сатана. Одно это так меня расстроило, что от дальнейших поисков я отказался.

Джэйс просканировал его разум. Этот человек был помощником министра по колонизации планет. Кроме того, он искренне верил, что правит миром. Углубившись в его воспоминания, Джэйс убедился, что это истинная правда.

Даже Радаманд с его затейливыми махинациями пришел бы в священный трепет при виде возможностей и способностей Абнера Дуна. Даже сама Мать — не та женщина, что родила Джэйса, а Мать, правительница Капитолия — даже она была его пешкой. И правил он не одной и не двумя планетами. Он мог щелкнуть пальцами, и содрогнулось бы полвселенной. При всем при том о существовании этого человека не знала ни единая душа. Джэйс посмотрел ему в глаза и расхохотался.

Дун в ответ тоже улыбнулся:

— Ты мне льстишь. В моих руках сосредоточена небывалая власть, вот уже много лет я правлю вселенной, но, заглянув ко мне в сердце, даже невинный ребенок может улыбнуться.

И правда. Среди воспоминаний Дуна не было убийств. Его разум не охватывала агония, переполнявшая рассудок Радаманда. Дун жил не за тем, чтобы перекроить мир по своим меркам. Он переделывал мир, но лишь во благо других.

— Я не раз задумывался, каково это: когда рядом друг, от которого ничего не скрыть, — промолвил Дун. — Помнишь свою дурацкую выходку в пункте приема колонистов? Чиновник счел тебя Разумником. Теперь мне придется положить его в сомек, а при пробуждении переписать его воспоминания так, чтобы он не вспомнил тот случай. Забавы ради ты лишил человека нескольких лет жизни.

— Простите, — понурился Джэйс. Однако он понял: таким образом Дун сообщает ему о том, что его ошибки исправлены. Он почувствовал себя значительно лучше.

— Да, кстати, раз уж мы заговорили о сомеке. Твоя мать, перед тем как заснуть, написала тебе записку.

Перед мысленным взором Джэйса встала картинка, извлеченная из памяти Дуна. Мать вручает человечку листочек, по лицу ее текут слезы, однако губы широко улыбаются — Джэйс даже удивился, поскольку улыбку матери ему

приходилось видеть не часто. Он выхватил клочок бумаги, развернул дрожащими пальцами и прочел:

«Абнер Дун все мне объяснил. Насчет Радаманда и насчет школы. Я люблю тебя и прощаю. Думаю, сумасшествие мне больше не грозит».

Это был ее почерк. Джэйс с облегчением вздохнул.

— Так и думал, что ты будешь рад узнать об этом.

Едва Джэйс успел снова перечитать записку, как машина остановилась. Из дверцы они шагнули прямо в небольшой зал, а из зала попали в лес.

Это не было похоже на обычный парк. Трава, растущая под ногами, была настоящей; живые, а не механические белки карабкались по стволам деревьев, и даже аромат листвы был другим, в нем и следа не было от вонючего запаха пластика. Дверь затворилась за ними. Дун отомкнул наручники. Язон отступил от него, поднял голову и впервые в жизни увидел небо. Потолка не было. Никакой крыши над головой. Голова закружилась, и он чуть не упал. И как люди живут, когда сверху ничего нет?

— Впечатляет, не правда ли? — усмехнулся Дун. — Конечно, над нами потолок — весь Капитолий покрыт металлом, — но иллюзия исполнена неплохо, а?

Джэйс оторвался от разглядывания неба и повернулся к Дуну:

— Почему вы спасли меня? Зачем я вам сдался?

— А я-то думал, что Разумникам нет нужды задавать вопросы, — ответил Дун. К изумлению Джэйса, коротышка начал раздеваться. На ходу сбрасывая одежду, он направился в глубь леса. Вскоре они очутились у огромного водоема. Столько воды сразу Джэйс не видел никогда, прозрачная гладь разливалась метров на пятьдесят.

— Ну что, поплаваем? — предложил Дун. Он сбросил с себя всю одежду. Оказалось, что он был отнюдь не из толстяков. Тучность ему придавали пластинки брони и прочие

защитные приспособления. Заметив взгляд Джэйса, Дун потрогал носком сваленное на земле снаряжение. — На Капитолии слишком много людей, которые бы только порадовались моей смерти.

Разумеется. Ведь Дун не обладал способностями Радаманда и не умел разведывать тайные страстишки и желания людей, а поэтому шантаж и подкуп были не для него.

— Если вы сохраните мне жизнь, к этим людям непременно присоединится мой кузен Радаманд.

Дун лишь рассмеялся:

— Ах, Радаманд... Спустя неделю-другую он должен лечь в сон. Мерзкий человечишка, да мне он теперь и не нужен. Вряд ли он когда проснется.

Джэйс с ужасом понял, что так и будет. Абнер Дун мог приказать персоналу Сонных Зал убить человека. И это при том, что единственная нерушимая истина на Капитолии гласила: сотрудники Сонных Зал неподкупны. Но влияние Абнера Дуна распространилось даже сюда.

— Может, поплаваем немножко? — опять предложил Дун, входя в воду.

— Я не умею.

— Не сомневаюсь. Я тебя научу.

Джэйс разделся и неуверенно последовал за ним. Он видел, что Дун желает ему только добра. Дуну он мог доверять. И поэтому беспрекословно шел за этим человечком, пока вода не заплескалась у самых подбородков — роста они были примерно одинакового.

— На самом деле вода весьма безопасная среда для передвижения, — произнес Дун. Пока что Джэйс заметил лишь, что она весьма холодная. — Давай я поддержу тебя. Ложись на мою ладонь. А теперь оторви ноги от дна, расслабься.

Расслабившись, Джэйс ощутил небывалую легкость, тело его, подобно пузырьку воздуха, выпрыгнуло на поверхность, и только едва заметное давление руки Дуна напоминало о силе тяжести.

И вдруг мир перевернулся. Сильные руки Абнера Дуна, как клещи, обхватили его, и голова Джэйса ушла под воду. Он начал хватать ртом воздух и наглотался воды, глаза нестерпимо защипало. Он должен прорваться к воздуху, иначе — конец. Он пустил в ход руки и ноги, извивался всем телом, вырывался, но вынырнул на поверхность только тогда, когда сам Дун отпустил его. И все это время Дун не желал ему ничего, кроме добра. Он вовсе не хотел причинить мальчику вред. «Ну, если это зовется любовью и дружбой, — подумал Джэйс, — упаси меня Бог от подобных проявлений чувств... Или Дун каким-то образом может лгать даже в мыслях?»

— Кончай плеваться, — поморщился Дун. — Вода летит во все стороны.

— Вы чего?! — заорал Джэйс.

— Ничего. Просто наглядный урок. Чтобы продемонстрировать тебе, каково быть по уши в чем-то неприятном.

— Я этого уже напробовался.

— Зато теперь ты точно усвоил урок. — И занятия плаванием продолжились.

Джэйс схватывал все на лету, во всяком случае, такая элементарная вещь, как плавание на спине, труда для него не представляла. Псевдосолнце клонилось к закату, и небо подернулось нежно-розовой дымкой. Джэйс лежал на спине и время от времени чуть шевелил ногами, чтобы оставаться на поверхности.

— В жизни не видел заката.

— Можешь мне поверить, настоящий закат на Капитолии выглядит несколько иначе. Небо этой планеты грязно-серого, мрачного цвета. Садящееся солнце — ярко-багровое. Днем оно слепяще-оранжевое. А своего голубого цвета небо лишилось давным-давно.

— А что тогда тут изображено?

— Моя родная планета, — сказал Дун. Джэйс заглянул в его воспоминания: все они касались планеты под названием Сад. Разумеется, эта комнатка была лишь бледной те-

нью великолепия того мира. Язон чувствовал тоску Дуна по катящимся холмам, зеленым кронам деревьев, лугам под открытым небом.

— Но почему вы покинули ее? — спросил Джэйс. — Здесь-то вы что оставили?

«Я обладаю одним-единственным даром — даром власти, — подумал Дун. Язон внимательно следил за его мыслями. — Я знаю, как добраться до власти, как лучше всего использовать ее, как ее уничтожить. Любое человеческое существо старается попасть туда, где дар его оценят по заслугам. Мне место на Капитолии. Как бы я ни ненавидел его. Как бы сильно ни желал его разрушить. Это моя среда обитания, по крайней мере на данный момент».

Затем мысли Дуна неожиданно приняли другое направление. Джэйс услышал, как человечек зашлепал на берег. Джэйс хотел было последовать за ним, но плавать он толком еще не научился и потому лишь беспомощно заколотил руками по воде. Попытавшись встать, он обнаружил, что озеро слишком глубоко, и решил перевернуться обратно на спину. Чтобы удержаться на поверхности, ему пришлось позабыть обо всем. Сейчас, когда панический страх охватил его с ног до головы, он не мог позволить себе отвлекаться на Дуна. «Вот почему он учил меня плавать. Вот почему затащил меня сюда. Он отвлекал меня, чтобы я не распознал, что у него на уме. Чтобы я не мог предугадать его следующий ход. Он обвел меня вокруг пальца — так что же он собирается сотворить теперь, какую ловушку он расставил?!»

Когда Язон наконец добрался до берега, Дун уже исчезал в дверном проеме, открывшемся в стене садика. Джэйс в отчаянии устремил мысленный взор в его разум, отыскивая источник возможной опасности, и сразу наткнулся на выставленное специально для него знание об эсторианском твике. Маленькая сумчатая тварь с зубами, как лезвия бритвы. Покидая Язона, Дун вспоминал о том, как маленькое животное нападает на корову — двигалось оно настолько

быстро, что человеческий глаз еле поспевал за ним. Твик вцеплялся корове в вымя, висел там некоторое время и вдруг исчезал, стремительно погружаясь внутрь коровьего тела, истекающего реками крови. И только тогда корова понимала, что происходит. Она вздрагивала, успевала пробежать несколько шагов, после чего падала как подрубленная и умирала. А твик вскоре медленно выползал из коровьего рта, тяжело дыша, раздувшись от обильной пищи. Язон и сам кое-что читал о твиках, а поэтому знал об их привычках. Кроме того, ему было известно, что твикам в свое время удалось полностью уничтожить первое поселение колонистов на Эстории. Только недавно на планете нашли способ справиться с этими монстрами — всех их согнали в одно место, устроив своего рода резервацию, вокруг которой воздвигли мощные ультразвуковые заборы.

Но почему вдруг Дун задумался об эсторианских твиках? Да потому, что он как раз выпускал в парк одну такую тварь. И единственной жертвой твика суждено стать Джэйсу, который, голый и беззащитный, стоял рядом с озером. Однако Дун по-прежнему желал ему только добра. Это испугало мальчика больше, чем что-либо еще — ничего плохого Дун не замышлял, хотя и сам не мог с уверенностью сказать, переживет ли Джэйс нападение маленькой бестии или нет.

А твик уже взгромоздился на одну из ветвей метрах в двадцати от мальчика. Джэйс замер на месте, превратившись в статую, — он помнил, что твики находят жертву по запаху, звуку и движению. В отчаянии он пытался подыскать хоть что-нибудь похожее на оружие. Он представил себе, как поднимает один из камней, валяющихся на берегу озера... но нет, стоит ему замахнуться на твика булыжником, как кровожадная тварь мигом, еще в полете, отожрет ему одну из рук.

Твик прыгнул. Перемещение произошло настолько быстро, что Джэйс едва проследил его взглядом — теперь твик засел в зарослях травы, метрах в десяти от него.

Рана, оставленная шипастым ботинком одного из преследователей, зачесалась. «От меня же кровью пахнет, — понял Джэйс. — Твик так или иначе набросится на меня, даже если я с места не двинусь».

Твик опять переместился. И оказался в двух метрах от Джэйса. Совершенно отчаявшись, мальчик попытался заглянуть в разум животного. Перенять, мягко скажем, странноватую картину мира, каким его воспринимал зверек, не составило труда, однако разобраться в настоящем клубке противоречивых позывов и желаний так и не удавалось. Он не мог предугадать действия твика, пока оно не будет совершено. Дар Разумника ему не поможет, а другого оружия у Джэйса не было.

Внезапно Джэйс ощутил ужасную боль в левой икре. Он наклонился, чтобы отодрать животное от себя. Еще секунду твик продолжал висеть у него на ноге, погружая в плоть острые зубы, затем вдруг ускользнул от пальцев мальчика и вцепился уже в предплечье. Нога залилась кровью. Джэйс закричал и начал бить тварь левой рукой. Удары попадали в цель, но тщетно...

«Я скоро умру», — мысленно закричал Джэйс.

Но стремление жить было слишком сильно, несмотря на ужасную боль и еще более жуткий страх. Инстинктивно он понял, что твик так и будет прыгать по телу, перемещаясь с одной точки на другую. Дело было только во времени — рано или поздно эта зверюга перегрызет какую-нибудь жизненно важную артерию или доберется до лишенной костей брюшной полости и выпустит ему кишки. Впрочем, по мере насыщения твик становится все более и более медлительным. Вскоре животное перестанет метаться с такой быстротой — если только Джэйс до этого доживет. Но он слабел с каждой минутой — кровь вытекала сразу из двух огромных ран. Да и все равно оружия у него никакого нет.

Он бросился оземь в безнадежной попытке раздавить бестию своим весом. Естественно, твику это ничуть не повреди-

ло — его скелет был слишком гибок, и зверь вскочил, готовый к новой атаке, стоило Джэйсу откатиться в сторону.

Однако тварь на мгновение выпустила жертву. Теперь хищник должен двигаться не так быстро. Язон вскочил на ноги и бросился бежать.

Рана на ноге замедляла движения, и не успел он пробежать и трех метров, как твик прыгнул снова. Но теперь к нему была обращена спина Джэйса, и челюсти животного вошли в мускулы под лопаткой.

Джэйс опять бросился на землю, уже на спину. На этот раз твик издал пронзительный визг и отскочил подальше. Джэйс побежал по кромке озера. Теперь ему удалось сделать целых двенадцать неверных шагов, прежде чем твик вцепился ему в ягодицы, загнав клыки глубоко в мясо. Джэйс споткнулся, упал на колено. В каком-то метре от него тихо плескалась вода. «С такими ранами плыть я не смогу, — подумал Джэйс. — Вот и чудно. — Какая-то часть рассудка продолжала работать ровно, почти безмятежно. — А если и твик не сможет?»

Он пополз к воде, волоча левую ногу, которая совсем перестала повиноваться, разве что изредка отзывалась вспышкой боли. Джэйс добрался до воды как раз вовремя — животное принялось за кость.

Плыть Джэйс не мог. Задержав дыхание, он скорчился под водой, пытаясь совладать с адской болью, пронизывающей ягодицы, ногу, руку, спину. Он чувствовал, как твик движется вверх по тазовой кости. Машинально он отметил, что животное удаляется от уязвимой паховой области. «Мускулы срастутся. Я буду жить. Мускулы срастутся». Он твердил про себя одно и то же, и это помогало ему удержаться под водой, помогало забыть о боли, забыть о разрывающихся от недостатка воздуха легких.

Движения твика замедлились. Он выбрался из-под кожи Джэйса в районе бедра. Джэйс тут же схватил его, нащупывая шею твари. Твик стал вялым, и Джэйс без труда отыс-

кал горло животного и сдавил его. Только тогда он позволил себе вынырнуть на поверхность, чтобы перевести дыхание — бестию он по-прежнему удерживал под водой. Воздух огнем опалил легкие, и Джэйс сразу нырнул обратно. Руки не отпускали вяло вырывающегося твика. Пальцы сжались еще крепче. Опираясь на локти и здоровую ногу, Джэйс потащился обратно к берегу. Вскоре он выполз на мелководье, где можно было без особых усилий держать голову над поверхностью. Твика вырвало, и вода стала красно-бурой от непереваренных крови и плоти Джэйса. Наконец зверь перестал дергаться.

Из последних сил Джэйс зашвырнул обмякший труп подальше в озеро и рухнул на берег — лицо его уткнулось в грязь, а о кровоточащую ногу и бедро все еще плескалась вода. «Помогите, — подумал он. — Я же умираю». Потом мысли перестали быть связными. Он просто лежал, чувствуя, как кровь вытекает из тела, наполняет озеро от края до края, затягивая блестящую гладь алым цветом. Очень скоро из порванных вен вытечет последняя капля. И внутри него вообще ничего не останется.

Глава 4

САМ ДЬЯВОЛ

Наступила зима, книги пришлось отложить, поскольку появилось много другой работы. Если б работа Лэрда над книгой могла принести семье прибыль. Приход снежных вьюг — дело серьезное, для каждого найдется занятие, ведь надо запастись впрок, чтобы еды и топлива хватило до кон-

ца холодов. Тем более что небо теперь их не защищало; с тех самых пор, как пришла боль, стало возможным все, даже самое страшное. Поэтому, просыпаясь с рассветом, Лэрд сам не знал, удастся ли сегодня выкроить время, чтобы подержать в пальцах перо, или придется весь день гнуть спину, исполняя очередное поручение отца. Порой он и сам не знал, чего ему больше хочется, и каждый день честно трудился над тем, что ему выпадало. Он безропотно писал о страшных, жутких вещах — писал даже тогда, когда от воспоминаний о собственных снах его чуть не тошнило.

Первый снегопад начался ближе к вечеру того самого дня, когда Лэрд поведал о сражении Джэйса с твиком. Снег все валил и валил, небо быстро потемнело, и хотя до захода было еще далеко, Язону пришлось зажечь свечку. Наконец эта часть истории была изложена, и Лэрд уже отложил перо, отодвинул в сторону чернильницу, как вдруг на дороге послышался грохот, заглушивший даже удары кузнечного молота в отцовской кузне, — то катилась повозка медника. Точь-в-точь как в древней пословице: первый снежок — медник на порог. На самом-то деле Уайти-медник заезжал к ним по нескольку раз за год, однако с последним своим приездом он всегда старался подгадать так, чтобы попасть в Плоский Залив до настоящего снегопада.

Язон поднял голову, оторвавшись от своего занятия, — он сушил пергамент, чтобы чернила не размазались ненароком. По лестнице затопали башмачки Салы — она была еще маленькой и с трудом взбиралась на каждую ступеньку.

— Медник приехал! — крикнула она. — Медник приехал! И снег сегодня выпал!

Такому совпадению действительно стоило порадоваться — хоть что-то в этом мире оставалось прежним. Лэрд закрыл ящик с перьями. Язон отложил пергамент. Буковки, выписанные Лэрдом, были такими маленькими и аккуратными, а сам рассказ был изложен настолько сжато, что только-только подходил к концу первый лист пергамента.

— Хорошо сегодня потрудились, — заметил Язон. — Первую часть мы закончили. Самую трудную часть — для меня, во всяком случае.

— Надо идти, готовить меднику постель, — сказал Лэрд. — Он пробудет у нас всю зиму. Починит прохудившиеся мехи, а сумки из козьей кожи он мастерит такие хорошие, что хоть воду в них носи.

— Это и я умею, — пожал плечами Язон.

— Тебе надо писать книгу.

— Ну, пишешь ее больше ты, чем я.

Достав два матерчатых чехла с чердачных полок, они спустились вниз и выбежали во двор, даже не накинув куртки, хотя было уже довольно холодно. С неба падали хлопья снега — до сегодняшнего дня снег шел уже два раза, но быстро таял. А эти хлопья оседали на траве и листьях, облачая землю в белые одежды. На сеновале пахло лежалым сеном. Лэрд добрался до снопа, который выглядел чище остальных, и начал набивать свой чехол соломой.

— Значит, меднику два матраса, а мне всего один? — уточнил Язон.

— Медник останавливается у нас каждую зиму и ничего не платит за проживание, поскольку выполняет работу по дому. Он стал членом нашей семьи. — «А ты им никогда не станешь, потому что мать тебя невзлюбила», — про себя произнес Лэрд. Прекрасно зная, что это будет услышано.

Язон вздохнул:

— Зима будет суровой.

— Может, да, а может, и нет, — пожал плечами Лэрд.

— В этом году холодов не миновать.

— Гусеницы на деревьях, все как одна, покрылись волосами, да и птицы в этом году пролетели мимо нас, спешили подальше на юг. Хотя мало ли что?

— Юстиция и я по пути сюда сделали приблизительный прогноз погоды. Морозы будут стоять только держись.

Никто не умеет точно предсказывать погоду, особенно на такой длительный срок, но Лэрд уже ничему не удивлялся.

— Надо сказать отцу. Придется заготовить дров побольше. И пора начинать собирать хворост. Мы его всегда в это время начинаем собирать. Деревья сбрасывают сухие ветви.

— Тебе надо отдохнуть от книги.

— Чем дальше, тем легче она идет. Легче становится подбирать слова.

Язон посмотрел на него каким-то странным взглядом:

— И как ты думаешь, что это значит?

Лэрд не знал, что ответить, чтобы это не прозвучало смешно. Он сунул последний пучок соломы в матрас:

— Сильно не набивай. Жестко спать будет.

Язон тоже выпрямился:

— Если внутрь сунуть немного папоротника, блохи уйдут.

— И где же нам теперь искать папоротник, под снегом? — скорчил гримасу Лэрд.

— Да, похоже, поздновато.

Лэрд собрался с духом и спросил:

— Дун — он дьявол, да?

— Был. Сейчас он мертв. Во всяком случае, он обещал мне, что умрет.

— Но ведь на самом-то деле он был?..

— Дьяволом? — Язон взвалил матрас на плечо, став похожим на углекопа с мешком. — Сатана. Противник. Враг плана Господня. Губитель. Разрушитель. Да. Он был дьяволом. — Язон улыбнулся. — Но желал он только добра.

Лэрд двинулся вперед. Они вернулись в дом и поднялись по лестнице к комнате медника.

— А почему он натравил на тебя твика? Он хотел убить тебя?

— Нет. Я нужен был ему живым.

— Тогда почему?..

— Чтобы посмотреть, чего я стою.

— Немногого, ведь ты проиграл.

— Да, примерно с год после той схватки пользы от меня не было никакой. Лечился я долго, бедро сводит до сих пор. К примеру, я не могу бегать на длинные дистанции, возьми это себе на заметку. И сижу я немножко неловко.

— Я знаю. — Лэрд уже на второй день заметил, что Язон, сидя на стуле, всегда наклоняется чуть влево. — И еще кое-что знаю.

— М-м-м? — Язон бросил на постель свой матрас, и совместными усилиями они разровняли его.

— Я знаю, что ты чувствовал... когда тебе передались воспоминания кузена Радаманда.

— Да? — нахмурился Язон. — Именно поэтому я и настаивал на том, чтобы Юстиция передавала тебе историю в виде сновидений...

— Это не сны, они слишком отчетливы. Такое впечатление, что все это происходило со мной наяву. Иногда я просыпаюсь, вижу эти бревенчатые стены и думаю: Боже, как мы богаты, ведь мы можем позволить себе настоящее дерево. А потом вспоминаю, как мы бедны, что у нас земля вместо пола. А когда иду к отцу в кузню, бывает, по привычке вытягиваю руку, чтобы коснуться считывающего устройства у двери.

Язон рассмеялся, а следом за ним засмеялся и Лэрд.

— Но что больше всего меня удивляет, так это присутствие рядом Салы, мамы и папы. Иногда кажется, что я живу твоей жизнью, а собственную забываю. Мне нравится притворяться, что я могу заглянуть к ним в разум, как я не раз проделывал это в твоих воспоминаниях. Я смотрю им в глаза и стараюсь выведать, о чем они думают или что собираются сделать. — Лэрд сбросил свой матрас поверх матраса Язона. — Хотя каждый раз оказывается, что я не угадал.

— Как бы мне хотелось стать тобой, — сказал Язон.

— А мне — тобой, — ответил Лэрд.

— Дун напустил на меня твика... может, он и не желал мне ничего дурного, только после случившегося я изменился. Когда ощущаешь на себе дыхание смерти, переживаешь такую боль, то начинаешь смотреть на жизнь другими глазами. Остальные воспоминания словно затуманились. Я не очистился, ни в коем случае — я все еще испытывал вину за то, что сделал с собственной матерью, стыдился поступков из прошлого Радаманда, которые, как мне казалось, совершил я. Однако это уже не имело для меня такого значения. Встреча с Дуном стала переломным этапом. Я заново начал отсчитывать дни, и жизнь разделилась на две половины — до и после встречи с Дуном. Он избавил меня от преследований Торрока, обнародовал преступления Радаманда — ни словом, однако, не упомянув о его даре Разумника, — и моего дражайшего кузена сослали на какой-то далекий астероид. Затем Дун сделал из меня пилота. Я действительно пошел по стопам своего отца.

— Такого сновидения у меня еще не было.

— Его и не будет. Мы с Юстицией решили не забивать твой ум незначительными деталями. Ничего особенного, пилотом я стал, как и все остальные. Разве что я был лучше многих. Труднее всего было создавать впечатление, что победы в битвах я одерживаю исключительно благодаря мудрым решениям — а не благодаря дару Разумника. Только представь себе, мне приходилось сидеть и ждать, я в точности знал, что намеревается предпринять враг, — и был беспомощен. Будь у меня развязаны руки, я мог бы спасти намного больше жизней. Всегда я чуть-чуть медлил с ответным ударом, подпускал врага чуть ближе, и люди умирали, чтобы спасти мою жизнь. Вот тебе задача, Лэрд. Как ты думаешь, стоило мне спасти сотню жизней и открыть, что я Разумник, тем самым подписав себе смертный приговор, или лучше было спасти только половину и скрыть свои способности, чтобы выжить и потом спасти еще столько же, и еще, и еще?

— Смотря, в которую половину попаду я — в ту, что спасется, или в ту, что поляжет ради тебя.

Язон нахмурился. Они достали льняную простыню, набросили ее на матрасы и аккуратно подоткнули.

— Медник спит на льняном белье, тогда как я сплю на шерстяном одеяле.

— Шерсть теплее.

— Зато лен не колется.

— Тебе не понравился мой ответ.

— Это мягко говоря. Дело не в том, выживешь ты или погибнешь. Дело в том, какой из этих двух вариантов *правильный*. И что правильно, а что неправильно, решать не тебе. Когда же речь заходит о том, что предпочитаешь лично ты, эти понятия вообще перестают существовать.

Лэрд был пристыжен и зол. Зол именно потому, что его заставили почувствовать стыд.

— И что же такого неправильного в желании выжить?

— Выживать умеет каждая собака. Ты что, собака? Только когда ты начнешь заботиться о высшем, а не просто о поддержании жизни в своем теле — только тогда ты станешь человеком. И чем возвышеннее цель, ради которой ты готов и жить, и умереть, тем ты более велик.

— И ради чего ты хотел жить, когда тебя поедал твик?

Язон было вспыхнул, но тут же улыбнулся:

— Конечно, сработал инстинкт самосохранения. Прежде всего мы животные, этого никто и не отрицает. Я счел, что должен выжить, чтобы совершить нечто очень важное.

— Например, застелить кровать для странствующего медника?

— Именно об этом я тогда и подумал.

— Ты уже лучше меня говоришь на нашем языке.

— Я говорю на дюжине языков. Ваш язык — это версия наречия, на котором я говорил в детстве. По сути дела, моего родного наречия. Правила одни и те же, слова склоня-

ются одинаково. Эта планета была заселена колонистами с Капитолия. Людьми Абнера Дуна.

— Когда ребенок капризничает, родители обычно говорят: «Вот будешь плохо себя вести, ночью придет Абнер Дун и утащит тебя».

— Абнер Дун, чудовище...

— Разве это не так?

— Он был мне другом. И единственным другом всему человечеству.

— По-моему, ты сам назвал его дьяволом.

— Да, дьяволом он тоже был. Как бы ты назвал человека, который наслал на вас День, Когда Пришла Боль?

Воспоминания, начавшие было угасать, нахлынули с новой силой: крики Клэни, кровь, пульсирующим ручейком бьющая из ноги человека, которого несли по лестнице, смерть старого писаря...

— Ты смог бы простить его? — спросил Язон.

— Никогда.

Язон кивнул:

— А почему?

— Мы были так счастливы. Все шло так хорошо.

— Ага. Но когда Абнер Дун разрушил Империю и разбудил Спящих, все было иначе. Жизнь несла людям только боль и страдания.

— Тогда почему люди не чувствуют к нему благодарности?

— Потому что люди склонны считать, что раньше все было гораздо лучше.

И тут Лэрд подумал, что совершил ужасную ошибку. Он-то считал, что Дун был врагом Язону. А теперь оказалось, что Язон любит этого человека. И это пугало: Язон Вортинг признался в любви к самому дьяволу. «Так что же за работу я для него выполняю? Я должен немедленно бросить эту книгу».

Конечно, Язон и Юстиция услышали его мысли. Но ничего не ответили. Даже не сказали, чтобы он поступал, как хочет. Ответом Лэрду было молчание. «Может, действительно брошу, — решил он. — Скажу им, пускай идут в соседнюю деревню и найдут другого необразованного, невежественного писаку».

«Вот только узнаю, что произошло дальше, и брошу».

В Плоском Заливе Лэрд исполнял обязанности лесника, поэтому каждой осенью, незадолго до наступления холодов, неделю он проводил в лесу, метя деревья. На этот раз с ним отправился Язон, чему Лэрд был вовсе не рад. С девяти лет он метил деревья, которые зимой должны пойти на сруб. От восхода и до заката он бродил по лесам, которые знал лучше, чем кто-либо в деревне, видел, как меняются знакомые пейзажи с приближением зимы, искал прячущихся животных, а ночевал в шалашах, которые сам же строил днем. Лишь его дыхание нарушало лесную тишину, а по утрам, когда он просыпался, изо рта его вырывались клубы пара, расползаясь в морозном воздухе. То вдруг на лес спускался густой туман, то снег покрывал всю округу, пряча нахоженные тропки, и тогда, выйдя поутру из шалашика, Лэрд оказывался в доселе нетронутом мире и первым прокладывал путь среди белых пушистых сугробов.

Однако в этом году отец настоял, чтобы Лэрд взял с собой Язона.

— Такой зимы никогда не было. Случались крутые морозы, но чтоб такое... — сказал отец. — Раньше нас... защищали. А теперь мы как звери — нас могут сгубить холода, мы можем потеряться, умереть с голоду, нож может ни с того ни с сего сорваться и вонзиться в руку, а кто тебе тогда остановит кровь? Один ты никуда не пойдешь. Язон здесь не нужен, он может идти — и *пойдет*. — С этими словами отец смерил вызывающим взглядом Язона, надеясь, что тот заспорит. Однако Язон лишь улыбнулся.

Второй человек был лишним. Лэрд присматривался к деревьям все лето, поэтому знал заранее, какие из них стоит срубить в зимнее время. Хорошо, что такие деревья редко растут рядом друг с другом. Лэрд показывал Язону, какой ствол надо метить, а сам принимался за другой. Если же они вдвоем принимались кольцевать одно и то же дерево, то Язон все время путался у Лэрда под ногами. К середине первого дня Лэрд ясно дал понять, что присутствие Язона нежелательно, поэтому тот держался от мальчика подальше. Снега почти не было, лишь изредка навстречу попадались маленькие сугробы. Язон собирал с деревьев и камней мох и рассовывал его по кармашкам сумки, которую сшил себе, пока Лэрд писал. За весь день они не перемолвились ни словом. Однако Лэрд постоянно ощущал присутствие Язона, а поэтому работал быстрее, чем обычно, спеша покончить с этой мукой. Он вставал перед деревом на колени и вонзал в кору нож. Постукивая по рукоятке деревянным молотком, он обходил ствол кругом, после чего сдирал кору специальным инструментом, который выковал отец. До Лэрда дерево кольцевали дважды, проводя две параллельные линии. Однако занимало это вдвое больше времени, тогда как достаточно было одной метки — содранную полосу коры было видно издалека, все сразу понимали, что это дерево умерло задолго до выпадения снега. На следующий год из пня покажутся новые ростки. Ими также занимался Лэрд — обрезал лишнее, чтобы позднее высушить прутья, которые шли на корзины. Ничто не пропадало впустую, и Лэрд гордился тем, как ловко он действует, как быстро движется работа.

Он настолько погрузился в любимое занятие, что о шалаше вспомнил, лишь когда солнце уже садилось за горизонт. Никогда он не метил столько деревьев за один день. Но раньше за ним по пятам не бродил Язон Вортинг. Развалины прошлогодних шалашей давно остались позади. А до следующей ночевки идти не было смысла — слишком

далеко, к тому же на каменный утес у Пестрого Ручья он всегда забирался только на второй день, при солнечном свете, поскольку ночью это было опасно. Следовательно, ему потребуется помощь Язона, чтобы соорудить на новом месте небольшую хижину.

Стоило ему только подумать об этом, как Язон оказался рядом — по-прежнему храня молчание, он бесстрастно ожидал от мальчика указаний. Лэрд выбрал подходящее дерево с длинной веткой, которая скоро станет основной балкой хижины-мазанки. Неподалеку росла невысокая ива. Язон кивнул и при помощи своего ножа начал срезать гибкие ветви. С его высоким ростом это давалось ему легче, чем Лэрду. Юноша несколько секунд наблюдал за ним и наконец, кивнув, пошел собирать глину, чтобы укрепить стены шалаша. Неподалеку от облюбованного им дерева тек ручеек. Холодная вода обжигала руки, и приходилось торопиться. Обеими руками вычерпывая грязь из ручья и время от времени поливая ее водой из деревянной миски, Лэрд покончил со своей частью работы еще до того, как Язон связал из ивовых ветвей последний сноп. Теперь можно было начинать строить мазанку-времянку.

Язон по одному подносил Лэрду снопы. А там уж он быстро усвоил, что делать: берешь горсть листьев и заливаешь их глиной. Потом покрытая глиной листва прилеплялась к ивовым ветвям, где и засыхала — благодаря этому стены становились толще, теплее и прочнее. Каждую такую «стену» Язон и Лэрд относили к балке. Шалаш получился намного больше обычного — в нем как раз хватило места для двоих.

На дверь пошло несколько стволов молоденьких деревьев, на которые набросили овечью шкуру — Лэрд прихватил ее с собой специально для этого. Работа спорилась, и вскоре мазанка была закончена, но разжигать костер и готовить ужин пришлось уже в полной темноте. Они вскипятили воду и кинули в нее колбасу, чтобы лечь спать, хоть немного насытив-

шись. После ужина Лэрд ушел мыть котелок, а когда вернулся, то увидел, что Язон уже улегся спать, предоставив половину шалаша в его распоряжение. Хижина вышла на славу, и Лэрд вдруг понял, что сопение Язона под ухом вовсе его не раздражает. За весь день они не обменялись ни словом. Лес окутала глубокая тишина, изредка нарушаемая криками сов. Где-то рядом хрустнула ветка — быть может, медвежонок бродил неподалеку по своим делам.

Как всегда в первую ночь в лесу Лэрд заснул быстро, успев лишь привычно подумать: «И зачем мне возвращаться в Плоский Залив? Почему не остаться здесь, в лесу?»

Той ночью ему снился сон. Только на этот раз он превратился не в Язона Вортинга — впервые он увидел прошлое глазами другого человека.

Он стал Абнером Дуном.

Он сидел за каким-то очень странным столом, а в воздухе перед ним вращался целый мир. Огромная карта, на которой разными цветами были отмечены народы, населяющие планету. Он нажимал на кнопки, и на шаре появлялись другие цвета; мир продолжал вращаться, и чем дольше Дун рассматривал его, тем глубже проникался сознанием бесконечной красоты, свойственной этому творению. Это была игра, всего лишь игра, однако среди множества игроков выделялся один человек, который поражал своим гением. «Герман Нубер», — произнес компьютер, регистрирующий игроков. Герман Нубер, в настоящий момент пребывающий в сомеке, в свое время взял в руки судьбу Италии 1914 года и превратил эту страну в мировую державу. И теперь державу эту поддерживали империи многочисленных союзников, ей поклонялись входящие в ее состав государства и в руках ее сосредоточились богатства, даже не снившиеся ни одному земному государству.

В Италии Нубера был введен режим диктатуры — но диктатуры щадящей и умело скоординированной. На покоренных территориях любое восстание жестоко подавля-

лось, тогда как преданность интересам Италии щедро поощрялась. Налоги были невысоки, местные обычаи и права населения не подавлялись, и жизнь населения компьютерной реальности была прекрасна. Бунты никогда ничем хорошим не заканчивались, зато благодаря одной лишь попытке мятежа можно было лишиться всего — такое положение дел еще больше укрепляло правительство державы. Даже глупые ходы невежд-игроков, бравших на себя ответственность за игру, пока Нубер Спал, не могли испортить положение Италии.

Этим-то и привлекла игра внимание Абнера Дуна. Международные Игры не интересовали его — как, впрочем, и бесконечные трехмерные петлеоперы с их идиотским воспроизводством мельчайших деталей жизни и любви тупых, одним сексом озабоченных людишек. Он возводил собственную систему власти, и кабинет помощника министра по колонизации планет постепенно превращался в центр вселенной. Италия Нубера была у всех на устах. «Нубер вот-вот проснется». «На этот раз Нубер покорит мир». Ставки достигли неимоверной высоты, хотя в основном ставили на конкретную дату окончания игры, а не на то, сумеет ли Нубер ее выиграть. Конечно, сумеет — никаких сомнений. За всю историю Международных Игр не было такого, чтобы игрок создал из какой-то слабенькой страны великую державу, да еще за столь малый срок. Совершенство — вот как это называется. Идеальная империя.

Разумеется, Абнер не мог этим не заинтересоваться.

В течение многих часов он внимательно изучал все, что говорилось об Италии Нубера: все оказалось правдой. Такое правительство будет стоять у власти вечно. Новая Римская Империя, по сравнению с которой прежняя казалась жалкой и бледной.

«Вот это вызов», — подумал Абнер.

И спящий Лэрд проникся красотой творения Германа Нубера. И закричал во сне, когда осознал всю чудовищ-

ность плана, который замыслил Абнер. Но сновидение продолжалось, и не в воле мальчика было прервать его.

Абнер Дун купил Италию. Выкупил право управлять империей. Это обошлось ему в кругленькую сумму — на рынке игроков подобные незаконные спекуляции — дело обычное; кроме того, цена постоянно росла, чтобы Нубер, выйдя из сомека, выложил выкуп побольше. Однако деньги меньше всего интересовали Абнера. Он не собирался продавать Италию. Она послужит ему экспериментальной моделью, на которой он испробует то, что намеревался воплотить в реальной жизни. На ней он проверит свою разрушительную силу.

Он играл очень осторожно. Лэрд, следивший за происходящим, не нуждался в объяснениях действий Абнера. Дун ввязался в ряд бессмысленных войн и поставил во главе армий бездарных генералов — бездарных, но не совершенных тупиц, поэтому сокрушительных поражений не было. Так, комариные укусы, в результате которых дух армии постепенно изнашивался, а богатства империи таяли.

Одновременно он начал подтачивать изнутри саму Италию. Неправильно, по-глупому разрешал промышленные проблемы; изменял систему гражданских служб, провоцируя коррупцию; душил народ налогами. Да и покоренные государства не остались без дела — там Абнер Дун устроил религиозные преследования, принудительное использование итальянского языка как основного, дискриминацию национальных меньшинств при приеме на работу и обучении, ограничение свободы печатной продукции, запреты на свободное перемещение по странам, конфискацию принадлежащих крестьянам земель и всяческое поощрение зарождающейся аристократии. Короче говоря, делал все, чтобы Италия Нубера функционировала, как Империя Капитолия. Только Абнер рассчитывал все так, чтобы недовольство росло постепенно и неотвратимо, чтобы восстания затухали сами собой, а не выливались в затяжные бунты — он ждал. «Пара-другая гейзеров меня не интересует, — гово-

рил себе Абнер. — Я добиваюсь пробуждения вулкана, который поглотит весь мир».

Единственное, что отличало Италию Нубера от Капитолия, был католицизм, связующая сила, общая вера, которая объединяла правящие верхи. В продажной империи, которую строил Абнер, они свято верили в одно — в непогрешимость церкви.

Религия заменяла сомек. И Сонные Залы — веру и надежду всего правящего класса Капитолия и Тысячи Миров. Сон позволял пережить нищих глупцов, не удостоившихся этой великой чести. Непогрешимость, неподкупность хранителей Сонных Зал — единственное, во что верили все. Только собственными заслугами можно добиться сомека, и вознаграждаются им самые достойные. Эта привилегия не может быть куплена, не может быть выпрошена, добыта обманом или шантажом. Здесь судят по заслугам. Только благодаря сомеку Империя Тысячи Миров еще жила, хотя пятна разложения уже расползлись по ней. Сонные Залы, последнее судилище, дарили бессмертие достойным.

«Я разрушу тебя», — подумал Абнер Дун, и Лэрд содрогнулся во сне.

Окончательное падение Италии Нубера было лишь вопросом времени. Между тем проснулся после трехлетнего сна Герман Нубер, завоевавший привилегию сомека благодаря своему творению. Теперь он мог проводить по три года во сне и лишь год бодрствовать — таким образом его жизнь увеличивалась до четырехсот лет.

Естественно, первым делом Нубер попытался выкупить Италию, чтобы завершить свою игру. Абнер от продажи отказался. Агенты Нубера настаивали, с каждым разом повышая суммы, но Абнер не собирался давать никому шанс спасти Италию. Нубер даже подсылал к Дуну наемников, чтобы те «убедили» его. Убеждение не состоялось: влияние Абнера на Капитолии было слишком велико. Наемники не раз выполняли поручения Абнера, и он отослал их обратно к Нуберу,

приказав сделать с создателем Италии то же самое, что тот приказал сделать с ним. Все по справедливости.

Только на самом деле о справедливости не было и речи. Нубер, будучи человеком неглупым, прекрасно понимал, какую игру ведет Абнер. Семь лет жизни — двадцать восемь лет игрового времени — он отдал, чтобы создать чудо, которое вечно пребудет в анналах Международных Игр. А теперь Абнер разрушал его творение. И действовал он умело, целенаправленно, точно рассчитывая время и силы. Он не удовлетворится обычным восстанием и сменой власти — Дун добивался всемирной революции, новой мировой войны, которая сотрет Италию с лица земли, уничтожив ее до основания и развеяв прах по ветру. Абнер и следа не оставит от Италии — Нуберу будет нечего выкупать и отстраивать заново.

Наконец Абнер решил, что время пришло. Он сделал всего один простой ход: раскрыл взяточничество, процветавшее в церковных верхах и спровоцированное им самим. Гнев и отвращение, вызванные продажностью церкви, развеяли славу Италии Нубера — теперь уже никто не верил в законность или честность властей. Единственной реакцией компьютера на подобную ситуацию была мгновенная, всеобщая революция. Страдания народных масс слились с яростью аристократии — классы объединились, армия взбунтовалась, и Италия распалась на кусочки.

Спустя три дня все было кончено. Италия навеки ушла из игры.

Это произвело впечатление даже на самого Абнера. Может, по сравнению с действительностью все и выглядело несколько упрощенно, однако Международные Игры славились именно тем, что из всех компьютерных игр они наиболее соответствовали жизненным реалиям.

«Я сделаю это снова», — подумал Абнер. У него уже зрел план. Семена вселенской революции были посеяны, ибо червоточина добралась до самого сердца Империи —

вся структура удерживалась исключительно благодаря сомеку. Задача Абнера заключалась в том, чтобы как можно дольше оттягивать грядущую революцию, к которой надо как следует подготовиться, чтобы все рухнуло в один и тот же день, чтобы революция не просто свергла правительство, а развалила всю Империю и начисто перерезала нити, связывающие планеты. Межзвездные полеты должны кануть в Лету — иначе полного разрушения не произойдет.

Судьба благоволила к Абнеру. «Революция могла бы свершиться и без моего вмешательства, — думал он. — Вот в чем заключается основная проблема управления реальной империей: никогда не знаешь, что было бы, если б ты поступил иначе. Может, я зря вмешиваюсь? А может, наоборот, очень даже не зря». И Абнер начал потихоньку проникать в святая святых — в Сонные Залы. Сомек превратился в орудие убийства и средство для шантажа. Различные сроки сна могли быть куплены за деньги, кассеты с записями воспоминаний стали теряться или портиться, короли преступного мира возомнили, что могут распоряжаться Сонными Залами, как пожелают. Когда эта спекуляция сомеком откроется, народное негодование вспыхнет, как стог сухого сена, ненависть вырвется наружу — сами Спящие восстанут против Сонных Зал, — и на сомек будет наложен запрет. Даже пилотам будет запрещено использовать наркотик, хотя им единственным сомек действительно необходим.

«Я сделаю это», — торжествующе думал Абнер.

Однако он был совестливым человеком — в своем роде. Когда игра закончилась, он нанес визит Герману Нуберу. Этот человек перенес тяжелый удар; творение, которому он посвятил всю свою жизнь, было разрушено — просто так, без всяких видимых причин.

— Что я сделал тебе? — спросил Нубер. Он словно постарел на много лет, глубокие морщины пролегли на его челе.

— Ничего, — ответил Абнер.

— Хорошо заработал, поставив на падение Италии?

— Я не делал ставок. — Сумма, которую он получил бы в случае выигрыша, была смехотворной по сравнению с теми средствами, которыми он оперировал теперь.

— Зачем же ты глумился надо мной, если ничего от этого не выигрывал?

— Я не хотел причинять тебе боль, — промолвил Абнер.

— А ты думал, я буду радоваться?

— Я знал, что ты будешь переживать, Герман Нубер, однако я добивался не этого.

— Чего же тогда?

— Конца совершенства, — сказал Абнер.

— Но за что же тогда ты так возненавидел мою Италию? Что за низкая, подленькая страстишка сидит в твоем сердце, раз ты поставил себе целью разрушение величия?

— Я и не рассчитывал, что ты поймешь, — пожал плечами Абнер. — Однако, завладей ты Италией, игра бы закончилась. Мир твоей игры погрузился бы в вечный сон. Он бы умер. Я не против той красоты, которую ты создал. Я против того, чтобы она длилась вечно.

— Так, значит, ты поклоняешься смерти?

— Наоборот. Превыше всего я ставлю жизнь. Но жизнь может продолжаться лишь в том случае, если смерть дышит ей в затылок.

— Ты чудовище.

И Абнер не стал с ним спорить. «Я чудовище, пришедшее из глубин вселенной. Посейдон, сотрясающий землю. Червь, вгрызающийся в сердце мира».

Лэрд проснулся весь в слезах. Язон коснулся его плеча.

— Неужели сон был настолько отвратителен? — прошептал он.

Только тут Лэрд осознал, что искусственный мир Капитолия остался в далеком прошлом, а сам он вновь очутился

в маленьком лесном шалашике-мазанке. В тусклом свете, проникающем из-под покрытой овечьей шкурой двери, виднелось лицо Язона, склонившегося над ним. Внутри было чуть ли не жарко, а это означало, что ночью шел снег, который, покрыв стены пуховым одеялом, сохранил внутри шалашика тепло. Сами стены насквозь пропитались влагой, и если их не разобрать, то скоро они сломаются и в следующем году будут ни на что не годны. Не терпящая отлагательств работа мигом прогнала сон — во всяком случае, хоть на время отвлекла мальчика от грустных воспоминаний.

Время близилось к полудню, когда Лэрд наконец решился заговорить о своем сне с Язоном. Выпал глубокий снег, к тому же похолодало, поэтому сегодня они работали сообща — Лэрд окольцовывал дерево и переходил к следующему, а Язон цапкой обдирал кору и шел за мальчиком дальше по протоптанной в снегу тропинке. Вскоре они добрались до утеса, возле которого устроили небольшой перерыв.

— Мы что, и туда полезем? — спросил Язон, оглядывая заледеневшие уступы.

— Можешь попробовать взлететь, — огрызнулся Лэрд. — Есть короткий путь, но сейчас он опасен из-за снега. Попробуем вон ту трещину.

— Стар я уже, — заметил Язон. — Боюсь, сил не хватит.

— Хватит, — уверил Лэрд. — У тебя выбора нет. Я лезу наверх, а один вернуться в деревню ты не сможешь — дороги не знаешь.

— Как это лестно, что ты так заботишься обо мне, — усмехнулся Язон. — Интересно, если я упаду, ты за мной спустишься или оставишь на съедение волкам?

— Конечно, спущусь, за кого ты меня принимаешь? — И тут его гнев прорвался. — Если ты еще раз пошлешь мне такой сон, клянусь, я тебя убью.

На лице Язона мелькнуло изумление. И чему он может изумляться, если прекрасно знает, что творится у Лэрда на душе?

— Я подумал, что, увидев этот сон, ты поймешь Абнера, — промолвил Язон.

— Пойму? Да он дьявол! Это он наслал на нас Боль! Он спустился в прекрасный, цветущий мир и разрушил его!

— Он давным-давно умер, Лэрд. И к Дню, Когда Пришла Боль, он не имеет никакого отношения.

— Ничего, думаю, будь он жив, он бы всенепременно устроил нам такой праздничек.

— Согласен.

— Мало того, он бы еще сюда заявился, чтобы позлорадствовать, полюбоваться нашими страданиями — точно так же, как пришел к Нуберу!

— Да.

Тут Лэрда осенила еще одна догадка, более ужасная, чем предыдущая:

— Он бы пришел к нам точно так же, как пришли вы с Юстицией...

Язон ничего не ответил.

Лэрд поднялся, подбежал к утесу и начал карабкаться вверх. Не по трещине, а по прямой, воспользовавшись самой опасной, короткой дорогой, по которой обычно лазил, когда камни были сухие. К тому же обычно он снимал башмаки, чтобы лучше цепляться за скалы.

— Нет, Лэрд, — крикнул Язон. — Трещина вон там!

Лэрд не ответил — он упорно лез вверх, хотя зацепиться было не за что, а ноги постоянно соскальзывали. Выше будет еще труднее, только Лэрду ровным счетом наплевать на это.

— Лэрд, я же могу заглянуть к тебе в разум и найти там безопасную дорогу, так что ничего ты этим не добьешься, только себе навредишь.

Лэрд остановился, вцепившись пальцами в камень.

— Себе вредить — не над другими измываться!

Язон полез вслед за ним. Тем же самым путем. Шаг за шагом он преодолевал опаснейший подъем.

Однако Лэрд не отступал. Да и отступать было некуда — спускаться вниз теперь куда опаснее, чем взбираться вверх. И он лез все выше и выше, только медленнее, внимательно оглядываясь вокруг, стряхивая снег с каждого выступа, чтобы облегчить путь Язону, следующему за ним. В конце концов Лэрд перевалился через край утеса и протянул руку Язону, помогая тому преодолеть последнее опасное препятствие. Они уселись рядом друг с другом и, обессиленно дыша, уставились на распростершийся под ними лес. На горизонте виднелись поля и полоски дыма, поднимающегося из труб Плоского Залива. Позади мрачной, черно-белой стеной вздымался все тот же лес.

— Ну что, пошли дальше метить? — кивнул на деревья Язон.

— Слышать больше не хочу об этом Дуне, — мрачно проговорил Лэрд.

— Не могу же я взять и выкинуть его из истории.

— Ну так постарайся обойтись без его воспоминаний. Я ненавижу этого человека. Не желаю даже вспоминать, что когда-то воплощался в него. Хватит с меня и одного такого сновидения.

Язон внимательно посмотрел на него. «Что, заглядываешь в мои мысли?! — мысленно рявкнул на него Лэрд. — Хорошо, давай проверяй, насколько я искренен! Я бы никогда не поступил так, как поступил этот Дун...»

— Ты что, так и не понял, ради чего все это было?

«И понимать не хочу».

— Человечество — это не просто миллиард-другой населения. Мы обладаем единой душой, а душа эта была мертва.

— И убил ее он.

— Он ее воскресил. Разбил на кусочки, чтобы она изменилась и срослась опять, только по-новому. Когда-то мы звались Империей Тысячи Миров, хотя в ней всего-то на-

считывалось триста с лишним планет. Дун дал этому названию новый смысл — он не только разрушал и уничтожал. Во все стороны рассылались огромные корабли с колонистами на борту. И человечество постепенно заселяло вселенную, удаляясь от Капитолия все дальше и дальше, чтобы, когда наступит конец и Капитолий рухнет, а о космических полетах забудут на три тысячелетия, в пространстве засияла та самая тысяча миров, похожая на тысячу паучков. Чтобы каждая планета растила свой собственный народ, чтобы на каждой собственным путем развивалось человечество.

«И многие ли поблагодарили его? Многие ли были счастливы так же, как и мать Клэни?»

— С тех пор прошло более десяти тысяч лет, и его имя стало одним из имен дьявола. Никто не поблагодарил его за это. А благодарна ли тебе яблоня, когда ты срезаешь с нее ветки на саженцы?»

«Человек — не дерево».

— Как ты поступаешь с яблоней, Лэрд, так и Абнер Дун поступил с человечеством. Он подрезал его, привил, пересадил, все старые, мертвые ветви сжег — и теперь сад живет.

Лэрд встал.

— Пора кольцевать деревья. Если поторопимся, еще сегодня подойдем к месту прошлогодней ночевки, и тогда не придется заново отстраивать шалаш.

— Сновидений с участием Абнера Дуна больше не будет, обещаю.

— Вообще больше никаких сновидений. Хватит с меня.

— Как пожелаешь, — кивнул Язон.

Но Лэрд понимал: Язон согласился только потому, что догадался о его сомнениях. Лэрд не желал видеть во сне Абнера Дуна, но встречи с Язоном ждал с нетерпением. Он должен узнать, как тот мальчишка превратился в мужчину.

Совместными усилиями они закончили метить деревья на два дня раньше обычного, потому и домой вернулись скорее. Поднявшись наверх, Лэрд открыл пенал, вычистил перья и сказал:

— Завтра будем писать, так что не забудь послать мне очередной сон сегодня ночью.

Глава 5

КОНЕЦ СНОВИДЕНИЯМ

Медник был добродушным весельчаком, любившим петь. Он знал тысячу песен и частенько приговаривал, что все из них, за исключением шести, были слишком похабными, чтобы их исполняли в присутствии дам.

Он и в самом деле мог петь часами, и Сала, выполнив свою часть работы по дому, не раз присоединялась к нему. Она садилась у ног медника и пела вместе с ним — слова и мелодию она запоминала с первого же раза, и ее нежный голосок составлял подходящую пару могучему тенору медника. Их пение было настолько прекрасно, что даже перо замирало над бумагой. Лэрду так нравились их голоса, что каждый раз, когда начинала звучать песня, Язон говорил: «Ну, мир не рухнет, если ты немножко передохнешь от писанины». И тогда они спускались вниз и тачали башмаки либо шили сумки, в то время как женщины пряли и вышивали, а Сала с медником пели.

— А ты умеешь петь? — спросила Сала у Юстиции.

Юстиция покачала головой и снова уткнулась в свое шитье. Ладилось это у нее неважно, и мать доверяла ей только

самую грубую работу. Рубашки и брюки из шерсти получались хорошие, но то было занятие для умелых рук, а уж к прялке Юстицию вообще не стоило подпускать. Всего в деревне было четыре прялки, включая материну, и зимой они стояли в большой комнате — в это время года постояльцев в гостинице практически не бывало, и здесь собиралось почти все население Плоского Залива. День изо дня сюда подходили закутавшиеся в теплые одежды жители деревеньки. Каждая женщина приносила по три полена и что-нибудь съестное: фрукты, или половинку хлеба, или головку сыра, и тогда все вместе они устраивали пир. А после обедали мужчины — за отдельным столом, хоть и уставленным дымящимися плошками, но все же менее радушным, нежели столик с незатейливыми закусками, со стороны которого доносился веселый смех женщин. Так уж было заведено — у женщин свое общество, у мужчин свое. «Бедняжка Юстиция, — подумал Лэрд, — ей-то нет места ни в том, ни в другом».

Это было действительно грустно, поскольку Юстиция вовсе не стремилась научиться их языку. Несмотря на то что она понимала все — даже то, что оставалось несказанным, — она никогда не пыталась заговорить с кем-либо, за исключением Салы и иногда Лэрда. Но именно с Салой она не разлучалась. С того самого времени, как Юстиция ощутила боль сожженного живьем человека на плоту, Сала стала ее успокоением, ее верным другом, ее голосом. Из всех женщин одна только Сала любила ее.

Юстиция внимательно слушала пение медника и Салы, и Лэрд понял, что она все-таки способна на какие-то чувства. Не обладая даром Язона, он не мог заглянуть в ее разум, а потому не видел, что ее тянет к меднику не меньше, чем к Сале.

Медник, мужчина среднего роста, с намечающимся брюшком, но коренастый и мускулистый, постоянно улыбался и шутил. И он один не относился к Юстиции как к

чужачке. Каждый раз, когда он обводил глазами присутствующих, его взгляд обязательно останавливался и на ней, и в своих прибаутках он адресовался к ней не реже, чем к любой другой женщине. А вскоре Лэрд приметил, что взгляд его обращался к Юстиции чаще, чем к любой другой. Юстиция была молода, зубы ее не тронуло гниение, стан ее был ладен и гибок, а лицо красиво, несмотря на суровость черт. Зима длится долго, а эта женщина не замужем, так почему бы не попытать счастья? Лэрд уже вышел из детского возраста и в подобных играх разбирался. Однако затащить в постель Юстицию... да, если меднику это удастся, значит, он куда больший чудодей, чем сам Язон. «И мне плевать, кто сейчас подслушивает мои мысли, все равно буду думать, что хочу».

— Думай на здоровье, — сказал Язон, — только Юстиция может тебя удивить. Она лишилась в этой жизни большего, чем ты можешь себе представить, и поэтому имеет право быть суровой — и любить кого хочет и когда захочет. Не стоит завидовать ей, Ларелед.

Лэрд сам не ожидал, что разозлится, когда его мысли все-таки подслушали. Он рассерженно хлопнул крышкой пенала.

— Ты что, всегда подслушиваешь мои мысли? А когда я тужусь в отхожем месте, ты и там не отвязываешься, ощущая то же, что ощущаю я? И когда мой отец поведет меня через святой ритуал посвящения в мужчины, ты тоже будешь тут как тут?

Язон вскинул брови:

— Я уже старею, Лэрд. Если я и наблюдаю за тобой в отхожем месте, это только напоминает, насколько легко все дается юноше по сравнению с тем, что приходится испытывать мне.

— Ну все, заткнись!

— Ты еще не знаешь, что такое тужиться.

— *Заткнись!*

— Эй, что у вас там творится? — раздался снизу оклик матери.

— Это *твоя* мать, — шепотом напомнил Язон.

— Я втолковываю Язону, как его ненавижу! — откликнулся Лэрд.

— Замечательно, — прошептал Язон. — Лучших слов ты не мог подобрать. Теперь она точно успокоится.

Хотите верьте, хотите нет, но искренний ответ материнский гнев погасил.

— Ну наконец-то ты пришел в себя! — крикнула она. — И что теперь, уйдет он или нет?

— А она согласна вернуть камень? — поинтересовался Язон.

— Нет, пока нет! — ответил Лэрд, перевешиваясь через перила лестницы. — Похоже, ему понравилось жить среди деревенщины. — Он притворил дверь спальни и вернулся к письменному столу. — Ну, я готов. А ты?

— К твоему сведению, мне приходилось жить в куда худших условиях. И мне та жизнь нравилась.

— Кончай лезть ко мне в мысли.

— А ты не хочешь запретить мне ходить с открытыми глазами? Подумай, вдруг я увижу кого-нибудь не того? Поверь мне, Лэрд, я побывал в таких отвратительных умах, что тебе даже и не сни...

— Снилось. Кое-какими воспоминаниями ты уже успел поделиться со мной.

— Ну, вообще-то да, ты прав. Извини. Но я только так могу рассказать тебе эту историю.

— По правде говоря, истории можно рассказывать и по-другому. Ты достаточно хорошо владеешь нашим языком, хоть и не умеешь писать. Так что давай излагай. А я буду записывать твои слова.

— Нет. Я слишком много лгал в своей жизни, а твои строки должны быть правдивы. Мой язык — это язык лжи. Он для

того и существует, чтобы лгать. Правду я узнаю иными способами. А некоторые так и не находят правды никогда.

— Как бы то ни было, от снов об Абнере Дуне я отказываюсь, а та часть истории еще не закончена, поэтому что-то тебе *придется* рассказать словами.

— И на чем мы остановились?

— На эсторианском твике.

— Боже, как это было давно!

— Да, мы довольно долго гуляли по лесам.

— Ладно, не важно. Как ты сам видишь, я тогда не умер. Раны затянулись только через полгода, а после этого Дун пристроил меня в летную школу. С тех пор я зажил жизнью пилота космического корабля. Я принимал сомек и, очутившись вне времени, путешествовал по глубокому космосу. Когда приближался враг, корабль будил меня. Убить меня не удалось никому, а вот я одержал множество побед, тем самым приобретя всеобщую известность и славу. А благодаря славе нажил и целую кучу завистников-врагов. Не раз на меня устраивали покушения, и так продолжалось до тех пор, пока Дун не услал меня с планеты, назначив капитаном колонистского корабля.

Лэрд задумчиво грыз перо:

— М-да, верно. Неважный из тебя рассказчик.

— Зато я знаю, о чем стоит рассказывать подробно, а что можно и пропустить.

— Слишком многое ты пропускаешь.

— Например?

— Например, ты так и не рассказал, как сдал тот второй тест. Я помню, как ты волновался за него, и вдруг — все как отрубило.

Язон надавил на огромное шило, тщетно пытаясь продырявить кожу, из которой шил отцу Лэрда новые башмаки.

— Да, похоже, кожу у вас в деревне так и не научились дубить.

— Научились, научились. Зимой она не пропускает ни снег, ни воду.

— Вижу, она и иголки не пропускает.

Нараставшее внутри Лэрда раздражение обратилось в веселую дерзость. И сдерживаться он не собирался:

— Давай работай, хоть мускулы себе подкачаешь.

Язон тоже не намеревался уступать и с язвительной улыбкой вручил мальчику башмак. Лэрд перехватил его поудобнее и одним круговым движением шила ловко продырявил кожу. После чего кинул башмак обратно.

— Ого, — только и сказал Язон.

— Тест, — напомнил Лэрд.

— Я прошел его. Хотя не должен был. Потому что ответ на второй вопрос был найден группой видных ученых из другого университета всего за несколько месяцев до этого. А на третий вопрос, который я наполовину решил... в общем, на него не мог ответить *никто*. Это послужило сигналом тревоги для компьютера. А компьютер послужил сигналом тревоги для Дуна. В мире появилась новая диковинка, человек, которого стоило завербовать на свою сторону.

Лэрд смотрел на него с благоговением:

— И ты еще ребенком ответил на вопрос, на который не могли найти ответа все ученые вселенной?

— Ну, на самом-то деле все не так впечатляюще. Дело в том, что сомек выключает из жизни не только обычных людей, но и физиков, математиков и прочих ученых. Обе проблемы должны были быть решены еще столетия назад. Однако лучшие умы быстрее остальных достигали высших уровней сомека — они бодрствовали считанные месяцы и Спали никак не меньше шести лет. Таким образом, добиться чего-то могли только второсортные ученые, которые бодрствовали дольше. Каждый народ когда-нибудь достигает этого этапа. Люди всячески опекают своих гениев, окружают почестями, чествуют наградами — в общем, доводят до такого состояния, когда они просто теряют способность тво-

рить. Никакой я не гений. Просто у меня работали мозги, да и сомек меня волновал меньше всего на свете.

— Значит, Абнер тебя завербовал?

— На самом деле он с самого начала следил за мной — с помощью компьютеров и Маменькиных Сынков. В любую секунду меня могли схватить. Он видел, что я направился к Радаманду, и подслушал наш разговор — в то время у всех стен и вправду имелись уши. Он знал, что я записал свою мать в колонисты. Эта детская жестокость... он нашел ее совершенно очаровательной.

— У тебя не было выбора.

— Не было. Однако очень часто люди действуют так, будто этот выбор у них есть, и лишаются всего, поскольку не в их силах оказывается это осуществить.

— И что случилось потом?

— Не скажу. Сначала запиши то, что я тебе только что рассказал, и свой сон об Абнере Дуне. Изложи эти истории ясным, простым языком, и сегодня ночью тебе приснится новый сон.

— Ненавижу эти сны!

— Почему? Я ведь не Дун.

— Когда я просыпаюсь, то уже не помню, кто я, а кто ты.

Язон ткнул пальцем себе в грудь.

— Я есть я. Ты есть ты.

— Это не ответ.

— Это единственный возможный ответ. То, что находится в твоей телесной оболочке, движет твоими руками и ногами, — это ты. Даже если мои действия остаются у тебя в памяти, это все равно ты.

— Я не посылал свою мать на другую планету, чтобы больше никогда не видеть ее.

— Да, — кивнул Язон. — Этого ты не делал.

— Тогда почему же я так стыжусь этого поступка?

— Потому что у тебя есть душа, Лэрд. Ее существование было доказано еще во время первых экспериментов с соме-

ком. Добровольцы принимали сомек и лишались памяти, а при пробуждении им давали чужие воспоминания. С крысами, как ни странно, это удавалось. Хотя попробуй представь себе крысу, совершающую действия, которые другая крыса бы не одобрила. Люди просыпались с воспоминаниями о поступках, которых они никогда не могли бы совершить. И это сводило их с ума. Но почему? Ведь им не с чем было сравнивать — другой жизни они не знали и не помнили. Однако воспоминания о стольких *неправильных, неверных* поступках были для них невыносимы. Видимо, что-то остается в человеке, даже после того, как сомек стирает все воспоминания. Эта частица постоянно твердит тебе: «Вот так бы я мог поступить. А вот так — никогда». Эта частица определяет твою сущность. Это твоя душа. Твоя воля. Как видишь, слова все старые.

— Неужели эту частичку не берет даже смерть?

— Этого я не говорил. Ее не берет сомек. Вот если бы ты разрешил мне показать одну историю из жизни Дуна...

— Нет.

— Ладно, тогда я расскажу тебе об этом. Когда-то он любил девушку. Очень умную, способную девушку, которая попала под власть отца-инвалида и умственно неполноценной матери. Всю жизнь этой девушкой вертели и крутили, как хотели, а она безропотно сносила такое отношение, потому что любила своих родителей. Это повиновение разрушило всю ее судьбу, лишило друзей и знакомых. Рядом с ней остался только Дун, потому что он обладал замечательной способностью видеть человеческую натуру насквозь — даже не будучи Разумником. И он понял эту девушку, догадался, что скрывается за преградой, воздвигнутой ее родителями. Он влюбился в нее. Но она отказалась оставить ради него семью.

— Он хотел, чтобы она вышла за него замуж?

— Ну, свадьбы тогда были не в почете... В общем, она отказала ему. Она даже помыслить не могла о том, чтобы лишить родителей поддержки — без нее их жизнь превра-

тилась бы в кромешный ад. И она осталась с ними. Прошло пятнадцать лет, прежде чем они умерли. Отчаяние, горечь, озлобленность затуманили ее душу и заставили позабыть обо всем на свете. Даже когда Дун вернулся и вновь предложил ей свою любовь, она отвергла его. Для нее больше не существовало любви. И тогда он решился на отчаянный шаг. Пятнадцать лет назад, когда они обсуждали, э-э, свою будущую совместную жизнь, он уговорил ее записать свои воспоминания на сомеккассету. Она согласилась, но передумала, когда Дун собрался ввести ей сомек. Эта кассета долгие годы пролежала у него. А поскольку к тому времени Сонные Залы уже оказались в его власти, он без труда устроил так, чтобы девушке ввели сомек и переписали в мозг старые воспоминания. Потом он признался ей в этом — сказал, что она заботилась о своих родителях до конца, а теперь может жить, не терзаясь воспоминаниями об искалечивших ее душу годах.

— И стали они жить-поживать и добра наживать?

— Она не выдержала этого. Не смогла жить без памяти — без памяти об угасании своих родителей. Она была из тех, кто следует долгу до конца — даже если это ведет к гибели. Она просто не могла по-другому.

— Ее душа...

— Да. Она заставила Дуна вернуть ей истинные воспоминания. Пусть даже их счастливой жизни друг с другом настал конец. Она предпочла боль радости.

— Во-во, такую сумасшедшую только Дун и мог полюбить.

— Ты такой милый, Лэрд, аж сердце радуется. Ну для каждого у тебя найдется доброе словечко.

— А нормальный человек может желать страданий и отказываться от счастья?

— Хороший вопрос, — согласился Язон. — На него-то ты и должен будешь ответить в своей книге. А теперь давай

записывай то, что я рассказал, потому что сегодня ночью тебе приснится еще один сон.

— А что мне будет сниться?

— Ты что, не любишь сюрпризов?

— Нет.

— Тебе будет сниться, как Язон Вортинг, знаменитый воин-пилот, стал капитаном корабля колонистов и как он впервые в жизни потерпел поражение.

— Уж лучше писать о таком, чем о том, что ты мне сегодня понарассказывал.

— Иногда приходится писать о скучном, чтобы придать увлекательной части больший смысл. Давай пиши. На следующей неделе мы с твоим отцом собрались за дровами, и эти башмаки ему понадобятся.

— Ты что, с нами пойдешь?

— Такое развлечение — неужели ты думал, я останусь в стороне?

Лэрд писал, а Язон шил. Вечером отец примерил новые башмаки и признал, что сработаны они неплохо. А ночью Лэрду приснился сон.

Звездные пилоты оставались молодыми очень и очень долго. Большую часть полета, который даже на скорости, в несколько раз превосходящей скорость света, занимал годы, пилоты Спали, и просыпались только по сигналу судна. Тревога могла быть объявлена по причине появления неизвестного космического корабля, гибели соседней планеты или какой-то неполадки в корабельной системе, но обычно пилот ложился в сон через три дня после вылета и просыпался за три дня до прибытия. И проводил он на месте назначения несколько недель, не больше. Вот так и получалось, что Спали пилоты в среднем по пять лет, бодрствуя максимум три недели. Столько не Спал никто во вселенной — за исключением Матери-Императрицы, которая Спала еще дольше и просыпалась реже. Ни один политик, ни один

актер не смог добиться привилегии проводить в сомеке столько времени, сколько проводили пилоты.

И самым известным, самым знаменитым, самым почитаемым из них был Джаз Вортинг, герой битвы при Болловее, звезда петленовостей.

Однако Язон прекрасно понимал, что эта слава принесла ему не только любовь и почитание — никого другого так не ненавидели и никому так не завидовали. В глазах ненавидевших и презиравших Империю он, звездный пилот, олицетворял ее мощь.

Поэтому, вернувшись на Капитолий, он не удивился, когда обнаружил, что его окружают враги и завистники. Удивляло другое — почти все жаждали убить его. Следовательно, ситуация выходит из рук. Интересно, чем занимался Дун последние двенадцать лет?

Из всех миров только Капитолий мог позволить себе космопорт, способный принимать космические корабли любых размеров. Это тоже было частью величия Капитолия. Самая популярная петлезапись, регулярно передаваемая по межпланетному петлевидению, демонстрировала, как тягачи загоняют космических монстров в разверстые жерла доков на металлической поверхности Капитолия. Петлезрители не пропускали ни одного приземления. Приземление же корабля Джаза демонстрировали все петлекамеры планеты, как частные, так и государственные. И толпы...

Тысячи и тысячи людей собрались на балкончиках вокруг посадочной площадки. Джаз почувствовал их присутствие задолго до выхода из корабля; даже сквозь закрытые двери он ощущал возбуждение толпы. И как всегда, перед тем как открыть шлюз, он чуть помедлил и спросил себя: «А надо ли мне это? Неужели в этом и заключается смысл моей жизни?» И как обычно ответил: «Нет. Не думаю. Надеюсь, что нет. Нет».

Его агент, Хоп Нойок, бурно приветствовал Джаза, когда тот перешагнул через порог. Хоп обожал светиться в пет-

леновостях, передаваемых на всю Тысячу Миров. Пока Джаз отсутствовал, вечеринки Нойок посещал от его имени. Хоп относился к весьма редкому виду существ — он был агентом пилота и тем не менее просто обожал своего клиента. Правда, с тех пор как они познакомились, Хоп постарел уже на несколько десятков лет, тогда как для Джаза прошло всего шесть месяцев. Хоп начал лысеть. Обзавелся брюшком. Однако он по-прежнему был предан, сметлив и безумно любил свою работу, а такими качествами могли похвастаться очень немногие агенты. Кроме того, Джаз и сам успел полюбить его. Вырос Нойок в среде «стенных крыс» и даже в вентиляционных туннелях проявил такую смекалку, что еще в ранней юности обзавелся деньгами и связями, достаточными, чтобы купить себе необходимые документы. Он вышел в коридоры Капитолия, когда ему только-только стукнуло восемнадцать. Его нашел Дун. До этого он с Хопом не встречался, однако немало о нем слышал. И, когда Джаз решил нанять агента, который бы управлял его делами на Капитолии, Дун порекомендовал юноше Нойока.

Однако на этот раз бурный рев толпы почему-то не радовал Хопа. О, он как всегда расшаркивался, раскланивался и рассыпал приветствия, однако делал это через силу. Джаз заглянул в разум к Хопу и после недолгих поисков обнаружил причину его беспокойства.

Хоп проснулся всего два дня назад, когда слух о возвращении его клиента достиг Сонных Зал. Тогда же ему передали сложенную вдвое и запечатанную записку. Такая записка-памятка была обычным делом — тот, кому уже после копирования памяти пришло на ум нечто, что обязательно нужно запомнить, мог оставить самому себе подобное послание. Раньше Хоп никогда такими памятками не пользовался, считая, что это глупо. Однако на листке его собственной рукой было написано: «Кто-то собирается убить Джаза. Предупреди».

Хоп ничего из записки не понял, как, впрочем, и сам Язон. Каким образом Нойок мог выяснить это за минуты до введения сомека? Кто-то из служителей Сонных Зал рассказал ему об этом? Абсурд — эти монахи и монашенки, прислуживающие богу сна, не имели доступа к внешнему миру. Но никто другой не мог проникнуть в святая святых. И Хоп решил, что, по-видимому, незадолго до погружения в сон он сам сложил вместе некие известные ему факты и понял, что зреет заговор с целью убить Язона. Два дня ломал он голову, пытаясь вспомнить, что же именно привело его к такому выводу. Но он так ни до чего и не додумался, и вот Джаз уже на планете, а из доказательств у него есть лишь записка самому себе.

Но Джазу было известно кое-что такое, чего не знал Хоп. Только один человек на Капитолии мог беспрепятственно проникнуть в Сонные Залы и рассказать о заговоре готовящемуся к погружению в сон человеку. Дун.

Спустя два часа Хоп сумел наконец отбрыкаться от наседающих петлекорреспондентов и рассказать Джазу о записке. К тому времени Язон уже успел вычислить в окружающей толпе добрую дюжину людей, участвующих не в том, так в другом заговоре против него. Один был даже вооружен. Держаться от убийцы подальше не составило труда, ну а другие были не такими дураками, чтобы всадить в пилота пулю прямо перед объективами трех сотен петлекамер.

— Не волнуйся ты так, — сказал Язон. — Уверен, ничего страшного в этом нет.

— Надеюсь. Только я не страдаю манией посылать самому себе записки. Это все неспроста.

— Ты-то откуда знаешь, что тебе взбрело в голову в минуты между копированием памяти и сном? Этого никто не помнит.

— Мне много толкового в голову взбредает.

Вот так и начался бедлам. Домой Джаз не заходил вообще — там постоянно прятался какой-нибудь убийца, — и

еще Джаз сумел обнаружить несколько засад. Апогея все это достигло на вечеринке у бывшей петлезвезды Арран Хэндалли, которая оставила публичные совокупления на долю петлезвездочек рангом поменьше и решила начать жизнь избалованной аристократки. Она же участвовала в одном из наиболее опасных заговоров с целью убить Джаза. Отделавшись от знакомых и забившись в уголок, Джаз пытался выяснить, как случилось, что его жизнь в один миг стала объектом стольких заговоров. Он твердо решил получить ответ на этот вопрос — и разум Арран Хэндалли вполне для этого подходил.

Джаз должен умереть — вот главное, что было у нее на уме. Но почему? А вот еще сюрприз: его смерть должна послужить сигналом к восстанию. Не то чтобы Джаз обладал политическим влиянием. Просто он символизировал все то, что так ненавидела Арран, — он воплощал Капитолий, общество, которое много лет назад подвигло на самоубийство единственного человека, которого она любила. То была история трагическая и прекрасная, и она настолько поглотила Джаза, что он совсем позабыл о других участниках заговора. Очнулся он только тогда, когда заметил, что Арран Хэндалли направляется к нему.

— Капитан Вортинг, — кивнула она.

— Просто Джаз. — Он улыбнулся своей фирменной улыбкой, обвораживающей петлезрителей. Естественно, петлекамеры проникли и сюда, и Джазу пришлось работать на публику, пусть петлесъемка и осуществлялась незаконно.

— Просто Арран. Знаешь, Джаз, я даже не надеялась, что ты появишься здесь. Только вчера мы узнали, что ты прибываешь на Капитолий. Как это мило, что ты выкроил минутку, чтобы заглянуть.

— Это честь для меня, — поклонился Джаз. — Я видел всего одну из твоих петлезаписей, но был впечатлен настолько, что не смог отвергнуть приглашение.

— Да, и какую же?

— Сейчас, как же она называлась?.. — протянул Джаз, делая вид, будто вспоминает. — Ты там играла с одним знаменитым актером, как же его... а да, Гамильтон Ферлок.

Удар достиг цели, хотя она даже глазом не моргнула. Гэм Ферлок и был тем самым возлюбленным, который покончил жизнь самоубийством, после того как она отказалась ради него сменить амплуа. Это произошло на двадцать первый день непрерывной петлезаписи. Со стороны Джаза жестоко напоминать ей об этом — но ведь она замышляла его убийство.

Когда, кстати?.. Да прямо сейчас! К ним подошел слуга с подносом, на котором стоял большой кубок с вином.

— Как бы то ни было, — приторно улыбнулась Арран, — ты повсюду почетный гость. И кубок сегодняшнего вечера по праву твой.

С этими словами она протянула ему серебряную чашу, приглашая отпить. Слуга незаметно подступил ближе, чтобы Язон мог взять с подноса кубок и, в свою очередь, дать отпить из него Арран. Язон взял кубок, но чашу отстранил.

— Не смею принять подобную почесть из твоих рук.

— Но я настаиваю, — сказала она. — Если кто и заслужил это, так только ты.

— Ты замечательная женщина, Арран. Какое мужество — отравить меня прямо посреди тобой же устроенной вечеринки.

Будь он поосторожнее, он избежал бы этой сцены. Но здесь собрались участники сразу нескольких заговоров. Многие из гостей были вооружены, а за выходами велось наблюдение. Единственным человеком, который знал потайные пути из залы, была сама Арран, и открывались двери только прикосновением ее ладони. Поэтому он избрал наиболее мелодраматичного из убийц, молодого модельера, который шил Арран платье для сегодняшней вечеринки. Джаз шагнул ему навстречу. Юноша, похоже, собрался устроить из убийства эдакое шоу.

— Фриц Капок, — представился молодой человек. — Как вы смеете обвинять Арран Хэндалли в столь грязном замысле?

— Смею вот, — ответил Джаз.

— Джаз, извинись и сматывай отсюда ко всем чертям, — шепнул Хоп.

— Рапиры или пули? — спросил Капок.

А, он хочет, чтобы все было по правилам, да? Джаз рассмеялся ему в лицо и предложил дуэль на рапирах.

Дальше события развивались сами собой. Джаз не убил юношу только потому, что в самый разгар дуэли прибыл отряд Маменькиных Сынков. Послал их сюда сам Дун. «Выходит, Абнер как-то замешан в это все. Хотелось бы надеяться, он знает, что делает».

Маменькины Сынки внесли сумятицу в ряды гостей, и Джаз ускользнул — с невольной помощью Арран. Теперь у него была одна цель — найти Дуна и объяснить, что его, Джаза, любовь к заму министра колонизации вовсе не столь безгранична, чтобы за него умереть. По пути он избавился от Хопа и Арран, посчитав, что чем дальше от него, тем безопаснее для них. Во всяком случае, Хоп сумеет о себе позаботиться. В конце концов Джазу удалось разыскать Дуна в его личном парке, неподалеку от озера.

— Прекрасно сделал, что сбежал, — одобрил Дун. — Некоторые из заговоров были весьма и весьма опасны. Ты чуть не погиб.

Язон указал на царапину, оставленную на его руке рапирой Капока.

— Что у тебя на уме, Дун?

— Ничего особенного. Вывожу с Капитолия наиболее достойных. Тебе же ничего не грозит, ты в любой момент можешь выяснить, кто убийца, а кто нет. Приходится идти на небольшие жертвы.

— В следующий раз не забудь меня спросить.

— Я ищу нечто такое, чего даже ты не сможешь найти.

— Ну, это не так уж сложно. По-твоему, достойный человек — это тот, кто примет участие в заговоре против меня.

— А ты чего ожидал? Ты символ этой мерзкой империи.

— Это ты сделал меня таким. Ты управляешь нами, как куклами.

Лицо Дуна помрачнело.

— Неужели ты считаешь меня Господом Богом? Я всего лишь составная частичка ваших жизней.

— Их жизней. В моей ты значишь несколько больше.

— Надеюсь, это потому, что ты меня так любишь? — насмешливо уточнил Дун.

— Это потому, что все наиболее важные события в моей судьбе были связаны с тобой. Единственной женщиной, небезразличной мне, была твоя несбывшаяся любовь. Все мои победы были твоими победами, мои мечты — твоими...

— Неправда.

— Правда! Твои воспоминания вытеснили у меня память о собственной жизни!

— Как это? — спросил Дун.

— Да так. Все из-за твоих замыслов. Ты так стремишься к цели, хотя и сам не представляешь, чего добьешься... все твои воспоминания навсегда остаются в человеке, который посмеет заглянуть к тебе в мысли.

— А как же твое прошлое? Оно что, вообще ничего не значит? Битвы, борьба за жизнь, страх, противостояние...

— Какое противостояние? Какой страх? За исключением драки с той бестией, что ты напустил на меня в своем собственном парке, я никогда и ничего не боялся. Так, обыкновенный спортивный интерес к исходу боя, в котором я никогда не сомневался. В сражении я всегда мог подслушать планы неприятеля, в разговоре я проникал в самые потаенные помыслы собеседника — мне никогда не приходилось сомневаться или терзаться догадками...

— Твоя жизнь и в самом деле сплошная скука. Бедняжка Язон.

— Мне случалось просыпаться в уверенности, что я — это ты. Я обводил взглядом кабину космического корабля и думал: а как я здесь оказался? Смотрелся в зеркало и удивлялся при виде этого лица. Это лицо принадлежит петлевидению. Принадлежит Джазу Вортингу, но я же точно знал, что меня зовут Абнер Дун, я человек, который завоевал расположение самой Матери и поведал ей, когда наступит время умереть...

Говоря это, Язон заглядывал в мысли к Дуну, чтобы удостовериться, действительно ли время пришло. Абнер разбудил Императрицу и встретился с ней в открытую много лет назад. «Я разрушу твою империю, — сказал он ей. — Я просто подумал, что лучше, чтобы ты знала, это будет честно». Она восприняла весть спокойно, чуть ли не обрадовавшись, и дала ему свое согласие. При одном условии — он должен был загодя предупредить ее о начале крушения, чтобы она могла проснуться и увидеть все собственными глазами. И теперь Язон хотел узнать, когда Дун собирается сказать ей об этом. О наступлении конца Империи.

— Еще нет, — ответил Дун. — Мне еще многое нужно сделать. Может, еще столетие-другое.

Чего еще он хочет? Вот уже несколько сотен лет он рассылает корабли с колонистами во все концы вселенной. Но все свои надежды он возлагал на корабли, которые отправятся в путь сейчас.

— Я совершаю эксперимент над человечеством, — произнес Язон. — Я обрежу нити, связывающие звезды, и позволю каждой планете следовать собственным путем. Может, через тысячу лет кто-то создаст корабль, для пилотирования которого человеку не понадобится ложиться в сон, и тогда мы посмотрим, во что превратилось человечество, разделившись на тысячу разных культур.

— Это же мои слова, — нахмурился Дун.

— Верно, — кивнул Язон. — Ты руководишь нами, как марионетками. Голос мой — слова твои.

— Ты сердишься?

— Почему я? Почему именно мне выпало счастье стать одним из двенадцати твоих апостолов?

— Не знаю.

— Знаю, что не знаешь. Я знаю все, что ты знаешь и о чем ты не знаешь. Я даже знаю, чего именно ты не знаешь, не зная того. В твоем разуме я могу откопать такое, о чем ты сам напрочь забыл. Ты готовился к моему возвращению пятьдесят лет и тем не менее сам не знаешь, к чему приведет твой план!

— Я посылаю тебя дальше, чем кого-либо еще. Записей об отправлении твоего корабля не существует. Официально предатели и заговорщики, летящие с тобой, казнены. Тебя никто не будет искать — до тех пор, пока несколько тысячелетий спустя не будет обнаружено мое послание. Твоему мирку дается куда больше времени на развитие, чем другим планетам.

— И чего же ты добиваешься этим? Хочешь, чтобы за пару тысяч лет мы эволюционировали?

— Не эволюционировали — размножились.

И тут Язон посмотрел на себя со стороны, со стороны Дуна. Увидел небесно-голубые глаза. Глаза своего отца, и отца своего отца.

— Ага, племенной жеребец, который наплодит целый мир Разумников, так, да?

— Ну, на мой взгляд, слово «породит» здесь более уместно.

— Я на ферме не воспитывался.

— Ты и твое семейство аномальны. Твой дар куда более надежен, более всеобъемлющ, нежели какой другой известный штамм телепатии. Почему бы не проверить, как он будет развиваться в изолированном обществе?

— Так почему ты не изолируешь меня одного? Зачем ты навязываешь мне судно, битком набитое людьми, которые последние годы только и мечтали, как меня убить?

Дун улыбнулся:

— Взыграло мое чувство справедливости. С обычной колонией ты управишься без труда. Там тебе не придется все время быть начеку.

— Вот здорово, не хочешь мне спуску давать, да?

Дун схватил Язона за волосы, притянул к себе и прошипел ему прямо в лицо:

— А ты превзойди меня, Язон. Сделай больше, чем сделал я.

— Мы что, наперегонки бегаем? Так давай без форы. Триста тридцать три колониста против какого-то капитана корабля — силы неравны, тебе не кажется?

— С тобой, — произнес Дун, — без форы не выйдет.

— Я не полечу.

— Язон, у тебя нет выбора.

И Язон увидел, что он не лжет. Дун сохранил достаточно доказательств того, что Язон обладает даром Разумника. Как только он лишится покровительства Дуна, его возьмут под арест. Ему даже спрятаться негде, ведь каждый житель Капитолия знает его в лицо.

— Больше всего в жизни, — вымолвил Язон, — марионетка жаждет свободы.

— Ты и так свободен. Оставайся и умри или улетай и будь свободным — выбор у тебя есть.

— Хорош выбор!

— А ты захотел неба в алмазах? Иметь хоть какой-то выбор уже означает быть свободным — даже когда приходится выбирать между двумя неприемлемыми исходами. Какой из них наиболее ужасен для тебя, Язон? Который тебе больше всего не по душе? Выбирай другой и радуйся.

И Язон решил лететь; Дун снова одержал победу.

— Это не так плохо, — сказал Дун. — Как только ты улетишь с планеты, я уже не буду манипулировать тобой.

— Луч света в темном царстве, — произнес Язон. — Он послужит мне утешением, пока во тьме колонисты будут точить свои ножи.

Однако утешение не приходило. Лишиться поддержки и совета Дуна — вот что больше всего страшило Язона. К добру или ко злу. Дун был его опорой в жизни; с тех самых пор, как Дун нашел его, Язон знал, что ничего непоправимого в его судьбе не случится — Дун был всегда рядом.

А теперь кто поддержит его, когда он оступится? И все-таки, понял Язон, это означало свободу, потому что с этого момента никто не убережет его от последствий собственных поступков. «Не такой свободы я жаждал. Мне хотелось детства, а Дун не дал мне его; все эти годы он заменял мне отца, а сейчас гонит прочь из родного дома».

— Я никогда не прощу тебе этого, — сказал Язон.

— Ну так что ж, — пожал плечами Дун. — Я вовсе и не ждал, что кто-то меня полюбит.

Затем он как-то странно улыбнулся, и Язон понял, что вся его бодрость была напускной.

— Зато я тебя люблю, — произнес Дун.

— Я так похож на тебя, что любить меня — это чистой воды нарциссизм. — Язон не старался смягчить свои слова.

— Я люблю в тебе именно то, что от меня не зависит, — ответил Дун. — Где я разрушаю, ты вновь отстраиваешь. Я создал для тебя хаос, мир, утративший форму. Ты тот свет, которому суждено пролиться на тьму.

— Не терплю заученные фразы.

— Прощай, Язон. Тебя ждут колонисты — послезавтра они примут сомек, и вы отправитесь в путь.

Лэрд отложил перо и посыпал песком пергамент, чтобы чернила быстрее высохли.

— Теперь я понимаю, почему мне так хочется, чтобы ты никогда не появлялся в моей жизни, — сказал он.

Язон лишь вздохнул в ответ.

— Ты верно тогда сказал. Самые сильные мои воспоминания принадлежат тебе.

— Я был не прав, — возразил Язон. — То, что ты помнишь мои слова, еще не означает, что они были правдой. Как не означает, что я и сейчас верю в то, во что верил тогда.

— Иногда я забываюсь и пытаюсь проникнуть взглядом в мысли людей, но не могу, хотя знаю, как это делается. Такое ощущение, будто кто-то отрубил мне руку. Или заткнул уши, или вырвал язык.

— И все-таки, — перебил его Язон, кивнув на выструганное им топорище, — хоть я и режу дерево, как пожелаю, его сила, его форма определяется, когда оно лишь зарождается в семени. Ты можешь делиться с людьми воспоминаниями, можешь перенимать у них опыт, однако не память делает тебя. В структуре нашего мозга присутствует что-то незримое. Это было доказано, еще когда в мозг человека попытались скачать чужие воспоминания. Его жизненный опыт, его прошлое — ведь мозг, просыпающийся после сомека, пуст, не так ли? Однако новые воспоминания почему-то не приживались. Человек знал только одно, искусственно вживленное прошлое, он искренне *верил,* что раньше был другим, но воспоминания эти были невыносимы для него. Они не соответствовали его внутреннему «я».

— И что с ним случалось дальше?

— Они... вообще-то таких людей было несколько. Все они сошли с ума. Их прошлое было неправильным, как здесь сохранить рассудок?

— А я тоже сойду с ума?

— Нет.

— Почему ты так в этом уверен?

— Потому что, сколько бы моих воспоминаний ты в себе ни хранил, где-то в глубине твоего разума есть место, где таится особая частичка тебя, где ты — это только ты, где твои воспоминания находят отклик.

— Но твои воспоминания что-то изменяют во мне самом.

— Я тоже изменяюсь, — пожал плечами Язон. — Неужели ты думаешь, что я остался прежним, обладая даром познавать внутренние стороны человеческой жизни?

— Нет. Но ты в своем уме — или нет?

Лицо Язона на мгновение изумленно вытянулось, но потом он громко расхохотался.

— Конечно, нет, — вымолвил наконец он. — Боже, спаси и сохрани, ну и вопросики ты задаешь! Юстиция была тысячу раз права, когда выбрала тебя, у тебя ум как бритва. Да, я не в своем уме, я абсолютно свихнувшийся человек, но мое безумие — это производная от воспоминаний всех тех людей, что я когда-либо знал. Иногда мне кажется, что я успел познакомиться со всеми людьми на свете — во всяком случае, мне известны все типы человеческого сознания, которые только можно представить.

И так он ликовал, так радовался возможности оставаться собой, что Лэрд не выдержал и улыбнулся:

— Но как же твой ум удерживает столько разных воспоминаний?

Язон в очередной раз продемонстрировал ему недоделанное топорище:

— Точно так же топорище удерживает топор. Всегда найдется местечко, чтобы вбить клин или два. Всегда можно чуточку ужаться, чтобы крепче держалось.

Первого снегопада все не было и не было.

— Плохой знак, — проворчал медник. — Небо, стало быть, что-то нам готовит.

Он вскарабкался на крышу, снял жестяную дымовую трубу, немножко подправил ее, чтобы она не протекала, и приладил обратно.

— Проверьте окна и двери — убедитесь, что ставни крепко сидят на петлях, а двери закрываются плотно, и заткните все щели в стенах.

Услышав слова медника, отец вышел на улицу, посмотрел на ярко-синее холодное небо и во всеуслышание объявил, что ни за какую другую работу не возьмется, пока не укрепит дом против грядущих холодов. Вся деревня позабыла о домашних делах — все принялись готовиться к лютой зиме. Самые маленькие дети обмазывали глиной трещины в стенах, те, что поближе к земле; двери обрабатывали рубанком, чтобы они лучше закрывались; ставни были подновлены. И в этой круговерти Язону и Лэрду снова пришлось отложить на время пергамент и перо. На их долю выпало навесить ставни на верхние окна. Язон всегда осторожно поднимался по лестнице, но Лэрд, который лазил, как кошка, никогда не смотрел под ноги. Вот и сейчас, взлетев по перекладинам, он уселся на балки, едва выступающие из стены дома. Страх высоты у него отсутствовал полностью.

— Поосторожнее там, — предостерег Язон. — Упадешь, никто тебя не подхватит.

— А я не упаду, — ответил Лэрд.

— Ну знаешь, мало ли что.

— Я хорошо держусь.

Во время работы Язон рассказывал разные истории. О людях из его колонии.

— Я вызывал их к себе по одному, и пока они пыхтели над пустыми вопросами, заглядывал к ним в разум и определял, что за человек передо мной сидит. Кое-кто был полностью отравлен ненавистью, таких людей хватает в любом заговоре с целью убийства. Другие просто боялись, третьи

искренне верили в свое дело — но меня не очень-то интересовало, почему они желали мне смерти. Мне нужно было как можно больше узнать об их цели в жизни, о том, что заставило их пойти на убийство.

Гэрол Стипок, к примеру, был прирожденным инженером; он создал машину, которая за несколько витков планеты по орбите могла выдать полный набор сведений о ней — начиная от веса ее ядра и заканчивая климатическими поясами. Он мнил себя атеистом, отвергая ту фанатическую религию, которую родители навязывали ему с детства. По сути дела, он положил жизнь на то, чтобы опровергнуть и сокрушить любую авторитарную систему, с какой только сталкивался. И все-таки он оставался ребенком, свято верующим, что Бог определил, каким должно быть человечество, а следовательно, Гэрол Стипок пожертвует всем, что есть, лишь бы достигнуть этого идеала.

Арран Хэндалли посвятила себя сфере развлечений, променяв свое «я» на роль в петлеопере. День за днем, минуту за минутой проживала она под постоянным надзором петлекамер, чтобы люди могли ходить кругами вокруг сцены и рассматривать ее жизнь под любым углом. Она была величайшей из петлеактрис, но в своем сердце она всегда хранила желание счастья всем людям, и уход со сцены не был тяжел для нее: играла она не для себя, а для других.

Еще был Хакс, средненький, искренне преданный своему делу бюрократ, два года бодрствования, год в сомеке. За что бы он ни брался, все сразу получалось, любая работа выполнялась в срок и в рамках бюджета. Несмотря на немалое уважение со стороны и начальства, и подчиненных, он неизменно отказывался от каждого повышения. Он жил с одной и той же женой, в одной и той же квартирке, ел все время одно и то же, играл с друзьями в одни и те же игры — и так год за годом, год за годом.

— Так почему же он решил присоединиться к революции?

— Он и сам этого не знал.

— Но ты-то знал.

— Побуждения, как правило, не запоминаются, в особенности те, которых ты сам не понимаешь. В его памяти я так и не смог отыскать его подсознательных целей. Остальные же, да и сам он, считали, что цель у него в жизни одна — сохранять все по-старому, препятствовать всяким переменам. Но за этим стояла мечта, чтобы у всех, кого он знал, жизнь была стабильной и счастливой. В отличие от Радаманда, он не переделывал окружающий мир под себя.

Перед мысленным взором Лэрда возникло лицо какого-то мужчины с узким подбородком и морщинками вокруг глаз. Хакс — понял он. Пока Язон рассказывал, Юстиция показывала ему лица тех, о ком велась речь. Где ты, Юстиция? Работаешь, наверное, где-то, как всегда молчишь, слушаешь наши разговоры, а сама и слова не вымолвишь?

— Ты не слушаешь, — упрекнул Язон.

— Так ты не говоришь, — напомнил Лэрд.

— Крепи быстрее петлю, а то у меня уже руки отваливаются держать этот ставень.

Лэрд закрепил петлю. Ставень вновь закрывался плотно. Совместными усилиями они быстро закончили работу и закрыли окно снаружи. Эта стена дома была обращена на север, а северо-западный ветер и прежде не раз срывал ставни. Задвигая деревянные защелки и засовы, Язон продолжал рассказ:

— Хакс мечтал, чтобы жизнь стала мало-мальски приемлема для всех, и когда такой порядок был достигнут, он уже не хотел ничего менять. И это отнюдь не было лицемерием — он сознательно шел на неудобства в собственном мирке и многим жертвовал, лишь бы сохранить спокойствие и стабильность в своем уголке Капитолия. Кроме того, он был достаточно умен, чтобы заметить разрушающее действие сомека. Сомек уничтожал все вокруг, разделял семьи, где супруги разлучались на годы, ссорил друзей, один из

которых ложился в Сонные Залы, тогда как другой, так и не добившись этой привилегии, оставался бодрствовать — сомек поддерживал стабильное существование Империи, но какой ценой? Ценой разрушения практически каждой жизни, которой касался.

— Значит, Хакс хотел, чтобы Империя отказалась от сомека?

— Он был одним из немногих во всей колонии, кто не стал бы жалеть о потерянном сне. Ну и наконец Линкири — у меня в памяти эти двое всегда стоят рядом из-за того, что произошло позднее. На первый взгляд Линк был полной противоположностью Хаксу. У него не было друзей, не было знакомых, не было семьи. Он единственный из всей моей колонии не знал, что такое сомек. С искусственным сном он впервые столкнулся, только когда решил покинуть родной мир. До того он долгие годы провел в госпитале для умственно неполноценных людей; его родители жестоко обращались с ним, подавляли его как личность, эксплуатировали — в большинстве подобных случаев за решеткой в конце концов оказываются дети. Линкири, уверовав в собственную ненормальность, считал себя одиночкой, который никого не любит и ни в ком не нуждается.

— Но ты знал, что на деле это не так.

— Я всегда знал, как все обстоит на самом деле. В этом и заключается проклятие моей жизни. — Язон нахмурился. — Если ты не будешь держаться хотя бы одной рукой, пока балансируешь на одной ноге, я лично сброшу тебя вниз, чтобы не думать больше о твоей безопасности.

— Раз говорю, что не упаду, значит, не упаду. Ну и что с этим Линкири?

— Он был чересчур восприимчив к чувствам других людей. Стоило ему представить страдания близкого, как он сразу ощущал такую же боль. Его мать пользовалась этим, виня его за все так называемые страдания своей жизни. Он

сумел освободиться лишь тогда, когда столкнулся с настоящим страданием.

И снова в уме Лэрда возникла картинка. Только на этот раз это было не лицо. Среди густой травы лежал младенец, брошенный на смерть от голода и холода или клыков и когтей ночных тварей. Одновременно пришло чувство глубочайшего сострадания — я ничего не могу сделать, но что-то сделать должен, иначе просто перестану быть собой. И почти сразу картинка сменилась — в траве кружком расселось небольшое племя дикарей; ножи мужчин, следуя какому-то неведомому ритуалу, разделывали трупик ребенка. Я понимаю, младенец должен умереть ради спасения жизни всего племени, смерть ребенка означает жизнь. Это стало моментом истины для Линкири, ибо в этом ребенке он увидел себя, разорванного на части, разрезанного на куски ради сохранения жизни матери. Я не безумец; это она сошла с ума, а я страдаю за нее. Но разве любит она меня, как эти туземцы любят младенца, которого сами обрекли на смерть? Ответ был «нет», и поэтому он бежал, бежал со своей планеты, направившись на Капитолий, туда, где каждый стремился переложить груз страданий на плечи ближнего. Линкири был живым мучеником; он страдал во имя искупления вины тех, кто был с ним рядом.

— Когда приходят такие видения, только держись, — сказал Язон. — Не стоило нам сейчас этим заниматься.

— Я вовсе не так чувствителен, как ты думаешь, — ответил Лэрд. Но образ младенца упорно не выходил из его головы — ребенок лежал посреди травы, а к его голенькому тельцу присосались мириады насекомых-кровопийц.

— Оказалось, Линкири был вовсе не так одинок. В некотором роде он походил на Хакса — как и Хакс, он заботился лишь о благе других. Но Хакса эта забота превратила в общительного, твердого человека, а Линкири по натуре был застенчив и робок. Однако я видел этих людей изнутри

и потому сказал себе: «Эти двое станут моими вождями. Полученную власть они используют на благо всем, а не на удовлетворение собственных желаний. Делая что-то для себя, они одновременно будут заботиться о других, потому что не смогут жить счастливо, зная, что ближнему плохо».

— Не бывает настолько хороших людей, — хмыкнул Лэрд. — Каждый человек заботится прежде всего об исполнении собственных желаний.

— Но ты такой же, как Хакс и Линкири, — возразил Язон. — Не будь среди нас таких людей, дикое человечество до сих пор бы прыгало по саваннам где-нибудь на Земле, а правили бы слоны или какие-нибудь другие, более сострадательные животные.

— Ну, не знаю, — протянул Лэрд. — Меня никогда особо не заботили страдания ближнего.

— Потому что раньше вокруг тебя никто не страдал. Только ты и сейчас слышишь крик обгоревшей девочки, чувствуешь, как хлещет кровь из покалеченной ноги. Поэтому не надо говорить мне, что сострадание тебе неведомо.

— Ну а сам-то ты? — спросил Лэрд. — Ты такой же хороший?

«Нет, — раздался голос у него в голове. Лэрд даже не сразу понял, что ответила на вопрос Юстиция, а не Язон. — Нет, Язона хорошим назвать нельзя».

— Она права, — кивнул Язон. — Всю свою жизнь я только и делал, что заставлял страдать других.

— Так это ты наслал на нас боль? — тихо спросил Лэрд.

— Выбор был не мой, — сказал Язон. — Хотя думаю, что он был правильный.

Лэрд больше не произнес ни слова в тот день. Он думал об одном — неужели этот человек, трудящийся бок о бок с ним, действительно верил, что в День, Когда Пришла Боль, мир изменился к лучшему. А ночью ему приснился еще один сон.

* * *

Джаз открыл глаза. Крышка камеры скользнула вверх, сбоку замерцал янтарный огонек. Воспоминания, должно быть, только-только были перекачаны обратно в его мозг, все тело покрывали капли горячего пота, как и всегда, когда выходишь из сомека. Пара приседаний и отжиманий от пола да пробежка на месте вернули телу прежние рефлексы. Он снова был бодр и готов действовать.

Только тогда он заметил, что мерцающий огонек вовсе не янтарный, а ярко-красный. Он с самого начала был таким или изменил цвет пару секунд назад? Ответ на этот вопрос может подождать; он подскочил к панели управления, быстро нажал несколько кнопок, и корабль начал свой рапорт. За планетой находилось вражеское судно, будто специально поджидавшее прибытия Язона; уже было выпущено два снаряда.

Пока пальцы Язона отдавали приказ о выпуске двух из четырех находящихся на судне торпед, его разум нащупывал разум вражеского капитана. Управляемые врагом ракеты, виляя из стороны в сторону, приближались к цели. Будучи более маневренными, они бы непременно поразили массивное судно колонистов, но Язон, вычислив, куда они направляются, начал выводить корабль из-под удара. А тем временем его собственные торпеды вспороли корпус врага, который тщетно пытался улизнуть. Впервые в жизни Язону было плевать на то, что кто-то догадается о его даре Разумника, благодаря которому он знал все наперед. На Капитолий он уже не вернется; наконец-то ему выпала возможность сразиться в полную силу.

Капитану вражеского судна уже было ясно, что смерть неминуема, но за секунду до того, как корабль превратился в огненный шар, ее губы растянулись в мрачной усмешке. Пускай она погибнет, но врага прикончит Кларен.

Кларен. Значит, она не одна. Язон и вражеский корабль сосредоточились на смертельной дуэли, маневрируя летя-

щими в цель ракетами, и только сейчас Джаз обнаружил, что за планетой прячется еще одно судно, которое, пользуясь датчиками погибшего напарника, успело-таки нанести свой удар. Корабль Язона засек быстро приближающиеся ракеты. Язон отчаянно обшаривал пространства в поисках разума Кларена, врага, которого лишь шаг отделял от полной победы. В конце концов Кларена он обнаружил — но это уже ничего не могло изменить. Как только взорвалось первое судно, Кларен потерял управление над ракетами — с гибелью напарника он лишился панорамы боя, а следовательно, уже не мог направлять удар. Ракеты следовали к цели на автопилоте. Поскольку теперь их курс не составляло труда просчитать, можно было легко вывести судно из зоны поражения. Можно было бы, не потрать Язон время на поиск второго вражеского корабля. Но теперь, уходя от одной ракеты, он ставил судно под удар второй. Второй снаряд непременно попадет в цель. Излучаемый им яркий свет пробьется сквозь броню, и оболочка корабля раскроется, как цветок, пропуская внутрь ракету, которая попадет прямиком в ядро двигателя, где и взорвется. Взрыв будет несильным на первый взгляд, однако ударная волна обязательно нарушит то шаткое равновесие, в котором пребывают колоссальные силы двигателя, — и корабль разнесет на куски.

Возможные варианты развития событий замелькали у него перед глазами, и в этот миг он решил, что пойдет на все, лишь бы избежать полной катастрофы. Ракета была слишком близко, чтобы вывести из-под удара массивный корпус судна. Однако оставался еще грузовой отсек, вытянутое, прямоугольное помещение, начинающееся сразу за огромным машинным отделением, — если ракета попадет в него, корабль не вспыхнет ярким светом сверхновой. Почти инстинктивно Язон двинул корабль навстречу снаряду. Ракета ударит где-то позади него, угодив в километровую

трубу, где лежали тела спящих людей. Многие колонисты погибнут; Язону оставалось лишь надеяться, что сгорит лишь часть его людей, но отсек с животными, семенами культур, продуктами и оборудованием не будет поврежден.

Удар. По всему корпусу прокатилось эхо, на панели управления вспыхнули тревожные огоньки, однако взрыв произошел далеко от двигателя, защищенного внутренними перегородками. Лишь отзвуки ударной волны достигнут сердца корабля, и компьютеры успеют восстановить равновесие, прежде чем начнется необратимая реакция, грозящая судну полным уничтожением.

«Жив», — подумал Язон. Настала пора посчитаться с Кларенom. Враг все еще скрывался за планетой, однако для управления умчавшимися за горизонт ракетами Язон воспользовался его глазами. Кларен еще надеялся — вот, последний маневр, и все, судно выведено из-под удара... Но ракеты неотступно преследовали корабль, сворачивая туда же, куда сворачивал он. Спустя несколько секунд он был мертв.

«Лучше, когда не знаешь врага по имени», — подумал Язон.

Ракета нанесла огромный ущерб судну, однако ни одна жизненно важная система не была повреждена — во всяком случае, так показалось сначала. Триста тридцать три колониста располагались в трех параллельных отсеках, протянувшихся вдоль задней стенки грузовых помещений. Каждый из трех коридоров был герметично замкнут и независим, чтобы в случае повреждения судна хоть часть колонистов спаслась. Один отсек принял на себя основной удар — камеры, где лежали спящие колонисты, взорвались изнутри. Второй коридор избег участи первого — колонисты остались внутри своих камер. Но взрывная волна повредила пульт управления, и было уже невозможно вернуть к жизни кого-либо из Спящих.

И только третий коридор не пострадал. Ста одиннадцати человек довольно, чтобы основать колонию, тем более что необходимое оборудование цело. Да, в первый год они сделают меньше, чем рассчитывали, но провизии, оставшейся на корабле, хватит надолго, и развивающаяся колония может пользоваться ею. Конечно, гибель стольких людей — это горе, но колония будет жить.

Так думал Язон, пока не добрался до задней части грузового отсека, где в специальном отделении хранились сомеккассеты.

Ракета взорвалась именно там.

Уцелели всего четырнадцать кассет. На девяти были записаны воспоминания людей, лежавших в первом коридоре, четыре кассеты принадлежали второму отсеку, в котором сон сомека стал вечным, а от воспоминаний выживших колонистов осталась одна-единственная пленка.

Один человек, всего один человек. Прочие совершенно беспомощны — они ничего не будут помнить, их знания утеряны безвозвратно. Что ему делать со ста одиннадцатью взрослыми младенцами? Что толку от людей, потерявших разум?

Он прошелся по уцелевшему коридору, заглядывая в стеклянные камеры, где покоились Спящие. Эти люди, хоть и живые, собой уже не станут никогда. Его добрый друг Хоп Нойок, актриса Арран Хэндалли — он касался крышек и вспоминал увиденное в разуме каждого из них. «Хакс, Линкири, Вьен, Сара, Рьянно, Мэйз, я знаю то, что вы не узнаете уже никогда, — кто вы есть, что вы сделали, кем должны были быть. Но кем вы станете, когда — и если — я разбужу вас? Ты, Капок, любивший так неистово, так искренне, — каких любовниц будешь ты вспоминать теперь? Их имена разрушились вместе с кассетой, и твое прошлое мертво».

Единственная уцелевшая кассета принадлежала Гэролу Стипоку. Язон внимательно изучил лицо спящего в камере человека. «Тот ли ты человек, которого мне следует разбудить? Ты готов к разрушению любой власти. Каким союзником ты будешь? Кто угодно, только не ты — так решил бы я, будь выбор за мной. Меньше всего мне хотелось бы, чтобы именно ты сохранил свои детские воспоминания».

Язон вернул корабль на прежний курс. Однако вместо того, чтобы погрузиться в сомек, он начал изучать, зазубривать те знания, ту мудрость, что была собрана Империей за долгие века колонизации планет. Чтобы справиться с ведением колонии, необходимо было по меньшей мере три десятка здоровых женщин и мужчин. Он продолжал копаться в корабельной библиотеке, уделяя больше внимания книгам, нежели кассетам с воспоминаниями. Страница за страницей мелькали над панелью управления — он пытался выяснить, чему первым делом следует обучать младенцев и скольких он может содержать, трудясь в одиночку.

Пару раз его охватывало безысходное отчаяние. Это нереально. Чтобы создать современное общество, основанное на сверхсложных технологиях по возделыванию и удобрению земли, требовались люди со специальными знаниями. Он должен взрастить сотню младенцев, превратить их в высококлассных специалистов — и все это нужно сделать как можно быстрее, чтобы они не умерли с голоду во время своего обучения. Нет, это невозможно!

И все же постепенно, кусочек за кусочком, начала складываться мозаика ответа. Невозможно достичь уровня развития современного общества, но можно попытаться основать более примитивную колонию. Колонию, в которой люди будут пользоваться инструментами, изготовленными собственными руками; колонию, в которой поля будут возделываться не математиками, а обыкновенными людьми, научившимися управлять быками. «Сам я могу справиться с

акром, засеять и собрать урожай. Таким образом я прокормлю себя и кого-то еще. Сначала я обучу, к примеру, десяток, а потом эти люди помогут мне воспитать остальных».

Единственным недостатком плана было то, что его претворение в жизнь займет годы. Судно будет исправно поддерживать существование погруженных в сон людей, однако каждый новичок, которого Язон будет вводить в общество, окажется поначалу тяжелой обузой, потребляя соответствующее количество пищи, нося чью-то одежду, и так далее. За «младенцами» придется постоянно приглядывать, надо будет заботиться о них, а это время. Колония не сможет принимать больше, чем по нескольку человек за раз, ибо экономика ее будет самой примитивной, а поля придется возделывать при помощи рук, самодельных инструментов и одомашненных животных.

Это займет годы, но, может быть, если они будут быстро учиться, Язон сможет время от времени оставлять их, возвращаться на судно и проводить год-другой во сне. Лишь изредка он будет пробуждаться, чтобы привести новую группу колонистов-«младенцев» и проверить, как идут дела у поселения. Ведь, по сути дела, все эти люди прошли тщательный отбор — по словам Дуна, это лучшие представители Капитолия. Если, несмотря на полную потерю памяти, хоть какая-то часть их навыков сохранилась, план может сработать. «А если кто-то из них выкажет исключительные способности к управлению, я заберу этих людей на корабль и снова уложу в сомек, чтобы сохранить их до поры до времени, пока не наступит нужда. Я мог бы...»

И вдруг до Язона дошла вся чудовищность этого плана. Он собирался создать колонию невежественных крестьян, в которой сомек будет доступен лишь избранной элите и руководить которой будет он один. Забранные им люди будут возвращаться в мир спустя десятилетия, ничуть не по-

старев. «Я вновь собираюсь прибегнуть к самому отвратительному, что только заключено в сомеке».

«Всего лишь на время, — уговаривал себя Язон. — Пока колония не встанет на ноги, пока мы не избавимся от последствий ракетного удара, который чуть не погубил нас всех. Затем я уничтожу сомек, уничтожу корабль, потоплю его в море. Сомек исчезнет с лица моей планеты».

Только так можно сохранить колонию. И главным образом судьба поселения зависит от него одного; претворение плана потребует массы сил, особенно вначале. Но колония будет существовать.

И таким образом появится возможность, которой не было ни у кого и никогда. Возможность начать взращивать общество из ничего. Возможность сформировать его социальные институты, обычаи, верования, ритуалы, разработать их тщательно, осторожно, чтобы искоренить старые обычаи и верования. «Действуя с умом, я создам утопию; вся власть в моих руках, осталось только решить, каким это идеальное общество должно быть».

Мало-помалу в его уме начал складываться подробный план, и он стал записывать, каким, по его мнению, должен быть новый мир. И в один прекрасный миг он вдруг понял, что снова счастлив, снова с надеждой смотрит в будущее. Такой радости он не испытывал никогда в жизни. Вражеская торпеда разрушила планы Дуна, и впервые в жизни Язон получил возможность действовать самостоятельно, не советуясь ни с Дуном, ни с кем-либо еще. Если сейчас дело закончится поражением, это поражение будет целиком на его совести; если он преуспеет, успех будет принадлежать ему и всем последующим за ним поколениям. «Это будет мой мир, — подумал он. — Случай сделал из меня творца; я тот, кто вдохнет разум в этих мужчин и женщин; да останемся мы на этот раз в Эдеме, да не изведаем мы горечи падения».

Глава 6

ПРОБУЖДЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВ

Все щели в доме были заколочены наглухо; стало гораздо теплее, особенно рядом с очагом. Сквозняк, поддувающий в щели под дверью, практически исчез, и теперь, ложась спать, можно было не прятаться за низенькими спинками кровати. Иногда в доме было настолько жарко, что Сала по ночам даже сбрасывала с себя одеяла.

А снега все не было и не было. С севера тянуло лютым холодом, но на землю лишь изредка опускались редкие снежинки, и то их мигом разносило по углам или забивало под камни.

— Когда снег наконец повалит, сугробы наметет в человеческий рост, — сказал медник. — Уж я-то знаю, у меня нюх на погоду.

Всю ночь Лэрд ворочался с боку на бок; ему не давали покоя сны, которые Юстиция вызвала из памяти Язона и послала ему. Однако, проснувшись, Лэрд почему-то помнил лишь обрывки сновидений. Раньше такого не было.

— Я пытаюсь вспомнить, — сказал он Язону. — Там было что-то про поля. Что-то ты делал не так. Ты вел быка, как хорошо обученную лошадь. Никудышный из тебя вышел фермер, если я не ошибаюсь.

— Не ошибаешься. До этого мне как-то не приходилось фермерствовать, — кивнул Язон. — Тогда я впервые в жизни увидел землю.

— А что земля? Земля всегда земля.

— Разумеется, — сказал Язон. — В этом-то и была проблема. Переведя быков из корабля в загон, я впервые понял, что такое разгоряченный, вспотевший зверь, почувствовал, как мускулы играют под его шкурой. А после того

как я впряг их в плуг, пришлось помаяться, прежде чем удалось вспахать прямую борозду; кроме того, предстояло еще научиться вонзать лезвие плуга на достаточную глубину. Этого в книгах не вычитаешь. Плуг и быки были погружены на судно на тот случай, если нам не удастся запустить генератор. Хотя толку-то — в те дни никто не знал, как обращаться с этими примитивными орудиями труда.

— Даже Сала знает больше тебя, — не удержавшись, улыбнулся Лэрд. Кому только сказать: не знать, как взборонить поле!

— Зато те дни прочно запечатлелись в моей памяти. Они были полны чудесных, потом и кровью добытых открытий. Но тебе мои победы казались неловкими, глупыми, потому что каждый год ты занимаешься тем же самым и даже не думаешь, что и как надо сделать. Неудивительно, что ты все забыл.

Лэрд пожал плечами — почему-то у него возникло ощущение, что каким-то образом он подвел Язона и Юстицию.

— Не могу ничего вспомнить — и все тут. Поищите другого писаря.

— Все идет как надо, — успокоил его Язон. — Как ты думаешь, почему мы выбрали тебя? Потому что ты принадлежишь этому миру и знаешь, что важно, а что — нет. Я полюбил работу с землей, потому что никогда этим делом не занимался, это было в новинку — а я ведь думал, что уже все повидал и все переделал. А вот для тебя это рутина. Пока ты пишешь, я делаю рукояти для топоров, шью башмаки, плету корзины — и получаю удовольствие. Я живу рядом с тобой, после долгих-долгих лет я снова влился в деревенскую жизнь, я полюбил ее, однако что тебе до этого? Так не пиши. Зачем рассказывать о том, как я трудился от восхода и до заката, выкраивая часик, чтобы выбраться в лес и набрать трав, а потом исследовать их в лаборатории корабля? Что тебе за дело до того, как я впервые попробо-

вал плоды своей работы, как меня чуть не вырвало, когда после долгих лет питания искусственной кашей из водорослей, рыбы, соевых бобов и человеческих испражнений я вкусил собственноручно выпеченного хлеба? Нет, тебе этого не понять!

— Не злись, — перебил его Лэрд. — Я ничего не могу поделать. Я бы вспомнил, если б мог. Но кто будет читать все это?

— Если уж на то пошло, кто вообще прочтет этот пергамент? Лэрд, тебе снится цивилизация — благоустроенная, безопасная жизнь, где можно читать, когда душе угодно, и никто не заставит тебя боронить поле или махать молотом, если только сам этого не захочешь. Но жизнь, которой ты сейчас живешь — метишь деревья на сруб, укрепляешь дом, делаешь колбасы и набиваешь мешки соломой, — куда лучше той жизни, что прожил я. Поверь мне, я видел много жизней, слышал о многих людях, но их судьбы — ничто по сравнению с этой.

— Ты так считаешь, потому что твоя жизнь никогда не зависела от этой рутины, — возразил Лэрд. — Ты всего лишь притворяешься одним из нас.

— Может, и так, — согласился Язон. — Может, притворяюсь, зато я знаю, как не заблудиться в лесу, а рукоять для топора могу выстругать не хуже любого плотника из вашей деревни.

Лэрда всегда пугали вспышки ярости Язона.

— Я имел в виду, что ты тогда притворялся. Должно быть, за долгие годы ты многому научился.

— Да, — кивнул Язон. — Только не всему. Так, мелочи. — Он плел из конского волоса тетиву лука, пальцы его действовали быстро и уверенно. — Я воровал знания у других людей. Я проникал в их умы, когда они работали, и перенимал их опыт, их ощущения. После этого я мог делать то же самое с закрытыми глазами. Эти навыки доставались

мне легко, как и вообще все. Я только притворяюсь, что стал одним из вас.

— Я обидел тебя? — прошептал Лэрд.

— Да, кстати, в этом я тоже отличаюсь от вас. *Тебе* приходится задавать вопросы.

— Я сказал что-то не то?

— Ты говорил правду, чистую правду.

— Но, Язон, если ты умеешь слышать мое сердце, то должен знать — я не хотел обидеть тебя.

— Я знаю. — Язон попробовал тетиву — она туго натянулась на луке, слегка зазвенев. — Да, так вот. Если мы не расскажем в нашей повести о работе в лесу и на ферме, тогда вообще не о чем будет рассказывать. Ну, как мы поступим?

— А те люди... ну, те, что лишились памяти?..

— Это был не менее тяжелый, упорный и грязный труд, чем работа на ферме. Я забирал с корабля по нескольку человек в год, кормил и обхаживал их. И учил — так быстро, как только мог.

— Об этом-то я и хочу узнать.

— Это все равно что вырастить ребенка, разве что учились они намного быстрее и, в отличие от настоящих младенцев, больно лягались.

— И все? — разочарованно протянул Лэрд.

— Все одно и то же. Тебя это интересует только потому, что у тебя никогда не было ребенка, — сказал Язон. — Люди, у которых есть дети, поймут меня. Крики, слезы, вонь... Когда они научились самостоятельно ходить, то массу всего переломали, иногда падали и больно ушибались...

— Наши дети никогда не ушибались. До недавнего времени.

Лицо Язона исказилось. Лэрд, знавший, что он каким-то образом ответственен за День, Когда Пришла Боль, наблюдал за его душевными муками с некоторым злорадством.

— Я был счастлив, как никогда, Лэрд. Я испытывал блаженство, учась быть фермером и обучая тому же своих «детей». И не презирай меня за это — ты-то с молоком матери впитал в себя эти знания. Неужели ты не можешь описать хотя бы один-единственный день?

— Какой именно?

— Без разницы. Любой. Только не тот, когда я забрал с судна первых своих воспитанников — Капока, Сару и Батту. Той осенью я еще не понимал, во что ввязался, думал, что, засеяв поле, покончу со всеми проблемами.

— Именно зимой начинается настоящая работа, — сказал Лэрд. — Летний урожай питается зимней водой.

— Этого-то я и не знал, — кивнул Язон. — В общем, не надо описывать то время. Иногда я так отчаивался, что все дни сливались в бесконечную череду, — мои воспитанники, казалось, ничему не могли научиться, только и делали, что пачкали штанишки. Лучше давай опишем время, когда я понял, что у меня получается. Когда я полюбил своих детей. Найди такой день, Юстиция, и пошли сон Лэрду.

Днем пошел снег. Ветер бушевал и неистовствовал; на улицу пришлось выйти только для того, чтобы проверить животных в стойлах, обойти дома и предупредить жителей о близящейся буре, да проверить, не заблудился ли кто из детей. На это ушло ровно полдня. Перебегая от дома к дому, Лэрд ощущал странное радостное возбуждение — наконец-то к нему начали относиться, как ко взрослому: ему доверили жизни людей, и никто не следовал за ним по пятам, проверяя, всех ли он обошел, всех ли предупредил. «Я почти взрослый, — подумал Лэрд. — Я почти самостоятельный человек».

К вечеру двери домов были плотно закрыты, никто не осмеливался и нос высунуть на улицу. Во внутренний дворик залетали хлесткие пригоршни снега, наметая сугробы у стен дома, амбара и кузни. Лэрд отворил окошко на двери и

выглянул на улицу; ветер, тотчас ворвавшийся в маленькую щелку, жалил и слепил глаза. Это был шторм, обещанный медником. Ветер дул не ослабевая, и лишь на короткие минуты снег просто падал на землю, чтобы затем вновь нестись параллельно ей. И поди разбери, какой глубины нанесло сугробы: завеса снега скрыла все окружающие дома, сравнивать было не с чем. Только когда снегом начало засыпать дверное окошечко, Лэрд вдруг понял, что никогда деревня Плоского Залива не видала такой метели. Тем вечером они с отцом поднялись на выстуженный чердак, чтобы проверить, выдержат ли балки вес снега. После этого мальчик долго ворочался в своей постели, прислушиваясь к вою ветра за ставнями. Старые балки скрипели под тяжестью снега, опускающегося на крышу. Дважды Лэрд вставал, чтобы подбросить в огонь полено-другое. Поднимающийся вверх жар должен был пересилить сквозняк в печной трубе, иначе дым пойдет обратно в дом и убьет его обитателей.

Наконец Лэрд заснул. Ему снился очередной день из жизни Язона Вортинга, день, когда Язон понял, что основанная им колония будет жить.

Язон проснулся от мычания коров, требующих дойки. Ночью ему пришлось трижды соскакивать с кровати от криков новичков, которых он только-только доставил с корабля. Вьен, Хакс, Вэйри — беда да и только; Язон уже успел забыть, сколько беспокойства причиняют дети, поскольку его первые трое воспитанников уже стали более или менее самостоятельны. Новички просыпались вовсе не потому, что хотели есть, — их тела, тела взрослых людей, не нуждались в развитии. Они просыпались потому, что не умели видеть снов. Их разум был огромной пустынной пещерой, в которой нетрудно и заблудиться; они знали слишком мало, чтобы сновидения являлись им во мраке ночи. И они просыпались, а Язон должен был успокаивать и утешать их.

«Пора доить коров, а значит, пора вставать. Еще секундочку, и я встаю».

Сколько времени пройдет, пока эти взрослые младенцы выучатся? Язон вспоминал последние месяцы, долгую зиму и еще более долгую весну, во время которых он заботился о Капоке, Саре и Батте, опекая, охраняя, обучая их и одновременно пытаясь подготовить землю для весенних посевов. К концу весны «дети» уже повсюду ходили за ним, подражая его движениям, учась работать. Обучение заняло не так много времени, как могло показаться, — восемь месяцев, и они уже ходят, говорят, по мере сил помогают работать.

Язон представлял, что такое дети, хотя сам потомством и не обзавелся, а потому видел, что Капок, Сара и Батта развиваются значительно быстрее обыкновенных младенцев. Будто что-то в их разуме, несмотря ни на что, все же сохранило смутную схему прошлого: всего за несколько месяцев они научились ходить; так же быстро они научились справляться с кишечником, к огромному счастью Язона; а языки их достаточно успешно имитировали звуки. Со взрослыми было гораздо легче, нежели с младенцами. Хотя ни одной матери не приходилось управляться с шестифутовым дитятком, которое решило вдруг на ночь глядя отправиться погулять. Таким образом, когда тела их развились, Язону пришлось установить строгие правила, кто где спит, как одевается и что можно трогать, а что — нельзя. Да еще надо было избегать нежелательных беременностей. Язон собрался построить стабильное, крепкое общество, а это означало, что семейная жизнь должна стать для этих младенцев одной из святынь.

С Баттой, Капоком и Сарой все уладилось, теперь начались проблемы с Вьеном, Хаксом и Вэйри.

Язон вздохнул и, нехотя поднявшись с кровати, нащупал в темноте одежду. А ведь не так уж и темно — на горизонте появилась светлая полоска. Он проспал, и коровы будут

явно не в духе. Вот только почему-то он мычания их не слышит. По идее, оскорбленный рев уже должен был поднять на ноги весь дом.

Открыв дверь, он впустил в помещение неясный свет восходящего солнца — и обнаружил, что дети куда-то подевались. Новенькие благополучно спали в своих кроватях-колыбельках — высокие стенки не давали им скатиться во сне на пол, — но первые его воспитанники исчезли. При мысли о том, что они без разрешения сбежали на реку, Язона охватил страх. Хотя нет, они уже научились плавать, на воде держаться умеют, а течение в середине лета не слишком сильное — ему не следует пугаться. И все же он испугался. Впрочем, у реки их не было. Обойдя пластиковый купол, который они называли Домом, он вдруг увидел Капока, бродящего среди высаженных бобов. Присмотревшись, чуть дальше, на краю леса, он увидел Сару с Псом: открыв ворота, она гнала овец пастись на лужайку. Догадавшись, где может быть Батта, он направился в стойло.

Она уже закончила дойку и сейчас взбивала сливки на масло.

— А вот и ты, — произнесла она фразу, которой Язон обычно встречал своих воспитанников. Она даже интонацию его передала в точности. — Как раз вовремя. Пора сворачивать молоко.

Она так гордилась собой, и заслуженно — с работой она справилась прекрасно, а ведь Язона, который мог помочь советом, рядом не было. Они вылили ведра молока в деревянный чан и поставили его рядом с нагревателем. То, что в процессе сворачивания молока используется солнечная батарея, Язона ничуть не смущало. Он знал, что скоро придется обходиться костром, однако пока что он боялся давать огонь неопытным «младенцам» и решил отложить знакомство с этой стихией еще на год. Обогреватель, принесенный им с судна, поддерживал температуру молока на одном уровне, а молочная кислота из живота недавно зарезанного яг-

ненка плюс бактерия, привезенная с Капитолия, благополучно превращали молоко в сыр.

— Мы дали тебе поспать, — сказала Батта. — Ты был очень, очень усталым. Новенькие совсем плохо вели себя ночью.

— Да, — кивнул Язон. — Спасибо. Вы отлично справились.

— Я уже умею, — подтвердила она. — Я научилась.

И он помогал ей, только когда требовалась вторая пара рук, стараясь при этом помалкивать. Он убедился, что она и в самом деле научилась готовить масло. Когда молоко начало сворачиваться, Батта, чуть покачиваясь, подошла к маслобойке и, улыбнувшись Язону, взялась за ручку.

— Масло — на летний запас, сыр — на зимний припас, — объявила она.

— Ты молодец, — похвалил ее Язон и вернулся в Дом, к новичкам. Он покормил и перепеленал их, вылил горшки в отхожее место и выжал пропитавшиеся мочой пеленки в специальный чан. Осенью из этой мочи они сделают мыло. «Используй все и вся, — думал Язон, — учи их использовать все подряд, даже если твой цивилизованный желудок протестует против этого. *Они* не настолько чувствительны. *Они* сами разберутся. Большинство граждан Капитолия не находили ничего предосудительного в адюльтере, но каждый раз брезгливо морщились при виде собственного стула. «Петли», которые демонстрировали человеческие испражнения, считались куда более порнографическими, чем те, что концентрировались на всевозможных сексуальных изысках. На самом деле, Дун, ты и не нужен был Капитолию — Капитолий пал сам. Ты всего лишь сделал так, чтобы вместе с ним умер сомек».

Капок трудился на огороде не покладая рук. Как и Батта, он жаждал заработать одобрение Язона, и Язон искренне похвалил его. Ни одно из полезных растений не было выдернуто, зато от сорняков не осталось и следа.

— Сегодня ты обеспечил нас обедом, — сказал Язон.

Это была очень высокая похвала, поскольку он всегда твердил, что главное — научиться выживать: ежедневная работа должна приносить в дом еду, а каждый час трудов под палящим солнцем помогал просуществовать несколько дней зимой. Воспитанники верили ему, хотя прошлую зиму почти не помнили и даже не представляли, что такое остаться без еды. В любом случае проблем с провиантом не будет — запасов на космическом корабле хватило бы на четыре, нет, на семь поколений. Однако чем раньше они начнут сами себя обеспечивать, тем лучше.

Капок довольно заухал. Язон не удержался и заглянул в разум взрослого младенца. Капок пока еще знал слишком мало слов, чтобы мыслить связно, но инстинктивно чувствовал порядок вещей. Это он придумал устроить сюрприз Язону, дав ему подольше поспать и выполнив за него всю работу. И конечно же, самую трудную, самую изматывающую часть работы Капок взвалил на собственные плечи — часами сгибаться-разгибаться под палящими лучами выдержит не каждый. Но так, по его мнению, было заведено в этом мире: в точности исполняй то, чему учит Язон, и никогда не заставляй ближнего просить дважды. Именно это всегда говорил Язон: быть взрослым означает делать то, что должен, — пусть даже никто и никогда не узнает о твоем труде, через «не-хочу», через самую страшную усталость — но делать. Сегодня Капок поставил перед собой задачу стать взрослым в глазах Язона.

Заглянув в его разум поглубже, Язон немало удивился. Как оказалось, Капок уже понимал, что такое будущее. И даже смог выразить это словами.

— А новенькие завтра помогут нам? — спросил он. Каким-то образом он понял: такими же беспомощными, в тех же самых постельках, лежали когда-то он, Батта и Сара, а значит, новенькие вскоре тоже научатся ходить и станут такими же, как и они.

— Ну, не завтра, но через пару-другую недель — точно.

Капоку этот срок показался неизмеримо огромным, обещанное было так же невообразимо далеко, как и таинственная зима, однако своим ответом Язон подтвердил, что все в этом мире происходит именно так, как он думает. А поэтому он осмелился задать еще один вопрос:

— Я смогу их учить?

На самом-то деле этот вопрос означал: «Стану ли я когда-нибудь таким, как ты, Язон?» И Язон, поняв ход его мыслей, ответил:

— Нет, этих придется учить мне, а ты будешь учить других, тех, что придут позже, малышей. Вот их ты и научишь всему, что знаешь.

«О! — мысленно воскликнул Капок. — Значит, я действительно когда-нибудь буду похож на тебя! Значит, моя заветная мечта все-таки сбудется!»

Обедали они без Сары, потому что ей надо было пасти овец, а те возвращались в загон только под вечер. Язон никогда не видел, чтобы Капок и Батта были настолько счастливы: захлебываясь словами, они пытались рассказать друг другу о том, что сделали за день, о похвалах Язона. Язон тем временем ходил меж колыбелек, кормя «малышей» сливками, предусмотрительно припасенными с утра. Тем маслом, что взбила сегодня Батта, уже намазывали выпеченный из прошлогодней пшеницы хлеб. Как Язон намучился, пока из семи разных сортов пшеницы не выбрал тот, который лучше всего приживется в местной почве! «Сейчас я уже не так одинок, как тогда, когда боронил поле на маленьком тракторе и летал на скифе по окрестностям, населяя леса маленькими зверьками, а озера — рыбой, которой будет питаться мой народ. Тогда я мог улетать и прилетать, когда захочу, сейчас я тружусь в два раза больше, но это «сейчас» мне по душе гораздо больше — мне нравится слышать их голоса, радоваться вместе с ними тем новым знаниям, что они получают».

Совместными усилиями они выжали творожную массу, завернули ее в клочок ткани и положили под пресс. Тридцать других головок сыра, уже почти готовых, обещали спокойную, сытую зиму. Язон был тысячу раз прав, когда вывез с судна почти всех коров, хоть они и доставили ему массу неприятностей, то и дело проламывая шаткие стенки загона.

«Все это сделал я, — думал Язон. — Я пришел на лужайку у реки и превратил ее в ферму, населил ее людьми и животными, дал им пищу. И они учатся, в один прекрасный день они смогут обойтись без меня...»

В том, что сегодня он был нужен им меньше, чем вчера, крылось обещание будущей свободы. И напоминание о свойстве человека умирать.

Батта и Язон оставили Капока приглядывать за «малышами», а сами направились на край леса, чтобы из заваленных еще прошлой зимой деревьев нарубить бревен и жердей на ограду. Жара дурманила голову, изнуряла тело, однако, прежде чем тьма прогнала их обратно в дом, они успели огородить огромный кусок поля — теперь можно было спокойно выгонять свиней питаться лесными желудями, не опасаясь, что эти хитрые твари заберутся в огород. Лес прекрасно прокормит их, а ферма чуточку, но сэкономит: свиньи будут собирать лесной урожай, который позднее превратится в ветчину на зиму.

Ничем не разбрасывайся. Используй все и вся. Гуси, выгнанные на поле сразу после жатвы, нагуляют жир на просыпавшемся зерне и поздней осенью обеспечат отличное жаркое. Овцы, жующие жнивье, приносят шерсть, молоко и ягнят. Зола из очага смешивается с мочой, и из этой смеси варится мыло. Из кишок зарезанных свиней и баранов получаются хорошие веревки или оболочки для колбас. Именно так когда-то жили люди — у них ничего не пропадало даром: шло в пищу, на растопку, на одежду, на укреп-

ление жилья. Для Язона это был рассвет творения, и что бы он ни делал, все было внове.

Сара и Капок уже приготовили ужин. Хоть похлебка и вышла слегка безвкусной, зато сварили они ее сами, без помощи Язона. Они старательно взялись за дело — и за этот день было сделано в два раза больше, чем когда Язон трудился в одиночку. Батта даже попыталась покормить новеньких. Хакс плюнул в нее, а Вьен укусил ложку, после чего она рассердилась и накричала на них. Капок посоветовал ей успокоиться: чего еще она ожидала от малышей? Тогда Сара напустилась на Капока, говоря, что не надо ругать Батту, она только пытается помочь. Язон любовался спорами и радостно, от души, смеялся. Его дело было завершено. Они стали семьей.

— Вот, — сказал Лэрд. — Этого ты добивался?

— Да, — кивнул Язон.

— Я постарался описать все это так, чтобы даже ваша возня с сыром казалась чем-то замечательным. Любой недоумок умеет делать сыр, сам знаешь. А через ту ограду, что вы поставили, даже овца перепрыгнет.

— Ну, в этом я быстро убедился. Спустя пару недель пришлось нарастить забор.

— Мыло из мочи выходит преотвратное.

— Об этом в книгах не говорилось. Но вскоре мы начали варить солому так же, как вы. Мы же не могли узнать все и сразу.

— Догадываюсь, — согласился Лэрд. — Я просто хочу сказать... ты был таким же ребенком, как и они. Когорта ребятишек. Только тебе было пять годиков, а им — по три, поэтому в их глазах ты выглядел Богом.

— Вот именно.

Однажды поздним осенним вечером к нему подошел Капок. Лампы уже были потушены, все спали.

— Язон, — тихо окликнул он в полной темноте, — я вот подумал, неужели все, что нас окружает, когда-то хранилось в космическом корабле?

Он упомянул космический корабль, сам не зная, что это за штуковина. Он и не догадывался, что корабль когда-то летал среди звезд. Для него это была просто высоченная постройка в часе ходьбы от Дома.

— Все, кроме того, что вы помогли мне построить, — ответил Язон.

Он не обратил внимания на слово «все», и Капок счел, что и земля, и река, и лес, и небо — каким-то образом все это когда-то умещалось в корабле. Язон попытался объяснить ему, что он имел в виду, но Капок ровным счетом ничего не понял. Слова «полет», «колония», «планета», «город» и даже «люди» были для него пустым звуком. Обозначением чего-то невероятно сложного, разобраться в чем мог один Язон. Язону так и не удалось переубедить его — Капок твердо уверовал, что все произошло от космического корабля, который когда-то привел сюда Язон. «Когда-нибудь я все растолкую ему, — подумал Язон. — Не сейчас, попозже, когда он будет понимать больше. И тогда же объясню ему, что я вовсе не Бог».

— А новенькие, их тоже ты сотворил?

— Нет, — покачал головой Язон. — Я всего лишь привез их с собой. Когда-то они были такими же, как я. По дороге сюда они спали. На самом деле их было больше.

— А вдруг они проснутся, увидят, что тебя нет, и испугаются?

— Нет, они спят дольше, чем мы. Их сон похож на сон реки, успокоившейся подо льдом. Точно так же спят поля под снежным покрывалом. Они не проснутся, пока я не разбужу их.

«Конечно, не проснутся. Все свершается только по приказу Язона. Когда он пожелает, приходит зима. И те люди,

которые сейчас спят сном покрытой льдами реки, — они тоже придут, когда Язон позовет их. Я и сам поступаю так, как учит Язон, потому что когда-то я тоже был Льдом».

Ветер стих только под вечер.

— Это ненадолго, — предупредил медник. — Далеко не забредайте и не ходите никуда поодиночке.

— Я недалеко, — сказал отец. — Да и Лэрд будет со мной.

Укутанные с головы до ног, они неуклюже вывалились на улицу из окна кухни. С южной стороны снег был еще не так глубок, но со всех остальных сторон дом окружили целые стены из сугробов. Снег еще падал, только теперь снежинки опускались на землю плавно, неторопливо.

— Куда мы? — поинтересовался Лэрд.

— В кузню.

Хруст шагов, раздавшийся в абсолютной тишине, больно резанул слух. Они даже не сразу увидели кузню: снег, засыпавший деревню, оставил лишь смутные очертания знакомых мест. Они неловко пробирались через доходящие аж до пояса сугробы. Наконец впереди замаячила кузня, вернее — конек ее крыши. Раньше Лэрду никогда не приходилось выбираться из дому в такую погоду, и будь он один, то непременно куда-нибудь провалился бы, однако отец будто чуял все ямы и безошибочно сворачивал туда, где снега было поменьше.

По какой-то неведомой причуде ветра дверь кузни, выходящую на юг, замело полностью. Они наскоро, как могли, разбросали снег и, добравшись до широкого окошка в левой створке, протиснулись в кузню.

— Помоги раздуть огонь. — Угли в горне, оставшиеся со вчерашнего дня, еще тлели. Но что же это за работа такая срочная, раз ради нее можно и жизнью рискнуть, выбравшись на улицу в такую метель?

Ответ Лэрд получил, когда пошел закрывать окно.

— Огонь разожги! — остановил его отец. — И оставь окно открытым. Остальные пойдут на свет.

Остальные... Лэрд сразу все понял. Сегодня ночью он пройдет обряд посвящения в мужчины. Ему была оказана великая честь, ведь на улице такая непогода — никто даже нос из дому не высовывает. Остается надеяться, что остальные все-таки придут. И они пришли, по двое вваливаясь в окошко. Вскоре в натопленной кузне собралось восемнадцать мужчин. Расступившись в стороны, они образовали проход, ведущий от открытого окна к жаркому горну.

— Мы стоим, — начал отец, — меж огнем и льдом.

— Лед и огонь, — подтвердили остальные.

— Повернешься ли ты к огню или предпочтешь лед?

Что это значит? Либо одно, либо другое? Как он пройдет это испытание, если даже вопроса не понял?

Он заколебался.

Мужчины недовольно зашептались.

Лэрд судорожно пытался сообразить, что его ждет. Огонь — это Клэни, умирающая в страшных мучениях; лед — это снег, заметающий все тропинки к дому. Нет, уж лучше лед. Но затем его посетила еще одна мысль: «Если мне придется столкнуться сразу с двумя опасностями, к какой я повернусь лицом, а к какой — спиной? Лицом я повернусь к тому, чего страшусь больше всего — может, в этом и смысл испытания?»

— Огонь, — твердо вымолвил он.

Руки подхватили его и поставили перед горном. Тяжело задышали мехи. Взметнулся к потолку пепел. С него сорвали одежду, и теперь его грудь палил огонь, а спину обдувал холодный ветер.

— Вначале, — монотонно звучал голос отца, — был век сна, когда мужчины и женщины молились о ночи и проклинали пору бодрствования. Жил среди них человек, на-

деленный неведомой властью, ненавидевший сон, идущий путем разрушения. Звали его Дун, но никто не ведал о его существовании, покуда не настал День Пробуждения, когда весь мир из стали содрогнулся от вопля: «Се человек, что похитил сон!» С той поры о Дуне узнали повсюду, ибо Спящие принадлежали ему, и всех он заставил пробудиться.

«Интересно, как бы я представлял себе все это, — подумал Лэрд, — если б никогда не видел Дуна? Какая-то тайна — если б я не знал; но я *знаю,* что все это — правда, я сам разговаривал с Дуном и могу описать вам, как меняются его глаза, когда он видит таящийся в вас страх. Я был Дуном, и каким бы ужасным и отвратительным он ни казался, сомек — куда хуже».

— И тогда, — продолжал отец, — миры потерялись среди света. Люди не могли больше найти на небе звезды. Пять тысяч лет они бродили вслепую, пока не научились обгонять свет, летать с такой скоростью, что им уже не нужен был сон, украденный когда-то Дуном. И они снова нашли друг друга, нашли все планеты, кроме одной. Кроме мира, названного святым именем.

— Лед и огонь, — забормотали мужчины.

— И только в этом месте, между огнем и льдом, может произноситься это имя. — Отец вытянул руку и прикрыл глаза Лэрда. — Вортинг, что означает Истинный, — сказал он. И прошептал: — Произнеси.

— Вортинг, — повторил Лэрд.

— Этот мир находился в далекой дали, в неведомых глубинах космоса. Именно там погрузился в сон Бог, увидев, что человек проснулся. И звали Бога Язон.

— Язон, — выдохнули мужчины.

— Тот мир населяли сыны Господни. Они узрели боль человеческую, поселившуюся на других мирах, боль пробуждения, боль огня и света, и молвили: «Да будем мы сострадательны к пробудившимся, да облегчим их боль. Мы —

не Язон, мы не можем подарить вам сон, но мы дети Язоновы, и мы остережем вас от огня. Мы — Лед, мы встанем за вашими спинами и удержим свет в ладонях своих».

«Они знают, чем все закончилось, — вдруг понял Лэрд. — Они знают, что стало с тем миром, когда Язон ушел».

— А теперь, — сказал отец, — они подарили лед нам. Но мы помним боль! Здесь, между льдом и огнем, мы будем помнить...

Он прервался.

— Будем помнить... — начал было кто-то из присутствующих.

— Боль... — напомнил другой.

— Все *изменилось,* — произнес отец. Только теперь он говорил от себя. — День Пробуждения сгинул в прошлом, вслед за ним ушел День Льда, наступил День Боли, и я не позволю, чтобы древний ритуал свершился!

Мужчины угрюмо молчали.

— Мы видели боль, плывущую вниз по реке, видели, что происходит, когда люди продолжают следовать ритуалу льда и огня! Тогда я пообещал себе: больше этого не произойдет!

Лэрд вспомнил сожженного заживо человека на плоту. Плывущего с верховий реки, где в горах стояли вечные ледники.

— А что должно было произойти? — спросил Лэрд.

Отец повернулся к нему. Лицо его было искажено.

— Мы должны были бросить тебя в огонь. В прежние времена нас всегда что-то останавливало. Наши руки не могли этого сделать, хотя мы и старались. Мы делали это, чтобы помнить, что такое боль. И чтобы познать В-Вортинга, познать Истинное.

Мужчины продолжали безмолвно смотреть на отца с сыном.

— Мы все видели, что случилось с Клэни! Мы знаем, что Вортинг снова уснул! Лед больше не управляет огнем!

— Тогда, — предложил отец Клэни, — давайте испытаем его льдом.

— Он выбрал огонь, — возразил кто-то.

— Ни того, ни другого не будет, — проговорил отец. — Раньше мы делали это, потому что знали: боли не будет. Теперь мы снова встретили боль и смерть.

— Испытание льдом, — упорствовал отец Клэни. — Мы не затем выбирали тебя в глашатаи, чтобы ты потом выгораживал своего сынка.

— Если мы будем и дальше придерживаться обычаев, все наши сыновья погибнут!

Отец Клэни еле удерживался от слез — или такая ярость овладела им?

— Мы должны призвать их! Мы обязаны снова их разбудить!

— Мы не станем убивать собственных детей ради пробуждения какого-то бога!

Наконец-то Лэрд все понял. Обнаженный мальчик, готовящийся стать мужчиной, должен быть брошен в огонь или в снег. На лицах окружающих его мужчин отражалась беспомощная растерянность. Многие поколения прошли через этот ритуал. Сомнение, проникшее в сердца в День, Когда Пришла Боль, овладело ими. В их глазах Лэрд видел свое отражение. Грамотей и книжник, а значит, в любой момент может подвести; тщедушен, а значит, бесполезен; сын самого уважаемого человека в деревне, баловень судьбы, а значит, ненавистен. «Они не желают мне смерти, но если ради пробуждения детей Язона кому-то придется умереть, все дружно укажут на меня. А если меня и оставят в живых, то только уступив мольбам отца. После этого он навсегда лишится гордости и уважения».

«Огонь — это слишком, — думал Лэрд. — Но со снегом я справлюсь».

— Дети Язона покоятся в огне или во льду? — спросил он.

Предполагалось, что он должен хранить молчание, но сегодня все шло иначе, чем обычно.

— Они суть Лед, — произнес Хаккель-мясник.

— Тогда я пойду ко льду, — сказал Лэрд.

— Нет! — крикнул отец.

И словно бы в ответ, снаружи яростно взвыл ветер. Краткое затишье подошло к концу.

— Скажите, что я должен сделать, когда окажусь снаружи? — настаивал Лэрд.

Люди неуверенно переглядывались. Прежде дети Язона всегда останавливали их.

— Та фраза заканчивается словами «пока вы не упокоитесь во льду», — выдавил отец.

— А в случае с огнем, — добавил отец Клэни, — «пока вы не проснетесь объятые пламенем».

— Тогда я буду идти, пока не засну.

Отец опустил руку на его плечо.

— Нет. Я не допущу этого.

Но взгляд его говорил: «Я вижу твою отвагу».

— Я буду идти, — повторил Лэрд, — пока не засну.

«Нет, — раздался голос в его мыслях. — Я не спасу тебя».

«А я тебя и не прошу», — молча ответил Лэрд, зная, что тот, кто надо, услышит.

«Ты выбираешь смерть», — произнесла Юстиция.

— Буду идти, пока не умру! — выкрикнул Лэрд.

Руки вцепились в него, как стая мелких животных, пытающихся разорвать его тело на кусочки. Эти руки подняли его, поднесли к окну и выбросили в снежную пургу.

Снег колол, словно ядовитые жала, и, пока мальчик ворочался, пытаясь встать на ноги, забил ему нос и рот. Наконец, задыхаясь и дрожа, он выпрямился; ноги подкашивались от перенесенного шока. «Что я делаю? А, да, иду, пока не засну». В слабом свете, льющемся из окошка, на снег

падала коротенькая тень — и он поставил ногу прямо на свой темный силуэт. Ветер налетел на него, и он снова упал, но тут же поднялся и, шатаясь, двинулся вперед.

— Хватит! — донесся крик отца. Нет, не хватит.

«Пока не усну. Сон для них был равнозначен льду. Лед можно найти на берегу реки. В принципе не далеко. Летом я добегал до реки минуты за три. Я должен принести им кусок льда. Я должен взять в руки холод и принести им, точно так же, как Язон принял в свое тело твика, перенес страдания и выжил. Если после этой ночи я останусь в живых, то уже не буду путать свои воспоминания с воспоминаниями Язона».

«Никто тебя не спасет», — произнес внутренний голос. Лэрд так и не понял, кто это сказал — Юстиция или его собственный страх.

Идти было недалеко, но ветер с каждой минутой ярился все больше, а у реки он рвал и хлестал тело куда сильнее, чем среди домов. Лэрд упорно копался в снегу, пока не нащупал камни, которые еще вчера были покрыты грязью. Сегодня эта грязь замерзла и изрезала все руки, пока негнущимися пальцами он пытался выковырять острый булыжник из земли. Затем он опустился на колени у самой воды; тонкий лед уже успел покрыться сугробами. Несколько ударов камнем — и лед треснул; плеснула вода, обдав руки теплом. Разгребая воду, он наконец выловил льдинку побольше и уже на четвереньках пополз вверх по склону, обратно в деревню.

Он достал лед из реки. Можно возвращаться — и никто не посмеет сказать, что он не выдержал испытания. Однако теперь ветер бил ему прямо в лицо; ковыляя вперед, он не видел ничего, кроме тучи белых мушек, впивающихся в кожу. Всю деревню занесло снегом, река канула в небытие, осталась где-то в неведомом прошлом. Еще секунду назад он так дрожал, что едва удерживал льдинку, а сейчас тело уже позабыло, что такое холод...

Затем из-за бесконечных снежных холмов вынырнули две тени. Отец — и Язон. Язон шел впереди, но одеяло вокруг его тела обернул отец.

— Я дошел до реки, — выдавил Лэрд, — и принес вот этот лед.

— Лед даже не тает у него в руках, — сказал отец.

Вдвоем они подняли Лэрда и понесли сквозь снег. Они что-то крикнули, и им ответили — сначала один голос, потом другой. От сугроба к сугробу тянулась вереница людей. Лэрд не увидел конца этой цепочки. Он заснул прямо на руках у отца.

Очнулся он в лохани, дико дрожа. Мать лила на него горячую воду. Он закричал от ужасной боли, пронзившей все тело.

Увидев, что он пришел в себя, она отреагировала с обычной своей добротой, к которой он привык с детства.

— Идиот! — заорала она. — Голым в снег полез! Все вы, мужики, идиоты!

И она вернулась к очагу, чтобы поставить на огонь новый котелок с водой.

«Кстати, она права», — произнес голос у него в голове.

— Но и ты тоже был прав, — прошептал Язон.

Вокруг толпились мужчины, по их лицам бродили тени от пламени очага. Комната была так натоплена, что воздух обжигал горло. Лэрду не хотелось, чтобы другие видели, насколько он беспомощен. Он нагнул голову, повернулся на бок, затем снова перевернулся на спину, медленно мотая головой.

— Оставьте его, — произнес Язон. — Он принес вам лед, он вернулся домой Спящим, он в точности исполнил то, на чем вы так настаивали.

Мужчины начали натягивать куртки, обматывать вокруг шеи платки и шарфы, надевать рукавицы.

— Говорят, тебя Язоном зовут, — сказал Хаккель-мясник.

— Меня зовут Язон Вортинг, — сказал Язон. — Или ты думаешь, отец Лэрда солгал тебе?

— Так ты... Бог? — прошептал отец Клэни.

— Нет, — усмехнулся Язон. — Всего лишь человек, старик, у которого никогда не было семьи и который никак не может понять, что же вы за дураки такие, раз в такую жуткую ночь решили покинуть своих домашних.

Они выходили через окно кухни, парами расходясь по домам.

Глава 7

ЗИМНИЕ СКАЗКИ

Такие метели случались и раньше, снега выпадало куда больше, но никогда, никогда зима не начиналась с такой пурги. Домашние повторяли то и дело: «Если это только начало, что же будет дальше?» Ветер не стихал три дня, хотя после той ночи больших снегопадов не было, поэтому днем удавалось выбраться из дома, чтобы накормить и напоить животных.

Однако Лэрд последующие дни провел под одеялом. Он лежал в постели отца, а вокруг кипела домашняя жизнь. На третий день снова собрались деревенские женщины, вновь уселись за станки, за свою пряжу. И хотя Лэрд лежал в той же комнате, с ним почти никто не заговаривал. Его била лихорадка, поэтому говорить он толком и не мог, а остальные были настолько потрясены его поступком, что им даже нечего было сказать. Метель покинула деревню, не причинив никакого вреда, и многие верили, что все обошлось

благополучно только благодаря Лэрду: он принес себя в жертву буре и таким образом остановил ее.

Пока женщины работали, медник распевал песни, шутил и рассказывал всякие истории. Его хватило часа на три, а потом наступило затишье, и лишь тихонько постукивал челнок в ткацком станке. Тогда Сала отложила в сторону шитье, поднялась и вышла на середину комнаты. Дважды она обвела быстрым взглядом присутствующих, а затем повернулась лицом к Лэрду, хотя он не мог сказать, смотрит она на него или куда-то в сторону.

— Я знаю одну историю о такой же пурге. И о меднике.

— Интересно, — рассмеялся медник.

Женщины промолчали. Лицо Салы было слишком серьезно. История, которую она намеревалась рассказать, не была ее выдумкой. Лэрд понял, что ее устами сейчас говорит Юстиция. Поняли это и остальные — украдкой они бросали на нее настороженные взгляды. Юстиция же с безразличным видом, не обращая ни на кого внимания, продолжала ткать грубую подстилку из конского волоса.

— Медника звали Джон, каждую зиму он приходил в одну и ту же деревню и останавливался на одном и том же постоялом дворе. Деревня та находилась посреди огромного леса, прозванного Лесом Вод. А само поселение звалось Вортингом, Истинным, поскольку имя у той гостиницы было Вортинг. Джон Медник останавливался в ней, поскольку она принадлежала его брату. Он занимал маленькую комнатушку на вершине башни с окнами, глядящими во все стороны света. Брат его носил имя Мартин, Мартин Трактирщик, и был у него сын по имени Амос. Амос любил своего дядю Джона и с нетерпением ждал наступления зимы, потому что Джона Медника очень часто навещали всякие пичужки. Как давние знакомые, всю зиму они порхали вокруг башни, то и дело залетая в окна, а бури пережидали на подоконнике комнаты Джона.

Лэрд оглянулся на женщин. При упоминании соответствующего имени они поджали губы, а взгляды стали отчужденными, холодными. «Может, и для них это имя священно», — подумал Лэрд.

— Птицы навещали его, потому что он хорошо знал их. Когда они летали, он мог смотреть на мир их глазами и чувствовать, как воздух щекочет их перья. Когда какая-нибудь птичка вдруг заболевала, он тут же определял болезнь и исцелял ее. И с людьми он мог делать то же самое.

Целитель. Имя Вортинга. Все уже поняли, что история Салы каким-то образом связана с Днем, Когда Пришла Боль.

Однако Лэрд воспринял ее несколько иначе. Эта история корнями уходила в историю мира Язона, только произошло все это много после описанного Лэрдом в книге. Губами Салы Юстиция рассказывала историю, которой Лэрд раньше никогда не слышал. Значит ли это, что они отказались от него?

— Когда медник появлялся в деревне, к нему приводили больных и увечных, и он исцелял их. Но чтобы сделать это, ему приходилось на время поселиться внутри их тел, стать ими. Уходя, он уносил с собой воспоминания, воспоминания о тысячеликой боли, о всевозможных страхах. Почему-то всегда запоминались только боль и страх, и никогда — исцеление. Постепенно он стал сторониться людей, начал бояться исцелять других. Все больше ему хотелось навсегда остаться с птицами — те помнили лишь полет, еду, любимых да гнезда.

И чем больше он отдалялся от жителей деревни, тем больше они боялись, страшились его силы. В конце концов в их глазах он вообще перестал выглядеть человеком, пусть даже когда-то родился среди них. Да и сам он уже не причислял себя к людям, хотя отчетливо помнил все их страдания.

Затем наступила зима, подобная нашей. Однажды разыгралась такая пурга, что крыши некоторых домов не вы-

держали и провалились. Кто-то погиб, не успев проснуться, другие же обморозились так, что отнялись и руки и ноги. И тогда люди воззвали к Джону Меднику: «Исцели нас, сделай нас снова здоровыми». Он попытался, но пострадавших было слишком много. Он старался — но пока он спасал одного, кто-то другой умирал.

«Почему ты не спас моего сына?!» — наконец закричал один из жителей. Почему ты не спас мою дочь, мою жену, моего мужа, отца, мать, сестру, брата — и они решили отомстить ему. Мстили они, убивая птиц и бросая их у дверей гостиницы.

Увидев мертвые, искалеченные тельца, он пришел в ярость. Годами он исцелял их боль, а теперь они убивают птиц только потому, что он не может сотворить достаточно чудес за раз. И в гневе он сказал: «Умирайте — я ничего больше не сделаю для вас». И, собрав теплую одежду, ушел.

Сразу после его ухода началась ужасная метель. Ни одна хижина не уцелела, сорвало все ставни, и лишь один двор выстоял против ветра и снега. Постоялый двор Вортинга. Там-то и собрались все пережившие пургу, оттуда расходились спасательные отряды на поиски людей, которые могли остаться под руинами домов. Но пурга не прекращалась, и некоторые из спасательных отрядов бесследно сгинули в круговерти снега, а сугробы намело такие, что на улицу можно было выбраться только через окна второго этажа. Большинство домов в деревне были куда ниже гостиницы Вортинга — и они целиком исчезли под снегом.

На четвертый день после ухода Джона Медника всех охватило отчаяние. Не было семьи, которая не лишилась бы близких в этой страшной метели, — разве что Мартин Трактирщик не пострадал, правда, из родственников у него был один сын, Амос, да брат Джон. Амосу хотелось сказать людям: «Глупцы, если бы вы проявили хоть чуточку благодарности к дяде Джону за то, что он для вас делает, он не ушел бы, а исцелял сейчас обмороженные ноги и сломан-

ные спины». Но отец понял, что собирается сказать Амос, и приказал ему молчать. «Наш дом выстоял, — сказал Мартин Трактирщик, — мой сын жив, а глаза у нас такие же голубые, как и у Джона Медника. Ты что, хочешь, чтобы их гнев обрушился на нас с тобой?»

Женщины старались не смотреть в глаза Юстиции, но все до единой помнили, каков их цвет.

— И они промолчали, а на четвертую ночь вернулся Джон Медник: он еле держался на ногах, весь окоченевший после долгих дней блуждания в метели. Войдя, он не произнес ни слова. И они ничего не сказали. Просто начали избивать его, пока он не упал, а тогда принялись бить ногами. Его убили, потому что людям не нужен бог, который не может уберечь их от всех напастей на свете. Маленький Амос видел смерть Джона Медника. А став взрослым, он обнаружил те же странные силы в себе — он обладал силой исцеления, мог смотреть на мир глазами других, он помнил то, чего никогда не случалось в его жизни. Но все это могущество Амос оставил при себе, он не помогал другим даже тогда, когда легко мог это сделать. Но и мстить за смерть Джона Медника он не стал. Он видел воспоминания людей о смерти Джона и не знал, что хуже — страх, что они испытывали, пока убивали его, или же стыд, что охватил их, когда он умер. Амос не хотел, чтобы какое-то из этих чувств поселилось и в нем. Поэтому он ушел в другой город и в Вортинг больше не возвращался. Все.

Сала очнулась.

— Вам понравилась моя история? — спросила она.

— Да, — дружно ответили все, потому что она была еще ребенком, а люди предпочитают лгать детям, чтобы те не волновались лишний раз.

Так ответили все, кроме медника.

— Терпеть не могу историй, в которых медники умирают, — сказал он. — Это шутка, — чуть погодя объяснил он. Но никто не засмеялся.

Той ночью Лэрд никак не мог заснуть. Он лежал у очага, закутанный в ворох одеял. За последние несколько дней он отдыхал столько, что безделье уже утомляло его. Он вылез из кровати — ослабевшие ноги еле двигались. Поднявшись по лестнице и заглянув в комнату Язона, он обнаружил их с Юстицией, сидящих у зажженной свечи. А он думал, что ему придется будить их. Почему им не спится?

— Вы знали, что я приду? — удивился Лэрд.

Язон покачал головой.

— Почему вы рассказали эту историю Сале? — спросил Лэрд. — Ведь все это случилось уже потом, когда потомки Язона стали намного сильнее его. Прошло, наверное, три сотни лет, не меньше.

— Три тысячелетия, — уточнил Язон.

— И чье же это воспоминание? Опять твое, Язон?

— Я тогда лежал в сомеке, в своем корабле на дне глубокого океана.

— Значит, это была ты. — Лэрд повернулся к Юстиции. — Ты была там.

— Она родилась спустя много тысяч лет после гибели Джона Медника, — возразил Язон. — Дело не в этом. Это что-то вроде неразрывной цепочки. Рано или поздно любой ребенок проникает в воспоминания родителей. Таким образом, некоторые воспоминания передаются из поколения в поколение — каждое поколение само решает, что стоит запомнить, а что — позабыть. Это происходит само собой — забывается то, что ничего не значит. На воспоминание о Джоне Меднике я наткнулся в уме Юстиции. Даже поискал потом, не сохранилось ли воспоминаний обо мне, — усмехнулся Язон. — Наверное, мои дети слишком недолго знали меня и не поняли того, что они увидели в моих воспоминаниях. Меня не осталось в их памяти. Я добрался до самых древних воспоминаний и обнаружил, что я забыт. Осталось лишь имя.

Но Лэрд пришел сюда вовсе не затем, чтобы выслушивать шутки Язона.

— Почему ты рассказала об этом Сале, а не мне?

Юстиция отвернулась.

— Как раз об этом мы и спорили, когда ты вошел, — сказал Язон. — Похоже, Сала сама спросила у нее, почему же случился День, Когда Пришла Боль.

— И это был ее ответ? История Джона Медника?

— Нет, — покачал головой Язон. — Так обычно отвечают детям. Эта история вовсе не объясняет День Боли, она лишь часть другого, более длинного повествования. Ты еще поведаешь об этом в своей книге. Боль спустилась на мир вовсе не потому, что у моих детей не хватило сил справиться с людскими страданиями. Они могли и дальше исцелять болезни человечества.

Лэрд упорно обращался к Юстиции, надеясь вызвать ее на разговор:

— Тогда почему вы отвергли нас?

Юстиция продолжала глядеть в сторону.

— Поэтому-то и пишется эта книга, — ответил за нее Язон. — Мы хотим рассказать вам нашу историю.

Лэрд вдруг вспомнил о том, каким образом главы из той книги передаются ему, подумал о Сале и содрогнулся.

— Ты что, послала ей такой сон? Она собственными глазами видела смерть Джона Медника?

Наконец-то Юстиция заговорила.

«Я рассказала ей об этом словами. За кого ты меня принимаешь?»

— За того, кто видит боль и может исцелять людей, но вместо этого поворачивается к ним спиной.

Лэрду не надо было заглядывать к ней в разум, чтобы увидеть, как ранили ее эти слова.

— А что, если бы она пришла из страшной пурги, и ты бы забил ее ногами до смерти? Не спеши судить других. А

теперь иди спать. Недавно ты сам столкнулся со смертью; ты видел, как она охотилась за мной в саду Дуна, и все же сам пошел ей навстречу. Никто тебе не помог, пока ты не исполнил то, что намеревался. Если бы я нашел тебя и остановил или если бы Юстиция согрела тебя на пути к реке, оградила от всех опасностей, чего бы стоил тот час, что ты провел нагишом в снегу?

Лэрд не ответил: это означало бы, что он сдался. Или извинился. Но хоть он и промолчал, они, конечно же, все равно все увидели. Он спустился по лестнице, намереваясь забраться в постель и сразу заснуть.

У кровати его ждала мать — почему-то она тоже не спала. Она не вымолвила ни слова, лишь укрыла его и вернулась к себе. «Мне ничто не угрожает, — подумал он. — За мной постоянно кто-нибудь присматривает. Хотя бы мать». Это знание успокаивало — в отличие от сказанного Язоном и Юстицией. Теперь он мог заснуть.

А заснув, он мог видеть сны.

Капок поднялся ранним утром, чтобы разжечь огонь в очаге. В воздухе ощущался какой-то новый, необычный аромат. Остальные частенько шутили, что, проводя большую часть времени с овцами, Капок разучился чувствовать что-либо, но это была неправда: он хорошо различал запахи, правда, почему-то к каждому из них примешивался запах овечьих шкур.

Это пах снег, снежное покрывало толщиной с большой палец, укрывшее землю. Ранний снег. Капок задумался, хорошо это или плохо, означало ли это, что зима будет холодной, или наоборот. Какую погоду пошлет в этом году Язон? Ведь этой зимой Язон впервые покинул их, назначив Капока старшим. «Я не хочу, чтобы ты уходил, — сказал Капок. — А если тебе все-таки надо уйти, назначь старшей Сару». Но Язон ответил: «Сара умеет давать имена, она хороший

рассказчик, но ты лучше всех понимаешь, что правильно, а что — нет».

Сара действительно умела давать названия. Она попросила Язона еще раз рассказать о Звездной Башне, где Спали Ледяные Люди, — и именно она назвала ту громаду Звездной Башней. Выслушав рассказ, она решила, что поляну на северном берегу Звездной реки, где они все жили, лучше назвать Небесным Градом, а гигантскую реку, что в часе ходьбы к северу, — Небесной, потому что она была такой же широкой, как само небо. А когда она и Капок, перегнав овец на другой берег Звездной реки, поселились там, в один прекрасный день Сара вдруг пришла к удивительному выводу: «Мы ведь ушли из Небесного Града. Теперь мы живем на новом месте». И сразу дала ему название — Овечьебережье.

Сара хоть умела придумывать имена, а вот Капок не так уж и силен был в определении, что хорошо, а что плохо. Язон, конечно, не мог ошибаться, но Капок никогда до конца не был уверен, что правильно, а что — нет. Иногда его «правильное» решение действительно оказывалось таковым. Сегодня все поймут, что он был прав, посоветовав пораньше утеплить дома, когда о холодах никто даже не думал. И теперь во всех домах было тепло и сухо, разве что кроме нового дома, который сейчас строился для Вьена и Вэйри. Сегодняшний ранний снег заставит их сказать: «Да, ты был прав».

Но бывало, что он ошибался. Он ошибся, когда попытался поженить Батту и Хакса. Ему казалось, что это правильное решение. «Они ведь были последними из первой шестерки Ледяных Людей — я женился на Саре, а Вэйри выбрала Вьена». Хакс согласился с разумностью этого решения. Но Батта вдруг рассердилась и сказала: «Тебе-то Язон не указывал, на ком жениться?» Капок признал ее правоту и свою ошибку. Язон никогда не ошибался, поэтому все

очень разочаровались, когда выяснилось, что ему недостает Язоновой мудрости. Снегопад поможет им снова обрести веру в него.

Это была уже четвертая зима на памяти Капока. О первой воспоминания сохранились весьма смутные. Он помнил какой-то ослепительный свет, помнил, как испугался снега и убежал обратно в Дом. Вторая зима запомнилась лучше — тогда они питались тем, что вырастили своими руками. Язон же учил Хакса, Вьена и Вэйри ходить и говорить.

Третью зиму Капок и Сара встретили в собственном доме, который был построен на другом берегу Звездной реки, прямо напротив Небесного Града. Они поженились первыми и первыми получили дом, а следующим летом родился их первенец. Сара нарекла мальчика Цилем.

И эта зима была четвертой по счету, и Сара нянчила Циля и все время шикала на Капока. Впервые Капок испытывал страх перед будущим, ибо в Небесном Граде возникла ситуация, которую он не мог разрешить.

В поселении существовало одно нерушимое правило — в большой работе участвуют все без исключения. Именно благодаря этому закону им удавалось за два дня построить дом, вместе они боронили поля и собирали урожай, молотили и крыли крыши соломой, вместе запасались дровами на зиму и вырубали лес под новые поля. Инструменты принадлежали всей общине, как и трудовое время дня.

Поэтому просьба Линкири предоставить в его распоряжение топор и один трудовой день поставила Капока в тупик. «Зачем?» — спросил Капок. Но Линкири не сказал ему. Капок не знал, как говорить с Линкири, потому что тот большей частью молчал — молчал даже тогда, когда ему было что сказать. Линкири был, наверное, самым умным из тех Ледяных Людей, что пришли во вторую весну, — именно он установил рыболовную сеть в Звездной реке, хотя до этого никто в деревне не умел плести сети — если кто его и

научил, так только Язон, втихаря от остальных. Линкири придумал опускать ягоды в воду с пряжей и покрасил так пять рубах в синий цвет. Линкири был таким странным, что сам ни разу не надел синюю рубашку. Не требовалось объяснений Язона, чтобы понять: Линкири отличается от остальных. В некотором роде он был лучше, умнее прочих, поэтому Капоку не хотелось спорить с ним. Ему можно было доверять.

— Бери топор, — сказал Капок. — Но вечером ты должен нарубить свою дневную норму дров.

Линкири согласился и ушел.

Весь день Хакс злился.

— Мы работаем вместе, — снова и снова повторял он. — Когда здесь был Язон, никто не прятался друг от друга.

Раньше так и было. Однако раньше никто не осмеливался оспаривать вынесенное Капоком решение. Весь день Хакс твердил:

— Это несправедливо. А если Линкири еще что-нибудь захочется?

Капок не мог с ним спорить. Его тоже беспокоили эти перемены.

Это случилось пять дней назад. Каждый день с утра Линкири просил топор, но каждый вечер по возвращении исправно исполнял свою долю дневной работы. Остальные тем временем пели, ели и играли в Первом Доме, где новенькие, которые только научились ползать, смеялись и хлопали им, потому что не умели пока говорить. Линкири теперь жил сам по себе, он все больше и больше отдалялся от жителей деревеньки. И каждый день, с утра до вечера, Хакс неустанно жаловался. Однако вечером, когда Линкири возвращался, он быстро замолкал и молча следил глазами за Линкири — ни словечка не произносил, а Линкири, казалось, и не замечал злости, переполняющей Хакса.

Но вчера Хакс проследил Линкири и вечером рассказал Капоку все, что увидел в лесу. Линкири построил дом.

Линкири построил дом собственными руками на полянке посреди леса в получасе ходьбы от Небесного Града. Вопиющая несправедливость. Дома строили все вместе, и они строились специально для мужчины и женщины, решивших пожениться. Новобрачные заходили в дом, закрывали за собой дверь, после чего распахивали настежь все окна и в каждое дружно кричали: «Мы женаты!» Капок и Сара были первой семейной парой, и проделали они это просто потому, что им было весело. Теперь же все следовали их примеру, а если этот ритуал не соблюдался, считалось, что и свадьбы не было. Но где жена Линкири? Какое право он имеет на дом? Все знали, что следующей парой будут Хакс и Рьянно. С чего это вдруг Линкири должен получить дом? Никого, кроме него, там не будет. Он будет жить там один, вдали от остальных. Зачем ему это?

Капок ничего не понимал. Он был вовсе не так мудр, как Язон. Не надо было ему становиться старшим. Сара и Батта куда умнее. Они сразу решают любую задачу. Батта сказала: «Линкири имеет право делать, что хочет. Ему нравится быть одному, думать по-своему. Вреда от этого никому не будет». «Язон сказал, что мы единый народ. Линкири показывает, что не хочет быть частью нас, а раз так, значит, мы стали чем-то меньшим», — возразила ей Сара. Они были мудрые женщины. Только Капоку было бы куда легче, если бы они почаще соглашались друг с другом.

Этим утром Линкири снова попросит у него топор. И на этот раз Капоку все-таки придется что-то предпринять.

На улицу вышла Сара с маленьким Цилем на руках. Оба были закутаны с головы до ног — утро выдалось морозным.

— Ну что, надеюсь, ты сегодня что-нибудь скажешь Линкири? — спросила она.

Значит, и она все утро думала о том же.

— Да, — кивнул Капок.

— И что же?

— Пока не знаю.

Сара смерила его изумленно-презрительным взглядом.

— И почему это Язон именно тебя выбрал старшим? — процедила она.

— Не знаю, — ответил Капок. — Пойдем завтракать.

Во время завтрака к нему подошел Линкири, в руках он уже держал топор. Он ничего не говорил. Просто стоял и ждал.

Наконец Капок оторвался от еды:

— Линкири, почему бы нам всем не взять топоры и не помочь тебе закончить тот дом, что ты строишь?

Глаза Линкири превратились в две маленькие щелочки:

— Он уже закончен.

— Тогда зачем тебе топор?

Линкири оглянулся по сторонам и увидел, что взгляды всех присутствующих обращены на него. Он попробовал пальцем лезвие топора.

— Я рублю деревья, хочу расчистить участок вокруг дома.

— Этим мы займемся будущей весной. Мы будем рубить лес к северу от Первого Поля, на холме.

— Я знаю, — сказал Линкири. — Я помогу вам. Можно взять топор?

— Нельзя! — выкрикнул Хакс.

Линкири холодно посмотрел на Хакса:

— Мне-то казалось, что старший — Капок.

— Это несправедливо, — возмущенно заговорил Хакс. — Каждый день ты уходишь и занимаешься тем, чего никто не просит. Целый день тебя не видно, а вечером хоть и видно, но не слышно. Это неправильно.

— Я честно отрабатываю свою долю, — возразил Линкири. — Чем я занимаюсь в свободное время — это уже мое дело.

— Нет, — крикнул Хакс. — Мы единый народ. Так сказал Язон.

Некоторое время Линкири молчал, после чего сунул топор в руки Капоку.

Но Капок не взял инструмент:

— Может быть, ты все-таки покажешь нам дом, который строишь? — спросил он.

Линкири сразу немного успокоился:

— Я и сам хотел предложить это.

Сразу после завтрака, убрав посуду и оставив с новенькими Река и Сайвель, все потянулись за Линкири. Свернув на восток, они углубились в лес. Капок шел впереди, рядом с Линкири.

— Откуда вы узнали, что я строю дом?

— Хакс выследил тебя.

— Хакс думает, я бык, всегда буду покорно стоять в стойле и ждать, когда меня потянут за веревочку.

Капок покачал головой:

— Просто Хакс хочет, чтобы все оставалось по-старому.

— Неужели мне будет так плохо одному?

— Я не хочу, чтобы ты грустил. Когда я остаюсь один, мне всегда немного грустно.

— А мне — нет, — ответил Линкири.

Дом выглядел очень странно. Он был не так широк, как построенные ими дома, зато намного выше, а окна были прорублены под самой крышей. Но самой необычной была именно крыша. Она состояла из наложенных друг на друга кусков дерева, и лишь на самом верху было набросано немножко соломы.

Линкири заметил, с каким изумлением оглядывает крышу Капок.

— У меня было очень мало соломы, но не бросать же дело... Я подумал, что дерево задержит дождь, и если я угадал, тогда мне не придется каждый год настилать новую крышу.

Он объяснил всем, каким образом укладываются на стены разделенные на несколько частей бревна, чтобы полу-

чился второй пол, на некотором расстоянии от первого. Таким образом, внутри дом оказался ничуть не меньше обычной деревенской хижины. Хороший вышел дом, Капок так и сказал.

— С этого дня, — обратился он к остальным, — в новых домах мы будем настилать второй пол, потому что так получается больше места.

И все согласились с мудростью вынесенного решения.

— Я рад, что ты построил такой прекрасный дом, Линкири, — сказал Хакс, — потому что Рьянно и я вот-вот поженимся.

Было видно, что Линкири рассердился, хотя голос его прозвучал абсолютно спокойно:

— Я тоже рад, Хакс, что ты и Рьянно скоро поженитесь, и я с радостью помогу тебе построить дом.

— Но дом уже стоит, — удивился Хакс. — Нам с Рьянно следующим положен дом, так что теперь он наш.

В ответ на что Линкири возразил:

— Этот дом я сделал сам. Я рубил деревья, я колол бревна. Я вырубил балки для крыши и в одиночку поднял их наверх. Никто мне не помогал, и никто, кроме меня, не будет жить в этом доме.

— Но ты пользовался топором, который принадлежит нам всем, — продолжал Хакс. — Ты использовал дни, которые также принадлежат всем. Ел общую пищу. Твой дом находится на земле, которая принадлежит нам. Твоя жизнь принадлежит всем нам, а все мы принадлежим тебе.

— Вы мне не нужны. И меня вы не получите.

— Ты ел хлеб, который я помогал растить в прошлом году! — крикнул Хакс. — Так верни мне мой хлеб!

И тогда Линкири стиснул кулак и рукой, окрепшей от таскания бревен, ударил Хакса в живот. Хакс согнулся от боли и разрыдался. Такого никогда не случалось, и не требовалось большой мудрости, чтобы понять, что Линкири поступил крайне несправедливо.

— И что ты будешь делать теперь, Линкири? — осведомился Капок. — Может, ты захочешь оставить топор себе, а если я скажу «нет», ударишь и меня? Если ты захочешь жениться на женщине, а она откажет тебе, ты что, и ее будешь бить, пока она не согласится?

Линкири воззрился на свои кулаки.

Капок пытался думать. Как бы поступил в такой ситуации Язон? Но он не Язон — тот бы заглянул в человеческий разум, и мысли, даже самые сокровенные, открылись бы ему. Капок этого не умел. Он мог судить только по словам и поступкам.

— На слова следует отвечать словами, — промолвил Капок. — Человек не рыба, чтобы его били о камень. Человек не овца, которую постоянно надо пинать, чтобы она двигалась куда нужно. На слова следует отвечать словами, а на удары — ударами.

Все согласились с ним. Это казалось честным.

Хакс явно хотел собственноручно отомстить Линкири, ударив его с такой же силой, но Капок не позволил этого.

— Если ударишь его ты, это будет всего лишь продолжение вашего спора. Мы должны выбрать кого-то другого, чтобы удар исходил от нас всех, а не от одного человека.

Но никто не хотел соглашаться на такое.

В конце концов Сара не выдержала и, передав маленького Циля Батте, выступила вперед.

— Я сделаю это, — сказала она, — потому что это должно быть сделано.

Она подошла к Линкири и, размахнувшись, ударила его кулаком в живот. Силой она могла посоперничать с любым мужчиной, потому что наравне с Капоком таскала овец и строила изгороди, и Линкири получил заслуженное наказание сполна.

— А теперь что касается дома, — продолжил Капок. — Хакс прав, говоря, что не положено человеку без жены вла-

деть целым домом, когда он и Рьянно должны вот-вот пожениться. Но Линкири так же прав. Будет нечестно, если кто-то поселится в доме, который Линкири построил сам. Язон бы знал, что делать, но его с нами нет, поэтому за него скажу я — никто не будет жить здесь, пока мы не построим жилище для Рьянно и Хакса. Мы постараемся побыстрее закончить его, но до той поры этот дом будет пустовать.

Все сошлись на том, что решение справедливо — даже Линкири и Хакс согласились с ним.

Но под вечер снег растаял, а ночью пошел дождь — вся земля превратилась в непролазную грязь. На такой земле нельзя было строить дом. А после четырех недель дождя внезапно ударили холода и выпал глубокий снег. Пришлось срочно строить новое стойло, поскольку крыша старого еле держалась и могла рухнуть, а тогда бы перемерзли животные. Поэтому вместо дома для Рьянно и Хакса все взялись за постройку стойла с утепленными стенами, а затем наступила настоящая зима, и строить что-либо было поздно.

— Мне очень жаль, — сказал Капок. — Но погоде не прикажешь, животные нуждались в новом стойле, а теперь уже слишком холодно, да и сугробы намело — ничего не построишь. Придется подождать до весны.

Тогда Хакс и Линкири страшно рассердились.

— Почему мы с Рьянно должны ждать, когда неподалеку стоит новый дом, куда мы завтра же можем переселиться? — возмутился Хакс.

— Почему я должен оставаться с вами всю зиму, когда дом, который я построил для себя, пустует?! — выкрикнул Линкири. — Я его построил, и мне надоело ждать.

Капок попытался успокоить их и согласился, что дом не должен пустовать:

— Вот только я не знаю, кому из вас следует отдать его. Когда с нами был Язон, люди получали отдельную хижину,

только когда женились. Он никогда не допускал, чтобы неженатый человек селился отдельно от всех.

— Но до этого никто в одиночку не строил домов, — возразил Линкири.

— Это верно. И вот что я решил. Дом принадлежит Линкири, потому что он построил его своими собственными руками. *Но.* Но было бы несправедливо, если бы он поселился один в огромном доме, когда Рьянно и Хакс хотят пожениться, но не могут, поскольку жить им негде. Поэтому всю эту зиму, пока весной мы не построим им отдельный дом, Рьянно и Хакс будут жить в доме Линкири, а Линкири останется с нами.

Все сказали, что это честное и справедливое решение — все, кроме Линкири, который не сказал ничего.

Рьянно и Хакс пошли в дом Линкири, распахнули маленькие окошечки под самой крышей и дружно прокричали: «Мы женаты!» Вот только новобрачные были вовсе не так счастливы, как могло показаться, потому что знали: на самом деле дом принадлежит не им.

Той же ночью Линкири поджег деревянные стены, после чего криками разбудил Хакса и Рьянно, чтобы они успели выскочить.

— Никто не будет жить в построенном мной доме! — прокричал Линкири и скрылся в лесу. Хаксу и Рьянно пришлось босиком брести по снегу до Первого Дома, и Батта, которая знала, как лечить людей, отрезала два пальца на ноге у Рьянно и один на руке Хакса, чтобы спасти им жизнь.

А Линкири сбежал, украв топор и немного еды.

Сколько протянет человек в заснеженном лесу без крыши над головой и дружеской поддержки? Все были уверены, что Линкири погиб. Хакс кричал, что так ему и надо, потому что из-за него он и Рьянно лишились пальцев. Но Батта ответила: «Палец на ноге — это не человеческая жизнь». Утром она тоже ушла, прихватив котелок, дюжину

картофелин и два одеяла, сотканных из крашенной синькой шерсти.

Теперь Капок действительно испугался. Язон, когда вернется, обязательно спросит: «Ну, как поживают люди, которых я доверил тебе?» А Капоку придется ответить: «Все живы-здоровы, кроме Хакса и Рьянно, которые отморозили пальцы, и Линкири и Батты, которые сбежали и умерли в снегу». Этого он не мог допустить. Пальцы уже не спасти. Но Батте и Линкири еще можно помочь.

Он назначил Сару старшей, хотя она всячески отговаривала его, и, взяв пилу, повесив на плечо моток веревки и забросив за спину котомку с сыром и хлебом, отправился в путь.

— Ты думаешь, что нам будет легче, если ты тоже погибнешь? — спросила его перед уходом Сара, протягивая Циля, чтобы Капок мог с ним попрощаться.

— Лучше уж погибнуть, чем признаться Язону, что я позволил Линкири и Батте умереть.

Три дня скитался Капок по лесу, пока не наткнулся на них. Они поселились в шалашике-мазанке, возведенном на скорую руку у подножия холма.

— Мы поженились, — сказали они, однако по их лицам было видно, как они намерзлись и наголодались. Он поделился с ними сыром и хлебом, вместе они выбрали удобную полянку с подветренной стороны холма, после чего нарубили веток и расчистили снег на одном из участков. Весь день Капок, Линкири и Батта валили деревья и пилили бревна. С пилой дело шло куда быстрее, и через три дня посреди леса вырос дом. Окна отсутствовали, комнатка внутри была совсем крошечной, но ничего лучше в это время года они построить не смогли бы. Зато внутри было достаточно тепло и сухо.

— Этот дом принадлежит не только вам, но и мне тоже, — сказал Капок, когда работа была закончена.

— Верно, — согласилась Батта.

— Я подарю вам свою часть, если ты, Линкири, построишь Хаксу такой же дом, какой сжег. Построить его ты должен сам, в одиночку. Прежде чем начать что-то делать по хозяйству, ты должен обеспечить Хаксу хороший дом.

— Это я смогу сделать только весной, — пожал плечами Линкири. — Работа слишком сложна, чтобы спешить или строить на размокшей от снега земле.

— Хорошо, до весны это подождет.

Затем Капок вернулся домой, и всю ту зиму он, Сара и Циль провели в Первом Доме, с новенькими, а в их доме на другом берегу реки жили Хакс и Рьянно. Каждый день Капоку и Саре приходилось переплывать реку, чтобы позаботиться об овцах, но как бы Хакс и Рьянно ни упрашивали их остаться, Капок неизменно отказывался — раз у Линкири и Батты есть свой дом, значит, и Рьянно с Хаксом должны иметь свою крышу над головой. Сара оценила мудрость поступка Капока и не жаловалась. И снова воцарился мир.

Язон не сказал, когда вернется. Засыпая, Капок каждый раз думал, что завтра Язон обязательно появится. Но наступила весна, поля вспахали и засеяли, затем пришло лето, пора постройки домов... Язон вернулся уже под осень. Было раннее утро, Капок, Псы и Дор, один из прошлогодних новичков, гнали овец на пастбища, что раскинулись к юго-востоку от Небесного Града, среди холмов. Дор, знавший дорогу, шел впереди. Капок держался сзади, подгонял посохом отбившихся от стада животных. Овцы как раз пили из ручейка, когда Капок вдруг заслышал позади себя шаги. Он обернулся и увидел Язона.

— Язон... — прошептал Капок.

Язон улыбнулся и положил руку ему на плечо:

— Я уже видел все, что произошло, все достаточно важное, чтобы остаться в человеческой памяти. Ты молодец, Капок. Спор между Линкири и Хаксом мог уничтожить Небесный Град.

— Я страшно боялся, что сделаю что-то не так.

— Ты все делал правильно. Во всяком случае, никто не мог бы поступить лучше.

— Но я не знал... Я не был уверен в себе.

— Нет такого человека, который был бы до конца уверен в себе. Ты делал то, что тебе казалось правильным. Так поступаем мы все. Так поступил я, назначив тебя старшим. Правильное было решение, для обоих из нас, или ты так не считаешь?

Капок не знал, что ответить, и поэтому сказал:

— Вчера заговорил мой Циль. Он назвал меня по имени. Как будто ты меня позвал, Язон, — малыши, которых делаем мы, не так сильны, как твои Ледяные Люди, но они учатся, растут — вроде как молоденькие ягнята становятся баранами и овцами. Он произнес мое имя.

Язон улыбнулся:

— Собери всех людей на западном конце Первого Поля, под крылом Звездной Башни, через четырнадцать дней. Я приду и приведу новеньких.

— Все будут только рады этому. — И затем: — А сам ты останешься? — «Останься, тогда я снова смогу стать Капоком-пастухом и позабыть о Капоке-старшем».

— Нет, — произнес Язон. — Я не останусь с вами. Разве что на несколько дней, если понадобится — на несколько недель, но не дольше. Однако каждый год я буду приходить в один и тот же день. По крайней мере так будет продолжаться еще несколько лет. И я буду приводить новеньких.

— Я что, вечно буду старшим? — спросил Капок.

— Нет, Капок. Пройдет несколько лет, и наступит время, когда я заберу тебя с собой в Звездную Башню и назначу старшим кого-нибудь другого. Человека, который будет всячески отказываться от этой работы. Я заберу тебя с собой, а затем, в один прекрасный день, приведу обратно. Ты ни капли не постареешь, и тебе будет дана возможность увидеть, как изменился мир за то время, пока ты Спал.

— Я снова стану Льдом?

— Ты снова станешь Льдом, — подтвердил Язон.

— А Сара? А Циль?

— Если они заслужат этого.

— Обязательно. Сара и Циль тоже... Я сделаю все возможное, чтобы Циль...

— Ну, ладно. Овцы ждут. И Дор будет гадать, кто я. Не думаю, чтобы он меня помнил.

— Четырнадцать дней, — повторил Капок. — Они будут там, все соберутся. Теперь у нас девять домов, родились четыре ребенка, и пять женщин ходят с животами. Сара снова носит ребенка, она одна из них...

— Я знаю, — мягко сказал Язон. — Прощай.

Он ушел, оставив Капока с овцами, собаками и Дором.

Глаза Дора горели.

— Это ведь был Язон, да? — спросил он. — Он говорил с тобой.

Капок кивнул:

— Давай поведем овец на холмы, Дор.

И всю дорогу Капок рассказывал ему о Язоне.

Лэрд писал эту историю, сидя в постели и облокотившись на подушки. Пергамент был расстелен на доске перед ним. Все в доме заметили, как он пишет, а женщины даже попросили прочесть написанное вслух. Язон в этой истории практически не участвовал, поэтому она никак не могла навредить ему, и Лэрд уступил просьбам.

Задолго до конца мнения присутствующих разделились — кто выступал на стороне Хакса, а кто говорил, что прав был Линкири.

Когда Лэрд наконец дочитал, Сала спросила:

— А почему Капок лишился дома? Ведь он и Сара все делали правильно.

— Если любишь людей, — ответила за Лэрда мать, — то идешь на все, чтобы сделать их счастливыми.

«Если это действительно так, — подумал Лэрд, — почему Юстиция и другие дети Язона больше не защищают нас, как это было раньше?»

Вскоре из хлева вернулся отец — он кормил и поил животных. Ему также пересказали историю и задали вопрос Салы.

— Он заплатил цену, — ответил отец. — Кто-то должен платить. — Затем он повернулся к Лэрду: — Как только погода прояснится, перетащим в деревню деревья, которые ты отметил. Без тебя мы их вряд ли найдем.

— Ни в коем случае, — запротестовала мать. — Он же еще болен.

— Я не подведу, — кивнул Лэрд.

Глава 8

НА ПУТИ ДОМОЙ

Они вышли, едва забрезжил рассвет, — двадцать два мужчины с одиннадцатью парами лошадей, тянущих дровни. Впереди шел Лэрд: в этом году, впервые с тех пор как он начал метить деревья, его признали равным. Он отметил сорок четыре дерева, по четыре на упряжку лошадей. Бок о бок с ним, в головном отряде, ехал отец.

Впереди показались отмеченные Лэрдом деревья. У каждого четвертого по счету дерева оставалось по двое мужчин с топорами и пилами. Они повалят его, оттащат к третьему дереву, повалят его, перейдут ко второму, потом — к первому, а там и домой. Самые опытные лесники и самые выносливые лошади шли последними — они заходили дальше всех.

В этом году строй замыкали Лэрд и отец. Они оба заслужили эту честь.

К заходу, когда пришлось разбивать лагерь, от двадцати двух человек осталось всего шестеро. На дровнях лежали заранее заготовленные шесты и мазаные стены для шалашей — чтобы сделать маленькое стойло для лошадей и хижину-времянку для людей. На постройку всего этого потребовалось лишь полчаса — подобные мазанки они строили каждый год, а летом тренировались на поле.

— Ну что, гордишься собой? — поинтересовался Язон. — О, извини, я напугал тебя?

Лэрд стряхнул с себя мерзлые листья и снег.

— Ты-то не знаешь, что это такое, испугаться. Тебя, наверное, никто никогда не пугал.

— Ошибаешься.

— А с чего это я должен гордиться собой?

— Ну, всю дорогу ты ехал впереди всех. А потом именно ты нашел то мачтовое дерево, что уже начало крениться. Все согласились с твоим мнением, что срубить его стоит в этом году, а не ждать следующего — все считают эту находку самой стоящей, в низовьях реки это дерево можно хорошо продать. В общем, ты был на высоте.

— Кончай смеяться.

— Я не смеюсь. Ты честно заслужил похвалы. Примерно то же самое я ощущал, когда впервые сел за пульт управления крейсером. Ритуалы перехода. Я прожил много лет, но до сих пор, глядя на юношей, которые с гордостью принимают ответственность мужчины и не понимают еще, что в сторонке стоять куда лучше, я испытываю искреннюю любовь. Это лучшие дни в твоей жизни.

— Были, — уточнил Лэрд. — Пока ты не объяснил что к чему.

— Хочешь покажу, как ты выглядишь со стороны?

— Что ты имеешь в виду?

В следующее мгновение он вдруг увидел себя таким, каким видел его Язон незадолго до привала. С серьезным, нарочито хмурым видом он разговаривал с мужчинами из отряда. Только сейчас Лэрд заметил, как они прячут улыбки. Улыбки добродушные, веселые — но, как и прежде, покровительственные. Он по-прежнему был мальчиком, хоть и притворялся, что стал мужчиной. Когда видение исчезло, он ощутил глубокий стыд. Отвернувшись от Язона, Лэрд побрел наугад в сгустившуюся тьму.

— Мне казалось, ты уже достаточно набродился по сугробам, — окликнул его Язон.

— Ты и Юстиция! Эти ваши видения! Вы себя-то со стороны видели?

— Не раз и не два, — ответил Язон, шагая за ним.

— Чего ты добивался? Хотел пристыдить меня?

— Взгляни-ка еще раз.

— Нет.

Но протестовать было бессмысленно. Снова наплыло видение, только на этот раз поданное с точки зрения Лэрда. Он ехал впереди всех, разговаривал с отцом, объяснял свой выбор деревьев внимательно слушающим мужчинам. Однако теперь картина омрачалась горечью и стыдом, охватившими его. Он снова почувствовал, как накатила волна счастья. Но самому себе он казался самодовольным глупцом, поэтому видение разозлило его еще больше.

— Хватит! — крикнул он.

— Лэрд! — донесся из маячившего в отдалении лагеря голос отца. — Что-нибудь случилось?

— Нет, папа! — откликнулся Лэрд.

— Тогда возвращайся. Уже темнеет, если ты вдруг не заметил!

Лэрд не мог ответить, потому что Юстиция снова послала ему видение. Те же самые воспоминания о том же самом дне, только исходящие не от Язона, и не от Лэрда, а

от его отца. Весь день отец внимательно следил за Лэрдом, видел, какие глупости он говорит, — но он помнил юношу еще совсем ребенком, помнил и день, похожий на этот. Он помнил мальчика, который обмороженными пальцами цеплялся за кусок речного льда, — ради чести, или веры, или мужества. Любовь и восхищение, испытываемые им, были настолько сильны, что, когда видение наконец угасло, у Лэрда в глазах стояли слезы. Он еще не был отцом, но помнил, что это такое, и душа его тосковала по тому маленькому мальчику, который ушел навсегда, которого он никогда не мог обнять, который был им самим.

— Что вы творите со мной? — прошептал он.

Над головой треснула ветка, на них посыпался снег.

— А теперь последний раз, — ответил Язон.

Те же самые сцены. Только на этот раз он увидел себя четче, ярче. Он уже не верил в счастье, но и горечь не омрачала видения. Он увидел себя как бы с расстояния многих лет. Он увидел себя молодым, но не разозлился на свою глупость. Он явился свидетелем своему счастью, но вовсе не жаждал испытать тот же восторг. Боль, которую он испытал, открыв собственную глупость, запомнилась навсегда. Он смотрел на себя скорее так, как смотрел на него отец: видел мальчика, идущего по тропе лет, еще не совсем расставшегося с детством — и вступившего во взросление. И это сочетание нелепой радости, стыда и любви означало нечто очень важное. До этого момента воспоминания не значили ничего. Но сегодняшние видения нашли отзвук в самых потаенных струнах его души. Но понять, почему же именно этот день так важен, Лэрд все еще не мог.

Язон наклонился к нему и полуобнял за плечи.

— До этого ты был счастлив?

— До чего именно?

— До того как мы показали, как все обстоит на самом деле?

— Да, я был счастлив. — И воспоминания об этом счастье почему-то показались сильнее, чем оно само.

— А что потом?

— Злость. Стыд. — Может, это боль настолько усилила радость? В этом, что ли, заключается урок Язона? Во всяком случае, особой благодарности Лэрд не испытывал. Ему не нравилось, когда Язон начинал кроить его по-своему, обтачивать, как рукоятку топора.

— Ну, Лэрд, а сейчас ты что ощущаешь? — спросил Язон.

«Я истекал кровью, а ты воспользовался этим, ткнул ножом прямо в рану, чтобы преподать мне урок. Если так поступают все боги, лучше бы их не было вообще».

— Я видеть тебя не хочу. — С этими словами он бросился бегом к горящему посреди лагеря костру.

Но тут же в его мыслях зазвучал успокаивающий голос Язона:

«Радость, Лэрд. То, что ты сейчас чувствуешь, зовется радостью. Счастье, боль и любовь. Все вместе. Запомни это».

«Убирайся из моего разума!» — выкрикнул про себя Лэрд.

Ночью он никак не мог заснуть, все вспоминая и вспоминая эту сцену.

— Лэрд, — позвал отец, лежащий рядом. — Сегодня мы так тобой гордились, все мы.

Лэрд не желал, чтобы ему лгали, тем более что теперь он знал правду.

— Все смеялись надо мной.

Отец ответил не сразу:

— Да, смеялись. Любя. Ты им нравишься. — Долгое молчание. — Я не смеялся.

— Я выбрал правильные деревья.

— Да, Лэрд.

— Тогда почему они смеялись?

— Потому что ты страшно гордился тем, что едешь во главе всех. Когда-то все так ехали.

— Они смеялись, потому что я хорохорился, как петух посреди курятника.

— Было дело, — кивнул отец. — Но кто ты такой, Господь Бог? На тебя надо всегда смотреть с почтением?

Слова прозвучали как-то грубо, жестко, однако ладонь отца, опустившаяся на его руку, была тепла и нежна.

— Как я уже сказал, Ларелед, сегодня я гордился тобой.

Лэрд почувствовал горящий взгляд голубых глаз Язона. «Я говорю с отцом, Язон. Я что, не могу побыть с ним наедине?» Он ощутил невесомое присутствие Юстиции, которая вот-вот должна была набросить вуаль сна на его глаза, чтобы потом послать тщательно отобранное видение. «Все время ты посылаешь мне свои истории, Юстиция, я, наверное, уже разучился сам видеть сны».

«Кто ты, Язон? Бог — вот кто ты. То скрываешься в своем звездном корабле, то возвращаешься — и никогда не стареешь, тогда как твои люди проживают жизни и умирают. Те избранные, которых ты взял с собой, тоже перешагнули время и остались молодыми. Капока ты забрал, даже сын его не успел вырасти; Сара тоже вскоре оставила своих малышей. Ты оказал им великую честь, отрезав от всего того, что они любили. Они боготворили тебя, Язон Вортинг, и что получили взамен? Любой может солгать детям, чтобы завоевать их любовь. Так случилось и со мной».

«Ага, — прошептала Юстиция. — Так тебе их вера в Язона не нравится. Ты выбираешь сомнение. Ты предпочитаешь тех, кто знает, кто такой Язон на самом деле».

Лэрд сразу вспомнил сомеккассету, которая уцелела. Гэрол Стипок. Единственный человек, который помнил Капитолий, который знал, что Джаз Вортинг — обыкновенный смертный. Человек, который когда-то пытался доказать это. «Неужели ты вернул ему память?»

Что можно сделать с прошлым человека? Язон взвешивал на руке сомеккассету с памятью Стипока. Прошлое Сти-

пока находилось у него в руках, а разгоряченное от сомека тело, тело последнего из колонистов, ждало своей очереди, чтобы быть разбуженным.

«До того как ракета раскроила этот корабль, я был полон планов на будущее, будущее, в котором должен был управлять тремястами жаждущими моей смерти людей. Я помню, у меня были какие-то идеи на этот счет. Не позволять им столковаться, поссорить друг с другом, чтобы они начали искать поддержку и стабильность во мне. Мне не пришлось воплотить эти планы в жизнь. Теперь, вместо того чтобы постоянно жалить, волновать их, я поддерживаю мир. Я выбрал лучших, мудрейших. Несколько лет они были старшими, после чего я привел их сюда, чтобы сохранить до лучших времен. Я не просил их называть меня Богом, но та честь, которую я оказал своим избранникам, забрав их на корабль, поддерживает в Небесном Граде мир и порядок. Вот уже шестьдесят лет царит в нем покой».

Загнивающая стабильность.

Он подкинул кассету в воздух, ловко поймал ее. «Стипок не относился к числу ярых ненавистников. Он не искал моей крови, просто хотел того же, чего и Дун: конца игры. Стипок был из тех, кто не верил. В детстве ему досталось слишком много религии. Даже нарочно я не мог бы создать общества, которое бы уязвило его сильнее, чем это, — их наивная вера, их благоговение к властям сразу подтолкнет его к мятежу. «Почему вы повинуетесь старшему?» — спросит он. «Потому что Язона нет», — ответят они. «Отлично, но почему вы повинуетесь Язону?» — спросит он. «Потому что он был первым. Потому что он создал нас. Потому что все повинуется Язону».

Что ты скажешь им, Стипок? Научишь ли их жить так, как жил Капитолий? Расскажешь им о планетах и звездах, о свете и гравитации? Нет, ты вовсе не так глуп, чтобы думать, будто сможешь из полной безграмотности создать

научную элиту. Ты увидишь быков, деревянные плуги, медь и жесть, увидишь веру в Язона и мирное доверие назначенному Язоном старшему. С ними ты будешь не о физике говорить.

Темой твоих бесед станет революция.

Трижды дурак я буду, если верну тебе память. А так появится еще один новенький, еще один взрослый младенец, последний, — и ты будешь верить в меня так же искренне, как верил в созданного родителями бога, пока не настала пора расставания с иллюзиями. Только *я* не разочарую тебя. Я то, о чем ты мечтал всю жизнь, — человек, в которого ты можешь уверовать. Я знаю сокровенные мысли, идущие от самого твоего сердца. Никогда не старею. Прихожу и ухожу, когда захочу. В своем замке создаю людей. На любой твой вопрос могу ответить, и ты никогда не узнаешь, правду я сказал или нет. Я бог, который никогда не изведает горечи падения.

Но если ты вновь обретешь память, мы станем врагами; ты — тот, кого я страшусь больше всего на свете. В тебе нет злобы, нет жажды власти, ты не стремишься переманить к себе веру моего народа — ты лютый враг самой веры. Ты разоблачишь те сказки, которым верят, перетолкуешь все, что происходит. Они ждут тебя, ведь такие, как ты, желанные гости в любом мире: молодые, затаившие обиду почти-мужчины и почти-женщины жаждут занять место своих родителей. Выбери наугад любую культуру из тех, чья история содержится в моем компьютере, — и она будет нести в себе подобные катализаторы. Ни одно общество не может застыть в своем развитии, потому что молодежь должна *изменять* порядок вещей, демонстрировать, что им есть зачем жить. Они ждут, когда ты придешь и скажешь, что им не во что верить».

Язон сжал в ладонях кассетостиратель. «Я сотру тебя, ты будешь мой. Никто не узнает об этом, а жизнь в Небесном Граде станет только лучше».

Но он не стер кассету. Как будто против собственной воли он поднялся и направился к прозрачному гробу, в котором лежал Стипок. В руках он держал память Стипока, его детство.

Он пытался понять, зачем же он делает это. Честность, вбитое в голову представление, что прошлое у человека красть нехорошо? Все просто, когда это происходит по воле случая, все легко, когда это решает воровка-судьба... Но делать это самому — это значит убить, ведь верно?

Но ему же приходилось убивать и раньше. Он пребывал в разуме человека, которого мгновение спустя должны были отбросить в слепящую бездну смерти выпущенные им ракеты. Знай он, что его народу будет от этого только лучше, Язон бы не колеблясь уничтожил кассету. И никакие моральные устои не помешали бы ему, будь это во благо его детей.

Его дети. Ради них он вложил кассету в приемник и запустил механизмы, возвращающие тело Стипока обратно к жизни. Язон не представлял, что из этого получится. Может быть, он поступил так потому, что сейчас его народу требовалось не мирное существование, а война. Может быть, им сейчас полезнее будет ощутить вкус зла. Кто-то должен разрушить построенное им стабильное общество, точно так же как Дун разрушил Капитолий. Единственная беда заключалась в том, что он так и не узнал, чем же закончилась поднятая Дуном революция.

«Кто сейчас старший? Нойок? Бедняга Хоп, ну и натворил я делов, вовек не разгребешь. Я привел восстание в твой город. Привел его в твой собственный дом». Ситуация складывалась не из приятных. Нойок уже второй срок становился старшим — мэром; до этого Спал он сорок лет. Физический возраст Нойока был всего тридцать с лишним, а сын его, Эйвен, почти поседел, перевалив через пятый десяток. Эйвен наверняка уже догадался, что Язон не возьмет

его в башню. Да и как бы он мог? Эйвен отличался упрямством и мстительностью, такого человека нельзя было допускать к власти. И теперь Эйвен вымещал злобу на Хуме, своем младшем сыне, управляя им с такой же жестокостью, с какой правил бы городом, представься ему такая возможность. Снова и снова он доказывал, что Язон был тысячу раз прав, когда отказал ему. Вот Хум — совсем другое дело. В нем переродился Нойок, у него были огромные способности — если только пора взросления не разрушит его.

В прошлом году, осознав всю остроту ситуации, Язон стал подумывать насчет того, чтобы забрать Хума из дома Эйвена. Однако благо общества превыше блага отдельного человека; если он вмешается в семейные дела — сейчас, когда на планете появилось уже третье поколение колонистов, — эхо этого поступка разнесется по всей истории. За мирное существование Небесного Града надо платить — и платить пришлось Хуму. Жестокая необходимость.

«Так почему же я выпускаю Стипока, если важнее всего общее дело, а не судьба индивидуума? — Язон снова заколебался, держа руку на кнопке, которая переводила пробуждение в последнюю фазу. — Как я смею так поступать, когда сам не знаю, зачем это делаю?»

Но он понимал, что просто должен это сделать — положившись на слепое предчувствие. Он мог увидеть все тайны любого разума — но не своего собственного. Здесь он был бессилен. По какой-то неведомой причине, быть может, из любви к народу, населяющему его город, он должен выпустить Стипока и предоставить ему делать то, что он неизбежно и сделает.

Он нажал кнопку и, прислонившись к стене, стал ждать пробуждения Гэрола Стипока. Теперь, когда он решился вернуть Стипоку воспоминания, надо найти способ объяснить ему, почему колония стала такой, какая она есть, и почему он разбудил его только спустя шестьдесят лет.

* * *

Лодка причалила к берегу перед самым рассветом. На Стипоке была одна набедренная повязка, с него капала вода, и он дрожал от холода. Остальные смеялись над ним, но смех этот был радостно-возбужденным: они любили его и искренне восхищались тем, что было проделано этим утром. Купание в огромном внутреннем озере Сектора ее3Л стало в некотором роде хобби Стипока; каждый раз, погружаясь в воду, он испытывал огромное удовольствие, хоть река была грязной от ила. Хотя удовольствие доставляло ему вовсе не купание и не плавание на лодке. Дело в том, что он был *первым:* ни одна лодка не бороздила воды этого мира, никогда эти дети не видели, как человек плавает.

— Ты непременно должен научить нас! — требовательно заявила Дильна. — Прежде чем я еще раз сяду в эту кастрюлю, я хочу научиться плавать!

— Ну, если я выкрою время между постройкой дорог, вырубкой кустов и ответами на ваши постоянные идиотские *вопросы*... — начал было Стипок.

— Даже если б мы и не задавали вопросов, ты бы все равно только и делал, что говорил, — рассмеялся Викс. — Дар говорить у тебя от природы, Стипок.

— Да, только по-настоящему слушает меня один Хум.

Хум улыбнулся, но ничего не сказал. Просто опустился на землю рядом с лодкой и коснулся дерева, которое он собственноручно обработал и выточил в точности так, как велел Стипок. Мало плотников могли посоревноваться с Хумом в искусстве работы с деревом. Хоть он и делал все медленно, зато лодка держала воду не хуже бочонка, даже не требовалось смолить ее. Стипок было подумывал начать с каноэ, но на нем легко можно перевернуться, а плавать молодежь не умела. Не помоги ему Хум, сам бы он ни в жизнь не справился.

— Ну, — сказала Дильна, — и когда мы устроим демонстрацию?

— Сегодня, — ответил Викс. — Прямо сейчас. Созовем весь Небесный Град, пускай все полюбуются, как мы катаемся по воде, словно щепки.

Дильна толкнула лодку носком:

— А что, щепка, она и есть щепка.

Она улыбнулась Хуму, чтобы показать, что ничего обидного не имела в виду. Он улыбнулся в ответ. Стипоку нравилось наблюдать за этой влюбленной парочкой. Именно поэтому он предпочитал общаться большей частью с подростками — все для них было в первый раз, все в новинку, в диковинку, они были достаточно юны, чтобы верить в будущее. Никто их не вырывал из привычной жизни, не запихивал насильно в судно с колонистами, не засылал на край вселенной в компании пилота, одержимого навязчивой идеей стать Господом Богом.

— Я думаю, с этим стоит обождать, — сказал Стипок. — Сегодня утром я встречаюсь с Нойоком. Вот и поговорю с ним. Кроме того, мало просто проплыть по воде. Мы должны сплавать *куда-то*. К примеру, на другой берег. *И твой* отец поплывет с нами, Хум.

Почему Хум вдруг так встревожился?

— Лучше не надо, — пробормотал он.

— Только представьте себе — бесконечные пастбища, уходящие за горизонт... Да там миллионные стада могут пастись.

— Миллионные, — повторила Дильна. — Что мне больше всего в тебе нравится, Стипок, так это то, что ты умеешь думать о мелочах. — Как обычно, именно Дильна вернула всех к действительности. — Пора домой. Уже утро, нас искать будут.

Стипок ушел первым, вместе с Виксом, потому что видел — Хум хочет немного задержаться, чтобы побыть с Дильной наедине. Викс попрощался с ним сразу за холмом Нойока, направившись дальше в город. Стипок же свернул на пыльную дорогу, ведущую к дому, где жил мэр Нойок.

Стипок с трудом воспринимал мэра всерьез. Он слишком часто сталкивался с ним раньше, еще на Капитолии. Там он был пронырливым, хитрющим агентом Джаза Вортинга; ни одни петленовости не проходили без его участия, как будто частые появления в петлях могли превратить его из слизняка в настоящего мужчину. Здесь, конечно, все изменилось. Хоп Нойок никогда не был лизоблюдом и паразитом — во всяком случае, Стипок этого за ним не замечал. Стипок видел огромную дыру в боку судна, поврежденные камеры, искореженные обломки кассет. И понял, что это означает, — каждый начинал жизнь заново, возвращаясь в мир, ничего о нем не зная.

Хотя нет, не так уж и ничего. Язон присутствовал в каждом доме колонии, разум Язона довлел над всем Небесным Градом. Джаз Вортинг, звездный пилот, наконец-то получил то, чего добивался всю жизнь: абсолютное обожествление отсталыми крестьянами. Он даже не пытался открыть им достижения человеческого разума. Даже не рассказал, что такое вселенная. Лишь создал какую-то религию мумбо-юмбо, пойдя по стопам древних императоров, которые всячески убеждали народ в своей божественности. Только у Язона все было продумано. Он мог творить чудеса. Один Стипок знал, что вечно молодым он остается исключительно благодаря сомеку, что его мудрость зиждется на поверхностном образовании, полученном в средней школе Капитолия, что чудеса на самом деле совершают машины, спрятанные в Звездной Башне... «Какая, к дьяволу, Звездная Башня?! Надо же, и меня этим заразили! Это ж колонистский корабль, обыкновенный звездолет».

Стипок догадывался, что Язон припас для него. Язон вернул ему память и позволил уйти в колонию. Поступить так он мог только по одной причине: эгоманьяк Джаз Вортинг страдал от отсутствия аудитории, он хотел, чтобы и люди Капитолия продолжали восхищаться им. Стипок был

единственным зрителем, который мог оценить все и поаплодировать ему. «Черта с два ты добьешься от меня аплодисментов, — презрительно буркнул он себе под нос. — Всю жизнь я посвятил свержению таких напыщенных, догматичных, самодовольных тиранов, как ты. Так вот, я продолжу дело своей жизни. Я скину тебя с трона, и поможет мне в этом самое верное орудие — правда. Против нее Джаз Вортинг — Повелитель Вселенной не устоит».

Стипок не был наивен. Он понимал, против чего восстает. Шестьдесят лет лживых чудес Язона, шестьдесят лет его власти создали мощную, крепкую теократию во главе с мэром, который, как архангел, стоял у древа жизни на страже интересов Язона. «Язон по-прежнему обладает властью правителей Капитолия: в его руках сомек, и если он пожелает, то без труда оставит меня далеко позади и, прихватив своих приспешников, устремится по времени, как камешек по поверхности воды». Но пока Язон Спит, Стипок может слегка подпортить ему удовольствие. «Я распущу сотканное тобой покрывальце, Язон. Я уничтожу его еще до того, как ты проснешься. В моем распоряжении три года — по крайней мере так ты мне говорил, — прежде чем ты снова вернешься. Посмотрим, успею ли я».

Язон, сам того не желая, дал ему в руки мощное оружие. Стипок был последним новеньким, Язон позволил ему самому выйти из корабля, оставил ему знания и словарный запас, намного превышающий словарный запас любого жителя колонии, кроме самого Язона, — и часть божественной ауры Вортинга передалась Стипоку. Даже самые преданные из числа поклоняющихся Язону не осмеливались в открытую спорить со Стипоком — так велик был его престиж. Это развязало ему руки.

Так обстояли дела до недавнего времени. Но Нойок вызвал его сегодня неспроста — наверняка хочет попробовать заткнуть ему рот. «Что ж, Нойок, попробуй. Но я уже успел

пробудить несколько умов, так что власть твоя пошатнулась, и любое наказание, которое ты попытаешься наложить на меня, только укрепит мою репутацию мученика в глазах тех, кто осознал отсталость Небесного Града. Я вытащил юнцов на воду и научил их плавать. Реки им больше не преграда, чтобы бежать из этого гиблого места».

И все же сердце Стипока тревожно сжималось, когда он стучал в двери дома Нойока. Нойок был не просто порождением власти Язона. Влиянием он пользовался не только потому, что сидел в кресле мэра. Нойок и прежде был мэром, семь лет он правил городом и за это время успел сделать многое, изменив и исправив жизненный уклад Небесного Града. Он основал деревеньки во многих милях от города; именно он поделил землю между семьями, чтобы каждый трудился над собственным участком — общественные работы теперь сводились к прокладыванию дорог, заготовке дров на зиму и жатве. В результате колония расцвела, и сейчас, став мэром снова, Нойок, как и прежде, был полон энергии. Он был хорошим вождем, ему доверяли и верили все, чьим доверием и верой стоило заручиться. Включая Стипока. Хоть Стипок и презирал его как агента Джаза, но он не мог не признать всех достоинств Нойока. К сожалению, достойные деспоты — самые худшие: очень трудно убедить людей, что такого человека нужно и должно скинуть.

Дверь отворилась. Его встречал Эйвен, сын Нойока. Приветствовал Стипока он весьма холодно:

— Заходи.

— Спасибо, Эйвен. Как дела?

— У тебя волосы мокрые, — заметил Эйвен.

— Я плавал, — ответил Стипок.

Секунду Эйвен внимательно изучал его:

— Так, значит, ты все-таки построил свою лодку?

— Из меня никудышный плотник, — покачал головой Стипок. И сразу пожалел о сказанном, потому что тем са-

мым с головой выдал сына Эйвена. В Небесном Граде не было плотника, способного сравниться с Хумом. По гневу, отразившемуся на лице Эйвена, Стипок понял, что Хум соврал, когда сказал, что отец не возражает. Этот человек способен и убить в гневе.

— Только потому, что этот дом строил мой отец, — прошипел Эйвен, — еще до того как Язон взял его к себе в Звездную Башню, я позволил ему занять две верхние комнаты под общественные нужды. Это означает, что теперь я должен впускать в дом всякое отребье. И смотри, не забудь — кабинет мэра прямо по лестнице, на втором этаже, не ошибись, случаем.

— Спасибо, у меня тоже все отлично, — вежливо раскланялся Стипок. Бодро помахав рукой, он направился к лестнице. Хум был прав — уж лучше столкнуться с лесным секачом, чем с его папашкой.

Дверь кабинета Нойока была открыта. Сам мэр склонился над столом, что-то выводя на куске овечьей шкуры. Стипок подумывал о постройке небольшой бумажной фабрики, из старых тряпок и древесной пульпы можно было делать приличную бумагу, однако местные жители не слишком-то и нуждались в этом усовершенствовании. У всех хватало дел и без того, чтобы заниматься подобной ерундой. И все же стоит научить кого-нибудь. Пергамент примитивен, кроме того, ради одного куска убивать животное...

— А, Стипок. — Нойок поднял голову. — Давно стоишь? Окликнул бы, что ли...

— Ничего. Я просто задумался.

Нойок провел его в комнату. Стипок мельком взглянул на закорючки на пергаменте.

— История, — опередил его вопрос Нойок. — Каждый месяц несколько дней я посвящаю тому, чтобы записать самые важные события, произошедшие в городе.

— С твоей точки зрения самые важные.

— Ну да, в принципе. Как я могу записывать то, что показалось важным *тебе?* Я — не ты. Язон давным-давно установил порядок — любой, кто захочет, может писать историю. И некоторые из горожан с охотой взялись за это. Всегда интересно сравнить разные точки зрения. Как будто мы живем на разных мирах. Но мэр, как правило, больше знает о том, что происходит. Кроме того, любые важные события рано или поздно выливаются в проблему, а проблемы в конце концов всегда решает мэр. Так было со времен Капока.

— Но есть кое-что такое, о чем даже тебе неизвестно.

— Я знаю больше, чем ты думаешь, — охладил его пыл Нойок. — К примеру, мне известно о твоих беседах с молодежью. Ты говорил, что не Язон должен выбирать мэра, а сам народ.

— Да, я так говорил.

— Я много думал об этом. И мне пришло в голову, что если бы мы так поступали, то всегда выбирали бы наиболее симпатичного всем человека. Но вся беда в том, что мэр вынужден принимать множество решений, которые вообще никому не нравятся. Кому захочется такого мэра? Таким образом, нам придется либо постоянно менять мэров, либо выбирать того, кто будет бездарно управлять, зато никого не обидит. А теперь, прежде чем ты ввяжешься со мной в спор, Стипок, позволь мне объяснить, что высказанные мной мысли относятся к данному моменту времени. Так что, может быть, ты будешь так добр и подумаешь над моими словами по крайней мере столько же, сколько я думаю над твоими идеями, прежде чем попытаться дать ответ, а?

Нойок улыбнулся, и Стипок невольно улыбнулся в ответ.

— Знаешь, а ты умный, ублюдок.

Нойок поднял бровь:

— Ублюдок? Послушай, может, вы с Язоном составите список всех неизвестных нам слов, и мы их выучим?

— Лучше не надо. Большинство из них и знать не стоит.

Нойок откинулся на спинку кресла.

— Стипок, я с огромным интересом следил за твоими успехами. Вот уже полгода, как ты присоединился к нам. Ты исправно исполнял любое порученное тебе задание. Никто не может назвать тебя лентяем, а уж дураком — тем более. Однако почему-то на тебя все жалуются и жалуются. В основном люди старшего поколения. Их беспокоит то, чему ты учишь их детей.

— Учу и дальше буду учить, — заявил Стипок.

— А я тебе и не запрещаю, — пожал плечами Нойок.

— Не запрещаешь? — удивленно переспросил Стипок.

— Нет. Я просто хочу узаконить твои уроки. Тогда жалобы сразу прекратятся. Я хочу, чтобы ты стал учителем, чтобы ты постоянно учил детей, точно так же, как Равви постоянно пасет овец, а Эйвен — коров. Я все рассчитал: мы выделим тебе участок земли и поручим твоим ученикам возделывать его. За знания они будут платить тебе трудом.

Стипок был ошеломлен и поставлен в тупик этим предложением.

— Ты *хочешь,* чтобы я учил их? Ты хоть имеешь представление, о чем я с ними говорю?

— О да. Ты рассказываешь им, что мир — это вращающийся вокруг своей оси шар, а солнце — звезда. Ты объясняешь, что все болезни происходят от крошечных, невидимых глазу животных, что именно в мозге содержится человеческий разум, а твоя история насчет того, что, кроме Язона, еще многие умели гонять по небу Звездные Башни, подвигла наших детей на очень интересные размышления по поводу того, какими могут быть другие миры, — тем более ты столько говорил о творящихся там чудесах. Пользы от этого никакой, я понимаю, но я не боюсь, что дети начнут думать о том, о чем никто прежде не думал. Мне кажется, это больше воодушевит их, чем охладит. Но вовсе не поэтому я хочу, чтобы ты стал нашим учителем.

— Так почему же?

— Твои знания помогут решить массу проблем. Ты говорил о движимой водой мельнице, чтобы молоть зерно, — я хочу построить такую и хочу, чтобы ты научил кого-то из детей основным принципам ее действия. Так мы сможем молоть больше муки. Ты говорил о лодках, в которые вообще не проникает вода. На них мы могли бы переплыть через Великую реку и добраться до океана.

— Так ты знаешь о существовании океана?

— Конечно.

— А молодежь — нет.

— Те из нас, кто был в Звездной Башне... Язон показывал нам карты этого мира, объяснял, где равнины, где леса, где металлы прячутся под землей, где текут огромные реки, где раскинулись моря. Он продемонстрировал нам компьютер и картинки, которые он рисует в воздухе, показал те камеры, где Спят Ледяные Люди. По сути дела, он и тебя мне показал, предупредив, что на этот раз ты будешь разбужен.

— Но этими знаниями ты ни с кем не делишься.

— В этом нет нужды.

— Но... они даже не знают, какой формы и каких размеров тот мир, на котором они живут.

— Если меня спросят, я расскажу. Только никто не спрашивает.

— А с чего это им спрашивать? Никто даже не подозревает, что тебе все известно.

— Но ты-то не делаешь из своих знаний тайны, а это сейчас самое главное. Построй лодки, Стипок, и перевези детей, которые так восхищаются тобой, на другой берег реки. Я помогу тебе — остановлю встревоженных родителей. Построй новую деревню, там, за рекой, через которую смогут переправиться только твои ученики, и дай этим ребятишкам возможность повзрослеть вне досягаемости родителей, которые только и делают, что дышат им в затылок.

Такого поворота событий Стипок никак не ожидал. Он думал, что ему устроят выволочку; он шел сюда, настроенный на битву.

— Нойок, ты что, не понимаешь, как это отразится на твоем положении?!

Нойок мрачно кивнул:

— Я все прекрасно понимаю. Но Небесный Град разрастается. Язон посоветовал мне разделить его: поделить между лучшими из лучших. Воринна я назначил ответственным за дороги, и он отлично с этим справляется. Юная Дильна растет мастерицей по работе с металлами, всем известно, что в этом деле ей нет равных. Поритил отвечает за сбор и хранение урожая...

— И тоже отлично справляется. Но я даже не представлял себе, что эти люди новички в своем деле. Я-то думал, это Язон все распределил.

— Он подал идею. Я всего лишь претворил ее в жизнь. Но ты... он так и не сказал мне, что делать с тобой.

— Но ты же говорил, он предупредил тебя.

— Да, я знал, что молодежь последует за тобой. Но никогда не мешал и не буду мешать тебе, если только...

— Если только что?

— Если только вы не нарушите мир и закон Небесного Града.

— И что это значит?

— Это значит, Стипок, что, перевезя детей на другой берег реки, ты не должен будешь учить их попирать законы. О жизни Ледяных Людей мне известно куда больше, чем ты думаешь. Язон рассказывал нам, как они забыли про брачные узы и совокуплялись, где придется и когда придется, как они убивали своих детей...

— Вижу, неприглядную картинку он тебе нарисовал...

— Мы нуждаемся в наших сыновьях и дочерях, Стипок. Я был здесь, когда население этого города составляло всего

пятнадцать человек, не считая Язона. Я был здесь, когда родились первые малыши. Вскоре наше число превысит тысячу. Теперь настоящий мастер целые дни может проводить в кузне или за ткацким станком и не отвлекаться от любимого дела ради того, чтобы вырывать сорняки на полях или гонять овец. Теперь мы свободны следовать своим устремлениям. Нам не нужно два, три, четыре отдельных города, каждый из которых будет стараться исключительно ради себя, тогда как трудное дело может быть выполнено общими усилиями. Для этого нас слишком мало. Да и Язон еще кое о чем меня предупредил.

— О чем же? — Стипок подозревал, что речь пойдет именно о нем самом.

— О войне. Тебе известно это слово?

Стипок хмуро усмехнулся:

— Именно ею в основном Язон и занимался.

— Ближе всего мы подошли к ней, когда сгорел дом, давно еще, в первый год правления Капока. Язон рассказал мне, что такое война. И я верю ему.

— Я тоже.

— И семена ее уже посеяны, Стипок. Семена войны прорастают в этом самом доме. Мой внук Хум ненавидит своего отца, а мой сын Эйвен делает все возможное, чтобы еще больше распалить ненависть мальчика. Проверь наших детей, Стипок. Отбери лучших из них. Не таких вспыльчивых дураков, как Биллин. Возьми, к примеру, Корен, хотя она любит подлизываться. Может, Викс тебе подойдет — он спокоен, не срывается по каждому поводу. Возьми того же Хума, хотя я боюсь, он слишком проникся горечью и видел в жизни чересчур мало любви. Прежде чем ты повезешь детей за реку, зайди ко мне, и мы назначим младшего мэра, который будет править на том берегу.

— Нет.

— У тебя есть другое предложение? — улыбнулся Нойок.

— Если новый город действительно будет населен верящими мне людьми — а они не дети, уже не дети, Нойок, — мы сами изберем себе мэра.

— Интересно. Может, пойдем на компромисс? Давай в первый год назначим мэра, а потом пускай сами выбирают себе вождя.

— Я знал тебя раньше, Нойок, знал по крайней мере, кто ты.

— Я ничего не хочу об этом слышать. Мне вполне хватает неприятностей в нынешней жизни, чтобы еще волноваться насчет того, каким я был в прошлой.

— Да нет, я ничего не хотел сказать. Просто... просто я никогда бы не поверил, что ты тот же самый человек. Как бы ни ошибался Язон, устанавливая здесь свои порядки, во всяком случае, из Хопа Нойока вышел хороший человек.

— Но *ты*, Стипок, ты-то — все тот же.

Стипок ухмыльнулся:

— Ни капельки не изменился, да? Ничего, я и так хорош — когда стоящий у власти человек так же гибок, как ты, его сложно ненавидеть. Но могу обещать тебе, что, если ты все-таки позволишь мне исполнить предложенное тобой, через десять лет кабинет мэра будет избираться народом, и именно народ будет выпускать законы, а не диктатор-одиночка, судья, король и законодатель в одном лице.

Нойок рассмеялся и потряс головой.

— Ты не только пользуешься словами, которых я никогда не слышал, но еще и притворяешься, будто можешь прозревать будущее. Выше своей головы не прыгнешь, Стипок. Даже Язон не способен видеть будущее.

Но Стипок знал, что перемены грядут, и знал, что уже начал придавать форму этим переменам. Нойок сам подарил ему эту возможность. У него появится собственный город, и глубокая река будет отделять его народ от всемогущего мэра; он получил возможность модернизировать это

отсталое местечко и учить детей тому, что он сам сочтет подходящим. Ему было дано обещание грядущей демократии. «И я заставлю Нойока исполнить обещанное, — подумал Стипок. — А Язон, вернувшись, своими глазами увидит, что может сделать даже малая доза правды и свободы с возведенным им средневековым обществом».

Он распрощался с Нойоком и направился к двери. Выйдя на лестницу, он услышал громкие крики внизу:

— Будешь еще делать то, что я запрещаю?!

Звук пощечины.

— Будешь слушаться меня?!

Молчание. Еще одна пощечина. Стук опрокинутых стульев.

— Тебя спрашиваю, мальчишка! Будешь слушаться?

Позади него скрипнула дверь. Нойок вышел из кабинета вслед за Стипоком.

— Кажется, Нойок, твой сын избивает твоего внука.

— И я думаю, что причина тебе известна, — ответил Нойок.

Стипок в ярости развернулся.

— Хум сказал, что отец согласился! — чуть ли не рявкнул он.

— Ага, ты так мудр, Стипок, а не можешь разглядеть, когда мальчишка врет. Нет, не ходи вниз. Подожди. Это дело отца и сына.

Снизу:

— Будешь слушаться, спрашиваю? Отвечай сейчас же!

Эстен, жена Эйвена, начала молить мужа прекратить.

— Он бьет мальчишку. У вас родителям это разрешается?

— Если ребенок слишком мал, мы забираем его, чтобы спасти ему жизнь. Но Хум уже достаточно большой, чтобы достойно ответить. Слышишь, он просит мать оставить их наедине. Он не желает, чтобы его защищали, Стипок.

— Отвечай, негодник!

Внизу Хум вскрикнул от боли:

— Да, отец, я и дальше буду поступать, как пожелаю! Я уплыву за реку, поплыву туда, куда захочу, и ты будешь дураком, если попробуешь...

— Как ты назвал меня?! Что ты...

— Нет! Не трогай меня, отец! В последний раз ты меня ударил!

— Ага, силами хочешь помериться?

Нойок проскользнул мимо Стипока и кинулся вниз по лестнице.

— Вот теперь вступаем мы, — пробормотал он на бегу. Стипок последовал за ним.

Они прибыли как раз вовремя. Эйвен, отломав от стула ножку, надвигался на сына, который с вызывающим видом стоял в углу.

— Довольно, — приказал Нойок.

Эйвен остановился.

— Это не твое дело, отец.

Звучало довольно душераздирающе — пятидесятилетний мужчина назвал отцом Нойока, который выглядел лет на пятнадцать моложе.

— Когда ты начинаешь заниматься рукоприкладством, это становится и моим делом тоже, — ответил Нойок, — и не только моим, но и всего Небесного Града. Ты взял в руки оружие. Что тебе Хум, барсук, которого ты должен убить, защищая выводок кроликов?

Эйвен опустил ножку:

— Он посмел угрожать мне.

— Когда ты ударил его, он просто сказал, что ответит тебе тем же, Эйвен. Думаю, это нельзя назвать угрозой.

— Отец ты или мэр, какое право ты имеешь вмешиваться в то, что происходит в моем собственном доме?!

— Интересное замечание, — проронил Нойок, — на которое я могу сказать следующее. Хум, я только что просил

Стипока построить лодки. Они должны быть значительно больше той, что вы спрятали на берегу.

«А Нойок вовсе не так прост, — понял Стипок. — Он даже словом не обмолвился, что ему известно о построенной нами лодке».

— Ты единственный плотник, который может приглядеть за этим. Лодки должны быть крепкими и не пропускать воду. Поскольку в их постройке будет принимать участие весь город, они будут принадлежать всем нам — но именно ты будешь стоять во главе строительства.

Глаза Хума расширились:

— Как настоящий мужчина?

— Как настоящий мастер, — поправил его Нойок.

— Мастер?! — вскричал Эйвен. — Еще скажи, что он мне больше не сын!

Нойок поступил неправильно, назвав Хума мужчиной. Это означало, что он имеет право на равную со всеми долю, может пользоваться общественными запасами еды и получать одежду, может жить сам по себе. А на долю мастера он вполне может построить себе целый дом, кроме того, право мастера освобождало его от обязанности участвовать в строительстве дорог и заготовке дров. Нойок даже подчеркнул, что в строительстве будут принимать участие все горожане. А это означало, что Хум обладает властью созвать на работу всех мужчин и женщин, воспользовавшись частью тех семи недель по семь часов в день, которые каждый горожанин обязан отработать на благо города. Нойок возвысил Хума над отцом. Таким образом, Хум обретал свободу, он мог уйти из родного дома и забыть об отцовской власти.

Эйвен был унижен на глазах у собственного сына. И Нойок это прекрасно понимал.

— Схватившись за ножку стула, Эйвен, ты сам отказался от сына. Я только закончил начатое тобой. Стипок, мое распоряжение вступает в силу немедленно — ты не помо-

жешь Хуму собрать одежду? Пускай он временно поживет с тобой, пока не найдет себе жену или не построит дом.

— Хорошо, — сказал Стипок. — С удовольствием помогу.

Эйвен молча вышел из комнаты, оттолкнув в сторону Эстен. Женщина подбежала к своему свекру и взяла его за руку.

— Нойок, я очень рада за сына, — горячо заговорила она. — Но вот мой муж...

— Твой муж любит пользоваться властью, которой не имеет, — перебил ее Нойок. — Я воспитал девять дочерей и одного сына. И теперь могу сделать вывод: дочки у меня получаются лучше. — Он повернулся к Хуму: — Ты-то чего ждешь?

Стипок поднялся вслед за Хумом по лестнице. Сборы продолжались недолго — личных вещей у Хума было не так много. Три рубахи, две пары штанов, зимние башмаки, зимняя куртка, рукавицы да меховая шапка — все это легко уместилось в узел, который Стипок взял под мышку. Из инструментов Хум захватил только те, что он больше всего ценил: пилу и тесло, сделанные для него Дильной. Нойок, увидев их в руках Хума, немедленно назначил ее ответственной за изготовление инструментов. Стипок смотрел и дивился, сколь невелико имущество Хума, сколь малым обладают горожане. Жалкое зрелище — плотник вынужден работать бронзовой пилой, когда на планете полно железа. Язон же намеренно держал этих людей в темных веках. «Вот тот дар, что я смогу вручить народу, — подумал Стипок. — Я проведу их на юг, в пустыню, где корни деревьев на два метра уходят вглубь. Я проведу их туда и научу добывать железо, которое лежит на поверхности утесов, которое только и ждет, чтобы его взяли, — единственное железо в мире, которое не составит труда добыть. Я подарю им инструменты, машины и выведу из вековечной тьмы на свет».

На пороге Хум остановился и обвел комнату прощальным взглядом.

— Скоро у тебя будет свой дом, — успокоил его Стипок.

— Я всегда хотел принадлежать этому дому и никакому другому, — прошептал Хум. — Теперь он ненавидит меня, и этого уже никак не исправить.

— Дай ему некоторое время, пускай он увидит тебя самостоятельным мужчиной, Хум, и тогда он изменит свое мнение, вот увидишь.

Хум покачал головой:

— Нет. Он никогда не простит меня. — Он повернулся к Стипоку и неожиданно улыбнулся: — Я слишком похож на деда, ты не находишь? Так что в этом доме мне не на что было надеяться.

Он развернулся и вышел из комнаты. Бредя по дороге к городу, Стипок неустанно повторял себе: «Запомни, Хум видит куда больше, чем кажется на первый взгляд».

Жарким летним утром, в праздник Середины Лета, Хум и Дильна вышли из дома, вместе с остальными мужчинами, женщинами и детьми, населяющими город Стипока, погрузились на огромные лодки и, поймав парусами юго-западный ветер, поплыли против течения к заливу Линкири. У них уже было девять лодок, и все они были построены Хумом. Именно благодаря этим лодкам на богатых северных пастбищах пасся скот, была открыта новая жила олова, куда более богатая, чем прежняя. Более того, благодаря его лодкам, родился город Стипока, в котором должность младшего мэра занимал Викс, избранный всеобщим голосованием. Все это удалось только благодаря Хуму, создавшему лодку, которая не пропускает воды. Он оглянулся на сидящих позади, посмотрел на другие суденышки, протянувшиеся по реке. «Своими руками я дал вам все это. Эти лодки, эта река, ветер в парусах — это то, что я есть в Небесном Граде.

И все это дал мне Стипок, научив, какой должна быть лодка.

И все это дала мне Дильна, сделавшая инструменты, которые легли в мою ладонь.

И мой дед дал мне это, когда освободил из-под власти отца.

Не я один строил эти лодки. Но между ними и водой встал я. Эти лодки есть моя суть, и когда-нибудь они понесут меня к морю».

— Ты что-то примолк, — заметила Дильна.

— Я часто молчу.

Она качала на руках маленького Кэммара.

— Ветер над водой пробуждает в нем голод, — сказала она. — Тот же ветер пробуждает во мне желание кричать во все горло. Но ты — увидев воду, ты замираешь.

Хум улыбнулся:

— Сегодня еще накричимся, пока голосовать будем.

Дильна вскинула голову:

— Думаешь, это пройдет?

— Дед сказал, что пройдет. Если все жители города Стипока придут и проголосуют, тогда пройдет. У нас появится совет, который будет издавать законы, и знаешь, Дильна, я ничуть не сомневаюсь, что ты в него войдешь. Будешь кричать людям, что у тебя на сердце.

— Кончайте там болтать! — крикнул сидящий у румпеля Викс. — К берегу вот-вот причалим.

Дильна было оторвала ротик Кэммара от своей груди, но Хум остановил ее.

— Ты вовсе не обязана всегда и во всем принимать участие. У нас и без тебя хватит сил затащить лодку на берег.

Сказав это, он выпрыгнул за борт и, сжав в руке веревку, поплыл к берегу, заводя суденышко в канал, который был прорыт еще в предыдущие высадки. Остальные попрыгали в воду вслед за ним, и вскоре лодку вытащили на сушу.

На их берегу были построены специальные платформы, поэтому лодки могли спокойно качаться на воде, а люди сходили на землю, даже не замочив ног. Но жители Небесного Града сами не станут строить у себя такие причалы и им не позволят. «Если вы так хотите жить на другом берегу, — говаривали они, — можете разок-другой и вымокнуть». Вот почему так трудно было договориться о принятии выдвинутого дедом компромисса — за те два года, что существовал город Стипока, на другой стороне реки зародилась мстительность. То и дело наносились мелкие уколы: люди старшего поколения сплотились против них, настаивая, чтобы часы, которые тратятся городом Стипока на постройку дорог и вырубку леса, не шли в счет отработки на нужды Небесного Града. Участвовал в этом и отец Хума. Потом затеялся долгий спор насчет того, можно ли Дильне перевозить с берега на берег инструменты — эту мысль подбросил тоже отец, сразу после того, как Дильна вышла за Хума. Он никак не мог смириться с тем, что у Хума будут свои дети, что Хум действительно вышел из-под его влияния.

«Но теперь ты не можешь причинить мне вреда, отец. Дильна — моя жена, Викс и Стипок — мои друзья, у меня есть ребенок, дом, инструменты и, самое главное, лодки». Они не спорили разве что тогда, когда Хум собрался устроить причал для лодок на берегу Стипока. «Глаза б мои не глядели на эти штуковины, — сплюнул, помнится, отец. — Была б моя воля, приказал бы, чтобы их под водой строили».

Они вышли на дорогу. Конечно, ни повозок, ни лошадей навстречу им не выслали. Хум словно наяву услышал, как отец заявляет: «У них в городе свои повозки и лошади имеются, с чего это им нашими пользоваться?» Но в целом все шло весьма неплохо. Они жили дружно, в большинстве своем, а исключения всегда встречаются. Биллин, к примеру, обожал пускать в ход свой острый язык, любил поспорить — но Хум научился избегать его общества. Сегодня

Биллина поблизости видно не было, он тащился позади вместе с дюжиной верных дружков, которые считали его мудрейшим из мудрейших. Наверняка замышляют какую-нибудь глупость: забраться в Звездную Башню и вытащить оттуда Язона, или что-то вроде того.

Поднявшись на холм Нойока, Хум огляделся по сторонам. Позади оставались дорога к реке и лодки, вытащенные на берег. Неподалеку возвышалась Звездная Башня, уходящая в самое небо, настоящая громадина, пронзительно-белая, настолько чистая, что зимой она практически исчезала из виду, а в это время года, летом, ослепительно сверкала в солнечном свете.

У подножия Звездной Башни раскинулось Первое Поле, куда два с половиной года назад Язон привел Стипока. Стипока, который никого не боялся, даже Язона. Стипока, который открыл им мир. Стипока, который был более велик, чем дед.

Целый час они говорили на Первом Поле. Нойок снова растолковывал условия соглашения, которое он выработал за последние месяцы, невзирая на все споры, на все угрозы, что, если «дети» не вернутся, мир будет поделен вдоль реки и об их существовании забудут. Компромисс был прост и элегантен, словно инструмент, выточенный Дильной, — и красив, поскольку более или менее устраивал всех. Небесный Град будет разделен на семь частей: собственно Небесный Град, город Стипока, залив Линкири, кузня Вьена, мельницы Хакса, луга Капока и холм Нойока. Каждая часть имеет право голоса и может выдвигать в Совет человека, который наравне с мэром будет создавать законы, наказывать нарушителей и разбирать споры между городами.

— Нас стало слишком много, — сказал в конце своей речи Нойок, — слишком много для одного человека. Я не могу знать все и решать за всех. Но несмотря на эти перемены, а также и благодаря им, мы должны остаться единым народом, чтобы Язон, который придет к нам сразу после

жатвы, увидел, что мы нашли способ разобраться с проблемами, не прибегая к ненависти и разделению.

То были слова, полные надежды. Они сулили многое, и было видно, что Нойок верит в то, о чем говорит. Поверил в это и Хум.

Затем состоялось голосование. Биллин и его дружки-приятели присоединили свои голоса к голосам Эйвена и тех, кто ненавидел город Стипока, и предложение не было принято.

Собрание закончилось хаосом. Даже спустя час люди из города Стипока продолжали спорить и что-то доказывать друг другу. Стало наконец ясно, что Биллин стоит за полное отделение, а когда он принялся обзывать Викса псом, потому что тот лает, стоит только Нойоку приказать, Викс объявил собрание закрытым и направился к реке. Хум с дремлющим Кэммаром на руках и Дильна последовали за ним. Так что они первыми поднялись на холм, первыми увидели пламя, охватившее лодки.

Они закричали и стали звать остальных на помощь, но было поздно. Как ни старались залить лодки водой, огонь разгорелся так яростно, что близко было не подобраться. Но Хуму уже было на все наплевать. Он опустился на землю, сжимая в объятиях Кэммара, смотрел на танцующие над водой языки пламени и думал: «Ты сжег меня, отец, убил меня на воде, и сделал это именно ты, кто бы тебе ни помогал. Ты разрушил мои творения, я теперь мертв».

Спустя несколько часов от лодок на берегу остались лишь почерневшие остовы. Измученные люди провожали глазами уходящее солнце и обсуждали, что теперь делать.

— Мы можем построить новые корабли, — сказала Дильна. — Я еще не разучилась делать инструменты, а Хум по-прежнему умеет строить лодки. Нойок поможет нам. Врагам нас не остановить!

— Чтобы построить один такой корабль, уйдет три месяца.

— Коровы будут недоены, — произнес кто-то.

— Сады зарастут сорняками.

— Скот на лугах одичает.

— И где мы будем жить все это время?

— С нашими родителями?

Затем сквозь бормотание отчаявшихся, ослабевших людей прорвался голос Биллина:

— А как же насчет защиты, обещанной нам законами Язона? Мы доверились Нойоку, а он не смог спасти нас, у него просто не хватило власти. Чтобы уцелеть, мы должны сами защищать себя!

Викс попытался было заткнуть ему рот:

— Да, уж ты-то защитил нас, проголосовав против.

— А ты думаешь, голосование что-нибудь изменило бы? Они давно планировали это. Файс и Эйвен, Орсет и Кри — они знали, что придем мы все, что все наши лодки будут на этом берегу, что никого не останется в городе Стипока, чтобы переплыть реку и забрать нас обратно. Они сожгли наш единственный путь домой. И я говорю — мы должны ответить им тем же!

Впервые Хум был согласен с Биллином. Что еще оставалось делать? Помощи ждать неоткуда. «И снова отец — а я-то уже стал думать, что наконец освободился».

С наступлением ночи страсти разгорелись еще сильнее. На пляже зажглись костры, пришли друзья из Небесного Града, предложили еду и ночлег. Одна за другой семьи потянулись в город, оставляя позади самых сердитых, тех, которые предпочли и дальше слушать болтовню Биллина о ненависти и отмщении.

— Пойдем, — сказала Дильна. — Раун и Уль предложили нам переночевать у них, а Кэммару и мне нужен отдых.

— Так идите, — пожал плечами Хум.

Довольно долго она ждала, надеясь, что он все-таки пойдет с ней, и в конце концов ушла. На берегу осталась лишь дюжина горожан, все они сплотились вокруг костров, а на

западе восходила луна, так что самое темное время ночи было еще впереди.

Наконец к хору возмущенных голосов присоединился голос Хума, присоединился и прорвал его.

— Все, что ты здесь делаешь, это только болтаешь, — обратился он к Биллину. — Болтаешь, какой будет расплата. Я же хочу сказать, что мы должны ответить им по мере наших сил, как можно проще. Они воспользовались огнем, чтобы украсть у нас наши дома. Какое право они имеют сейчас спокойно почивать в своих хижинах, после того что сделали с нами?

— Ты что, предлагаешь сжечь Небесный Град? — не веря своим ушам, спросил Биллин. Подобное безумство даже ему не могло прийти на ум.

— Да не Небесный Град, глупец, — поморщился Хум. — Неужели все его жители участвовали в поджоге? Я ищу справедливости. Это сделал мой отец, вы все это знаете, мой отец, который настолько ненавидит меня, что решился сжечь мои лодки.

Они оторвали доски от обгоревших остовов ладей. С одного конца дерево все отсырело, но с другого его не составляло труда подпалить. Запасшись материалом для поджога, они двинулись в обход холма, чтобы их случайно не заметили из города. Хум шел впереди, потому что собаки знали его.

Однако оказалось, что не все домашние спят. Кое-кто ждал их у конюшен, где лошади начали беспокойно переступать с копыта на копыто, почуяв огонь.

— Не делай этого, — промолвил Нойок.

Хум ничего не ответил.

Нойок перевел взгляд на остальных.

— Не делайте этого. Дайте мне время найти тех, кто сжег ваши ладьи. Они будут наказаны. Весь Небесный Град будет строить вам новые лодки. На это уйдут не месяцы, всего лишь недели, а маленькую лодку, как сказал мне Сти-

пок, можно будет построить за несколько дней. Кто-нибудь из вас переправится на другой берег и позаботится о животных.

Ответил ему Викс — видимо, в глубине души он еще надеялся найти какое-то компромиссное решение:

— И как же ты накажешь тех, кто совершил это?

— Если мы точно будем знать виновных, то накажем их по закону — они лишатся всей собственности, которая перейдет к вам.

Услышав это, Биллин только сплюнул:

— Ну да, конечно, ты спросишь, кто это сделал, и виновные сразу сделают шаг вперед, да?

Нойок покачал головой:

— Если они не признаются, Биллин, тогда придется прибегнуть к помощи Язона — он придет через четыре месяца. Вы к тому времени уже давно будете дома, и он уладит все. Обещаю вам, снисхождения не будет. А ваша справедливость — какая она? Что, если вы сожжете дом невинного?

— Он прав, — пробормотал кто-то. — Мы же ничего точно не знаем.

Но Хум ответил:

— Если мы сожжем *этот* дом, Нойок, думаю, пострадает отнюдь не невинный.

— Здесь живет невинная женщина, твоя мать. И я. Я тоже живу здесь.

— Так вот о чем он заботится! — расхохотался Биллин. — О собственной крыше.

— Нет, Биллин, я забочусь о вас. Небесный Град вне себя от ярости, все на вашей стороне. Но если вы ночью сожжете чей-нибудь дом, то разом лишитесь всех своих друзей — они станут бояться, что когда-нибудь ночью сожгут и их дома.

Хум ухватил деда за рубаху и оттолкнул в сторону, так что тот отлетел к стене конюшни.

— Хватит пустых разговоров, — сказал он.

— Это же мэр, — прошептал кто-то, ужаснувшись дерзости Хума.

— Это он и сам знает, — ответил Биллин. — У Хума просто не хватает мужества.

Толкнув Хума плечом, Биллин подступил ближе и, размахнувшись, ударил Нойока прямо в челюсть. Ударившись затылком о стену, тот сполз на землю.

— Что ты творишь?! — воскликнул Викс.

Биллин стремительно повернулся к нему:

— Что нам этот Нойок?

— Стипок говорил, что, если мы ударим человека, его друзья отплатят нам тем же. Мы же не хотели драться, что мы, детишки, возящиеся в траве?

Но Хум был далек от споров. Он вынес из конюшни охапку соломы. Лошади в страхе косились на факел, пылающий у него в руке.

— Это для тебя, — пробормотал он и двинулся к дому.

Остальные разом примолкли, увидев его лицо, но в конце концов кое-кто двинулся следом. Хум вошел через дверь кухни и разбросал солому и сложенные у очага дрова по большой комнате, у занавесей и вокруг стола. Это была та самая комната, в которой Эйвен в последний раз ударил его. Он не колебался — когда все было готово, он сразу поднес к соломе факел. По полу пробежали язычки пламени, и вскоре занавеси запылали. Разом стало так жарко, что Хуму даже пришлось сделать шаг назад — и еще один, секунду спустя. Огонь занялся стремительно, распространился по балкам дома; вдоль потолка едкий дым ринулся на второй этаж.

Стоявший позади Викс положил ему руку на плечо:

— Пойдем, Хум. Снаружи тоже все пылает — пора их будить.

— Нет, — отрезал Хум.

— Но мы не договаривались убивать кого-то, — возразил Викс.

«Отец сам убил меня», — молча ответил Хум.

— Твоя жена и сын живы, — продолжал убеждать Викс. — Представь, что будет, если у тебя за спиной будут перешептываться, что кто-то другой, а не ты, поднял тревогу и спас твою мать. А если скажут, что ты желал смерти своему отцу?

Хум содрогнулся. «Что я делаю? Да кто я такой?» Он кинулся к подножию лестницы и закричал:

— Огонь! Пожар, проснитесь! Бегите из дома!

Викс присоединился к нему, а когда никто так и не выбежал из комнат, побежал наверх вместе с ним. Должно быть, дым просочился в щели под дверьми, понял Хум, — в коридоре стояла серая пелена, из которой внутрь комнат втягивались тоненькие струйки. Он подбежал к комнате отца и распахнул дверь. Его мать, шатаясь, кашляя, разгоняя дым руками, чтобы хоть что-нибудь разглядеть, поднималась с постели. Хум обнял ее и вывел наружу, по ступенькам лестницы спустился вниз. Другая половина здания уже полыхала вовсю.

— Кто еще в доме? — крикнул Хум.

Мать покачала головой:

— Только Эйвен и Бисс.

— Отца нет в постели, — сказал он.

— Я заставила его... отказалась с ним спать, и он ушел в другую комнату, — ответила она. — Он сжег твои лодки, — добавила она. И вдруг поняв, что случилось, выкрикнула: — Это ты устроил пожар! Ты сжег мой дом!

К тому времени он уже выводил ее из дверей. Оставив ее на улице, он кинулся обратно. Викс нес на руках Бисс.

— Где отец?! — выкрикнул Хум.

— Не видел! — откликнулся Викс.

Протиснувшись мимо него, Хум ринулся в пламя. Обжигающие языки лизали подножие лестницы, а дверь в комнату родителей превратилась в огненный столп. Огонь

распространялся быстрее, чем ожидал Хум. Из окон вырывались яркие всполохи, распространяясь по потолкам. Отца не было в своей комнате, не оказалось его и в комнате Бисс — конечно, не оказалось, иначе бы Викс увидел его! — не было его и в комнате Нойока.

— Спускайся, Хум! Его там нет! — крикнул Викс снизу.

Хум подбежал к лестнице. Перила превратились в ярко-красные уголья.

— Выходи, пока не поздно! — Викс стоял у дверей. Крыльцо тоже горело.

— А внизу его нет?

— Будь он в доме, давно бы уже проснулся! — заорал Викс.

Значит, его так и не нашли. Он обязан быть здесь. Хум распахнул двери кабинета Нойока. Огонь ударил его в лицо, сжирая волосы, поджигая одежду. Но он даже не остановился, чтобы сбить пламя. Оставалась одна комната — та, которая когда-то принадлежала ему. Он пробился сквозь огненную стену и ударом ноги вышиб дверь. До этой комнаты пламя еще не добралось, но всю ее наполнял дым. Отец, заходясь от кашля, лежал на полу.

— Помоги мне, — выдавил он.

Хум схватил его за руку, попытался потащить к выходу, но Эйвен был слишком тяжел. Он взял его под руки и попробовал поднять.

— Вставай! — рявкнул он. — Я не могу тащить тебя! Вставай и иди!

Эйвен наконец понял и, шатаясь, поднялся на ноги. Подхватив его, Хум как можно быстрее устремился к лестнице. Однако, когда они проходили мимо кабинета Нойока, Эйвен вдруг оттолкнул его.

— История! — воскликнул он. — Отец убьет меня, убьет!

Он распахнул дверь. Пергаменты уже сворачивались от жара. Хум попытался было удержать его, крича, что поздно, слишком поздно, но Эйвен одним ударом сбил его с ног и

кинулся к рабочему столу. Хум поднялся как раз вовремя, чтобы увидеть, как языки пламени метнулись навстречу Эйвену, принимая его в объятия. Прижимая пергаменты к груди, Эйвен закричал.

— Прости меня! — кричал он. Он повернулся лицом к Хуму, застывшему на пороге. Вся его одежда занялась огнем, и в агонии он снова выкрикнул: — Простите!

И упал на объятый жаром пол. Кто-то схватил Хума и потянул к лестнице. Чьи-то руки выволокли его из рушащегося дома. Хум уже ничего не понимал, перед глазами стоял образ отца, охваченного яростным пламенем. В руках его была сжата пачка горящих пергаментов, и сердце, открытое огнем, кричало: «Простите меня!»

Лэрд проснулся со щеками, мокрыми от слез. Отец прижимал его к себе, успокаивающе шепча:

— Все хорошо, Лэрд. Ничего не случилось, все хорошо.

Увидев отца, Лэрд всхлипнул и что было сил прижался к нему:

— Мне снился ужасный сон!

— Да, но это ничего, ничего...

— Я видел отца... умирающего отца и так напугался...

— Это всего лишь сон, Лэрд.

Лэрд глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. Оглядевшись вокруг, он заметил, что остальные мужчины также проснулись и с любопытством глядят в его сторону.

— Просто сон такой, — объяснил он им.

Но нет, это был не просто сон. Это случилось на самом деле, страшная, кошмарная история. Когда остальные в конце концов отвернулись, Лэрд схватил руку отца, прижал ее к губам и прошептал:

— Папа, я так люблю тебя, я никогда не причиню тебе боль...

— Я знаю, — кивнул отец.

— Я серьезно, — произнес Лэрд.

— Я понимаю. А теперь спи. Тебе приснился страшный сон, но он уже закончился, и ты ничего плохого мне не сделал, что бы в твоем сне ни произошло.

Отвернувшись, отец укрылся одеялом, чтобы вновь заснуть.

Но для Лэрда это был не просто сон. Сновидение, которое послала ему Юстиция, было слишком отчетливо, чтобы с легкостью прогнать его, как обыкновенный ночной кошмар. Теперь Лэрд знал, что ощущаешь, когда умирает твой отец, знал, потому что именно он стал причиной его смерти. И тут, вновь проявив свои непревзойденные способности вторгаться в мысли, в особенности тогда, когда Лэрд меньше всего желал ее присутствия, Юстиция спросила:

«А до этого сна ты знал, что любишь отца?»

Лэрд резко ответил:

— Лучше умереть, чем видеть твои сны.

Вставая рано утром, на восходе, Лэрд чувствовал себя опустошенным. Кроме того, он ощущал стыд перед остальными мужчинами — вчера он распускал хвост перед ними, а ночью плакал, как дитя. Этим утром он был тих, говорил очень мало и с явной неохотой возглавил колонну, спиной чувствуя взгляды едущих позади.

С Язоном он вообще не обмолвился ни словом. Он держался рядом с отцом, когда надо, заговаривал с ним, но всячески старался избегать взгляда чисто-голубых глаз.

В полдень Лэрд и отец распрощались с последними попутчиками. Разговор с Язоном был неизбежен.

— Лэрд, — окликнул он.

Лэрд упорно смотрел на гриву лошади.

— Лэрд, я тоже это помню. Я просмотрел все эти сны задолго до того, как их увидел ты.

— Ты поступал по своей воле, — ответил Лэрд. — Я же этого никогда не просил.

— Мне было дано зрение. Если б у тебя оно было, ты что, всегда бы держал глаза закрытыми?

— Но у него и так есть зрение, — недоуменно пожал плечами отец.

— Поехали, пап, — сказал Лэрд.

Молча они проехали оставшиеся четыре дерева, добравшись до шалаша, который не так давно построили Язон и Лэрд, — казалось, это было вчера. А вот и самое последнее дерево: на стволе явственно белеет отметина, и можно браться за работу.

Но внезапно Лэрда охватил жуткий страх. Он не знал почему. Он вдруг остро почувствовал свою... незащищенность. Открытость. Он старался держаться поближе к отцу, следуя за ним, куда бы тот ни пошел. Он потащился за ним даже тогда, когда отец вернулся к дровням за новым топором, потому что прежний показался ему слишком легким и все время норовил вырваться из рук, стоило посильнее ударить по дереву.

В конце концов Лэрду пришлось заговорить, чтобы успокоить свои страхи.

— А что, если бы на планете вообще не было железа? Или было бы, но так глубоко в земле, что нам бы до него было не добраться?

— Я кузнец, Лэрд, — ответил отец. — Земли без железа не бывает.

— Ну а вдруг?

— До появления железа люди были дикарями. Кто стал бы жить в таком месте?

— Вортинг... — как бы про себя произнес Лэрд.

Отец замер, на секунду облокотившись на топор.

— Я имел в виду мир, планету. На поверхность железо выходит только в одном месте. В пустыне.

— Так отправляйся в пустыню и добывай себе железо на здоровье. А пока руби дерево.

Лэрд размахнулся топором, в стороны полетели щепки. Отец ударил вслед за ним, и ствол содрогнулся.

Вскоре дерево было повалено, вдвоем они быстро обрубили ветки и закатили бревно на дровни. Это было не мачтовое дерево; даже помощь лошадей не потребовалась. К закату они срубили второе дерево, а потом улеглись спать во времянке.

Но Лэрд не стал спать. Он лежал, глядя широко раскрытыми глазами в темноту, ожидая сон, который, как он считал, непременно придет. Как только его одолевала дремота, он сразу рисовал себе образ Эйвена, Эйвена, полыхающего подобно листку бумаги в пламени костра. Он понятия не имел, то ли это он сам вспоминает сон, то ли это Юстиция не дает ему забыть об увиденном. Он не смел засыпать, потому что боялся еще более страшных сновидений, хотя прекрасно знал, что Юстицию ему не остановить, даже если он вообще перестанет спать. Решение не засыпать было чистейшей глупостью — он просто боялся, страшно боялся той женщины, что ждала в ночи, чтобы отнять у него разум, сделать его другим человеком и заставить совершать чужие поступки. «Ради отца я пойду и на смерть, я никогда не причиню ему боль».

В ту ночь он так и не заснул, а следовательно, не увидел сна. Впервые они последовали его желанию. Они ничего ему не говорили, ничего не показывали. Но постоянное ожидание стоило ему отдыха. Из-за горизонта вынырнул первый солнечный лучик, и отец ткнул Лэрда в бок, думая, что мальчик еще спит. Теперь, когда отец проснулся, Лэрд вдруг почувствовал, что наконец-то может заснуть — его усталое тело буквально молило об отдыхе. Сон. Ковыляя на шатающихся ногах, он исполнил утренние обязанности и впряг лошадей в дровни; сам же чуть не свалился с седла, задремав.

— Эй, парень, просыпайся, — раздраженно буркнул отец. — Да что с тобой сегодня?

Помахав топором, Лэрд почувствовал, что сон немного отступил, хотя прежнюю бодрость он так и не обрел. Дважды отцу приходилось останавливать его.

— Ты рубишь слишком высоко. Ниже бери, не то ствол запутается в ветвях других деревьев.

«Извини, папа. Мне казалось, что я рублю там, где ты сказал. Прости меня, прости».

Падая, дерево все-таки повалилось не туда, куда нужно, и действительно запуталось. Все случилось так, как предупреждал отец.

— Прости, — пробормотал Лэрд.

Задрав голову, отец с отвращением смотрел наверх.

— Никак не разгляжу, что же его держит, — сказал он. — Если внимательно приглядеться, так ни одна ветка его не цепляет. Давай-ка за лошадьми, приведи их сюда, мы стянем его.

Лэрд все еще возился с лошадьми, когда вдруг до его слуха донесся треск упавшего дерева.

— Лэрд! — заорал отец. Ни разу в жизни Лэрд не слышал такой боли в его голосе.

Его левая нога была придавлена огромной ветвью, а левую руку прошила насквозь ветка поменьше. Обломок прошел прямо сквозь кость предплечья, переломив ее посередине — рука была неестественно изогнута, словно на ней появился второй локоть.

— Моя рука! Рука! — стонал отец.

Лэрд глупо стоял рядом и никак не мог сообразить, что же от него требуется. Кровь отца впитывалась в снег.

— Столкни его с меня! — закричал отец. — Это не самое большое дерево, сынок! Столкни его!

Столкнуть. Лэрд нашел на дровнях ломик, поддел ствол и слегка приподнял. Дерево немножко сдвинулось. Упираясь здоровой рукой в снег, отец попытался было отползти, но не успел — дерево вернулось на прежнее место. Хотя на этот раз оно придавило только ступню, поэтому прежней боли не причиняло.

— Лэрд, останови кровь! — приказал отец.

Лэрд попытался зажать переломанное место, но кровь хлестала слишком быстро. Кость раскрошилась на мелкие кусочки; рука стала мягкой, так что ее было даже не зажать. Лэрд опустился на колени, не зная, что и придумать.

— Отруби ее, дурак! — выкрикнул отец. — Отруби, завяжи культяшку и прижги конец.

— Но твоя рука... — начал было Лэрд. Отрубить кузнецу руку, любую руку, означало навсегда лишить его кузни.

— Речь идет о моей жизни, идиот! Руку — за жизнь, я согласен!

Лэрд закатал рукав, поднял топор, поточнее прицелился и ударил, отнимая руку чуть выше места перелома. Отец не закричал, лишь судорожно стиснул зубы. Оторванным рукавом Лэрду удалось перевязать обрубок, и в конце концов кровь остановилась.

— Слишком поздно, — прошептал отец. Лицо его побелело от боли и холода. — У меня не осталось крови.

«Папа, не умирай».

Его глаза закатились, а тело обмякло.

— Нет! — в бессильной ярости выкрикнул Лэрд. Он подбежал к ломику, торчавшему из-под ствола, и на этот раз толкнул дерево с такой силой, что оно откатилось далеко в сторону. Подхватив отца под руки, он потащил его к дровням. Нога тоже была сломана, но кость не вышла наружу. Лэрд с нарастающим бешенством смотрел на обрубок руки. Он не был готов к такому зрелищу. Эти руки выныривали целыми и невредимыми из глотки огня...

«Надо прижечь культяшку. Но какой в этом смысл, если отец мертв? Надо проверить, мертв он или нет».

Он дышал, а на горле прощупывался слабый пульс.

Рана больше не кровоточила. Сейчас самое важное — доставить его домой, да побыстрее. Даже несмотря на туман в голове, Лэрд ясно понимал это. Пятнадцать минут у него ушло на то, чтобы столкнуть вчерашние бревна с са-

ней, и еще столько же, чтобы положить отца на их место. Тело его он закутал потеплее и закрыл всеми одеялами, какие только были, после чего крепко привязал к дровням. Вскочив на правую, ведущую лошадь, Лэрд тронул сани с места.

Они отъехали совсем недалеко, как вдруг Лэрд понял, что не знает, в какую сторону направляться. В обычной ситуации он выбрал бы самую простую дорогу, однако это означало, что возвращаться пришлось бы тропой, по которой они сюда приехали. Но они сделали огромный крюк, провожая остальных. Напрямую будет значительно короче. Вся беда в том, что Лэрд не знал точного пути назад. Пешком он бы без проблем добрался до дома. Но сейчас ему надо было выбрать такой путь, где пройдут дровни.

Он никак не мог решиться. Его ум отказывался думать. В конце концов он решил, что если сойдет с тропы, то не ошибется. Оглядываясь вокруг, вспоминая, как все выглядело летом, он наверняка отыщет быструю и безопасную дорогу. Может, он еще спасет жизнь отцу.

Вот только его безудержно клонило в сон. Убаюкиваемый ритмичным покачиванием в седле, шорохом полозьев по снегу, бесконечной белизной зимнего леса, он постоянно терял сознание. То и дело он просыпался, почувствовав щекой жесткую гриву. В отчаянии он приник к лошади и принялся понукать ее, заставляя идти быстрее, еще быстрее. Из глаз его лились слезы отчаяния. «Ну почему ты не спал прошлой ночью? Ты убил своего отца!» И на голубом небе проступало лицо Эйвена, Эйвен выглядывал из-за каждого дерева, полыхал в сверкании снежного покрова.

«Помогите», — молча взмолился он.

— Помогите! — выкрикнул он во весь голос.

Конечно, все это время Язон следил за ним. Разумеется, Юстиция услышала его. Но послали они не чудо, а всего лишь очередной сон. Он видел снег впереди себя, направлял лошадей между деревьями, но постепенно белое по-

крывало превратилось в песок, а горло пересохло и горело от жажды. Он превратился в Стипока, который брел к исполнению своей заветной мечты. Вскоре он должен был найти железную руду.

Подходило время дождей, и вода в котловане опустилась до самого дна. В прошлом месяце разбилось три кувшина, а теперь воспоминание о расплескавшейся по песку воде неотступно преследовало Стипока.

Преследовало все настойчивее и настойчивее, потому что наконец они обнаружили железную руду. Пришлось пробить метров двадцать скальной породы — и это медными и каменными инструментами. Он рассчитывал, что железо залегает ближе. Может, он выбрал неправильное место. Но ожидание пошло только впрок. Если бы они сразу наткнулись на руду, это было бы слишком легко и ничего бы не значило. Первый год после основания новой колонии они только и делали, что рыли канавы под воду, заставляя песок взращивать полезные культуры. Кроме того, они рубили железные деревья, растущие в нескольких милях от поселения, и сплавляли их вниз по течению, чтобы позднее из бревен построить хижины. Небесный Град не поскупился на инструменты, а Язон, высадив их в южной пустыне, выдал им из корабельных запасов еды больше чем на год. Начало выглядело многообещающим.

Настроение портила пыль, проникающая в нос, рот — куда угодно, в особенности когда бежишь. На поверхности воды всегда плавала тонкая пленка песка, то и дело оседающая на дно и образующая толстый слой ила, поэтому они быстро научились не болтать понапрасну воду в котловане и в питьевых чанах. И второй год, когда наступила очередь Хума, Викса и Биллина возглавить горные работы, их преследовала та же пыль — она постоянно висела в воздухе, пока они не привыкли к грязи, к белым полоскам на почер-

невших лицах, к надрывному кашлю с трудом вдыхающих воздух рудокопов по ночам.

Теперь еще засуха. Должны же идти дожди. Пора ветров давно наступила, по равнине носились песчаные вихри и водовороты. Здесь ветер был видим, и Стипок, прикрывая глаза ладонью, каждый раз морщился, завидев очередную стену ветра, темную, похожую на морскую волну. Вот-вот должны начаться дожди, и они наконец наткнулись на железную руду — но именно за дождь они были бы наиболее благодарны. Железо — ничто. Железо — бесполезные глыбы.

— Его есть не станешь, — заявил Биллин, стоя на пригорке.

Остальные стояли в безмолвии. Пыльный демон пронесся мимо, огибая кучу руды.

— И пить его не станешь.

Стипоком овладело нетерпение. Обычно на подобных собраниях он старался держать язык за зубами — пусть молодежь сама принимает решения. Лишь иногда он давал советы, когда они заходили в тупик. Но он видел, куда клонит Биллин, и его речи могли положить конец надежде принести в мир Язона Вортинга сталь.

— Биллин, — сказал он, — словами тоже не напьешься. Если ты собрался перечислить все бесполезные вещи в этой пустыне, не забудь упомянуть и о них.

Кое-кто рассмеялся. Даже Биллин улыбнулся:

— Ты прав, Стипок. Долго я говорить не буду. И не надо, не надо меня благодарить.

Собравшиеся снова засмеялись. «Значит, мы еще не совсем пропали, — подумал Стипок, — раз у нас остались силы смеяться».

— Вам известно, что я десять недель отсутствовал в деревне. Я ходил на юг. Но, вернувшись, я никому не рассказал о том, что видел. Никому, кроме Стипока. Это он попросил меня никому ничего не говорить, чтобы не отвлекать вас от работы. Однако мне кажется, раз мы решаем все об-

щим голосованием, следовательно, вы сами должны определить, что хотите и чего не хотите слышать.

О путешествии на юг хотели услышать все. Стипок склонил голову и еще раз выслушал рассказ. Биллин спустился вниз по течению и углубился в холмы. Железные деревья становились все выше и все толще, начали попадаться животные. Но затем, пройдя по проходу среди обрушившихся скал и оказавшись на другой стороне гор, он вдруг обнаружил, что мир изменился. Голые скалы, на которых не приживается даже мох, исчезли — пышную, влажную землю покрывал густой травяной ковер, а лес и вовсе стал непроходим. На деревьях росли фрукты, которых Биллин не видел никогда в жизни. Он попробовал некоторые из них, и на вкус они были чудесны, он не осмелился пробовать больше: вдруг среди них окажутся ядовитые плоды и он никогда уже не вернется, чтобы поделиться с друзьями своими открытиями.

— ...И так было всю дорогу, пока я шел по течению реки к морю. Я дошел до самого моря: песок там — всего лишь полоска, окаймляющая пляж, вода чистыми волнами накатывает на берег, а фруктов и корнеплодов столько, что можно есть вечно и вообще не работать. Я ничего не выдумываю. Нам хватило разочарований, я не стал бы обещать больше, чем видел сам. Четыре дня из пяти лил дождь, такой сильный, что море аж кипело, но каждый раз это длилось всего лишь час, после чего снова ярко сияло солнце. Честно, это правда! Уходя, я взял припасов на пять дней, а вернулся через десять недель. Я выглядел усталым и голодным, но не мог же я обходиться без пищи целых десять недель. Там есть еда! И Стипок знает это. Стипок все время знал, что там раскинулись плодородные земли. Я хочу сказать, что нам следует отправиться туда. Мы должны жить там, где всегда хватит еды на всех. Это вовсе не означает, что мы должны отказаться от железа. Каждый год мы мо-

жем посылать сюда экспедицию, снабженную как продуктами, так и инструментами. Но наши семьи не обязаны круглый год жрать пропылившийся хлеб, они не обязаны мириться с вечным голодом. Мы можем купаться в море, ходить умытыми, пить из чистейших родников...

— Хватит, Биллин, — перебил его Стипок. — Все тебя уже поняли.

— Скажи им, Стипок, скажи, что это правда. Они мне не верят.

— Это действительно так, — подтвердил Стипок. — Но я должен рассказать вам еще кое-что. Каждые полгода налетают ужаснейшие шторма, которые терзают берег и поднимают громадные волны, а ветер там убивает. Это опасно. Однако существует еще большая опасность. Существует опасность, что, поселившись в месте, где вам не обязательно будет работать и все время шевелить мозгами, чтобы выжить, вы позабудете о том, что такое работа и что такое мысли.

— Попробуй подумай, когда язык во рту как камень ворочается!

— То, что описывает Биллин, выглядит как само совершенство. Но я прошу вас остаться. Дожди запаздывают, но рано или поздно они придут. Мы пока не голодаем. Вода еще есть.

Так мало слов — но, когда собрание закончилось, все согласились остаться.

В тот вечер, как всегда, Стипок и Викс ужинали вместе с Хумом и Дильной, иначе им пришлось бы сидеть в одиночестве.

— Почему никто из вас так и не женился? — спрашивал время от времени Хум. — Очень рекомендую, знаете ли.

Но Викс и Стипок не отвечали. Стипок не отвечал, потому что сам не знал ответа — он и на Капитолии не был женат. Может, в нем было слишком много от анархиста — он не мог допустить, чтобы жена и дети правили им. Зато

он прекрасно знал, почему не женится Викс. Потому что он уже любил одну женщину, и эта женщина была женой Хума.

Хоть это и хранилось в строгой тайне, однако в колонии «тайну» эту знали все: когда Хум заступал в смену, уводя за собой бригаду рудокопов, Викс не раз заглядывал к Дильне в мастерскую, где она работала с инструментами, или Дильна сама наведывалась к нему в гости. Каждый занимался своей работой; никто специально за ними не следил; может быть, они считали, что об их отношениях никому не известно. Однажды Стипок решил напрямую поговорить с Виксом и сказал:

— Почему вы делаете это? Все же знают.

— И Хум тоже?

— Если он и знает, то не показывает виду. Он любит тебя, Викс, ты был его другом с тех самых пор, как вы на пару убегали по ночам из дому. Почему ты это делаешь?

Викс расплакался от стыда и поклялся прекратить встречаться с Дильной — однако в душе он продолжал сомневаться. Что же касается Дильны, то ее Стипок даже не спрашивал. Когда она находилась рядом с Хумом, всем было понятно, что она любит его — он хороший отец, любящий муж. Однако и перед Виксом она дверей не закрывала. Когда Бесса и Даллат засыпали, а Кэммар играл на улице или копался в песке, она принимала Викса в своей постели, как жаждущий человек принимает глоток воды. В один прекрасный день Стипок случайно зашел в дом и застал их вместе, тогда она посмотрела на него глазами, в которых застыла мольба о прощении. Это удивило его — на Капитолии он навидался столько разврата, что перестал относиться к нему, как к какому-то ужасному греху. Она же искала отпущения. Прощения без раскаяния. Стипок вспомнил одну из проповедей отца: греша, ты покупаешь себе удовольствие, но расплачиваешься за это смертью. «Берегись

смерти, Дильна. Если ты и дальше будешь заниматься любовью с Виксом, тебя ждет смерть. Конечно, ты умрешь даже в том случае, если будешь вести целомудренную жизнь. Но красота целомудрия заключается в том, что, когда приходит смерть, ты принимаешь ее как небесную милость».

— Теперь нам долго не продержаться, — сказал Викс. — Если только дождь не пойдет.

— Знаю, — кивнул Стипок.

Хум разломил хлеб, который сразу рассыпался на желтые крошки, став похожим на песок. Он мрачно улыбнулся и передал блюдо дальше.

— Черпайте хлеб пригоршнями. Также можете проглотить семечко-другое железного дерева — в наших животах столько земли и песка, что оно непременно прорастет.

Дильна кинула горсть крошек в рот:

— Очень вкусно, Хум. Кто в нашей семье повар — так это ты.

— И это плохо. — Хум, набрав полный рот воды, покатал ее, как будто смакуя. Когда же он наконец проглотил ее, то на его лице отразилось сожаление, что ее больше не стало. — Стипок, мне тоже придется уйти. Дети... мы должны что-то предпринять, прежде чем закончится вода, или будет слишком поздно, у них не будет сил идти куда-либо. Солнце и ветер уже иссушили их, они ходят так, будто постоянно думают о смерти. Мы не можем оставаться.

Дильна бросила на него сердитый взгляд:

— Хум, мы пришли сюда с определенной целью и...

— Прости, — перебил ее Хум. — Когда появились мечты об этих самодвижущихся машинах и инструментах, которые будут резать бронзу, как масло, мне казалось, что это именно то, чего мне больше всего недостает в жизни. Когда Язон отослал нас из Небесного Града, чтобы добывать руду, я был только счастлив. Но сейчас настала пора выбирать между будущим мира и будущим моих детей. И я выбираю

детей. Мне не будет жизни без Кэммара, Бессы и Даллата. Они сейчас спят, и для меня важнее всего на свете, чтобы завтра утром они проснулись, завтра, послезавтра, послепослезавтра. У тебя, у Викса нет семьи, вы можете решать только за себя. А Дильна — у нее есть мужество, которого нет во мне. Но я отец, и сейчас я думаю только об этом, тем более что в котловане воды осталось всего четыре дюйма.

Стипок подумал о доме Эйвена, гигантским факелом пылающем на вершине холма Нойока, вспомнил, как Хум кричал и кричал до самого утра — его крики разносились от Небесного Града до залива Линкири. Все считали, что его мучает боль от ожогов, он и вправду серьезно обгорел. Но звал он своего отца, именно ненавистного Эйвена молил он о прощении в ту ночь. Поэтому теперь быть отцом значит для него куда больше, чем для Дильны — быть матерью.

— Я знаю, что ты сейчас думаешь, — сказала Дильна. — Думаешь, я не люблю своих детей.

— Ничего подобного, — возразил Стипок.

— Но я люблю их, очень люблю. Я просто не хочу, чтобы они выросли бесполезными, ленивыми, глупыми существами. Я — то, чем я занимаюсь. Я мастер. Что, если они поселятся в таком месте, где мои инструменты станут никому не нужны? Что, если им уже не нужна будет одежда, дома — кем они тогда станут? Я не пойду на юг. Стипок прав.

Викс кивнул:

— Я тоже буду ждать дождей, ждать до последнего. А затем уйду. Но не на юг. Насколько я вижу, пришла пора возвращаться домой.

На его слова они ответили долгим молчанием. Стипок следил за руками, бережно подносящими крошки ко рту, за осторожными глотками из кувшина — он знал, сейчас они вспоминают Небесный Град и лодки на воде.

— Мы могли бы сделать из железного дерева лодку, — предложила Дильна, — и выйти в море. Пускай вода сама донесет нас до дома.

Стипок покачал головой:

— Ниже по течению расположена целая череда водопадов, некоторые аж по пятьсот метров высотой. Даже если мы доберемся до моря, то морскую воду пить не сможем. В ней соль.

— Ну, я не возражаю против чуточки соли.

— В ней столько соли, что с каждым глотком вас будет одолевать все большая жажда. И в конце концов вы умрете.

Хум даже передернулся:

— Это означает, что возвращаться придется пешком.

— Путь неблизкий, — согласился Стипок.

— Давайте лучше надеяться на дождь, — сделал вывод Хум.

Но дождя все не было и не было. Ветра дули с востока, а не с северо-востока; море по-прежнему не хотело отдавать свою воду, а песок стал еще въедливее, чем прежде. Пыль просачивалась в каждую щелку. Когда утром люди просыпались, то обнаруживали на своих телах и постелях слой пыли в несколько миллиметров. Дети задыхались в ней и плакали. После двух дней такой непогоды один из младших близняшек Серрета и Ребо умер.

Они похоронили его в песке, когда ветер ненадолго стих.

На следующее утро мертвое тело лежало у всех на виду, кожу с него содрало несомыми ветром песчинками. Ветер, следуя одной из столь страшных прихотей природы, подкатил тельце ребенка прямо к двери дома его семьи. Серрету пришлось толкать дверь плечом, чтобы отворить ее поутру; его вопль, когда он увидел, что же ему мешало, заставил всех повыскакивать из домов. Забрав тельце у безутешного отца, его попытались сжечь, но ветер то и дело задувал огонь. В конце концов пришлось отнести его в пустыню, в подветренную от деревни сторону, и оставить ветру на забаву.

Тем же вечером точно так же поступили еще с двумя детьми, потом снесли туда же тело Вивен — а еще четыре месяца назад она так радовалась, что ее малыш наконец научился ходить.

Утром Биллин принялся обходить дома, лицо его было закутано тряпкой, чтобы защититься от ветра. Каждый раз он говорил:

— Сегодня я ухожу. Я знаю дорогу. Через три часа я войду в рощу железных деревьев. К закату буду у ручья. Там я буду ждать вас три дня, и тех, кто решит пойти со мной, я проведу через проход. В следующем году мы вернемся, чтобы добывать железо. Но сейчас нам лучше уйти, пока наши дети еще живы.

Час спустя все собрались за домом Биллина и Трии. В руках люди сжимали драгоценные кувшины с водой, укутанные в шкуры, несли или вели детей. Стипок не стал спорить, не стал уговаривать их остаться. И не слушал, когда ему шептали:

— Пойдем с нами. Мы не хотим следовать за Биллином, мы хотим следовать за тобой. Благодаря тебе мы держимся вместе, пойдем с нами.

Но он знал, что в землях, где жизнь легка, нет повода держаться друг друга — сплотить людей там можно либо волшебством, либо религией, тогда как он не обладал ни цинизмом, необходимым для первого, ни верой, достаточной для второго.

— Идите, — сказал он. — Желаю вам удачи.

Ближе к полудню они потянулись в пустыню. Под ноги задувал ветер, стирая следы сразу, как только они появлялись; песок яростными вихрями вылетал из-под башмаков.

— Живите, — проговорил Стипок.

Еще три дня Стипок, Викс, Хум, Дильна и дети жили в шахте, заделав все входы-выходы. Для этого пришлось разобрать пустой дом и построить у отверстия шахты стены.

Там, в глубине, дышалось легче. На третий день их разбудил шум падающих капель.

Раскидав бревна, они выбежали наружу — и столкнулись с адом на земле. Казалось, целое море обрушилось на их головы. Земля превратилась в хлябь; грязевые потоки, вливаясь в реку, тащили за собой дома. Еще вчера русло реки было абсолютно сухо. Теперь же там бушевал поток, захлестывавший берега.

— Дождь, — сказал Викс. — Вот и дождались.

Шутка вышла горькой. Викс и Хум бросились к домам, сразу промокнув с головы до ног, — они пытались спасти что можно, пока хижины не смыло водой. Они едва успели сделать два захода, как река вырвалась из берегов и унесла дома. Вход в шахту находился на склоне холма, поэтому воде туда было не добраться. Они пили и пили, опустошая и заново наполняя одни и те же кувшины. Набрав воды, они вымыли детей и оставили их голыми играть на одеялах. Казалось, они никогда не были настолько чистыми, и звук их смеха наполнял дождь радостью.

Но вскоре шторм закончился. Спустя считанные минуты выныряло солнце, а до заката земля уже успела высохнуть и растрескаться от жара. Лишь один дом уцелел наполовину, все другие постройки смыло. Большую часть ночи до них доносился шум реки, но к утру от потока остались еле видный ручеек да несколько стоячих луж.

Груда железной руды исчезла. Она была свалена слишком близко к реке.

Обсуждать было нечего. Слишком мало пищи у них оставалось, а весь водяной запас содержался в кувшинах и бурдюках. Чистым безумством было идти куда-либо, кроме как на юг. Но они направились на восток, доверившись Стипоку, который еще помнил карты, показанные когда-то Язоном. Кэммар шел сам, Хум и Викс несли по малышу. Дильна и Стипок тащили на спинах жалкие пожитки. Не-

сколько одеял, несколько ножей, топор, крошащийся хлеб, одежда.

— Нам понадобятся одежда и одеяла, — предупредил их Стипок, — потому что по дороге домой будет холодно.

Во время этого путешествия по пустыне Виксу и Дильне стало труднее скрывать свою любовь. Иногда, очень устав, они опирались друг на друга. В эти моменты Стипок наблюдал за Хумом, но тот как ни в чем не бывало либо нес Бессу или Даллата, либо рассказывал сказку Кэммару. Хум не слепой, решил Стипок. Он видит, но предпочитает не замечать.

Задолго до ночи поднялась пыль, и Стипок увел всех на юг, под защиту крон железных деревьев. Весь следующий день они двигались на восток, держась ближе к лесу, а через день вышли к широкому руслу реки, направляющемуся на северо-восток. Воды в нем было совсем немного, но напиться они все же смогли. Пять дней они шли через пустыню и случайные рощицы к морю.

В один из тех дней, проснувшись после небольшого отдыха, Стипок заметил, что Хум стоит на холме и смотрит куда-то вниз. Он взобрался на холм и увидел то же, что и Хум, — увидел Викса и Дильну, лежащих в объятиях друг друга. Они, должно быть, сочли, что достаточно далеко отошли от лагеря и их никто не увидит, а может, им стало уже все равно. Их объятия не были страстными, в них сквозила бесконечная усталость. Они были похожи на мужа и жену, давным-давно женатых и время от времени обращающихся друг к другу, чтобы обрести привычное успокоение. Стипоку вдруг подумалось, что Хум предпочел бы, чтобы они любили друг друга страстно, с желанием.

Хум отступил в сторону, и любовников заслонил низкий глиняный бортик.

— А я-то думал, — с самоуничижительным смешком произнес он, — я-то думал, что из нас двоих эти чувства она испытывает ко мне.

Стипок положил ему на плечо руку. Дыхание маленькой Бессы горячо обдало ладонь.

— Они любят тебя, — сказал он. Но было бы безумством думать, что эти слова как-то успокоят Хума.

Однако, к превеликому удивлению Стипока, Хум улыбнулся, как будто его и не надо было успокаивать.

— Я знал об этом еще тогда, когда мы жили в городе Стипока. Это началось вскоре после того, как мы поженились. Еще до того, как был зачат Кэммар.

— Я думал... что это началось здесь.

— Мне кажется, они бессильны перед влечением друг к другу. Здесь они просто перестали скрываться. Им бы это и не удалось. — Хум крепко прижал к себе Бессу. — Мне не важно, чье семя взошло. Я боронил, я же буду собирать урожай. Эти дети мои.

— В тебе больше доброты, чем во мне.

Хум отрицательно покачал головой:

— Когда с нами был Язон, до того как он привел нас сюда, еще когда я винил себя в смерти отца, он сказал мне: «Ты прощен — так же, как простил Викса и Дильну». И знаешь, это действительно так. Это не ложь. Я простил их до того, как Язон сказал мне это. А поскольку я знал, что не виню их и не питаю к ним злобы, то поверил Язону, что и меня никто не винит. Может, ты им это скажешь? Если я вдруг умру и не доживу до конца пути, скажи им, что я их простил, хорошо?

— Ты не умрешь, Хум, ты самый сильный из нас...

— Но *если*.

— Хорошо, скажу.

— Скажи, что это действительно так. Что я говорил серьезно. Скажи, пускай спросят Язона, если сомневаются.

— Хорошо.

После этого они обогнули холм. Викс и Дильна уже играли с Кэммаром, изо всех сил делая вид, будто бы они всего лишь хорошие друзья, измученные долгой дорогой.

Но худшие испытания были еще впереди. От устья реки до ведущего на север перешейка простиралась самая ужасная пустыня, что они когда-либо видели. Стипок предупредил их об опасности, они доверху наполнили кувшины и бурдюки и целых два дня только и делали, что пили из реки, пока не отяжелели так, что едва могли идти.

— Пописай мы сейчас, по нашим потокам вполне можно было бы вплавь добраться до дома, — сказал Викс, и все рассмеялись.

Потом стало не до смеха. Пустыня оказалась намного больше, чем предполагал Стипок. Из мелких песчаных дюн то и дело вставали утесы и громадные камни. Приходилось то идти по прямой, то огибать препятствие, то взбираться куда-то, и каждый день Стипок настаивал, чтобы пили все меньше и меньше. Воды все равно не хватило, лишь на донышках кувшинов плескались последние капли, оставленные детям.

— Еще немного, — приговаривал Стипок. — На перешейке много ручьев, уже недалеко.

И с вершины песчаных дюн они действительно видели маячащий на горизонте перешеек, побережье, которое вело к землям чистой воды.

Однако путь был бесконечен. Однажды рано утром им пришлось хоронить Бессу. Ее трупик завалили камнями. В тот день они шли медленнее обычного, хотя ее исхудавшее тельце уже не тяготило их. Ночью они набрели на небольшой оазис, где напились горькой воды из озерца и снова наполнили бурдюки и кувшины. Они уж было подумали, что их мучения подошли к концу. Часом спустя их начало страшно рвать, и умер Даллат. Они похоронили его у отравленного пруда и на дрожащих ногах двинулись дальше, разливая воду по песку. Они даже не плакали. У них не было воды для слез.

На следующий день они нашли чистый родник, бьющий из скалы. Вода в нем была хорошей, и они напились

от души. Они жили у источника несколько дней, восстанавливая силы. И когда уже стала заканчиваться еда, они снова пустились в путь.

Два дня спустя они достигли вершины огромной скалы и остановились там передохнуть. Скала вскоре обрывалась, склон почти вертикально уходил вниз, до дна было не меньше километра. К западу виднелось море, а на востоке — еще одно, вода блестела невероятной голубизной в солнечных лучах раннего утра. Внизу, между двумя морями, проходил узенький перешеек, весь зеленый от травы.

— Видишь вон там зеленый цвет, Кэммар? — спросил Хум. Мальчик мрачно кивнул. — Это трава, и это значит, что там мы найдем воду и, может быть, какую-нибудь еду.

Кэммар с некоторым раздражением посмотрел на отца:

— Раз мы шли в место, где много еды, то почему вы не взяли с собой Бессу и Даллата? Я же знаю, им очень хотелось кушать.

Никто не знал, что ответить.

— Мне очень жаль, Кэммар, — наконец пробормотал Хум.

Кэммар рос добрым и милосердным мальчиком:

— Ничего, папа. Можно я попью?

Еще до полудня они отыскали ведущую вниз тропу. Той ночью они спали на траве, а утром — впервые за долгие годы — они проснулись в мире, в котором выпадала роса. Кэммар начал резвиться, бросаясь во взрослых мокрой травой, и только тогда они смогли оплакать своих умерших.

Лэрд встряхнулся и оглянулся по сторонам. Лошади уперлись в бурелом. Позади тихо стонал отец. Был уже полдень. Лэрд не помнил, как они добрались сюда. Где он? Он обернулся назад и увидел след, оставленный дровнями. Извиваясь, он уходил в лес. Управлял ли он лошадьми? Или спал? Он помнил только пустыню, Хума, Викса, Дильну и умира-

ющих детей, помнил, как в конце концов иссохшаяся земля ожила. Отец продолжал стонать. Лэрд спешился и, еле шевеля затекшими ногами, зашагал к нему.

— Рука... — прошептал отец, увидев Лэрда. — Что с моей рукой?

— Ее пронзила ветка, папа. Ты приказал мне отрубить ее.

— О Боже! — расплакался отец. — Лучше б я умер.

Лэрду надо было определить, куда же они все-таки забрались. Он двинулся назад и, выйдя на поляну, увидел высящиеся на юге горы. Он ехал в правильном направлении. Однако он что-то не припоминал, как это место выглядело летом. Он не узнавал его. А значит, он, наверное, отклонился далеко на юг, куда не забредал раньше. Или вообще проехал Плоский Залив.

Вдруг в его голове как будто что-то щелкнуло, и он понял, куда его занесло. Поляна, на которой он стоял, была прудом, вот почему все вокруг выглядело так непривычно. Он стоял по колено в снегу на льду замерзшего пруда. Где-то здесь должна находиться низенькая плотинка, построенная поселившимися тут бобрами. Каким-то образом, во сне, погруженный в сновидения, он продолжал следовать верным курсом. Лошадей остановил бурелом; Лэрд развернул их и некоторое время двигался по замерзшему ручью, таща за собой лошадей и разминая ноги.

— Лэрд, — позвал отец, — Лэрд, я умираю.

Лэрд не ответил. На это нечего было сказать. Может, он действительно умирал, но это не остановило Лэрда, он упорно продолжал двигаться вперед. Вскоре деревья расступились, и дровни выехали на огромный луг. Тогда он снова залез в седло. И снова снег, шуршание и мерное покачивание усыпили его. Юстиция тем временем послала ему очередной сон.

Стипок смертельно устал. Целую неделю они карабкались все выше и выше, поднимаясь на самые высокие горы

в мире. Конечно, они старались выбирать тропу полегче, но все равно то был путь сквозь неведомую, невероятную страну. Это были древние горы, вершин и пиков было немного, но то, что с расстояния казалось легкопреодолимым холмом, на деле оказывалось настоящей кручей. Им приходилось ползти буквально на коленях — еще чуть-чуть, и холм превратился бы в самую настоящую скалу.

Сейчас они перевалили через очередной поросший травой холм. По бокам угрожающе высились неприступные утесы. К их громадному облегчению, выяснилось, что это была последняя круча — далее следовали низкие, покатые холмы, а за ними виднелось бесконечное море темно-густой зелени.

Остальные достигли вершины раньше него. Кэммар возбужденно носился кругами — у этого ребенка энергии хватило бы на всех, — пока Хум, Викс и Дильна обозревали окрестности.

— Мне кажется, будто я падаю, — промолвила Дильна. — Мы столько времени лезли вверх, что непривычно видеть что-то, расположенное под нами. Мы почти добрались?

— Прошли где-то половину пути, зато самую худшую. Больше пустынь не будет. Вскоре мы доберемся до большой реки, а там останется всего лишь следовать ее течению. Мы можем построить плот и спускаться вниз по ней, пока она не встретится с такой же громадной рекой, только текущей с юга. Затем мы должны направляться на север, прямо на север. Там мы перевалим через невысокие горы и почти сразу уткнемся в Звездную реку, которая сама принесет нас домой.

— О нет, — поморщился Викс. — Скажи лучше, что стоит нам спуститься вниз по склону, и мы сразу очутимся в Небесном Граде. Таким громадным мир быть просто не может.

— Как тебе удалось так хорошо запомнить карту, Стипок?

— Я долго изучал ее там, в Звездной Башне. Искал железо. Планировал экспедицию. Я не ожидал, что Язон с такой охотой согласится доставить нас туда.

— Обрадуются ли нам? — спросила Дильна. — Покинули мы их не в лучшие времена.

Стипок улыбнулся:

— Неужели тебя действительно беспокоит, обрадуются нам или нет? Мы уже получили свое, попытавшись построить идеальный город. Климат оказался ужасным, да и не ту цель мы себе поставили. Цивилизацию создает не железо.

Он вдруг подумал о Хуме, о том, как он любит своих детей, как терпит то, что терпеть невозможно: любовь своей жены к старому другу. «Вот это и есть цивилизация — иметь силы во имя радости претерпеть любую боль. Хум понял это гораздо раньше меня, — подумал Стипок. — Он понял, что если изгнать из жизни боль, то вместе с ней уйдет надежда на радость. У боли и радости один источник. Убей одно — умрет все. Почему никто мне не объяснил этого, когда я был еще молод? Тогда бы я действовал совершенно иначе, оказавшись на этой планете Язона. Я был дьяволом, тогда как вполне мог стать ангелом».

— Люди, — внезапно произнесла Дильна.

— Что?

— Цивилизация. Это люди, а не металл, не пергамент и даже не идея.

Викс сел на траву и откинулся на спину:

— Стипок, признай! Ты говорил чепуху, когда утверждал, что Язон — обычный человек. Ты и Язон — боги. Вы вместе создали этот мир, а сюда пришли, чтобы посмотреть, что мы из него сделаем. И чтобы поудивлять нас немножко своими чудесами.

— Ну, мои чудеса до сих пор никого не впечатлили.

— Ничего, надо же сначала попрактиковаться, чтобы получилось. Это как дерево срубить. Первые удары всегда ложатся неверно. Именно тогда люди и лишаются своих ног-рук — во время первых ударов, еще не успев приноровиться.

— Неловкий божок получился. Да, признаюсь, наверное, я именно таков.

Он хотел было добавить: «Впрочем, таковы и вы сами», как пронзительный крик прервал их беседу. Все разом вскочили на ноги.

— Кэммар! — воскликнул Хум, и все заметили, что мальчик действительно куда-то подевался. Они разбежались в разные стороны: Стипок бросился к северо-западной оконечности гребня и вздохнул от облегчения — трава была недавно примята маленькими ножками. И тут же с ужасом заметил, что следы уходят к недалекому обрыву. Внешняя благополучность этого края обманула их бдительность. На краю обрыва виднелась четкая полоса земли, несколько клочков травы было вырвано, видимо, Кэммар пытался ухватиться, когда падал. «Если бы мы следили за ним, если бы были рядом, то вполне могли бы спасти его».

— Сюда! — крикнул Стипок.

Остальные немедленно бросились к нему.

— Стипок! Где папа?! Мне очень больно! — донесся вдруг из-за края обрыва голос Кэммара.

Хум отбежал вдоль пропасти немного дальше, чтобы разглядеть, что творится внизу.

— Кэммар! Ты меня видишь?!

— Папа! — разрыдался Кэммар.

— Он упал на выступ! До него можно дотянуться! — выкрикнул Хум. — Я могу вытащить его. Стипок и Викс, держите меня за ноги. Дильна, встань на краю, чтобы помочь мне, когда я подтащу его. Только осторожнее, край может обвалиться!

Уверенность, с которой Хум отдавал распоряжения, несколько успокоила их. «У нас все получится», — подумал Стипок. И постарался не обращать внимания на коварную мыслишку, шепчущую, что, может, Хум всего лишь храбрится, поскольку не хочет верить, что спасти сына невозможно. И все-таки мальчик был жив. Два других ребенка уже упокоились в пустыне, под каменными пирамидами; Дильна снова была беременна, но еще не родившийся ребенок ни в какое сравнение не шел с Кэммаром, самым старшим и единственным выжившим. Они должны попробовать, пусть даже рискуя собственными жизнями.

Хум лег на спину, а не на живот. Это означало, что Кэммар находился очень низко, и просто согнувшись в поясе, его было бы не достать — надо было согнуться в коленях. Стипок с Виксом ухватились за его ноги и медленно начали опускать Хума в пропасть.

— Почти достал! — крикнул Хум. — Еще чуточку опустите.

— Не можем, — с трудом выдохнул Стипок: они уже настолько близко подобрались к обрыву, что ему пришлось поджать под себя ноги, чтобы случаем не свалиться самому. Стипок держал Хума за лодыжку, руки его так и норовили соскользнуть. Однако каким-то образом им все-таки удалось опустить его еще на несколько сантиметров.

— Ну, ну! Еще капельку!

Стипок было собрался запротестовать, но увидел, что Викс с мрачным лицом еще чуть-чуть подвинулся к обрыву. Кто-кто, а Викс не мог допустить, чтобы сын Хума погиб — Стипок знал это, и поэтому, в свою очередь, начал тихонько передвигаться, чтобы выкроить пару-другую сантиметров.

И тут Хум закричал:

— Нет, Кэммар! Не прыгай ко мне! Стой на месте, не прыгай!

Затем раздался пронзительный детский крик, Хум с силой дернулся и упал вниз, вырывая ногу из рук Стипока.

Каким-то чудом Виксу удалось удержать его — из глаз катились слезы, напрягшиеся жилы разрывались от непосильной тяжести. Дильна вцепилась в Викса, чтобы не дать тому упасть. Стипок не мог ему помочь, к краю пропасти было никак не подобраться — ему ничего не оставалось делать, кроме как присоединиться к Дильне и держать Викса, не давая тому последовать за Хумом.

— Сейчас бы нам очень пригодилось чудо, — выдавил Викс.

— Кэммар! — кричал Хум, и голос его эхом отражался от склонов гор. — Кэммар! Кэммар!

— Он даже не понимает, какая опасность ему грозит, — выговорила Дильна, голос ее прерывался от горя, ужаса и отчаяния. Стипок знал, что она сейчас чувствует. Им ведь ничего не грозило. Они дошли до этих холмов, оставив все опасности позади. Что-то случилось с этим миром, что-то пошло не так.

И тогда Викс закричал, его пальцы разжались, и Хум скользнул за край пропасти. Они услышали, как его тело ударилось о скалу; услышали, как оно ударилось еще раз. Недалеко. До дна не долетело. Но все равно его было не достать, никак не достать.

Дильна вскрикнула и ударила Викса. Стипок вклинился между ними и тащил обоих за собой, пока они не начали сами шевелить ногами, удаляясь от зияющей пропасти. И лишь уверившись, что они уже не могут упасть вслед за Хумом, он закричал:

— Хум!

— Он умер, умер! — рыдала Дильна.

— Я пытался удержать его, действительно пытался! — всхлипывал Викс.

— Я знаю, — ответил Стипок. — Вы оба пытались. Каждый делал, что мог. Каждый делал, что в его силах.

Затем он снова окликнул Хума.

На этот раз Хум ответил, голос его звучал устало и испуганно:

— Стипок!

— Ты далеко от края?! — крикнул Стипок.

Хум рассмеялся, однако в смехе его прозвучали истеричные нотки:

— Далеко. Не спускайтесь сюда. Вы не сможете. Отсюда нет дороги ни вниз, ни наверх.

— Хум, — промолвила Дильна. Однако это был не крик, скорее молитва.

— Даже не думайте спускаться сюда! — еще раз крикнул Хум.

— Но, может, ты все-таки попробуешь забраться назад? Или спуститься вниз?

— По-моему, я сломал спину. Ног я не чувствую. Кэммар погиб. Он прыгнул, хотел ухватиться за мои руки. Я дотронулся до его пальчиков, но не смог удержать. — Хум расплакался. — Они умерли, Стипок, все до одного! Как ты думаешь, теперь все честно?

Стипок понял, что он хочет сказать: жизни детей — во искупление его вины в смерти отца.

— Справедливость, она не такая, Хум. Это нечестно.

— А что же это еще, как не справедливость?! — выкрикнул Хум. — Всяко уж не милосердие! — Пауза. — Думаю, долго я не продержусь. Я цепляюсь за скалу одними руками.

— Нет, Хум, не отпускай руки! Не падай.

— Я уже думал об этом, Дильна, но рано или поздно мои руки все равно разожмутся...

— Нет! — закричала Дильна. — Нет, только не падай!

— Я пытался удержать тебя! — крикнул Викс.

— Я знаю. Это все Стипок виноват, козел старый. Стипок, давай свое чудо.

— Какое чудо? — растерялся Стипок.

— Очисти нас.

Стипок глубоко вздохнул и громким голосом, чтобы Хум слышал его, заговорил:

— Хум сказал мне, что если он... что если с ним когда-нибудь что-то случится...

— Продолжай! — раздался голос Хума.

— В общем, еще с тех самых пор, как был зачат Кэммар, он знал. И все равно любил вас обоих. Любил детей. Он... простил. Я верю ему. В нем нет гнева.

Дильна плакала:

— Это правда?

— Да, — ответил Хум.

Викс повалился лицом в траву и разрыдался, как дитя.

— Все, сейчас я отпущу руки, — сказал Хум.

— Нет, — ответила Дильна.

Поэтому он продолжал висеть. Однако им нечего было сказать друг другу, а сделать они ничего не могли. Они просто стояли на вершине холма и ждали — слушали, как плачет Викс, как птицы перекликаются в глубине каньона.

— Мне придется разжать руки, — сказал Хум. — Я очень устал.

— Я люблю тебя! — воскликнула Дильна.

— И я! — крикнул Викс. — Это я должен был погибнуть, а не ты!

— *Теперь* ты думай об этом, — ответил Хум. И разжал руки. Они услышали, как он скользнул по камню. И все смолкло.

— Хум! — позвала Дильна. — Хум! Хум!

Но он не ответил. Так и не ответил.

После того как все слезы были выплаканы, они поднялись, взвалили на спины мешки и начали карабкаться вверх по пологим склонам, постепенно приближаясь к сменяющему горы лесу. Вскоре они набрели на реку, построили плот и долго-долго плыли, потеряв счет дням.

Зазимовали они к северу от реки, там же родился ребенок Дильны. Она хотела назвать мальчика Хумом, но Стипок не позволил ей этого. По его словам, она не имела права отягощать младенца своей виной. Хум простил их, теперь они ничего ему не должны, так зачем делать из ребенка постоянное напоминание о погибшем муже и друге? Поэтому она нарекла его Водой. Весной они перевалили через горы и вошли в Небесный Град, где были приняты с превеликой радостью.

— Лэрд, — позвал его Язон.

Лэрд проснулся. Он сидел на спине у лошади. Жители деревни столпились вокруг.

— Лэрд, ты привез отца домой.

Лэрд обернулся, чтобы посмотреть на отца, лежащего на дровнях. Над ним уже склонилась Юстиция. Сала стояла рядом и кивала.

— Он жив, и смерть скорее всего ему не грозит, — произнесла она спокойным, почти взрослым голосом. — Его спасло то, что рука была вовремя отрублена.

— Он сам мне приказал сделать это, — пробормотал Лэрд.

— Он правильно тебе приказал. — Странно было слышать эти слова, исходящие из уст его младшей сестренки. Видимо, она тоже ощутила это, поскольку слезы хлынули из ее глаз, словно вода из пробитого бурдюка. — Папа, папа!

Она опустилась рядом с санями на колени, обвила отца своими ручонками и принялась целовать его лицо. Он проснулся и, открыв глаза, произнес:

— Он отрубил мне руку, черт побери этого мальчишку, он отрубил мне руку.

— Не обращай внимания, — прошептал Язон Лэрду. — Он не в себе.

— Знаю, — кивнул Лэрд. Он соскользнул с лошади и наконец-то ощутил под дрожащими ногами землю. — Этот день продолжался вечность. Отведи нас домой.

До деревни оставалось не более километра. Узнав о происшедшем, Язон перерезал упряжь, бросил дровни и помчался назад, дорогой поднимая по тревоге всех лесорубов. Те тоже выпрягли своих лошадей и поехали следом. По пути они наткнулись на шестерых мужчин, которые уже отвезли бревна в деревню и теперь возвращались в лес, чтобы помочь друзьям. На место они прибыли почти одновременно с Лэрдом.

— Меня вела Юстиция? — спросил Лэрд. — Всю дорогу мне снились сны. Про Стипока, Хума...

— Она всего лишь послала тебе сон, но вести тебя она не могла. Да и как? Она же не знает дороги.

— Тогда как я добрался сюда?

— Может быть, в тебе скрываются силы, о которых ты даже не подозреваешь.

Язон помог ему войти в дверь гостиницы. Мать крепко, чуть ли не яростно, обняла его, после чего взволнованно-настойчивым голосом спросила:

— Он жив?!

— Да, — еле выговорил Лэрд. — Его везут сюда.

Язон довел его до постели, которая, уже разобранная, ждала у огня. Забравшись в нее, он лежал и дрожал, тогда как четверо мужчин вносили в дом искалеченное тело кузнеца. Он был без сознания. Язон сразу заварил настой из трав и принялся обрабатывать обрубок руки. Пока отец был без сознания, Язон вправил ногу и наложил шину.

Все это время Юстиция безмолвно наблюдала за ним из кресла. Лэрд время от времени поглядывал на нее, хотел посмотреть, как она переносит боль его отца. Но она вроде бы ничего не замечала. А ведь прекрасно знала, что может исцелить его одной своей мыслью, исцелить и даже вернуть руку. Лэрду захотелось крикнуть ей: «Если ты можешь исцелить его и не делаешь этого, значит, ты одобряешь то, что случилось!»

Она не стала мысленно отвечать ему. Вместо этого к нему подошла Сала и, погладив его лоб, произнесла:

— Не пытай меня, Ларелед. Думай о Хуме и Кэммаре и радуйся, что добрался до дома.

Он поцеловал ручку сестренки и прижал ее к груди.

— Сала, прошу тебя, говори со мной от себя.

Сала сразу разрыдалась:

— Я так боялась, Лэрд. Но ты все-таки привез папу домой. Я знала, ты сделаешь это.

Она поцеловала его в щеку. И вдруг на ее лице отразилась тревога:

— Но, Лэрд, ты же забыл привезти его руку. Как он теперь будет ковать железо?

Лэрд тихо заплакал. Он оплакивал отца, себя, Хума и Кэммара, Бессу и Даллата, Викса и Дильну, Эйвена, всех невинных и виновных, все страдания на свете. «Я никогда не догадывался, насколько люблю отца, пока не увидел его лежащим на краю смерти. Может, я никогда и не любил его, пока он чуть не погиб». Эта мысль потрясла его — пока он не понял, что это подсказка Юстиции. И с этой мыслью он заснул. Он не мог убежать от них — слишком тяжела была расплата за каждую попытку. Каким-то образом он добрался до дома, он привез отца живым. На тот момент этого было достаточно, теперь он ничего не боялся, даже видений, даже сна.

Глава 9

ФЕРМА ВОРТИНГА

Несколько дней отец спал мертвым сном, даже не шевелясь. Но на все вопросы о его самочувствии Сала неизменно отвечала:

— С ним все будет хорошо, он поправится.

«Поправится, — подумал Лэрд, — будет как новенький, вот только его левая рука вдруг куда-то подевалась. Он никогда не забудет своего сына, который шатался как пьяный и рубил дерево, как младенец. Это я отнял его руку. Дело не в том, что именно я махнул топором, отрубая ее — Господь знает, в этом нет моей вины, — а в том, что именно из-за меня дерево упало не в ту сторону. Из-за меня оно запуталось в ветвях других деревьев».

Он старался не винить в происшедшем Язона и Юстицию. «А ведь это они слали мне сновидения о гибнущих отцах, это из-за них я так перепугался, что всю ночь пролежал не сомкнув глаз, в результате чего мой отец все равно что умер». Может, это с самого начала входило в их планы? Может, они специально показали ему смерть Эйвена, чтобы он искалечил собственного отца? Но что тогда означает смерть Хума? Какие еще сюрпризы его ждут? Однако когда он так думал, ему становилось стыдно, поскольку только благодаря сну о путешествии Стипока в Небесный Град он продолжал двигаться вперед. Без помощи сна он никогда бы не привез отца домой.

Жители деревни чуть ли не на руках его носили. Лэрд, великий лесник, который спас жизнь своему отцу и, преодолев незнакомые чащобы, привез однорукого Эльмо домой. Медник все время обещал написать песнь об этом подвиге, тогда как остальные мужчины, которые раньше

смеялись над Лэрдом, теперь обращались к нему с невиданным уважением. По сути, даже с благоговением: с почтенным трепетом умолкая, когда он входил в комнату, каждый раз спрашивая его мнение, как будто он обладал неизмеримой мудростью. Лэрд вежливо отвечал на эти знаки внимания — с чего бы это ему отказываться от их любви? — но каждая похвала, каждая почесть ранила его глубоко в сердце, ибо он-то знал, что заслужил скорее хулу, нежели хвалу.

Убежищем для него стала книга. Слишком много надо записать, твердил он себе — о Стипоке, о Хуме, о Виксе и Дильне. Поэтому целыми днями он сидел, закрывшись в комнате Язона, писал и писал. Вниз он спускался только за тем, чтобы поесть и исполнить домашние обязанности за отца, который, бледный как смерть, лежал на своей постели. Хотя, как правило, и этого не требовалось, поскольку, стоило Лэрду только подумать о том, что еще следует сделать, как он обнаруживал, что Язон уже почти управился с этой работой. Лэрду было нечего сказать Язону, и он молча удалялся. Очевидно, Язон видел в мыслях Лэрда потребность трудиться и исполнял за него всю домашнюю работу, чтобы Лэрд мог вернуться к книге. Иногда в душу к Лэрду даже закрадывалось подозрение: а не подстроили ли они все это специально, чтобы он побольше времени проводил за письмом? «Отлично, — думал он, — я *буду* писать, буду писать как можно быстрее. А когда я закончу, можете убираться на все четыре стороны».

Разговор состоялся в тот день, когда снегу за окном навалило целые сугробы, а дом был наполнен запахами жарящихся колбасок. Склонившись над столом, Лэрд в конце концов добрался до описания смерти Кэммара и Хума. По лицу катились слезы, но он сожалел не об умерших — сердце его тронули слова прощения, с которыми перед смертью Хум обратился к Виксу и Дильне. Постучавшись и не услы-

шав ответа, в комнату вошел Язон — по крайней мере он не стал притворяться, будто бы не знал, что Лэрд совсем не рад его приходу.

— Я знаю, что ты не хочешь меня видеть, — сказал Язон. — Но я все равно пришел. Ты написал обо всем, что знал.

— Мне не нужны больше ваши сны.

— Тогда тебя очень обрадует следующая новость. Ты закончил все истории, которые у меня были и которые стоило увидеть собственными глазами. Теперь я расскажу тебе, как я расстался со своим народом, а затем...

— А затем я отдам тебе пергамент, и вы уберетесь с глаз моих долой.

— А затем Юстиция поделится с тобой воспоминаниями, которые пронесли через поколения мои потомки. Такими, как повесть о меднике.

— Не нужны мне ни ваши сны, ни ваши рассказы.

— Не сердись ты так, Лэрд. Ты должен радоваться тем сновидениям, которые видишь. К примеру, ты можешь извлечь урок из жизни Хума и, вместо того чтобы обвинять себя, меня и Юстицию в страданиях отца, стать таким же великодушным, как Хум, и простить нас всех.

— Да что ты знаешь о Хуме? Что ты понимаешь в нем? — презрительно фыркнул Лэрд.

— Ты забыл, что когда-то я сам отослал мать в колонии, пойдя против ее воли. Точно так же, как ты отрубил руку отцу. В тебе хранится память о каждом страдании, что я перенес за свою долгую жизнь. Узнав Хума, ты полюбил его еще больше — почему меня ты ненавидишь?

— Ты не Хум.

— Ошибаешься. Я Хум — и всякий другой человек, чье сердце продолжает биться во мне. Я перебывал столькими людьми, Лэрд, перевидал столько страданий...

— Тогда почему ты продолжаешь причинять нам боль? Почему не оставишь меня в покое?

Язон ударил по стене кулаком.

— Дурак, неужели ты не понимаешь, что я переживаю сейчас то же самое, что и ты?! Мне передаются все твои чувства! Я знаю тебя и люблю, но если бы я мог помочь тебе, если б мог взвалить на свои плечи хоть часть твоей ноши и исполнить то, что должно быть исполнено...

— Что должно быть исполнено? Чушь собачья! Это все твои желания, не более.

— Верно. И они так же естественны для меня, как для тебя — желание дышать. Пойми, Лэрд, тысячи лет мои дети приглядывали за человеческими мирами, защищали вас от боли и страданий. За все это время, Лэрд, за все эти годы не родилось *ни одного* человека, который бы походил на Хума! Понимаешь меня? Такие люди, как Хум, Викс и Дильна, невозможны во вселенной, где поступок лишен следствия! Ведь Хума ты так полюбил за то, как вел он себя перед лицом страдания. А кем бы он был без страдания? Умелым плотником, и все. Не переживи он побои отца, не увидь, как его отца пожирает пламя, не стань он свидетелем измены жены и смертей Бессы, Даллата и Кэммара — да, не почувствуй он касания пальчиков Кэммара, когда мальчик прыгнул и промахнулся, какая черта в Хуме заставила бы тебя полюбить его? Какое бы в нем было величие? Что значила бы его жизнь?

Страстность речей Язона поразила Лэрда. Последние несколько недель он сохранял невозмутимое спокойствие, и от этого его ярость казалась еще более ужасной. Но напугать Лэрда было не так-то просто.

— Доведись тебе задать этот вопрос Хуму, думаю, он бы ответил, что с радостью пожертвовал бы этим величием ради того, чтобы прожить жизнь в мире и покое.

— Естественно. Каждый человек предпочитает, чтобы у него все шло гладко. Самые отъявленные негодяи посвящают свою жизнь достижению этой цели — только бы у них

все было хорошо. Разумеется, индивидуальные предпочтения не имеют ничего общего с тем, о чем я говорю.

— Конечно, ты-то никогда не относился к людям, которые ради ближнего могут пожертвовать всем. Правда, иногда ты все-таки шел на уступки — когда намеревался воспользоваться этим ради своего грандиозного проекта.

— Лэрд, — сказал Язон, — на самом деле люди вовсе не так индивидуальны, хотя все мы очень любим говорить о собственной исключительности. До того, как я появился в деревне, что ты знал о себе за исключением того, что говорили домашние? Их рассказы о твоем детстве стали твоим взглядом на себя со стороны; ты подражал отцу и матери, от них учился, что значит быть человеком. На твою жизнь влияли поступки и высказывания других людей — тебя ломали и корежили.

— Так что же я, машина, которая подчиняется всем в округе?

— Нет, Лэрд. Как и в Хуме, в тебе есть нечто такое, что заставляет тебя сделать выбор, принять решение — это я, а это не я. Хум ведь мог стать убийцей, не так ли? Или он мог обращаться со своими детьми так же, как отец обращался с ним. Та часть тебя, которая выбирает, и есть твоя душа, Лэрд. Вот почему мы не можем переписать воспоминания одного человека в мозг другого — с некоторыми решениями просто невозможно смириться, ты не можешь вынести воспоминания о каком-то своем поступке, поскольку знаешь — этого ты бы никогда не совершил. Поэтому ты не машина. Но тем не менее ты часть полотна, громадной картины; твоя жизнь толкает других на решения. Тебя почитают за то, что ты спас отца — неужели ты не понимаешь, что своим поступком ты наполнил смыслом жизни множества людей? Кое-кто завидует тебе — но только не твои почитатели. Они любят тебя за твою доброту, и это насыщает добром их самих. Однако если бы не было этой боли, если б не было страха, неужели мы бы стали жить вместе, соединять

жизни друг с другом? Если бы у наших поступков не было следствий, если бы все вокруг было хорошо и замечательно, тогда бы мы ничем не отличались от мертвецов, потому что были бы машинами, грамотными машинами, хорошо смазанными и работающими безо всяких перебоев; отпала бы нужда в мыслях и в ценностях, потому что нам не надо было бы ничего решать и нам нечего было бы терять. Тебе так нравится Хум, потому что ты восхищаешься его мужеством, проявленным перед лицом боли и страданий. А полюбив его, ты частично стал им, и те, кто знает тебя, тоже отчасти превратились в него. Вот так мы и выживаем в этом мире — мы воскресаем в людях, которые становятся нами, когда мы уходим. — Язон встряхнул головой. — Я вот говорю-говорю, но ты все равно ничего не понимаешь.

— Я все отлично понимаю, — возразил Лэрд. — Вот только не верю.

— Если бы ты понял, Лэрд, то поверил бы, потому что это правда.

В уме Лэрда раздался голос Юстиции:

«Язон рассказал тебе только полправды, вот почему ты не веришь».

Язон, должно быть, тоже услышал ее слова, потому что лицо его потемнело от ярости. Он прислонился к стене, осел на пол и бессильно прошептал:

— Ну да, я не человек. Пусть будет так.

— Как это не человек? — удивился Лэрд.

— А вот так. Юстиция знает меня лучше всех на свете. Именно это она и сказала Судьям: я не человек.

— Но ты из плоти и крови, как и все остальные.

— Но во мне отсутствует сострадание.

— Вот это верно.

— Я *чувствую* то, что чувствуют другие, но не испытываю к ним жалости. Я увидел вселенную, из которой была изгнана боль, и сказал: «Экая мерзость, немедленно переделайте». А затем остался в ней, поскольку я предпочитаю,

чтобы меня окружали страх и страдание, я хочу жить в мире, где присутствует агония сродни тем чувствам, что испытывал Хум, — а значит, в ней может появиться такой человек, как Хум. Я лучше буду жить в мире, где человек способен на такое безумство, как выйти голым в пургу, спасая какую-то неведомую честь, где кузнец, сделав выбор, приказывает: «Отними мне руку и спасешь мне жизнь». Где женщина, увидев, что муж ее вернулся домой без руки, полумертвым, идет к своему любовнику и говорит: «Я больше никогда не приду к тебе, потому что теперь, если мой муж узнает о наших встречах, то может подумать, что я разлюбила его из-за того, что он стал калекой».

Лэрд судорожно сжимал в руке дрожащее перо:

— Ненавижу тебя.

— Твоя мать — женщина, не более того. До Дня, Когда Пришла Боль, у нее не было лица.

— Мы были счастливы и без этих твоих «лиц».

— Ага, а мертвецы вообще счастливее всех. Они не чувствуют боли, не испытывают страха, и самый лучший человек — это тот, кто больше всего похож на реку, текущую туда, куда повелит ей земной уклон.

— Ты радуешься людской боли, только и всего. Вот почему ты пришел сюда — чтобы вновь насладиться ею.

Эти слова прозвучали действительно обидно.

— Думай обо мне, что хочешь, — промолвил Язон. — Но позволь спросить тебя: какой из посланных мною снов ты бы больше всего хотел забыть? Какой из них ты хотел бы навсегда изгнать из своей памяти, как будто его и не было вовсе? Кого из этих людей ты предпочел бы никогда не знать?

— Тебя, — ответил Лэрд.

Голова Язона дернулась, как будто его ударили.

— Кроме меня. Ответь, и Юстиция уберет его из твоей памяти точно так же, как ты стираешь рисунок, нацарапанный в пыли, — так кого?

— Вы уже достаточно наигрались с моей памятью. Оставьте меня в покое.

— Ты дурак. Всю жизнь тебя всячески опекали и защищали, изменяя твои воспоминания. Теперь же ты просишь оставить тебя в покое, однако ненавидишь меня за то, что именно так мы и поступили. Так чего же ты желаешь, мальчик, — безопасности или свободы?

— Я просто хочу побыть один.

— Хорошо, Лэрд, как только смогу, я отстану от тебя, и твоя сокровенная мечта свершится. Однако нам еще надо закончить книгу. Поэтому слушай, и я расскажу оставшуюся часть своей истории. Никаких снов — твоя драгоценная память ничуть не пострадает. Ты готов?

Лэрд отложил перо.

— Давай, только побыстрее.

— Хочешь узнать, какова дальнейшая судьба Стипока и его друзей?

Лэрд пожал плечами:

— Рассказывай что хочешь.

Он знал, что эти слова еще больше выведут Язона из себя, но именно этого он и добивался.

— Викс и Дильна, конечно же, поженились. Я забрал их к себе в Звездную Башню, и каждый из них отслужил по несколько сроков мэром города. Я заставил Стипока написать несколько книг о всевозможных машинах, топливе и вообще обо всем — по этим книгам должны были учиться последующие поколения. Затем я забрал на корабль и его; впоследствии он дважды занимал должность мэра. До того как я забрал его, он женился и успел воспитать одиннадцать детей. Спустя три сотни лет население Небесного Града уже насчитывало около двух миллионов человек. Хотя этот город вовсе не походил на Капитолий — в центральной его части жило, ну, может, тысяч двадцать. Люди расселились по всей северной равнине, углубились в леса и горы к югу

от Звездной реки — добрались даже до устья Небесной реки. Их связывала единая культура и единая речь — они были единым народом. Тогда-то я и решил, что они уже достаточно твердо стоят на ногах. Они научились всему, чему я мог научить их, поэтому я вывел из Звездной Башни всех Спящих, отобрал несколько десятков из тех, кто никогда не испытывал на себе действие сомека, и принялся рассылать их во все стороны колонии — каждое такое поселение насчитывало порядка пяти тысяч человек. Стипок по морю устремился к пустыне, где некогда потерпел неудачу; Капок и Сара двинулись со стадом из двух тысяч овец на равнины к востоку от пустыни Стипока; Вьен, работник по бронзе, направился в сторону северо-восточных отрогов, а Викс и Дильна повели своих людей на восток. Нойок добрался до лежащих на западе островов, где его скот мог безмятежно пастись, огражденный самим морем. Линкири и Хакс основали по городу на противоположных концах Леса Вод, на той реке, по которой Стипок, Викс и Дильна добирались до Небесного Града. Это что касается судьбы тех, кого ты знаешь, — а ведь было и множество других. Кроме того, одно поселение образовалось независимо от меня — на южных островах поселились люди Биллина. Насколько я слышал, они превратились в дикарей значительно раньше остальных. Но навязанный мной мир не мог существовать вечно. Началась торговля, за которой последовали войны; в далекие земли устремились экспедиции, появились тайны. Все чаще стала звучать ложь, тогда как правда большей частью скрывалась. И все-таки воспоминания о золотом веке Язона бережно хранились и передавались из поколения в поколение. То были времена мирного сосуществования, а люди любят тосковать по навсегда ушедшему золотому веку. Впрочем, тебе-то что рассказывать?

— Во всяком случае, я горюю не по тебе, — огрызнулся Лэрд.

— Когда последние колонисты покинули Небесный Град, я поднял свой корабль с того места на Первом Поле, где он простоял долгие века. Судно уже не могло летать меж звезд, но это мне было и не нужно. Я вывел его на орбиту, после чего лег в сон. И проспал пятьдесят лет.

— Устроился там, как Бог на небесах, — прокомментировал Лэрд. — Лишь время от времени поглядывал сквозь облака, как там поживает твой мир.

Не обратив внимания на слова Лэрда, Язон невозмутимо продолжал:

— Настоящая работа началась только после того, как я проснулся. Ведь в мою задачу не входило сотворение некоей утопии — я всего лишь хотел научить людей, как работать, процветать и жить, осознавая последствия собственных поступков. Теперь я должен был заняться кое-чем другим. Я чувствовал, что уже подхожу к сорока, да и выглядел я, как сорокалетний, а детей у меня еще не было. Дело в том, Лэрд, что мир Вортинга должен был стать местом, где мой дар будет расти и развиваться. Там он должен был прижиться и стать чем-то большим.

Поэтому я погрузил на челнок кое-какое оборудование и приземлился в самой дремучей части Леса Вод, неподалеку от Западной реки. Я выбрал это место специально — ни один человек просто так не забрел бы туда, дорог не было и в ближайшем будущем не предвиделось. Я очертил круг десять километров в диаметре и оградил его удерживающим барьером.

— Я не знаю, что это такое.

— Естественно. Это невидимая преграда, преодолевая которую, разумные создания испытывают очень неприятные ощущения. Птицы пролетают сквозь нее беспрепятственно. Псы и лошади ведут себя несколько беспокойно. А проблем с дельфинами на этой планете никогда не было — это очевидно. Я поместил излучатель в камень и лазером написал на плите:

ФЕРМА ВОРТИНГА

Родом со звезд,
Глаза синее моря.
Язона ты сын,
Знай свою долю.

— Вижу, ты твердо решил покончить с собственным обожествлением, — съязвил Лэрд.

— Не я начал его — и ты это знаешь, Лэрд. Но я мог воспользоваться им, почему нет? Каждое поселение знало легенду о Язоне, который поднял Звездную Башню в небеса и который когда-нибудь обязательно вернется. Мне надо было всего лишь чуть-чуть изменить ее. За помощью я обратился к Стипоку — не к нему самому, потому что Гэрол к тому времени уже умер, а к его народу. Мэром тогда был его внук по имени Железо. Я не стал открывать им, кто я такой, всего лишь попросил разрешить пожить рядом с ними. Однако люди не слепые — они сразу заметили мои голубые глаза. Моментально пошли слухи, ко мне начали приходить с вопросами, однако я так и не признался, что я тот самый Язон. Прожил я там всего шесть месяцев, но все же успел поведать несколько историй. Этого было достаточно, чтобы по миру распространилась весть, что когда-нибудь к ним явится мой сын — я хотел предостеречь их, чтобы они не ненавидели и не убивали моих детей, когда встретятся с ними. Ты должен помнить, что половину жизни — на тот момент большую половину — я прожил в страхе, что кто-нибудь узнает во мне Разумника и меня тут же убьют.

Через шесть месяцев я женился на дочери Железа, которую звали Дождь, и забрал ее на север, на Ферму Вортинга. А да, не помню говорил я или нет, но мой народ не знал, что причудой судьбы фамилия моя Вортинг, или Истинный. Это имя я дал своей ферме и открыл его ограниченному кругу людей, живших в поселении Стипока. Они долж-

ны были следить за моими потомками и защитить мир в случае, если один из моих детей пойдет по пути Радаманда — как-никак в нас текла одна и та же кровь.

Я забрал бедняжку Дождь с собой на Ферму Вортинга. Там у нас родилось семеро детей — это было самое счастливое время в моей жизни. Однако я — не Хум, Лэрд. Я любил своих детей, но любил их меньше, чем все остальное. Думаю, этим я походил на своего отца или, может, на Дуна — мне надо было исполнять свою работу, постоянно учиться; свой долг я ставил выше любви. Ты не ошибся. Все как ты сказал — у меня нет сердца. — По губам Язона скользнула злая усмешка. — По прошествии десяти лет — для меня, Лэрд, это случилось всего год назад — я передал управление излучателем в руки Дождь, научил ее пользоваться прибором и ушел. Я должен был узнать, что получится из всего этого. К чему придет мир. Поэтому я попрощался с Дождь и строго-настрого наказал ей ни в коем случае не покидать Ферму Вортинга — отлучиться можно будет только тогда, когда наступит время выбирать мужа или жену для кого-нибудь из наших детей. Ребенок с голубыми глазами и шагу не мог ступить за барьер, а остальных детей с обычными глазами должны были отослать прочь по достижении совершеннолетия.

— Вот счастливую семейку ты организовал, — пробормотал Лэрд, — заточив детей в такую тюрьму.

— Это было жестоко и отвратительно. Я знал, что они не выдержат неволи. Я просто хотел дать им время — поколения три-четыре, — чтобы число их более или менее выросло. После этого они могли покинуть ферму и отдаться на милость миру. Я не сомневался, что кто-то обязательно восстанет, украдет пульт управления и отключит излучатель. Откуда я мог знать, что они будут настолько терпеливы? Возможно, так случилось потому, что согласно данному Дождь наказу каждая хранительница врат еще до своей смерти обязана была назначить следующую хранительницу

из числа своих дочерей или невесток, которая будет контролировать входы-выходы. Если ты помнишь, мой дар передавался от отца к сыну, то есть зависел от пола младенца. Я понятия не имел, что когда-нибудь это правило нарушится — впрочем, действительно долгое время моим даром обладали исключительно младенцы мужского пола. Поэтому ключ от барьера передавался от женщины к женщине — они не обладали моей силой, и поэтому их положение в семье укрепляло обладание пультом управления. Тысячу лет они передавали пульт из рук в руки. Тысячу лет внутри барьера оставались только те дети, которые имели дар заглядывать в людской разум. Вот только я не учел, что изгнанники из Вортинга не будут уходить далеко — лишь немного отойдя от барьера, они основывали собственные фермы, и дочери их становились женами Вортингов. Спустя некоторое время браки между кровными родственниками стали обычной вещью. Моя сила удваивалась и утраивалась. Они стали необыкновенно сильными и в то же самое время необычайно слабыми, они боялись мира и всегда помнили о невидимой стене и камне посредине фермы. Мне следовало предвидеть, что так случится, — но я не предвидел. Я наделил их силами, которыми в воображении человека мог обладать только Бог; но одновременно я уничтожил человечность в их сердцах. Чудо не в том, что они обладали силой, во много раз превышающей мою собственную. Чудо в том, что, когда они наконец покинули Ферму Вортинга, кто-то остался человеком.

— А где был ты, пока твоя прекрасная семейка множилась?

— Я вернулся на корабль, подготовил все и опустил судно на дно моря. Я должен был проснуться только тогда, когда человеческая технология разовьется до такой степени, что меня смогут обнаружить и поднять на поверхность. Или когда остальное человечество наткнется на мой крошечный мирок и разбудит меня. Так или иначе, я посчитал,

что как раз тогда мне и следует проснуться. Конечно, я даже не предполагал, что пройдет пятнадцать тысячелетий, но я все равно бы поступил по-своему. Я должен был узнать, чем все кончится.

Лэрд ждал. Но Язон замолк и не говорил ни слова.

— Что, и это все? Тогда дай мне час, я запишу твою историю, после чего можешь забирать свою книгу и проваливать на все четыре стороны. И чтоб глаза мои больше тебя не видели.

— Мне очень не хотелось бы расстраивать тебя, Лэрд, но это еще не все. Это лишь конец той части истории, которую мог рассказать тебе я. Остальное тебе во сне расскажет Юстиция.

— Нет! — выкрикнул Лэрд. Он вскочил из-за стола, опрокидывая его. Чернила разлились по полу. — Хватит с меня этих снов!

Язон поймал его за руку и буквально швырнул обратно на середину комнаты.

— Ты у нас в долгу, неблагодарный, самолюбивый щенок! Юстиция привела тебя домой, пока ты дремал там на лошади. Ты обязан нам жизнью своего отца.

— Тогда почему она не может просто изменить меня, сделать так, чтобы я *захотел* видеть эти ваши сны?

— Мы думали о таком выходе, — вздохнул Язон, — но во-первых, нам строго-настрого запрещено прибегать к подобным методам, а во-вторых, ты можешь слишком измениться. Кроме того, ты же сам сказал, чтобы мы не лезли к тебе в разум. Осталось совсем чуть-чуть, Лэрд, потому что мы почти закончили. И сны будут уже не такими ясными и четкими, как прежде. Это уже не воспоминания о непосредственном переживании, какими были воспоминания Стипока, которые он передал мне, а я — тебе. Эти истории передавались моей семьей из поколения в поколение, и теперь от них остались лишь отрывки и жалкие кусочки, которые мои потомки сочли достойными запоминания. То, что

тебе приснится сегодня ночью, — самое древнее воспоминание из всех. Прошла тысяча лет с тех пор, как я покинул семью. Это рассказ о том, как мои потомки наконец вырвались из тюрьмы на волю.

— Неужели я обязательно должен увидеть это во сне? Я бы с удовольствием выслушал тебя, — сказал Лэрд.

— Это необходимо воспринимать в виде воспоминания. Если я воспользуюсь словами, ты либо не поверишь мне, либо ничего не поймешь.

В дверь постучались. В комнату заглянула Сала.

— Папа проснулся, — оповестила она. — И по-моему, он ужасно сердится.

Лэрд знал, что спуститься вниз все-таки придется, однако страшно боялся первой встречи с отцом. «Отец понимает, что я натворил». В его память четко впечатался вид искалеченной отцовской руки, нанизанной на острие сломанной ветви. Он до сих пор ощущал, как топор проникает в плоть и расщепляет кость. «Я это сделал», — молча произнес Лэрд. «Это сделал я», — говорил он себе, спускаясь по лестнице. «Это я тебя искалечил», — повторял он, подходя к кровати, где лежал отец.

— Ты, — прошептал отец. — Говорят, это ты привез меня домой.

Лэрд кивнул.

— Лучше бы бросил меня в лесу — и закончил то, что начал.

Холодная ненависть отца была невыносима. Лэрд взбежал наверх и бросился на кровать Язона. Слезы горя и вины хлынули из глаз. Он плакал, пока не заснул. Обнаружив у себя на кровати спящего мальчика, Язон не стал будить его, а улегся на полу, чтобы Лэрд мог увидеть свой сон.

Упряжка волов уныло тащилась по полю. За плугом по ровным бороздам свежевспаханной земли брел Илия. Он не смотрел ни направо, ни налево — покорно следовал за

упряжкой, как будто он и волы были одним животным, одним зверем. И действительно, сейчас скорее волы управляли человеком, нежели наоборот. Ум Илии был занят другим. Сейчас он смотрел на мир глазами своей матери, заглядывал в разум к старухе и впитывал каждую подробность ее неописуемого проступка.

— В глазах Мэттью попадаются черные точечки, — сказала она. Ее глаза, естественно, были карими, поскольку родилась она за стеной. — Он не должен оставаться. Ему нужно уйти.

«Да он и сам не прочь убраться отсюда, вот в чем дело, он хочет уйти, потому что ненавидит это место, ненавидит *меня,* поскольку я сильнее его, он хочет удрать от меня за стену, однако нельзя, нельзя. Хоть в глазах его и встречаются крапинки черного цвета, Мэттью все равно обладает силой Вортинга, силой Истинного, поэтому он обязан остаться; пусть его сила не такая, как у всех, но он все-таки ею обладает: он умеет закрываться от меня. Он может закрывать от меня свой разум, не давая проникнуть к себе в мысли. Сколько существует Вортинг, никто не помнит, чтобы среди нас рождался человек, обладающий силой препятствовать взору наших Истинных глаз. Что он там прячет? Да как смеет он что-то скрывать от нас? Он должен, обязан остаться — такого нельзя выпускать в мир, ведь его дети могут перенять этот дар — и тогда мы лишимся своих возможностей. Он должен остаться».

Увидев, что мать уже потянулась к каминной полке, чтобы взять с нее ключ от стены, Илия молча воззвал к остальным: «Придите. Мать собирается открыть врата. Придите».

И они собрались по его призыву — все голубоглазые мужчины Вортинга, все их жены и дети. Молча, не произнося ни слова, потому что им почти и не требовалась речь, они собрались у низенькой каменной стены, отмечающей границу Вортинга. Когда мать пришла выпускать Мэттью, ее уже ждали.

— Нет, — сказал Илия.

— Решения здесь принимаю я, — ответила мать. — Мэттью не принадлежит вам. Он не умеет видеть то, что видите вы. Он не знает то, что знаете вы. С чего мне удерживать его здесь, слепца в мире зрячих, когда там, за стеной, он будет похож на всех остальных?

— Он обладает силой, и глаза его — голубого цвета.

— Его глаза — глаза бастарда, а его единственная сила — сила жить собственной жизнью. Боже, как бы я хотела обладать такой властью.

Илия увидел себя глазами матери, почувствовал страх, который она испытывала перед ним, и в то же самое время понял, что она не уступит. Это разозлило его, и трава мигом пожухла и превратилась в пыль у его ног.

— Не преступай закон Вортинга, мама.

— Закон Вортинга? Закон Истинного гласит, что я есть хранительница ключа и право на решение принадлежит мне. Кто из вас осмелится оспорить это право?

Конечно, никто. Никто из них не посмеет коснуться ключа. Она яростно нажала на него и открыла врата. На толпу обрушилась волна всепоглощающей тишины, стихли все шорохи, ставшие привычными слуху. Врата открылись, и люди были напуганы этим.

Мэттью двинулся вперед, неся на плече узелок со своими немногочисленными пожитками. В руках он держал топор, на поясе висел нож, а в самом узелке лежали головка сыра, каравай хлеба, небольшой бурдюк с водой да чашка.

Но Илия встал перед ним, преграждая дорогу.

— Пусти его, — приказала мать, — иначе я оставлю ворота открытыми навсегда. Твои дети будут уходить за стену, уходить в далекие земли, и вскоре Ферма Вортинга станет таким же обычным местом, как и лес за этой стеной! Дай ему пройти, иначе я исполню свою угрозу!

И тогда Илия подумал, что неплохо было бы забрать у нее ключ и передать его другой женщине, которая в точно-

сти будет следовать закону, однако остальные, уловив эту мысль, запретили ему это и сказали, что убьют его, если он отважится на такое.

«Вы недостойны чести жить здесь, — прозвучал его голос в их мыслях. — Вы прокляты. И будете уничтожены, поскольку помогли ей преступить закон».

В молчаливом гневе Илия отступил в сторону и позволил брату уйти. Затем он вернулся на поле. Там, где ступала его нога, оставалась пожухлая, сморщившаяся трава, эдакая тропинка смерти. Илия был в ярости, и в нем бурлила смерть. Он видел, что мать заметила его гнев, и это хоть немного порадовало его. Он почувствовал, что двоюродные братья и дядья тоже были встревожены. «Ни разу Вортинг не видел человека, подобного мне. Вортинг не зря наделил меня такой силой — именно сейчас, во времена, когда закон нарушается женщиной, которая не понимает, какую опасность представляет собой ее любимый сыночек. Вортинг создал меня в годину бед, и я не позволю Мэттью избегнуть наказания. Месть поможет свершиться закону».

Он еще не решил, какой именно будет эта месть. Он просто позволил гневу расти. Вскоре мать начала сморщиваться, как трава, ее кожа высыхала и опадала струпьями, язык распух и еле шевелился во рту. Она пила и пила, однако ничто не могло утолить ее жажды. Спустя четыре дня после ухода Мэттью она вручила ключ Арр, жене Илии, которая ни в какую не хотела его брать, — передала ключ Арр и умерла.

Арр в страхе взглянула на Илию и сказала:

— Мне не нужен этот ключ.

— Он твой. Исполняй закон.

— Я не могу вернуть Мэттью.

— Я этого и не прошу.

Про себя Арр сказала:

«Она была твоей матерью».

В ответ Илия также послал ей мысль:

«Мать преступила закон, и Вортинг разгневался на нее. Мэттью тоже преступил закон, и ты увидишь, что сделает с ним Вортинг».

Однако дни сменяли друг друга, и ничего, казалось бы, не происходило. Мэттью ушел недалеко — он бродил среди живших у стены людей, среди братьев, сестер, тетушек и их семей, то есть среди тех, чьи глаза не свидетельствовали своей небесной голубизной о принадлежности к Вортингу, и убеждал их присоединиться к нему. Илия не знал, что у Мэттью на уме — ему было известно только то, что тот говорил остальным. А говорил Мэттью о постройке города, где собирался открыть постоялый двор. Город будет основан в десяти милях к западу, там, где северная дорога пересекает реку и где частенько проходят путешественники. «Мы познакомимся ближе с миром мужчин и женщин», — убеждал он. А самым ужасным из его богохульств было следующее: заложив фундамент своего постоялого двора, он нарек его Вортингом.

В мире существует лишь одно Истинное место, и это место — Ферма Вортинга.

Прошло два месяца, прежде чем люди поняли, насколько страшной будет месть Илии. Ибо за все это время с неба не упало ни дождинки, каждый день солнце немилосердно палило землю. Приятная сухая погода сменилась жаркими днями, а жаркие дни обратились в засуху. На небосводе не было видно ни облачка, тяжелая влажность исчезла без следа, и воздух стал сух, как в пустыне. Губы трескались и распухали; сухой воздух подобно ножу резал горло; река высохла, и скрытые течением мели превратились сначала в острова, затем — в полуострова, после чего вода вообще застоялась. Листья деревьев в Лесу Вод посерели и бессильно поникли, а поля Фермы Вортинга покрылись коркой иссушенной земли. Не помогали ни колодцы, вырытые совсем недавно, ни вода, которую ведрами таскали из ручей-

ка, когда-то бывшего рекой, — растения бурели, чернели и в конце концов умирали.

Это действовали ненависть и гнев Илии; даже он сам не осознавал своих сил.

Дни шли, люди и животные стали слабеть. Тогда жители Вортинга пришли к Илии и обратились к нему с мольбой. «Ты достаточно наказал нас, — сказали ему. — Наши дети... — шептали они. — Пусть пойдет дождь». Но Илия не мог исполнить их просьб. Не он приказал дождю покинуть эти земли; он всего лишь наполнил себя гневом, а изгнать эту ненависть уже не мог, как бы его ни просили, — не то чтобы он сам не хотел этого.

Он даже сомневался, что это дело его рук. Он слышал, как путешественники, останавливающиеся в новой прекрасной гостинице, выстроенной Мэттью, рассказывали, что такие засухи — обычное дело и что вскоре это бедствие закончится жуткой бурей, которая аж крыши с домов посрывает и затопит все вокруг — такое, мол, случается примерно раз в столетие, таким образом обновляется мир.

Другие твердили, что это всего лишь случайность. Дожди, грозы и бури проходили южнее; засуха миновала стороной и Линкири, что раскинулся далеко на западе, и Хакс, что находился к востоку. А Западная река, берущая начало на Вершине Мира, быстро и весело бежала мимо Хакса, чтобы начисто высохнуть, достигнув их края. «Я сказал, что вы попали в самый центр засушья, — повторяли все без исключения путешественники. — Случайность, просто не повезло».

Дети начали болеть, а поскольку оставшуюся воду приберегали для них, смерть стала косить животных. Белки падали с деревьев, как листья, — их трупики усеивали поля. Крысы дохли под полами, а псы терзали их останки, чтобы напиться крови и прожить еще один час. Лошади околевали прямо в стойлах, а быки, сделав один-два шага, падали замертво.

«Если это моя вина, я хочу, чтобы все это закончилось. Если я вызвал эту засуху, то пусть пойдет дождь». Но сколько бы он ни твердил эти слова, сколько бы ни кричал, обращаясь к небесам, засуха только набирала силу. Жара, ставшая невыносимой, все усиливалась. По лесу бродили специальные команды, которые на месте убивали того, кто смел развести костер; даже в домашних очагах запретили зажигать огонь, поскольку малейшая искра могла спалить Лес Вод от края до края. Через Небесные горы, с низовья реки и с самой Вершины Мира устремлялись в Лес Вод повозки, наполненные кувшинами и бочонками с водой. За бочонок можно было купить ферму, за кувшин — дом, за чашку — ребенка, а за глоток — тело женщины. Но вода означала жизнь, а следовательно, стоила того.

Братья и дядья пришли к Арр и сказали:

«Открой врата и дай нам уйти. Мы должны направиться туда, где продается вода. Даже если придется продать всю Ферму Вортинга, мы пойдем на это ради спасения собственных жизней».

Но Илия, разгневавшись, прогнал их. Что человеческая жизнь по сравнению с Фермой Вортинга?

В ответ они пригрозили ему смертью и привели бы свой приговор в исполнение, если б один из них не воспрепятствовал этому. Что бы Илия ни сотворил с нашим миром, сказал этот человек, он должен остаться в живых, чтобы вернуть все на свои места.

«Чего ж ты ждешь? — наконец спросили они. — Либо убей нас сразу, либо позволь уйти — или ты испытываешь наслаждение, глядя, как мы медленно умираем?»

Жена Илии, Арр, и его сыновья Джон и Адам, пили не больше остальных. Однако они добывали влагу как будто из воздуха или же словно высасывали корнями из земных глубин, ибо горло у них не хрипело при каждом вздохе, губы и носы не кровоточили, и они не кричали по ночам,

умоляя о глоточке воды перед смертью. Даже жившие за стеной не страдали так сильно, они хоть могли продать за воду свои души — продать и выжить. А за стену Фермы Вортинга ничто и никто не мог проникнуть.

Однажды Илия услышал мысли Арр — она собиралась открыть врата и впустить продавцов воды. Но Илия прекрасно знал, что творится в сердцах всех его братьев и дядьев, и понимал, что, как только стена откроется, они тут же сбегут, удерут, как Мэттью, и Ферма Вортинга погибнет.

«Она все равно уже погибла, — внушали ему. — Ты оглянись по сторонам. Это ты убил ее».

Но он не дал открыть ворота, и в то же самое время он не мог прогнать засуху.

Наконец, в день, когда горе начало застилать рассудок людей, выжившие понесли все трупы к дому Илии, сваливая тела перед его дверью. Грудные младенцы и дети, матери и жены, старики и юноши — иссохшие трупы образовали поминальный холм во дворе Илии. Он услышал их мысли и запретил им делать это. Он кричал на них, но они все шли и шли. В конце концов его гнев обрел убийственную силу, и они стали умирать, пополняя своими телами то надгробие из мертвецов, которое они же и воздвигли. И вскоре в деревне не осталось ни одного живого человека, за исключением самого Илии, его жены и двоих его детей.

И в агонии ненависти Илия проклял умерших за то, что те сами толкнули его на такой поступок:

«Я не желал вам смерти! Если бы вы встали рядом со мной и удержали моего брата здесь...»

И пока он в ярости кричал на мертвецов, тела их начали дымиться, после чего воспламенились: из животов вырвались струи пламени, конечности заполыхали, как головни, и в небо взметнулся столб дыма. Когда костер вовсю разгорелся, из дома вдруг выбежала Арр и швырнула в огонь ключ, где тот сразу же взорвался — настолько сильно было пламя.

А потом она сама бросилась в груду тел друзей и соседей, которых погубила по приказу своего мужа; всем сердцем она проклинала его — ведь именно он не позволил ей открыть врата и выпустить жителей Вортинга на волю.

Только тогда, охваченный безысходным отчаянием, Илия нашел в себе силы разрыдаться. Только тогда он смог подарить воду миру. В то время как он плакал, а его сыновья смотрели на этот кошмарный костер, на западе вдруг появилось облачко. Сначала оно было маленьким — казалось, его можно прикрыть ладонью. Но Мэттью Вортинг сразу заметил его из башни своей гостиницы, из той самой башни, которая поднималась над верхушками самых высоких деревьев и из окон которой была видна Ферма Вортинга. Мэттью увидел облако и крикнул людям своей деревни: «Глядите, вода!»

Их надежда на дождь ворвалась в разум Илии подобно ярчайшей вспышке молнии, его дыхание перехватило от той силы, что скрывалась в этих надеждах, и он возжелал воды силой всех этих людей, в том числе и своей собственной. Гнев, вина и скорбь при виде того, что он натворил, — эти чувства объединились в нем и воззвали к дождю. Облако выросло, поднялся ветер, и хрупкие ветви деревьев задрожали в предвкушении; раздался гром, молния стремительным зигзагом прорезала мгновенно почерневшее небо, и дождь обрушился на лес, словно воды морские. Река сразу наполнилась клокочущим потоком, землю немилосердно хлестали безжалостные капли, деревья вспыхивали от ударов молний, но дождь быстро гасил случайные пожары.

Затем глазами жителей деревни Илия увидел тот единственный пожар, которому он мог порадоваться. Воспламенилась башня гостиницы Мэттью, и его брат был внутри; однако Мэттью поднял руку, и огонь мигом угас, сгинул, словно его и не было вовсе. «Я был прав, — подумал Илия. — Я был прав, он солгал нам, он мог не только закрываться от

нас, в нем крылись куда большие силы, я был прав, я был прав».

Буря закончилась, и Ферма Вортинга опустела; даже трупы смыло бурными потоками реки. Ключ сгорел, а значит, исчезла и стена; теперь Илии ничего не оставалось делать, кроме как забрать сыновей, покинуть ферму, дойти до гостиницы брата, расположенной в десяти милях от Вортинга, и просить прощения за то, что он сотворил с миром. «И все же я был прав, — повторял он про себя даже тогда, когда брат радушными объятиями встретил его на пороге и жестоко ранил, назвав Илию совладельцем Постоялого Двора Вортинга. — Я был прав, матери не следовало выпускать тебя».

Но он не стал произносить эти слова вслух. В оставшиеся годы жизни он вообще почти не говорил. Он держал язык за зубами даже тогда, когда Мэттью вывел его сыновей на улицу и сказал: «Видите ту вывеску? На ней написано: «Постоялый Двор Вортинга». Это все, что осталось от Вортинга, от Истинного — вы, ваш отец, я, моя жена да мои еще не родившиеся дети. От Вортинга остались только мы, и слава Богу. Это была тюрьма, и наконец мы из нее освободились».

Лэрд проснулся в темноте и увидел силуэт Язона, стоящего на коленях у постели.

— Юстиция сказала, что сон закончился, — улыбнулся Язон. — Тебя зовет отец.

Лэрд поднялся и спустился по лестнице. Мать склонилась над отцом, держа чашку у его губ. Лэрду тоже захотелось воды, однако он не стал просить. Взгляд отца остановился на мальчике.

— Лэрд, — сказал отец. — Мне снился сон.

— Мне тоже, — кивнул Лэрд.

— Во сне я увидел, что ты винишь себя вот за это. — Он поднял культяшку, оставшуюся от руки. — Мне снилось, что ты думаешь, будто я возненавидел тебя. Клянусь Ис-

тинным, это не так. В этом нет твоей вины, я ни в чем тебя не обвиняю, ты по-прежнему мой сын, ты спас мне жизнь, и прости, если я сказал что-то такое, из-за чего ты посчитал виноватым себя.

— Спасибо, — тихо произнес Лэрд. Он подошел к отцу, обнял его и ощутил на своей щеке ласковое касание его губ.

— А теперь иди спать, — повелел отец. — Извини, что я поднял тебя, но я бы не вынес, если бы ты до утра хранил эти чувства в своем сердце. Клянусь Язоном, ты самый лучший сын, что может родиться у мужчины.

— Спасибо, — еще раз промолвил Лэрд.

Он направился было к своей маленькой кроватке у очага, но Язон поймал его за руку и повел наверх:

— Сегодня ночью ты заслужил ложе получше, нежели эта охапка соломы.

— Да что ты?

— Теперь ты хранишь воспоминания Илии Вортинга, Лэрд. Это не самый приятный сон.

— Это что, действительно было? Поселение Стипока тоже постигла засуха, которая закончилась бурей, но ведь ту бурю никто не вызывал.

— Какая разница? Илия верил, что это он вызвал засуху и он же вызвал бурю. Остальная часть его жизни прошла так, как будто все это случилось в действительности...

— Так было это или нет?

Язон мягко толкнул его в постель и укрыл одеялом.

— Лэрд, я не знаю. Это воспоминания о воспоминаниях. Все ли люди Вортинга погибли тогда? Определенно могу сказать одно: все мои потомки с голубыми глазами произошли от Мэттью и Илии, но, может быть, остальных просто выследили и поубивали. Что же касается той бури, то сейчас никто не умеет управлять погодой. Однако Юстиция может проделывать всякие штуки с огнем и водой, с землей и воздухом. Кто знает, может, и был когда-то среди моих

детей человек, который смог учинить такую засуху, что земля превратилась в ад, и такую бурю, что все подумали о конце света. И уж конечно, такая ненависть, какую испытывал он, больше никогда не встречалась. Ни в одной памяти не встретил я подобной ненависти.

— По сравнению с теми чувствами, что испытывал он, — прошептал Лэрд, — моя ненависть к тебе выглядит просто любовью.

— А это она и есть, — улыбнулся Язон. — Все, давай спать.

Глава 10

ПОД ЛИЧИНОЙ БОГА

Отец уже начал вставать с постели, но никто этому не обрадовался. Он хмуро бродил по дому, размахивая оставшимся от руки обрубком и раскачиваясь из стороны в сторону, как дерево на сильном ветру, а если и говорил, то непременно либо рычал, либо огрызался. Лэрд понимал причины его злости, но легче от этого не становилось. Постепенно Лэрд обнаружил, что предпочитает запираться наверху, в комнате Язона, и работать над книгой, а все остальные придумывали собственные способы держаться от отца подальше. Женщины перестали навещать гостиницу, медник стал кочевать из дома в дом, так что вскоре в опустевшей гостиной остались только мать, Сала и Юстиция. Даже мать старалась поменьше видеть отца, все чаще и чаще оставляя его в полном одиночестве. Его гнев и стыд росли с каждым днем, поскольку причину того, что остальные бе-

гут от него, как от чумного, отец видел в собственной увечности.

Исключение составляла Сала. Она неотступно следовала за ним по пятам. Если мать заставляла ее убираться в комнатах, вскоре Сала оказывалась у постели лежащего в мрачных раздумьях отца; если она играла с куколками, они танцевали свой веселый танец у ног Эльмо, сидящего у камина. Взгляд отца останавливался на малышке, и тогда он хоть поменьше шумел и ругался. Когда же он пытался сделать что-нибудь — подкинуть в огонь полено, намолоть гороха на похлебку, — она непременно возникала рядом, поддерживая волочащийся по полу конец бревна, подметая сухой горох, рассыпанный им. И тогда он снова приходил в ярость и, обзывая ее дурой и неумехой, приказывал убираться прочь. Она уходила, но, выждав за дверью, тихонько возвращалась и снова устраивалась где-нибудь неподалеку.

— Если не хочешь навлечь неприятности на собственную голову, — шепнула ей как-то раз мать, — держись от него подальше.

— Но он же потерял руку, мама, — ответила Сала так, будто, по ее мнению, он просто ее где-то оставил.

Однажды вечером, когда в гостиницу зашел поужинать медник и со второго этажа спустился Лэрд, Сала обратилась к отцу, громко объявив:

— Папа, а я видела во сне, куда подевалась твоя рука!

Разговоры мигом смолкли — все с трепетом ждали от отца вспышки гнева. Каково же было общее удивление, когда он спокойно посмотрел на свою дочку и спросил:

— Ну и куда же?

— Ее деревья забрали, — сказала она. — Поэтому теперь ты должен сделать так, как делают деревья. Когда у них ломается ветка, они просто отращивают ее заново.

— Сарела, — грустно прошептал отец, — я ведь не дерево.

— А разве ты не знаешь? Моя подружка может отрастить ее тебе.

И она посмотрела на Юстицию.

Юстиция молча уставилась в крышку стола, как будто не поняла ни слова из разговора. Мгновение превратилось в вечность — взгляды присутствующих были прикованы к Юстиции. Затем Сала расплакалась.

— Почему, почему запрещено?! — выкрикнула она. — Это же мой папа!

— Хватит, — оборвала ее мать. — Садись есть, Сала, и перестань плакать.

Отец хмуро уселся во главе стола.

— Ешьте, — кивнул он и принялся черпать ложкой похлебку, стараясь как можно быстрее закончить ужин.

Язона не было в комнате, но, конечно, не случайно он объявился именно в этот момент. Он подошел к отцу, держа в руках клещи из кузни и пластинку железа.

— По-моему, — сказал он, — из этого получится неплохая коса.

Мать резко втянула в себя воздух, а медник принялся старательно изучать содержимое своей тарелки. Отец, однако, взял кусок железа и, покрутив его, ответил:

— Да нет, слишком короткий для косы.

— Тогда ты должен помочь мне найти такой кусок, из которого получится коса.

— Ко всем прочим своим талантам, Язон, ты еще и кузнец? — невесело усмехнулся отец и потрогал руку Язона, которая была не слабее руки нормального мужчины, однако по сравнению с рукой отца выглядела, как ручка младенца.

Язон, в свою очередь, оценил его мускулы и расхохотался.

— Ну вот и посмотрим, сумеет ли обычный человек, помахав немножко молотом, стать таким, как ты, или надо родиться с твоими руками, чтобы этот молот поднять.

— Ты не кузнец, — возразил отец.

— Может, я на что-то еще сгожусь, устроившись левой рукой кузнеца?

Язон предлагал сделку, а отец умел неплохо торговаться:

— А тебе-то что с этого?

— Практически ничего. Я разве что приобретаю хорошую компанию и могу сделать полезную вещь для мира. Лэрд сейчас пишет о том, чего я не знаю. Я ему не нужен.

Отец улыбнулся:

— Я вижу тебя насквозь, Язон. Но давай попробуем. — Он повернулся к Сале: — Вдруг и две руки сгодятся там, где раньше я обходился одной.

Он вылез из-за стола и принялся натягивать на себя фуфайки и куртки; Язон же помогал ему, причем отец ни разу на него не рявкнул — просто Язон знал, когда отцу нужна помощь, а когда — нет.

Лэрд проводил их глазами и подумал: «А ведь это мне следовало встать рядом с ним в кузне. Но я должен писать книгу Язона, поэтому он занял мое место рядом с отцом». И все же он так и не смог ни рассердиться, ни обидеться на Язона. Даже обычную ревность не удалось вызвать. Он никогда не хотел быть кузнецом. Он едва сдержал вздох облегчения, увидев, что кто-то другой займет его место у горна.

Спустя полчаса домашние услышали радостный звон молота, доносящийся из кузни, и громкие ругательства отца, отчитывающего Язона во всю мощь своих легких. Тем вечером отец гневно носился по дому, яростно кляня тупоголовых идиотов, которые даже удержать ничего не могут и из-за которых получившейся косой можно будет разве что солому косить. Отец снова обрел интерес к окружающим, и жизнь в доме вновь стала более или менее сносной.

А той ночью Лэрду приснился сон о мальчике из далекого прошлого, который, лежа в постели, открывал для себя сердца людей.

* * *

Джон тихо сопел рядом с ним, от него воняло кислым сыром, которого мальчик наелся на ночь, но Адам предпочел не будить его. Пока Джон не спал, Адам не отваживался покидать свое тело. Теперь же он мог спокойно отправлять свой разум скитаться по окружающим домам, не опасаясь, что Джон отвлечет его.

Адам обнаружил в себе этот дар всего несколько недель назад. Он выслеживал белку, надеясь убить ее камнем, и подкрадываясь к зверьку, он беспрестанно твердил про себя: «Не двигайся, только не двигайся». Белки всегда замечали его позднее, чем кого бы то ни было, и он считал, что зверьки не видят его потому, что он настолько ловко и бесшумно умеет подкрадываться. Однако на этот раз белка словно приросла к месту, и даже когда Адам швырнул камень и промахнулся, она не вскарабкалась на дерево. Она по-прежнему сидела и ждала. Уже не прячась, Адам подошел к ней, схватил и ударил о ствол. После этого она вообще больше не шевелилась.

Примерно так же он забавлялся с мальчишками во время купания. Любимым развлечением было топить друг друга в воде, притворяясь, будто тонешь; теперь у Адама это выходило куда лучше, и когда Рэгги нырнул, он заставил его думать, что верх — это низ, и держал под водой, пока легкие мальчика не стали разрываться от недостатка воздуха. После чего Адам отпустил его. Обливаясь слезами, до смерти перепуганный Рэгги стрелой вылетел из воды и ни в какую больше не хотел купаться, как бы ни уговаривали его остальные. Однако вскоре мальчишки поняли, что творится что-то неладное, поскольку еще несколько из них чуть не захлебнулись. Тогда они испугались и заявили, что в воде поселилось чудовище и что они никогда больше не будут здесь купаться.

Но все это были детские шуточки. Теперь Адам развлекался несколько по-иному. Бодрствуя ночи напролет, он

бродил по умам жителей Города Вортинга. Перво-наперво он наведался к Еноху Бочкарю — Адам любил забавляться с ним, когда тот навещал свою жену. Прошлой ночью перед самой развязкой он лишил его силы, и Енох сразу обмяк, как вялый лист. Сегодня он удерживал его до последнего, целый час не давая кончить, — он издевался над ним до тех пор, пока жена, которая давным-давно уже удовлетворилась, не запросила у мужа пощады. И как ни ругался Енох Бочкарь, как ни призывал Язона, желание, переполняющее нижнюю часть его живота, так и не дало ему заснуть.

Затем Адам отыскал тетушку Мельничиху, которая держала кошек. Вчера он заставил ее любимицу зашипеть и разодрать ей руку в кровь, так что тетушка полночи провела в рыданиях. Сегодня он подучил ее сунуть голову кошки под жернов. Прежде один вид раздавленной кошки удовлетворил бы Адама, но сейчас он испытывал куда большее удовольствие, заглядывая в мысли тетушки Мельничихи и слушая ее причитания: «Что же я натворила?! О Господи, что я наделала!»

И Рэгги — подшутить над ним всегда было приятно, поскольку, во что бы мальчишки ни играли, он всегда верховодил. Адам заставил Рэгги вылезти из кровати и снять ночную рубашку, после чего направил его к дому Мэри, дочери рыбака, и поставил у самой двери, где заставил его играться с собой, пока отец Мэри не выбежал и не прогнал мальчишку пинками и проклятиями. О да, ночка выдалась здоровская.

В мечтах своих он превращал каждого человека, в разум которого проникал, в маленький иссохший труп и добавлял его тело к куче других мертвецов, сваленных у дверей. Ну как, папа? Хватит или еще?

Он заставил Анну Пекаршу думать, будто в ее грудь въедаются маленькие паучки, и она принялась царапать и драть себя с такой силой, что вскоре ее высокие холмики превра-

тились в месиво из крови и мяса. Ее мужу даже пришлось связать ей руки.

Ну что, хватит?

Сэмми Брадобрей отправился в свою парикмахерскую и затупил все свои лезвия.

Еще?

Ведди, та, что живет выше по улице, укачивала дремлющего ребенка, и вдруг младенец перестал дышать, и что бы она ни делала, ничего не помогало.

Хватит.

Просто перестал дышать и...

— Прекрати.

Адам открыл глаза. В дверном проеме стоял отец. Рядом с Адамом беспокойно зашевелился Джон.

— Прекратить что, пап? — невинно осведомился Адам.

— То, что ты получил от Язона... Не для того был дан этот дар.

— Не понимаю, о чем ты. — В доме вверх по улице младенец вновь задышал, и Ведди расплакалась от облегчения.

— Ты мне не сын.

— Я всего лишь играл, папа.

— С болью других людей? Если ты еще раз посмеешь поиграться с кем-нибудь, я убью тебя. Вообще мне прямо сейчас следовало бы тебя убить.

Сжимая в руках кусок веревки с завязанными на ней узлами, Илия вытащил Адама из постели, задрал ночную рубашку и принялся стегать его.

— Папа, не надо! Папа, нет! — закричал из постельки маленький Джон.

— Ты слишком мягкосердечен, Джон, — проговорил отец, покряхтывая от силы ударов, которыми он охаживал непокорного сына. Адам, извиваясь что было сил, пытался вырваться из хватки отца, и удары беспорядочно сыпались

на спину, живот, бедра и голову. В конце концов Адам сделал то, на что прежде никогда не осмеливался — он заставил отца *замереть*.

И Илия замер.

Адам наконец высвободился и с удивлением оглядел отца.

— Я сильнее тебя, — заявил он и рассмеялся, несмотря на жгучую боль от налившихся кровью рубцов.

Он взял из руки отца веревку и задрал его ночную рубашку. Хлестнул его.

— Нет, — прошептал Джон.

— Прикуси язык, иначе и тебе достанется.

— Нет, — громко произнес Джон.

В ответ Адам перепоясал веревкой живот отца. Илия даже не поморщился.

— Видишь, Джон? Ему не больно.

— А почему папа не шевелится?

— Ему нравится.

Размахнувшись ногой, он изо всех сил пнул отца в пах. И снова ни звука; только от удара Илия потерял равновесие и повалился на спину. Беспомощно распростершись на полу, он бессмысленно взирал на окружающий мир, похожий на один из трупов, сваленных в ту кучу. «Что ты здесь делаешь, папа? Ты ж лежишь на куче трупов! С мамой хочешь сгореть? Достаточно ли ты иссох?» Адам пинал, бил кулаками лежащего на полу человека, пока Джон вдруг не закричал:

— Дядя Мэттью! Дядя Мэттью!

И тут же Адам почувствовал, что какая-то неведомая сила поднимает его в воздух и швыряет о шкуры, висящие на стенах.

На пороге чердачной комнаты возвышался дядя Мэттью.

— Одевайся, — приказал он.

Адам попытался было и его заморозить, как Илию, но никак не мог нащупать его разум. Внезапно он ощутил, как где-то внутри разгорается страшное пламя. Согнувшись пополам, он боролся с желанием вцепиться себе в живот, разодрать его и выпустить огонь наружу. Затем он почувствовал, как начали таять глаза, таять и стекать по щекам. В ужасе он заорал и попытался удержать их на месте. Затем стали ломаться ноги, рассыпаясь на кусочки, как у сахарного человечка, и он становился все ниже и ниже. Нагнувшись, он увидел, как вниз посыпались целые куски плоти — на полу валялись его уши, нос, губы, зубы и язык. Глазами, растекшимися по половицам двумя лужицами густого желе, он смотрел снизу вверх сам на себя — на свое пустое лицо, чистую, абсолютно гладкую кожу, посредине которой чернела зияющая дыра рта. Вдруг он увидел, как что-то полезло из дыры — то было его сердце, за которым последовала печень, а потом — желудок, кишки. Тело его извергалось наружу, самоопустошалось до тех пор, пока он не стал легким и невесомым, как шапочка одуванчика...

Он бессильно опустился на пол, рыдая и моля о прощении, о милосердии, упрашивая, чтобы ему вернули тело.

— Адам, — тихо спросил с постели Джон, — что с тобой?

Адам коснулся лица и обнаружил, что все на месте, как и должно быть. Он открыл глаза — он мог видеть.

— Простите меня, — прошептал он. — Я никогда больше не буду этого делать.

Илия сидел, прислонившись к стене, и плакал.

— Мэттью, — причитал он, — что же я наделал? Что за чудовище воспитал?

Мэттью покачал головой:

— Ты не виноват. Если бы это сделал ты, то таким же был бы и Джон. Ребенок такой, какой он есть — он ест то, что даешь ты, но пища обращается в его собственное тело.

Лицо Илии озарилось пониманием, и губы его, несмотря на боль, растянулись в улыбке.

— Я все-таки был прав. Как я и говорил, ты один из нас.

— Пожалуйста, не надо, — прошептал Адам.

— Ты и твой отец, — повернулся к нему Мэттью. — Ни один из вас не понимает, зачем вам была дана эта сила. Неужели ты думаешь, что Язон создал нас, чтобы мы вечно гнили на той ферме, Илия? Или зло шутили над людьми, которые не могут себя защитить? С этого момента я буду следить за вами, за вами обоими. Я не позволю вам причинять вред людям. Вы уже достаточно натворили несчастий в своей жизни. Настало время учиться исцелять.

Адам прожил в гостинице Мэттью еще два года. Затем, поняв, что больше ему не выдержать, бежал, украл лодку и спустился вниз по реке к Линкири. По пути он вернулся мысленным взором на Постоялый Двор Вортинга и отыскал сына дяди, маленького Мартина, совсем еще малыша, который только-только научился произносить первые слова. Он заставил мальчика сказать: «Прощай, дядя Мэттью». И убил его.

Приготовившись, он стал ждать ответного удара от Мэттью, но так и не дождался. «Я вне его досягаемости, — вдруг понял Адам. — Наконец-то мне ничего не грозит. Я могу делать что захочу».

Он добрался до Небесного Града, столицы мира. Где бы он ни шел, везде Адам чувствовал себя в полной безопасности, да и кто мог пожелать ему зла? И он никогда не голодал, поскольку все были только рады поделиться с ним пищей. Появившись в Небесном Граде, он затаился и стал выжидать. Он хорошо усвоил урок, преподанный дядей Мэттью: его сила не предназначена для игр. Как и все дети, обладающие голубыми глазами, он читал надпись, выведенную на плите посреди Фермы Вортинга: «Родом со звезд, глаза синее моря. Язона ты сын, знай свою долю». «Я первым покинул Лес Вод. Я сын Язона. И не удовольствуюсь

клочком земли, какой-то жалкой гостиницей. Вот мира мне как раз хватит».

И потихоньку, постепенно он начал овладевать этим миром.

Власть явилась к нему в виде девочки, уже почти девушки, внучки Елены из Нойока. Она жила во дворце, постоянно прячась по углам, под лестницами, за занавесками. Не то чтобы за ней никто не присматривал. Наверняка некоторым слугам вменялось в обязанность приглядывать за нею. Но все равно на нее никто не обращал внимания, поскольку у нее был младший брат, а право правления Нойоком передавалось по мужской линии — старшему представителю рода. Елена из Нойока была просто опекуншей своего внука Иввиса и пока что правила за него. А кто такая Ювен, внучка-невидимка? Когда Адам впервые посетил дворец Елены, он сразу заметил Ювен, понял, что она здесь никто, и тут же забыл о ее существовании.

Прошел год, и Адам стал незаменимым человеком при дворе Елены из Нойока. Он быстро поднялся по служебной лестнице, однако подозрений его внезапное возвышение ни у кого не вызвало — он специально рассчитал все, чтобы выглядеть весьма даровитым, но вполне обыкновенным юношей, обязанным процветанием своему врожденному гению. Теперь улаживать всякие деликатные дела Елена посылала исключительно Адама — из любой ситуации он извлекал всю возможную выгоду. Теперь именно Адам отбирал для Елены слуг и охранников, ибо подобранные им люди всегда служили честно и преданно; он никогда не обманывал. Когда же он сообщал ей о планах врагов, его информация всегда оказывалась правдивой. Елена процветала. Весь Нойок процветал. А лучше всех жилось Адаму. Когда он шел через залы Небесного Града, его провожали взглядами, полными зависти, ненависти, искреннего восхищения или страха.

Так смотрели на него все, кроме Ювен. В глазах Ювен светилась любовь. Каждый раз, завидев ее рядом, Адам отмечал это чувство. Он видел ее воспоминания и знал, что иногда по ночам она наведывается к нему в покои. По ночам она изучала его, вне зависимости спал он один или с какой-нибудь женщиной, разглядывала его тело и удивлялась, как это человек, пришедший ниоткуда, стал вдруг настолько сильным, настолько известным, как он вообще стал кем-то, тогда как ее, дочь лорда, внучку Елены из Нойока, вообще никто и никогда не замечал. «Как же тебе это удалось? — дивилась она. — Как ты узнал то, что знаешь? Откуда исходят те слова, что ты произносишь?»

Но к тому времени как Адам прочел в ее разуме эти вопросы, она уже получила на них ответ. Адам был зачарованным принцем. Адам — человек, пришедший из леса. Она наизусть знала все старые сказания. Адам — Сын Бога. Однажды ночью, когда он поднялся по лестнице на свой третий этаж, намереваясь улечься спать, он вдруг наткнулся на нее. Она стояла опершись о перила. Уже не скрываясь. Она решила, что пришло время открыться миру.

— Чем ты занимался раньше, Адам Уотерс? — спросила Ювен. — До того как появился здесь.

Она запрыгнула на перила и угрожающе закачалась над высоким лестничным пролетом.

— Я находил маленьких девочек, которые искали смерти, и сталкивал их в лестничные колодцы, — ответил Адам.

— Мне уже четырнадцать, — сообщила Ювен, — и мне известна твоя тайна.

— У меня нет тайн, — поднял бровь Адам.

— У тебя есть одна очень большая тайна, — продолжала Ювен. — И заключается она в том, что тебе ведомы тайны остальных людей.

— Что ты говоришь? — улыбнулся Адам.

— Ты все время слушаешь. Лично я именно так и узнаю тайны. Все время держу ушки на макушке. Я заметила, как

ты обхаживаешь своих посетителей. Мама говорит, ты очень мудр, но мне кажется, что ты просто умеешь слушать.

— Но мы же не хотим, чтобы все люди считали меня слишком умным.

Ювен обвилась вокруг перил, как лоза вокруг ствола дерева.

— Но когда ты слушаешь, — произнесла Ювен, — ты слышишь даже то, о чем люди не говорят.

Адам почувствовал, как по спине его пробежал холодок. Вот уже столько месяцев пробирается он сквозь ряды дипломатов и бюрократов Небесного Града, и никто пока еще не догадался о его тайне. Сколько людей, услышав его произнесенные шепотом слова, в страхе отшатывались и бормотали: «Кто тебе рассказал это? Откуда ты узнал?» Но никто не говорил: «Ты слышишь даже то, что люди не говорят». Адам уже обдумывал смерть Ювен. Конечно, ее бабушка расстроится, но не сильно. От этого ребенка ей было мало толку: единственная выгода — выдать внучку замуж из политических соображений. Это дитя не любили. Адам не чувствовал себя в долгу перед Еленой из Нойока. Он был выгоден ей так же, как и она ему, поэтому они были в расчете; он не был обязан ей своей жизнью. А сейчас речь шла именно о его жизни и смерти. Ведь стоит людям догадаться, что, вместо того чтобы контролировать целую сеть информаторов, Адам Уотерс пользуется всего лишь способностями собственного разума... стоит этой тайне открыться, как все шантажируемые им выйдут на охоту, и не пройдет и дня, как он будет мертв. «Моя жизнь против твоей, Ювен».

— И как же это я могу их слышать? — поинтересовался Адам.

— Ты лежишь на спине в своей постели, — объяснила Ювен, — и слушаешь. Иногда улыбаешься, иногда хмуришься, а как проснешься, начинаешь писать письма, наносить визиты или идешь к бабушке. «Губернатор Грэйвсенда хо-

чет столько-то, и не больше» или «Банк Вьена вкладывает все золото в строительство шоссе, и сейчас они покупают выше номинальной стоимости». Это дает тебе власть. Когда-нибудь ты станешь править миром.

— А разве ты не знаешь, что, если ты будешь всем говорить об этом, кто-нибудь может поверить тебе, и тогда моя жизнь окажется в опасности?

«Сейчас я могу заставить перила переломиться — но что, если при падении она всего лишь покалечится?»

— Я умею хранить секреты. И никогда никому не открою твоей тайны, если ты кое-что мне пообещаешь.

«Я могу сделать так, что в одно мгновение ее охватит пламя и вся она сгорит изнутри, — это будет надежно, только излишне вычурно».

— Ты была милой девчушкой, Ювен, но с возрастом ты становишься настоящей язвой.

— С возрастом я становлюсь необычно интересной девушкой, — возразила Ювен. — И если ты намереваешься убить меня, то можешь не трудиться — я уже все записала. На бумаге. Это будет моим доказательством.

— У тебя нет доказательств. Здесь и доказывать нечего.

— Как любит повторять бабушка, главное в политике — просто намекнуть. Скажи людям, что влиятельный юноша на деле чудовище, и тебе сразу поверят.

Перила громко заскрипели.

— Я люблю тебя, — сказала Ювен. — Женись на мне, избавься от моего братца, и весь Нойок будет у твоих ног.

— Мне не нужен Нойок, — ответил Адам. Перила прогнулись.

— Ты не посмеешь, — улыбнулась Ювен. — Я вторая в очереди на трон Нойока. Я могу помочь тебе.

— Чем же? — осведомился Адам.

— Я много знаю.

— Вряд ли ты можешь знать больше меня.

— Я могла бы стать тем единственным человеком, — произнесла она, — в присутствии которого тебе не пришлось бы притворяться и лгать. Неужели у тебя никогда не возникает желания пооткровенничать с кем-нибудь? Ты живешь в Небесном Граде уже пять лет, вот-вот начнешь крупную игру, и выиграв ее, что ты будешь делать, оставшись один на один с собой?

Перила встали на место.

— Лучше б ты слезла оттуда, — заметил Адам. — Упасть ведь можно.

Она соскочила с перил и подошла к стоящему у стены Адаму. Прижавшись к нему, она спросила:

— Так ты женишься на мне?

— Никогда, — промолвил Адам, обнимая ее и еще крепче прижимая к себе.

— Ты хочешь жениться на настоящей властительнице, да? — уточнила она, приподнимая юбку и кладя его руку на обнаженное бедро.

— Ты не наследница. Престол наследует твой брат Ивис.

Она залезла к нему под тунику и начала играться с его жезлом.

— Ну, я не обязана иметь брата.

— Даже если бы у тебя не было брата, Нойок недостаточно влиятелен для моих планов. И вы никогда не будете властителями мира. — Он мысленно проверил слуг, убедившись, что никто из них не собирается подниматься на третий этаж замка герцогини Елены.

— Тогда почему ты не убил меня? — сердито посмотрела на него она.

Он взял Ювен на руки и понес в ее комнату.

— Потому что ты мне нравишься.

Адам был очень добр и мягок с ней. Он чувствовал все, что чувствовала она, знал, что ей нравится, а что причиняет

боль, понимал, когда она еще не готова, когда сама идет навстречу, когда нуждается в страсти, а когда — в нежности. Он был ее единственным представлением о любовнике; умы остальных женщин, которых он брал, переполняли всевозможные образы, а в момент высшего удовольствия с их губ срывались чужие имена. У Ювен был только он. И ей никогда не будет нужен кто-то еще.

— Ты любишь меня, — прошептала она.

— Можешь верить во что угодно, я не буду возражать, — ответил Адам.

Он не торопился. Сомнений в окончательном исходе у него не возникало. Небесный Град — не Ферма Вортинга. Здесь никто не мог воспрепятствовать ему, никто не мог потягаться с ним силой. Принимая вызов на дуэль, он заранее знал, что победит, — и побеждал до тех пор, пока не прекратились вызовы. Когда кто-то осмеливался угрожать ему, он тут же убирал злопыхателя с дороги. Он мог обольстить кого угодно, когда же он уставал от лести, то принимался запугивать, соблазнять или в крайнем случае низвергать в пыль тех, кто решился встать у него на пути.

Вот только с Зофрил из Стипока он никак не мог совладать. Зофрил славилась своей честью и верой — она единственная из всех правителей мира ни разу не солгала. Когда она не могла открыть всю правду, она умолкала, но зато когда она говорила, слова ее острыми клинками вонзались в сердца слушателей. Ее боялись даже те властители, чья армия во много раз превосходила ее войско, потому что знали: люди Стипока искренне любят Зофрил, и она относится к ним с не меньшей любовью; они с радостью умрут за нее, как умерла бы она за свой народ. Ее нельзя было вовлечь ни в один сомнительный заговор, поэтому она не участвовала ни в чьих планах, оставаясь постоянной угрозой для всех: выступи ее армия на чей-либо стороне, равновесие сразу бы сместилось в пользу того, кого она поддер-

жала. Пока же она предпочитала не вступать ни с кем в союз, поэтому каждая держава больше всего на свете опасалась того, что когда-нибудь Зофрил встанет на сторону ее врагов. Люди всех наций приговаривали: «Язон, должно быть, очень любит земли Стипока, раз подарил им такую женщину, как Зофрил».

— Я завладею властью Зофрил и завоюю ее любовь, — заявил Адам. — Она будет принадлежать мне.

— Она уже старуха, и ты никогда не сможешь полюбить ее, — возразила Ювен.

— Но получив власть над Стипоком и Нойоком, — сказал Адам, — я сразу получу власть над всем миром.

— Нойок пока еще не твой, — напомнила Ювен. — Пока что он бабушкин.

Адаму не хотелось спорить. Ему не нужно было говорить: «Твоя бабушка принадлежит мне, и ты принадлежишь мне, и твой маленький братик Иввис также принадлежит мне». Город безраздельно принадлежал ему; Ювен просто знала это, вот и все. И это знание давало ей чувство свободы, поскольку, в отличие от своих родственников, она прекрасно осознавала, чем она обладает, а чем — нет.

Елена из Нойока совсем состарилась, а Иввису было всего двенадцать. Чувствуя приближение смерти, она решила заранее объявить имя будущего регента — конечно, ее выбор остановился на Адаме. Вскоре после этого она умерла — ее корабль потерялся в море. Адам исправно выполнял обязанности регента, защищая своего подопечного от опасностей и всячески наставляя его на стезю добродетели. Юноша рос на глазах двора Небесного Короля — он словно воплощал идеального правителя. В этом мире регентов чаще свергали мечом, а не законом, поэтому поступок Адама удивил всех без исключения — тот отдал власть в руки Иввиса за два года до положенного срока, поскольку юноша уже вполне мог править и сам. Весь мир восхищался

благородством Адама, который беспрекословно занял прежнее место в рядах придворных советников. Никто не подумал ничего плохого, а если кто-то что-то и заметил, то счел это счастливым совпадением, ибо случилось все это как раз тогда, когда старшая дочь Зофрил, к сожалению, единственная выжившая из всех детей правительницы, достигла совершеннолетия. Лишь Ювен обратила на это внимание.

— Раз ты смог убить братьев Гаты, то почему ты не убил моего? — спросила она Адама. — И почему не удержал власть в своих руках, когда представилась удобная возможность?

— Тебе никогда не приходило на ум, что иногда я предпочитаю завоевывать доверие людей добротой, а не тайным давлением?

— На *меня* ты никогда не давил.

— Просто это не требовалось.

— Она не так красива, как я. Что привлекло тебя в Гате? Почему ты женишься на ней, а не на мне?

— По одной простой причине, — пожал плечами Адам. — Она девственница.

Ювен пнула его ногой. Адам рассмеялся и пошел на встречу с Зофрил.

— В течение нескольких последних лет умерли все мои сыновья, — сказала Зофрил Адаму. — Когда-то я надеялась, что, повзрослев, они станут похожими на тебя. Адам, настало время подыскивать мужа моей дочери, и желание ее сердца — мое желание: ты заменишь мне сына и поможешь ей править Стипоком, когда я уйду.

— Я бы сразу ответил согласием, — понурился Адам, — но не могу обманывать тебя. Я не тот, за кого себя выдаю.

— Народ считает тебя мудрейшим и благороднейшим из всех людей, — возразила Зофрил.

— Нет, — покачал головой Адам. — Я обманул мир и все эти годы скрывался под чужой личиной.

— Так кто ты, если не Адам Уотерс?

— На самом деле меня зовут Вортинг. Думаю, тебе известно это имя.

— Сын Язона, — еле слышно прошептала Зофрил.

— Я подумал, что, прежде чем отдавать замуж свою дочь, ты должна узнать об этом.

— Ты, — промолвила она, не веря своим ушам. — Тысячу лет тайные ритуалы мужчин и женщин Стипока посвящались имени Вортинга, сыну Язона. Увидев твои глаза, цветом напоминающие чистое небо, я призадумалась. При виде твоих достоинств, присущих самому чистому из всех мужей, мной овладела надежда. А теперь, Адам Вортинг, теперь я узнала тебя. Я умоляю тебя принять мою дочь и мое королевство, если ты считаешь нас достойными такой чести.

Она собственноручно возложила ему на голову корону из железа и вложила в руку железный молот, а он поклялся, что никогда в кузнях Стипока не будут ковать мечи, как клялись до него все правители королевства. Весь мир взирал на него с любовью или ревностью, а люди Стипока почитали его так, будто он с рождения жил среди них.

Все-таки Адаму было свойственно некоторое милосердие. Только после смерти Зофрил он сбросил свою маску.

Воспользовавшись как предлогом жалким заговором Вьена и Капока, Адам разослал армии Стипока и флот Нойока во все королевства мира. Кровь бурными потоками лилась по земле, ужас сеял свои семена. Враги Адама не могли выстоять против него. Вражеские армии тщетно гонялись за ним, пока в один прекрасный день он не объявлялся прямо у них за спиной; охранники поднимались против господ, безжалостно убивая тех, кому раньше служили верой и правдой. Через три года, впервые с тех пор, как Язон поднял свою Звездную Башню в небо, миром стал править

Небесный Град. Адам нарек себя Сыном Язона, истинным Небесным Королем.

В те времена еще встречались искренние его почитатели. Однако за годы его тирании народ понял, каков Адам на самом деле. Какой еще власти он мог возжелать, когда вся власть в мире уже принадлежала ему? Прибегнув к пыткам и убийствам, он принялся изучать тайны смерти и боли, проникая в мозг жертвы и переживая вместе с ней эти ощущения. Он низвергал великих мужчин, прекраснейших женщин, разорял самые знатные семейства. Он получал удовольствие с добродетельными дочерьми благородных домов, после чего продавал их как шлюх. Он обложил народ нестерпимыми налогами, сдирая три шкуры, так что разруха поселилась даже в самых плодородных землях; когда же люди достигали такой степени отчаяния, что готовы были пойти на что угодно ради кусочка хлеба, он забирал их в рабство и отправлял на постройку собственных памятников. Казалось, он поставил перед собой задачу доказать миру свое могущество и убедить всех, что, как бы его ни ненавидели, он все равно будет править, все равно удержится у власти. Его жена Гата рыдала при виде того, каким он стал; любовница Ювен лишь подначивала его, поскольку любила радость власти еще больше него самого. Основываясь на описаниях звездного корабля Язона, в Небесном Граде она выстроила Звездную Башню тех же самых размеров и формы и покрыла ее серебром. Под фундаментом башни было похоронено пять тысяч мертвецов. Любого же, кто осмеливался выступить против Адама и Ювен, безжалостно казнили, чтобы весь мир видел, как поступают с ослушниками, и слышал вопли бунтовщиков. «Я — Сам Господь», — в конце концов заявил Адам, и никто не посмел ему перечить.

Однако жил Адам в постоянном страхе. Ибо когда-то он послал в некую деревушку, расположенную в Лесу Вод, целую армию; солдаты перебили ее обитателей и привезли

ему головы. Он внимательно всматривался в мертвые лица, в распахнутые от удивления глаза, но ни у кого не обнаружил глаз, чистых, как небо. Ни одно из этих лиц не принадлежало ни его отцу Илие, ни дяде Мэттью, ни брату Джону. И он понял, что где-то на этой земле живут сейчас люди, которые могут читать его мысли. И, как Мэттью, они все умеют скрывать от него свои умы. Ночами ему снились кошмары, в которых Мэттью разрубал его лицо на части. От собственного крика Адам просыпался и каждый раз судорожно обыскивал умы придворных в надежде найти человека, который либо сам встречался с голубоглазым мужчиной, либо слышал от кого-то, что в мире объявился человек, чья сила может соперничать с силой самого Адама.

«Бедный я, — думал тогда Адам. — Не будет мне счастья в этом мире, пока я не обнаружу и каленым железом не выжгу все свое семейство».

— Сын Язона, — презрительно процедил Лэрд. — Так вот к чему привели твои великие планы?

— Ты должен признать, что мой эксперимент по скрещиванию дал превосходные результаты. О такой силе мне не приходилось даже мечтать. Я не могу управлять мыслями или поступками других людей. Все, что мне подвластно, — это заглядывать к ним в разум, копаться в их воспоминаниях. И не очень-то верь сну — Адам вовсе не был таким уж чудовищем. Просто воспоминания о нем хранили те, кто ненавидел его лютой ненавистью. Он был дьяволом, Абнером Дуном мира Вортинга. Но нельзя забывать, что жил он в жестокое время, а следовательно, отличался от других правителей только тем, что значительно больше преуспел в насаждении своей власти. Не он изобрел профессию палачей, хотя и с охотой пользовался их услугами. Это был очень плохой человек, и все же, если исходить из стандартов, при-

нятых в его время, он не был монстром. Но я могу ошибаться. Опиши его таким, каким он тебе приснился, и ты не солжешь.

— А как же остальные — его отец, дядя, брат?

— О, его отец умер от отчаяния вскоре после побега Адама. Брат — его судьбу ты уже знаешь. Он стал медником, целителем и верным другом лесных птах. Что же касается Мэттью, то его сын, Мартин, не погиб. За тридцать лет продвижения Адама к вершинам власти Мартин успел подрасти; он зачал сына, которого назвал Амос, и после смерти отца унаследовал гостиницу. После трагической гибели Джона Медника, которая случилась в год венчания Адама и дочери Зофрил, Мартин и Амос уехали жить в Хакс, туда, где Западная река ниспадала с Вершины Мира. Они стали торговцами.

Амос смотрел из окна своей башни на улицы и крыши Хакса. Он почти не спускался вниз — даже работал в башне, оставляя корм для птичек на подоконниках. Птицы прилетали к нему всю зиму и все лето, и ни разу он не обманул их ожиданий. Иногда, когда целые стаи, хлопая крыльями, резвились вокруг его кабинета, ему казалось, что наконец-то он стал во всем похож на своего дядю Джона Медника, который лежал в могиле в Вортинге.

— Ты должна помнить дядю Джона, — сказал Амос.

— Лично я его не помню, — ответила его младшая дочь Вера. Она обожала цепляться к словам.

— Ты знаешь все, что помню о нем я.

— Зря он позволил осилить себя. Надо было попробовать изменить тех людей.

«Ах, Вера, — вздохнул Амос. — Из всех моих детей неужели именно ты будешь первой, кто не снесет ношу, которую мы взвалили себе на плечи?»

— Да? И каким же образом?

— Он мог бы заставить их остановиться. Зря он позволил им расправиться с собой.

— За это они заплатили собственными жизнями, — ответил Амос. — Их головы были отрублены и доставлены в Стипок-Сити на досмотр Сыну Язона.

— Кстати, — подняла пальчик Вера, — вот еще один, кого следует остановить. Почему мы позволяем такому человеку, как он...

Амос мягко закрыл ей ротик.

— Джон Медник был лучшим из нас. Он обладал бесконечным терпением. Ни один из нас не может похвастаться тем же. Но мы должны стараться.

— Почему?

— Потому что Сын Язона тоже один из нас.

Он внимательно следил за ее лицом. Она уже не ребенок и обладает определенными способностями, поэтому вряд ли ее что-нибудь удивит, но это была самая страшная и опасная из всех тайн — ее открывали только тем, кто достиг зрелого возраста. «Достигла ли ты этого возраста, Вера? Или нам придется поместить тебя в камень ради сохранения тайны, ради спасения мира? По отношению к самим себе мы способны быть более чем жестоки, чтобы к миру отнестись с мягкостью и добротой».

— Сын Язона?! Как он может быть одним из нас? Чей он ребенок? У тебя семь сыновей и семь дочерей, а у дедушки, не считая тебя, было трое наследников и семь дочерей. Я прекрасно знаю всех своих братьев и сестер, племянников и племянниц и...

— И держи язычок за зубами. Разве ты не знаешь, что твои братья и сестры сейчас следят за малышами, чтобы те случаем не подслушали нас? У нас нет времени на пустую болтовню. Я должен еще многое тебе рассказать.

— А почему у нас нет времени?

— Потому что Адам и его дети спят, — объяснил Амос, — и скоро они проснутся, но до этого ты должна сделать свой выбор.

— Какой выбор?

— Помолчи, Вера. Выслушай меня и все поймешь.

Вера замолкла, лихорадочно пытаясь найти ответ на свои вопросы в разуме отца.

— Глупая девчонка, неужели тебе не известно, что я без труда могу закрыть свой разум от тебя? Неужели ты не знаешь, что именно этим мы отличаемся от Адама и его детей? От нас ему не уберечься, а вот мы умеем прятаться от его мысленного взора. По силам мы примерно равны, но зато мы умеем скрываться от него. Это делает нас сильнее.

— Тогда почему мы не можем сбросить этого подлеца с трона?! — воскликнула Вера. — Он не имеет права владеть миром!

— Да, не имеет. А что, у тебя есть лучшая кандидатура на его место? Кто займет трон?

— Да зачем миром вообще править?

— Потому что свобода не может существовать без власти. Если люди не следуют по обозначенной тропе, не повинуются законам, не объединяются хотя бы время от времени, чтобы высказать единое мнение, значит, порядок в мире рухнул. А будущее, в котором отсутствует порядок, непредсказуемо, ибо люди не знают, на что надеяться. Когда же будущее непредсказуемо, когда никто не может предугадать, что будет завтра, как можно говорить о каких-то там планах? Какой тут можно сделать выбор? Только власть поддерживает свободу. Я что, должен заново объяснять тебе то, что ты узнала еще в младенчестве?

— Нет, папа.

— А если ты уже все знаешь, тогда почему ведешь себя, как круглая дура? Почему ты ударила Вел, когда она не согласилась с тобой?

— Я даже пальцем ее не тронула, — немедленно разозлилась Вера.

— Ты заставила ее вспомнить — всего лишь на мгновение — ту боль, что она ощутила, когда умерла ее мать. Ты взяла самый страшный день в ее жизни и вернула ей воспоминание о нем только потому, что она сказала что-то, что тебе не понравилось. Ты обошлась с ней очень несправедливо — и все потому, что тобой овладела жажда мести. А теперь скажи мне, Вера, чем отличаешься ты от Сына Язона, раз думаешь, что вполне могла бы занять его место?

— Сотнями тысяч убитых — вот чем мы отличаемся друг от друга.

— Он убил столько людей, потому что обладал большей властью, чем ты. Может, на его месте ты бы поступила точно так же? Все гораздо серьезнее, чем ты думаешь, Вера. Переехав в этот город, мы с отцом впервые осознали, какой могущественной силой обладаем. Наверное, то же самое ощутил и Адам, придя в Небесный Град много лет назад. Мы могли бы заставить людей одолжить нам денег и стереть из их разума всякое воспоминание о долге; мы могли бы заставить наших должников всегда отдавать долги; мы могли бы скупать дома, а их бывшие владельцы даже не догадывались бы об этих сделках. Мы могли бы стать очень, очень богатыми.

— Вы и так богаты.

— Но от этого никто не обнищал, — напомнил Амос. — Мы ни у кого ничего не украли. Мы просто открыли новые, неведомые земли и нашли спрятанное под землей золото — наш город стал еще больше процветать, и его жители только выиграли от этого. В Хаксе нет бедных людей, Вера. Ты никогда не обращала на это внимания, но я хочу сказать, что в этом наша заслуга. И каждый Божий день мы работаем на благо наших сограждан.

Вера, прищурившись, взглянула на него:

— Но вам-то что с этого?

— На мне нет вины в смерти Джона Медника, — просто ответил Амос. — И птицы его продолжают прилетать ко мне.

— Это не причина.

— Это достаточная причина. За свою жизнь он никому не причинил вреда.

— Да, и чем все кончилось?

— Смертью. Но его смерть послужила нам уроком.

— Ага, не подпускать никого к себе.

— Нет. Не распространяться о даре направо и налево. Дядя Джон мог бы до сих пор лечить людей и никогда бы не изведал людской злобы, если бы не признался в том, что он целитель. Жители Хакса смотрят на контору Мартина и Амоса и видят процветающее дело, в котором вскоре примут участие полсотни голубоглазых ребятишек. Они не знают, что их дети доживают до седых волос только потому, что мы им помогаем, их коровы дают молоко и не болеют только из-за нас, их браки никогда не распадаются, и люди всегда честно держат данное ими слово лишь по одной причине — в какой-то из комнат этого дома постоянно слушают, наблюдают двое, трое, пятеро из нас. Мы охраняем этот город от боли и страданий...

Вера склонила головку и улыбнулась:

— Я поняла, кем вы себя считаете. Вы думаете, что это ВЫ дети Язона.

Амос лишь покачал головой. В отличие от этой девочки, остальные дети согласно кивали, сразу понимали все. Они не сделали ничего, чтобы заслужить свой дар — он передавался им по наследству вместе с заботой о городе.

— За всю историю этого мира, — сказал Амос, — не было места на земле счастливее города Хакса, за которым мы присматриваем. Матери больше не боятся рожать детей, потому что знают, что младенцы обязательно выживут. Ро-

дители любят и лелеют своих детей, потому что знают: эти дети не умрут в колыбели, а вырастут и станут взрослыми.

— И в то же самое время вы позволяете Сыну Язона править миром.

— Да, — согласился Амос. — Твое настойчивое желание уничтожить этого человека говорит мне, что в жилах у тебя течет скорее его кровь, нежели моя. Дитя, сегодня я должен задать тебе вопрос. Будешь ли ты хранить нашу тайну и блюсти завет? Обещаешь ли использовать дар во благо, а не в целях мести, наказания или убийства?

— А как насчет справедливости? — осведомилась Вера.

— Справедливость есть идеальное равновесие окружающих нас сил, — ответил Амос, — но только уравновешенное сердце способно быть справедливым. Обладаешь ли ты таковым?

— Я могу отличить добро от зла.

— Примешь ли ты завет?

Она могла не отвечать. Он все понял по ее реакции — она закрыла свой разум. И когда она ответила «да», ответ только ухудшил все.

— Ты что, думаешь, что сможешь скрыть от меня ложь?

Она упорно потрясла головой:

— Сын Язона — рана в сердце мира, и я исцелю ее. Если этим я не преступлю завет, значит, я приму его.

— И снова ввергнешь мир в бесконечные войны.

Вера резко поднялась:

— Весь мир охвачен болью и страданиями, а вы думаете о счастье какого-то маленького городка. Какой толк от того, что Хакс радуется жизни, когда весь мир перевернут вверх ногами?

— Нам нужно время. Дети подрастают — вскоре мы сможем распространить наши усилия дальше, исполнить больше...

— Я отказываюсь в этом участвовать, — сказала Вера. — Я брошу вызов Сыну Язона и займу его место.

— Ты так думаешь? — удивился Амос. — Надеюсь, ты просто погорячилась. Но ради блага этого мира, Вера, мы обязаны проверить тебя камнем.

Она не поняла, что он хотел сказать этим.

О смысле его слов она начала догадываться, когда ее отвели в лесную глушь, к отрогам гор, к месту, где выступал живой камень, плоской и гладкой поверхностью напоминающий постель девственницы.

— Что вы замыслили? — выкрикнула она, ибо, будучи жестокой в сердце, страшно боялась всякого насилия.

«Мы должны узнать, — мысленно ответил Амос, — кто ты есть на самом деле».

— Я столько лет прожила рядом с вами, и вы хотите сказать, что не знаете меня?

«Мы можем знать твои воспоминания о прошлом, можем видеть свои воспоминания, но как мы можем знать будущее? Откуда мы знаем, что за зло в тебе поселилось? Ты приютила семена разрушения — пустят ли они корни, источишь ли ты скалу, что лежит в сердце мира?»

— Что вы хотите сделать со мной?

«Мы превратим тебя в того, кем ты не являешься, и таким образом узнаем твою настоящую сущность. Мы проведем тебя сквозь камень, внутри которого ты будешь отрезана от жизни; мы сделаем тебя частью скалы, чтобы ты могла забыть о собственной плоти, — и тогда определим, сколько от Адама Вортинга присутствует в тебе».

— Я умру? — обратилась Вера к отцу.

«Я сам побывал в камне и вернулся целым и невредимым. Я сделал это... мы сделали это, потому что только внутри камня мы способны полностью отказаться от своей памяти и целиком впитать в себя разум другого человека. Я

погружался в камень и принимал в себя детей Адама Вортинга, одного за другим. Я должен был рассудить их».

— И что? Они не прошли испытание?

«Простым испытанием их было не постичь. Я прошел тот путь до конца. Теперь мы знаем, каковы они внутри».

— Значит, они хорошие?

«Хороший, плохой — это лишь определения. Они ничуть не хуже меня, поскольку их воспоминания, вместившись в мой разум, не свели меня с ума. А теперь тебе суждено погрузиться в камень, ты покинешь себя и, превратившись в живую скалу, примешь разум другого человека».

— Чей именно?

«Выбирать тебе, Вера. Можешь взять мой. Или Адама Вортинга. Выбирай разум, который тебе ближе. Который, как ты считаешь, не уничтожит тебя».

— Но откуда мне знать, кто уничтожит меня, а кто — нет? Я же не знаю никого из вас. То есть по-настоящему не знаю.

«Вот для этого мы и погружаемся в камень. Ты не просто впитываешь чьи-то воспоминания. Ты становишься другим человеком и примеряешь его жизнь на собственную душу. Если тот человек будет слишком отличаться от тебя, ты погибнешь».

— Откуда вам все это известно? Кто-то уже погиб?

«Илия. Он погиб первым. Когда Адам сбежал, убил и сбежал, Илия погрузился в камень и пустился на его поиски. Он нашел его. Юный Адам оказался таким чудовищем, что это уничтожило старика».

— Но, отец, ты же сам только что говорил, что тоже погружался в камень в поисках Адама?

«Я искал не его. Я искал его детей».

— Так, может, ты и меня посмотришь? Погрузишься в камень и примешь меня в себя?

«Вера, я бы пошел на это, если бы был уверен, что выживу».

— Значит, ты думаешь, что мы настолько разнимся с тобой? Что я — такое же чудовищное зло, как и Сын Язона?

«Я думаю, что его воспоминания приживутся в твоем сердце лучше, чем в моем. И считаю, что, осознав каждый поступок, каждый выбор, каждое чувство, что я делал или переживал за свою долгую жизнь, ты, дитя, сойдешь с ума и никогда не найдешь себя в камне. Ты умрешь».

— Тогда я приму в себя Адама. Но я не дура, отец. Я понимаю, что все это значит. Если я смогу стать Адамом Вортингом, значит, под ваши мерки я не подхожу. Если же я не смогу впитать его в себя, стало быть, я останусь чистой в ваших глазах. Вот только, к сожалению, я сойду с ума и умру.

«Поэтому выбор остается за тобой».

Она взяла воспоминание о погружении в камень из разума отца: он открылся ей так, чтобы она поняла, что делать. После чего, сбросив с себя одежды, чтобы ничего не стояло между ней и голым камнем, она легла на поверхность скалы и в точности исполнила указания отца.

Именно отец научил ее работать с камнем — он знал, как заставить скалу течь, обдавать тело холодом и гладить нежными касаниями воды. Она погрузилась в жидкий камень и поплыла по ледяному лику мира.

Пока она лежала на камне, все глубже погружаясь в него и оставляя прошлую память позади, остальные вели ее к Адаму Вортингу. Очень осторожно они приблизились к нему, чтобы он не понял, что происходит. С ней они не были так нежны и добры.

Итак, Вера стала Адамом Вортингом. Она выросла бок о бок с этим мальчиком, вместе с ним пережила кошмарные минуты на чердаке Постоялого Двора Вортинга, была в от-

вете за все его жестокости, пользовалась его властью, мановением его руки уничтожала мужчин и женщин, рубилась на поле битвы, обливалась кровью невинных жертв и радовалась этому.

Когда все закончилось, она приняла на себя вес его ужасного прошлого, как будто прожила за него жизнь, и это не свело ее с ума. Расплакавшись от стыда, она вернулась назад в себя — и пожалела, что не умерла в камне.

Бывшие друзья смерили ее холодными взглядами и отвернулись. Только ее отец не отвел глаз — он плакал.

— Я не смог этого сделать, — произнес он вслух.

Теперь, когда его разум раскрылся ей, она увидела, в чем он провинился перед остальными: когда стало ясно, что она выдержит перевоплощение в Адама Вортинга, он должен был вернуть жидкому камню твердь и запереть ее внутри. Он должен был убить, похоронить ее разум в камне, а выпустил в мир еще одного Адама.

— Это не так, — сказала она. — Это несправедливо. Я вынесла его присутствие, но так же вынесу присутствие и твоего разума. Я не похожа на него, я другая. И в то же самое время я — это он. Отец, ты не пожалеешь о том, что сохранил мне жизнь.

Но он уже жалел об этом. Они все жалели, и Вера едва могла вынести чувство всепоглощающего стыда за то, что осталась в живых. «Я не похожа на него, — упорно повторяла она себе. — Они ошибаются в толковании камня».

Однако они не ошибались. И она это знала, где-то глубоко внутри знала, что суд был справедлив. Долгие месяцы она прожила парией в доме отца, прежде чем смогла признать, что да, вся злоба жизни Адама легко умещалась в ее сердце. И еще оставалось место. Много места.

«Но где написано, кто сказал, что я не могу измениться?»

Остальные сторонились ее. Они не рассказывали ей о своем труде во имя исцеления Хакса. Но в то же самое время не могли запретить ей смотреть, не могли запретить ее разуму скитаться по городу и видеть, как раны, печали и страхи быстро затягиваются. «Так вот как это делается, — поняла она. — Мои чувства вот-вот должны были сломаться, но даже искалеченное сердце можно исцелить».

И когда она вновь обрела уверенность в себе, она отправилась к Адаму Вортингу.

Не ум она направила на встречу с Адамом Вортингом, она явилась в его дворец во плоти. От остальных она упорно скрывала свои намерения, поэтому никто не знал, куда она подевалась. Но это никого и не волновало — даже если б она умерла, то горевать по ней бы не стали. Что же касается угрозы со стороны Адама, то она твердо решила, что ни за что на свете не раскроет ему, где скрываются подобные ей, и словом не заикнется об их существовании. Но даже если бы он все узнал, если бы этим поступком она поставила под угрозу существование всей семьи, она бы все равно поступила по-своему. Ибо она приняла Адама Вортинга в себя и увидела его рану. Она надеялась исцелить его, если, конечно, он сам того пожелает.

Она думала, что ее будут преследовать и попытаются остановить, но погони все не было и не было, и она с горечью осознала, что все могут быть только рады ее уходу. Вниз по Западной реке она спустилась до Линкири, затем по морю добралась до Стипок-Сити. Прямиком с причала она направилась в город, дошла до замка, от замка поднялась к возвышающемуся над городом дворцу, стоящему на утесе красного мрамора. Она знала, что говорить стражникам и слугам, которые пытались остановить ее. Вскоре она очутилась в приемном покое двора Сына Язона. Она сидела и спокойно ждала, пока люди входили и выходили, удостаиваясь аудиенции Сына Бога.

— Ты пришла слишком поздно, — сказала сидевшая рядом с ней женщина. Лицо ее избороздили морщины.

— Почему? — не поняла Вера.

— Поздно останавливать его, — ответила та. — Тебе следовало появиться здесь много лет назад.

Элегантная одежда не могла скрыть болезненной худобы ее тела. Женщина умирала.

— А ведь он мог бы исцелить тебя, если б захотел.

— Исцеление не в его духе. — Она вызывающе вскинула голову. — Но я получила от него то, что получила, и он относился ко мне лучше, чем весь окружающий мир.

— Ювен, — проговорила Вера, поняв, кто перед ней.

— Он знал, что ты идешь, — сказала Ювен.

— Откуда?

— Все эти годы он знал. И ждал. Я видела это. Я умею видеть. Он часто смотрел на север, туда, где когда-то в Лесу Вод стояла его деревня, которую он потом сжег дотла. Ты ведь оттуда, да? Мне ты можешь сказать все. Я даже словом не обмолвлюсь. — Она улыбнулась. — Он уже знает твое сердце. Он это умеет. Он познал твое сердце.

Так, значит, ее приходу никто не удивится. Хотя вряд ли это имело какое-то значение. Она знала Адама лучше, чем он сам. И не боялась его.

— Моя очередь, — сказала она Ювен.

— Ты пришла убить его? — спросила Ювен.

— Нет.

— Будет ли он любить меня, когда ты покончишь с ним?

— Ты ведь умираешь?

Ювен пожала плечами.

Настроившись на нее, Вера обнаружила очаг болезни и исцелила его.

Ювен ничего не сказала; она просто сидела, уставившись на свои руки. Вера поднялась и прошла в залу. Ох-

ранники даже не подумали остановить ее. Об этом она позаботилась.

Вскоре она преклонила колени перед седовласым Сыном Язона, сидящим на троне.

— Я ждал тебя, — произнес Адам.

— Я не сообщала о своем прибытии. И по-моему, мы никогда не встречались, — возразила Вера.

— Она придет, и глаза ее будут такими же голубыми, как и мои, а когда я посмотрю в глубь этих глаз, то не увижу ничего. Когда-то жил человек, умевший прятаться от меня. Я бы убил его, если бы мог. И тебя убью, если смогу.

Позади нее раздался топот солдат, зазвенели мечи, вытаскиваемые из ножен.

Она остановила солдат, наслав на них воспоминания о страхе смерти.

— Я знаю тебя, — сказала она Сыну Язона. И заставила его замереть на месте, послав воспоминание о дяде Мэттью, возвышающемся на пороге. Этого образа он боялся больше всего на свете — то был человек, который мог легко расправиться с ним, свернуть ему шею, как бельчонку, который хоть и быстр, но немощен. И тогда она проникла в его воспоминания и начала изменять их.

Что-то можно было сделать, что-то — нельзя. К примеру, она не смогла изменить его жажду власти и страх падения, постоянно терзавший его, — они находились глубже, чем память, они были частью его существа. Но она смогла заставить его вспомнить, как самому управлять запросами и страхами, как не давать им править собой. Теперь ему казалось, что он никогда никого не убивал, хотя был искушаем этим желанием; он никого не соблазнял, не предавал, не пытал, хотя имел для этого множество возможностей. А когда кровь убитых слишком глубоко въедалась в память Адама, Вера подсказывала ему причины, почему он вынужден был так поступить, объясняла, что он делал это вовсе

не для того, чтобы просто доказать свое могущество. Этими причинами объяснялась справедливость каждого из его поступков — все делалось только на благо народа.

А когда она закончила, он перестал быть грозным тираном, который совершил столько преступлений, что даже перестал замечать их и продолжал убивать просто по привычке. Теперь он стал правителем, который не боялся ничего, кроме собственных желаний, и который страшился своей жестокости не меньше, чем ныне навсегда сгинувшего воспоминания о дяде Мэттью.

Впрочем, нет, воспоминание это не исчезло. Ведь самые яркие из его воспоминаний продолжали жить в памяти Веры. Камень отпустил ее, но теперь ничто не могло изгнать из нее прошлого Адама.

Их окружали люди, придворные и дворцовые крючкотворы, которые пришли подивиться на голубоглазого тирана и стоящую перед ним девочку. Час за часом они стояли так, не отводя друг от друга взоров, почти не дыша. Что за властью обладала она над Сыном Язона? Чьей смертью окончится этот поединок? Кто пострадает?

Но когда все закончилось, Адам лишь улыбнулся ей и произнес:

— Иди с миром, кузина.

Она повернулась и ушла, и никто ее больше не видел, а Адам запретил ее искать.

Работа была выполнена неумело — в следующие годы в памяти Адама нередко возникали провалы, а временами он восставал против того затворнического существования, которое, как ему казалось, он вел. Но в целом он был исцелен, и мир Вортинга постепенно понял это. Монстр, живущий в Сыне Язона, был обуздан; теперь мир спокойно сносил его правление.

Вернувшись в Хакс, Вера обнаружила, что там ее с нетерпением ждут. Амос встретил ее у городских ворот, и вме-

сте они направились в сады, которые ровными рядами покрывали холм.

— Отличная работа, — похвалил он.

— Я боялась, — сказала она, — что вы остановите меня.

Он покачал головой:

— Мы надеялись на тебя, малышка. Из всех нас только ты могла понять его, чтобы потом исцелить. Если бы тебе это не удалось, нам бы ничего не оставалось делать, кроме как убить его, а это несмываемым клеймом отпечаталось бы на нашей памяти.

— Значит, все это вы спланировали?

— Конечно, — кивнул Амос. — В мире больше нет места случайностям.

Вера обдумала его слова, пытаясь понять, почему ей так грустно от того, что со случайностями и страданиями покончено. «Видимо, это говорит во мне частичка Адама», — наконец решила она и позабыла о своих терзаниях. Воссоединившись с родными, она стала нести исцеление Вортинга людям, и постепенно оно распространилось по всей планете. «Я исцелю мир и изгоню из него случайности».

— Дальше неинтересно, Лэрд. Рассказы о том, как хорошие люди исполняют доброе дело, как правило, скучны и занудны. Многие сотни лет потомки Адама использовали свою силу только для того, чтобы узнать истинные нужды и желания подданных и обеспечить народам хорошее и справедливое правление. Тем временем, втайне от семьи Адама, дети Мэттью и Амоса следили за разрастающимся миром, избавляя людей от боли, освобождая их память от печали, исцеляя больных, успокаивая разгневанных, возвращая тело увечным и зрение — слепым. Затем, в эпоху Великого Пробуждения, они открылись потомкам Адама, объединились вместе с ними и переженились друг на друге. К тому времени как меня разбудили и подняли со дна морского, каждая

живая душа на Вортинге происходила от меня. Мир был покорен свадьбами и венчаниями.

Когда же наконец на поверхность спустился первый корабль с других миров, они расценили это как вызов, брошенный их силе. И принялись следить за обжитыми людьми планетами. Корабли возвращались к себе домой и рассказывали, что нашли потерянную колонию, мир Вортинга, и что это означает конец страданиям. Вот откуда пошел ритуал огня и льда, Лэрд. И с тех самых пор в человеческой вселенной ничего, *ровным счетом ничего* не изменилось.

Лэрд сидел за письменным столом, и слезы капали на пергамент.

— И кончилось это лишь недавно, — пробормотал он. — Твои дети могли превратить людей в рабов, однако они отнеслись к нам с добротой — почему же они все разрушили? Почему перестали заботиться о нас? Чему ты так радуешься?

— Лэрд, — молвил Язон. — Ты не понял. Человечество и так превратилось в рабов. Просто эти рабы содержались в хороших условиях и были счастливы, чего раньше никогда не бывало.

— Мы не рабы. И у моего отца было две руки.

— Запиши эту часть истории, Лэрд. Скоро нам придется заканчивать — зима уходит, снова потребуется твоя помощь в лесу и на полях. Заканчивай книгу, после чего я оставлю тебя в покое, как ты и хотел.

— А сколько еще осталось?

— Всего один сон, — успокоил его Язон. — История, повествующая о юноше по имени Милосердие и его сестре Юстиции. И о том, как они разрушили вселенский порядок. Может, узнав, чем все закончилось, ты перестанешь ненавидеть меня.

Глава 11

АКТ МИЛОСЕРДИЯ

Ветер дул с юго-востока, теплый и сухой. Лед на реке вскрылся за одну ночь; весь день вниз по течению плыли громадные льдины. Кое-где еще лежал белый снег с вкраплениями пепла, летевшего из кузни, но под ним Лэрд уже слышал журчание воды. Он швырнул по охапке сена в каждое стойло, разворошил его и проверил овец, у которых вскоре должны были родиться ягнята. Несколько коров также было на сносях. Хоть зима и выдалась суровой, сена, запасенного прошлым летом, хватит еще месяца на два. Хороший год для растений и животных. Но не для человека.

В передней уже стояли приготовленные к летней работе инструменты; вскоре наступит время рыть канавы и окапывать изгороди, люди потянутся на поля. Ничего не случится, сегодня тепло, решил Лэрд и выпустил гусей попастись во дворе. С прошлой осени столько изменилось, что теперь он даже не подумал спросить у отца разрешения.

Мать была беременна. Скоро у нее должен родиться малыш, и отец не сомневался, что ребенок от него. «Что ж, очень может быть, — думал Лэрд. — Интересно, кто же ее любовник?» Он вдруг подумал на медника — мать не раз строила тому глазки. Но нет, медник не мог, он все время находился на виду. А кто мог? В дом постоянно заходили женщины, отец никуда надолго не отлучался. Но и мать никуда не выходила, разве что шла за советом к какой-нибудь из соседок или носила зерно на мельницу...

Мельник? Да ну, неужели мать предпочла бы его отцу? Нет, это невозможно.

— Не самые подходящие размышления для мальчика, — заметил Язон.

Лэрд повернулся к нему. Тот стоял на пороге сарая, темный силуэт в лучах солнечного света.

— Я иду метить изгороди, — сказал Лэрд. — Умеешь это делать, или ты еще нужен отцу в кузне?

— Ты должен работать над книгой, — возразил Язон. — Ты уже думаешь о весенних работах, а книга еще не завершена.

— Весенние работы выполняются весной. Поэтому они так и называются. Сейчас весна, и я занимаюсь тем, чем должен заниматься. Сколько бы ты ни заплатил отцу и матери, вряд ли это стоит того, чтобы на будущую зиму остаться без крошки хлеба. Сам знаешь, в нынешние деньки можно и умереть от голода.

— Я пойду с тобой.

Они взяли по пиле и пошли вдоль живой изгороди. Тающий снег влажно чавкал под ногами, и южная часть изгороди, у которой снег уже стаял, вообще превратилась в море грязи. Лэрд остановился у сломанного снегом куста, ветви которого перегораживали тропинку.

— Здесь метку оставлять не обязательно, — сказал Лэрд. — Но все равно куст надо пометить. Иногда рабочие добираются до твоей изгороди только под вечер, а к тому времени они так устают, что ненавидят любого землевладельца, поэтому смотрят только, стоит метка или нет, даже если точно знают, что этот куст следует спилить.

Он сделал надрез на самой большой ветке, и они двинулись дальше, отпиливая надломленные сучья и метя растения, которые надо будет выкорчевать или пересадить немножко дальше.

— Мать беременна, — сказал Лэрд. — Я знаю, что тебе это известно, но подумал, может, ты что-нибудь расскажешь мне об отце будущего ребенка.

— Он тот же самый, что и у тебя.

— Правда?

— Да, — кивнул Язон. — Во всяком случае, так утверждает Юстиция. А она в этом разбирается. В былые времена она бы не дала ребенку родиться, будь он зачат на стороне. В этом смысле жить было несколько проще.

— А зачем ей вообще ребенок? У нее уже есть я и Сала.

— Раньше, до Дня, Когда Пришла Боль, смертности среди младенцев не было вообще. Как ты думаешь, что бы случилось с миром, если бы в каждой семье было больше двух детей? Все женщины, за исключением девственниц и древних старух, ходят сейчас беременными, Лэрд. Большая часть детей выживет. А стало быть, годика через два у тебя под ногами будет ползать добрая сотня малышей. Так что смотри, тебе придется заставить эту землю давать больше, иначе люди начнут умирать.

— Так уже было когда-то, — кивнул Лэрд. — Я теперь специалист по тому, как раньше жили люди. Благодаря твоему рассказу я прожил больше лет, чем на самом деле.

— Я понимаю. Это как-нибудь отразилось на тебе?

— Нет. — Лэрд остановился и огляделся по сторонам. — Нет, разве что в изгородях больше не таится загадка. Теперь я знаю, что за ними никого нет. Когда я был маленьким мальчиком, я часто думал: а что там, на другой стороне? Но теперь даже и не вспоминаю об этом.

— Ты вырос.

— Я старею. Этой зимой мне пришлось прожить множество жизней. Наша деревенька такая крошечная по сравнению с Небесным Градом.

— И в этом ее достоинство.

— Как ты думаешь, Звездной Гавани пригодится деревенский писарь?

— Ты пишешь не хуже кого бы то ни было.

— Если я смогу подыскать отцу помощника в кузню или, может, найду какого-нибудь другого кузнеца, который

мог бы занять его место, предоставив ему управлять гостиницей, — то сразу уйду. Может быть, пойду в Звездную Гавань, может, нет. На свете много городов.

— И правильно поступишь. Только почему-то мне кажется, что ты будешь скучать по Плоскому Заливу больше, чем думаешь.

— А ты? Куда ты пойдешь? Ты тоже будешь скучать по здешним местам?

— Очень, — признался Язон. — Я полюбил эту деревеньку.

— Не сомневаюсь. Боли и страданий здесь хватает с избытком.

Язон ничего не ответил.

— Извини. Весна вот-вот наступит, а отец лишился руки, и пусть ты даже помогаешь ему в кузне, все стало не так, как раньше. Теперь забота о доме свалилась мне на плечи, а я не хочу этого. И знаешь, это ведь ты виноват. Будь на свете какая-то справедливость, ты бы остался и принял эту ношу на себя.

— Ты несколько ошибаешься, — возразил Язон. — Когда отец начинает сдавать, главой семьи становится сын, то же самое касается матерей и дочерей. Вот что естественно. Вот что справедливо. Раньше с вами обходились очень милосердно. Вы пальцем не пошевелили, чтобы заслужить это, поэтому не жалуйтесь теперь, что вы лишились расположения богов.

Лэрд отвернулся от него и направился дальше. Остальную работу они выполняли в полном молчании.

Вернувшись домой, они обнаружили, что отец сидит в огромном жестяном чане и принимает ванну. Лэрд сразу заметил сердитый взгляд, которым встретил его отец. И не мог понять причины его злости — с самого раннего детства Лэрд не раз видел отца голым. Мать лила в чан горячую

воду, а отец всегда сердито орал: «Ты что, яйца мне хочешь сварить?» Заворочавшись в чане, отец принялся неловко прятать оставшийся от руки обрубок. Лэрд понял, что он, наверное, специально дожидался, когда Лэрд уйдет метить изгороди, чтобы принять ванну, но с помощью Язона мальчик справился быстрее обычного.

— Прошу прощения, — промолвил Лэрд, но из комнаты не ушел.

Если ему все время придется прятаться по углам, когда отец принимает ванну, то вскоре он вообще будет бояться заходить в дом, а отец станет мыться раз в год, не больше. Вместо этого Лэрд зашел на кухню, откопал там корку сухого хлеба и опустил ее в кашу, кипящую на огне.

Мать шутливо ударила его по руке.

— Когда ж ты бросишь свою привычку лазить в котел, когда каша еще не готова?

— И так вкусно, — прогудел Лэрд с набитым ртом.

Отец тысячу раз лазил в котел подобным образом, и Лэрд знал, что мать ругаться не будет.

Зато на него напустился отец.

— Кончай покусовничать, Лэрд, — пробурчал он.

— Хорошо, папа. — Лэрд не стал возражать. Что зря спорить? Он и дальше будет продолжать так делать, и отец скоро привыкнет к этому.

Отец поднялся из чана, с него ручьем лила вода. Тут же к нему подскочила игравшая неподалеку Сала и начала разглядывать культю.

— А где пальцы? — спросила Сала.

Отец смущенно прикрыл обрубок ладонью другой руки. Зрелище было грустным и смешным одновременно — он даже не пытался прикрыть свой срам, зато упорно прятал то, чего даже не было.

— Ну-ка, цыц, Сала, — накинулась на нее мать.

— Но ведь должны появиться пальцы, — настаивала Сара. — Весна же наступила.

— Этот обрубок не даст новой поросли, — сказал отец.

Теперь, когда потрясение немножко отпустило, он ухватил правой рукой плотное шерстяное полотенце и начал вытираться. Мать обошла его и стала вытирать ему спину.

— Все, беги играй, Сала. Иди же, — толкнув девочку, приказала она.

Сала внезапно разрыдалась.

— В чем дело? Я ж тебя только слегка подтолкнула.

— Почему ты не сделала этого?! — заливалась слезами Сала. — Где его рука?!

И когда из-за лестницы появилась Юстиция, все сразу поняли, к кому она обращалась.

— Ты же можешь! — подбежала к ней Сала. — Я же знаю, что можешь! Ты сказала, что любишь меня! Сказала, что любишь!

Юстиция стояла на месте и молча смотрела на отца, прикрывшегося полотенцем. Наконец, яростно швырнув полотенце в руки матери, он вылез из бака и угрожающе направился к Юстиции.

— Что ты наобещала ребенку? — спросил он. — В нашем доме принято держать обещания, данные детям.

Но Юстиция не ответила. За нее, как обычно, ответила Сала.

— Она может вернуть тебе руку, — сказала она. — Так она мне говорила. Мне это даже снилось — я видела, как твоя рука распускается, как цветок, и все твои пальцы снова были на месте.

Между ними встал Язон.

— Не лезь, Язон. Всю зиму эта женщина, как привидение, жила в моем доме. Я хочу знать, что она наобещала моей дочери.

— Штаны лучше надень, — посоветовал Язон.

Отец смерил Язона долгим, холодным взглядом, затем достал чистую рубаху и натянул ее через голову.

— Юстиция ничего не обещала Сале. Но Сала видела... что Юстиция могла бы сделать, если б не была связана словом.

— Могла бы прирастить мне руку? Только Бог способен на такое. А Бог покинул нас.

— Это верно, — согласился Язон.

— Откуда Сала знает, о чем эта женщина думает? Или она говорит только тогда, когда они остаются наедине?

— Народ Юстиции не может скрывать свои мысли от того, кого любит. Она не хотела обманывать твою дочь или разочаровывать ее. То, что Сала видела, строго-настрого запрещено.

— Запрещено, связана словом... А если бы она не была связана этим самым словом, она что, могла бы исцелить меня?

— Мы пришли сюда, — сказал Язон, — чтобы, воспользовавшись помощью Лэрда, написать книгу. Завтра он заканчивает. После этого мы уйдем.

Он подошел к Юстиции и мягко подтолкнул ее в сторону лестницы. Плачущая Сала осталась стоять на нижней ступеньке. Отец наконец надел штаны, а Лэрд сел рядом с огнем и стал наблюдать за маленькими язычками пламени, которые тщетно пытались вырваться на волю по каминной трубе и гасли, так и не увидев неба.

Милосердие родился первым, Юстиция, его сестра, последовала сразу за ним. Мать узнала их еще в утробе — эти имена идеально подходили их характерам. Милосердие не мог выносить вида страданий, тогда как Юстиция же была тверже его и всегда настаивала на справедливости и честном отношении, независимо от цены.

Имя Юстиция было не просто красивым сочетанием букв — это была тропа, которая провела ее через страшные детские годы. Стоило ей только научиться кое-как держаться на ножках и несвязно лопотать что-то, как она начала проникать в воспоминания окружающих ее людей, или эти воспоминания навязывались ей против ее воли. Она узнала отца, мать и тысячу других личностей, обитавших внутри их разумов, все прочие «я», поселившиеся там; к ней перешла память о всех событиях их жизни, которые стоило запомнить. Каждый раз Юстиции приходилось заново отыскивать в этом хаосе дорогу к себе, ей приходилось постоянно помнить о том, кто она такая и какие воспоминания принадлежат ей одной. Сама она была еще совсем малышкой, жизнь только-только началась для нее, поэтому, естественно, она часто терялась. В этот мир ее возвращала неизменная тяга к справедливости, к природному равновесию — она обязана была следить за тем, чтобы праведные поступки награждались, а все отвратительное — наказывалось.

В детстве она мечтала о том, что когда-нибудь станет такой, каким был ее сострадательный брат по имени Милосердие. В чем-то они походили друг на друга — незаслуженные страдания были ненавистны им обоим. Только Милосердие, как правило, принимал все беды на себя, излечивая таким образом страдающего, тогда как Юстиция всегда стремилась найти причину страданий и выкорчевать ее с корнем. Она должна была знать, что, почему и как. Учителей она доводила вопросами до белого каления. Милосердие проявил способности к Присмотру еще в раннем возрасте, поскольку остро чувствовал людскую боль, и быстро научился исцелять. Юстиция, напротив, никак не желала приниматься за то, что считалось делом всей жизни. Как-то раз учитель спросил ее:

«А что, если окажется, что ты не можешь Присматривать? Есть много других занятий, не менее важных и ответственных, ты должна выбрать себе что-то другое».

«Я буду Присматривать, — мысленно ответила Юстиция, — потому что Милосердие занимается этим».

Но пора детских игр давно миновала, а она по-прежнему не была готова к Присмотру. Большую часть своей юности она провела в садах Школы, качаясь на ветках и истязая себя всяческими упражнениями, которые так легко давались Милосердию и которые ей казались сущим наказанием. Она старалась как можно чаще проникать в его разум, пытаясь выяснить, как это у него получается. Ее брат чувствовал любое страдание и тут же принимал его на себя, в мгновение ока находил проявившуюся боль, исцеляя ее. Однако ничего особенного в его разуме она так и не обнаружила. В конце концов она поняла, в чем дело: Милосердие ко всем, даже к незнакомым людям, относился с искренней любовью и заботился скорее о счастье окружающих, нежели о своем собственном. Юстиция же не любила никого, но зато умела оценивать человека по его суждениям о том, что есть хорошо, а что — плохо. Немногие могли выдержать этот строгий суд, а потому любовь Юстиции было не так легко завоевать. Пытаясь Присматривать, она противоречила собственным принципам. Ей исполнилось двадцать, когда она наконец окончила Школу и перешла в Озера.

К тому времени все ее школьные друзья и подруги уже несколько лет Присматривали за различными мирами, а Милосердие даже достиг уровня мастера — треть дня он мог в одиночку Присматривать за целой планетой. Но Юстиция не винила себя за подобную медлительность. Она относилась к своим успехам справедливо, ибо знала, что научилась тому, для чего никогда не предназначалась, а следова-

тельно, по сравнению с остальными она заплатила значительно большую цену.

С испытанием она справилась легко и на следующий день впервые в жизни направилась к Озерам одна. Сегодня ей поручено Присматривать. Придя в Сады, она сбросила одежды и, закутавшись в вуаль ветерка, отправилась на поиски свободного Озера. Ступив в мелкую воду, она осторожно опустилась на колени и легла на живот, прижавшись лицом к усеивающей дно гладкой гальке. Пальцы ног, живот, грудь и лицо находились в холодной воде, тогда как пятки, зад, спину и уши обдувал свежий бриз, разбросавший пух деревьев по поверхности Озера. Она не дышала, но это нисколько не мешало ей — в детстве она долгими часами висела вниз головой на ветке дерева, учась отстраняться от собственного тела и посылать разум в межзвездные скитания.

Поскольку она была еще новенькой, ей разрешили Присматривать всего за одной деревенькой, расположенной на примитивном мирке, который еще не знал электричества и пока что не открыл действия пара. Деревня та находилась рядом с рекой, посреди нее стояла гостиница, хозяин которой исполнял заодно обязанности кузнеца — настолько крошечным было селение.

Она пришла в деревню за час до рассвета; все еще спали, поэтому пока что она не могла взглянуть на планету глазами ее жителей. От безделья она принялась изучать течения жизни — тусклую ауру, исходящую от безмятежных и глупых деревьев, яростную энергию ночных пташек и зверушек, рыскающих в поисках воды или соли. В этот час ей показалось, что Присматривать будет весело.

В деревне от голода проснулся первый младенец — и вдруг она почувствовала на плече чью-то руку. Это был Милосердие, она сразу узнала его. Она не подняла голову из

Озера, ибо Наблюдатель не должен отвлекаться. Его пальцы мягко пробежались по ее спине, как бы говоря: «Это жизнь, ты теперь ожила». Ей не требовалось отвечать, чтобы показать, что она расслышала его слова. Но это было не все, что он хотел сказать ей. Конечно, он не мог общаться с ней мысленно — ее разум был закрыт от любых мыслей извне, кроме тех, что исходили из деревни, за которой она Присматривала, — поэтому он обратился к ней словами, вслух. Она с трудом узнала голос, или, может, это вода так изменила все звуки.

— Люди говорят, что Юстиция умна и красива, она несет в себе справедливость. А еще говорят, что моя сестра — мрачная и ужасная девушка, ибо она может уживаться с правдой.

Его дыхание холодом обдало ее щеку, а от слов его по спине пробежали мурашки. Она не смела оставить деревню, чтобы заглянуть к нему в разум. Но в прозвучавших фразах сквозила какая-то обреченность, и она внезапно испугалась. Он как будто прощался, и она никак не могла понять почему.

Или это очередное испытание? Может быть, всех новичков-Наблюдателей проверяют таким образом? Может, всем в первый день близкие должны сказать какие-нибудь пугающие слова? «Если это испытание, я с честью выдержу его». Она не подняла лица из воды, продолжая Присматривать за деревней, и Милосердие ушел.

Вот появились глаза, через которые она могла видеть, — сонные, покрасневшие от недосыпания глаза, хозяева и хозяйки которых доили овец и коров или мешали кипящую на огне кашу. Вся домашняя обстановка была сделана из дерева, на полках стояли глиняные горшки, на стенах висели шкуры животных — это был древний мир, обнаруженный лишь недавно, и машины не могли помочь Наблюдателям в их работе. В стойлах потели лошади, в дома

беспрепятственно проникала пыль и грязь, дети хватали руками гусениц. На каждый город приходилось по одному Наблюдателю — столько опасностей подстерегало тамошних жителей.

Ребенок подавился куском колбасы. Родители недоуменно смотрели на него, не зная, что делать. Юстиция сжала диафрагму младенца, и малыш выплюнул колбасу на стол. Ребенок радостно рассмеялся и попытался было снова плюнуть, но Юстиция заставила мать легонько шлепнуть его, и дитя сразу затихло. У Юстиции было слишком мало времени, чтобы попусту тратить его на игры за завтраком.

Сапожник, отрезая кусок кожи, заодно отхватил себе полпальца. Он не был привычен к боли и громко закричал, но Юстиция мигом утихомирила боль и приказала сапожнику поднять отрезанный палец со скамьи и приложить на место. Срастить вену с веной, нерв с нервом было делом пары секунд. После этого она проникла к нему в разум и начисто стерла воспоминание о случившемся. Также она заглянула в разум его жены, заставив ее забыть ужас в крике мужа. А раз не помнишь, значит, ничего не было.

Она утихомиривала разгневавшихся. Успокаивала испугавшихся. Исцеляла боль и раны. Никакая зараза не могла прижиться в человеческом теле. С рассветом Юстиция подпустила в деревню чуточку бодрого настроения, и жители буквально рвались на работу — вскоре над полями уже звенели дружные песни, у горнов и печей исправно трудились рабочие.

Днем остановилось сердце старика. Юстиция быстро осуществила проверку смерти. Чтобы исцелить старика, потребуется больше трех минут; детей моложе двадцати у него нет; жена здорова телом и умом — значит ему можно позволить умереть. Вместо того чтобы воскрешать умершего, Юстиция привела в дом его сына, тридцатилетнего владельца гостиницы с могучими руками кузнеца. Она намеренно из-

гнала из разума мужчины все мысли; не узнав старика, он равнодушно поднял безжизненное тело и отнес на кладбище, где его друзья уже рыли могилу. Спустя час старик упокоился в земле. Люди, рывшие могилу, будут вспоминать о похоронах, как о давно случившемся горе, как о несчастье, произошедшем год назад, поэтому скорбь по умершему успеет затихнуть и исчезнуть.

Отправив мужчину обратно домой, Юстиция вложила в ум сына умершего старика воспоминания о тех радостных минутах, что он пережил в детстве. Теперь он считал, что сегодня всего лишь отметил годовщину перехода отца в мир иной, посетив его могилку на кладбище.

Овдовевшая жена старика собрала весь свой скарб и переехала жить в гостиницу к сыну, где ей выделили постель у стены, неподалеку от очага. Рядом с ней на низенькой кроватке спал внук, а в противоположном углу комнаты — внучка. Она давно забыла о слезах, пролитых по умершему мужу, и успела сжиться с невесткой. Все вновь наладилось, и жизнь потекла своим чередом — о дедушке все еще вспоминали, но легкая печаль уже не могла омрачить этот день.

Еще Юстиция должна была заботиться о женщинах, следя за тем, чтобы не было нежеланных или лишних детей. Так она помогла одной девушке, решившей, что пришла пора лишиться девственности. Юстиция внушила ей наслаждение, хотя ее парень явно перестарался. Наконец ночь спустилась на деревню, и Наблюдатели за Снами тихонько коснулись ее плеча, сказав, что работа выполнена. «Ты хорошо поработала», — похвалили они, и Юстиция вся вспыхнула от гордости, хоть ее мокрые щеки и тело обдувал прохладный ветерок. В Вортинге был полдень, и обожженная кожа на ее спине и бедрах приобрела ярко-красный оттенок. Она высушилась на ветру и, решив, что не стоит понапрасну отвлекать деливших с нею Озеро Наблюдателей, ушла не попрощавшись.

Только войдя в Сады, она позволила себе вздохнуть полной грудью. Воздух, словно снег, освежил горло. Она распустила волосы и встряхнула головой, рассыпая их по плечам. Еще пять дней Присмотра — и, если она не ошибется где-нибудь, ей позволять остричь локоны. Это будет означать, что она полностью прошла испытание и стала женщиной.

Отыскав одежду, она оделась. Сразу рядом с ней объявился ее старый дружок Грэйв и рассказал новости.

«Они нашли Бога, — сообщил он. — В космическом корабле, на дне моря. Он Спит, но мы можем разбудить его, если захотим. Но одно уже известно наверняка. Он самый обыкновенный человек».

«Естественно, человек, — рассмеялась Юстиция, — кто ж еще? Это мы и так знали, ведь мы его *дети*».

«Нет, — ответил Грэйв. — Он просто *человек*».

И тут наконец до нее дошло, что Язон Вортинг, отец всей расы, почти не обладает их силой.

О нет, проникать в разум он умел, но он не мог ничего *вложить* туда, не мог ничего *изменить*.

«Бедняга, — подумала Юстиция. — Иметь глаза, но не иметь рук, чтобы прикоснуться, не иметь губ, чтобы говорить. Быть бессильным и в то же самое время все видеть — о Боже, что за пытка. Уж лучше не будить его. Что он подумает о нас, о своих детях, когда поймет свою увечность?»

«Есть и такие, — молча продолжал Грэйв, — кто требует разбудить его. Они хотят, чтобы он судил нас».

«За что?»

«Как они утверждают, если у него хватит сил снести унижение при виде нашего могущества, нам стоит разбудить его. Он может нас многому научить — он единственный видел вселенную такой, какой она была до нашего Присмотра. Он способен сравнивать и может сказать нам, правильно ли мы поступаем».

«Конечно, правильно. А если он окажется слишком слаб и не выдержит нашего превосходства, мы просто изменим его память и отошлем отсюда».

Грэйв покачал головой:

«Зачем будить его? Чтобы отнять память? Ради чего он тогда проспал все эти столетия?»

«Когда человек печалится, болеет или умирает, мы исцеляем его».

«Он обладает воспоминаниями, которые уже давно утеряны для нашего мира».

«Тогда впитайте его воспоминания и исцелите его».

«Юстиция, он наш отец».

Разговор перешел на частности, а это уже было несправедливо.

«Надо разбудить его, раз он жив, и исцелить, если он испытывает боль. Какой толк решать что-то загодя? Причиним мы ему вред, не причиним — все равно мы этого не узнаем, пока не погрузимся в камень...»

И только тогда она догадалась, что отчаянно пытался скрыть от нее Грэйв. Пока она Присматривала, было принято решение погрузиться в камень, и ее брат Милосердие вызвался добровольцем.

Юстиция не стала ждать советов Грэйва; со всех ног она бросилась в Залу Камня. Сейчас она могла думать только об одном — Милосердие приходил попрощаться с ней, он знал, что ему предстоит, и ничего не сказал. Не потому, что она была в Озере; он специально выждал, пока она не начала Присматривать, чтобы она не смогла остановить его. Но она обязана это сделать, ибо заглянуть в разум мертвого человека означало погибнуть или сойти с ума. Конечно, Милосердие сказал бы: «Уж лучше я, чем кто-нибудь другой. Вот он я, позвольте мне это исполнить», — и с радостью отдал бы свой разум и жизнь ради возможности побывать в разуме самого Бога.

Когда Юстиция добралась до Залы, было уже слишком поздно. Только ей, не считая тех, кто сейчас Присматривал, ничего не сказали. Все остальные уже собрались — здесь или в других Залах Камня — и ждали внутри разума Милосердия. Он лежал на спине на плоской каменной плите, с разведенными в стороны руками, чтобы можно было удержать его, когда камень начнет размягчаться, и не дать телу погрузиться чересчур глубоко, Милосердие изогнулся и начал откидывать голову назад, пока она вся не исчезла в плите.

И ей ничего не оставалось, кроме как присоединиться к остальным, как будто она добровольно согласилась на участие в этом действе — возможно ли было оказаться единственной, кто не присутствовал при его жертвоприношении.

Заглянув в камень, она почувствовала присутствие знакомого разума. Мама.

«Добро пожаловать, Юстиция», — произнесла она.

«Как ты могла позволить ему!» — в ярости закричала Юстиция.

«А что оставалось делать? Он так настаивал, а кто-то должен был пожертвовать собой».

«Это нечестно. Он отдает все, а я — ничего».

«Ах, — улыбнулась мать, — ты снова говоришь о справедливости. Ты хочешь посоревноваться с братом в испытании болью».

«Да».

«Ничего не получится. Даже очень захотев, ты бы все равно не смогла погрузиться в камень. Это требует такого сострадания, которого в тебе нет, — лишь нескольким из нас это доступно. Но ты еще можешь помочь. Ты знаешь Милосердие лучше всех. Когда разум Бога перейдет в него, ты сможешь точно определить, сколько осталось Милосер-

дия и сколько занял Язон Вортинг. Ты обладаешь чувством меры, а следовательно, сможешь сказать нам, когда произойдет слияние, и мы решим, что делать дальше».

«Я не пойду на это».

«Если ты нам не поможешь, Милосердие может погибнуть».

Так из обычного наблюдателя Юстиция превратилась в вождя всего мира, заглядывающего в разум Милосердия.

Сейчас Милосердие находился на дне моря, где среди безмолвия и холода покоился разум Язона. Все воспоминания содержались на кассете, которая сейчас была недоступна, поэтому Милосердию пришлось проникнуть непосредственно в мозг, где эти воспоминания обретались, оставить там собственную память и память тех людей, которых он знал, и понаблюдать, как его разум обживется в пространстве, которое раньше занимал Язон. Если все пойдет хорошо, он перевоплотится в Язона, и от него люди узнают, как тот поведет себя, когда проснется, как будет реагировать на окружающее. Но ни один человек не был способен целиком и полностью освободиться от своих воспоминаний, оставив позади абсолютно пустой разум мертвеца. Всегда что-то задерживается, что-то мешает точному результату. Работа Юстиции состояла в том, чтобы замерить величину помехи и компенсировать ее.

Но помех не возникло. Никто не учел, как мало ценил Милосердие себя. Не было такого воспоминания, за которое он мог зацепиться, чтобы выжить. Не было такой частички души, которая цеплялась бы за жизнь, как бы он ни жаждал умереть. Поэтому, обыскав холодный, жидкий гранит, Юстиция не обнаружила ни следа Милосердия. Вместо него был какой-то незнакомец. Язон Вортинг, несчастный калека, который мог видеть, но не мог говорить.

Время тянулось долго, ужасно долго, но найти брата она так и не смогла.

«Где он? — крикнула ее мать. — Ты обязана найти его, ему больше не выдержать».

Наконец Юстиция в отчаянии расплакалась:

«Его там нет, он исчез!»

И, потрясенные совершенством Милосердия, Вортинги покинули разум юноши, разузнав о Язоне все, что нужно. Юстиция открыла глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как застывает толща камня. Голова ее брата все еще находилась внутри плиты, спина была выгнута, а руки цеплялись за поверхность. На мгновение ей вдруг показалось, что он шевельнулся, ожил и, почувствовав близкую смерть, теперь пытается высвободиться. Но это была лишь иллюзия, навеянная той позой, в которой он принял смерть. Плоть его перестала быть плотью, превратившись в камень. Все было кончено.

Юстиция сосредоточилась на себе, пытаясь найти то совершенное равновесие, которое ей было присуще. Но оно пропало вместе со смертью брата.

Лэрд стоял у постели Юстиции. Девушка упорно притворялась спящей.

— Ты послала мне это сновидение, — сказал он. — Значит, ты не спишь.

Она медленно покачала головой, и в неясном свете свечи, зажатой у него в руке, он увидел две слезинки, проступившие в уголках ее глаз.

Прежде чем он успел вымолвить хоть слово, на плечо его опустилась рука. Он обернулся. Позади стоял Язон.

— Она Присматривала за нашей деревней, Язон.

— Только один раз, — ответил он. — После того как ее брат превратился в камень, она больше никогда не Присматривала.

— Но я помню тот день. Я увидел себя в ее воспоминаниях, увидел, как она входит в меня, и впервые ощутил себя... целостным, что ли? Из того, что ты мне показывал раньше, ничто не было...

— Другие обладают лишь бледным подобием ее силы. А она понимает все, что открывается перед ней.

— Она жила рядом с нами долгие месяцы, а я совсем не знал ее, даже не догадывался... Это она Бог, а не ты.

— Коли речь зашла о богах, то она была самым незначительным из всех божеств. А в конце выяснилось, что она самая великая. Видишь ли, ей удалось понять меня. Она настояла, чтобы именно она заботилась обо мне, когда меня поднимут из моря. Я помню момент пробуждения. Корабельный компьютер, бедняга, с ума сошел, выкрикивая всевозможные предупреждения, — думаю, он никогда не сталкивался с той силой, которая двигала судном. Когда мы всплыли на поверхность, я открыл шлюз и увидел Юстицию. Она стояла на воде, и глаза ее были такие же голубые, как и у меня. Она смотрела на меня, и я подумал: «Моя дочь». Ведь прошло всего несколько дней с тех пор, как я покинул Дождь и детей в Лесу Вод. И вот кем они стали. Разумеется, она ненавидела меня.

— За что? Ты-то в чем виноват?

— Действительно, меня не в чем было винить, и она это знала. Поэтому-то она и стала одним из наиболее беспристрастных судей, когда речь зашла о том, чему я могу научить народ Вортинга. Если у кого была причина не доверять мне и сомневаться в каждом моем слове, так это у Юстиции. Она все мне показала; мне разрешили даже взглянуть, как они осуществляют Присмотр, чтобы я увидел их глазами то, что они делают во вселенной. Это было прекрасно, они проявили безмерную доброту, и мир был полон людей, посвятивших себя служению человечеству. Я же проклял их и сказал, что лучше бы меня кастрировали в

детстве — мол, тогда бы я не породил таких тварей. Насколько я помню, я страшно расстроился. Они, как ты понимаешь, тоже. Они не могли поверить, что я начисто отверг то, чем они занимаются. Они никак не могли понять — хотя и заглядывали ко мне в разум, — почему я так рассердился. И тогда я все показал им на деле. Я сказал, Юстиция, позволь я сотру у тебя воспоминание о смерти брата. И она ответила...

— Нет! — выкрикнула Юстиция.

Слово было произнесено не на языке Лэрда, но он все понял и без перевода.

— Лицемеры, сказал я им, — продолжал Язон. — Да как вы посмели отнять у человечества всю его боль, в то время как за собственные переживания цепляетесь так упорно? Но кто Присматривает за вами?

— Кто Присматривает за вами? — закричал Язон.

«Никто, — ответили они. — Если мы забудем собственную боль, то как тогда сможем переживать за этих людей, защищать их от страданий?»

— А вы никогда не задумывались, что, как бы они ни проклинали вселенную, судьбу, Господа Бога и прочее, и прочее, они вряд ли поблагодарят вас, когда узнают, что вы лишили их всего, что делает человека человеком?

И они наконец увидели в разуме Язона то, что он ценил больше всего на свете, открыли для себя воспоминания, которые сильнее всего впечатались в его сознание, — все они касались страха и голода, боли и печали. Они заглянули в собственные сердца и увидели, что сохранились только воспоминания о борьбе и достижениях, о жертвоприношениях, подобных тому, что совершил Милосердие, погрузившись в камень и исполнив свой долг, о страданиях, которые пережил Илия Вортинг, когда его жена бросилась в пылающий костер. В их памяти сохранился даже злой Адам Вортинг, стра-

шащийся, что его дядя когда-нибудь найдет его и снова накажет, — все эти воспоминания сохранились, — а ведь память о мимолетном удовольствии, как правило, не переживала и поколения. Они поняли, что именно делает их такими, какие они есть, а поскольку они не оставили человечеству возможностей преодолевать зло, то лишили его, таким образом, надежд на величие, на возможность радости.

Полное согласие было достигнуто не сразу. Они спорили еще недели, и даже месяцы. Но наконец, увидев себя глазами Язона, они убедились, что, Присматривая за человечеством, они тем самым умерщвляют его, что люди станут людьми лишь тогда, когда вновь столкнутся с возможностью страдания.

— Но как нам жить дальше? — спросили они. — Ведь мы знаем о грядущей боли, знаем, что можем остановить ее, так что же, нам придется все время сдерживать себя? Такой пытки не перенесем даже мы; слишком долго мы заботились о них, мы ведь любили этих людей!

И им осталось одно: покончить с этой жизнью. Завершить то, чему положил начало Милосердие. Они принесли себя в жертву. И только двое отказались.

— Вы сошли с ума, — заявил Язон. — Я хотел, чтобы вы перестали управлять всем и вся. Я не просил вас кончать жизнь самоубийством.

«Можно быть недостойными жизни, — смиренно ответили они. — В тебе слишком мало сострадания, чтобы понять это».

Юстиция же отказалась приносить себя в жертву, потому что считала себя недостойной умереть за дело Милосердия.

«Но тебе придется жить среди людей, переживать их страдания, — увещевали ее. — Ты будешь постоянно видеть боль, но исцелить ее уже не сможешь. Это уничтожит тебя».

«Может быть, — согласилась Юстиция. — Но это та цена, которую платит справедливость; в конце концов мы снова будем с Милосердием на равных».

Вдвоем они сели на космический корабль и полетели на тот единственный мир, который был известен Юстиции. Мир Вортинга за их спинами, резко изменив орбиту, устремился к Солнцу и погиб в одной-единственной яростной вспышке пламени.

Юстиция услышала смерти сотни миллионов душ и вынесла это; почувствовала ужас Дня, Когда Пришла Боль, и справилась с ним; познала ненависть Лэрда, который, узнав о ее силе, стал презирать ее за то, что она ничего не делает, — все это она приняла.

Но страдания Салы проникли глубоко в ее душу, ее боль она вынести не смогла. И она открыла свои чувства Лэрду, позволив ему заглянуть в свою душу и увидеть, что ощущает она в эти мучительные минуты.

— Как видишь, — сказал Язон, — она не я. В ней все-таки есть сострадание. В ней больше Милосердия, чем она думает.

Глава 12

ДЕНЬ, КОГДА ПРИШЛА СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Лэрд и Язон стояли у постели Юстиции, и впервые при виде нее Лэрд не испытывал ни страха, ни ненависти. Впервые он понял, какова истинная причина сделанного ею выбора, и, хоть он и считал этот выбор неверным, он все же признавал, что Юстиция не виновата ни в чем.

— Но как они могли вынести такое решение, — прошептал Лэрд, — когда судили только по твоему разуму? Они же никого больше не знали!

— Я не лгал им, — пожал плечами Язон. — Я всего лишь продемонстрировал им, как этот мир воспринимаю я лично. И вспомни, Лэрд, — судили они не по одному моему слову. Они пришли к этому решению только тогда, когда поняли, что отнимают у других то, что никогда не отдадут сами, что благодаря им человечество лишено единственного, что стоит помнить веками...

— Хорошо рассуждать, когда находишься на высокой башне и смотришь на людишек сверху вниз, — заметил Лэрд. — Но лично я, Язон, считаю, что, когда имеешь силу исцелять и не исцеляешь, ты причиняешь зло.

— Но я-то этой силой не обладаю.

В этот момент снизу раздался ужасный крик. Крик боли, который повторялся снова и снова. «Это Клэни, — подумал Лэрд. — Но Клэни ведь мертва».

— Сала! — закричал он и кинулся вниз по лестнице. Язон последовал за ним.

Отец сражался с пламенем, пытаясь вытащить Салу из камина. Одежда на ней вся полыхала. Ни секунды не колеблясь, Лэрд сунул руки в огонь и с помощью отца вытащил сестренку. Боль в обожженных руках была безумной, но Лэрд почти не замечал ее.

— Юстиция! Юстиция! Давай же! Давай! — кричала Сала, бившаяся у него на руках.

— Она уже горела, когда я проснулся! — в отчаянии пробормотал отец.

Мать металась вокруг дочери, протягивая руки к ее обожженному телу, но каждый раз тут же отдергивая их из страха сделать Сале еще больнее.

Лэрду было показалось, что глаза сестренки закрыты, и вдруг он понял, что это не так.

— Она лишилась глаз! — воскликнул он.

Переведя взгляд на лестницу, он увидел стоящую там Юстицию. На лице ее словно застыло выражение страдания.

— Ну же! Ну! — рыдала Сала.

— Как она вообще еще жива! — терзался отец.

— Боже милостивый, только не мучай ее! — плакала мать. — Не дай ей умереть, как Клэни, пускай она умрет прямо сейчас! Я не выдержу часов ее мучений!

Внезапно мать и отца оттолкнули чьи-то руки. Юстиция схватила Салу, буквально вырвала ее из объятий Лэрда и издала такой ужасный вой, что даже Лэрд не сдержался и расплакался, услышав звенящую в нем боль.

Затем наступила тишина.

Даже Сала затихла.

«Умерла», — подумал Лэрд.

Вдруг Сала моргнула — глаза ее снова сияли, как два бриллианта, заполнив пустые глазницы. У Лэрда на глазах обгоревшие струпья начали отваливаться от ее тела, обнажая бледную, гладкую, неповрежденную кожу.

Сала улыбнулась и рассмеялась. Обвив ручонками шею Юстиции, она нежно приникла к девушке. Лэрд перевел взгляд на собственные ладони: ожоги исчезли. Потянувшись к отцу, он коснулся увеличивающейся, растущей культяшки, на месте которой когда-то была рука. Прошло всего несколько минут, и рука выросла снова, такая же сильная, как и прежде.

Сжимая Салу в объятиях и обливаясь слезами, Юстиция без сил опустилась на пол.

— Наконец-то, — пробормотал Язон.

Юстиция подняла на него глаза.

— Все-таки ты человек, — сказал Язон.

«Ты действительно хорошая и добрая, — обратился к ней Лэрд. — Я был не прав. Когда Сала устроила тебе испытание, ты не смогла удержаться. В тебе больше милосердия, чем ты думаешь».

Юстиция кивнула.

— Ты справилась, отлично справилась, — вслух обратился к ней Язон. Наклонившись, он поцеловал ее в лоб. — Поступи ты как-нибудь иначе, я бы отказался от тебя как от дочери.

Для маленькой деревушки у Плоского Залива дни боли остались позади. Хотя былого не воротишь. Юстиция не стирала воспоминания и не утаивала смертей, но правлению боли в Плоском Заливе пришел конец. Юстиция поклялась, что будет сражаться с ней до конца жизни.

То был ясный весенний денек. Снег уже давно сошел, и люди копошились у оград и на полях, пересаживая придавленные снегом кусты, возделывая поля и готовя их к посеву.

Последние бревна привязали к плоту, который вот-вот должен был отправиться вниз по реке, к Звездной Гавани, где за него дадут хорошую цену — в особенности за то огромное мачтовое дерево, что посредине. Язон и медник взошли на борт. Плот слегка покачнулся, но тут же обрел равновесие. Он был устойчив, и шалаш, который они уже построили в центре, послужит им хорошим приютом на время двухнедельного путешествия вниз по течению. Медник захватил с собой свои посудины и сковородки; к жести и инструментам были привязаны небольшие поленья, чтобы они не затонули в случае, если плот распадется, — мед-

ник не мог позволить себе лишиться всего имущества. Пожитки Язона составлял лишь маленький окованный железом сундучок. Он открыл его всего только раз: удостовериться, что все девять исписанных пергаментов аккуратно свернуты и не слиплись друг с другом.

— Готовы? — спросил медник.

— Не совсем, — ответил Язон.

Спустя мгновение на берег вылетел Лэрд, на плече у него болталась наспех собранная котомка.

— Подождите! Меня подождите! — во все горло кричал он. Увидев же, что они еще не отчалили, он остановился и глупо ухмыльнулся: — Еще для одного место найдется?

— Если ты пообещаешь не объедать нас, — предостерег Язон.

— Я решил плыть с вами. С рукой у отца все в порядке, я теперь не особенно здесь нужен, впрочем, как и всегда. Так что я подумал, может, пригодится тебе помощник, который умеет читать и писать...

— Залазь на борт, Лэрд.

Лэрд осторожно ступил на плот и положил котомку рядом с железным сундучком.

— А что, неужели из этого получится настоящая книга? Ее что, еще и на настоящем печатном станке напечатают?

— Не заплатим — не напечатают, — ободрил его Язон.

Поднатужившись, они с медником длинными шестами оттолкнули плот от берега.

— Приятно думать, что теперь им ничто не угрожает, — промолвил Лэрд, оглядываясь на копающихся в полях жителей деревни.

— Надеюсь, ты не думаешь, что рядом со мной тебе тоже ничто не угрожает? — уточнил Язон. — Может, я уже староват, столько лет прожил, но умирать все равно не собираюсь. А уж выспался я на всю оставшуюся жизнь. Так

что предупреждаю, рядом со мной не наотдыхаешься. Да, и еще хочу напомнить, если ты вдруг забыл, — я очень многого не знаю и просто не умею.

Лэрд улыбнулся и, покопавшись в котомке, вытащил четыре головки сыра и копченый окорок.

— В общем, насколько я понимаю, не видать мне сладкой жизни, как своих ушей, — сказал он, отрезая кусок мяса и протягивая его Язону. — И все-таки я испытаю судьбу.

КАПИТОЛИЙ

Посвящается Джэю Э. Пэрри, который не только прочитал все это, но и значительно улучшил.

Ни один ребенок не может быть понят, если не известны родители; ни одна революция не может быть понята, если не известен прежний порядок; ни одна колония не может быть понята, если не известна родная страна колонистов; ни один новый мир не может быть понят, если не известен мир, предшествовавший ему.

Далее излагаются истории, дошедшие до нас с планеты Капитолий. В них рассказывается об обществе, возведенном на пластике, стали и сомеке — все эти составляющие должны были служить вечно, и все они рассыпались в прах. Эти сказания поведают вам, почему — и каким образом — Абнер Дун встал на путь уничтожения.

Глава 13

СЛОВНО КРУГИ НА ВОДЕ

У Бергена Бишопа была мечта — он хотел стать художником.

Еще в семилетнем возрасте он заявил об этом, и тут же, словно по волшебству, перед ним возникли карандаши, бумага, уголь, акварельные и масляные краски, холст, палитра и целый набор всевозможных кисточек. Раз в неделю к нему стал приходить учитель рисования. Короче говоря, ему обеспечили все, что только можно было купить за деньги.

Учитель был достаточно умен и потому прекрасно знал: если уж зарабатываешь на хлеб, обучая отпрысков богатеньких родителей, то должен разбираться, когда говорить напрямик, а когда изворачиваться и лгать. Таким образом, за время работы фраза «У вашего ребенка талант» не раз срывалась с его губ. Но в данном случае он говорил правду и только правду, а поэтому ему было несколько трудновато заставить звучать искренне то, что обычно было ложью.

— Ваш сын *талантлив!* — с изумлением объявил он. — Ваш мальчик *и в самом деле* талантлив!

— А никто этого и не отрицает, — ответила мать мальчика, несколько удивленная неумными комплиментами учителя.

Отец не сказал ничего, лишь спросил себя, неужели этот глупец-учитель считает, что подобная экспансивность обеспечит ему прибавку к жалованью.

— Этот парень точно талантлив. У него огромное будущее. Огромное, — еще раз повторил учитель, а мать Бергена, уже подуставшая от бесконечных похвал, сказала:

— Мой дорогой друг, мы ни капельки не возражаем против его таланта. Талант так талант, пусть его. А вас мы ждем в следующий вторник. Большое спасибо за урок.

Однако, несмотря на подобное безразличие со стороны родителей, Берген погрузился в рисование с головой. За незначительный срок он приобрел технику, которая дается лишь долгими годами упражнений.

Он рос очень добрым мальчиком и всегда стоял на стороне справедливости. Многие юноши с планеты Кроув, посещающие ту же школу, что и он, считали своих слуг мальчиками для битья. И по-своему были правы — раз младшие братья вышли из моды, надо ж на ком-то вымещать свою злость. И слуги (а таковыми являлись мальчики того же возраста, что и господа) с ранних лет познавали на собственной шкуре одну простую истину: побои юных хозяев — сущая ерунда, вот попробуй ответить, тогда попляшешь.

Берген, однако, никогда не позволял себе ничего подобного. Вспыльчивость и вздорность не были свойственны ему, а потому он и его слуга, Дэл Ваулз, никогда не ругались и не тузили друг друга. Когда же Дэл, жутко стесняясь, упомянул между делом, что тоже был бы не прочь поучиться рисовать, Берген поступил по справедливости, то есть поделился с мальчиком не только красками и кисточками, но и своим учителем.

Учитель рисования не возражал против присутствия на уроках Дэла — тот сидел тихо и не надоедал с вопросами. Однако при случае не замедлил намекнуть отцу Бергена, что неплохо было бы доплатить, ведь уроки посещает не один ученик, а двое.

— Дэл, и ты действительно посмел тратить впустую время учителя? — спросил Локен Бишоп сына своего слуги.

Дэл промолчал. Он перепугался до смерти и просто не знал, что сказать. За него ответил Берген:

— Это была моя идея. Чтобы он учился вместе со мной. Какая разница — двое учатся или один?

— Учитель требует дополнительной оплаты. Тебе, Берген, пора бы уже понять цену деньгам. В общем, так, либо ты берешь уроки один, либо прощайся с рисованием.

Но Берген все-таки упросил учителя («Ты в одну секунду вылетишь отсюда. И не только из города, но и с *планеты* тоже!»), чтобы тот позволил Дэну сидеть тихонечко рядом и смотреть, как они занимаются. Ради этого Дэлу пришлось отказаться от карандашей и бумаги на уроке.

В девять лет Бергену прискучило рисование, и он уволил учителя. Затем он увлекся верховой ездой, опередив в этом увлечении многих мальчишек своего возраста. На этот раз Берген настоял на том, чтобы отец приобрел двух лошадей и позволил Дэлу сопровождать его на прогулках.

Детство — идиллическая пора. Разумеется, каких-то разочарований все равно не миновать, и иногда Дэл и Берген по нескольку дней видеть друг друга не могли. Но эти редкие случаи остались погребенными под лавиной других, более счастливых воспоминаний и быстро забылись. Ежедневные прогулки на лошадях уводили их далеко от дома, но в какую бы сторону они ни направились, они могли ехать целый день и все равно не выбрались бы за границы владений отца Бергена.

Зачастую Берген на долгие часы забывал о том, что именно он здесь хозяин, а Дэл — всего лишь слуга по контракту, и вскоре мальчики стали лучшими друзьями. На пару они вымазали лестницу воском, так что родная сестра Бергена чуть не убилась, поскользнувшись на ступеньках — причем Берген принял всю вину на себя и стоически снес наказание, поскольку его всего лишь заперли в комнате на денек, но если б на подобном проступке поймали Дэла, слугу бы

нещадно избили и выгнали взашей. На пару мальчишки прятались в кустах и следили за парочкой, которая, проехавшись нагишом на лошадях, совокуплялась на камнях утеса — и еще долгое время спустя гадали, не этим ли занимаются родители Бергена за запертыми дверьми. На пару они излазали каждую лужу в поместье, а костры разводили чуть ли не на каждом шагу. Они столько раз спасали друг другу жизнь, что сбились со счета, кто кому должен.

А потом, отпраздновав четырнадцатилетие, Берген вдруг вспомнил, что когда-то, будучи еще мальчишкой, рисовал. Один из дядюшек, заехав погостить, заметил как-то:

— А вот и Берген, мальчик, который любит рисовать.

— Рисование было детским капризом, — усмехнулась мать. — Он уже вырос и больше подобными глупостями не занимается.

Берген не привык сердиться на мать. Но в возрасте четырнадцати лет немногие способны спокойно сносить насмешки и не реагировать на обвинение в «детских глупостях».

— Да неужели, мам? — немедленно встрял в разговор Берген. — Тогда почему же я все еще рисую?

— И где же ты рисуешь? — удивилась она.

— У себя в комнате.

— Что ж, покажи мне тогда свои работы, крошка-художник. — От «крошки» беситься хотелось.

— Я сжег их. Свою лучшую картину я еще не нарисовал.

Услышав это, мать и дядя громко расхохотались, а Берген выскочил из комнаты, сопровождаемый верным Дэлом.

— Какого дьявола, куда же все подевалось? — сердито ворчал он, роясь в шкафу, где раньше складировались принадлежности для рисования.

Дэл смущенно кашлянул.

— Берген, сэр... — проговорил он (по исполнении двенадцати лет Берген вступил в пору совершеннолетия, и согласно закону, все наемные работники, трудящиеся на него или на его отца, в разговоре с ним должны были употреб-

лять вежливое обращение «сэр»). — Я думал, вам уже не понадобятся ни краски, ни все прочее. Это я их забрал.

— Верно, мне они и были ни к чему, — удивленно повернулся к нему Берген. — Но я даже не подозревал, что ты этим все еще увлекаешься.

— Простите меня, сэр. Но когда вы брали уроки, мне не часто представлялся случай попробовать свои силы. Лишь после того, как вы забросили рисование, я начал пользоваться вашими материалами.

— И что, ты умудрился все изрисовать?

— Там был огромный запас всего. Бумага закончилась, но еще осталась уйма холста. Я сейчас принесу.

Он сходил к себе и, воспользовавшись задней лестницей, дабы не попасться на глаза родителям Бергена, в два приема перенес все принадлежности назад.

— Я думал, ты не будешь возражать, — сказал Дэл, возвращая холст, краски и кисти.

Берген задумчиво обводил взглядом раскиданное по полу хозяйство:

— А я и не возражаю. Я злюсь на свою старуху, которая вбила в голову, будто я еще ребенок. Я решил, что снова начинаю рисовать. Ума не приложу, чего это я забросил занятия. Я ведь всегда хотел стать художником.

Мольберт он установил у окна, чтобы видеть раскинувшийся внизу двор, усеянный рощицами деревьев-хлыстов. Деревья эти вздымались на высоту пятидесяти метров — грозные, прямые как стрела исполины, в бурю они, словно трава, стелились по земле. И фермеры Равнин могли не бояться, что какое-нибудь дерево в сильный ветер рухнет вдруг на дом.

Берген наложил на холст две широкие полосы — зеленую и голубую. Дэл внимательно наблюдал за ним. Порой движения Бергена были неуверенны, но все же вскоре на мольберте возникла картина. Долгая разлука с искусством никак не отразилась на его мастерстве. Глаз стал вернее, а

краски приобрели глубину. И все-таки он оставался обыкновенным любителем.

— Может быть, стоит добавить небу красноты. Пару мазков, вон там, под облаками, — предложил Дэл.

— К небу я еще вернусь. — Берген смерил его холодным взглядом.

— Прости.

И Берген снова обратился к картине. Все у него получалось — за исключением деревьев-хлыстов. Ему никак не удавалось поймать их форму. Они казались такими бурыми, такими массивными. Но ведь на самом деле они выглядели совсем иначе. А когда он попытался изобразить их гнущимися под порывами ветра, они и вовсе выпали из общей картины. Они выглядели нескладными, совсем не такими, как в жизни. В конце концов Берген громко выругался, выбросил кисточку в окно, вскочил на ноги и в ярости зашагал по комнате.

Дэл подошел к картине и сказал:

— Берген, сэр, все не так уж плохо. Наоборот. Очень хорошая картина. Вот только деревья...

— Проклятие, сам вижу, — прорычал Берген, взбешенный тем, что, впервые за долгие годы взяв в руку кисть, не сумел добиться совершенства. Он развернулся — и увидел, как Дэл маленькой кисточкой наносит изящные, верные штришки.

— Вот, может, так будет лучше, сэр, — сказал наконец Дэл, отступая на пару шагов.

Берген подошел к холсту. Деревья-хлысты, выглядящие точь-в-точь как в жизни, вздымались к небу; ожив, они стали самой *прекрасной* деталью на всем полотне. Берген не мог оторвать от них глаз — они казались такими легкими — и такими легкими штрихами Дэл вписал их в пейзаж. Но так не должно было быть, это все неверно. Это *Берген* должен был стать художником, а не Дэл. Это нечестно, неспра-

ведливо, неправильно — Дэл не должен уметь рисовать деревья-хлысты.

Процедив в ярости какое-то ругательство, Берген размахнулся и что было силы ударил Дэла. Удар пришелся в челюсть. Дэл ошарашенно глядел на Бергена, оглушенный не столько ударом, сколько самим этим поступком.

— Раньше ты меня никогда не бил, — растерянно проговорил он.

— Прости, — немедленно ответил Берген.

— Я всего-то нарисовал деревья-хлысты.

— Я знаю. И прошу прощения. Обычно я не бью слуг.

При этих словах удивление Дэла переросло в ярость.

— Слуг? — холодно уточнил он. — Ах да, и в самом деле. Просто на какое-то мгновение я забыл, что я всего лишь слуга. Мы попробовали свои силы в одном и том же, и вдруг выяснилось, что я справился лучше тебя. Я забыл, что я слуга.

Берген опешил. Он ведь не имел в виду ничего плохого — просто похвалился тем, что обычно при обращении со слугами держит себя в руках.

— Но, Дэл, — растерянно произнес он, — ты и есть слуга.

— Вот именно. Я должен запомнить это на будущее. И ни в коем случае не побеждать. Я буду громко хохотать над твоими шутками, даже над самыми дурацкими. Буду придерживать поводья, чтобы ты мог обогнать меня. Буду всегда соглашаться с тобой, какую бы чушь ты ни плел.

— Этого я у тебя не просил! Я не хочу, чтобы со мной так обращались! — крикнул Берген, возмущенный подобной несправедливостью.

— Но именно так должны вести себя слуги со своими господами.

— А я не хочу, чтобы ты был слугой. Я хочу, чтобы ты был мне другом!

— Да, я тоже думал, что мы друзья.

— Ты слуга, но вместе с тем друг.

— Берген, *сэр,* — рассмеялся Дэл, — человек может быть *либо* слугой, *либо* другом. Это два конца одной и той же дороги, два противоположных конца. Либо тебе платят за службу, либо ты поступаешь так, как поступаешь, из любви к человеку.

— Но тебе платят, а я-то думал, ты любишь меня!

Дэл покачал головой:

— Я служил из любви к тебе и думал, что ты кормишь и одеваешь меня тоже из любви. Когда мы были вместе, я чувствовал себя свободным.

— Ты и так свободен.

— У меня контракт.

— Стоит тебе попросить, и я немедля порву его в клочки!

— Это обещание?

— Клянусь своей жизнью. Ты не слуга, Дэл!

Тут открылась дверь, и в комнату вошли мать Бергена и его дядя.

— Мы услышали крики, — сказала мать. — И подумали, что вы здесь поссорились.

— Мы просто немножко подрались подушками, — ответил Берген.

— Почему же тогда подушки лежат на постели, будто их и не трогали?

— Ну, мы подрались, а потом положили их обратно.

— Тебе повезло, Селли, — усмехнулся дядя. — У тебя не сын, а служанка прямо. Какая экономия!

— О Господи, Ноэль, он ведь не шутил. Он все еще рисует.

Они подошли к картине и внимательно рассмотрели ее.

После долгой паузы Ноэль повернулся к Бергену, улыбнулся и протянул руку.

— Мне было показалось, что ты там просто хвастался. Мальчишки не могут не хвастаться. Но у тебя талант, маль-

чик мой. Небо чуть-чуть грубовато, над некоторыми деталями следует поработать. Но у человека, который так рисует деревья-хлысты, большое будущее.

Берген не любил, да и не умел присваивать чужие почести:

— Деревья рисовал Дэл.

Селли Бишоп в отвращении скривилась, но совладала с собой и, повернувшись к Дэлу, приторно улыбнулась:

— Как это мило, Дэл, что Берген позволяет тебе возиться со своими картинами.

Дэл ничего не ответил. Ноэль перевел задумчивый взгляд на мальчика:

— Контракт?

Дэл кивнул.

— Я выкуплю его, — предложил Ноэль.

— Не продается, — быстро ответил Берген.

— Ну, в принципе, — сладким голоском протянула Селли, — не такая уж плохая мысль. Рассчитываешь что-нибудь поиметь с его таланта?

— Попробовать стоит.

— Контракт, — твердо заявил Берген, — не продается.

Селли холодно глянула на своего сына:

— Все купленное может быть перепродано.

— Да, но если человек любит что-то, он не продаст это ни за какие деньги.

— Любит?!

— Селли, вечно тебе какие-то извращения на ум лезут, — сказал Ноэль. — Сразу видно, эти парни друзья не разлей вода. Порой у меня создается впечатление, что ты мерзейшая сучка на этой планете.

— О, Ноэль, ты слишком добр ко мне. Прослыть на *этой* планете сучкой действительно достижение. Да и кроме того, ведь есть же еще и императрица.

Они дружно расхохотались и покинули комнату.

— Извини, Дэл, — сказал Берген.

— Ничего, я привык, — кивнул Дэл. — Твоя мать и я никогда не любили друг друга. Но мне плевать — в этом доме только один человек мне небезразличен.

Какой-то миг они смотрели друг другу в глаза. Затем улыбнулись. И больше не говорили о случившемся, потому что в четырнадцать лет не принято выказывать нежные чувства — так называемые «слабости».

Когда Бергену исполнилось двадцать, до их планеты добрался сомек.

— Это же гениально! — воскликнул Локен Бишоп. — Да ты понимаешь, что это значит?! Если мы пройдем тест, то пять лет будем проводить во сне и пять лет — бодрствовать. Мы проживем на этой земле на целое столетие дольше.

— А пройдем ли мы этот самый тест? — поинтересовался Берген.

При виде такой наивности родители громко расхохотались.

— Здесь же все дело в заслугах, а мальчик еще спрашивает, пройдет ли его семья тест! Конечно, мы пройдем, Берген!

Берген смотрел на отца и мать с холодной яростью, которую они вызывали у него в последнее время.

— С чего вдруг? — стараясь говорить как можно спокойнее, спросил он.

Локен уловил звенящие нотки в голосе сына и немедленно принял серьезный вид.

— Да с того, что твой отец обеспечивает работу пятидесяти тысячам мужчин и женщин, — ткнул он пальцем в грудь Бергену. — С того, что, если я вдруг решу прикрыть свое дельце, половина этой планетки отправится в тартарары. Да ты только посмотри, какие я плачу налоги! Больше, чем кто-либо, во всей Империи лишь пятьдесят человек обладают таким богатством, как я.

— Иными словами, мы получаем сомек, потому что ты богат, — констатировал Берген.

— Да, потому что я богат! — сердито отрезал Локен.

— В таком случае, если не возражаешь, я пока откажусь от сомека. Я хочу добиться этой чести собственными силами, а не принять ее по наследству от отца.

— Если бы я решила дожидаться, когда мне присвоят право пользоваться сомеком, я бы прождала до конца дней своих! — рассмеялась Селли.

— И будь на этом свете хоть какая-нибудь справедливость, ты бы его так и не получила. — Берген посмотрел на нее с отвращением.

Он сам не ожидал от себя подобной вспышки, но ни отец, ни мать не сказали ему ни слова в ответ.

Зато весь вечер с ним говорил Дэл. Они засиделись допоздна, заканчивая каждый свою картину. Дэл наносил последние штрихи на выполненную маслом миниатюру, а Берген завершал огромное полотно величиной чуть ли не со стену. На картине поместье было изображено таким, каким, по мнению Бергена, ему и следовало быть. Сам дом совсем крошечный, зато амбары достаточно вместительны, чтобы действительно приносить пользу. И деревья-хлысты были прекрасны.

Спустя несколько недель тайком от всех Берген ускользнул из дома и, заплатив за экзамен, набрал приличное число баллов по всем трем категориям: по интеллекту, творческим способностям и честолюбию. Ему было присвоено право проводить три года в сомеке и пять лет бодрствовать. Теперь и он присоединился к рядам Спящих. И добился он этого, не прибегая к деньгам.

— Поздравляю, сынок, — сказал отец, явно не слишком гордый независимостью сына.

— Я вижу, ты установил свой график так, чтобы проснуться за два года до нас. Небось надеешься вдоволь пове-

селиться в наше отсутствие? — сказала Селли. Насколько горестно было ее лицо, настолько же ядовито прозвучали слова.

Дэл же, услышав, что вскоре Берген примет сомек, сказал только одно:

— Сначала освободи меня.

Берген растерянно смотрел на него.

— Ты обещал, — напомнил Дэл.

— Но я не могу. Я вступлю в право собственности лишь через год.

— А ты думаешь, твой отец меня отпустит? Думаешь, твоя мать позволит ему это? Контракт дает им право вообще запретить мне рисовать, а то и вовсе присвоить все мои работы. Они вполне могут послать меня чистить конюшни. Могут заставить валить деревья голыми руками. А ты вернешься только через три года.

— Но что я могу сделать? — Берген был искренне расстроен.

— Убеди отца дать мне свободу. Или не принимай пока сомек. Через год ты достигнешь совершеннолетия и сам освободишь меня.

— Я не могу откладывать сомек. Добившись этой привилегии, ты должен использовать ее. Претендентов множество.

— Тогда убеди отца.

Потребовался целый месяц постоянных уговоров и споров, прежде чем Локен Бишоп согласился наконец освободить Дэла от контракта. Но при одном условии.

— В течение пяти лет семьдесят пять процентов твоих доходов, не считая затрат на жилье и питание, будут отходить нам. Или ты можешь сразу заплатить мне восемьдесят тысяч. На выбор.

— Отец, — запротестовал Берген, — это же нечестно. Через одиннадцать месяцев я и сам смогу его освободить. А восемьдесят тысяч — это в десять раз больше, чем ты когда-

то заплатил за контракт. Не говоря о том, что деньги эти ты платил *не ему*.

— Но я кормил его целых двадцать лет.

— А он работал на тебя.

— Работал? — перебила Бергена Селли. — Скажи лучше, развлекался. С тобой вместе.

И тут заговорил Дэл, заговорил так тихо, что спорщикам пришлось умолкнуть, чтобы услышать его:

— Если я соглашусь на ваши условия, то не смогу собрать денег на экзамен на право сомека.

— Это уже меня не касается, — сжав зубы, процедил Локен. — Либо ты соглашаешься, либо продолжаешь работать по контракту.

Берген спрятал лицо в ладонях. Селли довольно улыбнулась. А Дэл кивнул:

— Только я хочу, чтобы условия эти были изложены на бумаге.

Голос его был тих, но эффект напоминал раскат грома. Локен вскочил на ноги и угрожающе двинулся на Дэла. Он словно башня возвышался над продолжавшим сидеть юношей.

— Что ты сказал, мальчишка? Ты хочешь, чтобы Бишоп подписал письменный договор с каким-то паршивым наемным работягой?!

— Я хочу, чтобы все условия были изложены на бумаге, — мягко повторил Дэл, встречая бешенство Локена с абсолютным спокойствием.

— Я тебе дал слово, этого вполне достаточно.

— А кто свидетель? Ваш сын, который следующие три года проведет во сне, да ваша жена, которая известна своей страстью к пятнадцатилетним юношам-слугам.

Селли открыла рот от изумления. Локен побагровел, но все же отступил от Дэла. А Берген пришел в ужас.

— Что? — переспросил он, не веря своим ушам.

— Я хочу, чтобы все условия были изложены на бумаге, — еще раз произнес Дэл.

— А я хочу, чтобы ты убрался из этого дома! — прорычал Локен, но голос его предательски задрожал.

«Если Дэл говорил серьезно, а мать ни слова не произнесла в свою защиту, представляю, каково отцу», — подумал Берген.

Но Дэл поднял глаза на Локена и, улыбнувшись, спросил:

— А вы, наверное, думали, что поле, которое вы возделали первым, всегда будет принадлежать вам одному?

Берген отказывался понимать происходящее:

— О чем он, отец? Что Дэл хочет сказать?

— Так, ничего особенного, — чересчур резко оборвал сына Локен.

Но Дэл не останавливался.

— А твой отец, — обратился он к Бергену, — играет в очень, очень странные игры с пятилетними мальчиками. Я не раз просил его, чтобы он и тебя пригласил, но он почему-то всегда отказывался.

Гвалт не смолкал по меньшей мере час. Локен нервно стучал кулаком по бедру, тогда как торжествующая Селли твердила, что ее невинный флирт ни в какое сравнение не идет с его позором. Лишь Берген пребывал в искреннем отчаянии:

— Все эти годы, Дэл... Что же творилось все эти годы?

— Тебе я был другом, Берген, — сказал Дэл, опуская почтительное «сэр», — но в их глазах я оставался слугой.

— Ты ничего не говорил мне.

— А что бы ты сделал?

Часом спустя Дэл вышел из комнаты. В руках он держал письменное соглашение.

Придя в себя после первого знакомства с сомеком, Берген узнал от одного из доброжелательных служителей Сон-

ных Зал, что отец его умер спустя несколько дней после его отъезда, а через два года одним из своих любовников была убита мать. Самые большие имения на Кроуве, если не считать земель, принадлежащих императрице, теперь отошли Бергену.

— Мне ничего не нужно.

— Я должен предупредить вас, — сказал служитель, — что в дополнение к этому наследству полагается пять лет под сомеком и год снаружи.

— То есть я буду бодрствовать всего год в целых шесть лет?!

— Таким образом императрица выражает благоволение силам, играющим немалую роль в экономике.

— Но я хочу стать художником.

— Так становитесь им. Но сейчас вы, наверное, хотите навестить могилы родителей. За ведение дел можете не беспокоиться, ваши управляющие справляются прекрасно. А когда закончите все свои дела, можете возвращаться, ведь согласно условиям вам осталось еще два года сомека.

— Сначала я должен кое-кого повидать.

— Как пожелаете. В течение следующих трех дней мы готовы принять вас в любое время. Если же вы не уложитесь в этот срок, вам придется ждать год, и вы потеряете два года сна.

Первые два дня Берген провел в поисках Дэла Ваулза. В конце концов он все-таки нашел его, когда вспомнил, что Дэл все еще обязан платить по контракту, заключенному с Локеном. Управляющие поместьем быстро отыскали его адрес, потому что Дэл регулярно присылал на счет Бишопов оговоренные семьдесят пять процентов.

Дэл открыл дверь, и лицо его озарилось, когда он узнал гостя.

— Берген, — сказал он. — Заходи. Значит, уже целых три года минуло?

— Да, значит, так. Дэл, такое впечатление, будто мы расстались вчера. Для меня это действительно было вчера. Как ты живешь?

Дэл указал на стены своей квартирки: на них было развешано сорок или пятьдесят всевозможных полотен и набросков. В течение следующих двадцати минут друзья толком не разговаривали, лишь изредка раздавались реплики типа «Вот это, мне вот это нравится» или «Как это у тебя получилось?». А затем Берген, немало потрясенный увиденным, опустился на пол (мебели в комнате не было), и началась беседа.

— Ну и как дела?

— Продается неважно. У меня пока что нет имени. Хотя все равно покупают. А недавно пришла хорошая весть: императорским указом все правительственные структуры должны быть перенесены на Кроув. Даже имя планеты собираются менять. На Капитолий. В общем, если все пойдет как надо, каждая занюханная планетка теперь будет вращаться вокруг Кроува — в политическом смысле, естественно. А это означает наплыв клиентов. Означает, что сюда повалят люди, разбирающиеся в искусстве, а всех вояк и торговых крыс, которые испокон веков держали в лапах эту планету, вышибут вон.

— А ты научился говорить цветистыми фразами с тех пор, как мы в последний раз виделись.

— Я почувствовал свободу.

— Я привез тебе подарок. — Берген вручил ему официальный документ, освобождающий от условий контракта.

Дэл прочитал его, расхохотался, перечитал еще раз и вдруг заплакал.

— Берген, — проговорил он, — ты понятия не имеешь... Ты даже представить себе не можешь, как трудно было.

— Догадываюсь.

— Я не мог сдать экзамен. Один Господь ведает, как я вообще выжил. Но теперь...

— И еще, — сказал Берген. — Экзамен стоит три тысячи. Вот, я принес их тебе.

И он отдал деньги другу.

Дэл подержал их несколько секунд, а затем отдал обратно.

— Стало быть, твой отец умер...

— Да, — кивнул Берген.

— Мне очень жаль. Это, наверное, было большим потрясением для тебя.

— А ты разве не знал?

— Я не читаю газет. Радио у меня нету. А мои чеки ни разу не возвращались.

— Контракт есть контракт, так посчитали управляющие. Сам вспомни, за так мой отец никогда не освобождал от контрактов.

И они хмуро усмехнулись, вспомнив человека, которого Дэл в последний раз видел три года назад, а Берген — всего лишь вчера.

— А твоя мать?

— Эта сучка погорела на собственных грехах, — ответил Берген, и на этот раз что-то дрогнуло в его голосе.

Дэл коснулся его руки.

— Мне жаль, — произнес он.

И теперь настал черед Бергена разрыдаться.

— Слава Богу, ты все еще мой друг, — наконец проговорил он.

— А ты — мой.

Тут дверь отворилась, и на пороге появилась девушка с полугодовалым младенцем на руках. Она явно не ожидала увидеть Бергена.

— Кажется, у нас гости, — сказала она. — Привет. Меня зовут Анда.

— А меня — Берген.

— Это мой друг Берген, — представил их Дэл. — Моя жена Анда. Мой сын Берген.

— Он столько раз рассказывал мне, как ты умен и красив... Это ведь он настоял, чтобы сына мы назвали в твою честь, — улыбнулась Анда. — И он был прав.

— Вы слишком добры ко мне.

Разговор потек своим чередом, но все шло не так, как ожидал Берген. Смех, шуточки, веселые пикировки, шутливые подколки и оскорбления, которыми обменивались Берген и Дэл в детстве, — всему этому здесь было не место. Между ними встала Анда. Так они и расстались — на дружественной ноте, вот только в сердце у Бергена словно образовалась пустота. Дэл отверг его дар и вернул деньги за экзамен, приняв одну лишь свободу. Он разделит эту свободу с Андой.

Берген вернулся в Сонные Залы и воспользовался двумя оставшимися годами сомека, дарованными ему новыми привилегиями.

Когда он проснулся в следующий раз, все вокруг изменилось. Кроув теперь звался Капитолием, и планету охватил строительный бум. И компании Бергена играли в нем не последнюю роль.

Строительство проводилось беспорядочно и быстро, и вскоре Берген начал понимать, что без толку бездумно вздымать в небо небоскребы. Капитолий вскоре станет центром торговли, для сотен и сотен планет он будет олицетворять закон и порядок. Пройдет немного времени и планета превратится в один огромный город. И Берген взялся за дело.

Он приказал архитекторам составить план здания, которое покроет сотню квадратных миль и вместит пятьдесят миллионов людей, заводы тяжелой и легкой промышленности, транспортные ветки и систему связи. Крыша здания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать взлет и посадку не только обыкновенных летательных аппаратов, но и гигантских космических кораблей. На составление

подобного плана уйдет немало времени, поэтому Берген в подробностях расписал, что именно должно быть готово к его следующему пробуждению через пять лет.

Оставшуюся часть года Берген провел в сражениях с бюрократами. Он добивался принятия своего проекта как основного плана развития планеты на ближайшее будущее. Каждый город будет организован подобным образом, поэтому, когда численность населения резко пойдет вверх, города без труда смогут состыковаться друг с другом, этаж к этажу, труба к трубе, и из них сформируется сплошной, единый мегаполис с крышей в виде космопорта и глубоко уходящими в камень шахтами-корнями. Время бодрствования уже практически истекло, когда он наконец одержал победу — и все основные контракты разом отошли к компаниям Бергена Бишопа.

Однако он не забыл Дэла. Застал он его за очередной картиной. Творения Дэла уже пользовались широкой популярностью. Но разговор получился нелегким.

— А, Берген. Земля слухами полнится.

— Рад тебя видеть, Дэл.

— Говорят, ты собираешься ободрать планету как липку и покрыть сталью.

— Да, где-то так. Но не всю.

— А я слышал, что в конце концов все затянет сталью.

Берген нетерпеливо дернул плечами:

— Останутся громадные парки. Многие мили нетронутой земли.

— Пока населения не прибавится в очередной раз. Правильно я понял? Запас на черный денек.

Берген был уязвлен:

— Я пришел поговорить о твоих картинах.

— Ну что ж, — сказал Дэл. — Вот, полюбуйся.

И он вручил Бергену изображение стального монстра, который жидкой волной гноя растекался по зеленым холмам и лугам.

— Отвратительно, — скривился Берген.

— Это твой город. Я позаимствовал этот образ из архитектурных чертежей.

— Мой город вовсе не так уродлив.

— Знаю. Но задача художника заключается в том, чтобы делать прекрасное еще более прекрасным, а уродливое — еще более уродливым.

— Должна же Империя иметь свою столицу.

— Но должна ли столица превращаться в империю?

— Почему ты так озлоблен? — спросил Берген, искренне встревоженный состоянием друга. — Вот уже долгие годы люди рвут планеты на части. Что на тебя нашло?

— Ничего.

— А где Анда? Где твой сын?

— Понятия не имею. И не жалею об этом. — Дэл подошел к картине, изображающей закат, и ударил кулаком прямо в центр холста, прорвав в полотне огромную дыру.

— Дэл! — воскликнул Берген. — Что ты делаешь?!

— Я ее создал. Я имею право ее уничтожить.

— Почему Анда ушла от тебя?

— Я провалил экзамен. Ей сделал предложение какой-то парень, который пообещал сомек. Она согласилась.

— Быть того не может. Ты провалил экзамен на сомек?

— Мои картины подлежали оценке. Кроме того, когда тебе уже двадцать шесть, требования возрастают. Они уже гораздо выше.

— Двадцать шесть... но нам же всего...

— Это *тебе* всего двадцать один. А мне уже двадцать шесть, и я быстро старею. — Дэл подошел к двери и распахнул ее настежь. — Убирайся, Берген. Я скоро умру. Через пару твоих лет я превращусь в никчемного старикашку, поэтому, прошу тебя, не приходи больше. Не утруждай себя. Действуй, как действовал, грабь эту планету, пока она еще приносит прибыль.

Берген ушел. Он был обижен столь несправедливым обращением и никак не мог понять, с чего вдруг Дэл так возненавидел его. Если бы Дэл взял те деньги, что Берген предлагал ему два года назад, то успел бы подать запрос на тест, когда еще мог его пройти. Он сам виноват, Берген здесь ни при чем. И нечестно винить в чем-либо его.

Три пробуждения подряд Берген не виделся с Дэлом. Память о поселившейся в друге ожесточенности была слишком свежа. Вместо этого Берген сосредоточился на строительстве своих городов. Полмиллиона человек работали на него, двенадцать городов одновременно поднимались над равниной. Большей частью земля оставалась непотревоженной, но города вознеслись на такую высоту, что ветра исчезли, а деревья-хлысты начали вымирать. Кто же знал, что семена должны были падать в землю с высоты не более метра и что без сильных ветров, которые пригибали деревья к земле, семечки, летя с самых вершин, разбивались и погибали? Через пятьдесят лет с лица планеты исчезнет последнее дерево-хлыст. И слишком поздно что-либо менять. Берген очень тосковал по этим деревьям. Он жалел их. А города уже заселялись. Космические корабли прибывали бесконечной чередой, чтобы опуститься в единственном космопорте в галактике, способном выдержать их вес. Пути назад не было.

Проснувшись в четвертый раз, Берген узнал, что его старания были отмечены императрицей и теперь он будет целых десять лет Спать под сомеком и бодрствовать всего год. И тогда он понял, что если Дэл так и не сумел добиться сомека, то сейчас ему уже сорок с лишним, и в следующее его пробуждение он превратится в дряхлого старика, тогда как ему самому едва минет двадцать пять. Он вдруг пожалел, что столько времени избегал встреч с другом. В сомеке таилось немало странных загадок. Он отрезает тебя от людей. Пускает твое время по отдельной колее. И Берген осоз-

нал, что вскоре окружать его будут только те, кто следует тому же расписанию приема сомека, что и он.

О большинстве своих старых друзей он не сожалел ни капли. Еще во время первого периода сомека он потерял и мать, и отца. Но Дэл — это другое дело. Он не видел Дэла целых три периода бодрствования и соскучился по нему. До этого они были так близки.

Найти его оказалось нетрудно — Берген просто спросил у одного своего знакомого с хорошим вкусом, не слышал ли он когда-нибудь о Дэле Ваулзе.

— Слышал ли христианин об Иисусе Христе? — расхохотавшись, отозвался тот.

Берген не слышал ни об Иисусе, ни о христианах, но смысл фразы уловил. Он обнаружил Дэла в большой студии, выстроенной в уголке нетронутой природы, где деревья закрывали кронами громады восьми городов, высящихся в отдалении.

— Берген! — удивленно воскликнул Дэл. — Я уж думал, что никогда тебя больше не увижу!

Берген в потрясении взирал на человека, который был когда-то другом его детства. Четыре года, минувшие для Бергена, превратились в двадцать лет жизни Дэла, и различия между бывшими друзьями были поразительными. Дэл обзавелся животиком и превратился во внушительного тучного мужчину с громадной бородищей и жизнерадостной улыбкой. («Это не Дэл!» — кричало что-то внутри Бергена). Судя по всему, дела у него шли хорошо, он пребывал в благодушном настрое и на первый взгляд был абсолютно счастлив. Но для Бергена он стал абсолютно чужим, старшим по возрасту человеком, к которому надлежит относиться с уважением.

— Берген, ты совсем не изменился.

— Зато ты теперь другой, — ответил Берген, попытавшись улыбнуться и делая вид, что пошутил.

— Заходи. Взгляни на мои картины. Обещаю не мешать и держаться в сторонке. Жена говорит, я так растолстел, что за моим животом даже самой огромной картины видно не будет. А я отвечаю, что просто пришлось располнеть, иначе накопленные капиталы не влезали в пояс. — Хохот Дэла гулко раскатился по комнате, и с балкончика в студию ворвалась женщина средних лет.

— От тебя у меня тесто не всходит, стаканы лопаются, а теперь ты еще и на птиц покусился. Посмотри, от твоего рева гнезда с деревьев посыпались! — в притворном гневе крикнула она.

Дэл мигом преобразился. Он стал похож на влюбленного медведя. Подковыляв к ней, он неловко ее облапил, поцеловал и потащил за собой.

— Берген, познакомься с моей супругой. Трив, это Берген, мой старый друг. Ярким лучом далекого прошлого он снова ворвался в мою жизнь. Он восполнил меня, и наконец-то я обрел целостность.

— Ты и так уже полон, дальше некуда, — проворчала Трив.

— Я женился на ней, — сказал Дэл, — потому что мне нужен человек, который бы постоянно повторял, какой я ужасный маляр.

— Не то слово. Просто кошмар какой-то! Лучше всех. Из великих разве что Рембрандт еще способен потягаться с нами! — И Трив игриво пихнула Дэла в плечо.

«Я больше не выдержу, — подумал про себя Берген. — Это не Дэл. Слишком дружелюбен, чересчур радуется жизни. Кто эта женщина, которая позволяет себе такие вольности с моим великим другом? И кто этот довольно ухмыляющийся толстяк-самозванец?!»

— Да, мои полотна, — спохватился Дэл. — Пойдем, я покажу их тебе.

Именно эти полотна, развешанные по стенам, окончательно убедили Бергена, что перед ним действительно Дэл.

Да, голос за его плечом звучал по-прежнему весело и принадлежал уже пожилому человеку. Но картины, мазки кисти, переливы красок, полутона — вот где скрывался настоящий Дэл. Они были рождены болью и кровью рабского труда в поместье Бишопов; однако теперь они были исполнены спокойствия, прежде Дэлу не свойственного. И все же, глядя на них, Берген осознавал, что эта безмятежность всегда присутствовала в них — просто она ждала подходящего мига, чтобы вырваться на свободу.

В полотнах было кое-что и от Трив.

За обедом Берген с некоторым стыдом признался ей, что да, он и есть тот самый человек, который создал все эти города.

— Весьма впечатляюще, — кивнула она, ставя букетик полевых цветов в вазу.

— Моя жена ненавидит города, — сказал Дэл.

— Насколько я помню, ты от них тоже не в восторге.

Дэл было расхохотался, но потом вспомнил, что сначала неплохо бы проглотить то, что в данный момент находилось во рту:

— Берген, друг мой, я выше этих материй.

— Следовательно, — незамедлительно отреагировала Трив, — материи эти весьма прочны, раз способны выдерживать твой вес.

Дэл улыбнулся, снова облапил жену и сказал:

— Во время еды не смей даже заикаться насчет моего веса, Худющая. Это портит мне весь аппетит.

— Так, значит, ты изменил свое мнение насчет городов?

— Все города — мрачные, уродливые создания, — объяснил Дэл. — Я отношусь к ним как к огромным сточным канавам, которые убивают все в округе. Когда на планету, которая может вместить всего лишь пятнадцать миллионов населения, набивается пятнадцать миллиардов человек, надо же куда-то сливать отходы. Вот и начинаешь нагромождать

металлические плиты друг на друга, и деревья постепенно вымирают. Под силу ли мне остановить прилив?

— Конечно, — кивнула Трив.

— Она безгранично верит в меня. Нет, Берген, я закончил войну с городами. Городские жители покупают мои картины и дают мне возможность жить в роскоши, писать изумительные полотна и спать с красавицей женой.

— Раз уж я такая красавица, почему ты еще не написал мой портрет?

— Не в моих силах установить во Вселенной справедливость, — продолжал Дэл. — Я всего лишь могу писать Кроув. Я пишу его таким, каким он был до своей гибели, до того, как его смердящий труп получил прозвище Капитолий. Эти картины просуществуют сотни лет. И люди, которые увидят их, надеюсь, скажут: «Вот как выглядит настоящий мир. Это тебе не коридоры из стали, пластика и искусственной древесины».

— Мы используем только натуральное дерево, — запротестовал Берген.

— Ничего, скоро перейдете на заменители, — пообещал Дэл. — Деревьев почти не осталось. А возить бревна с другой планеты не очень-то выгодно.

Вот тогда-то Берген и задал вопрос, который вертелся на языке все это время:

— Это правда, что тебе предлагали сомек?

— Они чуть силой меня туда не засунули. Только рулоном холста и отбился.

— Так, значит, ты и вправду отказался? — уточнил Берген, с трудом веря услышанному.

— Отказался. Даже не один, целых три раза отказывался. Они все угомониться не могли: «Десять лет под сомеком! Пятнадцать лет под сомеком!» А что мне с этого сна? Я не умею рисовать во сне.

— Но, Дэл... — попытался убедить его Берген. — Сомек — ведь это, по существу, бессмертие. Вот я, к примеру, сейчас

перехожу на десять лет сна и лишь один год бодрствования, и это означает, что пятьдесят мне исполнится лишь через три сотни лет! Три столетия пройдет, а я буду жив! И наверняка протяну еще лет пятьсот. Я стану свидетелем расцвета и падения Империи, увижу полотна тысяч художников, отделенных друг от друга веками. Я разорву узы времен...

— Узы времен. Неплохо сказано. Ты в восторге от прогресса. Поздравляю. И желаю всего наилучшего. Счастливых сновидений, да будет тебе сон в руку.

— Молитва типичного капиталиста, — добавила Трив, улыбнувшись и подложив в тарелку Бергена салата.

— Но, Берген, пока ты летишь над водой, подобно камешку, пущенному умелой рукой, оставляя еле заметные круги и практически не касаясь поверхности — пока твой мозг занят проблемой, как бы проскакать подольше, я буду плыть. Я люблю плавать. Это позволяет мне почувствовать воду, погрузиться в нее. Это требует недюжинных сил. Но когда я уйду из этого мира, а это случится, когда тебе и тридцати не будет, то, уверен, останутся жить мои полотна.

— Бессмертие в иной форме — не мелковато ли?

— Мои картины — это мелковато?

— Нет, — признался Берген.

— Тогда доедай, взгляни еще раз на мои полотна и возвращайся обратно. Строй свои города-гиганты до тех пор, пока весь мир не затянет сталью и планета не засияет в пространстве, словно звезда. В этом тоже есть своя красота, и твое творение переживет тебя. Живи как знаешь. Но скажи мне, Берген, когда ты последний раз прыгал в озеро голышом?

— Да, такого я не вытворял уже много-много лет, — расхохотался Берген.

— А я проделал это не далее как сегодня утром.

— В твоем-то возрасте?! — изумился Берген и тут же пожалел о сказанном. Не потому, что Дэл обиделся — он, казалось, пропустил это восклицание мимо ушей. Берген пожалел о своих словах потому, что они были концом всякой надежды на дальнейшую дружбу. Дэл, который изображал на полотнах прекрасные деревья-хлысты, сильно постарел. Еще пара лет — и он окончательно превратится в старика; линиям их жизней уже не суждено пересечься — разве что по чистой случайности. Трив, и та была ближе Бергену. «А ведь я, — вдруг понял Берген, — именно я строю эти города».

Поздним вечером, расставаясь с Бергеном, как с добрым другом, шутя и подсмеиваясь совсем как в старые времена, Дэл вдруг спросил (и голос его стал неожиданно серьезным):

— Берген, а ты все еще рисуешь?

Берген покачал головой:

— Совсем замотался, ни секунды свободной. Но скажу честно — будь у меня твой талант, Дэл, я бы нашел время. Но вот таланта-то у меня и нет. И никогда не было.

— Неправда, Берген. Ты был куда талантливее меня.

Берген посмотрел Дэлу в глаза и понял, что тот говорит искренне.

— Нет, не убеждай меня, — поспешно проговорил Берген. — Стоит мне поверить в это — и я не смогу и дальше жить так, как живу сейчас.

— О, друг мой, — печально улыбнулся Дэл. — Я чуть не расплакался. Обними меня на прощание ради тех двух мальчишек, которыми мы когда-то были.

Они обнялись, и Берген покинул дом Дэла. И больше они никогда не встречались.

Берген прожил достаточно долго, чтобы увидеть, как Капитолий от края до края затянуло сталью — даже океаны

отступили перед неудержимым натиском, превратившись в конце концов в маленькие прудики. Однажды Берген отправился в круиз вокруг планеты, чтобы полюбоваться своим детищем из космоса. Планета блестела и переливалась. Она была прекрасна. Настоящая звезда.

Берген прожил достаточно долго, чтобы увидеть и кое-что еще. Как-то раз он заглянул в магазин, который специализировался на редчайших, старинных картинах. И там он увидел полотно, стиль которого узнал с первого взгляда. Краска уже облупилась, яркие тона поблекли. На картине были изображены деревья-хлысты, и принадлежала она кисти Дэла Ваулза.

— Кто довел холст до такого состояния?! — в негодовании обратился Берген к владельцу магазинчика.

— До какого состояния? Сэр, вы хоть представляете, сколько лет этой картине? Семь сотен, сэр! Так что она весьма неплохо сохранилась. Этот пейзаж принадлежит великому художнику, величайшему творцу в нашем тысячелетии, но, к сожалению, никакой холст, никакие краски не способны храниться вечно. Чудес, увы, не бывает!

Вот тогда-то Берген и понял, что в отчаянной погоне за бессмертием он зашел дальше, чем сам рассчитывал. Ибо он не только обогнал и пережил всех своих друзей — он пережил даже их творения. Какие-то шедевры превратились в пыль, другие только начинали рассыпаться. Один Берген прожил достаточно долго, чтобы явиться свидетелем зрелища, которое Вселенная тщательно укрывает от глаз человеческих. Он увидел энтропию.

И Вселенная стареет, сказал Берген, глядя на картину Дэла. Стоило ли платить такую цену, чтобы прийти к этой истине?

Он купил картину. Она рассыпалась в прах еще до его смерти.

Глава 14

ВТОРОЙ ШАНС

Уже в семилетнем возрасте Батта была связана по рукам и ногам, хотя впервые осознала это, только когда ей исполнилось двадцать два. Путы ее были настолько неприметны и невесомы, что, окажись на месте Батты другой человек, может быть, он бы ничего и не заметил.

Отец, искалеченный в результате нелепейшего несчастного случая в одной из коммуникационных труб и изгнанный правительством на пенсию еще до рождения Батты.

Мать, чье сердце словно из чистого золота, но чей мозг не способен обдумывать одну проблему больше трех минут.

Плюс братья и сестры, которые, родившись в хаосе и отчаянии их безумной конурки, наверняка сбились бы с пути истинного, не реши Батта (пусть даже незаметно для себя самой) заменить младшим отпрыскам, родителям и себе самой мать и отца.

Сразу после школы домой, никаких тебе встреч с друзьями и подружками, никаких шалостей в бесконечных коридорах Капитолия, где так любили развлекаться дети выходцев из среднего класса — любой другой на месте Батты взбунтовался бы. Но Батта покорно шла после школы домой, убиралась, мыла, готовила обед, разговаривала с матерью (вернее, больше слушала ее), помогала другим детишкам разрешить мелкие проблемы, после чего храбро отправлялась в логово отца, где тот прятался от остального мира, притворяясь, будто с ногами все нормально, а если их и нет, то это ему без разницы. («Черт побери, я взрастил пятерых детей, скажешь нет?» — время от времени восклицал он.)

Но для Батты жизнь текла вовсе не так уныло, как могло показаться. Батта любила учиться; способности у нее были незаурядные, почти гениальные. Она даже поступила в колледж — в основном потому, что там ей назначили стипендию, а мать постоянно твердила, что дармовщину пропускать нельзя.

А в колледже Батта повстречалась с этим юношей.

Его тоже можно было назвать гением — правда, его ум был несколько иного склада. Из ее знакомых никто не мог с ним сравниться (правда, всех знакомых Батты можно было по пальцам пересчитать, но она-то этого не понимала). Необычная, безумная их дружба росла и крепла — сначала подарки в виде препарированных на семинарах по зоологии твондов, затем долгие, тихие часы совместной подготовки к экзаменам.

И никаких пожатий пальчиков. Ни одной попытки поцеловаться. Никаких вам торопливых исследований в темноте.

Похоже на то, что Абнер Дун вообще никогда не задумывался о сексе. Сама Батта плохо представляла, что это такое и понравится ли это ей вообще (при мысли о сексе в ее уме сразу вставала картина, как мать занимается любовью с безногим мужчиной).

Вскоре колледж был окончен, им присвоили степени — ей по физике, ему по правительственной службе, — и они перестали видеться друг с другом. Время шло, и Батте исполнилось двадцать два, когда она наконец поняла, насколько ее связала семья.

— Куда ты собралась? Колледж ты окончила, на занятия ходить не надо, так куда же ты? — спросила мать.

— Так, думаю прогуляться, — ответила Батта.

— Но, Батта, отец хотел тебя видеть. Ты же знаешь, он чувствует себя нормально, только когда ты рядом.

Это действительно было так. Батта все больше замыкалась в стенах трехкомнатной квартирки, пока в один пре-

красный день, почти через год после выпуска, не раздался звонок в дверь.

— Абнер, — прошептала она, скорее удивленная, нежели обрадованная. Она совсем забыла про него. Она даже забыла, что вообще когда-то обучалась в колледже.

— Батта, я так давно не видел тебя. Все думал о тебе.

— Ну, — она крутнулась на пятках, чтобы дать ему возможность полюбоваться, хотя знала, что выглядит ужасно, — вот она я, смотри.

— Ты выглядишь потрясающе.

— А ты стал похож на подопытное животное, которое почему-то забыли препарировать.

Они рассмеялись. Старые времена, старое волшебство. Он пригласил ее пройтись. Она отказалась. Он попытался назначить свидание. Она была слишком занята. А когда Батта в пятый раз выскочила из комнаты, спеша на очередной зов отца, Абнер решил, что разговор окончен, и ушел, не дожидаясь ее возвращения.

Тогда она снова ощутила, насколько глубоко запуталась.

Шли дни, и каждый день приносил что-то новое. Дети подрастали (женились, выходили замуж, в общем, так или иначе сбегали из дома), словом, жизнь текла своим чередом, но, оглядываясь назад, Батта понимала, что ничего не изменилось, что это ее мозг создает иллюзию перемен, дабы не дать ей окончательно свихнуться. И вот уже ей минуло двадцать семь и она начала превращаться в одинокую старую деву. Все братья и сестры покинули отчий кров, и она осталась наедине с родителями.

Тогда Абнер Дун снова появился у нее в доме.

С удивлением она отметила, что эти годы он провел не в сомеке. Она пригласила его в гостиную (та же потрепанная мебель, только постаревшая; те же крашеные стены, только еще сильнее почерневшие от грязи; та же Батта Хеддис, только чувства еще больше омертвели), и он опустился на диван, не сводя с нее глаз.

— Я думала, ты уже под сомеком, — сказала она.

— Только не я. Есть некоторые вещи, которые не делаются сами собой, пока ты проводишь годы во сне. Я приму сомек, только когда буду готов.

— И когда же это случится?

— Когда я буду править миром.

Она рассмеялась, решив, что это шутка:

— А потом вдруг выяснится, что я давным-давно пропавшая дочь Матери, похищенная еще в детстве цыганами и проведшая эти годы в плену у космических пиратов. Ты станешь повелителем Вселенной, а я займу место Императрицы.

— Через год я буду готов принять сомек.

На этот раз она не рассмеялась. Лишь посмотрела на него внимательно и увидела, что постоянные тревоги, работа и, возможно, жестокость проложили свои борозды на его лице. Что-то неведомое доселе таилось теперь в глубине его глаз.

— Знаешь, ты стал похож на тонущего человека, — сказала она.

— А по-моему, это ты уже утонула.

Он взял ее за руку. Она была немало удивлена этим жестом — подобного проявления чувств он не позволял себе никогда. Рука его была теплой, сухой, гладкой и твердой — такой, по ее мнению, должна быть мужская рука (не то что крючковатая клешня отца), поэтому она не отняла пальцев.

— Еще в прошлую нашу встречу я понял, что с тобой происходит, — сказал он. — Все это время я ждал, когда ты наконец освободишься. Последний из твоих любимых братьев ушел из дому неделю назад. Твой долг исполнен. Теперь ты выйдешь за меня замуж?

Тремя часами спустя они сидели в противоположном конце сектора, в весьма скромной квартирке (скромной

только на первый взгляд — стоило только приказать, как из стен сразу выдвигались компьютеры и роскошная мебель). Она еще раз покачала головой.

— Аб, — сказала она, — я не могу. Ты пойми.

Он нахмурился:

— Честно говоря, я думал, что ты будешь настаивать на брачном контракте. Какая-никакая гарантия. Но если ты предпочитаешь официально ни с кем себя не связывать, мы можем...

— Нет, ты не понял. Прямо перед твоим приходом я молила Бога, чтобы произошло нечто подобное, что-нибудь такое, благодаря чему я могла бы вырваться...

— Так прими мое предложение.

— Я не могу не думать о родителях. О матери, которая абсолютно беспомощна и не может позаботиться даже о себе, об отце, который жаждет править всеми на свете, и только я могу совладать с ним и сделать его счастливым. Я нужна им.

— Рискую показаться банальным, но я не меньше нуждаюсь в тебе.

— Меньше, куда меньше. — Она обвела взглядом комнату: такое мог позволить себе лишь человек богатый и могущественный.

— Обстановка? Батта, все это лишь часть колоссального плана. Прямая, ведущая к дальнейшим свершениям. И я хочу разделить этот путь с тобой.

— Ты и в самом деле безумец, ты бредишь романтикой, как и все остальные парни, — улыбнулась она. — Разделить со мной будущее... ерунда какая. С чего ты вообще взял, что любишь меня?

— Понимаешь, Батта, не мечтою единой жив человек.

— В нынешние времена женщины перестали быть недоступными.

— Вот только другой такой Батты нигде не найти, — напомнил он. А затем провел по ее руке пальцами. Никогда

в жизни она не чувствовала такого прикосновения, и она обняла его, как не обнимала еще никого. В течение следующих двух часов все было в новинку — каждый жест, каждая улыбка.

— Нет, — прошептала она, когда он попытался перейти к последней фазе затянувшейся сексуальной прелюдии. — Прошу тебя, нет.

— Почему? — прошептал он в ответ. — Какого дьявола, почему нет?

— Потому что если мы сделаем это, я не смогу расстаться с тобой.

— Вот и замечательно, — сказал он и приник было к ней, но она ускользнула, спрыгнула с постели и начала одеваться.

— Куда ты так торопишься? — спросил он. — Что случилось?

— Я не могу. Не могу бросить мать и отца.

— Неужели они так нежно любят тебя, что жить без дочери не смогут?

— Они нуждаются во мне.

— Черт подери, Батта, да они взрослые люди и могут позаботиться о себе.

— Когда мне было всего семь лет, может быть, они и могли, — возразила она, — но когда мне исполнилось двенадцать, все изменилось. На меня можно было положиться. Я прекрасно справлялась со своими обязанностями. И они бросили притворяться взрослыми, они забыли, как это делается, Аб. Я не могу уйти и жить счастливо, зная, что без меня они медленно умирают.

— Можешь. Потому что если ты не уйдешь, то в скором времени умрешь сама. Я возьму тебя с собой, Батта, мы примем сомек сегодня же. Ты проведешь во сне пять лет, а когда проснешься, окажется, что они снова научились заботиться о себе. Ты навестишь их и лично убедишься, что все в порядке.

— Откуда у тебя такие деньги?

— Не деньги главное в этой замечательной империи, — ответил Абнер Дун. — Власть.

— Когда я проснусь, их, может, уже в не будет живых.

— Может. Тогда ты им точно не понадобишься.

— Я буду чувствовать себя виноватой перед ними, Аб. Эта вина уничтожит меня.

Но Абнер Дун умел убеждать. Вскоре она опустилась на столик на колесиках, он надел ей на голову шлем для сна и включил запись. Все ее воспоминания, вся ее личность, все надежды и страхи оказались на кассете, которую Абнер Дун подбрасывал на своей ладони.

— Когда ты проснешься, я верну содержание этой кассеты в твою память, и ты даже не поймешь, что проспала пять лет.

— И если что-нибудь сейчас произойдет, сомек все равно сотрет воспоминания об этом, да? — немного нервничая, улыбнулась она.

— Верно, — кивнул Дун. — Я могу изнасиловать тебя, сотворить любую грязь, а когда ты проснешься, ты по-прежнему будешь считать меня джентльменом.

— Никогда тебя таковым не считала.

— А теперь давай Спать, — улыбнулся он.

— А ты?

— Я же говорил, у меня еще дела, я присоединюсь к тебе через год. И буду на год старше, когда проснемся. Мы подпишем брачный контракт — а если ты настаиваешь, можно и не подписывать — и начнем новую жизнь. Договорились?

Тут она разрыдалась, постепенно ее всхлипы приобрели истерические нотки. Он обнял ее, начал укачивать, как младенца, спросил, почему она плачет, попытался понять, что такого он натворил, но она лишь отвечала:

— Ничего. Ничего.

В конце концов он достал из ящика бутылку с сомеком (но ведь частное владение сомеком запрещено! Запрещено законом...) и иглу и повел ее к столу. Однако она вырвалась и отбежала в другой конец комнаты.

— Нет.

— Почему?!

— Я не могу бросить родителей.

— Но ведь ты тоже имеешь право на личную жизнь!

— Аб, я не могу! Неужели ты никак не можешь понять? Любовь — это не просто когда тебе кто-то нравится. Я не люблю своих родителей. Но они доверяют мне, они ищут во мне опору... проклятие, я и есть их опора, и я не имею права просто отступить в сторону, позволив им упасть.

— Имеешь! Любой на твоем месте поступил бы так! Ты посмотри, что они из тебя сделали, они искалечили тебя, а ведь у тебя есть собственная жизнь.

— Кто угодно, но не я. Я, Батта Хеддис, не отступаю. Такой я человек! А если тебе это не нравится, поищи себе кого-нибудь другого!

Она выбежала из квартирки, добралась до ближайшей станции коммуникационной трубы, вернулась домой, заперла дверь, бросилась на диван и разрыдалась. Она плакала до тех пор, пока из соседней комнаты не донесся нетерпеливый оклик отца. Тогда она поднялась, прошла к нему и гладила его по голове, пока он не заснул.

Когда рядом были братья и сестры, Батта еще могла притворяться, что в жизни есть хоть какое-то разнообразие. Теперь возможностей для притворства не стало. Теперь она одна была опорой жизни родителей, и постепенно она начала сдавать. Работа с утра до вечера и вечные упреки (хотя она стала еще сильнее, чем прежде, и мало-помалу втянулась в эту рутину, забыв даже о том, что где-то существует другая жизнь), сделали свое дело, а затем ее начало подта-

чивать чувство глубокого одиночества — и это при том, что у нее даже секунды свободной не было, чтобы побыть наедине с собой.

— Батта, я вот сейчас вышиваю, конечно, в богатых домах вышивают на настоящем хлопке, но ты же сама знаешь, что мы этого позволить себе не можем, пенсия отца такая маленькая, и все равно, посмотри, какой замечательный цветок у меня получается — или это пчелка? Один Бог знает, я в жизни не видела пчел, но посмотри, правда красивый цветок? Спасибо, дорогая, ведь красивый цветочек, правда? В богатых домах, там на настоящем хлопке вышивают, но мы-то не можем позволить себе этого. Поэтому я вышиваю на синтетике. Это называется вышивкой, посмотри, какая пчелка, а? Правда, здорово? Спасибо, спасибо, Батта, дорогая, когда ты рядом, я себя чувствую просто прекрасно. Ты знаешь, я сейчас вышиваю. О, дорогая, кажется, отец зовет. Пойду к нему — сама сходишь? Спасибо. А я посижу здесь, повышиваю, если не возражаешь.

В спальне царит вялая тишь. Болезненный стон. Ноги, начинающиеся, как и у всех нормальных людей, от бедра, вдруг резко обрываются в двух сантиметрах от паха, оставляя нижнюю половину постели гладкой и девственно нетронутой, а простыни и одеяла — аккуратно заправленными.

— Помнишь, а? — бормочет он, пока она взбивает подушки и готовит лекарства. — Помнишь, когда Дарффу было всего три годика, он пришел ко мне и сказал: «Папа, теперь мы можем поменяться кроватями, потому что ты такой же маленький, как и я». Дурак какой, я еще поднял его и обнял, а самому ведь хотелось придушить его на хрен.

— Не помню.

— Вот говорят «наука, наука», а ведь так до сих пор и не научились лечить нормально. Чем они могут помочь человеку, который задницу свою потерял, ног лишился? Слава Богу, друга не оторвало, слава Богу.

Купать его было настоящей пыткой. В трубу его засосало под углом. Стоило ему немножко повернуться, и живот был бы вспорот, он бы умер на месте. А так до самой кости срезало ягодицы, чуть не выдернуло наружу кишки и оставило от ног жалкие культи. «Зато, — не раз подчеркивал он, напуская важный вид, — аппарат по производству детей исправно функционирует».

И так до бесконечности, каждый день одно и то же. Батта запретила себе вспоминать Абнера Дуна, запретила себе даже думать о том, что однажды у нее был шанс вырваться из плена этих людей (если бы только), зажить собственной жизнью (если бы только) и быть *счастливой* (о, если б я тогда не... нет, нет, нельзя так думать).

Как-то раз Батта отправилась за покупками, а мама тем временем решила приготовить салат. Нож соскользнул и разрезал вены на запястье. Очевидно, она забыла, что кнопка вызова «скорой помощи» тут, рядом, всего в паре метров. До возвращения Батты она истекла кровью, на лице ее застыло изумленное выражение.

Батте было двадцать девять лет.

Спустя несколько месяцев отец начал недвусмысленно намекать, что сексуальные желания мужчин со временем отнюдь не притухают, наоборот, день ото дня растут. Судорожно сжав зубы, она игнорировала его слова. Однажды ночью он умер, и доктор сказал, что эта смерть была лишь вопросом времени, он был ужасно искалечен и никогда бы не прожил столько лет, если б за ним не ухаживали с такой заботой. Гордись собой, девочка.

Возраст — тридцать.

Она сидела в гостиной квартиры, которая теперь принадлежала ей одной. Пенсию отца будут продолжать выплачивать — правительство заботится о жертвах труботранспортных происшествий. Она тупо смотрела на дверь и задавала себе один и тот же вопрос: почему ей так хотелось вырваться из своей семьи? Что там, снаружи делать?

Стены замкнулись вокруг нее. Постель в родительской комнате выглядела так, будто весь день в ней валялся отец — по крайней мере, за вычетом нижней части кровати, где должны были бы находиться его ноги. И когда она скатала в рулон пару покрывал, сделав из них подобие нижних конечностей, и засунула под простыни, чтобы посмотреть, как выглядят ноги там, где их никогда не было, то вдруг поняла, что сходит с ума.

Она собрала свои жалкие пожитки (все остальное принадлежало родителям, а те были мертвы), вышла из квартиры и направилась в ближайшую контору по записи колонистов-добровольцев. Она не могла придумать ничего лучше, чем закончить свою несчастную жизнь на одной из планет-колоний, где можно будет тупо трудиться до самой смерти.

— Имя? — спросил человек за стойкой.

— Батта Хеддис.

— Поистине замечательный выбор вы сделали, мисс Хеддис — вы ведь не замужем? — поскольку колонии эти являются передовой Империи. Там постоянно ведутся войны, одерживаются победы. В переносном смысле, разумеется. А, так ваша фамилия Хеддис? Сюда, пожалуйста.

«А, так ваша фамилия Хеддис?» Чему он так удивился? Почему так взволновался (или встревожился)?

Она последовала за ним в обитую мягким плюшем комнату, расположенную в соседнем коридоре. У единственной двери дежурил бдительный охранник. Произошла какая-то ошибка, с ужасом подумала она. Очевидно, Маменькины Сынки намереваются обвинить ее в каком-то преступлении, а ведь она ни в чем не виновата, но попробуй, докажи свою невиновность людям, которые изначально уверены в собственной непогрешимости.

Ожидание показалось вечностью — целых два часа прошло, — она уже готова была подписаться под чем угодно, когда дверь наконец отворилась. Она полностью отчаялась, но ничем этого не выдала. Человеку постороннему она мог-

ла показаться абсолютно спокойной — давным-давно она научилась спокойно реагировать на любой стресс.

Вот только в дверь вошел отнюдь не посторонний. Это был Абнер Дун.

— Привет, Батта, — сказал он.

— Боже мой, — прошептала она, — Боже милосердный, за что ж ты меня так наказываешь?

На лице Дуна мелькнула тревога. Он внимательно посмотрел на нее:

— Надеюсь, леди, с вами вежливо обращались?

— Все хорошо. Выпусти меня отсюда.

— Я хочу поговорить с тобой.

— Мы все обговорили много лет назад! Я все забыла! И не напоминай мне ничего!

Некоторое время он молча стоял у дверей, он был одновременно напуган и потрясен — напуган потому, что, несмотря на резкость слов, голос ее оставался спокойным и невыразительным, руки были сложены на коленях, плечи расправлены, и ничто не выдавало обуревавших ее чувств; очарован потому, что тело это по-прежнему принадлежало Батте, женщине, которую он любил и с которой несколько лет назад жаждал разделить свою мечту. Но теперь она стала совсем чужой.

— Все эти годы я провел под сомеком, — сказал он. — Это мое первое пробуждение. Я предупредил всех, чтобы меня разбудили, как только твое имя попадет в списки колонистов.

— А откуда ты знал, что я непременно запишусь в колонисты?

— Когда-нибудь твои родители должны были умереть. Я понял, что, когда их не станет, тебе некуда будет больше деваться. Люди, которым некуда пойти, записываются в колонисты. Это несколько мягче, чем самоубийство.

— Прошу тебя, оставь меня в покое. Неужели ты до сих пор не простил мне эту ошибку? Неужели у тебя совсем нет жалости?

В глазах его блеснул огонек интереса:

— Ты назвала это ошибкой? Так ты жалеешь о решении, принятом тогда?

— Да! — выкрикнула она и лишь теперь голос ее зазвучал, и на лице отразилось волнение.

— Тогда, клянусь Господом, давай исправим эту досадную нелепость!

— Исправим! — презрительно фыркнула она. — Уже ничего не исправишь! Я превратилась в монстра, мистер Дун, я больше не девочка, я робот, который беспрекословно исполняет любые приказы самых отвратительных людей, а на ответные чувства я просто не способна. И здесь уже ничего не изменить.

Тогда он опустил руку в карман и вытащил кассету.

— Ты можешь принять сомек. Препарат сотрет все воспоминания, а затем я запишу в твой мозг воспоминания с этой кассеты. Проснувшись, ты будешь верить, что решила не возвращаться к родителям. Решила остаться со мной. И ты станешь прежней. Последние несколько лет будут стерты.

Несколько мгновений она сидела, погрузившись в себя. Затем хриплым, срывающимся голосом проговорила:

— Да, я согласна. Только быстрее.

Он отвел ее в лабораторию, где с ее мозга сняли запись, после чего ввели порцию сомека. Воспоминания были смыты волной наркотика.

— Батта, — раздался нежный голос, и Батта проснулась. Абсолютно обнаженная, она лежала на столе в какой-то странной зале, все тело ее было в поту. Все вокруг было незнакомо ей, только лицо и голос склонившегося над ней мужчины казались привычными, родными.

— Аб, — сказала она.

— Прошло пять лет, — произнес он. — Твои родители покинули этот мир. Умерли от старости. До самого конца они были счастливы. Ты сделала правильный выбор.

Она вдруг поняла, что лежит голой перед посторонним мужчиной, и, вечная девственница, какой она была по своей сути, она вспыхнула от смущения. Но он коснулся ее (воспоминание о той ночи, которую они провели вместе, ожило — это же было всего несколько часов назад, — и она почувствовала возбуждение, захотела его), и смущение было забыто.

Они направились в ее квартиру, где и занялись любовью. Это было нечто невероятное, и дни их переполняло счастье. Так продолжалось до тех пор, пока она не призналась ему, что ее постоянно гложет одна и та же мысль.

— Аб, знаешь, мне снятся сны про них.

— Про кого?

— Про мать и отца. Ты сказал, что прошли годы, я и сама понимаю это. Но все-таки мне кажется, что мы встречались еще вчера, и я чувствую себя виноватой в том, что бросила их.

— Ничего, скоро все забудется.

Но ничего не забывалось. Она все чаще и чаще думала о родителях, вина поедом ела ее, разрывала в клочья сновидения, словно нож, вонзалась в спину, стоило ей заняться с Абнером Дуном любовью. Чувство вины уничтожало ее, заполняя собой весь мир.

— О Аб, — разрыдалась она в его объятиях как-то ночью, а точнее говоря, на шестую ночь со дня пробуждения, — Аб, я уже готова на все, только бы это прекратилось!

Он замер:

— Ты имеешь в виду это?

— Нет, Абнер, нет, ты же знаешь, я люблю тебя. Люблю с тех самых пор, как мы с тобой встретились, люблю всю свою жизнь. Я любила тебя еще до того, как узнала о твоем существовании, неужели ты сам не видишь? Это себя я нена-

вижу! Я чувствую себя трусихой, предательницей, бросившей на погибель семью. Я была нужна им. Я знаю это и знаю, что им было плохо, когда я ушла.

— Они были абсолютно счастливы. Они даже не заметили твоего исчезновения.

— Ложь.

— Батта, пожалуйста, забудь их.

— Не могу. Ну почему я не поступила иначе?

— Иначе — это как? — Он как будто испугался.

— Почему я не осталась с ними? Ведь надо было потерпеть всего несколько лет. О Аб, если бы я осталась, если бы я помогла им прожить последние годы, сейчас я могла бы смотреться в зеркало и не бояться взглянуть себе самой в глаза. Даже если бы эти годы были самыми худшими в моей жизни, я поступила бы честно.

— Ты и так поступила честно. Потому что ты все-таки осталась.

И он рассказал ей. Все без утайки.

Она лежала неподвижно, устремив взгляд в потолок.

— Так, значит, это все обман, да? На самом деле я жалкая сучка, старуха-служанка, которая потихоньку гнила себе в родительском доме, пока отец и мать из сочувствия не умерли. А так как покончить жизнь самоубийством просто не хватает мужества...

— Чушь какая...

— Мне на выручку приходит отважный рыцарь, разыгрывающий из себя Бога.

— Батта, в тебе сейчас слились наилучшие черты двух миров. Ты *осталась* с родителями. Ты *сделала* это. И ты можешь продолжать жить, не помня, что они сотворили с тобой. Тебе необязательно быть такой, какой ты стала после этих лет.

— Неужели я превратилась в монстра?

Ему хотелось солгать ей, но после некоторых раздумий он решил сказать правду:

— Батта, когда я увидел тебя там, в той комнате конторы по записи колонистов, я чуть не заплакал от горя. Ты выглядела мертвой.

Она протянула руку и дотронулась до его щеки, провела пальцами по его плечу:

— И ты спас меня от участи, которую прочила сделанная мной ошибка.

— Ну, если хочешь, можно сказать и так.

— Здесь есть маленькое противоречие. Давай рассуждать логично. Женщину, решившую остаться со своими родителями, мы назовем Батта А. Батта А действительно осталась с ними, после чего, как ты утверждаешь, сошла с ума и решила отправиться в мир-колонию, дабы не дать волю собственному безумству.

— Но этого не случилось...

— Слушай дальше, — перебила его Батта. Голос ее был тих, но решителен, и он замолчал. — Батта Б, однако, решила не возвращаться к родителям. Она осталась с Абнером Дуном и попыталась стать счастливой, но собственное сознание вскоре начало давить на нее и постепенно свело с ума.

— Ничего подобного не было...

— Нет, Аб, помолчи. Ты не понял. Ничего не понял. — Голос ее сорвался. — Женщина, лежащая рядом с тобой в постели, это Батта Б. Это женщина, которая отвернулась от родителей и, следовательно, не исполнила обязательств перед ними...

— Черт побери, Батта, я же тебе сказал...

— Я не помню, чтобы помогала им. Они вдруг... куда-то подевались. Я бросила их...

— Никого ты не бросала!

— Сейчас мне кажется, что я их бросила, Аб, и я должна с этим считаться! Ты утверждаешь, что я помогала им до самого конца, но я не помню этого, а следовательно, это неправда! Этот выбор... этот выбор принадлежит настоящей Батте, той, которая осталась с ними. И настоящую Батту

изменило то, что с ней случилось. Настоящая Батта страдала, но она прожила эти годы, пусть они стали сущим адом для нее.

— Батта, поверь мне, это было куда хуже, чем ад! Эти годы уничтожили тебя!

— Да, *меня* уничтожили! *меня!* Батту, которая поступила так, как считала должным!

— Это что, какие-то древние религиозные верования?! Тебе предоставляется возможность избежать самоубийства, на которое тебя толкает обостренное чувство справедливости. У тебя есть шанс стать *счастливой*, черт тебя подери! Так какая разница, кто есть кто? Я люблю тебя, ты любишь меня, ведь это тоже правда!

— Но, Аб, я — то, что я есть, и другой быть не могу.

— Послушай. Ты согласилась на мое предложение. Согласилась тут же. Ты позволила мне стереть последние годы. Затем я должен был разбудить тебя и жить с тобой так, как будто тех страданий не было вовсе. Неужели ты думаешь, что я принуждал тебя к этому решению?

Она не ответила. Вместо этого она спросила:

— Перед тем как я приняла сомек, мой мозг скопировали? Меня записали такой, какая я есть на самом деле?

— Да, — ответил он, уже догадываясь, что последует за этими словами.

— Тогда введи мне сомек еще раз, только, разбудив, заложи старые воспоминания. Отошли меня в колонию.

Глаза его расширились от изумления. Он встал с кровати, окинул ее недоверчивым взглядом и рассмеялся:

— Ты хоть понимаешь, о чем просишь? «Милостивый Боже, умоляю, изгони меня с небес и отправь в ад».

— Понимаю, — кивнула она. Ее начала бить мелкая дрожь.

— Ты обезумела. Это безумие, Батта. Ты только подумай, чем я рисковал, через что прошел, лишь бы сделать

так, чтобы ты сейчас была рядом! Я преступил все существующие законы, касающиеся использования сомека...

— Но ведь ты правишь миром, ты сам говорил мне это.

Уж не насмехается ли она над ним?

— У меня в руках собраны все нити управления, но если я хоть раз ошибусь, мне конец. Только ради тебя я пошел на риск...

— Что ж, за мной должок. Но как насчет меня? Ведь себе я тоже кое-что должна.

В раздражении он ударил по стене кулаком:

— Конечно, должна! Ты задолжала себе жизнь с любящим человеком, с мужчиной, который ради тебя способен пожертвовать делом всей своей жизни! Ты задолжала себе чувства, которые испытываешь, когда о тебе заботятся, когда тебя оберегают, любят...

— Прежде всего, я задолжала себе саму себя. — Ее лихорадило все сильнее. — Аб, я не могу. Я не могу быть счастливой, все это время я притворялась.

Молчание.

— Аб, прошу тебя, поверь мне, потому что это самое жестокое, что я должна была тебе сказать. Уже в момент своего пробуждения я почувствовала, что что-то не так. Я поняла, что совершила ужасную, ужаснейшую ошибку. Я сделала неправильный выбор. Я бросила родителей. Я чувствовала *ошибочность* своего поступка. Эти мысли отразились на всем окружающем. Я поступила неправильно, я ошиблась. *Как я могу продолжать жить с тобой, если все вокруг буквально вопит об ошибке, которую я сделала?* — Голос ее звучал по-прежнему ровно, но уже напряженно.

— Меня не должно быть здесь, — сказала она.

— Но ты здесь.

— Я не могу ужиться с ложью. Я не могу мириться с противоречием. Я должна жить собственной жизнью, какой бы горькой она ни была. Каждое мгновение, что я проживаю в этом мире, исполнено болью. И нет ничего

хуже этого. Никакое страдание из тех, что я пережила в своей настоящей жизни, даже сравниться не может с агонией, которую испытываешь, видя окружающую тебя фальшь. Я обязана вернуть назад воспоминания о том, что я поступила правильно. Иначе меня ожидает безумие. Я вижу, как это произойдет. Аб...

Он прижал ее к себе и почувствовал, как дрожит ее тело.

— Я сделаю так, как ты захочешь, — прошептал он. — Я не знал. Мне казалось, что сомек сможет... исправить прошлое.

— Но он не может запретить мне быть такой...

— Какая ты есть, я знаю, теперь я это понял. Но, Батта, неужели ты не понимаешь... если я воспользуюсь той кассетой, ты не будешь помнить, ты забудешь эти дни, которые мы провели вместе...

Она всхлипнула. А он вспомнил еще кое-что.

— Ты... твоим последним воспоминанием будет то, как ты сказала мне, чтобы я стер всю боль прошлого. Ты сказала: «Да, да, сделай это, сотри все»... Когда ты проснешься и вспомнишь об этом, ты подумаешь, что я солгал тебе.

Она покачала головой.

— Неправда, — возразил он. — Именно так ты и подумаешь. И возненавидишь меня за то, что я пообещал тебе счастье, а потом обманул. Проведенных со мною дней ты помнить не будешь.

— Я ничего не могу поделать, — сказала она.

Они прижались друг к другу, слезы текли по их щекам. Они утешили друг друга, в последний раз занялись любовью, после чего он отвел ее в лабораторию, где ее недавнее прошлое будет стерто и заменено куда более жестокой явью.

— Преступница небось? — поинтересовался служащий, пока Абнер Дун разбирался с кассетами — ибо только преступникам делают периодическую чистку мозгов, заменяя более древними воспоминаниями память о преступлении.

— Именно, — подтвердил Дун, чтобы не вдаваться в лишние объяснения. И тело было заключено в прозрачный гроб, взявший на себя заботу о ее жизнеобеспечении, тогда как процессы жизнедеятельности замедлились до самого минимума. Так она и пролежит долгие годы, прежде чем он разбудит ее.

«Она проснется уже в колонии. Но планета будет выбрана мной самим, — поклялся Абнер. — Это будет мирная, спокойная планетка, где Батта получит еще один шанс как-нибудь изменить свою жизнь. И кто знает! Может быть, ненависть ко мне облегчит ей существование.

Облегчит ей. А как же я?

Я больше не буду тратить время на раздумья о ней. Я закрою от нее свой разум. Я... забуду ли я?

Чушь.

Я просто посвящу свою жизнь достижению других, более древних и куда более холодных целей».

Глава 15

ПЕТЛЯ ЖИЗНИ

Арран лежала на своей постели и плакала. Грохот захлопнувшейся двери все еще эхом ходил по пустым уголкам квартиры. Наконец она перевернулась на спину, посмотрела в потолок, осторожно вытерла слезы холеными пальчиками и сказала:

— Какого черта.

Драматическая пауза. После чего (ну наконец-то!) раздался громкий сигнал зуммера.

— Снято, Арран, — отрапортовался голос из скрытого динамика. Арран застонала, элегантно изогнулась и села на кровати. Одним движением она содрала с ноги петлекамеру и устало швырнула ее о стену. Камера разлетелась на куски.

— Ты хоть представляешь, сколько стоит это оборудование? — упрекнула ее Триуфф.

— Я плачу тебе, чтобы ты это знала, — сказала Арран, накидывая халат. Триуфф нашла пояс и протянула ей.

Пока Арран прихорашивалась, Триуфф носилась по квартире и ликовала:

— Это была вершина, лучше и быть не может. Миллиарды поклонников Арран Хэндалли ждут не дождутся, чтобы отдать свои семь кусков и увидеть шоу. И ты даешь им эту возможность.

— Семнадцать дней, — проговорила Арран. Глаза ее опасно засверкали. — Семнадцать вонючих дней. И три из них мне пришлось провести с этим подонком Кортни.

— Ему платят за то, чтобы он был подонком. Это его образ.

— Играет он чертовски правдоподобно. Если в следующий раз мне придется играть с ним хоть три минуты, я вышвырну тебя вон.

На ходу запахивая халат, Арран вылетела из квартиры, даже не надев туфли. Триуфф помчалась вслед, как всегда ее туфельки на высоких каблуках звонко цокали: «День-ги, день-ги», — по крайней мере, так слышалось Арран. Правда, иногда ритм менялся, и тогда каблучки выстукивали: «Да катись ты, да катись ты». Отличный менеджер. Миллиарды в банке.

— Арран, — окликнула Триуфф, — я знаю, ты очень устала.

— Ха, — ограничилась смешком Арран.

— Но пока ты записывалась, я здесь провернула одно маленькое дельце...

— За то время, пока я записывалась, ты могла купить и снова продать целую планету! — прорычала Арран. — Семнадцать дней! Я актриса, а не спортсмен какой-то. Я самая высокооплачиваемая актриса за всю историю шоу-бизнеса, так, кажется, ты выразилась в своем последнем пресс-релизе. И тем не менее, хоть я просыпаюсь всего на двадцать один день, семнадцать из них мне приходится пахать как проклятой! Каких-то четыре вшивых денька на отдых, а потом все заново.

— Одно небольшое дельце, — непоколебимо гнула Триуфф. — Такое ма-аленькое дельце, которое позволит тебе покончить с этой работой и удалиться на заслуженный отдых.

— Покончить с работой? — Сама того не замечая, Арран замедлила шаг.

— Именно. А теперь представь себе — ты будешь бодрствовать целых три недели, и все, что от тебя потребуется, это пару-другую раз мелькнуть в петлях коллег-неудачниц.

— И даже ночь я смогу проводить, как захочу?

— Мы отключим камеру.

Арран презрительно хмыкнула.

— В принципе, она тебе вообще будет не нужна! — быстро исправилась Триуфф.

— И что же я должна сделать, чтобы заработать такие деньги? С гориллой трахнуться?

— Это уже было, — возразила Триуфф, — и это не твой профиль. Нет, на этот раз мы дадим толпе полную реальность. Полную!

— Как это? А, ты, наверное, хочешь поставить вместо обычного унитаза стеклянный!

— Я договорилась, — сказала Триуфф, — сделать петлезапись в Сонных Залах.

Арран Хэндалли поперхнулась и изумленно вытаращилась на своего менеджера.

— В Сонных Залах?! Ничего святого не осталось! — Она расхохоталась. — Да тебе, наверное, с целым состоянием пришлось расстаться!

— Ну, вообще-то хватило всего-навсего одной взятки.

— И кого ж ты подкупила? Саму Мать, не иначе!

— Почти. По сути дела, мой выбор оказался куда лучше, поскольку Матери даже на то, чтобы высморкаться, требуется разрешение Кабинета. Я подкупила Фарла Баака.

— Баака?! Ну вот, а я-то считала его честным человеком.

— Это была не взятка в полном смысле этого слова. По крайней мере, деньги здесь не потребовались.

— Триумф, — нахмурилась Арран. — Я не раз говорила тебе, что под петлекамерой я готова заниматься любовью хоть двадцать четыре часа в сутки. Но в личной жизни я сама себе выбираю мужчин.

— Ты сможешь отойти от дел.

— Я не шлюха!

— Он сказал, что даже пытаться не будет переспать с тобой, если ты сама этого не захочешь. Он просто попросил провести наедине с тобой двадцать четыре часа. Встреча состоится через два твоих пробуждения. Он хочет просто поговорить. Подружиться.

Арран прислонилась к стене коридора.

— Неужели за эту петлю готовы заплатить такие бешеные деньги?

— Ты забываешь, Арран. Твои поклонники без ума от тебя. Но еще ни один человек не делал того, что сделаешь ты. Съемка начнется за полчаса до пробуждения и закончится ровно через полчаса после того, как ты погрузишься в сон.

— До пробуждения и сразу после ввода сомека, — посмаковала Арран эту мысль и улыбнулась. — Такого не видел никто в Империи, за исключением разве что служащих Сонных Зал.

— Наш лозунг будет: «Абсолютная реальность». «Никаких иллюзий: своими глазами вы увидите, как проводит Арран Хэндалли ВСЕ три недели бодрствования!»

Арран задумалась.

— Это будут три недели сплошного ада, — сказала она наконец.

— Но после этого ты сможешь послать работу ко всем чертям, — напомнила Триуфф.

— Хорошо, — согласилась Арран. — Я сделаю это. Но предупреждаю. Никаких Кортни. Чтобы без зануд. И главное — не смей больше подсовывать мне маленьких мальчиков!

Лицо Триуфф приняло обиженный вид:

— Арран... этот мальчик был пять петель назад!

— Я до сих пор помню каждое мгновение, — сказала Арран. — Он объявился абсолютно неожиданно, вы мне даже инструкций не передали. Скажи на милость, что я должна была делать с семилетним малышом?

— Ты замечательно выкрутилась, это была одна из лучших твоих ролей, Арран. Я ничего не могу поделать — мне приходится подсовывать тебе всякие сюрпризы. Именно тогда ты лучше всего и проявляешься — когда ты попадаешь в затруднительное положение, твой характер начинает играть всеми красками. Поэтому-то ты и актриса. Поэтому ты и легенда.

— А ты поэтому и наживаешь очередную кучу денег, — подчеркнула Арран и быстрым шагом пошла прочь, в сторону Сонных Зал. Через полчаса наступит время приема сомека, и тогда каждая секунда бодрствования будет отнимать у нее секунду жизни.

Триуфф не отставала, на ходу она давала Арран последние инструкции: что делать, когда она проснется; чего ожидать в Сонных Залах; каким образом будут передаваться ей последующие руководства к действию — это надо было исполнить так ловко, чтобы Арран их ни в коем случае не

пропустила, а аудитория, сидящая у экранов головизоров, ничего не заметила. В конце концов Арран скрылась за дверью лаборатории копирования, и Триуфф пришлось отступить.

Вежливые и почтительные служащие провели Арран к обитому плюшем креслу, где ее уже ожидал соношлем. Арран вздохнула, устроилась поудобнее, опустила шлем на голову и попыталась думать о чем-нибудь хорошем. Аппараты принялись сканировать мозг, перенося ее воспоминания, ее личность на пленку, информация с которой будет списана, когда Арран проснется. Когда все закончилось, она встала и, отбросив халат в сторону, лениво подошла к столу. Со стоном облегчения она вытянулась на мягком ложе, еще раз подивившись тому, как стол, выглядящий со стороны обыкновенной доской, может быть настолько мягким и удобным.

Ей пришло в голову (уже в который раз, только она даже не догадывалась об этом), что, может быть, она удивляется одному и тому же в двадцать второй раз — именно столько раз она принимала сомек. Но так как сомек начисто стирает все следы мозговой деятельности во время сна, включая и воспоминания тоже, она не помнила, что происходило с ней после того, как кассета была записана. Забавно. Сейчас хоть все служащие Сонных Зал могут изнасиловать ее по очереди, и она все равно ничего не будет помнить.

Но нет, такого никогда не будет, поняла она, когда заботливые мужчины и женщины покатили столик в комнату, где находились приборы по вводу сомека. Сонные Залы — не место для шуток, здесь непозволительны всякие вольности и грубости. Должно же быть в мире место, где человек может чувствовать себя в полной безопасности и куда никому не удастся проникнуть.

Тут она захихикала. «Сонные Залы были таким местом — до следующего моего пробуждения. А затем они откроются

миллиардам и миллиардам идиотов, которыми набита Империя и которым никогда не представится возможность испытать на себе действие сомека. Которые вынуждены влачить свой век, проживая жизнь год за годом, тогда как Спящие прыгают через столетия, как камушки по поверхности озера, оставляя круги на воде лишь раз в несколько лет».

Очень обходительный юноша с милой ямочкой на подбородке (он вполне мог бы начать актерскую карьеру, заметила про себя Арран) осторожно вонзил ей в руку иглу и виновато извинился за причиненную боль.

— Ничего, все замечательно, — начала было Арран, но тут же почувствовала, как руку пронзила острая судорога боли. Адское жжение охватило тело, ужасная агония; ручейки пота хлынули из пор ее кожи. От удивления и боли она закричала — что происходит? Ее замыслили убить? Кто мог пожелать ее смерти?

Затем сомек проник в мозг и отключил сознание и память, страдания, которые она испытывала, мигом прекратились. И когда она снова проснется, она ничего не будет помнить об агонии сомека. Эта агония каждый раз будет наступать неожиданно.

Вскоре Триуфф получила на руки семь тысяч восемьсот экземпляров последней петли с Арран — большинство петлекопий представляли собой укороченный вариант, из которого были вырезаны часы сна; удовлетворение естественных желаний тела так же было подредактировано — после монтажа остались только сцены приема пищи и занятий сексом. Правда, было выпущено несколько петлекопий с полным вариантом, который истинные (и богатые) поклонники Арран Хэндалли могли лицезреть на частном, семнадцатидневном просмотре. Были и такие фанаты (сумасшедшие, иначе их Триуфф не называла, но и слава Матери, что такие существуют), которые приобретали эти частные,

неурезанные петлекопии и пересматривали их по нескольку раз за одно пробуждение. Но такие поклонники действительно были помешаны на Арран.

Как только петлекопии разошлись по распространителям (и на счет Корпорации Арран Хэндалли была перечислена предоплата), Триуфф сама отправилась в Сонные Залы. Такую цену ей приходилось платить за работу менеджером звезды — на несколько недель раньше подниматься и принимать сомек несколькими неделями позже. Триуфф умрет по меньшей мере за столетие до Арран. Но Триуфф относилась к этому философски. Ведь, как не раз говорила она себе, она могла стать какой-нибудь школьной училкой и вообще не увидеть сомека.

Арран проснулась вся в поту. Подобно другим Спящим, она считала, что такое обильное потение вызывается препаратами пробуждения, и даже не подозревала, что купалась в собственном поту все прошедшие пять лет сна. Память уже вернулась к ней, перенесенная в голову несколькими секундами раньше. И она сразу ощутила, что на правом бедре закреплена какая-то штуковина — петлекамера. Запись уже началась — первые мгновения ее бодрствования плюс вся окружающая обстановка уже были зафиксированы на пленку. На какой-то миг она пришла в ярость, пожалев о своем решении. Теперь целых три недели ей придется играть роль, ни на шаг не отступая от сценария!

Но нерушимый закон петлеактеров гласил: «Петля должна быть замкнута». Что бы ты ни делал, все записывается — петля должна смотреться как в полном, так и в урезанном варианте. Если хоть какое-то действие покажется незавершенным — все, петлю можно выбрасывать. Истинные поклонники не потерпят петлекопии, в которой одна сцена неожиданно сменяется другой — они всегда считают, что за кадром осталась какая-нибудь «клубничка».

Поэтому — почти рефлекторно — она превратилась в бесконечно прекрасную, милую и добрую, но способную дать достойный отпор Арран Хэндалли, которую знали и любили все поклонники петлевидения — за каждый новый ее кадр они готовы были выложить кучу денег. Она вздохнула, и во вздохе проскользнуло томное возбуждение. Она передернулась от дуновения холодного воздуха, коснувшегося ее разгоряченного тела, и воспользовалась этим, чтобы открыть глаза, невинно (соблазнительно) щурясь под ослепляющим светом ламп.

Затем она медленно поднялась, огляделась. Один из вездесущих служащих уже стоял рядом, протягивая ей халат; Арран воспользовалась его помощью и скользнула в рукава — замечательно, теперь слегка повести плечиками, так чтобы груди ее *чуть-чуть* поднялись (ни в коем случае нельзя позволять им трястись, нет ничего отвратительнее ходящей ходуном молочной железы, напомнила она себе). Покончив с одеванием, она обратилась к панели новостей. Быстренько прогнала межпланетные известия, более внимательно изучила происшедшее за последние пять лет на Капитолии, концентрируясь больше на том, кто кому и какую собаку подложил. А затем пролистала сводки игр. Обычно она только для приличия заглядывала в этот раздел и никогда ничего не читала — игры утомляли ее, — но на этот раз она минут десять внимательно изучала списки, надувая периодически губки и демонстрируя то радость, то огорчение результатами тех или иных игр.

На самом деле она читала расписание на следующий двадцать один день. Так, отметила она, появилась пара-тройка новых имен, что неудивительно — это были актеры и актрисы, которые лишь недавно достигли уровня, когда можно позволить себе заплатить за участие в одной петле с Арран Хэндалли. А вот и другие имена, которые ей давно знакомы и появления которых с нетерпением ожидают все поклонники. Дорет, ее близкая подруга и бывшая соседка

по квартире, появившаяся семь петель назад, до сих пор забегала проведать Арран и поделиться новостями; Тверн, тот самый семилетний мальчик — сейчас ему уже исполнилось пятнадцать, и он вошел в историю как один из самых молодых актеров, пользующихся привилегией сомека; старые любовники и старые друзья, некоторые не появлялись уже много-много лет. Кто-то будет вести двойную игру, кто-то — откровенно подлизываться. Ничего, сказала она себе, разберемся, рано или поздно все встанет на свои места.

Имя, упрятанное чуть ли не в самый конец списка, оказалось настоящим сюрпризом. Гамильтон Ферлок! Невольно она улыбнулась — правда, тут же поймала себя на этом, хотя вреда от улыбки не будет никакого: персонаж Арран Хэндалли может так улыбнуться какой-нибудь очередной приятной победе. Гамильтон Ферлок. Наверное, единственный актер на всем Капитолии, способный сравниться с ней по классу. Они начинали вместе, в первых пяти петлезаписях он играл ее любовника — в те времена периоды бодрствования разделялись всего несколькими месяцами сомека. Символично, ведь теперь он появится в ее *последней* петле!

Про себя она еще раз вознесла хвалу своему менеджеру. Триуфф действительно сделала оригинальный выбор.

Настало время привести себя в порядок и отправиться длинными коридорами к своей квартирке. Возвращаясь домой, она отметила, что коридор отреставрировали, чтобы создать иллюзию, будто путь ее из Сонных Зал сам по себе событие. Она дотронулась до одной из новых панелей, которыми обшили стены. Пластик. Она взяла себя в руки и подавила гримаску. Ничего, аудитория никогда не поймет, что на самом деле это не дерево.

Она открыла дверь квартирки, и Дорет, взвизгнув от радости, кинулась ей навстречу. Однако Арран решила встретить подругу холодно, будто бы в прошлом между ними что-то произошло. Дорет сперва опешила, отпрянула от нее, но потом, как и подобает истинной актрисе (Арран никогда не

завидовала талантам коллег и искренне восхищалась ими), быстро взяла себя в руки, подхватила кинутую Арран реплику и превратила происходящее в замечательную сцену. Рыдая, она призналась, что несколько пробуждений назад увела у Арран любовника. Сначала Арран пылала праведным гневом, но потом все простила. Закончился эпизод тем, что обе женщины, обливаясь горючими слезами, бросились друг другу в объятия. Несколько секунд пришлось выдерживать паузу. Черт подери, выругалась про себя Арран, проклятая Триуфф снова взялась за свое. В комнату никто не вошел, а значит, внимание зрителей осталось прикованным к двум подругам. Следовательно, актрисы должны будут придумать еще что-нибудь и в ближайшие три часа выдать как минимум еще одну эффектную сценку.

Когда Доррет наконец ушла, Арран была вымотана до предела. Они устроили борцовский поединок, разодрали в клочья одежду друг на друге, а напоследок Доррет кинулась на Арран с ножом. Арран пришлось выбить оружие из рук подруги, и только тогда Доррет оставила ее в покое и ушла. Арран выдалась минутка отдыха.

«Двадцать один день без перерыва. Первые сутки только начались, а Триуфф уже успела вымотать меня до предела. Уволю сучку», — клятвенно пообещала она.

Шел двенадцатый день, Арран буквально тошнило от съемок. Пять вечеринок, пара-другая оргий, каждую ночь новый мужчина — такое доведет до белого каления кого угодно. У Арран уже несколько раз случались срывы. Когда ей хотелось поплакать, она каждый раз вынуждена была изобретать очередную причину — новые выяснения отношений с любовниками, спор, заканчивающийся истерикой, оскорбление пришедшей с покаянием подруги.

Правда, на этот раз большинство подыгрывающих были действительно талантливы и принимали на свои плечи немалую часть работы. И все равно приходилось прыгать через голову, чтобы придумать что-то свежее.

Прозвучал звонок в дверь, и Арран, устало поднявшись, пошла открывать.

На пороге стоял Гамильтон Ферлок, смущенно переминаясь с ноги на ногу. Пять столетий на сцене, подумала Арран, и он все еще не утратил этой абсолютно гениальной, мальчишеской манеры поведения. Она выкрикнула его имя (соблазнительно, выдерживая роль) и кинулась ему на шею.

— Гэм, — проговорила она, — о Гэм, ты даже представить себе не можешь, как я измоталась!

— Арран, — мягко сказал он, и Арран с удивлением отметила, что голос его прозвучал так, словно это голос влюбленного. «Только не это, — подумала она. — По-моему, наши прошлые петлеотношения закончились ссорой. Нет, нет, то было с Райденом. Гэм ушел потому, потому... а, да. Потому что чувствовал неудовлетворенность собой».

— Ну что, ты нашел, что искал?

— А что я искал? — Гэм непонимающе поднял бровь.

— Ты сказал, что должен сделать что-то со своей жизнью. Что жизнь со мной превращает тебя во влюбленную тень. — «Красиво сказала», — поздравила себя Арран.

— Влюбленную тень... Ну, в принципе, почти так и было, — ответил Гэм. — Но я открыл для себя, что тень может существовать только там, где есть свет. Ты мой свет, Арран, и только рядом с тобой я нахожу смысл своей жизни.

«Неудивительно, что ему столько платят», — подумала Арран. Сама реплика получилась несколько сентиментальной, но именно такие мужчины, как он, пользуются у женщин популярностью и приковывают их к экранам.

— Значит, я свет? — переспросила Арран. — Подумать только, ты все-таки вернулся.

— Подобно мотыльку, стремящемуся к пламени.

Затем, как и полагается в сценах счастливого воссоединения («По-моему, я еще ни с кем не воссоединялась в

этой петле... Точно, не воссоединялась»), они медленно раздели друг друга и так же медленно занялись любовью. Подобные эпизоды действуют не особенно возбуждающе, но именно такие сценки заставляют и мужчин, и женщин рыдать от умиления и нежно держаться за руки в темноте театра. Он был так нежен в этот раз, и любовь с ним шла так легко, что Арран почти позабыла, что это лишь игра. «Я ведь устала, — напомнила она себе. — А он просто бесподобен. С тех пор как мы в последний раз виделись, он стал еще лучше».

После этого он обнимал ее, и они тихонько разговаривали — после сеанса любви ему всегда хотелось поговорить; большинство же других актеров считали, что после секса, наоборот, полагается быть грубым и сердитым, дабы поддержать в глазах поклонников свой имидж самца-мачо.

— Это было прекрасно, — сказала Арран и с тревогой заметила, что говорит совершенно искренне. Эй, женщина, смотри за собой. Не запори петлю, ты ведь продержалась почти двадцать дней. С ума сойти, двадцать дней беспрерывного ада...

— Да?

— А ты не почувствовал?

Он улыбнулся:

— Прошло столько лет, Арран, и все-таки я оказался прав. Во всей вселенной не сыскать женщины, подобной тебе.

Она нежно хихикнула и, как бы смутившись, отпрянула от него. Такая манера поведения полностью соответствовала ее персонажу, а следовательно, со стороны смотрелась очень соблазнительно.

— Почему же ты не вернулся раньше? — поинтересовалась Арран.

Гамильтон тоже перевернулся на спину. Он все молчал и молчал, и она принялась водить пальчиками по его груди. Он улыбнулся.

— Я старался держаться от тебя подальше, Арран, потому что слишком люблю тебя.

— Любовь — не причина, чтобы избегать любимого человека, — сказала она. *Ха! Эта* цитата будет ходить из уст в уста по меньшей мере года два.

— На самом деле, причина, — покачал головой он. — Когда любовь настоящая.

— Тогда тем более ты должен был остаться! — набавила обороты Арран. — Ты бросил меня, а теперь притворяешься, будто любил.

Гамильтон вдруг изогнулся и резким движением скинул ноги с кровати.

— Что случилось? — спросила она.

— Проклятие! — прорычал он. — Кончай играть, а?

— Играть? — не поняла она.

— Да, играть! Играть эту идиотку Арран Хэндалли, ты же делаешь это ради денег! Я знаю тебя, Арран, и я говорю тебе... Я говорю, не какой-то там актер, *я сам*... я хочу сказать, что люблю тебя! Я не работаю сейчас на зрителя! Мне плевать на петлю! Я сейчас говорю только с тобой — я тебя люблю!

Под ложечкой вдруг засосало; Арран с ужасом поняла, что под конец эта вонючка Триуфф все-таки умудрилась подложить ей свинью. И втянула в это Гэма. В петлеиндустрии существует одно негласное правило — никогда, ни в коем случае не упоминать, что ты сейчас играешь. Такому проступку оправдания быть не может. Только что ей был брошен серьезнейший вызов — ей придется признаться зрителям, что она актриса, и при этом она должна будет удерживать их в плену своих чар и дальше, заставлять их верить себе.

— Плевать на петлю... — откликнулась она, отчаянно пытаясь придумать подходящий ответ.

— Да, и я еще раз повторяю это! — Он вскочил, пошел к выходу из комнаты, затем развернулся и ткнул в Арран паль-

цем. — Все эти идиотские разговорчики, возбуждающие желание ужимки — неужели ты еще не устала?

— Устала?! От чего? Это жизнь, а от жизни я никогда не устану.

Но Гэм не желал играть честно.

— Если это жизнь, тогда Капитолий — астероид. — Неловкая реплика, совсем не похоже на него. — Хочешь знать, что такое жизнь, Арран? Жизнь — это столетия игры. Я скакал из петли в петлю, трахал каждую актрису, которая могла поднять мне сборы и обеспечить достаточно денег на сомек и всякие прелести жизни. И внезапно, несколько лет назад, я понял, что окружающая меня роскошь ровным счетом ничего не значит. Зачем тогда жить вечно? Жизнь теряет всякий смысл, превращается в бесконечную вереницу высокооплачиваемых пустышек!

Арран наконец удалось выдавить из себя пару-другую слезинок ярости. Петля должна быть замкнута.

— Ты хочешь сказать, что я просто «пустышка»?

— Ты? — Гэм выглядел так, точно получил оплеуху. Этот человек прирожденный актер, напомнила себе Арран, одновременно кляня его про себя за то, что он впутал ее в такую передрягу. — Нет-нет, Арран, ты не так поняла меня!

— А как прикажешь понимать тебя? Заявляешься тут и обзываешь озабоченной!

— Да нет, — поморщился он, садясь на кровать и обнимая ее за плечи. Арран снова приникла к нему, как и прежде, много-много лет назад. Она подняла голову, заглянула ему в глаза и обнаружила, что они полны слез.

— Почему ты... почему ты плачешь? — нерешительно спросила она.

— Я плачу из-за нас обоих, — отозвался он.

— Но почему? — удивилась она. — Что нам оплакивать?

— Те годы, которые мы потеряли.

— Не знаю, как тебе, но мне скучать было некогда, — сказала она, засмеявшись, в надежде, что и он засмеется вместе с нею.

Но он не засмеялся:

— Мы были предназначены друг для друга. Не просто как актеры, Арран, а как люди, как мужчина и женщина. Вспомни, в самом начале ты была не так хороша, как сейчас — да и я тоже был всего лишь новичком. Я искал петель. Среди остальных мы оба были всего-то парочкой дилетантов. Но те петли все-таки продавались, мы разбогатели на них и постигли азы науки. А знаешь, почему нам повезло?

— Я не согласна с твоей оценкой прошлого, — холодно проговорила Арран, гадая, чего этот тип надеется достигнуть, впрямую говоря о петлях, вместо того чтобы придерживаться своей роли.

— Эти кассеты продавались, потому что в них мы были вместе. Потому что мы были как живые, когда говорили, что любим друг друга. Мы могли болтать часами ни о чем. Мы на самом деле наслаждались обществом друг друга.

— Жаль, что сейчас я не получаю удовольствия от твоего общества. Сначала обзываешь меня «пустышкой», потом говоришь, что у меня вообще нет таланта...

— Талант! Ирония жизни... — усмехнулся Гэм. Он нежно дотронулся до ее щеки и повернул ее личико к себе, заглядывая в глаза. — Конечно, ты талантлива, как, впрочем, и я. У нас есть деньги, слава и все остальное, что только можно купить за кредитки. Даже друзья. Но скажи мне, Арран, сколько лет прошло с тех пор, как ты действительно кого-нибудь любила?

Арран быстренько припомнила всех своих недавних любовников. К кому может приревновать Гэм? Нет, с ним не сравнится никто.

— Знаешь, по-моему, я вообще никого и никогда не любила.

— Неправда, — сказал Гэм. — Неправда, ты любила меня. Много веков назад, Арран, ты любила меня.

— Может быть, — сказала она. — Но сейчас-то что об этом вспоминать?

— А разве сейчас ты меня не любишь? — спросил Гэм и настолько беспомощно посмотрел на нее, что Арран даже захотелось рассмеяться от восторга и зааплодировать столь блестящей игре. Но этот подонок обошелся с ней не лучшим образом, и она не намерена подыгрывать ему.

— Тебя? — скорчила гримаску она. — С чего бы это? Дружок, ты всего лишь очередной комплект озабоченных сперматозоидов, не более.

Это должно шокировать зрителя. И таким образом она отплатит Гэму за эти идиотские выходки.

Но Гэм безукоризненно вел игру. Лицо его мучительно исказилось, он отшатнулся от нее.

— Извини, — сказал он. — Похоже, я ошибался.

И к потрясению Арран он начал одеваться.

— Что ты делаешь? — поинтересовалась она.

— Ухожу, — сказал он.

«Уходит... — в панике соображала Арран. — Сейчас? Не завершив сцену? Затратить столько сил, все построить, а затем наплевать на многовековые традиции и уйти, так и не доведя сюжет до логического конца? Этот человек — монстр!»

— Ты не можешь уйти!

— Я ошибся, извини. Я разочаровался в себе, — сказал он.

— Нет, Гэм, нет, не уходи. Я тебя не видела тысячу лет!

— Ты меня просто не понимала, — ответил он. — Иначе ты бы не сказала то, что сказала пару секунд назад.

«Это он расплачивается со мной за то, что я попробовала ответить ему, — подумала Арран. — Убила бы. Но какой актер, просто фантастика!»

— Извини, я не хотела тебя обидеть, — произнесла Арран, старательно изображая раскаяние. — Прости меня. Ничего плохого я не имела в виду.

— Ты просто пытаешься заставить меня остаться, чтобы я случаем не сорвал сцену.

Арран совсем отчаялась. «Да что я выкручиваюсь все время?!» Но она прекрасно понимала, что, стоит ей хотя бы на секунду выйти из роли, и всю петлю можно сразу спускать в канализацию. Поэтому она продолжала играть. Теперь она бросилась на постель.

— Конечно! — зарыдала она. — Давай, уходи, оставь меня именно сейчас, когда ты мне так нужен!

Тишина. Она лежала молча. Пускай он отвечает.

Но он тоже ничего не говорил. Выдерживал паузу. Она даже шороха не слышала.

Наконец он заговорил:

— Я тебе действительно нужен?

— Мм-мм, — промычала она, заставляя себя икать и всхлипывать. Затасканный приемчик, но зрители каждый раз клюют.

— Прошу тебя, Арран, ответь мне искренне, забудь о роли. Я хочу услышать тебя и только тебя. Ты любишь меня? Хочешь меня?

Она перевернулась на бок, приподнялась на локте и с надрывом произнесла:

— Ты для меня все равно что сомек, Гэм, ты частица моей души. Почему тебя так давно не было?

У него вырвался вздох облегчения. Он медленно вернулся к ней. И вновь воцарился мир. Они еще четыре раза занимались любовью, после каждой смены блюд — как раз подали обед. Для разнообразия они позволили слугам подглядывать. «Это уже было, — вспомнила Арран, — но давно, пять петель назад, да, где-то так. А, все равно то были другие слуги». Слуги, все как один начинающие актеры, не преминули воспользоваться случаем, чтобы продемонстри-

ровать свои способности, и устроили собственную оргию, умудрившись за каких-то полтора часа перепробовать все возможные позы и виды секса. Но Арран даже не замечала их. Эти дураки считают, что зрителю требуется количество. И если немножко секса это хорошо, то много — еще лучше. Но Арран снималась не первый век. Зрителя надо терзать. Заставить его умолять. Его надо учить видеть в сексе красоту, а не просто возбуждение, не одну лишь грязь. Вот поэтому-то она и была звездой, а они — всего лишь слугами, подвизавшимися в чужой петле.

Ту ночь Гэм и Арран провели друг у друга в объятиях.

Проснувшись утром, Арран увидела, что Гэм внимательно наблюдает за ней. В глазах его странным образом смешались любовь и боль.

— Гэм, — мягко промурлыкала она, погладив его по щеке. — О чем ты мечтаешь?

Он не сводил с нее глаз.

— Выходи за меня замуж, — сказал он.

— Ты что, серьезно? — спросила она своим коронным голоском девочки-паиньки.

— Серьезно. Давай подгоним наши расписания друг под друга и проведем вместе вечность.

— Вечность — это слишком долго, — ответила она. Эта фраза всегда производит впечатление.

— Я серьезно, — продолжал он. — Выходи за меня замуж. За все эти годы мы собрали чертову кучу денег. Наши жизни будут принадлежать нам одним, и мы никого в них не пустим. Выбросим петлекамеры к черту. — Сказав это, он постучал по камере, прикрепленной к ее бедру.

Арран аж застонала про себя. Опять начинается. Конечно, зритель не поймет, что хотел сказать этим жестом Гэм — компьютер, отвечающий за создание петли, запрограммирован таким образом, чтобы автоматически удалять изображение камеры из голокартины. Зритель ее просто не видит.

А теперь Гэм чуть ли не пальцем тычет в объектив. Чего он добивается, хочет, чтобы она сорвалась? Друг, тоже мне.

«Ладно, будем играть по твоим правилам».

— Нет, я не пойду за тебя замуж, — сказала она.

— Прошу тебя, — взмолился он. — Неужели ты не видишь, как я люблю тебя? Все эти самцы, которым платят за то, что они занимаются с тобой любовью, — ты ведь им абсолютно безразлична, им наплевать на тебя. Ты для них — просто возможность сделать деньги, сделать имя, нажить богатство. Но мне не нужны деньги. У меня есть имя. Мне нужна ты одна. А я подарю тебе себя.

— Очень миленько, — холодно процедила она, встала и направилась в сторону кухни. Часы показывали полдвенадцатого. Они проспали все утро. Она еле сдержала невольный вздох облегчения. В полдень она должна быть в Сонной Зале. Через каких-то полчаса с этим фарсом будет покончено. Все, пора переходить к развязке.

— Арран, — не отставал Гэм. — Арран, я серьезно. Я не играю!

«Да я уж поняла», — подумала про себя Арран, но вслух этого не сказала.

— Ты лжешь, — вместо этого выпалила она.

— Но с чего мне лгать? — Он недоумевающе посмотрел на нее. — Разве я не доказал тебе, что говорю чистую правду? Что я не играю?

— Не играешь... — фыркнула она (соблазнительно, как всегда соблазнительно. «Не забывай о роли», — напомнила она себе) и повернулась к нему спиной. — Не играешь... Ладно, коли мы заговорили напрямоту, отбросили всякое притворство и лицемерие, я тоже кое в чем тебе признаюсь. Знаешь, что я о тебе думаю?

— Что? — спросил он.

— Я думаю, ты самая грязная дешевка, что я когда-либо видела. Заявился сюда, заставил меня поверить в твою лю-

бовь, а сам тем временем использовал меня! Да ты хуже всех!

— Я даже не думал использовать тебя! — воскликнул он.

— Хочешь жениться на мне? — продолжала насмехаться Арран. — Ну, женишься, а дальше что? Что, если бедная девочка действительно выйдет за тебя замуж? Что ты будешь делать? Запрешь меня в этой квартирке навечно? Разгонишь всех моих друзей и подруг, всех моих... о, ведь ты заставишь меня расстаться со всеми любовниками! Меня любят сотни мужчин, но ты, Гамильтон, ты хочешь обладать мной вечно, владеть мной единолично! Вот удача-то тебе выпадет! Никто другой не посмеет больше взглянуть на мое тело, — сказала она, поводя бедрами так, чтобы заставить зрителя забыть обо всем и приковать все взгляды к своей пышной плоти. — Ты один, и никто больше. И после этого ты заявляешь, что вовсе не хочешь использовать меня!

Гамильтон подошел ближе, попытался обнять ее, пробовал умолять, но она только еще больше выходила из себя.

— Не трогай меня! Убирайся отсюда! — кричала она.

— Арран, не может быть, чтобы ты действительно хотела этого, — тихо сказал Гэм.

— Я жажду этого больше всего на свете, — ответила она.

Он заглянул ей в глаза, взгляд его пронзил ее насквозь. Наконец, после долгой паузы, он снова заговорил:

— Либо ты настолько вошла в роль, что для настоящей Арран Хэндалли просто не осталось места, либо ты и в самом деле так думаешь. Так или иначе, мне незачем оставаться здесь.

Арран в восхищении наблюдала за тем, как Гамильтон собирал одежду. Даже не побеспокоившись о том, чтобы одеться, он вышел из комнаты, осторожно прикрыв за собой дверь. «Замечательный выход», — подумала Арран. Актер ниже классом не удержался бы от искушения бросить на прощание какую-нибудь фразу. Но только не Гэм — так что теперь, если

Арран поведет себя соответственно, эта гротескная сцена станет гениальнейшим финалом всей петли.

Поэтому она продолжала играть: сначала бормотала, каким ужасным мужчиной оказался Гэм, затем начала гадать, вернется ли он.

— Надеюсь, что вернется, — сказала она и разрыдалась, причитая, что жить без него не сможет. — Прошу тебя, Гэм, вернись! — жалобно простонала она. — Прости, что отказала тебе! Я очень хочу выйти за тебя замуж!

И тут она посмотрела на часы. Без малого полдень. Слава Матери.

— Но время пришло, — сказала она. — Пора идти в Сонные Залы. Сонные Залы! — В ее голосе промелькнула новая надежда. — Вот оно! Я пойду в Сонные Залы! Годы пролетят, как одно мгновение, а когда я вернусь, он будет здесь, будет ждать меня!

Эта напыщенная речь продолжалась еще несколько минут, после чего Арран набросила халат и быстро, легкими шажками побежала по коридору к Сонным Залам.

В лаборатории сканирования мозга она завела веселую беседу с одной из служительниц.

— Он будет ждать меня, — говорила она, улыбаясь. — Все будет хорошо. — На голову опустился шлем, но Арран продолжала болтать: — Как вы думаете, стоит надеяться? — спросила она у женщины, которая осторожно снимала с нее шлем.

— Надежда умирает последней, мэм. Все люди на что-то надеются.

Арран улыбнулась, затем встала и подошла к спальному столу. Она не помнила, что случится дальше, хотя знала, что не раз подвергалась процедуре ввода сомека. Вдруг ей пришло на ум, что на этот раз она сможет посмотреть петлю и увидеть собственными глазами, что происходит, когда в вены человека вливается сомек.

А поскольку она не помнила, что происходит после сканирования мозга, то ничего подозрительного не заметила, когда служительница Сонных Зал всего лишь на миллиметр вонзила иглу в ее ладонь.

— Ой, она такая острая, — произнесла Арран, — но я рада, что это ничуть не больно.

И вместо жаркой боли сомека на нее накатила ленивая дрема. Засыпая, она шептала имя Гэма. Шептала его имя, а про себя проклинала на чем свет стоит. «Он, может быть, и великий актер, — говорила она себе, — но за такие штучки мне следовало бы голову ему оторвать. Ничего, зато театры будут забиты до отказа». Зевок. И она заснула.

Съемки велись еще несколько минут, пока служители копошились в своих инструментах, производя непонятные — а на самом деле и ненужные — действия. Наконец они отступили, как будто бы закончив, и на столе осталось лежать обнаженное тело Арран. Условная пауза для петлекамеры, чтобы отснять заключение, а затем...

Прозвучал звонок, двери отворились, и в лабораторию, заливаясь довольным смехом, влетела Триуфф.

— Да, вот это петля, — приговаривала она, снимая с ноги Арран камеру.

Когда Триуфф ушла, служители ввели в руку Арран настоящую иглу, и раскаленный металл потек по ее венам. Даже в глубоком сне Арран почувствовала боль и закричала в агонии, пот липкими струйками хлынул на стол. Страдания продолжались несколько минут, зрелище было уродливым, исполненным боли, пугающим. Ни в коем случае люди не должны знать, что собой представляет этот таинственный сомек. Пусть лучше считают, что сон — это благо; пускай думают, что сновидения всегда сладки.

Когда Арран проснулась, первой ее мыслью было бежать узнавать, как прошла петля. Она по горло была сыта прошлыми съемками — и теперь с нетерпением ожидала

сообщения Триумф, что наконец-то ей можно уйти на заслуженный отдых.

Все обещания, данные ей, были исполнены.

Триумф ждала ее сразу у Сонных Зал. Завидев Арран, она бросилась ей на шею.

— Арран, ты не поверишь! — сказала она, хохоча во все горло. — Три твои последние петли и так побили все рекорды продаваемости — они стали самыми популярными в истории петлеиндустрии. Но эта! Эта!..

— Ну? — не утерпела Арран.

— Принесла прибыли в три раза больше, чем те прошлые вместе взятые!

— Так что, теперь я могу жить в свое удовольствие? — улыбнулась Арран.

— Как пожелаешь, — сказала Триумф. — Правда, у меня здесь наклевывается несколько выгодных сделок...

— Можешь забыть о них, — отрубила Арран.

— Да там даже работать не надо, всего по нескольку дней на каждую петлю...

— Я сказала, оставь меня в покое. Начиная с этого момента никогда в жизни я не надену на ногу камеру. Эпизодические роли — пожалуйста, но играть главную героиню — никогда!

— Хорошо, хорошо, — успокоила ее Триумф. — Я именно так им и сказала, но из меня буквально клещами выдрали обещание, что я все-таки сделаю тебе это предложение.

— В придачу к клещам, наверное, неплохо заплатили, — ответила Арран. Триумф пожала плечами и улыбнулась.

— Ты лучше всех, наивеличайшая актриса всех времен и народов, — сказала она. — С тобой никто не сравнится.

Арран покачала головой.

— Может, и так, — протянула она, — но попотеть пришлось. В конце ты таки застала меня врасплох, подослав этого подлеца Гэма.

Триуфф замотала головой:

— Ничего подобного, Арран, вовсе я его не подсылала. Наверное, это он сам придумал. Я проинструктировала его попытаться убить тебя — вот это была бы настоящая концовка. Но, войдя в комнату, он начал вести свою игру. Слава Матери, вреда от этого никакого нет. Сцена получилась идеальной, а поскольку он вышел из роли и заставил выйти из роли тебя, все без исключения зрители поверили, что все виденное ими было на самом деле. Прекрасно. Разумеется, сейчас все кому не лень начали выходить из роли и импровизировать на ходу, но это уже совсем не то. Все знают, что это всего лишь уловка. Но когда ты и Гэм впервые... — Триуфф взволнованно взмахнула руками. — В общем, это было чудесно.

Арран шагала по коридору.

— Что ж, я рада, что это сработало. И все равно, жду не дождусь, когда накручу Гэму хвост за такие шуточки.

— О, Арран, я забыла тебе сказать... Ты извини, но... — протянула Триуфф.

Арран остановилась и повернулась к менеджеру.

— Что такое?

Триуфф действительно выглядела опечаленной.

— Арран, дело в том, что Гамильтон... Не прошло и недели, как ты заснула... жалко до жути. Несколько месяцев все только и говорили об этом.

— О чем? С ним что-то случилось?

— Он повесился. Выключил в своей квартире свет, чтобы никто из Наблюдателей не увидел, привязал к крюку от лампы пояс и повесился. Смерть была мгновенной, спасти его не удалось. Это было ужасно.

Арран с удивлением обнаружила, что в ее горле встал какой-то подозрительный ком. Всамделишный, настоящий.

— Гэм мертв, — проговорила она. Она вспомнила те сцены, которые сыграла вместе с ним, и искреннее, неподдельное чувство пробудилось в ней. «А я ведь не играю, —

поняла она. — Мне действительно нравился этот мужчина. Милый, замечательный Гэм».

— Есть какие-нибудь догадки, почему он это сделал? — спросила Арран.

Триуфф отрицательно помотала головой:

— Никто понятия не имеет. Только одно уму непостижимо — такая сцена, в шоу-бизнесе ничего подобного не было и не будет, настоящее самоубийство. И он не заснял его!

Глава 16

КОНЕЦ ИГРЫ

Ноги Германа Нубера словно продолжали находиться под воздействием препарата каждый раз, когда он пытался шевельнуться, крошечные невидимые иголочки нестерпимо вонзались в мышцы.

— Мои ноги не действуют, — пожаловался он служителю Сонных Зал.

— Это обычное явление, — успокаивающе заверил его служитель.

— Я проспал три года, — объяснил Герман. — Может быть, все это время в ноги не поступала кровь?

— Это сомек, мистер Нубер, — сказал служитель. — Так или иначе, но он влияет на человека. Скоро все пройдет. А циркуляции крови сомек помешать не может.

Герман буркнул что-то нелестное и вновь обратился к чтению информационных выпусков. Ноги кололо уже меньше, теперь он мог раскачиваться, поочередно перенося вес

то на одну, то на другую из них. Новости навевали скуку. Империя как всегда победно шествует по Вселенной: «победно» — чаще всего это означало, что врагу все-таки удалось закрепиться в системе, а жалкие остатки Имперского флота кое-как доковыляли до родного дома. Сплетни были не менее занудными. Именитые петлеактеры продолжали ахами и трахами прокладывать путь к богатству и славе. Один из актеров совершил самоубийство — что-то новенькое, обычно, когда людям надоедает окружение Капитолия, они предпочитают записываться добровольцами в колонии.

Основное внимание он уделил сводке игр. Он пробежался глазами по новостям Международных Игр и в самом конце обнаружил объявление:

«Европа 1914д вступила в 1979 год. А самая большая новость этой недели заключается в том, что в четверг возвращается в игру Герман «Италия» Нубер. Так что противникам Италии советуем поостеречься!»

Очень лестно, когда о твоем пробуждении сообщают в сводке новостей. Но иначе и быть не могло. Международные Игры появились много лет назад, они восходят к стародавним временам, когда о сомеке даже слыхом не слыхивали. Но такого игрока, как Герман Нубер, еще не рождалось во Вселенной.

Он покинул Сонные Залы, задержавшись лишь затем, чтобы одеться, да и то об этом он вспомнил уже на пороге. На этот раз наверху он проведет всего лишь шесть месяцев — в прошлое пробуждение он выиграл на ставках приличные деньги, куда больше обычного. Несмотря на то что ставки были абсолютно незаконны, они отнюдь не вредили личному бюджету, да никто, собственно, и не препятствовал желающим ставить на ту или иную страну. Хотя заключать с ним долгосрочные пари никто не отваживался — когда он ставил на себя самого, возврат составлял всего лишь семнадцать процентов. Но это всяко лучше всевозможных банковских векселей и государственных займов.

— Герман. — К нему приблизился тихий, маленький человечек. Несмотря на то что Герман Нубер и сам слыл коротышкой, человечек едва достигал его плеча.

— Привет, Грей, — ответствовал Нубер.

— Как Спалось?

— Отлично.

Грей Гламорган был отличным менеджером. Он был настоящим финансовым гением, обладал массой полезных связей и, помимо этого, всегда помнил, что работает он прежде всего на *босса,* а не на себя. Надежен. Родился в семье карликов. Герман предпочитал окружать себя людьми, которые были ниже его ростом.

— Ну? — торопил его Грей.

— Италию, конечно. Давай, покупай, — безразлично произнес Герман.

Грей кивнул. Это был своего рода ритуал, но законы игры специально оговаривали тот факт, что место в игре может принадлежать только бодрствующему. Те игроки, что принимали сомек, на время сна выбывали из действия.

«Что ж, я проснулся», — процедил про себя Герман. И если не произошло ничего непредвиденного, в это пробуждение игра будет закончена — мир будет покорен.

Войдя в квартиру, он отметил, что компьютерная стена уже включена — еще один заботливый жест со стороны Грея. Как всегда сначала Герман устроил самому себе небольшую пытку — он нарочно не обращал внимания на экран, отводил глаза в сторону и притворялся, что компьютер еще не включен. Прежде всего он оглядел обстановку и убедился, что все, что может потребоваться, находится под рукой. На самом деле Герман был не так уж богат — обыкновенный преуспевающий человек. Он не мог позволить себе содержать пустую квартиру, проводя по нескольку лет в сомеке. Каждый раз, когда он направлялся в Сонные Залы, его пожитки либо складировались где-нибудь, либо распродавались. «Но в один прекрасный день я разбогатею, — подумал

он. — Когда-нибудь я достигну высших уровней сомека. Буду, к примеру, проводить пять лет под сомеком и всего три месяца наверху. И у меня будет собственная квартира, мне уже не придется каждый раз снимать новое жилье».

Разумеется, об этом мечтали все. И все надеялись на удачу. Но из каждых семи миллионов населения Империи везло всего лишь одному.

Наконец, когда был выпит стакан апельсинового сока, кровать опробована, женщина на ночь выбрана и оплачена, туалет использован, он позволил себе удобно устроиться в кресле перед компьютерным модулем. Но экран по-прежнему не включал. Он набрал код Европы 1914д.

Ему было всего двадцать два, когда он впервые решился вложить деньги в Международные Игры. Такие развлечения были доступны лишь тугим кошелькам, и право участия стоило ему двухмесячной зарплаты. За эти деньги он смог купить лишь третьеразрядную страну и очутился в самом начале новой игры. Выбор его пал на Европу 1914 года. Это уже была пятая по счету игра с подобным названием, но в компьютерных стратегических играх он специализировался именно на двадцатом столетии. Теперь, когда он участвовал в игре, которая велась сразу на нескольких планетах, ему предоставлялась возможность оценить собственные силы и проверить, так ли он хорош, как думал.

«И я показал себя отличным игроком», — подумал он, включая голоэкран. Перед ним появился земной шар, и Герман принялся внимательно изучать картину. Сначала на экране высветилась погодная сетка, затем возникла политическая карта мира.

— Ну как? — поинтересовался Грей, неслышно возникая за спиной Германа.

— Замечательно. Никто и ничего. О ней хорошо заботились.

Территория Италии на карте была отмечена розовым цветом. Герман вспомнил самое начало — Италия только

что объединилась, как страна она была очень слаба и все колебалась, к кому присоединиться — то ли к Германии, то ли к Австро-Венгрии. Согласно настоящей истории двадцатого века, Италия начала показывать зубки только после войны 1914 года. Единственным итальянским лидером первой половины двадцатого столетия был этот простофиля Муссолини. Но в Европе 1914д Италия принадлежала Герману Нуберу, который, хоть и считался третьеразрядным игроком, возлагал на себя немалые надежды — на себя и на Италию.

Это случилось за три года до того, как, работая целыми днями не покладая рук, Герман Нубер наконец заработал достаточно денег, чтобы впервые воспользоваться сомеком. Примерно тогда же он женился, и у него родилась дочь. Однако спустя некоторое время Герман развелся. Времени на семью просто не было. Жене не нравилось, когда всю ночь он проводил за игрой. Но в конце концов оказалось, что бессонные ночи стоили того. Конечно, не все шло так легко, случались и напряженные моменты, но спустя три года Герман вернул назад вложенные деньги. Его усилия окупились сорок к одному. Он изгнал из игры других, менее умелых игроков, и когда настало время приема сомека, он уже был диктатором Италии. В войне с Австро-Венгрией Италия вела наступление по всем фронтам, а незадолго до этого она одержала блестящую победу над пруссаками («Не над пруссаками, а над *немцами,* — напомнил он себе. — Не путай периоды») под Мюнхеном. Был подписан мирный договор. Америка не участвовала в войне, к огромной досаде игроков, которые большой кровью заплатили за этот нейтралитет — их страна постепенно выбывала из строя и становилась бесполезной.

Затем Италия стала основной силой в восточной Европе. А сейчас, с улыбкой отметил Герман, Италии принадлежала *вся* Европа; весь континент был залит розовым, плюс

Герману отошла большая часть Азии. В прошлое пробуждение он разобрался с Россией. На данный момент Италия надежно укрепилась на берегах Тихого и Атлантического океанов и имела выход через Персию на Индийский океан — теперь страна была готова на все.

— Хорошо смотрится, а? — обратился Герман к Грею, который все это время хранил молчание.

— Ага, как, должно быть, радуется тот, кто играет за Италию, — сказал Грей.

— Ты что, хочешь сказать, что до сих пор не выкупил ее? — пораженно осведомился Герман.

На лице Грея появилось некоторое смущение.

— Откровенно говоря, — сказал он, — я побоялся.

— Побоялся чего?

— В последнее время кто-то очень крупно играл на Италии. Мои подчиненные предоставили мне подробный рапорт, сразу как только я проснулся. Это произошло три недели назад. Вскоре после того, как ты принял сомек, кто-то начал покупать и перепродавать Италию, не подпуская к ней никого.

— Так это же незаконно!

— Пойди поплачься Матери. Мы и сами проворачивали такие комбинации, не помнишь? Может быть, учинить расследование? И предъявить наши бухгалтерские книги?

— А что тебе помешало заплатить больше и выкупить Италию?

— Они оттягали ее себе чуть ли не силой, Герман. Торговля состоялась вчера в полночь. Не самое лучшее время. Но я сделал свою ставку. Если честно, она была непомерно высокой. Но ничего не вышло. Игрок, заполучивший Италию, дал за нее в два раза больше.

— Так поднимать надо было!

Грей покачал головой:

— Я не мог. Мои полномочия распространяются только на пятьдесят процентов твоего капитала.

— Пятьдесят процентов?! — задохнулся от изумления Герман. — Грей, я правильно понял? Ставка превышала пятьдесят процентов?

Грей кивнул:

— Во всяком случае, пятьдесят процентов тех денег, что у нас имеются под рукой. Я не мог тягаться. Не имел права использовать фонды. Я мог бы доплатить из собственных, но так получилось, что с наличностью у меня сейчас туговато.

— Ну и кто этот игрок?

— Хочешь верь, Герман, хочешь не верь, но это помощник министра по колонизации планет, мелкая сошка. Он первый раз участвует в Международных Играх. Никаких записей, ничего конкретного о нем нет. Но несомненно одно — вряд ли он располагает такими средствами, чтобы выкупить позицию Италии.

— Так выясни, что за организация прячется у него за спиной, и откупи страну обратно.

Грей покачал головой:

— У нас не хватит денег. Кто бы ни был этот таинственный игрок, который выкупил Италию, настроен он очень серьезно. И денег у него куда больше, чем у нас.

Герман внезапно почувствовал слабость, тело его покрыл холодный липкий пот. Вот он, непредвиденный фактор. Игра чем-то походила на биржу, в ее систему также входили люди, играющие то на понижение, то на повышение. Сохранение позиции влетало Герману в огромные деньги, но поскольку он всегда поднимал цену до невиданных высот, никто даже не пытался перехватить у него Италию — каждый раз он давал по меньшей мере на пятнадцать процентов больше последней предложенной цены. Но сейчас эта цена составляла больше половины его состояния.

— Не имеет значения, — обратился Герман к Грею. — Займи. Распродай недвижимость. Теперь ты уполномочен

использовать девяносто процентов моего капитала. Только купи мне Италию.

— А что, если откажутся продавать?

Герман в ярости вскочил на ноги, подобно башне, он возвышался (это так приятно) над карликом Греем.

— Они не могут так поступить! За такую цену никто больше Италию не возьмет. Должно быть, эти мошенники рассчитывают раздеть меня догола. Ну и пускай. На этот раз, Грей, Италия завоюет весь мир. И прибыль от сделанных ставок составит не каких-то там семнадцать—двадцать процентов. Теперь дело за долгосрочными пари. Ты меня понимаешь?

— Герман, никто вовсе не обязан продавать ее тебе, — возразил Грей. — Игрок, что приобрел ее, пока не собирается принимать сомек.

— А мне плевать. Я заставлю их продать. Всему есть предел. Заплати цену, которую они сами назовут. Наверняка они уже подумали о цене.

Грей неуверенно кивнул. Герман отвернулся, услышав, как Грей тихонько выскользнул из комнаты, лишь ковер слегка зашуршал. Ощущая неприятное жжение в желудке, Герман снова обратился к экрану. Италия, конечно, была ценным призом, но сделал ее он, Герман Нубер. Только настоящий гений мог взять в свои руки управление третьеразрядной страной и превратить ее в мировую державу. Только Герман Нубер был способен на это, только он, величайший игрок за всю историю Международных Игр, черт их всех раздери. «Они хотят обчистить меня, — заключил Герман. — Пускай, плевать».

Он прекрасно знал, что сейчас компьютер для него — настоящая пытка, и все же не удержался от искушения просмотреть последние данные по операциям вооруженных сил Итальянской Империи. На границе с Кореей случился ряд вооруженных конфликтов, проявляла враждебность Индия.

Итальянская агентура успешно действовала в Аравии, подрывая основы японской диктатуры.

«Все идет просто замечательно, — отметил Герман. — Через три дня игра может быть закончена. Если только мне удастся выкупить Италию».

Грей больше не появлялся и не звонил. К вечеру Герман превратился в сплошной комок нервов. Италии уже три раза представлялась возможность нанести быстрый, сокрушающий удар, но этот идиот, управляющий сейчас страной, ничего даже не заметил. Конечно, за все то время, пока Герман Спал, возможность закончить игру представлялась не раз — но тогда он был под сомеком и не видел этого. Грей все не приходил и не приходил.

Звонок. Нет, это не Грей, поскольку дверь открывалась отпечатком его ладони. Наверное, та девчонка. Герман нажал на кнопку, открывающую замок, и дверь отворилась. Девочка действительно оказалась очень юной и с ослепительной улыбкой. Как говорится, то, что доктор прописал.

Красавица оказалась настолько хороша в своем деле, что Герман на какое-то время забыл об игре — ну, по крайней мере, мысли его сконцентрировались на других материях. Но уже после, как девушка ни пыталась снова возбудить его, тревоги, хоронившиеся в каком-то отдаленном уголке мозга, опять завладели им. Он сбросил ноги с кровати и сел.

— Что случилось?

Герман мотнул головой — ничего.

— Устал?

Неплохое объяснение, не хуже и не лучше прочих. Не изливать же душу какой-то шлюшке.

— Да, устал что-то.

Она вздохнула и снова опустилась на подушки.

— Уж мне ли не понять тебя. Я тоже устаю. Мне постоянно вкалывают транквилизаторы, чтобы я могла работать часами, но иногда так хочется отдохнуть от всего этого.

Разговорчивая попалась. Дьявол.

— Есть хочешь?

— Мне нельзя.

— Диета или еще что-нибудь?

— Не-ка. Просто не раз бывало, когда клиенты подсыпали нам наркотиков.

— Я не пользуюсь наркотиками.

— Правила есть правила, — стояла на своем девушка. Скорее даже девочка.

— А ты очень молода.

— Работаю, чтобы платить за колледж. Я старше, чем выгляжу. Порой меня выдают за малолетку, но я не против. Денег больше перепадает.

Деньги, деньги, деньги. Заплати за секс и получишь бесплатную лекцию по государственной экономике в придачу.

— Послушай, малышка, почему б тебе не пойти домой?

— Но ты заплатил за всю ночь, — удивленно напомнила она.

— Ну и замечательно. Ты была само совершенство. Но я очень устал.

— В нашем деле деньги возвращать не любят.

— А я и не хочу, чтобы кто-то что-то мне возвращал.

Она с сомнением посмотрела на него, но, увидев, что он начал одеваться, оделась сама.

— Дорогая привычка, — заметила она.

— Что ты имеешь в виду?

— Платить за любовь, а потом отказываться от того, за что заплатил.

— Ну, в общем, да, — сказал Герман, а затем, криво улыбнувшись, добавил: — Надеюсь, ты не побежишь сразу к какому-нибудь другому клиенту?

— Шутишь? — ответила она. Даже во время обыкновенного разговора профессиональные привычки брали верх над ее естеством. Она была сама сексуальность — улыбка, голос, — на какое-то мгновение он даже засомневался, стоит

ли отпускать ее. Но затем вспомнил об Италии и решил, что лучше побыть одному.

Она поцеловала его на прощание — политика фирмы — и ушла. Он снова остался наедине с самим собой. Он не спал всю ночь, наблюдая за Италией. Имбецил, выкупивший ее, ляпал промах за промахом. К трем часам утра Аравия перешла бы в руки Германа. Но новый игрок поступил абсолютно по-идиотски — заключил глупейший мирный договор, благодаря которому лишился внушительных владений в Египте. Вот козел! Уже под утро Герман все-таки заснул, но, проспав несколько часов, проснулся и немедленно начал названивать Грею. Голова его раскалывалась от боли.

— Черт возьми, что происходит? — рявкнул Герман.

— Герман, прошу тебя, — устало протянул Грей. — Мы делаем все, что в наших силах.

— Ага, а я сижу здесь и смотрю, как Италия буквально на моих глазах превращается в кусок дерьма.

— Разве ты не заказывал себе девочку на ночь?

— Твое какое собачье дело? — взревел Герман. — Выкупи мне Италию, Грей!

— Этот Абнер Дун, помощник министра по колонизации планет, абсолютно несгибаемый тип.

— Предложи ему луну.

— Она уже продана. Но я предложил все остальное. В ответ он лишь рассмеялся. Посоветовал тебе понаблюдать за игрой и полюбоваться работой истинного гения!

— Гений, тоже мне! Этот человек полный дегенерат! Он уже... — И Герман ударился в перечисление глупостей, которые Дун успел наделать прошлой ночью.

— Послушай, Герман, я в Международные Игры не играю, — наконец сказал Грей. — И ты это прекрасно знаешь, поэтому-то и нанял меня. Так что давай договоримся: я исполняю свои обязанности, а ты следишь за игрой, хорошо?

— И когда ж ты собираешься наконец исполнить эти самые обязанности?

Грей вздохнул:

— Нам обязательно обсуждать это по телефону? Или ты хочешь, чтоб Маменькины Сынки тоже узнали про все твои планы?

— Да черт с ними.

— Ну, хорошо. Я попытался проследить, кто стоит за Дуном. У этого человека масса связей, но все они абсолютно легальны. Никаких свидетельств о незаконном поступлении денег на его счет. Как я могу найти его хозяев, если даже не могу выяснить, кто ему платит?

— А может, с ним произойдет какой-нибудь несчастный случай или еще что-нибудь в этом роде?

Грей на секунду замолчал.

— Это телефон, мистер Нубер, а обсуждение преступных деяний по телефону наказуемо.

— Извини.

— Что за дурацкие шутки?! Ты хочешь, чтобы я потерял лицензию?

— Каждый разговор не прослушаешь.

— Прекрасно, давай надеяться и верить. Только закон мы преступать не будем. А теперь отдыхай, посмотри головизор, в общем, развлекайся.

Герман ударом руки отключил телефон и уселся за терминал компьютера. Италия только что развязала бесполезную, дурацкую войну в Гвиане. Гвиана! Зачем она ему понадобилась? Акт агрессии был настолько очевиден, что бывшие союзники уже начали создавать антиитальянскую коалицию. Придурок!

Надо как-то отвлечь мысли от Италии. Он открыл частную игру, предложил бесплатное участие любому желающему и установил невысокие ставки. Необходимые пятеро игроков проявились почти мгновенно, вскоре война за Аквитанию была в самом разгаре. А еще через семь часов он

выиграл. Жалкая победа. Все великие игроки участвуют в Международных Играх. Что же Грей так задерживается?

— Ничего я не задерживаюсь, — оправдывался Грей, к полуночи появившись наконец в квартире Германа. — Я демонстрировал чудеса храбрости — и все ради тебя, Герман.

— Ты считаешь, что прыганье по лианам поможет делу?

Грей улыбнулся, показывая, что шутка понята.

— Послушай, Герман, ты мой самый крупный клиент. Ты знаменит. Ты важная персона. Я не идиот, чтобы терять такого клиента, поэтому делаю все, что в моих силах. На меня сейчас работают три агентства — они собрали каждую крупицу информации, касающуюся Дуна. И в результате мы пришли к выводу, что он совсем не тот, за кого себя выдает.

— Отлично. И кто же он на самом деле?

— Он безумно богат. Богаче, чем ты можешь себе представить.

— Мое воображение не имеет границ, представить я могу что угодно. Достань мне кредит.

— У него связи по всему Капитолию. Он знает если не всех, то по крайней мере главных. А деньги его вложены в акции некой корпорации, которая владеет неким банком, который владеет некой промышленностью, которая владеет половиной этой проклятой планетки.

— Другими словами, — подытожил Герман, — он состоит на службе у себя самого.

— Вроде того. Но, видишь ли, суть заключается в том, что он отказывается продавать Италию. Ему не нужны деньги. Он может просадить равную всему твоему состоянию сумму в карты и расстаться с противником лучшими друзьями.

Герман скорчил презрительную гримасу:

— Грей, я никогда не сомневался, что ты без труда можешь выставить меня форменным бедняком.

— Я пытаюсь разъяснить, с кем тебе пришлось столкнуться. Этому парню всего двадцать семь лет от роду. Я имею в виду, он очень молод и обладает огромным богатством.

Нет, что-то здесь не сходится.

— Ты вроде упоминал, что он ни разу не пользовался сомеком.

— В этом-то все и дело, Герман. Это действительно так. Можешь мне не верить, но он еще ни разу не ложился в сон.

— Кто же он такой, религиозный фанатик?

— Такое впечатление, что его единственная религия заключается в том, чтобы разорить вас дотла, мистер Нубер, простите за столь откровенное высказывание. Он отказывается продавать. И отказывается объяснять почему. И пока он не принял сомек, он не обязан продавать. Вот так обстоят дела.

— Я где-нибудь перешел ему дорогу? Почему он так упорно пытается изничтожить меня?

— Он велел передать следующее. Цитирую: «Надеюсь, вы не примете это на свой счет».

Герман покачал головой. Он был в ярости и никак не мог понять, откуда в нем такая злость — и на ком бы ее сорвать. Ничего, управа на этого Дуна найдется.

— Помнишь наш телефонный разговор?

— Герман, если с ним что-нибудь случится, первым кандидатом на место подсудимого будешь ты, — предупредил Грей. — Кроме того, этим делу не поможешь. Игра закончится еще до окончания официального расследования. И я уже говорил тебе, такие услуги я не оказываю.

— Оказываешь, оказываешь, все оказывают, — оскалился Герман. — Попробуй хотя бы напугать его. Уколи его побольнее.

Грей пожал плечами:

— Попытаемся. — Он поднялся, собираясь уходить. — Герман, я предлагаю тебе обстряпать пока какое-нибудь небольшое дельце. Сделай немного денег, почувствуй их запах. Познакомься с новыми людьми. Забудь об этой игре. Не сыграешь Италией в этот раз, сыграешь в следующее пробуждение.

Герман не ответил, и Грей тихонько убрался.

В три часа утра Герман, утомленный треволнениями прошедших суток, наконец заснул.

Примерно в половине пятого его разбудил вой сигнализации, установленной в квартире. Он выкарабкался из кровати и, пошатываясь спросонья, заковылял к двери спальни. Сигнализация была включена для проформы — воры предпочитали не трогать людей его класса, да и какой грабитель полезет в квартиру, когда хозяин дома?

Спустя несколько секунд от его беспокойств насчет проникнувших в дом воришек не осталось и следа. Трое мужчин, поджидающие его у двери, сжимали в руках маленькие, продолговатые кожаные мешочки, чем-то туго набитые. И Герман вовсе не горел желанием узнать, что же такое в этих мешочках.

— Кто вы такие?

Незнакомцы ничего не ответили, только двинулись ему навстречу — неторопливо, с ленцой. Он вдруг осознал, что оба выхода из квартиры — и пожарный, и основной — перекрыты. Он попятился обратно в спальню.

Один из мужчин резко махнул рукой, и Герман неожиданно влепился в дверной косяк.

— Не бейте меня, — запричитал он.

Первый мужчина, тот, что был ростом выше остальных, съездил мешочком по плечу Германа. Теперь Герман понял, что в мешочках лежит что-то очень твердое и бьют они больно. Избиение продолжалось, удары становились все сильнее и сильнее, однако ритм их оставался прежним. Герман стоял словно прикованный к месту, не в силах шага

ступить — боль все росла и росла, охватывая все тело. Затем мужчина внезапно переступил с ноги на ногу и с размаху ударил мешочком по ребрам. Грудная клетка Германа громко хрустнула. Дыхание его перешло в хрип, и страшная боль, подобная лапам какого-то великана, начала терзать и выворачивать внутренности.

Боль была невыносимая.

А ведь это было только начало.

— Никаких докторов, никаких госпиталей, ничего не надо. Забудь, — сказал Герман, пытаясь говорить в приказном тоне, хотя вырывающийся из разбитой груди голос не слушался его.

— Герман, — сказал Грей, — у тебя ведь все ребра переломаны.

— Ничего подобного.

— Ты не доктор.

— У меня в распоряжении лучший меддиагностер в городе, и он заявил, что переломов не обнаружено. Уж не знаю, кто эти ублюдки, но действовали они как профессионалы.

Грей вздохнул.

— Зато я знаю, кто эти ублюдки, Герман.

Герман с удивлением посмотрел на Грея. Он дернулся на своем ложе, пытаясь подняться, но резкая боль невидимыми ремнями притянула его обратно к постели.

— Это я нанял их. Они должны были проучить Абнера Дуна.

— О нет, Грей, этого быть не может, — застонал Герман. — Как ему удалось уговорить их?

— Раньше они всегда выполняли контракт. Пару раз они исполняли кое-какие мои поручения. Понятия не имею, чем Дун подкупил их. — Грей выглядел обеспокоенным. — Он обладает большей властью, чем я думал. Им и раньше предлагали деньги — кучи денег, — но они всегда держали

данное слово. И только когда я нанял их попользовать Дуна, они сорвались.

— Интересно, — протянул Герман, — понял ли он, с кем связался?

— Меня больше интересует, — сказал Грей, — понял ли это ты.

Герман закрыл глаза, в душе желая, чтобы Грей подох прямо здесь, на этом месте.

— Забудь об игре. Купишь Италию в следующий раз. Когда-нибудь Дуну придется принять сомек.

Герман продолжал лежать с закрытыми глазами, и Грей удалился.

Дни шли, и силы постепенно возвращались к Герману. Вскоре он смог доковылять до комнаты, где одну из стен занимал огромный дисплей компьютера, на котором медленно вращалась голограмма Европы 1914д. Как бы там Дун ни хвастался, Герман сразу увидел бесчисленные доказательства того, что он ничего не понимает в Международных Играх. Он даже не умел учиться на собственных ошибках. Вслед за оккупацией Гвианы последовало бессмысленное нападение на Афганистан, который давным-давно подчинился Италии. Но теперь страна вышла из-под контроля и присоединилась к коалиции бывших сторонников Италии. В конце концов Герман устал от бесполезной злобы — теперь он мрачно наблюдал за тем, как позиция Италии ухудшается день ото дня.

Противники Италии были не так уж сильны. Их еще можно было разгромить — если б игра перешла в руки Германа.

Но когда в Англии вспыхнула революция, Герман снова начал бесноваться от бессилия.

С самого начала игры Герман установил в Итальянской Империи подобие мягкой диктатуры, позволяющей местную автономию. Таким образом, народы не чувствовали себя

угнетенными. Революции были изначально обречены на провал. Всякое восстание жестоко подавлялось, тогда как территории, отказавшиеся бунтовать, щедро награждались. Прошли годы с тех пор, как Герман перестал беспокоиться за положение внутри Италии.

И только когда в Англии началась революция, Герман обратил внимание на деятельность Дуна во внутренних делах империи. Дун издал целый ряд бессмысленных законов и обложил население большими налогами, резко обозначив грань между богатыми и бедными, сильными и слабыми. Мало того, он начал проводить политику угнетения национальных меньшинств, заставляя все без исключения народы учить итальянский, в результате чего компьютер выдал неизбежную картину — народное негодование, мелкие бунты и, наконец, революция.

Что делает этот Дун? Он же не может не видеть, к чему приводят его действия. Наверняка он понимает, что делает что-то не так. Любой другой человек давно бы уяснил, что эта игра не его класса, и продал Италию, пока не поздно. Наверняка...

— Грей, — произнес Герман, набрав номер, — этот Дун... Он умственно отсталый?

— Если и так, то это наиболее охраняемая тайна на всем Капитолии.

— Он таких глупостей наделал, я глазам своим не верю. Такое впечатление, что он полный дурак. Он *все* делает неправильно. Все делает наоборот, будто назло. Это вообще обычная манера его поведения?

— Дун из пустоты умудрился создать гигантскую финансовую империю. На Капитолии с ним никто не сравнится, а ведь он достиг совершеннолетия всего одиннадцать лет назад, — ответил Грей. — То, что он творит с Италией, для него абсолютно нехарактерно.

— А это означает, что либо он ведет игру не сам, либо...

— Нет, играет он сам, это закон, и компьютер подтверждает его выполнение...

— Либо он намеренно ведет игру к проигрышу.

Даже по телефону было слышно, как Грей пожал плечами.

— Но зачем ему это?

— Я хочу встретиться с ним.

— Он не согласится.

— На нейтральной территории, там, где никто из нас не сможет продемонстрировать свою силу.

— Герман, ты не знаешь этого человека. Если ты не контролируешь эту территорию, значит, ее контролирует он — или будет контролировать к тому времени, как встреча состоится. Нейтральной территории быть не может.

— Я хочу встретиться с ним, Грей. Хочу выяснить, что он творит с моей империей.

И Герман вернулся к дисплею смотреть, как революция в Англии выжигается каленым железом. Каленым-то каленым, но не до конца. Компьютер показывал, что по Уэльсу и Шотландии до сих пор бродят вооруженные отряды восставших, а в Лондоне, Манчестере и Ливерпуле заседают подпольщики. Дун, должно быть, тоже это видел. Но решил не обращать внимания. Проигнорировал он и то, что в Германии набирает силу еще одно революционное движение, что разбойники грабят фермеров в Месопотамии, а в Сибирь проникает Китай.

Осел.

Ткань умело сотканной империи начала расползаться.

Телефон послал тихий зуммер во встроенный в подушку гибкий динамик, и Герман проснулся. Не открывая глаз, он буркнул в наволочку:

— Я сплю, пошли все к черту.

— Это Грей.

— Ты уволен, Грей.

— Дун говорит, что согласен встретиться с тобой.

— Пускай мой секретарь назначит встречу.

— А кроме того, он говорит, что встретится с тобой только в том случае, если в течение тридцати минут ты прибудешь на станцию В24б.

— Но это же в другом секторе, — завопил Герман.

— Что ж, видно, он не хочет облегчать тебе жизнь.

Герман застонал, выбрался из постели, нацепил костюм не первой свежести, вывалился из квартиры и помчался по коридорам. Было раннее утро, и в это время суток коммуникационные трубы функционировали с перебоями, но Герман таки успел на подземку. Он запрыгнул в трубу и с пересадками добрался до станции В24б. Народу здесь было куда меньше, чем в секторе, где жил Герман. На платформе его поджидал молодой человек, ростом чуть выше Германа. Он был один.

— Дун? — уточнил Герман.

— Дедушка? — ответил юноша. Герман непонимающе посмотрел на него. «Дедушка?»

— Этого не может быть.

— Абнер Дун, молоденький жеребенок, родившийся от племенной кобылы Сильвайи, дочери Германа Нубера и Бернисс Хамбол. Замечательное потомство, не правда ли?

Герман не верил своим ушам. После долгих лет холостой жизни он вдруг открыл, что этот юный изверг — его родственник...

— Проклятие, парень, у меня нет семьи. Ты что, вздумал отомстить мне за развод, который состоялся сотню лет назад? Я хорошо заплатил твоей бабке. Если, конечно, ты говоришь правду.

Но Дун только улыбнулся в ответ:

— Вообще-то, дедушка, мне глубоко наплевать как на твою личную жизнь, так и на ваши отношения с моей бабкой. Я ее несколько недолюбливаю, и мы не виделись уже много лет. Она утверждает, что я слишком похож на тебя.

Поэтому когда она выходит из сомека, то даже не пытается меня навестить. А я хожу к ней в гости, чтобы ее позлить.

— Да, в этом деле ты большой специалист.

— Ты нашел давно потерянного внука и сразу пытаешься внести разброд в дружные ряды семьи. Фи, как это отвратительно, провоцировать семейные раздоры!

Дун отвернулся и зашагал прочь. Поскольку об игре они даже словом не перемолвились, у Германа не оставалось выбора, кроме как броситься вдогонку.

— Послушай, мальчик мой, — произнес Герман, подобно собачке семеня за быстро идущим юношей. — Я никак не могу понять, что ты собираешься сотворить с моей игрой. В деньгах ты явно не нуждаешься. Ставки тебя не интересуют, да при такой игре ты ничего и не выиграешь...

Оглянувшись через плечо, Дун улыбнулся, но шаг не сбавил.

— Скорее, это зависит от того, на что я ставлю.

— Ты хочешь сказать, что поставил на свой проигрыш? Все равно большой прибыли ты не получишь.

— Посмотрим, дедушка. Дело в том, что у меня в руках находятся ставки, сделанные много месяцев назад. А деньги были поставлены на то, что Италия будет уничтожена и бесследно сгинет с лица Европы 1914д в течение двух месяцев со дня твоего пробуждения.

— Бесследно сгинет! — расхохотался Герман. — И не надейся, юноша, я слишком хорошо строил. Даже такой идиот, как ты, не сумеет разрушить построенное мной.

Дун дотронулся до двери, и она скользнула в сторону.

— Заходи, дед.

— Ага, сейчас. Ты что, за дурака меня принимаешь?

— Вообще-то нет, — сказал Дун и оглянулся. Герман также бросил взгляд назад и увидел двух мужчин, возникших позади.

— А эти-то откуда взялись? — тупо спросил Герман.

— Это мои друзья. Они пришли побыть с нами. Я люблю, когда меня окружают друзья.

Вслед за Дуном Герман прошел в квартиру.

Обстановка была весьма невзрачной, сугубо деловой, по простоте эта квартирка смахивала на жилище человека среднего класса. Однако стены были отделаны настоящим деревом — Герман сразу это заметил, — а модель компьютера, полностью занимающего маленькую переднюю, была самой дорогой и самой современной, которую только можно было достать.

— Послушай, дед, — сказал Дун, — ты можешь думать, что хочешь, но я привел тебя сюда потому, что еще питаю к тебе какие-то чувства — несмотря на то что ты показал себя бездарным отцом и ужасным дедом — и не хочу, чтобы ты ненавидел меня.

— Ничего у тебя не выйдет, — ответил Герман. Двое амбалов по-идиотски скалились на него.

— Очевидно, ты несколько поотстал от того, что сейчас творится в мире, — предположил Дун.

— Того, что я знаю, мне хватает.

— Ты положил жизнь и силы на возведение империи в каком-то нереальном мирке, который существует только в компьютере.

— Господи, сынок, ты мне что, проповедуешь?

— Мать всегда хотела, чтобы я стал священником, — вспомнил Дун. — Ей ужасно не хватало отца — то есть тебя, — поэтому она пыталась сотворить себе отца духовного, который бы никогда не оставил ее. Как это ни печально, дед, но в конце концов она обрела приемного отца в лице Господа.

— Черт, а я-то думал, что дочке перейдет хоть толика моего здравого смысла, — раздраженно проговорил Герман.

— Ты и так передал ей куда больше, чем думаешь.

На голоэкране возникла Европа 1914д. Преобладающим цветом на карте был розовый, итальянский.

— Она прекрасна, — прошептал Дун, и Герман очень удивился тому искреннему восхищению, что прозвучало в голосе юноши.

— Как мило, что ты наконец это осознал, — ответил Герман.

— Только ты мог построить ее.

— Я знаю.

— Как ты думаешь, сколько времени уйдет на то, чтобы уничтожить ее?

Герман рассмеялся:

— Ты что, не знаешь истории, сынок? Рим как республика кончился за пятнадцать столетий до того, как исчезли последние останки этой великой империи. Власть Англии начала ослабевать начиная с семнадцатого века, но никто этого даже не замечал, поскольку она обладала огромными землями. Таким образом, она оставалась независимой страной еще четыре сотни лет. Разрушение империй — процесс длительный.

— А что ты скажешь об империи, которая падет за неделю?

— Значит, это не империя вовсе.

— А как насчет твоей империи, дедушка?

— Прекрати называть меня так.

— Ты хорошо ее построил?

Герман яростно воззрился на Дуна:

— Лучше не строил никто и никогда.

— Но как же Наполеон?

— Его империя кончилась вместе с ним.

— И ты думаешь, твоя переживет тебя?

— Даже полный дурак способен поддерживать ее существование.

— Но мы-то говорим не о полном дураке, дед, — усмехнулся Дун. — Мы говорим о твоем собственном внуке, который обладает теми же дарованиями, что и ты, только в превосходной мере.

Герман поднялся:

— Наша встреча бессмысленна. У меня нет семьи. Я отрекся от дочери, потому что она была не нужна мне. Я не знаю и знать не хочу ни ее, ни ее детей. Через несколько месяцев я снова приму сомек, а когда проснусь, то выкуплю Италию, во что бы ты ее ни превратил, и отстрою ее заново.

— Но, Герман, если страна исчезает с карты, в игру ее не вернешь. Когда я закончу с Италией, от нее останется лишь запись в компьютере, и ты уже не сможешь купить ее.

— Послушай, мальчик мой, — холодно процедил Герман, — ты что, намерен силой удерживать меня здесь?

— Кажется, это ты просил меня о встрече, а не я тебя.

— И очень сожалею об этом.

— Семь дней, дедушка, и Италия будет стерта с карты мира.

— В такой срок это неосуществимо.

— Вообще-то я планирую завершить работу через четыре дня, просто учитываю возможность всяких непредвиденных обстоятельств.

— Из всех преступников самые отвратительные те, кто воспринимает красоту исключительно как объект разрушения.

— Пока, дед.

Дойдя до двери, Герман все-таки не выдержал. Обернувшись, он взмолился:

— Ну, зачем тебе это? Почему ты не хочешь оставить все как есть?

— Красота относительна.

— Ты что, не можешь подождать следующего раза? Почему ты не хочешь отдать мне Италию?

Но Дун лишь ухмыльнулся в ответ:

— Дедушка, я знаю, как ты играешь. Если ты получишь сейчас Италию, ты захватишь весь мир — или я тебя совсем не знаю. И игра закончится.

— Разумеется.

— Вот поэтому-то я и должен уничтожить Италию — пока это в моих силах.

— Но почему именно Италию? Почему ты не стремишься разрушить какую-нибудь другую империю?

— Все потому, дед, что расправа со слабым противником, как правило, не приносит удовлетворения.

Герман вышел, и дверь за ним тихонько скользнула на место. Он добрел до трубокоммуникаций, и вскоре труба доставила его на родную станцию. Дома, посреди комнаты, по-прежнему висела голограмма земного шара, и по-прежнему преобладающим цветом был розовый. Герман остановился и обвел взглядом картину. Он уже собирался было снова лечь в постель, как вдруг прямо у него на глазах огромная часть Сибири изменила цвет. Он больше не злился на глупости Дуна. Мальчишка пытается рассчитаться с ним за нелегкое детство, за ту религию, которой его пичкали в юности — во всем этом он винит своего деда. Но каким бы талантом мальчишка ни обладал, он в принципе не успеет расправиться с Италией. Компьютер строго придерживается реального хода времени. Как только до воссозданных компьютером итальянцев дойдет, что творит персонаж Дуна, диктатор, вступят в действие вековечные законы взаимодействия правительства и населения, а это ничто не пересилит. Ему придется продавать, и тогда Герман выкупит страну обратно. И быстро исправит нанесенный ущерб.

Англия снова восстала, и Герман отправился спать.

Проснулся он от какого-то странного удушья и с удивлением обнаружил, что плакал во сне. Почему? Но тщетно, как он ни пытался припомнить, что же ему приснилось, сон упорно ускользал от щупальцев мозга. Он помнил только то, что каким-то образом сновидение было связано с его бывшей женой.

Он подошел к компьютеру и выключился из игры. Бернисс Хамбол. Компьютер вызвал на дисплей фотографии, и

Герман начал просматривать их, отмечая, как менялась жена день ото дня. Тогда она была прекрасна, и компьютер пробудил старые воспоминания.

Бракосочетание было каким-то целомудренным и чрезвычайно простым — возможно, уже тогда религия пустила корни в Бернисс, чтобы позднее пышным цветком распуститься в ее дочери.

В свадебную ночь они впервые разделили ложе, Герман даже рассмеялся, вспомнив, как это было — Бернисс, такая мудрая и искушенная жизнью девушка, превратилась вдруг в маленькую девочку, признавшись мужу в своей неопытности в делах подобного рода. Нежно и осторожно Герман провел ее через таинства любви. Когда все закончилось, она спросила его:

— И это все?

— Спустя какое-то время ты научишься получать удовольствие, — ответил он, более чем уязвленный тоном ее вопроса.

— Ну, это не так ужасно, как мне казалось, — сказала она. — Повтори-ка то же самое еще разок.

Они все делили пополам. Все-все, кроме игры. А тогда Италия переживала нелегкие времена. Он начал ложиться в постель все позже и позже, стал меньше общаться с ней — он не мог говорить ни о чем, кроме как об Италии, да о внутренних проблемах этого маленького, но изумительного мирка.

Когда они развелись, никого другого у нее не было. Чтобы удовлетворить внезапный приступ любопытства, он заглянул в социологический банк данных. Он совсем не удивился, когда компьютер сообщил, что она так больше и не вышла замуж, хотя вернула себе девичью фамилию.

Неужели в их совместной жизни было что-то настолько примечательное, что она так и не смогла выйти замуж во второй раз? А может быть, причина заключалась в том, что в своей жизни она могла довериться только одному мужчи-

не, но, доверившись, вскоре поняла, что супружество отнюдь не ее идеал — тем более что секс ее мало интересовал. Ее боль отравила дочь; боль дочери передалась Дуну. «Бедный мальчик, — подумал Герман. — Вот что значит грехи отцов». Однако, как это ни печально, развод был неизбежен. Чтобы удержать жену, Герману пришлось бы пожертвовать игрой. А ведь в мировой истории не было ни одного примера — реального ли, выдуманного — той красоты, что воплотила в себе его Италия. По ней писались диссертации, а студенты, изучающие альтернативную историю, отзывались о нем, как о величайшем игроке всех времен. «Достойный соперник Наполеону, Юлию и Августу». Он прекрасно помнил эту цитату, как и слова одного профессора, который буквально на коленях умолял его о встрече, пока тщеславие Германа наконец не взыграло и он не согласился. «Герман Нубер, никакая Америка, никакая Англия, ни даже Византия не сравнятся с вашей Италией. Она образец стабильного развития, искусного управления и мощи». Это была наивысшая хвала, тем более что слетела она с уст человека, который всю жизнь посвятил изучению истории настоящей Европы и который, как и всякий подлинный исследователь, с фанатичным шовинизмом относился к изучаемой эре.

Дун. Абнер Дун. Что случится с пареньком, когда он наконец поймет, что дедов дар творца нерушим и вечен?

Герман встрепенулся. Оказалось, он задремал у компьютера. Ему снилось примирение. Абнер Дун обнимал его и говорил: «Дед, ты строишь чересчур хорошо. Ты строишь на века. Прости мое неверие».

Даже во сне — это Герман понял, когда проснулся — его неотступно преследовала мечта о покорении всех и вся. На дисплее крутилась голограмма Бернисс. Он стер ее и загрузил Италию.

На империю обрушился мощный шквал революций. Революция бушевала даже на родных землях, на Итальянском

полуострове. Герман вытаращился на карту, не веря своим глазам. Прошла лишь ночь, а в стране вовсю кипят неизвестно откуда взявшиеся революционные страсти.

Такого в истории никогда не было. Неужели компьютер свихнулся? Наверное, произошел какой-то сбой. Практически все империи когда-нибудь да имели дело с восстаниями, но таких размеров ни одно восстание не достигало — это была всеобъемлющая, всемирная революция. Даже армия ударилась в мятеж. Противники Италии не преминули воспользоваться ситуацией и, как стервятники, накинулись на страну, терзая ее со всех сторон.

— Грей! — заорал Герман в телефон. — Грей, ты видел, что он сотворил?

— Да, но что я могу поделать? — с гадкой гримасой осведомился Грей. — Мои служащие, те из них, кто играет, все утро только и делают, что обсуждают Италию.

— Как это у него получилось?

— Послушай, Герман, по-моему, игры — это твоя прерогатива. Я даже правил не знаю. Кроме того, у меня уйма работы. Ты встретился с ним?

— Да.

— Ну и?

— Он мой внук.

— А я все гадал, скажет или нет.

— Так ты знал?

— Само собой, — ответил Грей. — Мало того, я добыл его психологическую карту. Неужели ты думаешь, что я позволил бы тебе встречаться с ним один-на-один, если б не был уверен, что он пальцем тебя не тронет?

— Пальцем не тронет? А как насчет тех ходячих свай, которые по его приказу сделали из меня котлету на прошлой неделе?

— Как аукнется, так и откликнется, Герман, не более того. Он умеет платить той же монетой.

— Ты уволен! — выкрикнул Герман, ударив кулаком по пульту и разъединив линию. С мрачным выражением лица он принялся наблюдать, как остатки преданной Италии армии тщетно пытаются справиться с мятежом и вражеским наступлением одновременно. Но это было невозможно, и к трем часам дня от розового полотна, затягивавшего земной шар, остались жалкие ошметки — Галлия, Иберия, сама Италия, плюс клочок земли на территории Польши.

Компьютер сообщил, что персонаж Дуна, диктатор Италии, бежал, и убийцы не успели привести в действие смертный приговор. А когда под натиском армий Нигерии и Америки пал сам Рим, Герман понял, что разгром неизбежен. Еще вчера невозможен, а сегодня уже неизбежен.

И все-таки он боролся с отчаянием. Он даже послал срочное сообщение Грею, позабыв, что утром лично уволил его. Грей как всегда был сама почтительность.

— Предложи выкупить Италию, — сказал Герман.

— Сейчас? Да от страны остались одни развалины.

— Может быть, у меня еще получится восстановить ее. Это все еще в моих силах. Он доказал свою правоту.

— Я попытаюсь, — согласился Грей.

Ближе к ночи на карте не осталось и следа розового цвета. Компьютер, непоколебимо следующий законам общественного развития, не оставил Италии ни одного шанса на возрождение. В сводке текущих сообщений появились следующие строки: «Иран: приобрел независимость. Италия: вышла из игры. Япония: вступила в войну с Китаем и Индией за правообладание Сибирью...» И никакого тебе сочувствия. Ничего. Италия: вышла из игры.

Герман хмуро прогнал всю доступную информацию, которую только смог найти в компьютере. Каким образом Дун провернул эту авантюру? Это же невозможно. Однако, проведя за дисплеем долгие часы, внимательнейшим образом отсеивая поступающие сведения, Герман наконец разглядел те бесчисленные шестерни, что Дун привел в движение.

Он то давил мятежи, то провоцировал их, то жестоко расправлялся с ними, то улещивал бунтовщиков, вот почему разразившаяся в конце концов революция охватила всю империю; вот почему, когда окончательный разгром Италии стал явью, не осталось на карте даже кусочка этой в прошлом мощной державы. Дун умел управляться с ненавистью куда лучше компьютера; никакой создатель даже рассчитывать не мог, что его творению придется когда-нибудь столкнуться с подобной разрушительной силой. И несмотря на всю горечь, которую он испытывал, глядя на разрушенную империю, Герман все же отдавал должное тому величию, с которым Дун расправился с Италией. Только это было сатанинское величие, царственное право уничтожать.

— И предстал славный охотник перед Господом, — произнес Дун. Крутанувшись на месте, Герман обнаружил, что Абнер стоит прямо у него за спиной.

— Как ты проник сюда? — вырвалось у Германа.

— У меня есть кое-какие связи, — улыбнулся Дун. — Я знал, что сам ты меня не впустишь, а мне надо было увидеть тебя.

— Ну вот, ты и увидел, — сказал Герман и отвернулся.

— Все произошло гораздо быстрее, чем я думал.

— Слава Богу, хоть что-то способно удивить тебя.

Дун продолжал что-то говорить, но как раз в эту секунду Герман, проведший последние дни в крайнем напряжении, сломался. Он не заплакал, нет, просто что было сил вцепился в панель компьютера и отказывался отпускать ее, будто боялся, что, если руки разожмутся, центробежная сила вращения Капитолия выкинет его в открытый космос.

Дун сделал анонимный звонок, вызвав Грея и двух докторов. Доктора отцепили пальцы Германа от панели и уложили его в кровать. Вручив Грею капсулу со снотворным и снабдив некоторыми инструкциями, они удалились. Обыкновенный нервный срыв, только и всего — слишком много

потрясений для одного дня. Проснувшись, он будет чувствовать себя гораздо лучше.

Проснувшись, Герман действительно почувствовал себя лучше. Он крепко проспал всю ночь и даже не помнил, чтобы ему что-то снилось — снотворное исправно делало свое дело. Искусственное солнце вовсю светило в дорогое псевдоокно, которое, казалось, выходило на пригороды Флоренции, хотя, конечно, с другой стороны стены находилась еще одна такая же квартира и никакой Флоренции там не было. Герман посмотрел на солнечные лучи и подумал: «Интересно, насколько эта иллюзия реальна?» Он родился на Капитолии и понятия не имел, как выглядит настоящий солнечный свет, струящийся в окна.

В кресле, залитом ослепительным светом, сидел Абнер Дун. Он спал. При виде него Герман вновь ощутил пробуждение былой ярости — однако сдержался. После снотворного он стал более спокойно реагировать на окружающее. Он наблюдал за спящим внуком и думал, как, должно быть, глубока та ненависть, что кроется за этим челом.

Дун проснулся. Он поднял глаза на деда, увидел, что тот проснулся, и мягко улыбнулся. Но ничего не сказал. Просто встал и подтащил кресло поближе к кровати Германа. Герман молча следил за его действиями и гадал, что же сейчас произойдет. Но успокоительное продолжало твердить: «Что бы там ни произошло, мне плевать», и Герману действительно было плевать.

— Все, Италия погибла? — тихо спросил он.

Дун заулыбался еще шире.

— Ты так молод, — сказал Дун. А затем, абсолютно неожиданно, так что Герман не успел даже отстраниться (да и наркотик мешал ему сопротивляться), юноша вытянул руку и легонько коснулся лба Германа. Сухими пальцами Дун провел по незаметным морщинкам, которые только начали появляться. — Ты так молод.

Неужели?! Хоть он и не любил вспоминать о годах, Герман попытался подсчитать, сколько уже прожил. Впервые он принял сомек — что, семьдесят лет назад? В среднем один год он проводил на поверхности и четыре Спал, это означало, что с тех пор, как он впервые принял наркотик, этот дар вечной жизни, для него минуло всего семнадцать лет субъективного времени. Семнадцать лет. И все они были посвящены Италии. Но все же...

Семнадцать лет — это еще не вся жизнь. Субъективно, сейчас ему даже сорока нет. Субъективно, он может начать снова. У него в запасе долгие года субъективного времени — он вполне успеет возвести империю, которую даже Дун не сломит.

— Но ведь ничего не получится, да? — невольно спросил Герман, как бы продолжая собственные мысли.

Но Дун понял его.

— Я научился всему, что тебе известно о строительстве, — сказал он. — Но, дед, тебе никогда не понять то, что я узнал о разрушении.

Герман бледно улыбнулся — успокоительное еще действовало, и улыбнуться по-другому он просто не мог.

— Да, эту область я обходил стороной.

— Результат всегда один и тот же. Как бы ты ни строил, как бы ни была прекрасна страна, построенная тобой, рано или поздно, с моей помощью или без нее, она *все равно* падет. Но уничтожь ее тщательно, продуманно, не упуская самой малейшей детали, и руины навсегда останутся руинами. Никогда ей не восстать из пепла.

Благодаря наркотику ярость и ненависть Германа обратились в жалость и мягкую печаль. Когда он мигнул, с ресницы скатилась слеза.

— Италия была прекрасна, — сказал он.

Дун кивнул.

Когда слезы начали ручейками стекать на подушку, Герман сквозь всхлипы выдавил:

— Зачем это было тебе?

— Я практиковался.

— Практиковался?

— Я намереваюсь спасти человечество.

Успокоительное не помешало Герману улыбнуться такому объяснению.

— Да, неплохая тренировочка вышла. И что же ты теперь собираешься уничтожить, после Италии-то?

Дун ничего не ответил. Он подошел к окну и выглянул наружу.

— Знаешь, что сейчас происходит за твоим окном?

— Нет, — промямлил Герман.

— Крестьяне давят оливки. Везут продукты во Флоренцию. Неплохой пейзаж, дед. Весьма пасторальный.

— Там у них весна? Или осень?

— Кто знает? — спросил в ответ Дун. — Мало осталось людей, которые бы помнили такие подробности. Всем остальным нет никакого дела до этого. Каждая планета Империи может по желанию устанавливать себе время года, а на Капитолии вообще нет ни лета, ни зимы, ни осени, ни весны. Мы покорили Вселенную. Империя могущественна, и даже жалкие нападки врагов — не более чем комариные укусы для нас.

Слово «комар» ничего не значило для Германа, но он был слишком слаб, чтобы спрашивать.

— Дедушка, понимаешь, Империя стабильна. Может быть, она не так совершенна, как Италия, но она сильна и стабильна. Кроме того, у нее в распоряжении имеется сомек, который дает элите общества возможность прожить десятки веков. А теперь скажи, способна ли Империя рухнуть?

Герман напряг непослушные мозги. Он никогда не думал об Империи, как о каком-то государстве, подобном тем, которые существовали в Международных Играх. Империя...

она просто есть. Это реальность. Ничто не сможет повредить ей.

— Ничто не сможет повредить Империи, — сказал Герман.

— Я смогу, — возразил Дун.

— Ты безумец, — ответил Герман.

— Возможно, — кивнул Дун. На этом разговор оборвался, поскольку лекарства решили, что Герману пора спать. Он заснул.

— Я хочу повидаться с Дуном, — сказал Герман.

— А мне казалось, — осторожно ответил Грей, — что за последний месяц ты уже по горло на него насмотрелся.

— Я хочу повидаться с ним.

— Герман, это становится идеей фикс. Доктора говорят, что я ни в коем случае не должен расстраивать тебя. Если ты продержишься еще несколько месяцев, мы положим тебя в сон, и я снова буду оперировать всего лишь пятьюдесятью процентами твоих средств.

— Мне не нравится, что меня считают сумасшедшим.

— Это вынужденные меры. Тебе здесь лучше, спокойнее.

— Грей, я всего-то пытался предупредить...

— Не начинай все снова. Доктора прослушивают эту линию. Герман, Империю не интересуют твои жалкие теории насчет Дуна...

— Он сам мне сказал!

— Абнер Дун уничтожил Италию. Это выглядело мерзко, он поступил зло, бессмысленно, но все шло согласно правилам. Ты же внушил себе, будто теперь он собирается уничтожить всю Империю...

— Это правда! — взревел Герман.

— Герман, доктора приказали мне называть это внушением. Чтобы помочь тебе вновь обрести чувство реальности.

— Он собирается разрушить Империю! И он может это сделать!

— Герман, от твоих речей попахивает бунтом. Веди себя нормально, тогда мы сможем потребовать твоего освобождения, и тебя признают вменяемым. Но если и в здравом уме ты будешь вести такие речи, тебя ожидает скорая встреча с Маменькиными Сынками.

— Грей, безумец я или нет, я хочу поговорить с Дуном!

— Герман, кончай. Забудь об этом. Это была всего лишь игра. Этот человек твой внук. Он затаил на тебя обиду и отплатил, как мог. Не позволяй фантазиям захватить тебя.

— Грей, передай докторам, что я хочу встретиться с Дуном!

Грей вздохнул:

— Хорошо, я передам, но на одном условии.

— На каком?

— Если они все-таки разрешат тебе встретиться с ним, о повторной встрече ты просить не будешь.

— Обещаю. Мне нужно увидеться с ним всего один раз.

— Я сделаю все возможное.

Грей отключился. Герман отошел от телефона. По аппарату он мог связаться только с офисом Грея. Звонить куда-либо еще ему не позволялось. Дверь была заперта снаружи. А доступ его компьютера к Международным Играм был аннулирован.

Прошел всего час, когда позвонил Грей.

— Ну? — взволнованно спросил Герман.

— Они согласны.

— Так соедини меня с ним, — рявкнул Герман.

— Я пробовал. Это невозможно.

— Как это невозможно?! Он придет на встречу! Я в этом уверен!

— Он принял сомек, Герман. Лег в сон спустя несколько дней после того, как уничтожил... в общем, сразу после игры. Его не будет три года.

Всхлипнув, Герман отсоединился.

* * *

Потребовалось пять лет тщательного лечения и ухода — целых пять лет без сомека, — прежде чем Герман наконец признал, что его боязнь Дуна ненормальна и что на самом деле Дун никогда не говорил об уничтожении Империи. Вообще-то Герман давным-давно сделал это признание, стоило ему понять, чего именно хотят от него доктора. Но машины ему обмануть не удалось. И только когда сами приборы доложили лечащим врачам, что Герман не лжет и не притворяется, невропатологи в конце концов объявили об успешном исходе лечения, и служащие Грея (сам Грей в то время был под сомеком) возвратили Герману право распоряжаться собственным имуществом. Герман сразу отписал его обратно и принял сомек, надеясь нагнать годы сна, которые упустил, пока доктора лечили его от безумных иллюзий.

Минуло целое столетие, прежде чем совпало время пробуждения Дуна и Германа. Сначала Герман даже не пытался отыскать Дуна — лечение отбило у него всякий интерес к внуку. Воспоминания о том случае, который в корне изменил его жизнь, больше не вызывали у него ни страха, ни ярости. Но постепенно он вновь начал интересоваться прошлым и поднял на свет записи знаменитой игры. По ее материалам было написано множество книг — история взлета и падения Италии Нубера рассматривалась по меньшей мере двумя тысячами ученых. Подойдя к структуре игры с философской точки зрения, он сумел заново воспроизвести разрушение Италии. Тогда-то и проснулось в нем давнее желание повидаться с противником и внуком. После игры они ведь так и не встречались — доктора заставили Германа искренне поверить в это.

Но когда Герман попытался выяснить в Сонных Залах график пробуждений Абнера Дуна, ему сообщили, что это государственная тайна. Такая секретность могла означать только одно: Дун Спал больше десяти лет, что было офици-

альным максимумом, а в бодрствующем состоянии проводил меньше двух месяцев, что являлось официальным минимумом. Это означало, что он обладал такой властью, которая даже не снилась остальным правительственным чиновникам. И это только усилило желание Германа встретиться с ним.

Когда ему исполнилось семьдесят лет, его мечта наконец осуществилась. Прошли столетия, в историю Империи вписывались новые главы, а Герман внимательно отслеживал все происходящее. Он одолел все исторические труды, доступные компьютеру — причем интересовала его не только Империя. Он сам не знал, что ищет, зато был абсолютно уверен, что искомого так и не нашел. И вдруг в один прекрасный день на его запрос в Сонные Залы пришел ответ, что Абнер Дун проснулся. Ему не сообщили, сколько Дун проведет наверху и когда он собирается снова принять сомек, да его это и не интересовало. Герман заслал Дуну записку, и, к его великому удивлению, Дун ответил, что встретится с ним. Не только встретится, но лично навестит.

Потянулись долгие, мучительные часы. Герман никак не мог понять, почему же ему так хочется повидаться с Дуном. Отеческие чувства здесь ни при чем, решил Герман. Семья ничего для него не значила. Это было желание великого игрока поближе познакомиться с человеком, который разгромил его, вот и все. Наполеон, к примеру, незадолго до смерти изъявлял желание поговорить с Веллингтоном. Гитлера съедала безумная мечта увидеться с Рузвельтом. А Юлий Цезарь, истекая кровью, жаждал побеседовать с Брутом.

Что кроется в уме человека, уничтожившего тебя? Этот вопрос грыз Германа долгие годы, и вот теперь он гадал, узнает ли он заветный ответ. Кроме того, это ведь последний его шанс. Пять лет усиленной терапии дорого стоили Герману, и он чувствовал — такое чувство предвидения доступно некоторым, — что смерть ждет за углом. Сомек лишь

откладывал ее на время, но подлинное бессмертие он подарить не мог.

— Дедушка, — раздался мягкий голос, и Герман резко проснулся. Он что, задремал? Не важно. Перед ним стоял невысокий, склонный к полноте мужчина, в котором он узнал своего внука. Он поразился, насколько тот молод. Ничуть не постарел с тех пор, как они скрестили мечи, а ведь это случилось много-много лет назад.

— Мой легендарный противник, — промолвил Герман, протягивая руку.

Дун в ответ протянул свою, но вместо пожатия лишь провел пальцами по коже Германа.

— Даже сомек не вечен, да? — спросил он, и печаль в его глазах поведала Герману, что не он один понимает: за обещанием вечной жизни, дарованным сомеком, на самом деле таится та же смерть.

— Зачем ты хотел увидеться со мной? — спросил Дун.

Тяжелые, необъяснимые слезы медленно покатились из стареющих глаз Германа.

— Не знаю, — ответил он. — Я просто хотел узнать, как у тебя дела.

— Все хорошо, — произнес Дун. — За последние несколько веков мой департамент колонизировал дюжины миров. Враг бежит — мы намного превосходим его численностью, и ему не совладать с нами. Империя разрастается.

— Я так рад. Рад, что Империя растет. Возводить империи — это замечательно. — Вдруг без всякой связи он добавил: — А я ведь тоже как-то раз построил империю.

— Знаю, — кивнул Дун. — А я ее разрушил.

— Да-да, — вспомнил Герман. — Вот зачем я хотел повидаться с тобой.

Дун кивнул в ожидании вопроса.

— Я вот все думал... Я хотел знать, почему ты избрал именно меня. Почему решил сделать это. Может, ты уже объяснял это мне, но я не помню. Память не та, что прежде.

Дун улыбнулся и взял руку старика.

— Человеческая память несовершенна, дедушка. Я избрал тебя, потому что ты был самым великим из всех. Избрал потому, что ты был самой высокой горой, которую я мог покорить.

— Но зачем... почему ты все разрушил? Почему не построил другую империю, раз хотел посоперничать со мной?

«Вот он вопрос. Да, тот самый вопрос, который я мечтал задать», — решил Герман. Он почувствовал удовлетворение — хотя одновременно в нем зародилось непонятное сомнение. Разве он уже не разговаривал с Дуном на эту тему? Разве Дун не ответил ему тогда? Нет. Такого не было.

Взгляд Дуна стал каким-то отстраненным:

— А ты сам не знаешь ответа?

— О, — рассмеялся Герман. — Видишь ли, был у меня в жизни такой момент — в общем, я полностью свихнулся и утверждал, будто ты намереваешься разрушить Империю. Но меня вылечили.

Дун опечаленно кивнул.

— Но сейчас мне гораздо лучше, и я хочу знать. Просто хочу знать.

— Я уничтожил... я напал на твою империю, дед, потому что она была слишком прекрасна, чтобы существовать. Если б тебе удалось захватить мир, ты бы выиграл, игра бы закончилась, а что потом? Прошло бы несколько лет, и ее бы все забыли. А теперь ее будут помнить вечно.

— Забавно как, — протянул Герман, потеряв мысль задолго до того, как Дун закончил говорить. — Величайший творец и величайший разрушитель произошли из одного источника — дед и внук. Забавно, да?

— Наследственность, — пошутил Дун.

— Я горжусь тобой, — произнес Герман, действительно веря в это. — Я рад, что если и нашелся во Вселенной человек, который смог победить меня, так это была кровь от моей крови. Плоть от моей...

— Плоти, — закончил за него Дун. — Так ты начал верить в Бога?

— Я не помню, — сказал Герман. — Что-то стало с моей памятью, Абнер Дун, я ни в чем теперь не уверен. А раньше я верил в Бога? Или это был кто-то другой?

Глаза Дуна наполнились тоской. Он шагнул к сидящему в мягком кресле старику, встал на колени и обнял его.

— Прости меня, пожалуйста, — проговорил он. — Я понятия не имел, чего это будет тебе стоить. Даже не подозревал.

В ответ Герман лишь рассмеялся:

— Да ладно, в то пробуждение я ставок не делал. Так что денежки все целы и невредимы остались.

Но Дун лишь крепче прижал его к себе и повторил:

— Прости меня, дедушка.

— А, ерунда, проиграл так проиграл, — ответил Герман. — В конце концов, это ж всего лишь игра.

Глава 17

УБИВАЯ ДЕТЕЙ

Он услышал, как щелкнул замок. Дверь скользнула в сторону, но он был слишком увлечен игрой. Порывшись в куче разбросанных по полу пластиковых кубиков, он вытащил оранжевый. Этот кубик определенно необходим, поскольку никуда не подходит, а значит, он не нарушит бесформенности и непонятности сооружения.

— Линк? — окликнул его далекий голос, какой-то странно знакомый, из всех голосов во Вселенной только этот мог

заставить его удивленно обернуться. «Я же убил ее, — в недоумении подумал он. — Она *мертва*».

И все же он медленно повернулся. Перед ним как ни в чем не бывало стояла мать — голос обрел плоть, такую гибкую, такую соблазнительную (сорок пять? не может быть, чтобы ей было сорок пять!). Изысканная одежда и ужас в глазах.

— Линк! — снова позвала она.

— Здравствуй, мама, — глупо сказал он, голос его звучал глухо и протяжно. «Я говорю, как умственно отсталый. Нормальный человек ничего не поймет», — подумал он. Но повторять не стал. Он просто кивнул ей (падающий сверху свет отражался от ее светлых волос, создавая вокруг головы подобие нимба, ткань блузки натянута плавным изгибом грудей, нет, не обращай внимания на это, нельзя, думай о ней, как о матери, питай сыновьи чувства. Почему она жива? О Господи, может, то был сон, а сейчас я проснулся? Или ко мне явился ее дух?), и две слезинки сверкнули в уголках его глаз. Все вокруг расплылось как в тумане, ему даже на миг показалось, что ее белокурые волосы вдруг потемнели, превращая мать в шатенку, тогда как она всегда была блондинкой...

Увидев эти слезы и позабыв о безумных искорках, танцующих в его глазах, мать на секунду, всего лишь на какую-то секунду протянула к нему руки, но потом опомнилась и уперла их в бока («Обрати внимание, — сказал себе Линк, — изгиб ее бедер и легкая выпуклость животика создает на ткани две косые линии, уходящие вниз»). Напустив на себя сердитый вид, будто бы обижаясь, она произнесла:

— Что, неужели мой мальчик даже не обнимет меня?

Эти слова будто рывком подняли Линка с пола, заставив подняться во все 190 сантиметров роста. Он направился в ее сторону, протягивая к ней свои длинные руки...

— Нет... — проворковала она, отталкивая его. — Нет, не так — просто маленький поцелуйчик. Один поцелуйчик.

Она по-ребячьи выпятила губы, и он наклонился к ней. Однако в самый последний момент она вдруг отвернула голову, и он чмокнул ее в ухо и волосы.

— Ой, какой ты слюнявый, — передернулась она от отвращения. Открыв напоясную сумку, она достала салфетку и, тихонько посмеиваясь, вытерла ухо. — Неловкий, неловкий мальчишка, Линк, ты как всегда...

Линк не знал куда деваться от стыда. И как всегда гадал, какое следующее его действие вызовет ее упрек. Он краснел от смущения и знал, что должен что-то предпринять, что-то решить, но вместо этого лишь прокручивал в мозгу одну и ту же фразу, произнося ее про себя тоненьким детским голоском: «Мама злюка, мама злюка, мама злюка».

Она внимательно наблюдала за ним, губы ее растянулись в полуусмешке (ты только посмотри, как блестят ее губы, а ведь она не красится и никогда не красилась, губы ее всегда немножко влажные, чуть-чуть приоткрытые, а язык занимается нежной любовью с белыми зубками). Она явно не знала, как реагировать на происходящее.

— Линк? — позвала она. — Линк, ты что, даже не улыбнешься мамочке?

Линк попытался вспомнить, как это, улыбаться. Что чувствуешь при этом? Так, надо напрячь лицевые мускулы, кожа тогда натянется...

— Нет! — закричала она, отступая от него и нашаривая ручку двери. Видно, она считала, что это открытый госпиталь — ан нет, это была лечебница для психически больных людей, а таким пациентам запрещено разгуливать по коридорам. Она развернулась и заколотила в дверь кулаками, отчаянно взывая: — Выпустите меня отсюда, выпустите!

И ее выпустили, тот самый высокий мужчина с приятной улыбкой, который по пять раз на дню выводил Линка в туалет. Сам Линк почему-то забывал проситься туда. Дверь за ней захлопнулась, а Линк все стоял и смотрел. Он никак

не мог решить, что же делать дальше; он с изумлением смотрел на свои вытянутые руки и ничего не понимал. А пальцы его тем временем сжимались и разжимались, пытаясь обхватить нечто продолговатое, цилиндрическое — по форме очень и очень напоминающее человеческое горло.

В кабинете доктора Хорта миссис Дэнол грациозно опустилась на стул и гордо застыла, отвлекающе прекрасная. Хорт еще подумал, неужели это та самая женщина, которая несколько минут назад рыдала в объятиях одного из сотрудников.

— Я живу только ради сына, — сказала она. — Его не было со мной семь ужасных, ужасных месяцев, он сбежал, скрылся куда-то. Но вот я наконец нашла его и хочу, чтобы он вернулся домой. Вместе со мной!

Хорт вздохнул:

— Миссис Дэйнол, Линкири сейчас не в себе, у него крайне опасная форма сумасшествия. Если вы внимательно прочли табличку на дверях, то, должно быть, уже знаете, что это *правительственный* госпиталь. Он убил девушку.

— Значит, она того заслуживала.

— Она ухаживала за ним в течение семи месяцев, миссис Дэйнол.

— Не иначе, она соблазнила его.

— Оба они вели активную половую жизнь, причем по обоюдному согласию.

На лице миссис Дэйнол мелькнула гримаска ужаса:

— Это мой сын сказал вам такое?

— Это было зафиксировано в полицейском рапорте. Свидетельские показания жильцов снизу.

— Навет.

— У правительственных структур на этой планете очень ограничен бюджет, миссис Дэйнол. Большинство людей вынуждено жить в квартирах, где личные отношения невозможно сохранить в тайне.

При мысли о несчастных бедняках, ютящихся в правительственных кварталах этой погруженной в вечную ночь столицы на сумрачной планете-колонии, миссис Дэйнол передернулась — не иначе, от отвращения.

— О Господи, как я мечтаю улететь отсюда и никогда, никогда не возвращаться, — проговорила она.

— Да, одним выстрелом вы убили бы двух зайцев, — ответил Хорт. — Ваш сын также ненавидит эту планету. Вернее, ненавидит то, с чем ему пришлось столкнуться здесь.

— Я понимаю. Эти монстры-дикари — да и городские тоже мало чем отличаются от дикарей.

Хорт мог лишь подивиться этой оригинальной демократии — похоже, по сравнению с собой дамочка считала всех людей низшими созданиями, а следовательно, в ее глазах все были равны.

— Как бы то ни было, пока Линкири должен оставаться в больнице, мы попробуем вылечить его.

— Поверьте, я не меньше вашего желаю его излечения. Пускай он снова станет милым, любящим мальчиком, которым был когда-то — я поверить не могу, что он действительно убил ее!

— Убийство произошло на глазах у семнадцати свидетелей. Двое из них госпитализированы — после того как попытались оттащить его от трупа. Его виновность в ее смерти не вызывает сомнений.

— Но зачем?! — взволнованно воскликнула она, грудь ее заходила от бурной страсти — подобный всплеск эмоций удивил даже Хорта, которому не раз приходилось сталкиваться с эксгибиционистками. — Почему он убил ее?

— Дело в том, миссис Дэйнол, что, если не принимать в расчет цвет ее волос и несколько лет разницы в возрасте, эта девушка была точной вашей копией.

Миссис Дэйнол моментально напряглась:

— Боже мой, доктор, да вы шутите!

— По прибытии сюда Линк находился в полной прострации, единственное, в чем он был твердо уверен, так это в том, что убил он именно вас.

— Это ужасно. Отвратительно.

— Порой он плачет и извиняется перед кем-то, говорит, что больше никогда так не поступит. Однако чаще всего он лишь хихикает, довольно язвительно, будто одержал победу в какой-то очень важной для него игре, которая раньше заканчивалась неизменным поражением.

— Так, значит, вот что теперь выдается за психологию на этой Богом проклятой планетке!

— Да, и не только на этой «планетке», но и на самом Капитолии, миссис Дэйнол. Как я уже говорил, степень я получил именно там. Если желаете, можете проверить. — «Дьявольщина, — подумал про себя он, — с чего я вдруг оправдываюсь перед этой бабой?» — Мы сочли, что, если ваш сын увидит вас целой и невредимой, это поспособствует его выздоровлению.

— А ведь он и в самом деле пытался задушить меня!

— Судя по вашему рассказу, да. Также вы заявили, что хотите забрать его домой. Вы продолжаете настаивать на этом решении?

— Я хочу, чтобы его побыстрее вылечили, хочу, чтобы он поскорее вернулся! С тех пор как умер его отец, у меня никого не осталось, я люблю его больше всех на свете!

«Да нет, похоже, себя вы любите больше, — чуть не съязвил Хорт, но сдержался. — Вот черт, я, похоже, начинаю судить ближнего».

Прозвенел зуммер, и Хорт, порадовавшись про себя неожиданной передышке, нажал на кнопку, открывающую дверь. Через порог шагнул Грэм, главный санитар. Он выглядел обеспокоенным.

— В это время я обычно вывожу Линкири в туалет, — начал он как всегда с середины. — Все обыскал, нет его в комнате. Перевернули вверх дном весь госпиталь. Нет его.

— Как нет?! — Миссис Дэйнол судорожно втянула воздух.

— Это его мать, — объяснил Хорт.

Грэм продолжал рассказывать:

— Он вскарабкался на потолок и пролез в вентиляционную систему. Мы понятия не имели, что он настолько силен.

— Да уж, замечательная больница!

— Миссис Дэйнол, — раздраженно произнес Хорт, — как больница этот госпиталь — чудо техники, один из самых лучших. Только вот при строительстве как-то не учли, что в будущем он также будет выполнять тюремные функции. Можете подать в суд на правительство. — «Дьявол, снова защищаюсь. А сучка все тычет и тычет в меня своей грудью. Кажется, я начинаю понимать Линкири». — Миссис Дэйнол, пожалуйста, подождите нас здесь.

— Сейчас, как же.

— Тогда поезжайте домой. Обещаю, мы будем держать вас в курсе. Как только что-нибудь станет известно, мы вам сообщим.

Она яростно сверкнула глазами.

Он устало кивнул.

— Что ж, как знаете. — И опустил в карман пульт управления дверью. Выйдя из комнаты, он нажал кнопку, и дверь захлопнулась прямо перед носом у миссис Дэйнол, попытавшейся было последовать за ним. Заперев ее в кабинете, Хорт испытал какое-то нездоровое удовлетворение.

— Да я бы и сам ее задушил, — поведал он Грэму. Тот с миссис Дэйнол еще знаком не был и поэтому на грубость доктора отреагировал несколько встревоженно. — Шутка. Убийцей я становиться не собираюсь. Ну и куда паренек подевался?

Грэм не знал, поэтому они отправились обыскивать окрестности.

* * *

Линкири беспомощно жался у ограждающего правительственные постройки забора — сотни миль тяжелой стали защищали цивилизацию от дикой планеты. Вечерний ветерок уже колыхал густую траву, катая по равнине зеленые волны — отсюда-то и пошло название планеты, Пампасы. Солнце зависло на расстоянии двух пальцев от горизонта, Линкири был как на ладони в этой открытой местности. Со всех сторон его окружала опасность: полицейские наверняка уже ищут его, тогда как за ближайшим холмом, должно быть, притаились ваки — каждый заплутавший ребенок неизбежно становился жертвой ваков, они подкарауливали маленьких детей и ели их на ужин.

«Но я-то не ребенок», — подумал он.

Он посмотрел на свои руки. Они были большие, сильные — и в то же самое время такие нежные, мягкие, чувствительные, руки художника.

— Ты прирожденный художник, — вновь услышал он голос Зэд.

— Я? — переспросил Линк, слегка удивившись столь неожиданной похвале.

— Ну да, ты, — сказала она. — Ты только посмотри вокруг себя.

И легким жестом руки обвела комнату, а поскольку Линк просто не мог не следить за ее рукой, он увидел то же, что и она. Одна стена с потолка до пола была увешана гобеленами на продажу. На другой стене висели всевозможные коврики, неподалеку стоял ткацкий станок, орудие труда Зэд. А следующая стена представляла собой сплошное, огромное окно («Стекло дешевле обойдется», — заявил когда-то чиновник главному архитектору), в котором виднелся еще один небоскреб-комплекс, служащий прибежищем для большинства жителей столицы, а за ним — здание Кабинета Правительства, из которого осуществлялось управление

жизнями этих самых жителей. Которых были миллионы — плюс ваки, конечно. Только дикарей никто так и не удосужился пересчитать.

— Нет, — улыбнулась Зэд. — Милый, любимый Линк, ты туда посмотри. Вон на ту стену.

Он взглянул, куда она указывала, и увидел карандашные наброски, рисунки цветными мелками.

— Ведь ты же можешь.

— У меня руки из задницы растут. — «О Господи, такое впечатление, будто у тебя руки из задницы растут», — вспомнил он один из любимых упреков матери.

Зэд взяла его руки и положила себе на талию.

— Ну, не знаю, как насчет задницы... — хихикнула она.

Тогда он нагнулся, поднял с пола кусок угля и начал делать набросок дерева — сначала она чуть-чуть помогла ему, а затем он сам вошел во вкус.

— Это прекрасно, — промолвила она.

Он посмотрел на пол и увидел, что нарисовал растущее дерево. Он поднял глаза и увидел металл забора. «За мной гонятся», — подумал он.

«Я не дам тебя в обиду», — слова Зэд эхом отдались в его сознании. Ему было стыдно за свою ложь, ведь она искренне верила в то, что он преступник. Как бы она отреагировала, если б он признался, что перед ней стоит тщательно оберегаемое, единственное чадо миссис Дэйнол, которой принадлежит на этой планете практически все? Зэд стеснялась бы его. А так он стесняется ее. Она подобрала его на улице — он бесцельно слонялся по грязным переулкам, обманутый и избитый. Обманул его один, а избили двое — после того как обнаружили, что его напоясная сумка уже пуста.

— Ты что, псих?

Тогда он отрицательно помотал головой, но сейчас-то он понимал, что она сказала чистую правду. Вот этими вот руками он задушил собственную мать.

Вой сирены, доносящийся с территории госпиталя для душевнобольных, внезапно стих. Охваченный смертельным отчаянием, Линкири свернулся в маленький комочек, про себя молясь Господу, чтобы тот обратил его в куст. Только его все равно бы нашли. На этой планете кусты не растут.

— Что ты нарисовал? — вспомнил он вопрос Зэд и расплакался.

Его больно ужалило какое-то насекомое, и он брезгливо стряхнул тварь с руки. Боль привела его в чувство. Что он здесь делает?

«Что я здесь делаю?» — подумал он. А затем вспомнил, как бежал из больницы, как мчался сквозь марево городского смога к периметру — он так стремился туда, потому что периметр был единственной его надеждой, за забором он будет в безопасности. Детские годы он помнил смутно, но боязнь открытых пространств въелась в него навечно. Мать не раз грозила ему тем, что если он не съест ужин и вообще будет плохо себя вести, то ваки заберут его и сожрут.

— Вот только попробуй еще ослушаться меня, сразу снесу к вакам. А я тебе уже рассказывала, что они первым делом отгрызают у маленьких мальчиков.

«Извращенка чокнутая, — в миллионный раз подумал Линкири. — По крайней мере, по наследству это не передается.

Или все-таки передается? По-моему, я бежал не откуда-нибудь, а из больницы для душевнобольных».

Он совершенно запутался. Одно он знал точно — там, за забором, он будет в безопасности, и плевать ему на всяких ваков, в госпитале он оставаться не мог. Ведь он убил собственную мать. И не раз во всеуслышание заявлял, что ничуть не сожалеет об этом, а только рад. Когда до врачей наконец дойдет, что он вовсе не безумен, что он находился в здравом уме и твердой памяти, когда убивал свою мать

прямо на центральной улице Пампас-Сити — ну, в общем, его ожидает смертный приговор.

«Живым я не дамся».

Колючая проволока терзала его плоть, беспощадно разрывая кожу, а электричество, пропущенное по верхним рядам, свалило бы корову. Но он держался и продолжал лезть — тело его содрогалось от ударов тока. Он перелез через стену и бессильно обвис на колючках; наконец его рубаха не выдержала и порвалась. Оглушенный падением, он распростерся на земле; по вечернему небу прокатился вой еще одной сирены, на этот раз сигнал тревоги раздался совсем рядом.

«Я сам выдал свое местонахождение, — подумал он. — Идиот чертов».

Дрожа всем телом от недавних ударов электрическим током, он поднялся и, пошатываясь, бесцельно захромал в высокую траву, которая начиналась в сотне метров от ограды.

Солнце коснулось горизонта.

Трава была жесткой и острой.

Дул холодный, пронизывающий ветер.

Рубашки он лишился.

«Ночью я замерзну до смерти. Умру от истощения». Но какая-то частичка его, вечно злорадная, презрительно хмыкнула: «Ты заслужил это, матереубийца. Ты заслужил это, Эдип».

Да нет, ты все перепутал, ведь Эдип убил отца, а не мать, верно?

— Послушай, да это же ты меня нарисовал! — воскликнула Зэд, увидев результаты его упражнений с акварелью. — Замечательный рисунок, только я не блондинка.

Он посмотрел на нее и сам удивился — с чего он взял, что она блондинка?

От воспоминаний его отвлек какой-то странный звук. Он не понял, что это было, не заметил, откуда именно этот

звук раздался. Он остановился и замер, прислушиваясь. Внезапно осознав, где находится, он обнаружил, что его руки, живот и спина сплошь покрыты крошечными порезами, из которых сочится кровь. Местная трава. К обнаженному телу прилипли жуки-кровососы; передернувшись от отвращения, он смахнул их с себя. Раздувшиеся от крови насекомые градом посыпались на землю. Эти жуки были одним из вечных проклятий планеты, их укусы не причиняли никакой боли, они даже не чесались, поэтому человек мог истечь кровью, даже не подозревая, что к нему присосался рой этих тварей.

Линкири оглянулся. Позади переливалось разноцветными огнями поселение. Солнце скрылось за горизонтом, и на равнину опустились сумерки.

Снова раздался тот же самый звук. Он так и не сообразил, что это было, зато определил приблизительное местонахождение источника шума — и направился прямиком туда.

Не пройдя и двух метров, он наткнулся на хнычущего младенца. Тело ребенка было облеплено послеродовой слизью, рядом валялся послед. Плацента вся была усеяна кровососами. Как, впрочем, и сам ребенок.

Линкири встал на колени, смахнул насекомых и внимательно рассмотрел новорожденного. Коротенькие, похожие на обрубки ножки и ручки указывали на то, что это ребенок ваков. А так он был вылитый человеческий детеныш — кожа его могла просто потемнеть от загара, после нескольких часов, проведенных под палящим полуденным солнцем. Еще в детстве от одного из своих наставников Линк узнал об этом обычае ваков. Ученые сочли его аналогом древнегреческой традиции избавляться от нежелательных младенцев, чтобы удерживать уровень населения в определенных рамках. Младенец заливался плачем. Линкири до глубины души поразила представшая перед ним несправедливость — почему именно *этого* ребенка обрекли на смерть во имя... пле-

мени? Да, кажется, ваки живут племенами. Раз семь процентов младенцев должны умереть ради племени, может, лучше было бы от каждого новорожденного удалить по семь сотых? Нет, это, конечно, невозможно. Линкири потрогал слабенькие ручки ребенка. Замечательный способ избавить мир от ненужных детишек.

Он неловко поднял младенца (раньше он никогда не держал в руках новорожденного, только видел их в инкубаторах той больницы, которую построил его отец и за которую теперь в некотором роде «отвечал» Линкири) и прижал его к обнаженной груди. Тепло прижавшегося к нему тельца поразило его. На какую-то секунду младенец перестал плакать. Линк смотрел на него, периодически смахивая кровососов, которые перепрыгивали с плаценты на ребенка или на него самого.

«Мы с тобой так похожи, — молча обратился он к ребенку, — мы собратья по несчастью, нежеланные дети». «Хоть бы ты никогда не рождался», — вновь услышал он слова матери; она бросила их ему в лицо всего лишь раз, но они острой занозой засели у него в памяти. Она не притворялась. Не лезла со своими фокусами типа объятий, поцелуйчиков и «о-я-так-горжусь-тобой». В ту секунду она сказала чистую правду, что случалось крайне редко: «Если б ты не родился, мне бы не пришлось стареть на этой проклятой планетке!»

Но тогда почему, мама, ты не бросила меня на равнине умирать? Это куда добрее, во много-много раз милосерднее, чем держать взаперти, периодически отрезая положенные семь процентов.

Ребенок снова заплакал и начал искать грудь, которая, наверное, была уже за много километров отсюда. Из нее сочилось молоко, но младенцу уже не суждено попробовать его вкус. Интересно, а сама мать тоскует по ребенку? Или эти чувствительные соски только раздражают ее? Должно

быть, она только и думает о том, чтобы последствия беременности побыстрее исчезли.

Сидя на корточках и сжимая в объятиях младенца, Линкири думал, что делать дальше. Может, отнести ребенка в город? Это, несомненно, исполнимо, только дорого будет стоить. Линкири обязательно схватят, а затем заточат обратно в госпиталь, где вскоре откроется, что он вовсе не безумен. Тогда ему в ягодицу вонзят острую иглу и отправят в вечный сон. А ребенок? Каково придется детенышу ваков в человеческой столице? Сироту будут обижать все кому не лень, особенно сверстники — дети бедняков, как правило, незаконнорожденные, будут относиться к нечеловеку, как к низшему существу, на котором можно отыграться, которого можно истязать. В школе он станет умственным парией, неспособным воспринять необходимый минимум знаний. Как мячик, его будут перекидывать из одного учреждения в другое — но в один прекрасный день пытка станет невыносимой, и он задушит кого-нибудь, после чего умрет сам...

Линкири положил ребенка обратно в траву. «Если уж соотечественники отказались от тебя, чужаку ты не нужен тем более», — мысленно произнес он. Ребенок заходился в отчаянном крике. «Умри, дитя, — думал Линкири. — Встреть свой милосердный конец».

— Черт, я же ничего не могу для тебя сделать, — вслух произнес он.

— Что ты хочешь сказать этими рисунками? — откликнулась Зэд. Но Линку не хотелось объяснять ей. Он пытался нарисовать Зэд, а вместо этого получалась мать. И только теперь, спустя семь месяцев слепоты, он увидел, что... что Зэд удивительно похожа на мать. Вот почему той ночью он пошел за ней, вот почему не сводил с нее глаз, пока в конце концов она не спросила его, какого дьявола он за ней увязался...

— Какого дьявола?! — воскликнула Зэд, но Линк не ответил. Он неловко смял рисунок («У тебе руки растут из задницы, Линки!»), прижал комок к животу, что было сил ударил по бумаге, затем еще раз — одновременно ударяя себя. Закричал от боли и страдания. Снова ударил.

— Эй! Эй, прекрати немедленно! Не...

И тогда он увидел, осознал, почуял, услышал, как мать склоняется над ним. Волосы щекотали его лицо (они так приятно пахнут), и Линка опять переполняла древняя беспомощная ярость, только сейчас ощущение беспомощности стало еще острее. Оно усиливалось воспоминаниями о том, как он занимался с этой женщиной любовью в квартирке, забитой картинами и расположенной в нижней части города. «Но я уже вырос, — подумал он. — Теперь я сильнее ее, и все-таки она продолжает управлять мной, продолжает нападать на меня, продолжает ожидать от меня *слишком* многого, а я даже не знаю, что делать!» Тогда он перестал избивать себя, он нашел лучшее применение своей мести.

Ребенок все еще плакал. Какую-то секунду Линк ошеломленно оглядывался по сторонам, не понимая, почему он дрожит. Затем налетел очередной порыв ветра, и он вспомнил, что сегодня ему суждено умереть и этой жалкой смертью искупить грехи. Подобно младенцу, он истечет кровью от крошечных укусов, затем его будут глодать вечно голодные, крадущиеся в ночи твари, и в конце концов его добьет холод. Единственное различие между ним и этим младенцем заключалось в том, что новорожденный ничего не понимал — и никогда не поймет, что произошло с ним. Лучше умереть в неведении. Лучше вообще не иметь воспоминаний. И так хорошо, когда ты не чувствуешь боли.

Линк нагнулся и обхватил горлышко ребенка большим и указательным пальцами. Он убьет его прямо сейчас, избавив малыша от той недолгой агонии, которая ожидает его. Он сожмет пальцы и перекроет кровь и кислород... странное дело, почему-то пальцы никак не сжимались.

— Я не убийца, — сказал Линкири. — Я ничем не могу помочь тебе.

Он поднялся с колен и побрел прочь, оставив позади хнычущего ребенка. Постепенно всхлипы поглотил шумящий в траве ветер. Острые лезвия травы терлись о тело и резали обнаженную грудь. Это напомнило ему, как мать купала его в ванне.

— Вот видишь, только я могу потереть тебе спинку, самому тебе не достать. Я нужна тебе, иначе ты все время будешь ходить грязным.

«Ты нужна мне».

— Вот хороший малыш, как он любит маму.

«Да. Люблю, люблю».

— Не дотрагивайся до меня! Я поклялась, что больше ни один мужчина не дотронется до меня!

«Но ты сказала...»

— Я с ними покончила. Ты ублюдок и сын ублюдка, из-за тебя я старею!

«Но, мама...»

— Нет, нет, что я несу? Ведь это не *твоя* вина, что все мужчины такие. Ты-то не такой, как все, ты мой милый малыш, ну-ка, обними мамочку — не прижимайся ко мне *так,* Боже, дьяволенок маленький, что ты ерзаешь? Немедленно иди к себе в комнату!

Тьма все сгущалась. Он споткнулся и упал, порезав запястье.

— Почему ты ударил меня? — услышал он плач шатенки, которая на самом деле должна была быть блондинкой. Тогда он еще раз врезал ей. Она выскочила из квартиры и побежала вниз по лестнице. Кубарем выкатилась на улицу. Там-то он и настиг ее и прямо посреди улицы заставил замолчать — он продемонстрировал ей, что такое настоящий мужчина, отнял жизнь, изгнав ее в далекое далеко.

Кожу кольнул кончик ножа.

Даже не пытаясь встать, он поднял взгляд и увидел приземистого, коренастого мужчину — нет, не мужчину, вака, — и даже не одного, а целую дюжину ваков. Все они были вооружены. С земли поднимались еще ваки, такое впечатление, что они здесь спали. В темноте он набрел на стоянку туземцев.

«Всяко лучше, — подумал он, — чем жуки-кровососы и вечно голодные хищники». Ощущая, как по позвоночнику ползет черная пустота и дрожь, он встал и выпрямился, ожидая удара ножом.

Но нож вовсе не стремился прорваться к сердцу, и им начало овладевать нетерпение. Разве он не наследник того самого человека, который отравил жизнь всех ваков на этой планете, чьи огромные бульдозеры унесли жизни дюжин и дюжин племен, чьи наемники без раздумий отстреливали ваков, случайно забредших в «частные владения»? «Я владею половиной этой планеты; убейте меня и освободитесь от ига».

Один из ваков беспокойно зашипел. «Давай же, надави на нож», — подумал Линк. И тоже зашипел. Нетерпеливо. Давай, действуй. И побыстрее.

Вак, удивленный этим откликом на смертный приговор, отступил, однако нож его по-прежнему был нацелен в грудь Линкири. Ваки забормотали между собой на своем наречии, насыщенном раскатистыми «р» и шипящими «с». Этот язык совсем не похож на человеческий, так внушали детям в правительственных школах. Однако Линку было прекрасно известно, что существуют дюжины антропологических теорий, указывающих на то, что язык ваков — это нечто иное, как искаженный до неузнаваемости испанский. Судя по многочисленным свидетельствам, эти ваки были потомками колонистов с космического корабля «Аргентина», который затерялся еще в первое десятилетие эры межзвездной колонизации, начавшейся тысячи лет назад. Именно тогда человек впервые выбрался с маленькой планетки,

которую так изгадил. Люди. Определенно, это люди. Несмотря на то, что жестокие Пампасы превратили их в уродов, невежд, нелюдей.

А дикари не имеют прав на планету.

Линкири протянул руку, взял пальцы, сжимающие лезвие, и ткнул острием себе в живот. И снова нетерпеливо зашипел.

Глаза вака расширились, он повернулся к сородичам, которые также ничего не понимали. Они опять забормотали, кое-кто отошел подальше от Линка, очевидно, опасаясь этого безумца. Линк не разобрал ни единого слова. Он загнал нож глубже в свою плоть; по лезвию заструилась кровь.

Вак резким движением отдернул нож. Глаза его наполнились слезами, он встал на колени и взял Линкири за руку.

Линкири попытался вырваться. Но вак не отпускал его, полз за ним на коленях. Остальные ваки окружили их. Может быть, Линк и не понимал их наречия, но язык жестов был ему доступен. Да они боготворят его, внезапно понял он.

Мягкие руки провели его к центру лагеря. Вокруг тлели жаровни с торфом, то и дело пощелкивая, когда жадные до тепла кровососы отставали от ваков и бросались в огонь.

Они пели ему, незатейливые мелодии походили на шелест травы и вой ночного ветра. Линкири раздели и начали исследовать. Мягкие пальчики ваков обследовали каждый кусочек кожи. Затем его снова одели, накормили (а он тем временем с горечью вспоминал ребенка, который умирал от голода среди высокой травы), уложили и сами легли рядом, защищая во время сна.

«Вы обманули меня. Я пришел сюда в поисках смерти, а вы обманули меня».

Он горько разрыдался, а они восхищались его слезами. Спустя полчаса, задолго до того, как на небе появилась холодная луна, он заснул. Он чувствовал себя обманутым, и все же на душе у него было так спокойно.

* * *

Миссис Дэйнол сидела на стуле в кабинете Хорта. Руки ее были сложены на груди, глаза яростно впивались в доктора, стоило тому хоть шевельнуться — и даже когда он замирал, они все равно поедом ели его.

— Миссис Дэйнол, — наконец сказал он, — вы нам очень поможете, и не только нам, но и себе тоже, если поедете домой.

— Ну уж нет, — ядовито фыркнула она. — Буду сидеть здесь, пока вы не найдете моего мальчика.

— Миссис Дэйнол, мы даже еще не приступали к поискам.

— Вот поэтому-то я здесь и сижу.

— Вести поиски на ночной равнине — чистое самоубийство.

— Значит, Линкири погибнет. Уверяю вас, мистер Хорт, госпиталь еще пожалеет об этом бездействии.

Он вздохнул. Уж в этом можно было не сомневаться — ежегодные пожертвования от семьи Дэйнолов составляли большую часть поступающих денег. Кое-кому откажут в зарплате — к примеру, ему, это уж точно. Но усталость брала верх. Он отбросил в сторону всякие правила приличия и сообщил миссис Дэйнол несколько очевидных фактов.

— Миссис Дэйнол, вы в курсе, что в девяноста случаях лечить надо не самого пациента, а его родителей?

Ее губы напряглись и вытянулись в струнку.

— И знаете ли вы, что в принципе ваш сын не сумасшедший?

В ответ на это она расхохоталась:

— Просто здорово. Вот еще одна причина забрать его отсюда — если, конечно, он выживет на этой чертовой, терраформированной планетке.

— На самом деле ваш сын пребывает в здравом уме и твердой памяти. Он очень образованный, очень способный юноша. Прямо как его отец.

Последнее замечание должно было пронять ее до костей. Уловка сработала.

Она вскочила со стула:

— Я не желаю, чтобы в моем присутствии упоминалось имя этого сукина сына.

— Но иногда он превращается в младенца. Дети все безумны, все до одного — если оценивать их поведение, исходя из стандартов поведения взрослого человека. Их тактика защиты, их привыкание к окружению — воспользуйся детскими приемами выживания взрослый человек, и его немедленно упекут в психушку. Паранойя, постоянные срывы, отказы, саморазрушение. Понимаете, миссис Дэйнол, почему-то вашего сына держит детство.

— И вы считаете, что причина тому я.

— Вообще-то мое личное мнение здесь ни при чем. Как здравомыслящий человек, Линкири действует только тогда, когда осознает, что убил вас. Думая о вас, как о мертвой, он функционирует, как нормальный, взрослый человек. Забывая о вашей смерти, он превращается в младенца.

Он зашел слишком далеко. Она яростно заорала и кинулась на него через стол. Ее когти вонзились в его лицо, другая рука металась по столу, разбрасывая по всей комнате бумаги и книги. Ему удалось нажать кнопку тревоги, и какое-то время он удерживал взбесившуюся женщину на некотором расстоянии от себя. Однако к тому времени как прибыла подмога, он успел лишиться изрядного клока волос, а голени украсили фиолетовые синяки. Санитары оттащили ее, утихомирили и отвели в одну из палат, чтобы она отдохнула.

Утро. Волосатые птицы равнин уже пробудились, их силуэты черными молниями мелькали на фоне восходящего солнца, они поедали медлительных кровососов, за ночь упившихся кровью. Линкири проснулся и удивился, насколько

это естественно и приятно пробуждаться под открытым небом, на травяной подстилке, под крики птиц. «Неужели во мне еще живет память далеких предков, живших на травянистых равнинах Земли?» — подумал он. Он зевнул, поднялся и выпрямился во весь рост. Кровь бурлила, чувствовал себя он просто замечательно.

Ваки внимательно наблюдали за ним. Вокруг царила суета, племя готовилось к дневному переходу — складывало пожитки, стряпало нехитрый завтрак из холодного мяса и горячей воды. После еды ваки снова подошли к нему, снова коснулись его груди, снова встали на колени, делая руками непонятные жесты. Покончив с церемонией (Линкири еще подумал, как это странно, что человечество и ваков связывают только две общие вещи — убийство и бог), они вывели Линкири из лагеря и направились в том направлении, откуда он вчера пришел.

Тогда-то Линкири и понял, почему ваки считаются наиболее опасными из населяющих равнины существ. Туземцы все как один были приземистыми, даже самый высокий вак с головой скрывался в зарослях травы, тогда как обычный человек среднего роста неизменно оказывался бы удобной мишенью. Кроме того, трава точно поглощала их следы, смыкалась за их спинами, укрывала их от любой возможной угрозы. Целая армия ваков могла прошествовать в метре от самого бдительного наблюдателя, а тот бы ничего не заметил.

Идущие впереди ваки остановились. Линкири привели на то самое место, где ночью лежал младенец. Линк даже не подозревал, что ваки вернутся туда, где прошлой ночью по их вине оборвалась жизнь ребенка. Неужели они совсем не стыдятся своего поступка? По крайней мере, из чувства элементарного приличия они могли бы сделать вид, что уже забыли о существовании младенца. Глумиться над останками — бесчеловечно.

Ваки кружком обступили маленький трупик (и как они отыскали его в этих зарослях?). Линкири тоже приблизился и взглянул на безжизненное тельце.

Ночью здесь побывала пара-другая трупоедов. Первый (вот оно, подтверждение угроз мамы) отъел у ребенка гениталии и проник в живот, поедая нежные внутренности и оставляя нетронутой мускульную ткань. Однако ребенок и его плацента привлекли к себе внимание огромных роев кровососов, которые, вдоволь напившись крови младенца, не преминули перебраться на еще живого и теплого трупоеда. Тот истек кровью, так и не успев завершить ужин. Все прочие трупоеды погибали еще быстрее — на пиршество стремились тучи насекомых, они высасывали кровь и откладывали яйца.

А затем здесь пировали птицы, вихрем вспорхнувшие в небо, вспугнутые Линком и ваками. Они ели умирающих кровососов, не обращая никакого внимания на жучиные яйца, усеивающие стебли травы. Будущей ночью из них выведутся новые кровососы — счастливчики избегнут голодной смерти, найдут себе пропитание и оставят потомство. Таков был безумный круговорот ночной жизни.

Тельце ребенка, за исключением выеденного живота, осталось нетронутым.

Ваки встали на колени, покивали Линку и начали потрошить труп. Движения были аккуратными и точными. Разрез от грудины до паха, два разреза на уровне груди, затем сдирается кожа с рук, отрезается голова; ножом ваки действовали умело и быстро, спустя считанные мгновения тело было полностью освежевано.

И тогда они начали есть.

Линк в каком-то отупении наблюдал за ними — по очереди они предлагали ему полоски сырого мяса, как будто прося благословения. Каждый раз он отрицательно качал головой, и каждый раз вак что-то благодарно бормотал и съедал кусок.

Когда от ребенка остались только кожа, кости и сердце, ваки расправили кожу и положили ее перед Линком. Затем они собрали косточки и протянули ему. Он принял дар — явившись свидетелем подобной бесчеловечности, он уже боялся отказываться. Они чего-то ждали от него.

«Что я должен сделать?» — гадал он. Он стоял на коленях и сжимал кости в руках. Туземцы забеспокоились. Затем он вдруг вспомнил пару примеров из древней истории и швырнул кости на кожу, после чего встал, вытирая о брюки кровь.

Ваки принялись разглядывать кости, тыча пальцами то в одну, то в другую. Линк понятия не имел, что они там разбирают, но мешать не стал. В конце концов ваки довольно заухмылялись, начали смеяться, подпрыгивать и пританцовывать от радости — очевидно, кости сообщили им хорошие новости.

Линкири тоже порадовался. Гадание прошло успешно. Интересно, что бы они сделали с ним, если б кости легли неблагополучно?

Ваки решили вознаградить его. Они подняли с земли голову младенца и протянули ему.

Он отказался.

На лицах их появилось недоумение. Он тоже не знал, как поступать дальше. Может быть, ему полагалось съесть голову? Зрелище было страшным — кровь уже не текла, вся высосанная насекомыми, голова походила на экспонат в медицинской лаборатории, она напоминала ему...

Нет, он не будет есть.

Вопреки ожиданиям ваки не рассердились. Казалось, они поняли его чувства. Они собрали кости и похоронили каждую по отдельности, вырыв в богатой черноземом почве рядок глубоких ямок. Затем они подняли кожу и набросили ее на обнаженные плечи Линкири. Ему пришло на ум, что они отождествляют его с ребенком. Жестикуляция вождя

подтвердила его догадку — вак указывал то на кожу, то на голову, то на Линкири. Повторив эти жесты несколько раз, глава племени замер, ожидая ответа.

Линкири не знал, что ответить на эту немую речь. Если он даст вакам понять, что никакого духа ребенка в нем нет, может быть, они тут же его и убьют. А может, наоборот — может, узнав, что дух младенца теперь переселился в него, они решат продолжить церемонию жертвоприношения. И тот, и другой ответ мог означать для Линка верную смерть, а этим утром ему так хотелось жить.

Но затем, посмотрев в лицо мертвому малышу и вспомнив, как прошлой ночью тот отреагировал на прикосновение, Линкири вдруг осознал, что суеверные туземцы и сами не понимают, как недалеки они от истины. Все верно, он и есть этот младенец, обглоданный, выпотрошенный, съеденный и отброшенный прочь, чтобы быть похороненным в сотне крошечных могилок. Да, он действительно мертв. И он кивнул, принимая подарок, кивнул, соглашаясь с вождем.

Ваки тоже закивали и один за другим потянулись к нему, чтобы поцеловать. Этот прощальный поцелуй мог толковаться двояко — либо они уходили и прощались с ним, либо они провожали его на смерть. Затем они по очереди поцеловали головку ребенка, которую Линкири держал в руках. Увидев, с какой нежностью прижимаются их губы к лобику, щечкам или ротику младенца, Линкири почувствовал приступ неизбывной жалости к самому себе, жалости и печали. Он заплакал.

Увидев его слезы, ваки испугались, что-то тихо залопотали, переговариваясь друг с другом, — и молча исчезли в высоких травах, оставив Линкири наедине с останками новорожденного.

Проснувшись рано утром, доктор Хорт поспешил навестить миссис Дэйнол. Она сидела в одной из пустующих

частных палат, руки опять были сложены на груди. Он постучал. Она подняла глаза, увидела его в дверном окошке, кивнула, и он вошел.

— Доброе утро, — поздоровался он.

— Неужели? — отозвалась она. — Вот только мой сын вряд ли порадуется ему, доктор Хорт.

— Возможно. А может быть, и нет. Во всяком случае, он будет не первым человеком, выжившим ночью на равнинах, миссис Дэйнол.

Она лишь покачала головой.

— Я хотел бы попросить прощения за тот скандал вчерашней ночью, — сказал он. — Я тогда очень устал.

— Не извиняйтесь. Может, вы тогда и устали, но ваши слова были чистой правдой, — ответила она. — Я проснулась в четыре часа утра — снотворное не очень-то помогло. Я все думала и думала о нашем разговоре. Я отравляю все вокруг. Я отравила сына тем, что была его матерью. Больше всего на свете мне бы сейчас хотелось оказаться на равнине и умереть вместо него.

— Вы думаете, это помогло бы?

Она расплакалась. Он терпеливо ждал. Всхлипы затихли несколько секунд спустя.

— Простите, — сказала она. — Все утро я только и делаю, что плачу.

Она посмотрела на Хорта, в глазах ее отражалась мольба.

— Помогите мне, — попросила она.

Он улыбнулся — то была улыбка человека сочувствующего, а вовсе не победителя — и сказал:

— Попробую. Почему бы вам не рассказать, о чем вы думали сегодняшней ночью?

Она горько рассмеялась:

— Нет, в это крысиное гнездо нам лучше не соваться. Больше всего я думала о своем муже.

— Которого вы страшно не любите.

— Которого я презираю. Он женился на мне, потому что вне брака я с ним спать отказывалась. Он спал со мной, пока я не забеременела; после этого он съехал с квартиры. Когда выяснилось, что у меня родится мальчик, Линкири, он ужасно обрадовался и изменил свое завещание. Все имущество он отписал мальчишке. Мне ничего не оставил. Затем, после того как он перетрахал всех девушек и большую часть юношей на этой планете, он попал под трактор. Несчастный случай, то-то я порадовалась.

— В народе о нем осталась добрая память.

— О деньгах всегда остается добрая память.

— О красоте тоже.

Тут она снова заплакала. Захлебывающимся голосом маленькой девочки она проговорила:

— Я так мечтала побывать на Капитолии. Я хотела переехать туда жить, встречаться там со всякими знаменитостями, пользоваться сомеком. Я хотела жить вечно и оставаться красивой всегда. У меня только и было, что моя красота — денег у меня не было, образования я не получила, никакими талантами не отличалась, даже мать из меня не вышла. Знаете ли вы, что это такое, когда тебя любят только потому, что у тебя между ног все в порядке?

«Нет, — признался Хорт про себя, — но представляю, как это ужасно».

— Официально вы были назначены опекуном собственного сына. Вы могли бы забрать его с собой на Капитолий.

— Нет. Не могла. Это закон, Хорт. Деньги, заработанные на планете-колонии, должны вкладываться в развитие колонии, до тех пор пока ей не будет присвоен официальный статус. Это защищает нас от *эксплуатации* со стороны. — Она будто выплюнула это слово. — А пока мы провинциальная колония, использование сомека строго-настрого запрещено. Нас *жизни* лишают!

— Находятся такие люди, которые не желают Спать долгие годы ради нескольких лишних лет молодости, — ответил доктор Хорт.

— Таких людей лечить надо. В вашей же лечебнице, — возразила она, и он почти был с этим согласен. Вечная жизнь как-то не привлекала его. Спать целую жизнь казалось ему пустой тратой времени. Но он прекрасно знал закон. Он знал, что большинство из тех, кто выбирает колонию, либо абсолютно отчаялись в жизни, либо непроходимо тупы. Одаренные, богатые и подающие надежды стараются держаться поближе к сомеку.

— Мало того, — продолжала она, — мой чертов муженек составил официальный акт, закрепляющий порядок наследования земли и всего его состояния без права отчуждения. Если б я все-таки решилась покинуть Пампасы, мне пришлось бы улетать отсюда чуть ли не голышом.

— О!

— Вот я и застряла здесь, надеялась, что, когда сын подрастет, мы вместе что-нибудь придумаем, найдем какой-нибудь способ вырваться...

— И если б не сын, все деньги перешли бы к вам, без всякого акта. Тогда бы вы смогли продать земли какому-нибудь иномирянину и улететь.

Она кивнула и снова разрыдалась.

— Неудивительно, что вы так ненавидите сына.

— Цепи. Я прикована к этой планете до самой смерти. А годы текут и отнимают у меня единственное достоинство, которым я обладаю. Мои лицо и фигура превращаются в ничто.

— Вы все еще прекрасны.

— Мне сорок пять лет. Слишком поздно. Даже если я прямо сегодня улечу на Капитолий, уже ничего не поможет. Людям, перешагнувшим рубеж сорока одного года и ни разу не пользовавшимся сомеком, запрещено ложиться в сон. Это закон.

— Я знаю. Ну так...

— Ну так оставайтесь и наслаждайтесь жизнью здесь? Вот спасибо, доктор. Огромное спасибо. С таким же успехом я могла бы обратиться к священнику.

Она отвернулась от него и пробормотала:

— Надо же такому случиться, чтобы этот мальчишка умер именно сейчас. *Сейчас,* когда уже слишком поздно. Проклятие, ну почему он не умер хотя бы год назад?

Линкири бросил последнюю горсть земли на могилу, которую он вырыл для головы и кожи младенца, и прихлопал холмик. Слезы давным-давно высохли; капли, блестевшие на его коже, были потом, проступившим после многочасового труда под палящим солнцем — прокопаться сквозь корни травы оказалось нелегко. Неудивительно, что ваки так неглубоко похоронили кости. Был уже почти полдень, а он только закончил.

Во время работы он заставлял себя воскрешать в памяти детство и юность, вызывая воспоминания, хладнокровно препарируя их и хороня одно за другим в могилке ребенка. «Тогда, на улице, я не мать убил, я убил Зэд. Мать цела и невредима; он заходила ко мне вчера. Вот почему я бежал из госпиталя; вот почему я решил умереть. Кто-кто, а Зэд заслуживала жить. И кто-кто, а мать заслуживала смерти».

Несколько раз он ощущал нестерпимое желание свернуться в комочек и куда-нибудь спрятаться, укрыться в прохладной тени густой травы, забыть о случившемся и снова почувствовать себя пятилетним мальчиком. Но он упорно отгонял этот соблазн, упорно вспоминал факты, перебирал по косточкам историю своей жизни, а затем зарывал ее в землю.

«Ты, дитя, — думал он. — Я есть ты. Я пришел сюда прошлой ночью, чтобы умереть в траве, чтобы быть съеденным заживо, чтобы отдать кровь кровососам. Так все и слу-

чилось; ваки пожрали мою плоть, и теперь я покоюсь в земле.

Я тот, кто похоронил тебя, дитя, я тот, кем ты могло бы стать. Я человек без прошлого; у меня есть только будущее. Я начинаю жить заново, забыв мать, забыв кровь, обагрившую мои руки, отвергнутый собственный племенем и непринятый чужаками. Теперь мне суждено жить среди чужих людей, зато мою душу не будет тяготить прошлое. Я стану тобой, а следовательно, я обрету свободу».

Он стряхнул с рук грязь и поднялся. Обожженная солнцем спина горела, но он не обращал внимания. Из яиц кровососов, отложенных на стеблях травы, уже вылуплялись личинки, и новорожденные кровососы с аппетитом поедали друг друга — выживет всего несколько тысяч жучков, вскормленных плотью собратьев. Линк не стал проводить очевидных параллелей — он просто повернулся и направился обратно к городу.

Обойдя стороной ворота, он вскарабкался на забор. Электрический удар прошил его насквозь, когда он ухватился за верхнюю проволоку. Перебравшись через стену и подождав, пока умолкнут сирены, он побрел к госпиталю.

Доктор Хорт сидел в кабинете один. Перед ним стоял поднос с принесенным Грэмом обедом. Как всегда обедал он уже под вечер. Кто-то постучался в дверь. Он открыл, и в комнату вошел Линкири.

Хорт был удивлен, однако, будучи настоящим профессионалом, не показал удивления. Вместо этого он с безразличным видом следил за Линкири. Тот подошел к стулу, сел и со вздохом облегчения откинулся на спинку.

— Добро пожаловать. Рад тебя видеть целым и невредимым, — сказал Хорт.

— Надеюсь, я не причинил вам особых хлопот, — ответил Линкири.

— Как прошла ночь на равнине?

Линкири окинул взглядом свои царапины и струпья:

— Больно. Но полезно.

Секундное молчание. Хорт продолжал жевать.

— Доктор Хорт, сейчас я владею собой. Я знаю, что моя мать жива. Я знаю, что я убил Зэд. Также мне известно, что я был не в себе, когда душил ее. Я понял и принял все это.

Хорт кивнул.

— Доктор, я могу поклясться, что с головой у меня сейчас все в порядке. Я начал смотреть на мир так же, как и большинство людей, ко мне вернулась дееспособность. За исключением одного «но».

— Какого же?

— Я Линкири Дэйнол, и когда станет известно, что я могу выносить вполне разумные и осознанные решения, на мои плечи лягут заботы о внушительном состоянии и гигантском бизнесе, обеспечивающем работу большей части населения Пампасов. Мне придется жить в неком доме, расположенном в этом городе. А в доме этом вместе со мной будет жить моя мать.

— Ага.

— Доктор, мой разум не вынесет и пятнадцати минут ее общества. Я не могу жить с ней.

— Она несколько изменилась, — возразил доктор Хорт. — Я даже начал немножко понимать ее.

— Я провел с ней всю свою жизнь, у меня было достаточно времени, чтобы понять и узнать ее. Она никогда не изменится, доктор Хорт. Однако в данном случае куда более важно то, что *я* никогда не изменюсь, живя рядом с ней.

Хорт глубоко вздохнул и откинулся на спинку кресла:

— Что с тобой случилось там, на равнине?

Линкири криво улыбнулся:

— Я умер и похоронил себя. Я не могу вернуться к прежней жизни. И если мне придется провести остаток жизни в этом заведении, корча из себя сумасшедшего, я с легкостью

пойду на это. К матери я не вернусь. Если я сделаю это, мне придется как-то уживаться со всем тем, что я ненавидел все эти годы и ненавижу до сих пор. Мне придется жить с сознанием, что я убил единственного человека, которого когда-либо любил. Не самое приятное воспоминание. Мой разум не относится к тем вещам, за которые следует цепляться до последнего.

Доктор Хорт снова кивнул.

Послышался стук в дверь. Линк выпрямился.

— Кто там? — спросил Хорт.

— Это я. Миссис Дэйнол.

Линкири резко поднялся и отошел к дальней стене кабинета, подальше от двери.

— Я занят, миссис Дэйнол.

Даже толстая дверь не заглушала визгливой скрипучести ее голоса:

— Мне сказали, Линкири вернулся. Кроме того, я только что слышала, как вы там с ним говорили о чем-то.

— Оставьте нас, миссис Дэйнол, — сказал доктор Хорт. — Я дам вам знать, когда вы сможете повидаться с сыном.

— Я увижусь с ним немедленно. У меня есть приказная записка, в которой говорится, что я имею право с ним встречаться. Я получила ее сегодня днем, в суде. Я хочу повидаться с ним.

Хорт обернулся к Линкири:

— Предусмотрительная баба, а?

Линка била мелкая дрожь:

— Если она войдет, я убью ее.

— Хорошо, миссис Дэйнол. Одну секундочку.

— Нет! — выкрикнул Линкири, судорожно дергаясь и царапая стену, как будто пытаясь пролезть сквозь нее.

— Спокойно, Линк, — прошептал Хорт. — Я не подпущу ее к тебе.

Хорт открыл стенной шкаф — Линкири было кинулся внутрь, но Хорт остановил его:

— Нет, Линк, погоди.

Хорт снял с вешалки запасной костюм и чистую рубашку. Костюм, представлявший собой сшитые вместе брюки и пиджак, был немного великоват Линкири, но лишь самую малость. В принципе, сидел он нормально, и Линкири выглядел в нем приличным человеком.

— Я не знаю, что вы тянете время и чего надеетесь этим добиться, доктор Хорт, я все равно увижусь с сыном, — бушевала миссис Дэйнол. — Если через три минуты вы не откроете, я вызову полицию!

— Терпение, миссис Дэйнол, — прокричал в ответ Хорт. — Еще секундочка, и ваш сын будет готов увидеть вас.

— Чушь! Мой сын всегда рад встрече со мной!

Линкири весь дрожал. Хорт обнял юношу и крепко встряхнул его.

— Держись, — прошептал он.

— Попытаюсь, — проклацал зубами Линк, глаза его были выпучены от страха.

Хорт сунул руку в напоясную сумку, вытащил удостоверение личности и кредитную карточку и сунул Линку.

— Я постараюсь подольше не сообщать о пропаже, чтобы ты успел сесть на корабль и улететь с этой планеты ко всем чертям.

— На корабль?

— Да, лети на Капитолий. Там ты устроишься без проблем. Даже без кредитки в кармане. Таким, как ты, там всегда найдется место.

— Враки это все, и вы прекрасно это знаете, — фыркнул Линк.

— Верно. Но даже если тебя отошлют назад, когда ты вернешься, мать твоя будет давным-давно лежать в могиле.

Линкири кивнул.

— Вот тебе пульт управления дверью. Когда я скажу, нажмешь на эту кнопку.

— Нет.

— Открой дверь и впусти ее. Я постараюсь задержать ее, а ты тем временем выскочишь из кабинета и запрешь нас снаружи. Иначе как через дверь, отсюда не выбраться, а второй пульт имеется только у Грэма. Передашь ему эту записку, он сделает все, что нужно. — Хорт быстренько нацарапал коротенькое посланьице. — Он поможет тебе, потому что ненавидит твою мать почти так же, как и я. Конечно, настоящему психологу негоже говорить такие вещи, но, откровенно говоря, мне плевать.

Линкири взял клочок бумаги, пульт и, встав за дверью, прижался спиной к стене.

— Доктор, — спросил он, — а что вам за это будет?

— Нагоняй, какого свет не видывал, — ответил Хорт. — Но сместить меня имеет право лишь объединенный конгресс врачей — а эти люди сумеют совладать с миссис Дэйнол.

— Совладать?

— Видишь ли, Линк, ей нужна помощь.

Линк улыбнулся — и удивился себе, ведь это была первая улыбка за долгие месяцы. Впервые он улыбнулся с тех пор, как... С тех пор, как умерла Зэд.

Он коснулся кнопки.

Дверь плавно отворилась, и в комнату влетела миссис Дэйнол.

— Я так и знала, что этот довод подействует на вас, — изрекла она. И сразу почуяла что-то неладное. Она крутанулась на месте, но Линк уже выскочил из-за двери и так быстро захлопнул ее, что сам чуть не застрял, придавленный створкой. Мать что-то орала и барабанила кулаками по обшивке. Линк вручил записку Грэму, тот прочитал ее, внимательно посмотрел на юношу и кивнул.

— Только шевели копытами, парень, — сказал он. — То, что мы сейчас творим, некоторыми судьями расценивается как преступление. Это называется «похищение детей».

Линкири положил пульт на стол и побежал по коридору.

* * *

Он лежал в пассажирском отделении космического корабля. Голова слегка кружилась; как ему объяснили, человек, впервые подвергающийся сканированию, всегда испытывает легкое головокружение. Сигналы мозга, содержащие в себе его воспоминания, его личность, были переписаны на кассету, запертую в сейфе корабля. И сейчас он лежал на столе и ждал, когда ему введут сомек. Когда он проснется, уже на Капитолии, воспоминания будут перенесены обратно в мозг, и он будет помнить только то, что случилось с ним непосредственно до момента сканирования. А эти мгновения между сканированием и уколом будут безвозвратно потеряны для него.

Вот почему он снова вспоминал того младенца, чье теплое тельце он сжимал в объятиях. Вот почему он жалел, что не спас его, не защитил, не сберег.

Ничего, теперь я живу за него.
Черта с два. Я живу за себя.

Пришли люди и вогнали ему в ягодицу иглу. В жилы его ворвался не холодный поток смерти, но жгучий жар жизни. И когда огненная агония сомека захватила все тело, он свернулся на столе в клубок и выкрикнул:

— Мама! Я люблю тебя!

Глава 18

ЧТО МЫ БУДЕМ ДЕЛАТЬ ЗАВТРА?

Из всех жителей Капитолия только Матери дозволялось просыпаться в собственной постели, в постели, которую восемь сотен лет назад она делила с Селвоком Грэем. Она не знала, что настоящая постель превратилась в пыль много

столетий назад; ложе постоянно обновлялось и реставрировалось, вплоть до мельчайших царапинок на спинке, чтобы она могла проснуться и пару-другую мгновений понежиться в одиночестве, вспоминая прошлое.

Рядом с ней не сновали переговаривающиеся друг с другом служащие Зал. Ее не торопили, не подгоняли. Из всех жителей Капитолия только Мать получала особую комбинацию лекарств, которая делала пробуждение особенно приятным и желанным — так что на каждое ее пробуждение расходовалась сумма, равняющаяся стоимости целого корабля-колонии.

Она потянулась в постели, тело ее, практически не постаревшее, овевал прохладный ветерок. «Сколько же мне лет? — подумала она и решила, что ей, наверное, под сорок. — Я еще в самом расцвете», — сказала она самой себе и раздвинула ноги, коснувшись пятками обеих сторон кровати.

Она провела руками по обнаженному животику. Он уже начал терять свою форму и был далеко не так упруг, как в тот день, когда Селвок заехал в гости к Джерри Кроуву и между делом соблазнил его пятнадцатилетнюю внучку. Хотя кто кого соблазнил? Селвок об этом так и не узнал — ведь это Мать выбрала его. Он должен был стать человеком, который исполнит то, чего не мог добиться ни ее дед, который был слишком добр, ни отец, который был слишком слаб. Речь шла о покорении и объединении человеческой расы.

«Это была моя мечта, — произнесла она про себя. — Моя мечта, и Селвок должен был исполнить ее. Он развязал дюжины межпланетных войн, флоты под его командованием сновали во всех направлениях, но за всем этим стояла я, именно я приводила шестеренки в движение, по мановению моей руки сжигались космические корабли, флотилии разлетались во все концы галактики. Подкупом, шантажом и убийствами я добыла деньги».

Но в день, когда Селвок уже торжествовал победу, какая-то русская сволочь пристрелила его из какого-то жалкого пистолетика, и Мать осталась одна.

Она лежала на кровати и вспоминала, как его рука гладила ее плоть, такая жесткая и в то же время нежная. Она скучала по нему. Правда, ей он был уже не нужен. Ибо теперь она правила вселенной, и любое, даже самое безумное ее пожелание тотчас же исполнялось.

Дент Харбок сидел у пульта управления и следил за монитором. Мать нежилась в постели. «Вот бы пустить это представление по головидению! — подумал он. — Спустя час на всех планетах вспыхнула бы всеобщая революция. А может, и нет. Может быть, о ней и в самом деле думают, как о... как там Наб назвал ее?.. как о Матери-Земле, как о богине плодородия. Если ж она такая плодородная, почему у нее нет детей?»

В комнату вошел Наб:

— Ну что, как там старая сучка поживает?

— Мечтает о хорошем самце. Слушай, а почему у нее нет детей?

— Ты веришь в Бога? Вот и поблагодари Его за это. Так спокойнее. Вся власть во вселенной сосредоточена в руках одной-единственной женщины, которую мы должны будить ровно на один день раз в пять лет. Ни тебе семейных раздоров. Ни войн за право наследования. И никто не указывает правительству, что делать.

Дент рассмеялся.

— Давай, заводи шарманку. Нам предстоит нелегкий денек.

Зазвучала музыка, и Мать невольно вздрогнула. А, да. Время. Быть Императрицей — это вовсе не означает, что все время ты будешь утопать в роскоши и предаваться при-

ятным воспоминаниям. Как на императрицу, на тебя падает огромная ответственность. Ты должна исполнять свои обязанности.

«С тех пор как власть очутилась в моих руках, я что-то разленилась, — подумала она. — Но я должна следить за тем, чтобы шестеренки не останавливались. Я должна знать, что происходит».

Она встала и накинула на плечи простую тунику, которую носила всегда.

— И что, она действительно собирается это носить?

— Такая была мода, когда она пришла к власти. Закоренелые Спящие все так ходят — это позволяет им выделяться из толпы и сразу отличать друг друга.

— Но, Наб, она похожа на какой-то реликт периода плейстоцена.

— Зато она счастлива и довольна собой. Мы же не хотим, чтобы она сердилась.

Первым в расписании стояло знакомство с донесениями различных кабинетов. Министры должны были собственноручно составлять отчеты, а новые министры, назначенные уже после того, как она заснула, должны были предстать перед ней для личного собеседования. Так, первыми идут министр космического флота, министр наземных войск и министр, отвечающий за мирные отношения между планетами. Из их отчетов она и узнала о войне.

— Ну и с кем мы теперь воюем? — поинтересовалась она.

— Ни с кем, — невинно пожал плечами министр наземных войск.

— Ваш бюджет, сэр, удвоился, и число новобранцев увеличилось в два раза по сравнению с тем, что было вчера. Чересчур много перемен для пяти лет. Только не надо ве-

шать мне лапшу на уши, заливая об инфляции. С кем, мои дорогие друзья, мы воюем?

Они переглянулись, бешенство сквозило в их взглядах. Огонь на себя принял министр флота:

— Мы не хотели беспокоить вас подобной мелочью. Так, обыкновенный пограничный конфликт. Пару лет назад восстал губернатор Седуэя, ему удалось заручиться кое-какой поддержкой. Максимум через два года все придет в норму.

— Да, отличный из вас министр, — фыркнула она. — Интересно, как вы собираетесь за два года справиться с конфликтом, если даже на наших кораблях лететь дотуда минимум лет двадцать—тридцать?

Министру флота сказать было нечего. Тогда вступил министр наземных войск:

— Мы имели в виду, что восстание будет подавлено спустя два года после того, как на место прибудут наши суда.

— Пограничный конфликт, говорите? Зачем тогда удваивать армию?

— Ну, она была очень маленькой...

— Я покорила — мой муж покорил всю известную галактику с десятой частью тех солдат, что у вас, *сэр,* имеются. И наша армия считалась огромной. Мне кажется, вы мне лжете, джентльмены. Я думаю, вы пытаетесь что-то скрыть от меня. Война наверняка куда более серьезна, чем вы говорите.

Они запротестовали. Но даже их невозмутимые лица, испытавшие на себе все новинки пластической хирургии, не смогли обмануть ее.

Наб расхохотался:

— Говорил же им, только не врите ей. Все почему-то думают, что стареющую женщину, большую часть времени проводящую во сне, ничего не стоит перехитрить, но эта сучка чертовски умна. Спорим на пятерку, что она их выгонит.

— Разве она это может?

— Может. И непременно сделает. Это единственная власть, которой она обладает. И дураки, считающие, что справятся с отчетами и без моего совета, всегда кончают тем, что вылетают с работы.

Дент выглядел озадаченным.

— Но, Наб, если она их все-таки уволит, они же могут никуда не уходить, а посылать отчитываться своего помощника...

— Да, как-то раз один министр попробовал провернуть такую авантюру. Это случилось еще до твоего рождения, мальчик мой. Задав всего три вопроса, она поняла, что этот помощник не привык отдавать приказы, а спустя еще три вопроса разоблачила министра. Она приказала доставить беднягу, что пытался обмануть ее, к себе в кабинет и, обвинив министра и помощника в предательстве, вынесла приговор — расстрел на месте.

— Ты шутишь.

— Ага, шучу. А чтобы получше растолковать тебе соль шутки, скажу, что после этого ее целых два часа убеждали в том, что ей не стоит лично расстреливать их. Она никак не отступалась, утверждая, что должна лично удостовериться в точном исполнении приговора.

— И что потом?

— Министра и помощника лишили сомека и выслали на какую-то провинциальную планетку.

— Что, им даже не разрешили остаться на Капитолии?

— Она настояла на этом.

— Значит... значит, она действительно правит вселенной!

— Вот именно.

Министр колонизации шел последним. Его только что назначили на эту должность, поэтому он был перепуган до

смерти. По крайней мере, ему хватило ума последовать советам Наба.

— Доброе утро, — поздоровался он.

— Вы что, хотите произвести на меня впечатление? Терпеть не могу восторженные пожелания доброго утра. Садитесь. Давайте отчет.

Дрожащей рукой он передал отчет. Она быстро пробежала по нему глазами, отмечая наиболее важные места, после чего, изогнув бровь, посмотрела на министра.

— Кто придумал этот идиотизм?

— Ну... — начал было он.

— Что ну?

— Эта программа ведется уже давно...

— Давно?

— Я думал, вам известно о ней. Мои предшественники должны были сообщать о результатах в своих отчетах.

— Мне действительно известно о ней. Уникальный способ ведения войн. Разгромить противника численностью населения. Развитие колоний. Отличный план. Но плоды он начал приносить только сейчас, идиот! Итак, кто это придумал?!

— Я и в самом деле не знаю, — жалобно пролепетал министр.

Она расхохоталась:

— Тоже мне, ценный сотрудник. Не кабинет, а сборище недоумков, а ты самый тупой из всех. Хорошо, *тебе* кто рассказал об этой программе?

Он заерзал на месте:

— Мой помощник, Мать.

— Имя?

— Дун. Абнер Дун.

— Убирайся с глаз моих долой и передай лорду-канцлеру, что я хочу встретиться с этим Абнером Дуном.

Министр колонизации поднялся и вышел.

Мать осталась сидеть в своем кресле, мрачно оглядывая стены. Она начала терять контроль над ситуацией. Она чувствовала это. В прошлое пробуждение такого не было. Так, кое-какие намеки. А на этот раз ей попытались наврать сразу несколько человек.

Похоже, этим негодяям нужна встряска. «И я хорошенько здесь все перетряхну, — решила она. — Если понадобится, я прободрствую два дня. Или целую неделю». Эта перспектива возбуждала ее. Целых несколько дней бродить по дворцу — весьма привлекательная мысль.

— Приведите мне девочку, — сказала она. — Лет шестнадцати. Я хочу поговорить с кем-нибудь, кто сможет меня понять.

— Твоя очередь, Ханна, — сказал Дент. Ханна немного нервничала. — Не беспокойся, малышка. Она не извращенка, ничего такого. Просто хочет поговорить. Но помни, что тебе говорил Наб. Только не лгать. Говори правду и только правду.

— Быстрее. Она ждет, — перебил его излияния Наб.

Девушка вышла из операторской и направилась по коридору к двери. Тихонько постучалась.

— Заходи, — мягко произнесла Мать. — Заходи.

Девочка была очень миленькой, ее рыжие волосы были нежными и длинными, она смешно стеснялась и прятала глаза.

— Подойди сюда, малышка. Как тебя зовут?

— Ханна.

Так завязался разговор. Странный был разговор, в особенности для Ханны, которая всю свою жизнь провела среди детей высшего общества Капитолия. Женщина делилась с ней воспоминаниями, а Ханна не знала, что сказать. Однако довольно быстро она поняла, что говорить, собствен-

но, ничего и не надо. Надо только слушать и временами поддакивать.

А спустя какое-то время интерес стал непритворным. Мать представляла собой реликт давно ушедших дней, того необычного времени, когда на Капитолии еще росли деревья, а сама планета называлась Кроув.

— Ты девственница? — поинтересовалась Мать.

Только не лги, вспомнила Ханна.

— Нет.

— Кому ты отдалась?

Какая разница? Все равно она его не знает.

— Одному художнику. Его зовут Фриц.

— Ну и как он?

— Все, что он делает, прекрасно. Его картины продаются...

— Я имею в виду, как он в постели?

Ханна залилась краской:

— Это было всего один раз. Я проявила себя не с лучшей стороны. Он был добр со мной.

— Добр! — презрительно фыркнула Мать. — Добр... В мужчине главное не доброта.

— Неправда, — вспыхнула Ханна.

— Моя дорогая, если мужчина добр, это означает, что он пребывает в плену у собственных чувств. Ты упустила отличную возможность. Я отдала свою девственность Селвоку. Для тебя, девочка, это уже история, но мне кажется, что это случилось вчера. Уже тогда я была расчетливой маленькой стервочкой. Я твердо знала, что тот, кому я отдамся, будет у меня в неоплатном долгу. И когда я увидела Селвока Грэя, то сразу поняла, что именно этому мужчине я хочу принадлежать.

Я заманила его на конную прогулку. Ты никогда не видела лошадей, на Капитолии их больше не осталось, а жаль. Проехав несколько километров, я попросила его расседлать лошадей. Спустя еще несколько километров я заставила его

раздеться и разделась сама. Это ощущение ни с чем не сравнится — мчишься на лошади, а твои обнаженные груди овевает ветер... А потом, до сих пор не могу поверить в это, я пустила лошадь рысью. Мужчины терпеть не могут ездить рысью, даже когда под ними седло, а без седла и без одежды бедный Селвок весь измучился. Тряска чуть не кастрировала его. Но он был слишком горд, чтобы жаловаться. Лишь крепче вцепился в поводья. Лицо его было белее мела. Наконец я пожалела его и пустила лошадь во весь опор.

Я словно летела. Мускулы лошади, сокращающиеся у тебя между ногами, похожи на нежные пальцы любовника. Когда мы наконец остановились, и он, и я были с головы до ног покрыты лошадиным потом, но он так возбудился, что не мог ждать ни секунды. Он взял меня прямо на камне утеса. Тогда на Кроуве еще встречались утесы. Нельзя сказать, что я была шикарна, ведь для меня все было в новинку, но я знала, что делаю. Я так возбудила его, что он даже не заметил моей беспомощности. А своей кровью я залила все вокруг. Он был невероятно нежен со мной. Обратно мы возвращались не торопясь, я не могла оседлать лошадь нормально. Мы отыскали одежду и перед самым домом еще раз занялись любовью. После этого он не мог меня бросить. У него была уйма женщин, но каждый раз он возвращался ко мне.

Этот мир был невероятно далек от Ханны. Она не представляла себе, как это можно оседлать животное, проскакать на нем многие километры по *безлюдной равнине,* а затем заняться любовью на *утесе.*

— По-моему, это должно быть очень больно, заниматься любовью на голом камне? Он, наверное, впивается в тело?..

— Чертовски больно. После этого я несколько дней подряд выковыривала крошку из спины, — рассмеялась Мать. —

Ты слишком легко отдалась. Могла бы приберечь себя для большего.

Ханна с тоской посмотрела на нее:

— Теперь таких мужчин уже не осталось.

— Ханна, девочка моя, ты сама себя обманываешь. Да таких мужчин вокруг сколько угодно.

Они проговорили еще час, но потом Мать вдруг вспомнила, что у нее еще есть дела, и отослала девочку.

— Молодец, Ханна. Ты настоящая актриса.

— Все оказалось не так страшно, как я думала, — ответила девушка. — Она мне даже понравилась.

— Ага, очень милая дамочка, — расхохотался Дент.

— Это действительно так, — начала оправдываться Ханна.

Наб пристально посмотрел ей в глаза:

— Своими собственными руками она убила несколько десятков человек. И приговорила к смерти еще сотни и сотни. Это не считая войн.

— Значит, они заслуживали смерти! — рассердилась Ханна.

Наб улыбнулся.

— Да, старая паучиха не разучилась ткать сети. Ловко она тебя поймала. Ладно, не важно. Теперь ты имеешь право пользоваться сомеком, на три года раньше положенного. Наслаждайся жизнью. Только одной девушке раз в пять лет выпадает возможность встретиться с Матерью. Но рассказывать об этом ты не имеешь права.

— Знаю, — сказала она. И неожиданно расплакалась. Может быть, потому, что за время разговора успела полюбить Мать. А может, потому, что лошадей на Капитолии больше не осталось, и в первый раз она узнала, что такое любовь, в родительской спальне, когда ее предки ушли к

кому-то в гости. У нее словно что-то украли, она не могла отдаться по собственной воле на камнях утеса, омываемая солнечными лучами. Она нарисовала в уме картину утеса. Представила себя, стоящую на вершине и смотрящую вниз. Под ней раскинулась глубокая пропасть. Бесконечные метры скалы скрывались в туманной дымке. Она встряхнула головой, прогоняя видение. Утесы остались в далеком прошлом.

— Значит, вы и есть Абнер Дун.

Он кивнул. Рука его не дрожала. Он твердо смотрел на нее. Глаза, казалось, видели ее насквозь. Она начала испытывать некоторое неудобство. Мать не привыкла к тому, чтобы ее эдак беспардонно рассматривали. Она попыталась внушить себе, что взгляд его полон дружелюбия.

— Насколько я поняла, это именно вы придумали колонизировать планеты прямо у врага за спиной.

— Мне это показалось разумным выходом из положения. Мы положили конец ненужным смертям.

— Враг отступает перед количеством колонизированных планет. Должна сказать, это весьма оригинальная мысль. — Она подперла голову рукой и подумала, почему же ей так не хочется нападать на этого человека. Может быть, потому, что он ей понравился. Но она прекрасно изучила себя, чтобы обмануться этим заманчивым предположением — она не нападала, потому что не была уверена, куда именно ей следует нанести удар. — Скажите мне, Абнер, насколько широко распространилось влияние врага.

— Примерно на одну треть населенных планет, — ответил Дун.

Дент задохнулся от изумления, затем в бешенстве развернулся к Набу:

— Он сказал ей! Взял и сказал! Лорд-канцлер голову ему оторвет.

— Никто ему ничего отрывать не будет. Не знаю, как ему это удалось, но он и эта девчонка, Ханна, — они сумели понять ее. Правило одно: будь точен, даже когда лжешь.

— Но он все испортит!

— Нет, Дент. Испортили все другие министры. Зачем же ему тонуть вместе с ними? Этот тип оказался изворотливее, чем я думал.

Она продержала Дуна целых пятнадцать минут — неслыханно, даже настоящие министры, и те редко когда удостаивались столь длительной беседы. За дверью лорд-канцлер сходил с ума от беспокойства.

— Мистер Дун, вы невероятно маленького роста, вас это не беспокоит?

Наконец-то этот Дун был захвачен врасплох, и она порадовалась своей маленькой победе.

— Маленького роста? — переспросил он. — Да, вообще-то я невысок. Но эта область мне неподвластна, поэтому я даже не думаю об этом.

— А что вам подвластно?

— Одна из секций министерства колонизации, отвечающая за пункт приписки колонистов, — отрапортовался он.

— Но это же далеко не полный перечень ваших возможностей, мистер Дун, я не ошиблась? — рассмеялась она.

Он по-птичьи склонил голову набок:

— Вы действительно хотите, чтобы я ответил на этот вопрос?

— О да, мистер Дун. И я с нетерпением жду ответа.

— Только я не отвечу, Мать. Во всяком случае, не буду отвечать здесь, в этой зале.

— Почему же?

— Потому, что в специальной комнатке сидят двое человек, которые прослушивают весь наш разговор и записывают на камеру все наши действия. Я смогу говорить откровенно, только когда мы останемся наедине.

— Я запрещу им подслушивать.

Дун улыбнулся.

— А, понимаю. Может, я и правлю Империей, но не всегда моим приказам следуют, это вы хотите сказать? Ладно, посмотрим. Покажите-ка мне эту комнатку.

Дун поднялся и вышел, она последовала за ним.

— Наб, Наб! Он ведет ее прямо сюда! Что нам делать?

— Веди себя естественно, Дент. И постарайся не наблевать на петлекамеру.

Дверь распахнулась, и Дун, отступив в сторону, пропустил Мать в комнату.

— День добрый, джентльмены, — кивнула она.

— Добрый день, Мать. Меня зовут Наб, а эта перетрусившая тварь в углу — мой помощник, Дент.

— Так вот, значит, кто меня слушает и исполняет каждое мое пожелание.

— Стараемся. — Наб был сама уверенность.

— Мониторы. Телевидение! Надо же, как необычно!

— Мы решили, что петлекамеры здесь несколько неуместны.

— Дерьмо собачье, Наб, — мило проворковала Мать. — Вон одна из петлекамер.

— Это специально для записи исторических моментов. Никто не просматривает эти петли.

— Что ж, я рада, что наконец узнала, насколько внимательно за мной следят. Впредь во время утреннего туалета постараюсь быть поосторожнее. — Она повернулась к Дуну. — Что вы можете предложить? У меня такое

впечатление, что, очутись мы сейчас в лесу, за нами будут следить птицы и шпионить деревья.

— Ну, на самом деле, — произнес Дун, — есть у меня одно местечко. Самый настоящий лес с живыми птицами и настоящими деревьями. Единственный на всем Кроуве.

— Что, птицы и вправду живые? — поразилась она.

— Живехонькие, так что, когда будете там, остерегайтесь сюрпризов сверху. И смотрите под ноги.

— Ну так что же вы?! Отведите меня туда! — срывающимся от нетерпения голосом проговорила она. И повернулась к Набу с Дентом. — А вы двое пока демонтируйте эту петлекамеру. Можете подслушивать, подсматривайте на здоровье, но никакой записи. Поняли меня?

— К вашему возвращению все будет исполнено, — вытянулся в струнку Наб.

— Наб, вы ж даже пальцем не шевельнете, — фыркнула она. — Вы что, думаете, я дура?

И вышла в услужливо распахнутую Дуном дверь.

Когда дверь захлопнулась, Дент опрометью бросился к корзине для мусора и склонился над нею в три погибели. Наб бесстрастно наблюдал за ним.

— Эх, Дент, ничему-то ты не научился. Нашел, понимаешь, кого бояться.

Дент только покачал головой и вытер губы. Желудочная кислота огнем ела рот и горло.

— Пойди, позови технарей. Мы должны перенести камеру в другое место. Да, и высверлите пару дырок в стенах, пускай ими займутся рабочие. Надо создать впечатление, будто лазеры все убраны. И побыстрее, мальчик мой!

У двери Дент остановился.

— А что будет с этим Дуном?

— Ничего. Он понравился Матери. Мы будем использовать его каждый раз, когда потребуется привести ее в хорошее настроение. Этот человек пустое место.

* * *

Мать замечала, как поднимается настроение Дуна, когда, окруженные толпой телохранителей, они следовали по коридорам, которые загодя специально расчистили для них. Наконец они остановились у какой-то двери, и Дун приказал Маменькиным Сынкам пойти пока где-нибудь погулять.

— Это должно быть здорово, Дун, — сказала Мать. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, как это здорово.

— Да, идти стоило. Хотя, наверное, в детстве вы забредали куда дальше, — ответил он.

— О, я убегала за многие километры от дома, — мечтательно улыбнулась она. — Какое чудесное слово. Услышав его, словно наяву вспоминаешь, как когда-то носилась по холмам вверх-вниз. Слово, которое таит в себе путешествие. Километры. Покажите мне наконец это место, где птицы поют на деревьях.

И Дун открыл дверь.

Она быстро вошла, затем шаг ее замедлился, и вот она остановилась. Помедлив в нерешительности, она медленно пошла между деревьев, скинула туфли и зарылась пальцами ног в траву и влажную почву. Мимо порхнула птичка. Ветерок играл ее волосами. Она расхохоталась.

Продолжая смеяться, она прислонилась к дереву, провела руками по коре, сползла по стволу и уселась прямо на траву. Над ее головой ярко светило солнце.

— Как вам это удалось? Где вы откопали этот клочок земли? Последний раз я ходила босиком по земле, когда мне было двадцать, и было это в одном из последних парков Капитолия.

— Это все ненастоящее, — ответил Дун. — Вернее, не все. Деревья, птицы, трава — они настоящие, но небо — это купол, а солнце — всего лишь иллюзия. Хотя вы можете обгореть.

— На солнце я покрывалась веснушками. Но при этом всегда говорила: «К черту веснушки, я поклоняюсь солнцу!»

— Понимаю, — кивнул Дун. — Остальным я говорю, что здесь воссоздано одно местечко на планете Сад. Там давным-давно не принимают иммигрантов, а промышленность сведена к минимуму. Но вы-то знаете, что это такое на самом деле.

— Кроув, — произнесла она. — Мир моего деда! Такой была эта планета до того, как ее заковали в металл. Сталь опоясала ее, подобно громадному поясу целомудрия, навсегда изгнав отсюда жизнь. О Дун, я дам вам все, что пожелаете, только позвольте мне приходить сюда. Вы получите все, что угодно, если в каждое пробуждение я буду проводить здесь по нескольку часов!

— Я буду рад принимать вас здесь. Но, надеюсь, вы понимаете, что это означает.

— Вы же все равно чего-то добиваетесь от меня, — парировала она.

— Хотите искупаться? — улыбнулся он.

— Здесь есть вода?

— Озеро. С кристально чистой водой. Правда, немного холодноватой.

— Где?!

Он провел ее к озеру. Она без малейших колебаний сбросила одежду и нырнула. Дун нагнал ее посредине озера, она плыла на спине, любуясь проплывающим по небу облаком.

— Наверное, я умерла, — сказала она. — И очутилась в раю.

— Вы верующая? — удивился Дун.

— Да. Но верующая в себя. Каждый человек создает свой собственный рай. И насколько я вижу, Дун, ваш рай удался на славу. Ну, Дун, должна вам сказать, вы мне понрави-

лись. Все остальные, с кем я переговорила сегодня, полные задницы.

— Я не стремлюсь к вершинам власти.

Она усмехнулась и, взмахнув руками, перевернулась. Дун качался на спине рядом с ней, и слова смешивались с шумом воды, плескающейся вокруг них.

— А теперь полный перечень, мистер Дун, — сказала она.

— Ну, — начал он, — как я уже говорил, мне принадлежит один из отделов министерства колонизации.

— Дальше.

— А также все остальные отделы министерства. Плюс все остальные министерства.

— Все до единого? — спросила она.

— В большей или меньшей степени. Хотя этого никто не знает. Я просто владею людьми, которые владеют теми, кто управляет этими министерствами. Так что неотложных дел у меня не так уж и много.

— Умный ход. Пускай себе думают, что свободны. А дальше?

— Дальше?

— Ну, дальнейший список.

— Это все. Министерства. А уже министерства управляют всем остальным.

— Не всем. Сомек в их компетенцию не входит, — поправила она.

— Ах да, независимый, недостижимый институт. Одна лишь Мать имеет право устанавливать правила в Сонных Залах.

— Но вы и им завладели, не так ли?

— Вообще-то сомек был моей первой целью. Он позволил мне решать, кого и когда будить. Очень полезный рычаг. Кроме того, теперь я могу избавляться от нежелатель-

ных мне людей. Если они слабы, я перевожу их на самые нижние уровни сомека, и они быстро умирают. Или наоборот, закидываю на самый верх — это если они достаточно сильны. Таким образом, они не вертятся у меня под ногами.

— Так, значит, это вы правите империей?

— Верно, — ответил Дун.

— И вы привели меня сюда, чтобы убить?

Плеснув водой, Дун перевернулся на живот.

— Надеюсь, на самом деле вы так не думаете? — с тревогой спросил он. — Я бы никогда не осмелился поднять на вас руку, никогда. Я слишком вами восхищаюсь. Я построил свою жизнь на примере вашей. Вы ведь с самого начала управляли империей, тогда как все думали, что настоящий император — ваш муж, Селвок, этот озабоченный самец.

— Ну, от самца в нем было не так уж и много, — возразила Мать. — Во всяком случае, ребенка он так и не зачал.

— Именно, Мать. Поэтому вы единственная, кто может остановить меня. И я знал, что рано или поздно вы поймете, кто я такой и к чему я иду. Я с нетерпением ждал этой встречи.

— Неужели? К сожалению, для меня она явилась полным сюрпризом.

— Ну да? — Дун кролем поплыл к берегу и вылез из воды. Немного погодя Мать последовала за ним. Выйдя на берег, она обнаружила его лежащим в траве.

— Вы правы, — призналась она. — Я давно ждала встречи с вами. С тем вором, который отнимет у меня все, что я имею.

— Не все, — поправил ее Дун. — И я не вор. Всего лишь наследник.

— Я намереваюсь жить вечно, — сказала она.

— Если все пойдет, как я планирую, ваша мечта осуществится.

— Но вам же не просто нужна моя империя, Дун. Вы не хотите просто наследовать.

— Можете считать это трамплином. Если б вы не построили эту империю, мне бы пришлось строить все самому. А так как империя уже построена, я должен буду разрушить ее и на ее останках возвести что-нибудь лучшее, более надежное, чем это.

— Более надежное, чем эта империя? — удивилась она.

— Неужели вы не чувствуете запах разложения, витающий в воздухе? На этой планете нет ничего живого. Все мертво, все бесследно сгинуло. Люди. Атмосфера, камень. И вся Империя такая. Я собираюсь поддать ей жару.

— Поддать жару! — хихикнула она. — Так говорили старики, когда я была еще совсем маленькой!

— Я изучаю прошлое, — сказал Дун. — Прошлое будет в новинку в этом мире. Вы великая женщина. Вы создали прекрасную империю.

Она была счастлива. Солнечные лучи грели ее спину впервые за десятки лет (на самом-то деле с тех пор прошли века, но она все это время проспала и даже не заметила этого); она купалась в чистой воде; кроме того, она познакомилась с человеком, который, может быть, очень может быть, способен сравниться с ней.

— Чего вы хотите от меня? Сделать вас лордом-канцлером? Выйти за вас замуж?

Дун отрицательно помотал головой, отвергая предложенное:

— Дослушайте меня до конца. Не препятствуйте мне. Не давите на меня. Мне нужно еще несколько столетий, и тогда все рухнет.

— И все-таки я еще могу остановить вас, — заметила она.

— Знаю, — ответил он. — Но прошу вас не делать этого. Вас никто не мог остановить. Я хочу, чтобы вы позволили мне испытать собственные силы.

— Договорились. Но вы тоже должны кое-что пообещать мне.

— Что же?

— Когда вы исполните задуманное и все — как вы сказали — рухнет, возьмите меня с собой.

— Вы серьезно?

— В той вселенной, которую вы собираетесь построить, нет места Матери, Абнер.

— Но, может быть, там найдется местечко для Рэйчел Кроув?

Имя прозвучало, подобно раскату грома. Никто не называл ее по имени с тех пор... с тех пор как...

Она снова превратилась в девушку, и мужчина, равный ей, лежал рядом. Она потянулась к нему, обвила его тело руками и прошептала:

— Возьми меня с собой. Возьми меня.

Что он и сделал.

Они лежали в траве и смотрели на закат. Она испытывала такое удовлетворение, которого не ведала даже тогда, на утесе планеты Кроув, в тот самый день, когда началась ее карьера покорительницы. Только на этот раз покорили ее, она знала это и была совсем не против.

— Когда я буду просыпаться, — сказала она, — каждый раз ты должен будешь посвящать меня в свои планы. Ты должен показывать, что ты построил, и все объяснять.

— Хорошо, — согласился он. — Но ты не будешь пытаться исправить сделанное мной.

— Я даже думать об этом не буду. Ведь я нарушу наш договор.

— А ты не очень хороша в сексе, — сказал Дун.

— Ты тоже, — рассмеялась она. — Да и какого черта? Кому какое дело?

* * *

Мать вернулась всего за полчаса до своего церемониального появления на Дне Пробуждения Матери, вечеринке, которую устраивало высшее общество Капитолия. Наб рвал и метал.

— Вы только подумайте, сколько беспокойств вы нам причинили!

Она посмотрела на него искоса и нахмурилась:

— Я провела день в хорошей компании. А вы?

Наб бросил взгляд на Дента:

— Боюсь, что не очень.

Дент нервно захихикал.

— Какого черта, парень? — зарычала на него Мать. — Ты что, вообще не умеешь сердиться? Господи, какая скука, когда все вокруг скачут на задних лапках! Ну, вечеринка уже началась? Где мой нынешний наряд?

Принесли платье, и семь женщин помогли ей одеться. Она с изумлением посмотрела на открытую грудь:

— Что, сейчас такая мода?

Наб покачал головой:

— Скажем так, оно чуть более скромное, чем сейчас принято. Мне показалось, что сегодня вам захочется надеть что-нибудь вроде этого...

— Мне? Скромное? — Она расхохоталась. — О, это лучшее пробуждение из тех, что я помню. Лучшее за долгие-долгие годы, Наб. Ты можешь остаться, но мальчишку уволь. Найди себе помощника посмышленее. Этот парень — задница. Да, и пришли мне лорда-канцлера.

Вошел канцлер, кланяясь как заведенный и бормоча извинения за неудачные отчеты некоторых министерств.

— Все пытались лгать мне, — сказала она. — Вот и увольте всех до единого. Хотя нет, министра колонизации оставьте. И его помощника. Эти двое произвели на меня впечатление. Их не трогайте. А что касается непосредственно

вас, чтобы больше в отчете врак не было. Понятно? Если уж приходится лгать, так делайте это убедительно. А этим россказням даже пятилетний мальчишка не поверил бы.

— Я никогда не осмелюсь лгать вам, Мать.

— Я прекрасно понимаю, что Императрица я всего лишь номинально. Поэтому, мальчик мой, не надо меня опекать. Лучше проконтролируйте, чтобы отчетов о плохой работе министерств было поменьше. Понятно?

— Все понял.

— А этот помощник министра колонизации, он умный парень. Я хочу, чтобы в следующий раз, когда я проснусь, он был готов к новой встрече со мной. И не вздумайте лишить его работы. Я, конечно, слишком к нему добра, но он мил.

Канцлер кивнул.

— А теперь возьмите меня под руку. Черт с ним, с расписанием. Мы отправляемся на вечеринку.

Наб проводил ее взглядом.

— Я что, действительно уволен? — уточнил Дент.

— Да, юноша. Я же предупреждал тебя. Будь естественным. Жаль. Из тебя мог выйти толк.

— Но что мне теперь делать?

Наб пожал плечами.

— Уволенным самой Матерью работа всегда найдется. Не беспокойся.

— Я хочу убить ее.

— Почему? Она оказала тебе большую услугу. Теперь тебе не придется смотреть каждый раз, как она из себя корчит невесть что. Сука. Жаль, что она десять лет не Спит.

— Так вы действительно ее ненавидите? — удивился Дент.

— Ненавижу? Думаю, да. — И Наб отвернулся. — Убирайся, Дент. Если она снова увидит тебя здесь, то и меня уволит.

Дент ушел, а Наб подошел к спискам и выбрал еще одного дурака, который обязательно раздразнит Мать. Помощник очень важен. Чем он глупее, тем выгоднее он оттеняет Наба.

«Ненавижу ли я ее?» — подумал Наб.

Он не знал. Помнил только момент ее пробуждения, когда она обнаженная лежит на постели. Тогда он чувствовал отнюдь не ненависть.

Вечеринка была долгой и занудной, впрочем, как и всегда. Но Мать прекрасно знала, насколько это важно — временами появляться на людях. Ее должны видеть каждое пробуждение, в строго определенный день, иначе когда-нибудь она исчезнет, и никто не заметит ее отсутствия. Поэтому она ходила кругами по залам, знакомилась с девушками, которые только-только начали пользоваться сомеком, отшивала щеголей и хлыщей, которые вечно вертелись вокруг двора, раскланивалась со стариками и старухами, с которыми впервые повстречалась несколько столетий назад, когда они были молодыми.

Она казалась всем эдаким живым укором. Какого бы уровня сомека они ни достигли, как бы высоко ни поднялись, она все равно была выше. И сколько бы столетий они ни прожили, им никогда не увидеть ее стареющей. «Я буду жить вечно», — напомнила она себе.

Но здесь, среди людей, которые искренне верили в важность этой вечеринки, мысль о вечной жизни только угнетала.

— Я устала, — обратилась она к канцлеру. Тот сразу махнул кому-то рукой, и оркестр заиграл какую-то мелодию, пришедшую из седой древности («Она считалась старинной, еще когда я была маленькой», — подумала она), и гости выстроились в шеренги. Около часа она прощалась со всеми, и придворные наконец разошлись.

— Закончилось, — вздохнула она. — Наконец-то. Слава небесам.

И направилась наверх, к себе в комнату. Наверняка рабочие еще стучат там молотками, стараются. Делают вид, якобы демонтируют петлеоборудование. Ее всегда интересовало, неужели они считают, что ее так легко обмануть? И этот Наб, хитрая сволочь. Подлец, конечно, но... С такими лучше всего иметь дело. Ничего, ближайшее время он будет под рукой.

Она опустилась на краешек кровати и принялась расчесывать волосы. Не потому что они спутались, просто у нее было хорошее настроение. Она взглянула на себя в зеркало и с гордостью отметила, что тело ее еще в форме. Еще желанна, хоть уже и не молода. «Подходящая пара для Дуна, — сказала она себе. — Подходящая пара для любого мужика, вот только большинство мужчин в подметки мне не годятся. Я играла в их игры и выигрывала. Даже если моя власть лишь фикция, с этой фикцией следует быть осторожным. А Дун...» Он за нее. Ее сторонник. Ему можно доверять.

Ой, можно ли?

Она лежала на кровати и смотрела на потолок, на фреску, в точности повторяющую одну из тех, что еще много веков назад рассыпались в пыль на планете Земля. Обнаженный мужчина протягивал руку, пытаясь коснуться пальца Бога. Она точно знала, что это Бог, поскольку он был самым ужасным существом, нарисованным на потолке. Это Бог и никто другой. «Вот и я такой была, — подумала она. — Я тоже была творцом. Касанием пальца я оживляла планеты. Теперь меня сменил Дун. Хватит ли во вселенной места нам двоим?»

«Я посторонюсь, — решила она. — Никогда я не посмею угрожать ему. Потому что он может выиграть, и это будет ужасно, но еще более ужасный конец ждет всех нас,

если выиграю я. Потому что я ленива, со мной покончено, а он в самом начале пути. Так будем же союзниками, он доверится мне, я доверюсь ему, и тогда я увижу, как во вселенной родится нечто новое. Возможно, более совершенное, чем мое творение».

— Может, и ты надеялся на это? — спросила она бородатого мужика на потолке. — Надеялся, что когда-нибудь кто-то сменит тебя? Или наоборот, каждый раз ты жестоко расправлялся с конкурентами, когда они начинали угрожать твоему величию?

Она вспомнила сказание о людях, которые хотели построить башню и добраться таким образом до звезд. Насколько она помнила, Бог остановил их. «И все-таки мы достали до звезд, но тебя там уже не было. Ты освободил место для нас. Подвинусь и я, уступая место Дуну. Но черт меня подери, я на кусочки его разорву, если он не исполнит данное мне обещание».

— Сука заснула, Крэйн. Зови служащих.

Новый помощник, а точнее, помощница, нервная девочка, которая долго на этом месте не задержится, вызвала персонал Сонных Зал. Они быстро и очень тихо прошли в комнату, переписали мозг Матери на кассету и ввели ей сомек. Когда Мать заснула, Наб вышел из комнаты.

— Дайте мне кассету, — сказал он. И они беспрекословно вручили ему кассету, поскольку именно он всегда запирал ее в специальное хранилище. Затем служащие вывезли Мать из спальни, дабы уложить ее в специальный гробик в сверхсекретной Сонной Зале, находящейся в противоположной части Капитолия. С надежной охраной вокруг.

Но разум ее находился в руках Наба. По ее виду он понял, что она переспала с Дуном. Что у этого типа на уме, Наб понятия не имел, но она переспала с ним, он ей понра-

вился, и в следующее пробуждение она снова собирается встретиться с ним. Что ж, у Наба в руках ее кассета. Он ведь может случайно уничтожить ее. И когда она проснется, то не будет ничего помнить о происшедшем. Служащим Зал придется довольствоваться старой записью, той, которую они использовали в этот раз.

«Стереть кассету не составит труда», — подумал он и направился к себе в кабинет.

— Иди домой, Крэйн, — сказал он. — Я все закрою.

— Ну и денек, — сказала Крэйн на прощание.

Наб выждал, пока дверь закроется, и отыскал у себя в столе петлестиратель. Он годится и для сомеккассеты. И Наб непременно исполнил бы задуманное, если б не игла, вылетевшая из дула пистолета и убившая его на месте.

Маменькины Сынки вынесли тело и избавились от него, а кассета с записью мозга Матери была помещена в потайной сейф, охраняемый специально отобранными людьми, которые никогда в жизни не посмеют повредить императрице. Дело было закрыто. Но как Абнер Дун узнал о том, что готовится предательство? Этот человек был сущим спрутом, его щупальца проникали повсюду. Вот почему Маменькины Сынки беспрекословно повиновались ему. Он никогда не ошибался.

Мать вовсе не спала, она слышала легкий гул приборов, когда ее мозг переписывали на ленту. Она просто притворялась, покорно снося все процедуры.

«Сегодня я встретила своего преемника и первого мужчину, с которым изменила Селвоку. Сегодня я уволила всех своих министров, потому что они дураки и обманщики. Сегодня я снова побывала на Кроуве, снова увидела его былую красу».

Сегодня отличалось от вчера. Отличалось от последних трех недель. От последних восьми месяцев.

Восемь месяцев назад. Всего восемь месяцев назад, всего тысячу лет назад, она решила Спать пять лет кряду и жить лишь один день. Таким образом ей была гарантирована практически вечная жизнь. В тот день, увидев первую морщинку на лице, она поняла, что тоже стареет, как и все остальные. Поэтому она решила прыгнуть через века, лишь изредка наведываясь в настоящее время, чтобы посмотреть, не случилось ли чего-нибудь такого, ради чего стоило жить.

И сегодня это случилось.

«Интересно, что мы будем делать завтра?» — подумалось ей.

СКАЗАНИЯ ЛЕСА ВОД

1/1 18"

Посвящается Пегги Кард, которая уверовала в эти истории еще до того, как они были написаны.

Проходили столетия, Язон Вортинг Спал. Дети же его жили — и год от года менялись — на некой странной ферме, расположенной глубоко в Лесу Вод. Некоторые из этих историй были рассказаны в «Хрониках Вортинга», но то был краткий пересказ. Такими они запомнились будущим поколениям. А вот эти сказания целиком.

Глава 19

ФЕРМА ВОРТИНГА

Илия стоял в пыли Фермы Вортинга и вытирал с лица струйки горячего пота. Прилипшие к руке комья земли превращались в липкую грязную массу — и сразу становились прежней пылью. Пот на его лице был единственной влагой на этом поле. Илия поднял пустые ведра и побрел к реке.

Это был темный мир, и Западная река вырывалась из самых глубин его, пробиваясь сквозь густую черноту почвы и журча в дремучих лесах. Совсем недавно сначала на западной оконечности реки, а затем и на восточной возникли города, пронзив кров зеленой листвы; то там, то здесь кусочек леса вдруг куда-то пропадал, а на крошечной полянке появлялся домик и поле пшеницы. В других, далеких землях давным-давно существовали большие города, столетиями развивались и шли по пути цивилизации разные народы, но до сих пор эти веяния не касались Леса Вод. От самых Небесных гор и вплоть до раскинувшегося на юге моря Стипока правил лес, и люди, жившие здесь, были бунтарями, отчаянно воюющими с господством местного владыки.

Возникшие города — Хакс и Линкири — казалось, должны были раз и навсегда свергнуть с трона этого заносчивого правителя. Однако в самом сердце мира кто-то неведомый понимал, что решающий бой еще не состоялся, что это будет битва не на жизнь, а на смерть и что лес должен освободиться от людей, чтобы выжить и править вечно.

У леса было одно только оружие, которым он мог сражаться. Зимой земли не коснулось ни единой снежинки, и даже весной Лес Вод не получил желанной небесной влаги. Корни деревьев уходили на неведомую глубину, где и черпали запасы прошлогодней воды. Корни пшеницы быстры, но так глубоко погружаться они не могли, и зерно обращалось в пыль.

Уровень воды в реке понизился как никогда прежде, да и сама река теперь текла медленно, лениво, а воды ее приобрели густой коричневый цвет. Илия наполнил ведра и, расплескивая воду во все стороны, потащил их на Ферму Вортинга. Дойдя до поля, он остановился. Стебли пшеницы едва только поднялись над землей, а уже чуть ли не почернели на солнце. Лишь кое-где еще виднелись прожилки живого зеленого цвета.

Илия опустил руку в ведро и плеснул воды на стебельки всходов. Капли тут же смешались с пылью, по их поверхности побежала поволока, они перестали блестеть и сгинули без следа. Илия давным-давно оставил бесполезные попытки поливать всходы водой из реки. Даже сотня здоровых мужчин не смогла бы натаскать достаточно воды, чтобы вернуть это поле к жизни. Вода предназначалась Алане, Джону и маленькому Уорину. И Илие. Они нальют ее в котел, повесят над очагом и тщательно прокипятят. Это и будет их ужин — суп, чай, мясная похлебка, в зависимости от того, в какой последовательности опускать в кипящую воду вырытые Аланой в лесу корешки и кусочки мяса убитого Илией зайца. Ферма же не приносила семье ровным счетом ничего.

Но это была Ферма Вортинга, и место Илии было именно здесь.

— Ферма Вортинга, — беспрестанно повторяла его старая бабушка, вгоняя юного Илию в сон, — это самое важное место в мире. Ради этого клочка земли Язон вдохнул в

Ледяных Людей жизнь. Мы хранители Фермы Вортинга — в этом наша слава и власть. Если ты оставишь ее, мир погибнет, и ты сам вскоре познаешь темную смерть, из которой никто тебя не пробудит, — сказала бабушка и пристально посмотрела на Илию своими голубыми глазами, чистыми, яркими. Илия поднял на нее такие же голубые глаза и без труда выдержал ее взгляд.

Ни разу в жизни он не отводил глаз. Не отводил их, когда поля зимой покрылись коркой замерзшей коричневой земли и Алана начала бормотать, что зерно, мол, так не вызреет. Смело смотрел вперед, когда весной чернела свежевспаханная земля, а дождей, которые бы напоили жаждущую почву, все не было и не было. Тогда люди попробовали таскать воду из реки. Неделями по десять раз на дню — сначала к реке, затем обратно с тяжелыми, полными ведрами; корни приходилось поливать бережно, осторожно. Наконец на поверхность пробились хрупкие зеленые стебельки. Но в течение целых двух дней этого никто не замечал: Илия и мальчики выхаживали Алану, которая чуть до смерти не надорвалась, таская тяжеленные ведра. Утром, когда лихорадка, терзающая Алану, немного отступила, Илия вышел из дома и посмотрел на устланное зеленым ковром поле. Тогда-то он и понял, что так или иначе всходы все равно погибнут. Людям не перетаскать на своих плечах того, что должен приносить дождь.

Илия поднял ведра и зашагал прямо по полю. Стебли под его ногами громко хрустели. Там, где он проходил, еще по меньшей мере полчаса висело густое облако пыли — сухим безветренным днем оно медленно оседало обратно на землю.

Подойдя к дому, он заметил, что на поверхности воды в ведрах плавает тоненькая корочка пыли. Он осторожно вычерпал ее ложкой и вылил воду в большой котел, который повесил на огонь.

— А попить можно? — спросил Уорин. Четырехлетний малыш намочил штанишки, и на его попе красовалась огромная грязевая лепешка. — Пить хочется.

Илия ничего не ответил. Отрезая от тушки зайца кусочки мяса, он бросал их в котел.

— Честно, я пить хочу.

«Вода грязная, — подумал Илия. — Подожди, пока не вскипит». Но вслух ничего не произнес. Уорин, так и не дождавшись ответа, пошел на улицу играть. Илия вздохнул. Его вздох эхом отозвался в противоположном конце комнаты. Он поднял глаза и увидел, что Алана смотрит на него.

Она была уже стара. Лихорадка добавила морщин и побелила еще несколько прядей волос. Теперь ее кожа стала бледной и какой-то иссохшей. Волосы спутались и нечесаными лохмами падали на плечи, на глазах набрякли мешки. Она смотрела на него с тоской. Не отрываясь. А он смотрел на нее, упорно не отводя глаз. Наконец Алана не выдержала и отвернулась, и Илия смог наконец ответить ей.

— Пока я жив, я этого не допущу, — сказал он.

Она кивнула, снова тяжело вздохнула и опустилась на стул очищать корешки, собранные вчера в лесу. Спина ее была согнута. Илия вспомнил, какой Алана была всего шесть месяцев назад — остроумная, задиристая, иногда даже грубая. Сейчас же Илия мечтал о том, чтобы она подняла на него руку, дала ему пощечину, в общем, тем или иным способом показала, что она еще жива. Но в ней давно не осталось жизни. Кровь ушла вместе с потом, обильно поливавшим иссохшее поле, чью жажду невозможно было утолить. Она сморщилась, как прошлогодний фрукт. Илия понятия не имел, почему вдруг он полюбил ее гораздо крепче, гораздо нежнее — сейчас, когда красота навсегда покинула ее. Он протянул руку и ласково провел по ее спине.

Она еле заметно вздрогнула.

Он отнял руку и поднял еще один кусочек мяса, чтобы опустить его в котел. На улице о чем-то громко спорили мальчишки.

Молча он обратился к Алане, и Алана слушала его, но не слышала. «Я не могу покинуть Ферму Вортинга, — сказал он ей. — Я принадлежу этому месту, в юго-западном уголке участка стоит камень, на котором написано, что я не могу просто так взять и уйти. Ты знала об этом, когда решила выйти за меня замуж», — сказал он. И услышал ее ответ, хотя она даже не думала об этом: «Если ты любишь меня, позволь мне жить».

Илия поднялся и вышел на улицу, где дрались его сыновья. Пятилетний Джон повалил Уорина на землю и яростно вжимал голову брата в пыль.

— Давай, пей! — кричал Джон. — Лижи ее!

Илию охватил гнев. Он молча подошел к облаку пыли, в котором барахтались мальчишки. Нагнувшись, он схватил Джона за штаны и поднял высоко в воздух. Мальчик заорал от ужаса, а Уорин, целый и невредимый, тут же вскочил с земли и начал кричать:

— Дай ему, пап! Дай!

Поскольку именно на этом настаивал младший, Илия не смог ударить Джона. Он лишь опустил его на землю, оставив барахтаться в сухой пыли. Также молча он окинул взглядом сыновей: Джон все еще хныкал от страха, а Уорин, с лицом, покрытым коркой грязи, подпрыгивал на месте и отводил душу, издеваясь над братом. Илия ухватил обоих за шкирку и хорошенько встряхнул:

— Значит, так, либо вы заткнетесь немедленно и перестанете распускать руки, либо, черт подери, оба будете у меня жрать пыль, пока не задохнетесь.

Джон и Уорин тут же замолчали и испуганными взглядами проводили отца до двери.

У порога Илия остановился — ему не хотелось возвращаться в дом, но и снаружи делать было нечего. Некраше-

нное дерево двери начало трескаться и посерело. Одна из досок отличалась от других. Ее приладил муж бабушки, как утверждала та. Это случилось еще в те времена, когда Илия ходил пешком под стол. Сам он этого не помнил. Отступив на пару шагов, он осмотрел дом. Старая постройка. Две комнатушки да пара сараев, крыша выложена соломой и перестилалась уже раз сто, да нет, тысячу, не меньше. Дом был построен так давно, что от первоначальной постройки не осталось ни единой доски, говаривала бабушка.

— А кто его построил? — еще ребенком задал ей вопрос Илия.

— Кто? — расхохотавшись, переспросила она. — А кто по небу разбросал сияющие звезды? Кто заставил солнце крутиться вокруг нас и дарить тепло? Язон, мальчик мой, Язон построил этот дом. Тогда мир был еще совсем юн, и даже самые высокие деревья доходили тебе до пояса, так что, даже не залезая на крышу, ты смог бы увидеть отсюда гору Вод.

Именно рука Язона приковала Илию к Ферме Вортинга. Илия попытался представить себе этого Язона. Бабушка говорила, что у него такие же глаза. Небесно-голубые, как у нее и Илии. Илия рисовал себе мощного великана с выбеленными годами волосами и коричневой от загара кожей; голыми руками он мог сломать дерево и разорвать его пополам, доски для него были что щепки. В детских кошмарах, которые даже сейчас порой возвращались к нему в ночных сумерках, руки Язона хватали Илию за плечи, впиваясь пальцами в плоть, терзали и встряхивали его, а громоподобный голос изрекал: «Эта грязь — сердце твое. Стоит тебе покинуть это место, и тебя ждет ужаснейшая смерть».

На самом деле, руки эти принадлежали вовсе не Язону, а грозный рев был хриплым шепотом бабушки, прозвучавшим в день, когда Илия вознамерился убежать из дому. Он поссорился со своим братом, Большим Питером, и, будучи уже десятилетним, счел, что вовсе не обязан покоряться

вечной тирании. Поэтому он отважился на поступок, о котором прежде и не думал. Добежав до края поля, он, ни секунды не колеблясь, ступил в кустарник и вскоре скрылся среди деревьев.

В лесу существует множество тропок. Какие-то проложил олень, какие-то — путешественники, бредущие из Хакса в Линкири или обратно. А некоторые — не тропки вовсе, так, прорехи в густом кустарнике, заводящие в буреломы и лесные дебри. В конце концов, когда солнце уже клонилось к горизонту и лес погрузился во мрак, Илия устал скитаться и заснул.

Разбудили его сильные руки, крепко вцепившиеся в плечи. Спросонья он подпрыгнул на месте и, развернувшись, увидел прямо перед собой лицо бабушки. Кожу ее украшали глубокие царапины, последствия долгих поисков по зарослям колючего кустарника, а голубые глаза так и метали молнии.

Он почувствовал, как внутри поднимается панический страх. Беспрекословно он поднялся и последовал за старухой. Шла она быстро, даже слишком, тем более что было очень темно, а тропинка временами бесследно пропадала. Однако она без труда находила путь и ни малейшего внимания не обращала на острые сучья, так и метившие в глаза. Наконец лес расступился, и они очутились на краю Фермы Вортинга.

Они подошли к ней с юго-запада, и там бабка показала Илии камень, укрывшийся в густой траве. На нем была вырезана какая-то надпись, но ни бабушка, ни Илия не понимали, что она гласит. На этом самом месте бабушка уперлась руками в плечи Илии и силой заставила его опуститься на колени. После чего сказала:

— Это живой камень, который оставил нам Язон! Он говорит с нами. Он говорит: «Никогда не покидай Ферму Вортинга, иначе умрешь страшной смертью». Эта грязь — твое сердце. Если ты оставишь ее, то умрешь.

Она снова и снова повторяла эти слова, пока Илия не разрыдался от страха и отчаяния. Продолжала повторять то же самое, пока он не затих и не начал повторять за ней слово в слово. В конце концов она замолчала, и он замолчал вместе с ней. Тогда, глядя прямо в его голубые глаза, она произнесла:

— У тебя глаза Язона, Илия, а значит, ты его наследник. Не Большой Питер, не твой отец и не твоя мать. А ты, именно ты. Как и у меня, у тебя, Илия, есть дар.

— Какой? — тихо спросил Илия.

— У всех он разный.

После этого Илия не раз гадал, какой же дар был у бабушки, однако вскоре после его неудачного бегства она заболела и умерла. Так он и не узнал ответа на свой вопрос. Может быть, ее дар был связан с умением безошибочно находить верную дорогу в темном лесу? А может, она слышала камень? Ведь Илия-то его не слышал. Спустя десять лет после ее смерти умерли и родители. За все это время он только однажды отлучался с Фермы Вортинга — добрался до ближайшей фермы, где и нашел себе жену, Алану. С тех пор он ни разу не то что не приближался к границам Фермы, но даже и не думал о том, чтобы пересечь их.

Он сам не догадывался, насколько ненавидит Ферму Вортинга. Он думал, что любит ее.

Все это припомнилось ему, пока он смотрел на дверь. Сыновья все еще следили за его спиной, обеспокоенные долгим молчанием отца. Он так и не пошевелился, пока не открылась дверь и на пороге не появилась Алана. Их глаза встретились, и вдруг до Илии дошло, что в руках она сжимает дорожную котомку. Нахмурив брови, она обогнула его и направилась к мальчикам:

— Давайте, малыши, поднимайтесь. Мы уходим.

Илия остановил ее, резко схватив за руку.

— Уходите?

— Да, подальше отсюда. Ты совсем из ума выжил.

— Никуда вы не пойдете.

— Мы уходим, Илия, и ты нас не остановишь! Мы идем на постоялый двор Большого Питера, где найдут приют мои дети, где найду приют я. А ты можешь оставаться на Ферме Вортинга и гнить вместе с этими сорняками...

Струйка крови вытекла из уголка ее рта, когда он ударил ее. Она лежала на земле, и слезы катились из ее глаз. «Прости», — молча сказал он. Но она не услышала. Она его никогда не слышала.

Алана медленно поднялась, подхватила котомку и взяла Уорина за руку.

— Пойдемте, Уорин, Джон, мы уходим.

Они зашагали по полю. Илия догнал и взял ее за руку. Она вырвалась. Тогда он схватил ее за плечи, а пока она боролась, одной рукой обнял за талию и не столько понес, сколько потащил обратно к дому. Сражалась она безмолвно, руки так и мелькали, в большинстве случаев попадая в цель. Наконец он дотащил ее до двери, но к тому времени гнев его перерос в ярость, дралась она больно, и он буквально швырнул ее в дом. Она всем телом ударилась о дверь, та настежь распахнулась, и Алана перевалилась через порог.

Илия переступил через нее, плачущую от боли, и втащил в дом, поддерживая под руки. Стоило ему отпустить ее, как она тут же встала и направилась обратно к двери. Он сбил её с ног. Она поднялась и пошла к двери. Он ударил ее, и она снова рухнула на землю. На коленях она продолжала ползти, и тогда он пнул ее ногой. Тяжело дыша, но не произнося ни слова, Алана из последних сил выпрямилась и заковыляла к выходу. Тогда Илия закричал и начал избивать ее, пока, окровавленная, она не распростерлась без сил на полу. Изнуренный борьбой, Илия встал рядом на колени, всхлипывая от стыда, боли и любви к ней. Тихим голосом он стал объяснять что-то, на этот раз вслух, но она не слышала. Дышала она прерывисто, затрудненно.

— Мы не можем уйти. Ферма Вортинга — это мы, и если умрет она, умрем и мы, — сказал он и сразу возненавидел произнесенные слова, возненавидел себя самого, эту ферму, этот лес, этот воздух, который не прольет своих слез, пока не пересохнут навсегда слезы людские. Он отвернулся от жены и посмотрел на дверь.

На пороге стояли оба сына и молча смотрели на него. Стоило ему подняться и повернуться, как они с расширившимися глазами отпрянули, а когда он подошел к двери, они уже бежали. Пробежав шагов двадцать, они остановились. «Кончайте пялиться на меня», — подумал он, но они не услышали. Он зашел в южный сарай и, встав на чурбан, полез на низенькую крышу. Очутившись на крыше самого дома, он пополз к тяжелой деревянной балке, которая шла посредине хижины. Добравшись до своей цели, он встал, выпрямился во весь рост и оглядел ферму.

Пшеница своим цветом стала похожа на выжженную землю, желтовато-белые поля казались поверхностью неподвижно застывшей реки. Далеко, в юго-западном углу Илия разглядел большой камень. Он повернулся и посмотрел на лес.

Нельзя сказать, что засуха абсолютно не отразилась на деревьях. Иные из них умерли, другие посерели, ожидая близкого конца, но большая часть по-прежнему зеленела, и густая зелень листвы в открытую насмехалась над гибелью Фермы Вортинга. Илия беззвучно выругался, проклиная этот лес. Лес Вод, так он назывался. И не за бесчисленные ручейки и речушки, пронизывающие его. Скорее, за гору Вод, самый высокий пик в мире, который одиноко высился прямо посреди чащобы, в стороне от остальных гор. Хоть этой зимой снега не было совсем, шапка горы Вод все еще белела прошлогодним снегом. Даже если снег вообще больше никогда не выпадет, гора Вод все равно будет упорно держаться за свою воду, закованную в лед.

Илия перевел взгляд немного южнее горы Вод. Там, всего в нескольких милях от Фермы Вортинга, возвышалась громада, которая сразу привлекала взор. Это был настоящий замок, сделанный из свежесрубленного дерева, по крыше его ползали фигурки, видимо, заделывая прорехи. Это была новая гостиница его брата, Большого Питера. «Засуха никак не отразилась на моем братце», — подумал Илия; брат, когда-то покинувший ферму, процветал вовсю, тогда как он, Илия, который остался, терял урожай за урожаем, терял свою семью.

Илия ненавидел своего брата, которому нисколько не повредила засуха, ненавидел деревья Леса Вод, которым засуха тоже была нипочем, ненавидел гору Вод, чьи снега не таяли даже в такую жару. Он опустил глаза и возненавидел пыль, поднимающуюся над остатками пшеницы, возненавидел Ферму, которая приковала его и его семью к этому гиблому месту. Но больше всего он ненавидел тот камень в юго-западном углу, который говорил с бабушкой и сейчас говорил с ним, хотя Илия его не слышал. Он говорил, что если Илия уйдет, то его ждет страшная участь. Вместе с ним погибнет весь мир, и труды Язона пропадут впустую. И он возненавидел Язона, возжелав, чтобы все созданное им обратилось в прах.

Он снова посмотрел на гору Вод и в яростной ненависти представил себе, как снега поднимаются белым облаком, унося с собой воду, которая столько времени дразнит его. Он представил это облако, пожелал, чтобы оно появилось, приказал ему появиться, и в первый раз молчаливые речи Илии были услышаны. В первую секунду он даже не понял, что это за белая дымка вынырнула вдруг из снегов горы Вод. Но это было облако. Его облако.

Илия представил себе, как оно растет, и приказал облаку расти. Оно выросло. Он приказал, чтобы оно затянуло весь горизонт, чтобы брюхо его почернело от скорого дож-

дя. Так и случилось. Затем он пожелал, чтобы это облако направилось к Ферме Вортинга, чтобы Лес Вод был весь покрыт им.

С запада подул ветер, настоящий, сильный ветер, взъерошивший волосы Илии и вцепившийся в его одежду так, что он даже вынужден был пригнуться. С поля прямо в глаза бросило пригоршню пыли. Когда наконец слезы высохли, он увидел, что все небо от края до края затянуто облаками. Не облаками, черными тучами. Все произошло за пять минут.

Затем, все еще ненавидя эту ферму и этот лес, Илия приказал, чтобы пошел дождь. Гром раздался в небе, словно огромный камень прокатился от горизонта до горизонта. В землю впилась извилистая молния, а за ней еще одна. Снова гром. Илия приказал молнии ударить прямо в крышу гостиницы брата. Ослепляющая колонна света устремилась из облака к замку, и здание полыхнуло огнем. И тогда Илия почувствовал, как его тела коснулись первые капли дождя.

Эти капли были громадными, тяжелыми, сначала они бесследно скрывались под слоем пыли, поэтому Илии казалось, что, несмотря на дождь, земля все равно остается сухой. Но вскоре пыль осела. Наблюдая за Джоном и Уорином, носящимися по полю и пытающимися поймать ртом капли дождя, Илия увидел, что из-под их ног уже не вылетают клубы пыли. Земля прибилась и спустя несколько минут почернела.

Он окликнул сыновей и велел им идти в дом. С неохотой они потащились под крышу. Только они приблизились к дому, дождь полил сильнее, капли увеличились, а вода начала скапливаться маленькими лужицами. Капли, падающие на их поверхность, поднимали брызги, веером разлетающиеся во все стороны. Шуршание дождя перешло в рев, и даже лес отступил перед ярящейся стихией.

Илия промок до нитки, пряди волос прилипали к лицу, струйки воды текли по телу. Струи дождя хлестали по рукам. Он расхохотался.

С некоторым трудом, пробиваясь сквозь порывы беснующегося ветра и цепляясь за мокрую солому, Илия спустился на землю. Пыль превратилась в непролазную грязь, ноги приходилось рывками вытаскивать из луж. Зайдя далеко в поле, он поднял глаза к облакам, твердые капли оставляли синяки на его лице. На этот раз он приказал дождю превратиться в стену ножей и истребить Лес Вод. Дождь стал единым целым, подобно топору обрушившись на лес. С деревьев срывалась листва, этот напор сбил с ног самого Илию. Дождь избивал его, грязь засасывала, но он упорно твердил дождю не останавливаться. Одна из громадных капель, попавшая по голове, лишила его сознания.

Нежные руки коснулись его лица, но каждое касание по-прежнему сопровождалось резкой, короткой болью. Он попытался разлепить веки и обнаружил, что они уже открыты и он смотрит в глаза жены. По лицу ее бежали струйки пота, во взгляде отражалось беспокойство. Он вдруг вспомнил, что произошло между ними за некоторое время до дождя. «Извини», — подумал он, но она не услышала. Поэтому он шевельнул губами и выдавил:

— Алана.

Она прижала пальчик к его рту и тихо промолвила:

— Тс-с.

Он заснул.

Проснулся он на набитом соломой тюфяке. Он лежал на кровати в углу одной из комнат дома. На кухне что-то готовилось. Похлебка, наверное; может быть, та самая, для которой он принес воды. В комнату, сквозь щели в восточной стене, проникали рваные лучи солнца. Утро. Но вчера — или не вчера? — этих дыр еще не было.

Тело его было покрыто синяками и ужасно болело, однако, собравшись с силами, он все-таки поднялся с постели. Отбросив одеяло, он обнаружил, что кто-то его раздел. Он пошарил по сторонам в поисках одежды. С гримасой боли он нацепил ее на себя и, завязывая тесемки рубахи, покачиваясь, вышел на кухню.

Жена и дети сидели напротив очага, прихлебывая из деревянных мисок дымящееся варево. Их взгляды обратились к нему. Наконец он кивнул, и жена налила ему полную миску. Съев пару ложек, он отставил недоеденную похлебку в сторону и вышел на улицу. Его проводили настороженные глаза домашних.

Ферма Вортинга превратилась в море грязи, громадные, глубокие лужи стояли повсюду. С веток деревьев все еще капало, а соломенная крыша провисла под весом впитавшейся воды. После бури не уцелело ни одного колоска. Смыло все дочиста, можно было подумать, что здесь отродясь ничего не росло. Поле представляло собой черную, сплошную трясину.

Ферму Вортинга было уже не спасти. Посевное время давным-давно прошло, слишком поздно, чтобы обрабатывать поле по новой. Он наклонился и сунул руку в мягкую хлябь. Грязь доходила аж до локтя; он нашарил пару стеблей пшеницы и вырвал их. Трясина с неохотным хлюпаньем отдала добычу. Покрутив изломанные стебельки в пальцах, он рассеянно начал рвать их на кусочки.

Он поднялся. Дом насквозь пропитался дождевой водой, и теперь под палящими лучами солнца сохнущие доски превращались в искореженные, изогнутые куски дерева. Стены и дверь придется полностью менять. Зимние холода убьют людей, если дом не сможет успешно противостоять морозу. Времени до зимы было предостаточно, и он бы отстроил все заново — но ведь ему придется еще и охотиться, чтобы добывать пропитание. Запасов сушеного мяса можно

наготовить вдоволь, времени хватит — если б ему не нужно было чинить дом. И с тем и с другим ему не справиться.

Оставшись здесь, они все погибнут. Покинув дом, они останутся в живых, но на Илию падет проклятие. Впрочем, сейчас, глядя на останки фермы, последствий этого проклятия Илия почему-то ничуть не боялся. Ну, смерть, ну и что? Что в ней такого страшного?

Он вернулся в дом. Семейство уже покончило с нехитрой трапезой. Они подняли глаза, неотступно следя за ним, пока он опустошал кухонный буфет, скидывая жалкие остатки провизии и утварь в мешки, в которых несколько месяцев назад хранилось зерно. Джон и Уорин встали и начали помогать ему. Алана спрятала лицо в ладонях.

Илия оставил мальчишек собирать пожитки, а сам направился в северный сарай, где стояла маленькая тележка, нагруженная досками и бронзовыми инструментами для обработки поля. Он вывалил все ее содержимое на землю и, зашвырнув далеко в поле ненужные теперь мотыги, покатил тележку к двери дома. Первым делом он погрузил в нее два соломенных тюфяка. Во второй заход он приволок груду одеял. Затем вытащил мешки и одежду. Наконец тележка заполнилась, и тогда он взял веревку и привязал груз так, чтобы ничего не вывалилось.

Он снова вернулся в дом, подошел к Алане и взял ее за руку. Она покорно пошла за ним, хотя глаза ее были упорно устремлены в землю. Все еще держа ее за руку, он впрягся в оглобли и медленно потащил телегу через грязевое море.

Через несколько минут телега завязла. Сыновья подлезли под колеса и подтолкнули ее. Мальчики ушли в жидкую грязь по пояс, но телега тронулась с места. Вскоре ребятишки повеселели; от души развлекаясь, они шлепали по грязи, то и дело подлезая под телегу, когда она увязала в очередной яме. Они смеялись и хохотали; Илия молча тянул. Они продолжали смеяться и тогда, когда телега выка-

тилась наконец на твердую почву, под сень леса. Вскоре Ферма Вортинга скрылась из виду, и семью окружили исполинские стволы деревьев; сквозь листву струились тоненькие лучики солнечного света.

Они шли не останавливаясь, пока впереди снова не замаячил просвет. Перед ними открылась широкая дорога с глубокими рытвинами от колес. Здесь деревья росли на некотором расстоянии друг от друга, поэтому, когда семья двинулась на запад, забирая все время чуть к югу, солнце стало бить прямо в глаза.

Уже приближался закат, и горизонт окрасился в розовый цвет, когда до их ушей донесся стук молотков и визжание пил. Вскоре стали слышны и человеческие голоса, рабочие перекликались и спорили друг с другом.

— Быстрее, черт возьми, иначе спины себе переломаете.

Голос брата, Большого Питера, Илия узнал безошибочно. В это же мгновение, словно по команде, деревья вдруг расступились. На огромной поляне, раскинувшейся перед ними, возвышалось здание постоялого двора.

Свежесрубленное дерево блестело в предзакатных сумерках, на массивном фундаменте из врытых в землю бревен величаво покоилось трехэтажное здание. Южный угол дома венчала башня, поднимающаяся над последним этажом еще футов на двадцать и превосходящая своей вышиной любые деревья в лесу. По всей ее окружности были прорублены ряды окон. Крыша недавно сгорела, и на ее останках сейчас суетились рабочие, поднимающие с земли связку бревен. В руках они сжимали длинные веревки, а с земли плотников подгонял зычный рев рыжеволосого великана:

— Давайте же, тяните! Да я один поднял бы все это!

В подтверждение своих слов, великан нагнулся и в одиночку оторвал от земли связку. Рабочие на башне поднату-

жились, и бревна медленно поползли вверх, вырвавшись из объятий Большого Питера.

— Вот так, парни! Тяните! — заорал он.

Илия, Алана, Уорин и Джон безмолвно застыли на обочине лесной дороги. Такого высокого дома они не видели ни разу в жизни, а потому недоумевали, как же строение не рухнет. Однако уходящая в небо башня ни разу даже не покачнулась, пока бревна рывками поднимались наверх. Внезапно от толпы, окружающей постоялый двор, отделился белокурый мальчик лет восьми и решительным шагом направился к замеревшей на окраине поляны семье.

— А вы кто такие? — окликнул он их высоким, звонким голосом.

Илия и Алана не ответили. Мальчик приблизился, и тогда заговорил Уорин:

— Я Уорин. Это Джон.

Мальчишка протянул руку и сказал:

— Меня зовут Маленький Питер. Эта гостиница принадлежит моему отцу.

Илия перевел взгляд на юнца. Привлекательные черты, точная копия отца. Вот только глаза его были голубыми. Как у Илии. Как у бабушки. Он обладал даром, и Илия почувствовал, как в нем просыпается прежняя ненависть.

В этот момент Большой Питер отвлекся от своего дела и заметил вновь прибывших.

— Добро пожаловать! — крикнул он, направившись к ним огромными шагами. — Несколько рановато, правда, работы еще не закончены, но вам найдется местечко, если, конечно, вы не возражаете ночку поспать на... Илия!

Признав в нежданном госте брата, Питер, чей шаг и так был стремителен, и вовсе пустился бегом. Спустя секунду он уже тискал безразличного брата в объятиях, подкидывал Джона и Уорина в воздух и ловко подхватывал их, хохоча во все горло и приговаривая:

— Добро пожаловать, очень рад, что вы заглянули, это моя гостиница, нравится? Перехватил деньжат в Хаксе, нанял в Линкири рабочих и вот, пожалуйста! В общем, через год я буду настоящим богатеем!

Большой Питер не задавал никаких вопросов, поэтому Илия ничего рассказывать не стал. Ухватив одной рукой нагруженную доверху телегу, Питер легко покатил ее к гостинице, продолжая по пути беззаботно болтать:

— Из Хакса в Линкири торговцы добираются рекой, а обратно возвращаются по лесным дорогам. Тут-то мы их и подловим. Здесь проходит основной тракт, а чуть выше, на берегу, я построил большую пристань, к которой на ночь сможет причалить даже самая громадная из всех барж. Всего у меня двадцать три комнаты, здоровенная кухня и гостиная, которая ждет не дождется, когда же появятся желающие промочить глотку и старый, добрый эль и когда зазвучат громкие песни. А кладовые могут вместить столько запасов, сколько вам и не снилось. И знаешь, ведь мы построили эту домину на удивление быстро, будто сам Язон и все его Ледяные Люди помогали нам! Клянусь Язоном, Илия, здорово, что ты выбрался к нам! Эта засуха дорого обошлась местным фермерам, Хакс и Линкири теперь закупают зерно на Небесной равнине, а во всем Лесу Вод ни зернышка кукурузы, ни бушеля пшеницы не сыщешь. Но вчера этой чертовой засухе настал конец, буря унесла все, что не было прибито гвоздями, а в конце вообще сюрприз — молния! Вот тебе на, думаю я, но дождь сразу погасил пожар, так что мы почти ничего не потеряли!

Они приблизились к дверям гостиницы, над которыми двое плотников прибивали большую вывеску с черными буквами: «Постоялый двор Вортинга». Илия встал как вкопанный при виде этой вывески.

— Что здесь написано? — спросил он, ибо последнее слово было одним из тех, что повторялись на камне, врошем в землю в юго-западном углу Фермы Вортинга.

— Постоялый Двор Вортинга, — гордо ответил Большой Питер. — Ты прости, Илия, тебе, наверное, не по нраву эта надпись. Только ферма имеет право носить имя Вортинга и величаться Истинной, я прекрасно понимаю это. Но очень мне хотелось сохранить память о ней. И если от фермы сейчас ничего не осталось, всегда можно вернуться туда, взглянуть на камень и увидеть, где именно было положено начало этому миру, но здесь... здесь имя Вортинга, Истинного творца, пребудет вечно. Скоро здесь вырастет целый город. Как так, спросишь ты? Город Вортинга, Истинный город, возникнет на том месте, где когда-то стояла одинокая ферма, затерявшаяся в чащобе Леса Вод. Не хмурься ты, Илия. Заходи в дом, сейчас ужинать будем. Ты уже познакомился с моим сыном Питером?

Мальчик, который носился вокруг взрослых в компании Уорина и Джона, остановился и улыбнулся, блеснув голубыми глазами:

— Я поздоровался с ними даже раньше тебя, пап.

— Молодец, — кивнул отец, взъерошив сыну волосы. — Клянусь, года не пройдет, как ты перезнакомишься с уймой народа.

Они вошли в дом — Илия, прячущий за маской безразличия злобу и зависть, и Алана, за чьим молчанием не крылось ровным счетом ничего. За столом она не съела ни кусочка, а когда все отправились спать, Алана примостилась в уголке комнаты, напротив кровати Илии, и прямо на голом полу заснула. Проснулась она незадолго до восхода солнца.

Плотники приступили к работе засветло, и их веселые оклики уже разносились по всему дому, согревая остывшее за ночь жилище. Только тогда Алана осознала, насколько

же одинокими были эти десять лет, прошедшие с тех пор, как она покинула отчий кров, чтобы вступить в брак с тихим, незаметным Илией, чьи голубые глаза смотрели так непонятно и странно. Она была одинока, теперь же ее окружали голоса людей... Но поздно, слишком поздно. Одиночество впиталось в ее кровь, и она сердцем чувствовала, что от этого недуга избавления нет. Даже доброта и веселье, даримые этими людьми, не смогут помочь ей. Целиком и полностью она принадлежала Илии. Она оглянулась: мужа в постели не было. Она отправилась искать его по дому. На улице раздавались зычные приказы Большого Питера. Зайдя на кухню, она обнаружила там Маленького Питера и двух своих сыновей, управляющихся с завтраком.

— А где твоя мама? — спросила Алана.

— Мама? Умерла, — спокойно ответил Маленький Питер, набивая рот хлебом.

— Вы не знаете, куда пошел папа? — обратилась Алана к Джону и Уорину. Те отрицательно покачали головами и принялись за сыр. Она вышла из дому и наткнулась на Большого Питера, забрасывающего снопы соломы на крышу притулившейся к гостинице конюшни.

— Ты моего мужа не видел? — спросила она у владельца постоялого двора.

— Да нет, а он что, уже поднялся? Как спалось? Знаешь, вы первые постояльцы моей гостиницы. А раз так, проживание бесплатно! — Его хохот гулко раскатился в утреннем воздухе, и Алана, отправляясь на дальнейшие поиски мужа, улыбалась.

Его нигде не было — ни в доме, ни на поляне. Вещи его остались нетронутыми. На ее просьбу послать кого-нибудь поискать Илию Большой Питер ответил отказом.

— Чего ради? Ты же знаешь, почтенная Алана, как он любит Ферму Вортинга. Он чуть не убил меня, когда я ре-

шил оставить те места. Меня спасло только то, что я в два раза больше его, и все равно я еле унес ноги. Он любит эту ферму, как ты думаешь, легко ему осесть здесь? Оставь его. Когда боль немножко поутихнет, он вернется.

Сказав это, он вернулся доделывать стойла, которые в недалеком будущем смогут вмещать до тридцати лошадей постояльцев. Стуча топором, Питер все приговаривал, не маловата ли конюшня.

Маленький Питер предложил ей поискать Илию, но Алана ответила, что он еще не дорос до этого. Мальчишка ухмыльнулся и выскочил на улицу.

Первые лучи солнца разбудили Илию. С изумлением он обнаружил, что лежит на мягкой земле под каким-то деревом. Взошедшее на востоке солнце позволило ему примерно определить, где он очутился, и все же он не помнил, каким образом забрел сюда. Но солнце светило на востоке, и Ферма Вортинга лежала в том же направлении, поэтому он поднялся на ноги и, шатаясь, как пьяный, зашагал в сторону сияющего диска.

Он шел напрямую, продираясь сквозь заросли колючек и бурелом. По пути он вспоминал, как еще ребенком бежал с фермы и как его поймала бабушка. Только на этот раз он бежал на Ферму Вортинга, а не с нее.

Солнце стояло высоко над лесом, когда он наконец очутился на окраине поля, когда-то покрытого колосьями пшеницы. Со вчерашнего дня оно почти высохло, и только в нескольких местах земля по-прежнему оставалась черной грязью. Выжженная солнцем почва растрескалась, и на твердой корке уже начал появляться налет пыли. Поляна превратилась в огромное желтое поле с черными вкраплениями, изгнав навсегда жизнерадостную зелень. Мимо лица Илии порхнула пташка.

Илия дошел до северо-западного угла, затем повернул направо и направился на северо-восток, там он снова свернул на юго-восток, а оттуда уже он добрался до говорящего камня.

Дождь смыл покрывающую плиту грязь. Илия сразу узнал слово, которое Большой Питер нарисовал на своей вывеске. Вортинг, «Истинный». Остального он прочесть не смог, да и никто бы не смог, ведь язык очень изменился с тех пор, как камень был поставлен здесь. А на камне говорилось:

Сын Язона, Хранитель Истинного,
Открыв этот камень, ты вызовешь звезды.
Но пока ты не готов учить звезды,
Храни этот камень запертым в Вортинге.

Илия сел на камень и оглядел поле. Он вспоминал, как откликнулись на его зов облака, как по его приказу полил дождь, как по первому же требованию человека стихия стала убивать. Значит, Илия может приказывать небесам, и значит, это он погубил Ферму Истинного.

Три изломанных колоска, торчащие из земли прямо напротив, привлекли его внимание. Он нахмурился и приказал им позеленеть. Они не послушались.

— Живите, — сказал он, но они не услышали.

Он представил, как они зеленеют на солнце, колосятся, пожелал, чтобы к ним вернулся зеленый цвет, приказал им жить. И тогда у него на глазах зеленый цвет расползся по колоскам, они выпрямились, налились жизнью. Илия наклонился и дотронулся до одного из них. Всамделишный колосок, согнувшийся под человеческими пальцами. Значит, он действительно обладал силой. Но несмотря на то что его дар, как всегда приговаривала бабушка, был могуч, одновременно с этим сверхъестественные способности его были ужасны.

Илия поднялся и наступил на три возрожденных к жизни колоска, придавливая их к земле, кроша и ломая. Он топтал их до тех пор, пока они не превратились в пыль. Только тогда он успокоился и в последний раз оглядел ферму.

«Я убил тебя, — промолвил он про себя, — потому что иначе ты бы убила меня. Прокляни меня, если сможешь, и я с гордостью приму проклятие. Обреки меня на все страдания мира, но никогда я не вернусь сюда снова».

Позади него хрустнула ветка, и он обернулся. Из-за кустов на него смотрел маленький мальчик. Сын Большого Питера. Его голубые глаза блеснули, и он улыбнулся.

— Тебя уже обыскались в гостинице, — сказал мальчик.

Илия молча смотрел ему в глаза.

— С тобой все в порядке?

В ответ Илия протянул руку, мальчик подошел ближе и взял ее. Илия повернул его лицом к камню.

— На плите что-то написано, — сказал Маленький Питер.

«Ты можешь прочесть надпись?» — про себя спросил Илия.

— Нет, — покачал головой Маленький Питер. — Я вижу здесь только одно знакомое слово — Вортинг, Истинный, то, что упоминается на вывеске гостиницы.

Илия с силой сжал плечо мальчика, Питер даже ойкнул от боли.

— Это говорящий камень, — объяснил Илия. — Этот камень обладает властью над всеми, у кого такие же глаза, как у меня.

Маленький Питер заглянул в глаза Илии и узнал знакомый голубой цвет. Рука Илии, продолжающая сжимать его плечо, начала дрожать.

— На нас лежит проклятие, Маленький Питер, потому что мы покинули ферму. Но есть еще одно про-

клятие, куда более страшное, и всю жизнь нам суждено мучиться.

— Какое проклятие? — прошептал Маленький Питер.

— У каждого оно разное. Ты должен сам открыть свое, — сказал Илия, — подобно тому как я нашел свое. И когда ты это сделаешь, уничтожь его. Вырви из себя и изгони навсегда.

— Изгнать что? — не понял Маленький Питер.

— Изгони свой дар.

Хватка Илии внезапно ослабла, и Маленький Питер медленно повернулся к стоящему рядом мужчине. Лицо Илии напряглось, какая-то темная тень омрачила черты, голубые глаза были полуприкрыты. Внезапно дрожь прокатилась по телу Илии, лицо его исказила жуткая гримаса. За спиной Питера раздался громкий треск, и говорящий камень разделился на две половинки. Затем оба обломка рухнули на землю, похоронив надпись в зарослях кустарника. Говорящий камень был повержен.

Илия провел рукой по волосам и открыл глаза.

— Я уничтожил камень, — с яростью сказал он. — Убил его.

Но возвращаясь через лес на Постоялый Двор Вортинга, Илия понимал, что проклятие по-прежнему лежит на нем, что его наказывают за ненависть и неповиновение, что уничтожение камня только усугубило его вину. Он закрыл глаза и весь обратный путь, ведомый за руку Маленьким Питером, проплакал пустыми слезами отчаяния.

Что же касается Маленького Питера, то он явственно ощущал скорбь Илии и слышал все слова, что тот произносил про себя. Питер ничуть не удивлялся тому, что слышит какие-то слова, тогда как губы Илии не шевелятся. Ему было достаточно слышать, понимать — и бояться — и вести этого старика домой.

Глава 20

ПОСТОЯЛЫЙ ДВОР ВОРТИНГА

Маленький Питер лежал в полутьме на своей постели и смотрел на потолок, на широкие балки, которые служили опорой тяжелым соломенным снопам. Снаружи шел дождь, тихо шелестя в слоях соломы. В открытое окно задувал теплый ветерок. Воздух был туманен от дождя. Питер представил себе пыльную дорогу, тянущуюся к каплям воды миллионами широко открытых, жаждущих ртов. При мысли о такой картине он рассмеялся.

Взбрыкнув ногами, он подбросил над собой тонкое одеяльце. Он лежал и чувствовал, как оно оседает прохладой на его разгоряченном, обнаженном тельце, смотрел, как на одеяле исчезают воздушные одутловатости, медленно испуская дух. Он снова ударил ногами, и опять, и опять, только в последний раз он не стал опускать ноги, задрав их в воздух и поддерживая руками. Одеяльце куполом зависло над ним. В щель между покрывалом и спинкой кровати пробивался слабый свет, струящийся из окна. Внезапно порыв ветра пригоршней дождя ворвался в комнату. Питер почувствовал, как кожу обдало холодным душем, и когда он опустил ноги на кровать, простыни были влажными и приятно холодили. Дождь начал захлестывать в окно, и тогда мальчик поднялся и потянулся к ставням, чтобы затворить их.

По худым плечикам застучали капли усилившегося дождя. Закрыв окно, он вышел в середину комнаты и встряхнулся, как собака. Теперь ему стало холодно. Он опрометью бросился к кровати, прыгнул туда, второпях накинул одеяло — но тут же отбросил одеяло в сторону. Оно промокло насквозь. Выругавшись, он поднялся, швырнул его

на стул и, уперев руки в бедра, оглядел маленькую комнатушку.

Ну да, больше одеял нет. Придется все-таки надеть ночную рубашку. Каждый раз, когда он отправлялся спать, мать заставляла его надевать такую штуковину, но, стоило ей уйти, как он сразу срывал с себя это позорное одеяние и спал под одеялом голышом. Даже зимой. Но спать голышом *без* одеяла означает искушать судьбу. Что, если мать придет будить его, а он проспит? Она будет рвать и метать. Хотя она сама и отец частенько спят без ночных рубашек, в «те самые ночи». Он усмехнулся. Если бы мать узнала, что их подслушивают в «те самые ночи»... В первый раз, когда он попробовал такое, он уставился пронзительно голубыми глазами в потолок и, сжав кулачки, замер. Теперь он немножко пообвыкся, по очереди прислушиваясь то к матери, то к отцу. Но если они прознают об этом, из него весь дух вышибут. Поэтому никогда они об этом не узнают. И никто не узнает, он рассказал об этом только своему лучшему другу Мэтью, а тот никогда не проговорится. Да, и еще тот темный человек, что жил в погребе, он тоже знал.

Темный человек тоже был в комнате, когда Маленький Питер впервые подслушал мать и отца. Отец на кухне о чем-то тихо разговаривал с матерью. Питер навострил ушки, пытаясь разобрать, о чем это они шепчутся, и вдруг что-то как будто открылось, и он явственно услышал голос коренастого здоровяка, приходящегося ему отцом. Он слышал слова даже тогда, когда губы отца не шевелились. Затем он понял, что голос матери тоже стал слышен, и это было настолько неожиданно, что два голоса тут же перепутались в его голове. Спустя какое-то мгновение он разобрался с этой мешаниной и осознал, что до него доносятся не слова, а мысли. Он попробовал заткнуть уши. Голоса продолжали звучать. Тогда он прислушался к своим двоюродным братьям Гаю и Джону. Все замечательно слышно, их мысли были

настолько смешны, что он не выдержал и прыснул. Он попытался прослушать людей за пределами комнаты. Это оказалось потруднее, но вскоре он научился различать внутренний голос каждого постояльца в гостинице.

Тогда-то он и заметил темного человека, его дядю Илию, сидящего в уголке и строгающего кусок деревяшки. Лицо с тяжелыми чертами нахмурено, поседевшие волосы лохмами падают на опаленную солнцем кожу, делая ее еще темнее. Илия поднял голову, и их глаза встретились. Питер испугался при виде глаз темного человека, глаз, поражающих своей голубизной и глубиной. Неестественные глаза. Отец сказал, что его глаза, глаза Маленького Питера, выглядят точно так же, но мальчик не поверил.

Темный человек опустил голову, и Питер проник в его сознание. Он услышал страшный шторм, увидел вспышки молний и не на шутку перепугался. И в эту же самую секунду дверца, ведущая в ум темного человека, захлопнулась. Картинки исчезли, и Питер недоуменно поднял взгляд — чтобы увидеть голубые глаза Илии, только теперь они полыхали, внимательно изучая всех людей в комнате. Наконец этот ужасный взгляд остановился на Маленьком Питере. Питер окаменел от страха, не в силах даже пальцем шевельнуть. Шли долгие мгновения, а взгляд все приковывал его. Наконец губы старика шевельнулись, как если бы он с яростью произнес «нет». И темный человек вернулся к своему занятию.

И с тех пор каждую ночь Питер инстинктивно пытался прощупать этого темного старика, который обитал в комнатушке погреба. И всякий раз его попытки оканчивались неудачей, он не мог подслушать своего странного дядю, который умел закрывать от посторонних свой ум. Когда же они случайно сталкивались друг с другом в доме, гигантский, темнокожий человек по нескольку минут молча смотрел на него, пока Питер не находил в себе силы спастись

бегством. Они ни разу не заговорили, как бы игнорируя друг друга, но Питер следил за каждым шагом темного человека и знал, что старик также следит за ним.

Однажды Питер увидел его во дворе, у могильных плит: старый Илия стоял у камня, на котором значилось одно-единственное слово «Деб». Там была похоронена жена Илии, умершая в первый же месяц пребывания их семьи в гостинице. Маленький Питер никак не мог понять, почему на лице темного человека вместо скорби отражается ярость. Дядя устремил взгляд к небесам, и Маленький Питер почувствовал обжигающую ненависть, бурлящую во дворе, и понял, что исходит она от Илии. Тогда он убежал, как поступал всегда при встрече со стариком, но никогда ему не забыть этого кипящего марева.

Он ненавидел своего дядю Илию. И сегодня ночью он решил убить его.

Он немножко обсох и согрелся. Коснулся одеяла — нет, все еще слишком влажное, чтобы им можно было укрываться. «Ну и ладно, — подумал он. — Мне предстоит еще немало дел, прежде чем я смогу заснуть».

Маленький Питер снова лег на кровать, оставив одеяло висеть на стуле. Он раскинул ноги и руки и расслабился, отправляясь в мысленное путешествие.

В соседней комнате спали отец и мать. Отцу снился сон, в котором он летел по воздуху, а земля коричневым океаном расстилалась под ним. Питером завладело искушение посмотреть, что будет дальше, — но когда он прислушивался к сновидениям, то часто и сам засыпал. Разочарованный, он обратился к комнате, где обычно спали Гай и Джон. Сейчас дома находился только двенадцатилетний Гай; Джон в прошлом году поступил в подмастерья к плотнику из Свиттена и навещал гостиницу только раз в год. Весной уедет в Линкири Гай. Но сейчас мальчик был занят тем, что пытался взломать сундук, в котором на время отсутствия запер свои пожитки Джон. Питер чуть не расхохотался. Джон

предугадал попытку своего вороватого братца, поэтому положил в сундук голову большого оленя и ничего больше. Все остальные его вещи хранились здесь, в комнате кузена, которому Джон доверял.

Питер услышал, как Гай пришел в ярость от подобного обмана, но вместе с тем им завладел стыд, что его так позорно надули. Питер прислушался к плану мести, который Гай намеревался осуществить, когда вернется Джон. Но не пройдет и пары дней, как Гай все забудет; Питер знал, что ни одна мысль не задерживалась у него в голове надолго.

Он выбрался за пределы дома. В конюшне он услышал мысли старого Билли Ли, пожилого конюха, от души клянущего любимую кобылу хозяина: вечером она укусила его ученика. В то же самое время Билли Ли любовно вычесывал ее, то и дело гладил по морде, похлопывал по холке. Несмотря на то что слова сами по себе были злы, Питер почувствовал в старике искреннюю привязанность к лошади. Билли Ли закончил ухаживать за кобылой, и ум Питера полетел дальше по городу, заглядывая в сновидения и подслушивая соседские разговоры.

Он проснулся внезапно, тело покрылось пупырышками от холода. Питер страшно перепугался — странствуя по городу, он задремал. В панике он прослушал дом. Никто еще не проснулся. Небо было по-прежнему темно, хотя дождь прекратился. Отлично, у него еще уйма времени. Успокоившись, он снова расслабился — теперь надо убить того темного человека, живущего в погребе.

Только сегодня он открыл в себе эту силу. Он пробирался через кусты, растущие рядом с конюшней, и наблюдал, как в предзакатном небе сгущаются темные тучи. Заглядевшись, он споткнулся обо что-то, и из-под его ног вылетел целый рой ос. Он обратился в бегство, но осы все-таки настигли его. На руках и ногах вздулись опухоли, лицо все горело, но боль пересиливал закипающий в нем страш-

ный гнев. Его взгляд остановился на кружащейся в нескольких футах от него осе. Сначала Питер сам не понял, что произошло: его ум внезапно вобрал в себя строение насекомого, и он представил, как стискивает эту тварь, ломая прозрачные крылышки и выдавливая крошечный мозг. Оса замерла в воздухе и свалилась в траву.

Все еще охваченный яростью, Питер развернулся к жужжащей туче, реющей над поврежденным гнездом. Одну за другой, все быстрее и быстрее, он принялся уничтожать ос. Наконец, тяжело дыша от усталости, он подошел ближе и внимательно осмотрел искалеченные тельца, валяющиеся вокруг гнезда. Странное чувство овладело им. Он передернулся, а по спине пробежали холодные мурашки. Он убил их одним усилием воли. И тогда он расхохотался, обрадованный этой силой. Затем он повернулся, намереваясь бежать домой... Но нет, перед ним стоял пегий жеребец, на котором восседал темный человек. Питер даже не слышал, как тот подъехал.

Целую минуту они смотрели друг на друга. Но на этот раз, чувствуя бушующую внутри силу, Маленький Питер не отступил перед этим пронзающим насквозь взглядом из-под густых насупленных бровей. Он стоял — боялся, но *стоял*. Илия, сохраняя бесстрастное выражение лица, спрыгнул на землю, подхватил поводья и повел лошадь за угол конюшни.

Питер чувствовал себя опустошенным, выжатым, как тряпка. Он отвернулся и с хрустом опустил башмак на трупики насекомых. Вернулась боль от осиных укусов, и, пошатнувшись, он был вынужден прислониться к стене дома. Тогда-то и пришла ему в голову мысль попробовать действие силы на самом себе, исцелить себя. Он представил свое тело, задержал образ в уме и начал сглаживать боль, по капле выдавливая яд. Спустя пятнадцать минут на нем не осталось даже следа от укусов. Словно он никогда и не попадал в эту переделку.

Его ум мог исцелять и мог убивать. Сегодня ночью он убьет темного человека, пока тот будет спать в своей темной подвальной комнатушке. Медленно, тщательно Маленький Питер рисовал в уме образ Илии. Каждая деталь должна быть абсолютно точна. Старик лежал на спине, тихо дыша, веки его были опущены, рот слегка приоткрыт.

Питер отыскал мерно бьющееся сердце. Он представил себе, как оно замедляет удары, начинает биться неровно, изменяет форму. Он заставил легкие съежиться. Затем двинулся к печени и приказал ей выплеснуть желчь в кровь. И вот в воображении Питера сердце остановилось. Он сделал это.

Внезапно Питер подлетел высоко в воздух и врезался в проходящую прямо над ним балку. Затем его швырнуло об пол. В голове загудело от падения. Он не понимал, что происходит. От града обрушившихся на него ударов перехватило дыхание. Его снова подняло, только на этот раз он завис в воздухе. Спина начала изгибаться, изгибаться, и вот уже пятки коснулись головы. Он хотел закричать, но не смог выдавить ни звука. Его тело разогнулось, как пружина, он ударился о стену и бессильно сполз на пол.

Он не осмеливался и пальцем шевельнуть. В желудке заполыхало странное, обжигающее пламя, к горлу подкатила тошнота. Он согнулся в три погибели, пытаясь освободиться от комка внутри, но ничего не вышло. Голову пронзила ужасная боль. Затем его тело словно облили ледяной водой. От страха и холода он затрясся. Кожа зачесалась. Живот покрыли ужасные язвы, и вдруг он ослеп. Страшная, судорожная боль свела мускулы. Пол превратился в тысячу ножей, рассекающих обнаженное тело. В отчаянии он разрыдался и взмолился о пощаде.

Боль постепенно отступила, чесотка прекратилась. Он лежал на холодных простынях кровати. Сжавшись в комок, все еще ощущая на себе действие странных сил, он продол-

жал всхлипывать. Зрение вернулось. В окно ворвался первый лучик восходящего солнца. И одновременно с тем в дверях появился Илия, темный человек, лицо его искажала безумная гримаса. Он расправился с Питером при помощи силы своего ума.

«Да», — запульсировала в его мозгу мысль, и голова загудела. Питер в страхе смотрел на подошедшего к кровати Илию.

«Ты никогда больше не прибегнешь к этой силе, Маленький Питер».

Питер захныкал.

«Это сила зла, Питер. Она приносит боль и страдание, подобные тем, что ты перенес этой ночью. Никогда больше ты не воспользуешься этой силой. Не убей, не излечи, не сотри пот с иссушенного чела мира, как бы ты ни возжелал этого. Ты понял, Маленький Питер?»

Питер кивнул.

«Ответь».

Он напрягся и выдавил:

— Я никогда в жизни больше не прибегну к ней.

«Никогда, Питер. — Взгляд голубых глаз смягчился. — А теперь спи, Малыш Питер».

Холодные руки омыли его тело и изгнали боль прочь, а прикосновения прохладных пальцев унесли весь ужас. И он заснул. Долго еще ему снились сны о дяде Илие.

Илия, дядя Питера, умер. Близкие стояли вокруг свежевыкопанной могилы, куда только что опустился гроб, и пели медленный гимн. Отец Питера, уже совсем старик, которому суждено вскоре последовать за братом, читал вслух Святую Книгу.

Илия умер от страшного, разрывающего все внутренности кашля. Сидя у его смертного одра, Маленький Питер долго-долго смотрел в глаза дяди. Наконец он все-таки обратился к нему:

— Илия, исцели себя, или позволь мне это сделать.

Илия покачал головой.

И вот он умер. Комья влажной почвы с глухим стуком падали на крышку его гроба. Он умер по собственной воле: он обладал силой, которая могла бы сохранить ему жизнь, но отказался от этого.

Питер попытался вспомнить свой детский страх перед дядюшкой. Но это было так давно. После той ужасной ночи глаза Илии больше никогда не пугали его. Глубокая голубизна утратила прежнюю жестокость — теперь в ней сквозили мягкость и любовь.

Сначала Питер не пользовался силой из страха перед Илией. Но постепенно страх миновал. Маленький Питер повзрослел, вытянулся, возмужал. Теперь он стал сильнее Илии, который был вовсе не так уж огромен, как Питеру казалось раньше. И он начал относиться к Илии, как к равному, как к человеку, на котором лежало то же проклятие, что и на нем самом. Он не раз гадал, что же произошло с Илией, каким образом тот открыл в себе силу. Но так и не осмелился спросить.

Люди потянулись прочь. Он один остался у могилы Илии. Сейчас Питер был благодарен ему за урок, преподанный той ночью. То и дело он ощущал уколы совести за все, что он успел подслушать. Но если раньше он отказывался от силы просто из страха, то теперь он гнал ее прочь из уважения к Илии, из благодарности и из любви.

Питер встал на колени, взял горсть свежей земли с могильного холмика и скатал из нее шарик. Земля высохла и стала твердой, как железо. Он пошел по дороге в город Вортинга, подбрасывая и ловя шарик, пока тот не превратился в пыль. Почему-то он ощутил странную печаль при виде этих крошечных комочков земли. Вытерев руки о штаны, он зашагал дальше.

Глава 21

МЕДНИК

Ночь опустилась на лес подобно сове, пикирующей на свою жертву, так что Джон Медник едва успел набрать охапку листьев, призванную заменить ему ночью кровать. Расстелив импровизированное ложе под голубым кленом, он устроился поудобнее и стал смотреть на небо, исчерченное кривыми зигзагами ветвей. Время от времени из-за облаков показывалась то одна, то другая звезда, и каждый раз Джон Медник думал, не та ли это самая, что преследует его во сне.

В ту ночь сновидение опять посетило его. В холодных предрассветных сумерках он проснулся весь в поту, его била нервная дрожь. Мчась сквозь ночь, звезда неумолимо надвигалась на него, в ушах стоял ужасный рев, и рев нарастал, и звезда становилась все больше, вот она превзошла размерами солнце и продолжала увеличиваться, поглощая Джона целиком. От звезды исходил настолько сильный жар, что перехватывало дыхание, а пот лил ручьями до тех пор, пока в теле не осталось ни капли влаги, пока кожа не превратилась в наждак. В это мгновение он проснулся, весь дрожа и задыхаясь. Первое, что он увидел, открыв глаза, были зяблики: усевшись на вылезшем из земли корне, они с интересом следили за проснувшимся человеком.

Он улыбнулся и протянул руку. Птички отскочили, а затем снова приблизились, заигрывая с ним, будто приглашая принять участие в брачном танце. Потом они дружно перепрыгнули ему на руку, и он поднес пташек поближе к себе. Посмотрев на самца, Джон Медник кивнул головой. Зяблик кивнул в ответ. Джон Медник подмигнул. Подмигнул и зяблик. Тихо усмехнувшись, Джон Медник неожиданно тряхнул рукой, и, сорвавшись с импровизированного

насеста, птички полетели прочь, выписывая невероятные, искусные круги и зигзаги вокруг стволов. На их крыльях летел и Джон Медник, переживая то же чувство безумного полета, когда живот скручивает от скорости падения, а при резком подъеме перехватывает дыхание. Так он и летал, кружась и кувыркаясь, все неистовей, все стремительней, до тех пор пока крылья не начало сводить от усталости. За этим последовало несколько минут отдыха — зяблики сидели на ветви, а Тинкер лежал на земле, ощущая усталость и легкую ломоту у лопаток, будто утомлен был он сам, а не птицы. Нелегкие мгновения полета, а затем сладостная боль отдыха. Он улыбнулся и покинул птичье тельце.

Поднявшись, он подобрал свои инструменты — деревянные молотки и формы, котелок для плавки металлов и, самое важное, тонкие полоски жести, из которых он справит почтенной Плотничихе ложку, жене Кузнеца кухонный котел, а Сэмми Брадобрею новую бритву. Кусочки жести были крепко-накрепко привязаны к его одежде и котомке, поэтому постоянно звякали, ударяясь друг о друга, причем настолько громко, что, когда он входил в город, на порогах домов уже ожидали его появления хозяйки, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. «Медник пришел в город», — слышал он их зов издалека и знал, что работа будет. Значит, он нужен. Между Хаксом и Линкири он был единственным медником, единственным на все безбрежные просторы Леса Вод, и у него хватало ума не появляться в одной и той же деревушке дважды в год.

Но сейчас дело близилось к зиме, и Джон Медник возвращался домой. Домой в Вортинг, в крошечную, мало кому известную деревушку, затерянную в лесу, где его жестянки никому не нужны. Вместе с ним в Вортинг приходила магия, зима для живущих там была временем волшебства. Для него же зима неизменно означала сезон страданий.

Джон Медник целый час пробирался сквозь дебри леса, прежде чем решился наконец выйти на дорогу. До города ос-

талось четверть мили пути. Он редко пользовался дорогами, потому что в эти лихие времена на путников нередко нападали лесные грабители, охотящиеся за жалким скарбом неосторожного путешественника. И хотя он был знаком со многими шайками и не раз исполнял для них кое-какую работу по своему ремеслу, он знал, что если разбойники увидят его на дороге, то сначала убьют, а потом уже будут разбираться, кто попался в их сети. И тогда уже не поможет ни имя Джона Медника, лесного бродяги, ни имя Джона Пташки, волшебника, дружащего с певчими птичками.

Кроме того, в лесу встречались и такие уголки, где его вообще не знали. Не раз и не два, звеня своими жестяными одеяниями, он набредал в чащобе на одинокую, заброшенную хижину. Дымок не курился над нею, и следов обитания не было видно — случалось, что люди, жившие в таких домиках, болели и у них просто не оставалось сил, чтобы натаскать хворосту. Не раз на него набрасывались обитатели хижин — умирающая старуха слабой рукой сжимала нож, шестилетний мальчик пытался поднять топор, чтобы защитить мечущихся в лихорадке родителей. И тогда Джон Медник что-то тихо шептал, улыбаясь, и выпорхнувшие из-за его спины зяблики мирно усаживались у изголовья больных. Когда же он уходил, люди, как правило, спали мирным, счастливым сном, а в камине весело потрескивал огонь.

Просыпались они здоровыми и полными сил и вскоре забывали Джона Медника, чьего имени никогда и не знали. Однако каждая мать, укрывая ночью спящего младенца, нет-нет да поминала добрым словом ласковые руки врачевателя. И каждый мужчина, любуясь поутру женой, чьи веки все еще смыкал сон, думал о водящем дружбу с птичками великане, который, коснувшись ее, позволил жить ее красоте.

Сэмми Брадобрей выглянул из окна своей цирюльни, расположенной на главной площади, и увидел солнечные

зайчики, отбрасываемые блестящей жестью Джона Медника. Он тут же поспешил обратно к креслу, где с лицом, покрытым мыльной пеной, сидел Мартин Трактирщик, ожидающий бритья.

— Медник пришел в город.

Мартин Трактирщик резко выпрямился:

— Вот проклятие, а мальчишка один в гостинице.

— Да ладно, все равно уже поздно. Он только что вошел туда. — Сэмми попробовал пальцем бритву. — Ну, как пожелаете: вернетесь домой гладко выбритым или побежите с колючей щетиной на лице, а, мастер Мартин?

Мартин хрюкнул и опустился обратно на место:

— Давай побыстрее, Сэмми, или это обойдется тебе дороже, чем те жалкие два пенса, что ты намереваешься с меня стрясти.

Сэмми провел бритвой по подбородку Мартина:

— Никак не пойму, почему вы так не любите его, Мартин. Ну да, он человек холодный, нелюдимый...

— Если вообще человек...

— Он ваш брат, мастер Мартин.

— Ложь, наглая ложь. — Из-под остатков мыльной пены проглянул гневный багрянец, которым покрылись щеки Мартина. — Да, его отец и мой отец были двоюродными братьями, и только. Из уважения к родителю я позволяю ему бесплатно жить в гостинице, не более того.

Правя лезвие, Сэмми покачал головой:

— Тогда почему же, мастер Мартин, у вашего сына Амоса его глаза?

Мартин Трактирщик соскочил с кресла и в ярости напустился на маленького брадобрея:

— У моего сына Амоса мои глаза, Сэмми, они голубые, как и у меня, как и у его матери. Давай сюда полотенце.

Он небрежно смахнул пену, пропустив несколько клочков, в том числе и тот, что примостился на самом кончике носа, придавая лицу Мартина глупейшее выражение. Сэм-

ми сдерживал улыбку, пока хозяин гостиницы не выскочил из цирюльни. Но стоило только двери хлопнуть, как брадобрей разразился хохотом, от которого сотрясалось его толстое брюхо.

— Голубые, говоришь, как у меня, говоришь... — Сэмми плюхнулся на кресло, все еще хранящее тепло Мартина Трактирщика. Так он хихикал и потел, пока не заснул.

Амос, сын Мартина, сидел на высокой табуретке в гостиной и учился ведению дел — это означало, что еще часа два-три ему придется листать конторскую книгу отца и мечтать об улице. Другое дело сидеть здесь зимой, когда в камине потрескивают поленья, а посетители пьют, распевают веселые песни и танцуют, чтобы согреться. А ведь хорошей погоды осталось не так много — пара-другая деньков, за которыми последуют холодные ливни. Затем наступит зима и выпадет глубокий снег, так что до самой оттепели ему не купаться в реке. Как же ему сейчас хотелось содрать с себя одежду и опрометью мчаться к Западной реке. Но вместо этого он продолжал листать страницы в конторской книге.

Странное позвякивание отвлекло мальчика от этого нудного занятия. Он поднял глаза и увидел высокого мужчину, стоящего в дверном проеме среди солнечных лучей. Это был Джон Медник, зимний обитатель южной башни, человек, о котором никто не говорит, но которого все знают. Конечно, Амос испугался, как испугался бы на его месте каждый из жителей Вортинга. Страх ледяной рукой сжал сердце мальчишки, поскольку впервые в жизни ему пришлось столкнуться с Медником лицом к лицу, и могучая рука отца не опустилась на плечо, чтобы успокоить и подбодрить.

Джон Медник подошел к сидящему за конторкой мальчику. Амос следил за ним широко открытыми глазами. Джон Медник заглянул мальчику в глаза и увидел в них голубизну. Не обычную голубизну. У каждого белокурого обитателя здешних мест были светлые глаза. Но эти зрачки были

глубокого, чистого, необъятного цвета, окруженные белками без единой прожилки. Такие глаза не умеют мерцать, не умеют ни веселиться, ни дружить, зато ими можно видеть. Такие же голубые глаза были у Джона Медника, и не раз он с печалью вспоминал о том, что у мальчишки, его двоюродного племянника Амоса, глаза, в которых светится та же истина. Амос обладал даром. Может быть, не тем даром, что был свойственен Джону Меднику, а каким-нибудь другим, но дар есть дар.

Джон Медник кивнул, протянул руку и буркнул:

— Ключ.

Мальчик дрожащими руками снял с гвоздя ключ и вручил его меднику.

— Принеси мои вещи из шкафа, — проворчал тот и побрел по лестнице к южной башне.

Амос опасливо слез с табуретки и подошел к шкафу, где хранились котомки медника. За лето на них скопился толстый слой пыли. Амос без труда забросил полупустые мешки на плечо и побежал в комнату медника.

Лестницам было не видно конца — два этажа комнат для постояльцев, каждая из которых была занята, еще один этаж комнат, которые в этом году большую часть времени пустовали, наконец извилистая лесенка к люку в потолке, снова ступеньки... И он очутился в комнате медника.

Южная башня была самым высоким сооружением в городе, в стенах ее были прорублены окна, в которые так и не удосужились вставить стекла, а поэтому, когда ставни были открыты, со всех сторон в комнатушку задувал ветер. И из каждого окошка можно было увидеть бескрайнее царство леса, уходящее вдаль. Амос ни разу не бывал здесь, когда окна были открыты — однажды он залез сюда поиграть, но его тут же поймали и жестоко высекли. Он посмотрел на запад и увидел Гору Вод, вздымающуюся из чащобы Леса Вод и увенчанную белоснежной шапкой. Из башни была видна Западная река, уносящая свои переливающиеся воды

на северо-запад, а пурпурный горизонт севера был изъеден скалистыми отрогами Небесных гор. Из этой башни можно было обозреть весь мир, ну, кроме разве что самого Небесного Града, где жил Небесный Властитель, но ведь Небесный Град и не относился к этому миру.

— Отсюда видна вся земля.

Амос в изумлении обернулся и увидел медника, сидящего на табуретке в дальнем углу. Медник же продолжал:

— Входя в эту комнату, забываешь, что вокруг тебя города и деревушки.

Медник доверчиво улыбнулся, однако Амос с опаской сделал шаг назад. Как-никак он находился один на один с самим Джоном Медником, колдуном. Слишком перепугавшись, чтобы спасаться бегством, и не решаясь заговорить, он молча стоял у окна и следил за ловкими пальцами гостя.

Джон Медник, казалось, уже забыл о присутствии мальчика — разведя в камине огонь, он подвесил над ним котелок для плавки металлов. Спустя несколько минут жесть начала плавиться. Выждав еще пару секунд, мужчина ухватил пластинку деревянными щипцами и наложил ее на дыру в прохудившейся жестяной тарелке. Подхватив деревянный молоток, он принялся быстро обстукивать и обрабатывать ее, пока металл не остыл. Затем он нагрел еще одну пластинку и приложил к другой стороне тарелки; завершив работу, он протянул изделие мальчику. На тарелке не осталось и следа заплаты, только центр блестел несколько ярче, чем обычно. Но Амос ничего не сказал. Промолчал и медник, продолжив полировать и начищать тарелку, пока вся она не заблестела, как новенькая.

И тогда медник внезапно поднялся и шагнул к мальчику. Амос отпрянул, прижавшись спиной к ставню. Однако Джон Медник всего лишь взял принесенные им мешки, вытащил из них одежду и стал развешивать ее на крючках между окнами. Затем он достал несколько бутылочек, щет-

ку и разложил все это на ночном столике. Амос наблюдал за его действиями в полном молчании.

Наконец медник закончил, присел на краешек кровати, широко зевнул и откинулся на подушку. «Сейчас он заснет, — подумал Амос, — и тогда я сбегу». Но медник и не думал закрывать глаза, так что юный пленник даже засомневался было, а спят ли колдуны вообще. Наверняка не спят, а стало быть, ему всю оставшуюся жизнь суждено просидеть в этой башне.

Стоило ему подумать об этом, как в окно впорхнула птичка. Ярко-красной молнией она заметалась по комнате, облетела ее трижды и опустилась меднику на грудь.

— Ты знаешь, что это за птица? — тихо спросил медник. Амос упорно молчал. — Красногрудка, сойка. Лучшая певичка леса.

И как бы подтверждая его слова, пташка перелетела на подоконник и, усевшись там, начала что-то насвистывать и чирикать, так потешно кивая головкой, что Амос невольно улыбнулся. Джон Медник тоже засвистел, подхватив заведенную красногрудкой мелодию. Темп все убыстрялся и убыстрялся, человек и птичка, как бы споря, кидали друг другу заливистые трели. Это выглядело настолько забавно, что, когда они остановились, Амос уже вовсю хохотал от удовольствия.

Доверие мальчика завоевано. Джон Медник улыбнулся и сказал:

— А теперь можешь идти. — Амос немедленно нахмурился и скрылся в люке. — А, да, Амос, — окликнул его Джон Медник. Голова мальчика появилась вновь. — Хочешь подержать сойку в руке? — Мальчик молча смотрел на него. — Ладно, в следующий раз, — сказал медник, и мальчишка сбежал вниз по лестнице.

— А мне это не нравится! Черт подери, я что, мириться с этим должен?!

— Сидите спокойно, — мягко предостерег Сэмми Брадобрей. — Иначе я перережу вам глотку.

— Ты и так ее когда-нибудь перережешь, — взвыл Мартин Трактирщик. — Надо же какая напасть, и именно на мою голову. — Сэмми принялся править бритву. — Сэмми Брадобрей, тебе что, обязательно точить бритву прямо у меня под ухом?

Сэмми наклонился и взглянул в лицо трактирщику:

— Мастер Мартин, вас хоть раз брили тупой бритвой?

Тот что-то буркнул и на некоторое время затих. Наконец Сэмми Брадобрей отложил бритву в сторону, взял влажное полотенце и начал вытирать лицо Мартина. Трактирщик немедленно взвился с места и, швырнув брадобрею две монетки, рявкнул:

— И кроме того, мне не нравится та позиция, которую ты занял.

— Нет у меня никакой позиции, — смиренно опустив глаза, пробормотал брадобрей, но Мартину показалось, что в голосе его проскользнула насмешливая нотка.

— У осла моего нет позиции! — заревел Мартин и потянулся было схватить Сэмми за шиворот рабочего халата.

— Осторожнее, — предупредил брадобрей.

— В этом городе живут одни придурки какие-то, трусы вонючие, а я, значит, не прав, да?

— Халат, — напомнил брадобрей.

— Да плевать, родственник он мне или нет! Я не намерен больше терпеть его присутствие в моем доме! Подумать только, вздумал якшаться с моим сыном!

Раздался треск рвущейся ткани, и кусок белого халата остался в кулаке у Мартина. Лицо Сэмми Брадобрея приняло огорченное выражение. Мартин сунул руку в висящий на поясе кошель и вытащил пенни.

— Зашьешь.

— О, благодарю вас, — кивнул брадобрей.

Мартин пылающим взором уставился на него:

— Почему именно я должен привечать этого человека, а? А все только рады этому, конечно, врачеватель ведь, а

сами глаза прячут — кому захочется, чтобы под его крышей жил колдун?! У кого угодно, только не у него!

— Но он же ваш брат...

Внезапно брадобрей обнаружил, что болтается в воздухе, а горло его сжимают самые сильные руки во всем Вортинге, а скалится на него самое свирепое лицо во всем Вортинге, показывая при этом нечищеные зубы — хотя обычно Сэмми не чаще трактирщика обращал внимание на запах изо рта.

— Если я еще раз услышу, — прошипел Мартин, — слово «брат», хоть еще раз, я скормлю тебе вот этот точильный камень, а твою бритву буду точить у тебя же в животе!

— У вас что, с головой не все в порядке? — поинтересовался Сэмми, пытаясь не дышать, когда рядом с его лицом разевалась пасть Мартина.

— Нет! — ответил трактирщик, отшвыривая Сэмми. — Дома у меня не все в порядке! И вообще, сейчас я возвращаюсь в гостиницу, и пускай этот медник собирает свой хлам и валит отсюда ко всем чертям! — Мартин посмаковал столь удачную рифму, развернулся и, хлопнув дверью, выскочил на улицу. Направляясь через площадь к своей гостинице, старейшей постройке во всем Вортинге, он упорно делал вид, будто не слышит ехидного хихиканья Сэмми у себя за спиной. Да, вывеску «Постоялый Двор Вортинга» не мешало бы и обновить.

— Собирай свой хлам и вали к чертям, — приговаривал он на ходу. — Собирай свой *проклятый* хлам, — произнес Мартин уже погромче. Бродячий пес поспешил убраться с его дороги.

Амос сидел за конторкой, когда в здание ворвался отец. Мальчик немедленно соскочил с табуретки и вытянулся по струнке. Он еле удержался, чтобы не отпрянуть и не сбежать, когда отец протянул к нему огромные лапы, поднял в воздух и поставил прямо на конторку.

— Ты больше, — начал отец, — носа не сунешь... — Здесь трактирщику пришлось сглотнуть. — Носа не сунешь

в южную башню, не смей и приближаться к этому меднику. — Теперь пришла очередь Амоса сглотнуть. — Понял меня? — Амос еще раз сглотнул. Мартин так тряхануул мальчишку, что у того круги поплыли перед глазами. — Ты понял меня?!

— Да, сэр, понял, сэр, — ответил мальчик, голова которого все еще тряслась.

— Каждый день навещать колдуна — много чести будет!

Не дождавшись ответа, отец снова встряхнул сына. Амос быстренько кивнул:

— Точно, папа.

Чья-то тень заслонила солнечный свет. Отец и сын повернулись и увидели, что в дверном проеме стоит Джон Медник.

Возникла неловкая пауза — Мартин прикидывал, сколько тот успел услышать. Но потом решил, что судьбу лучше не искушать.

— Ты не пойми меня неправильно, — заискивающе произнес он грубым басом, которым обычно отдавал распоряжения. — Мальчишка со своими обязанностями совсем не справляется.

Медник кивнул, направился было к выходу, но вдруг обернулся:

— Меня позвала жена Бочкаря. Что-то с сыном ее. Мне нужен помощник.

Мартин Трактирщик быстренько отступил назад:

— Не, слушай, Джон, ты извини, но работы по уши, может, в следующий раз, сам видишь, как дела идут, сейчас ни секундочки свободной нет...

— Со мной может пойти мальчишка, — спокойно произнес Джон Медник и вышел из гостиницы.

Несколько мгновений Мартин смотрел ему вслед, затем, старательно отводя от сына взгляд, пробормотал:

— Ты слышал, что он сказал. Иди, поможешь ему.

Амос стрелой вылетел из комнаты, прежде чем отец успел раскаяться в принятом решении.

* * *

В доме матушки Бочкарихи было темно, четверо или пятеро детишек сгрудились в уголке общей комнаты. Джон Медник и Амос подошли к приоткрытой двери, и Джон вежливо постучал о косяк. Ребятишки не шевельнулись. Наконец где-то наверху раздались громоподобные шаги, и по ступенькам лестницы спустилась огромная женщина в заляпанном переднике. Увидев Джона, она встала как вкопанная, но тут же справилась с собой и кивнула, приглашая гостей в дом. Рукой она махнула в сторону второго этажа, пропустила Джона вперед и, стараясь держаться подальше, направилась следом.

На кровати скорчившись лежал ее сынишка. Живот его настолько раздулся, что остальное тельце казалось лишь придатком к этому чудовищному брюху. Простыни были залиты кровью и мочой, запах стоял ужасный. Мальчик стонал.

Джон Медник встал на колени рядом с постелью и положил руку на лоб малышу. Мальчик вздрогнул, глаза его закрылись.

Не отрывая глаз от лица мальчика, Джон прошептал:

— Матушка Бочкариха, спуститесь вниз, наберите ковш воды и передайте его Амосу, он принесет. Когда вы будете нужны, я пошлю за вами.

Женщина прикусила губу и не переча загрохотала вниз по лестнице, у подножия которой встревоженной стайкой толпились дети. Небрежно взмахнув рукой, она отогнала их, похоже, даже попала кому-то по лицу. Вернувшись вскоре с ковшом, она передала воду Амосу — и, увидев глаза мальчика, такие же голубые, как и у колдуна, испуганно отшатнулась. Но мальчик был еще мал, кроме того, она его хорошо знала, а поэтому осмелилась спросить:

— Калинн выздоровеет?

Этого Амос не знал. Ничего не ответив, он повернулся и начал подниматься по лестнице. Женщина осталась ждать внизу, в отчаянии крутя и терзая передник.

* * *

Калинн прятался от самого себя, он даже не слышал, что вокруг кто-то ходит. Лишь изредка, словно дотянувшись издалека, чья-то рука касалась его лба, да обрывочные слова долетали сквозь пелену тумана. Но на это он не обращал внимания. Он стоял в коридоре перед закрытой дверью, а за этой дверью находилось его тело, это тело и было тем монстром, который терзал его. Много недель ушло на то, чтобы закрыть дверь, ведь, чтобы отгородиться от боли, надо было отгородиться от всего — от звуков, запахов, видений, всех тех людей, которые приходили навестить его, дотронуться до его вздувшегося живота. Но вот пришел кто-то незнакомый, он шептал ему неизвестные слова, гладил по голове... Но стоит ли снова открывать дверь? Он лежал не шевелясь. Только чувствовал, как губы его вдруг приоткрылись, и он услышал свой собственный приглушенный стон. Он передернулся.

Джон Медник закрыл глаза и коснулся мальчика руками. Странно, но боли он не видел, она даже не ощущалась. Поэтому он тихо зашептал:

— Калинн, скажи мне, где боль, куда ты спрятал ее?

Он снова посмотрел и опять ничего не нашел.

Вошел Амос с ковшом воды. Джон опустил в воду руку Калинна. Он искал чувство и не находил его.

— Подними ковш, Амос, и плесни ему на голову.

Лежа в своем укрытии, Калинн почувствовал, как на голову обрушился поток ледяной воды. Его чудовищное тело взвилось от холода и так ударилось в дверь, что чуть не прорвалось к нему. Калинн испуганно вскрикнул и что было сил навалился на хлипкую перемычку.

Джон Медник ощутил дрожь, поймал ее и последовал за этой тоненькой ниточкой — потихоньку, так чтобы не оборвать ее, чтобы она привела его туда, куда он хотел попасть. Наконец он очутился в маленькой комнатке, и в противоположном углу была дверь. Он двинулся к ней. Вне-

запно он почувствовал, как что-то вцепляется в него, тянет и отталкивает от двери. Он вырвался из объятий маленького стража и ухватился за ручку.

(Поставив ковш на пол, Амос стал внимательно наблюдать за медником. Странные тени бродили по его лицу, но он продолжал сжимать в руках голову умирающего ребенка. Внезапно Калинн поднял вверх тоненькие ручки и вцепился меднику в лицо. Пальцы были слабые, болезнь истощила силы мальчика, но все-таки его коготки оставили на лице медника отчетливые кровавые полосы. Амос заколебался — может, надо помочь? Но тут раздутое тельце вдруг выгнулось, рот открылся, и раздался долгий, высокий, беспомощный крик. Казалось, он длился целую вечность, становясь все громче, громче, пока не наполнил весь дом, а потом вдруг утих, сменился тишиной. Прямо на глазах у Амоса живот Калинна начал опадать и сжиматься.)

Когда Джон открыл дверь, оттуда прямо на него прыгнул ужасный монстр. Он тоже слышал панический вопль мальчика, но только до Амоса он доносился издалека, а тут крик звучал совсем рядом. Джон схватился с болью, вцепился в нее, поглотил, разорвал в клочки, пережил и подчинил, а затем ринулся следом, вбирая малейший остаток ее — пока наконец рак, терзающий тело мальчика, не сосредоточился в сознании Джона.

И тогда он начал расправляться с болезнью. Процесс был долгим и тяжелым, но он упорно делал свое дело, пока не уничтожил всю боль без остатка. Затем, уверившись, что от болезни не осталось и следа, он начал заполнять проделанную прореху, и Амос с изумлением увидел, как кожа впавшего живота Калинна вдруг натянулась, затем разгладилась, порозовела и натянулась. Тело мальчика расслабилось. Рот закрылся, и Калинн перекатился на спину, заснув спокойным сном впервые за неисчислимые столетия мучений. Джон отнял от головы мальчика руки и поднял глаза

на Амоса. На лице его отражалась боль, тихим шепотом он приказал своему юному помощнику перестелить простыни.

Джон встал и поднял Калинна, Амос же торопливо сдернул вонючее постельное белье и бросил его на пол.

— Переверни матрас, — шепнул Джон. Амос повиновался. — А теперь принеси чистые простыни и убери отсюда грязные.

Матушка Бочкариха нервно кусала пальцы, когда раздался вопль Калинна. Увидев спускающегося по лестнице Амоса с ворохом грязного белья в руках, она наконец вытащила кулак изо рта. Амос передал ей простыни и спросил, где взять свежие.

— Да, и принесите ведро воды. Он говорит, обязательно надо вымыть пол.

— А я могу подняться?

— Сейчас, скоро уже. — Амос исчез наверху, спустя несколько минут его голова показалась над перилами, и он кивнул ей. Матушка Бочкариха поднялась по лестнице, то с надеждой убыстряя шаг, то в страхе останавливаясь. Войдя в комнату, она увидела, что ставни открыты, занавеси отдернуты, и в окно бьют солнечные лучи, освещая сидящего на постели Калинна. Лицо его вновь стало гладким, тело — нормальным, живот обрел прежнюю форму. Боль бесследно сгинула. Она села на краешек кровати, обняла сына и крепко прижала к себе. Он обвил ручонками ее шею и прошептал:

— Мама, я есть хочу.

Никто и не заметил, как Джон Медник и Амос вышли.

Но вечером к дверям гостиницы подбежали трое ребятишек и вручили Мартину Трактирщику два отличных ведра и маленький бочонок.

— Это волшебнику, — сказали они.

* * *

Вскоре полили холодные ливни. Буквально через неделю Лес Вод подернулся желтизной, затем стал бурым, а потом и вовсе расползся голой паутиной сучьев среди редких елей и сосен. На Горе Вод лежал снег.

Амос больше времени стал проводить в гостинице — рубил бревна на поленья, чтобы удобней было подбрасывать их в камин, чистил комнаты, исполнял различные поручения отца в городе, а в свободные минутки несся по ступенькам в южную башню, чтобы посидеть с Джоном Медником.

В те немногие дни, когда не лил дождь, ставни окон были распахнуты настежь, и тогда едва ли не дюжина птичек прилетала посидеть на подоконнике. Обычно это были мелкие пташки, гостьи из леса; частенько наведывалась парочка зябликов, которые, похоже, были лучшими друзьями медника, но иногда появлялись и хищные птицы: ближе к вечеру — совы, днем — ястребы. А один раз к ним в гости залетел огромный орел с Горы Вод. Его расправленные крылья доставали от кровати до стены, в этом существе крылась такая сила, что Амос в испуге забился в угол. Но Джон Медник бесстрашно погладил птицу, и когда орел улетел, его левая лапа, которая была слегка подвернута, снова ступала твердо.

А когда в затворенные ставни стучал дождь, Амос и Джон Медник просто говорили друг с другом. Хотя Джон зачастую и не слушал — бывало, что Амос задавал вопрос, а медник, очнувшись от дремы, просил повторить его. Но когда он все-таки слушал, то относился к словам Амоса с вниманием. И однажды Амос попросил Джона научить его лечить людей.

После излечения Калинна, сына Бочкарихи, Джон предпочитал не брать Амоса с собой, видимо, не хотел, чтобы к мальчику прилепилась дурная слава колдуна-врачевателя. Но пару раз Амос все-таки увязался за ним. Он внимательно следил за действиями Джона и вроде бы что-то понимал.

— Иногда я вижу, как ты это делаешь.

— Правда? — Джон с интересом посмотрел на него.

— Ага. Сначала ты дотрагиваешься до них. До головы, шеи или спины.

— Одним прикосновением человека не излечишь.

Амос кивнул:

— Знаю. Потом ты бормочешь что-то, и люди иногда думают, что ты читаешь какие-то заклинания.

— Заклинания?

— На самом-то деле это обычные слова, — ответил Амос. — Ты успокаиваешь больного. Заставляешь расслабиться.

Джон улыбнулся, но лицо его осталось хмурым:

— А ты ведь и вправду не спускал с меня глаз.

Амос гордо улыбнулся в ответ:

— А затем ты находишь боль и уничтожаешь ее.

Джон Медник схватил мальчика за руку. Пальцы клещами впились в предплечье, Амос даже сначала не понял, почему Джон вдруг рассердился:

— Откуда ты это узнал?

— Ну, узнал. Я наблюдал за тобой, ты закрывал глаза и думал. А потом, когда у больного начинался очередной приступ, ты исцелял его. Боль сама являлась тебе.

Джон наклонился поближе и прошептал:

— А ты когда-нибудь чувствовал эту боль?

Амос покачал головой:

— Поэтому-то я и прошу тебя. Научи меня чувствовать ее.

Джон Медник с облегчением отстранился и положил руки на подоконник.

— Слава Богу, — сказал он.

— Так ты научишь меня? — спросил Амос.

— Нет.

И Джон Медник отослал мальчика вниз.

* * *

Зима выдалась ранняя, жестокие морозы нагрянули внезапно и не отступали до самой весны. В течение трех месяцев лес стоял в оковах нетающего льда, а сильный ветер дул не переставая. Иногда дул с севера, иногда — с северо-запада, порой — с северо-востока, и каждая перемена ветра приносила с собой новый снег и новую метель, даже в домах не было спасения от холода — ветер неизменно отыскивал какую-нибудь щелку, чтобы пробраться внутрь. В первую же неделю деревню совсем замело, и до самой оттепели никто и носа не казал в лес, даже на лыжах.

Спустя месяц начали умирать люди. Сначала отошли самые старые, самые маленькие и самые бедные. За ними последовали пожилые и младшие, а затем беда наведалась и во вполне благополучные дома. И каждый раз, когда случалось несчастье и кто-то заболевал, обращались к Джону Меднику.

Каждый день у дверей гостиницы скапливались кучки людей, кутающихся в дюжину одежек. Каждый день Джон поднимался, едва забрезжит заря, а ложился уже за полночь. Но за холодами ему было не угнаться, те действовали куда быстрее, чем он, и люди продолжали умирать. То и дело по улицам города проходила маленькая похоронная процессия, везущая хоронить очередной уже окоченелый труп, а обида и злоба на колдуна, который позволил умереть родному человеку, все росла. Земля промерзла насквозь, поэтому ямы рыли уже не такие глубокие; в конце концов, мертвецов стали просто класть на лед и забрасывать снегом, который после обливали водой — чтобы волкам было не добраться.

В городе всего-то жило около трехсот человек, поэтому смерть пятнадцати жителей так или иначе коснулась каждого дома. Печаль и уныние начали распространяться по Городу Вортинга. И несмотря на то что Джон Медник вырвал из лап смерти куда больше жертв, чем она успела унести, люди, приходящие на кладбище, сначала смотрели на холмики снега, а потом неизменно поворачивались, чтобы

взглянуть на громаду южной башни постоялого двора Вортинга. Каждый божий день выпадал новый снег, а старый не таял, и вскоре улицы занесло так, что их уже было не расчистить. Многим семьям, чтобы попасть наружу, приходилось вылезать из окон второго этажа.

А затем из чащоб леса, где уже не осталось ни ягод, ни насекомых, и из южных земель, куда впервые добрались столь страшные холода, потянулись стаи птиц. Сначала на крыше гостиницы Вортинга поселилось несколько зябликов и соек, окоченевших и оголодавших. Вслед за ними прилетело еще несколько стай, а затем птицы повалили сотнями, тысячами — они сидели на крышах, перилах и подоконниках, заполонив собой весь Вортинг. Их страх отступил перед морозами и болезнями, птички не взлетали даже тогда, когда дети гладили их — чтобы заставить взмахнуть крыльями, надо было подбрасывать их в воздух.

Вскоре люди стали замечать, что по ночам сквозь щели ставней южной башни просачиваются полоски света и окна время от времени открываются, то выпуская, то впуская новых пташек. Наконец жители поняли, что по ночам Джон Медник, колдун, использует свой магический дар, чтобы лечить птиц.

— Есть и такие, — поведал Сэмми Брадобрей Мартину Трактирщику, — которые считают, что не дело, когда медник растрачивает свои силы и время на каких-то пташек, ведь рядом умирают живые люди.

— А есть и такие, — буркнул Мартин Трактирщик, — которые обожают совать свой длинный нос не в свое дело. Брить не надо, с бородой по ночам теплее. Подровняй немножко волосы.

Ножницы быстро защелкали.

— Некоторые жители придерживаются мнения, — продолжал Сэмми Брадобрей, — что люди важнее, чем птицы.

— Так пускай те, кто так думает, — рыкнул Мартин, — отправляются к меднику и выскажут ему это свое мнение.

Сэмми перестал щелкать ножницами:

— Мы сочли, что будет лучше, если об этом скажет ему человек, в жилах которого течет родная кровь, а не какой-то там чужак.

— Чужак! Неужели в этом городе найдется хоть один чужой человек Джону Меднику?! Он побывал в каждом доме, он живет здесь с юных лет, а сейчас вдруг выясняется, что я его закадычный друг, а все остальные — чужие люди! Мне дела нет до него и этих его птиц. Он чист. Он помогает людям и не досаждает мне. И я в свою очередь не хочу досаждать ему.

— Но кое-кто... — неуклонно гнул свое Сэмми.

Мартин поднялся с кресла:

— Кое-кто сейчас подавится собственными ножницами, если немедленно не заткнется.

Выдав эту весьма убедительную тираду, он сел обратно. Ножницы снова защелкали. Только Сэмми Брадобрей теперь не хихикал.

На следующий день началось убийство птиц. Матт Бочкарь обнаружил у себя в амбаре воробьев, которые клевали пшеницу, припасенную им на зиму. Жена бондаря была больна, запасов до конца зимы явно не хватало, а лучший друг Матта, старый кузнец, умер только вчера — медник не успел к нему. Припомнив все это, Матт Бочкарь переловил птичек, после чего усадил их на землю и по одной передавил. Замерзшие до полусмерти, больные пташки даже не попытались улететь.

С кровью на башмаках Матт Бочкарь в ярости выскочил из дому. Хватая с перил и подоконников воробьев, зябликов, малиновок и соек, он что было сил швырял их о стену дома. Большинство птиц разбивалось насмерть и бездыханными трупиками падало на снег.

Теперь уже он ругался во всю глотку. Заслышав голос отца, на улицу повыскакивали его сыновья и тоже принялись убивать птиц. Спустя некоторое время из других до-

мов тоже начали выбегать люди, и все они начали ловить окоченевших, беспомощных птичек и либо сворачивать им шею, либо кидать оземь, либо топтать.

Внезапно все замерли, и в воздухе повисла тишина — все смотрели на Джона Медника, вышедшего на середину площади. Он повернулся, обвел взглядом замолкших людей, посмотрел на снег, усеянный тельцами сотен птиц, а затем снова поднял глаза на жителей города, чьи руки были окроплены птичьей кровью.

— Если вы хотите, — крикнул он, — чтобы я и дальше лечил ваших больных, немедленно остановитесь. Ни одна птица не должна больше умереть от руки человеческой в Истинном Городе.

Ответом ему послужило все то же молчание. Люди устыдились своих поступков, а потому еще больше возненавидели медника.

— Если в Вортинге умрет хоть еще одна птичка, я пальцем не дотронусь до людей.

Стоило ему скрыться в гостинице, как вслед ему понеслись выкрики:

— Эти птицы ему дороже нас!

— Да он свихнулся!

— Колдун должен лечить людей!

Тем не менее все разошлись по домам, вернувшись к брошенным делам, и никто не осмелился снова поднять руку на птиц. Окровавленные останки были быстро подъедены орлами и грифами, даже эти хищные по природе птицы опустились до пожирания трупов. Вскоре от дневной бойни не осталось и следа.

До захода солнца умерло еще двое жителей города, и люди с ненавистью смотрели на южную башню, где до поздней ночи горел свет и куда то и дело залетали птички.

Джона Медника разбудил стук, донесшийся со стороны люка. Рассвет еще не наступил; сбросив одеяла, он поднял-

ся с постели. Дюжина птичек, примостившихся на нем, порхнула по углам комнаты. Джон поднял крышку, и в комнату просунулась голова Мартина Трактирщика.

— Мальчишка, Амос, он простудился, его так трясет, что мы не знаем, что и делать.

Джон быстренько натянул штаны, надел рубашку, фуфайку и последовал за трактирщиком.

На последних ступеньках лестницы Мартин Трактирщик вдруг остановился, да так внезапно, что медник налетел на него. Не сводя глаз с пола, Мартин отступил в сторону, и Джон Медник увидел трупики двух воробьев. Их шеи обвивала толстая нить. К одному трупику была привязана бумажка с надписью «Маленький Джон Фермер», а к другому — «матушка Кухарка».

— Маленький Джон и матушка Кухарка умерли вчера, — прошептал Мартин Трактирщик.

Джон Медник ничего не ответил.

— Найду, кто это сделал, головы поотворачиваю, — пообещал Мартин.

Джон Медник ничего не ответил.

— Ну что, ты посмотришь мальчика?

Джон Медник прошел вслед за ним в северное крыло гостиницы, в маленькую, жарко натопленную комнату. Над огнем бурлили котелки, и раскаленный пар каплями воды оседал на стенах, но, несмотря на жару, лоб Амоса оставался холодным, а руки посинели.

— Видишь? Ты вылечишь его? — спросил Мартин Трактирщик.

Джон Медник сел рядом с мальчиком, положил руки на его лоб и начал что-то шептать. Но спустя какую-то секунду он прервался и с удивлением поднял глаза.

— Что-то не так? — встревоженно спросил Мартин.

Джон снова закрыл глаза и коснулся лба мальчика. Затем он перевернул Амоса на бок, дотронулся до его шеи,

спины, затем снова потрогал голову, как бы пытаясь что-то нащупать. Но нет, он ничего не чувствовал. Амос для него был все равно что труп, хоть и продолжал дышать. До этого момента Джону не приходилось сталкиваться с людьми, которые не откликнулись бы на его мысленный призыв.

Глаза Амоса открылись, и он взглянул на Джона Медника. Медник встретил его взгляд.

— Ты еще не нашел мою болезнь? — спросил мальчик.

Джон Медник покачал головой.

— Пожалуйста, поспеши, — сказал мальчик и снова закрыл глаза. Медник взял руку мальчика и склонил голову. Так он сидел несколько мгновений, после чего поднялся и направился к дверям. Мартин Трактирщик ухватил его за рукав.

— Ну? Он выздоровеет?

Джон Медник покачал головой:

— Не знаю.

— Разве ты не вылечил его? — не отпускал его Мартин.

— Не смог, — ответил Джон и покинул комнату.

— Что значит не смог?! — не отставал Мартин.

— Он недоступен для меня, закрыт, — объяснил Джон, направляясь к южной башне. — Мне не найти ее.

— Не найти кого?! Значит, всех остальных в этом городе ты можешь вылечить, а вот для моего сына ничего сделать не можешь...

Они миновали трупики птиц, и Мартин вдруг резко встал на месте, уставившись на них.

— Так вот в чем дело, да?! Я слышал твои угрозы, еще одна птица — и все умрут! — крикнул Мартин вслед поднимающемуся по лестнице меднику. — Вернись, колдун! Я не позволю тебе просто так убить моего сына!

Медник развернулся и спустился вниз.

— Мой сын не убивал этих проклятых пичуг! — набросился на него Мартин. — И я их не убивал! А если ты хочешь кого-то наказать, наказывай того, кто сделал это!

— Никого я не наказываю, — прошептал Джон.

— Мой мальчик умирает, и ты вылечишь его! — заорал Мартин.

— Я не могу, — выдавил Джон. — Это и есть его дар. Он закрыт от меня.

Мартин словно клещами вцепился в его фуфайку:

— Что за дар?

— Глаза. Дар дается вместе с глазами. Мне дан дар чувствовать боль и излечивать ее. Его дар состоит в том, чтобы быть единственным в мире человеком, недоступным моему лечению.

— Ты хочешь сказать, твоя магия на него не действует?

Джон кивнул и двинулся было к себе, но Мартин снова схватил его за руку:

— Кончай отпираться! Ты можешь исцелить всякого, кого только захочешь! Ты жил под моей крышей тридцать лет, я ни разу не потребовал с тебя денег, а ты похитил у меня сына, приворожил его и научил ненавидеть собственного отца. Так что или ты сейчас пойдешь и вылечишь мальчишку, или, клянусь, я убью тебя!

Джон Медник посмотрел ему прямо в глаза:

— Я бы вылечил его, если б смог. Но я не могу.

Затем он отцепил руку Мартина от рукава своей фуфайки и двинулся наверх. Хлопнув крышкой люка, он сел на кровать, уперся локтями в колени и закрыл лицо ладонями. Птички придвинулись к нему поближе, а один зяблик даже сел на плечо.

Он слышал внизу гул собирающейся толпы, сквозь невнятное бормотание то и дело прорывались громкие крики. Но медник ничего не предпринимал до тех пор, пока они не ринулись вверх по лестнице. Тогда он передвинул на крышку люка свою кровать и начал наваливать на нее столы, стулья, все, что под руку попадется, чтобы хоть немного утяжелить вес. Трое мужчин с легкостью справятся с этим

весом, но лестница слишком узка, и троим к люку не подобраться.

В крышку люка заколотили. Джон Медник надел еще две рубахи, пару штанов и обе теплые накидки. Засунув в котомку инструменты, немного одежды и кусок хлеба, он привязал к шее лыжи. Затем он распахнул западное окно башни.

В шестнадцати футах под ним белел скат гостиничной крыши. Джон встал на подоконник и, прижав к груди котомку, прыгнул.

Толпа, собравшаяся у гостиницы, заревела. В это же мгновение он по колено ушел в глубокий снег и начал скатываться по крыше вниз.

До земли было высоко, но и снег внизу был глубже. Уйдя в сугроб с головой, Джон на какую-то секунду испугался — а сумеет ли он выбраться из этого снежного завала? Но вскоре он пробился на поверхность, приминая котомкой снег, вылез на сугроб и натянул на ноги лыжи. Тогда-то толпа и обнаружила его.

Из-за юго-западного угла гостиницы выскочили несколько человек, которые при виде него немедленно закричали и начали размахивать руками, призывая остальных. Кое-кто попытался погнаться за ним, но снег был слишком глубок — один из преследователей чуть не сгинул в сугробе. Камней, чтобы забросать Джона, у них не было, поэтому им ничего не оставалось делать, кроме как швырять в него наспех слепленные снежки с кусочками сосулек. Пара таких снежков даже ударилась ему в спину. Отделавшись небольшими синяками, вскоре он исчез между деревьев.

Как только он скрылся из виду, разом защебетали все птицы. Люди посмотрели на крышу гостиницы Вортинга. Крыша посерела от собравшихся на ней птиц, лишь изредка в этом скоплении мелькали красные и синие грудки. Птицы кричали еще с полчаса — люди уже потихоньку по-

тянулись по домам, испуганные, что птахи собираются както отомстить городу за изгнание медника. Затем словно крыша Постоялого Двора Вортинга разом поднялась в воздух и рваной серой заплатой полетела в сторону леса. Спустя несколько минут в городе не осталось ни одной птицы. Подобно облаку, они медленно уплывали в сторону Горы Вод, пока не скрылись за верхушками деревьев.

Той же ночью затих ветер. Всепоглощающая тишина обрушилась настолько внезапно, что кое-кто из жителей Вортинга проснулся и подошел к окнам посмотреть, что происходит. С неба повалили большие хлопья снега, кружась, они медленно опускались на землю. Люди вернулись в свои постели.

Утром выяснилось, что за ночь навалило снега под два фута, и мужчины вышли расчищать тропки. Но так как снег все еще продолжал идти, они быстро отступились и решили дождаться конца снегопада.

Но снег и не думал останавливаться. К полуночи его навалило еще пять футов, и люди, живущие в маленьких лачужках вдали от центра Вортинга, услышали, как крыши начали потрескивать под его тяжестью. Наиболее осторожные собрали в котомки пожитки и перебрались в гостиницу Вортинга. Робкими голосами они попросили у Мартина разрешения переночевать. Тот высмеял трусов, но позволил им расстелить одеяла у камина в гостиной, где они и проспали благополучно всю ночь.

Ночью снег еще усилился, а ветра все не было, поэтому сугробы продолжали расти на крышах домов. Не прошло и нескольких часов, как крыши самых маленьких хижин не выдержали веса и провалились. Это произошло настолько бесшумно, что даже близкие соседи ничего не услышали — крики и грохот падающих балок заглушил толстый слой снега.

До утра простояли лишь считанные дома — их на славу сделанные крыши еще сдерживали груз. Большинство же граждан Вортинга встретили рассвет, выкарабкиваясь из-под обломков домов и в панике разгребая снег. Однако белые хлопья валили настолько густо, что башня Постоялого Двора Вортинга полностью терялась в снежном мареве, стоило перейти на другую сторону площади. Очень, очень многие так и не дожили до конца той ночи.

Днем снегопад прекратился, лишь редкие снежинки лениво кружились в воздухе. К двум часам небо очистилось и выглянуло солнце, робко жмущееся ближе к югу. В половине второго в гостиницу Вортинга прибыли первые спасшиеся.

Дверью теперь служило окно второго этажа. В три часа в гостиной комнате собрались две дюжины жертв ночного снегопада. Женщины оплакивали погибших под обломками домов детей, мужчины молча стояли у конторки, слишком потрясенные, чтобы что-то говорить или предпринимать.

Затем налетел ветер. Подул он с севера, но только первый порыв его ударил в окно, как мужчины переглянулись и кивнули друг другу.

— Заносы, — сказал один из них, и все не сговариваясь ринулись наперегонки к самодельной двери второго этажа.

— Уходить по двое! — крикнул вслед Мартин Трактирщик. Однако надобности в этом предупреждении не было никакой. Никто не хотел потеряться и погибнуть в снежной пурге.

Вскоре вернулись назад первые спасатели, они привели старуху и пару маленьких ребятишек. Вслед за ними появились еще люди, но все они жили совсем рядом с гостиницей, и до них добраться было легко, а ведь ветер с каждой минутой все крепчал. Поток народа все ослабевал и вскоре совсем иссяк — спасатели начали возвращаться с пустыми руками. А двое принесли бездыханное тело.

Это был Матт Бочкарь, и он был мертв. Когда крыша рухнула, одной из балок его ударило по голове, долгое время он пролежал без сознания, а потом уже не смог выбраться. Он замерз насмерть еще утром. Люди в гостиной, которых набралось уже больше шестидесяти, разом отступили, взглянув на этот труп. Одна из рук замерзшей клешней указывала куда-то вперед, теперь же, начав оттаивать, она вдруг медленно опустилась. Матери закрывали детям глаза, но те вырывались и все равно смотрели. А затем с лестницы донесся ужасный вой.

Это была матушка Бочкариха и ее дети. Спасатели только что привели ее, и она как раз спускалась в гостиную со второго этажа. Громко подвывая, матушка Бочкариха рухнула на труп мужа. Целуя мертвое лицо, дыханием согревая пальцы погибшего, она плакала и беспрестанно звала его. В конце концов она поняла, что он мертв и ему уже ничем не поможешь. Несколько мгновений она молчала, а затем запрокинула голову и закричала. Крик этот продолжался целую вечность. Людям, столпившимся вокруг нее, уже начало казаться, будто это они сами кричат, и когда она наконец смолкла, по зале еще долго гуляло эхо вторивших ей голосов. Тишину прорезал громкий приказ Мартина Трактирщика, раздавшийся сверху.

— Все, хватит. Уже стемнело. Вы сами потеряетесь. — Кто-то попытался возразить в ответ, и снова раздался голос Мартина, только уже громче: — Этой ночью никто больше никуда не пойдет!

И снова воцарилась тишина, пока люди молча разбредались по уголкам залы.

Вскоре появился Мартин и начал разводить людей по комнатам гостиницы:

— Слишком много народа, чтобы гостиная вместила всех, хотя, когда такой ветер, может, нам и вправду будет теплее вместе.

Люди подбирали тот жалкий скарб, что успели спасти из рухнувших домов, и расходились по комнатам, чтобы провести пару-другую часов в беспокойном сне. Увидев тело Матта Бочкаря, Мартин приказал двоим отнести его в холодный погреб.

— В холодный погреб? — рассмеялся один из них, услышав распоряжение. — А мы сейчас где?

Следующим утром снова проглянуло солнце, а ветер почти стих. Часов в десять он поменял направление и начал дуть с юга.

— Хоть немножко подтает, мастер Мартин, — обратился к трактирщику Сэмми Брадобрей.

Мартин согласно кивнул, и вскоре пары спасателей разбрелись по городу. Они пытались проникнуть в занесенные ночью дома, чьи крыши, согретые солнцем и теплым ветром, начали показываться из глубоких сугробов.

Однако этот день выдался не таким удачным, как предыдущий. Лишь трое пережили жуткую бурю. К наступлению ночи у стен гостиницы скопилось больше трупов, чем внутри — живых людей. В живых осталось семьдесят два человека, трупов было восемьдесят — и почти половина Вортинга пропала без вести.

Тяжкая дневная работа сказалась на всех. Слез было меньше, зато прибавилось поводов для горя. Выжившие бродили из комнаты в комнату, садились на кровати, что-то говорили, что-то спрашивали — но та груда тел, уложенных ровными рядами, незримо присутствовала повсюду. Размеры бедствия, постигшего город, стерли грань между личным и общественным горем. Из трехсот жителей Вортинга осталось всего семьдесят два человека. Мало надежды найти остальных. Мало надежды, что выживут все из спасенных, ибо дети, проведшие день и ночь на морозе, заходились от кашля. Родители либо беспомощно смотрели на малышей, либо сами метались в лихорадке.

Сэмми Брадобрей помогал Мартину и его жене на кухне. Он лениво помешивал суп, что-то насвистывая. Когда похлебка закипела, он снял ее с огня и отставил в сторону поостыть.

— Одно утешает, — произнес Сэмми, ни к кому конкретно не обращаясь. — С едой теперь проблем не будет. Запасов хватит, чтобы прокормиться до конца зимы, и еще останется.

Жена Мартина смерила его холодным взглядом и вернулась к рубке мяса. Наполняя кувшин элем из громадного бочонка, Мартин Трактирщик хмуро проворчал:

— Да, только учти, что, когда придет весна, придется возделывать поля, а рук на все не хватит. Не хватит их и для того, чтобы убрать осенью урожай. Тем, кто провел всю жизнь в городе, придется вернуться в поля или умереть от голода.

— Но только не тебе, — заметил Сэмми Брадобрей. — Тебя-то гостиница прокормит.

— Гостиница? — переспросил Мартин. — Какой от нее толк, если некому будет ночевать в ней? Да и кормить постояльцев будет нечем...

Когда они несли в гостиную суп, навстречу им попался мужчина, выносящий на улицу труп только что скончавшейся женщины. Мартин и Сэмми посторонились, пропуская его.

— Что, никто ему помочь не мог? — поинтересовался Мартин.

— Он не позволил, — тихо ответила какая-то женщина.

Но скоро все забыли о случившемся, и котел с похлебкой обступила толпа народа. Сэмми, Мартин и его жена разливали суп по мискам. Пищи было более чем достаточно, поэтому многие женщины и дети по два раза подходили за добавкой, тогда как мужчины больше внимания уделили бочонку, утверждая, что эль согревает куда лучше, чем жидкое варево из котла.

Мартин, управляющийся с краником бочонка, вдруг почувствовал, как кто-то потянул его за рукав.

— В очередь вставай, у меня две руки, а не четыре, — сказал он, но ответил ему тонкий детский голосок.

— Папа, — окликнул Амос.

— Ты почему вылез из постели? — Мартин мгновенно забыл о бочонке и повернулся к сыну. Любители эля не зевали, а лишь успевали подставлять под струю пива свои кружки. — Немедленно возвращайся в кровать, — приказал Мартин. — Ты что, умереть хочешь?

Амос лишь слабо покачал головой:

— Пап, я не могу.

— Тогда я отнесу тебя, — ответил Мартин, подхватывая мальчика на руки. — Хорошо, что ты пошел на поправку, но все равно ты должен оставаться в кровати.

— Но, папа, Джон Медник вернулся.

Мартин резко остановился и поставил сына на пол.

— А ты откуда знаешь? — спросил он.

— Ты что, сам не видишь его? — ответил Амос и кивнул в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. Привалившись плечом к стене, на голову возвышаясь над толпой, там стоял Джон Медник. Некоторые уже заметили его и, что-то бормоча под нос, расходились в стороны.

— Он вернулся, чтобы спасти нас, — прошептал Амос.

И в этот момент толпа затихла, собравшиеся в комнате люди наконец увидели медника. Все разом отшатнулись, когда он вдруг сделал шаг вперед и упал на колени. Подбородок его был покрыт коркой льда, образовавшейся на четырехдневной щетине, а руки бессильно свисали по бокам. Казалось, он совершенно разучился ходить, ибо ноги не слушались его. Ни на кого не глядя, он неловко поднялся и нетвердой походкой двинулся вперед. Толпа расступилась, пропуская его в центр комнаты. Добравшись туда, он остановился, шатаясь, как пьяный.

Бормотание толпы усилилось, как вдруг по лестнице со второго этажа спустился мужчина, чья жена только что умерла.

Он прошел по коридору, который проложил Джон в толпе, и остановился прямо перед медником. Так они и стояли лицом к лицу, пока не стих последний шепот.

— Если бы ты был здесь, — тихо молвил мужчина, — Инна бы выжила.

После долгого молчания медник медленно кивнул. Черты лица мужчины исказились, плечи его затряслись, и прямо на глазах у всех он разрыдался. Затем он поднял руку и ударил Джона по щеке. Никто не сказал ни слова, лишь Амос, съежившийся в углу комнаты, шумно втянул воздух при виде подобной несправедливости.

Мужчина снова поднял руку и еще раз ударил медника. Люди, стоявшие рядом, придвинулись ближе. Он бил снова и снова, пока Джон не осел на колени.

— Папа, ты что, не остановишь его? — прошептал Амос. Мартин не отрываясь смотрел на человека, стоявшего посредине комнаты. — Папа, останови же его, они же убьют Джона!

Потерявший жену мужчина отступил на шаг от стоящего перед ним на коленях Джона Медника. Чуть нагнувшись, он изо всех сил ударил башмаком ему в лицо. Медник отлетел назад и распростерся на полу.

— Колдун! — вскричал мучитель. — Колдун! Колдун!

Толпа быстро подхватила крик, люди еще теснее сгрудились вокруг лежащего медника. *Кол-дун. Кол-дун. Кол-дун.* Медник перекатился на бок и с трудом поднялся на колени — лицо в крови, нос был разбит, один глаз совершенно заплыл, а кожа под ним приобрела коричневый оттенок. Но другой, уцелевший глаз в упор смотрел на нападавшего. И тот не выдержал молчаливого укора и отступил. Джон перевел взгляд на стоящего рядом, повернулся и голубой его

глаз воззрился на стоящих в первых рядах. Крики стихли, и в наступившей тишине Джон Медник снова попытался подняться на ноги.

Он попробовал было встать одним резким рывком, но потерял равновесие и вынужден был опереться об пол негнущейся рукой, чтобы не упасть. Он повторил попытку, и снова ноги не удержали его. Он попробовал опереться на другую ногу. Опять неудачно. Только на этот раз он бессильно повалился на бок, содрогаясь всем телом и глядя широко раскрытым глазом в пространство.

Какое-то мгновение толпа не двигалась, похожая на стаю стервятников, убеждающихся, действительно ли намеченная жертва мертва. Затем несколько человек шагнули к судорожно вздрагивающему на полу меднику. В полном молчании они начали избивать его ногами. Били до тех пор, пока не умаялись. Тогда они отошли в сторону, и их место заняли другие. Медник не издал ни звука.

Наконец толпа разделилась — многие покинули залу, кое-кто сгрудился у камина, а другие направились к бочонку, на дне которого еще плескался эль. Тело Джона Медника осталось лежать посредине комнаты. Его череп был размозжен, кожа во многих местах содрана до мяса, а из ран натекла громадная лужа крови. От тела во все стороны расходились кровавые следы, принадлежащие тем, кто ступил в лужу, и стирающиеся на некотором расстоянии от трупа. Лицо медника уже нельзя было назвать лицом, глаза перестали быть глазами, губы — губами, а изломанные и истерзанные руки раскинулись по полу подобно корням дерева.

Спустя некоторое время Мартин Трактирщик наконец нашел в себе силы отвести глаза от тела брата и взглянуть на сына. Амос ответил бесстрастным взором. Лишь глаза его светились тем же голубым цветом, что и глаза медника — глаза холодные, всепонимающие. Мартин почувствовал горечь и стыд, словно прочитал свой приговор, — и опустил

взгляд. Он так и смотрел в пол, пока не подошла мать мальчика и не увела Амоса в спальню.

После этого Мартин вынес тело брата на улицу и провел всю ночь, отдраивая кровь с половиц, уничтожая все следы расправы. Утром пол сиял свежей белизной.

Оставшиеся в живых жители Истинного города, города Вортинга, жили в гостинице до самой весны, пока не наступила оттепель. Погода переменилась неожиданно резко, и наступили сухие и жаркие дни. Когда снег стаял, люди потянулись к рухнувшим домам, но вскоре обнаружили, что, прежде чем браться за что-либо, надо разрешить куда более неотложную проблему. Тела, сваленные на площади, начали разлагаться.

Земля все еще не освободилась от ледяных оков, поэтому трупы просто полили лампадным маслом и подожгли. Вонь стояла невообразимая, погребальный костер пылал несколько дней, хотя жители беспрестанно подбрасывали поленья, чтобы он прогорал быстрее. Однако, вернувшись в дома, люди обнаружили там тела тех, кто потерялся зимой. Их также бросили в огонь. Наконец все трупы в городе были сожжены. Та же участь ожидала бы и тело Джона Медника, если бы птицы, прилетавшие зимой к человеческим останкам, не склевали с него все мясо. От медника остались одни кости, которые потихоньку собрал и унес Амос. Когда же земля растаяла, он похоронил их, никак не обозначив могилку.

Заново город отстраивать не стали; домов, в которых можно было жить, осталось очень немного, но их вполне хватило, чтобы вместить переживших зиму. Вместо этого все люди сначала возделывали поля, затем засеивали их, после чего пропалывали. Лишь вечерами иные из них продолжали заниматься любимым ремеслом. Хотя некоторые слегка пострадали, решившись подвергнуться опытам брившего при свете свечи Сэмми Брадобрея, а бочонки, выхо-

дившие из-под слабых и неопытных рук Калинна Бочкаря, практически все протекали.

Большинство людей предпочитали жить как можно дальше от центра города, и когда им все-таки приходилось появляться на площади, они старались стороной обходить место погребального костра. Пепел и головешки так и лежали, пока весенние ветры и дожди не смыли все без остатка.

Время от времени та или иная семья грузила телегу и отбывала то в сторону Линкири, то в противоположный край, к Хаксу. К лету в Вортинге осталось всего лишь сорок человек, да и те исхудали до невозможности. Горе и скорбь несмываемым клеймом запечатлелись на их душах и лицах. Ни разу не прозвучало веселой песни в гостиной Постоялого Двора Вортинга.

Однажды, вернувшись с поля, Мартин Трактирщик обнаружил, что его сын Амос куда-то запропастился. Мальчик, как и все остальные дети в Вортинге, уже разучился смеяться и по вечерам больше не играл на улице. Мартин и его жена обыскали все комнаты в гостинице, вышли во двор — сына нигде не было. Так они и бегали по округе, пока Мартин наконец не догадался заглянуть в южную башню. Доски, которыми он прибил крышку люка, были оторваны все до единой.

Он поднялся по лестнице и поднял крышку. Окна в комнате были распахнуты, и в них виднелись бесконечные просторы леса. Он обнаружил сына стоящим у западного окна. Мальчик смотрел на садящееся за Гору Вод солнце. Мартин не промолвил ни слова, но спустя некоторое время Амос сам повернулся к нему и сказал:

— С сегодняшнего дня я буду спать в этой комнате.

Мартин Трактирщик безмолвно покинул башню.

Послесловие

МАЙКЛ Р. КОЛЛИНГС

О мирах Вортинга впервые услышали в октябре 1978 года, когда журнал «Аналог» опубликовал рассказ Орсона Скотта Карда «Петля жизни». В течение четырех последующих месяцев было опубликовано еще четыре истории из жизни Капитолия — «Убивая детей», «Тысяча смертей», «Второй шанс» и «Конец игры»... Истории, ставшие основой для первого сборника рассказов Карда «Капитолий».

В «Капитолий» вошло одиннадцать рассказов, предлагающих читателю ту панораму будущего, которая впоследствии станет фирменным знаком Карда и воплотится в «Жарком сне», романе, также основанном на сюжетах о Капитолии, но предлагающем новые фрагменты истории этой вселенной.

В сборнике речь ведется о социальных последствиях иллюзорного бессмертия, даруемого наркотиком сомеком, и человеческом сообществе будущего, распространяющемся по новым мирам. Сомек позволяет совершать дальние космические полеты, но одновременно искушает людей забыть о моральных, духовных и этических ценностях. «Капитолий» описывает историю сомека от начала и до конца; наркотик со своим искусственным бессмертием уничтожает человеческое общество, возводит стены между людьми и приводит в конце концов к тому, что они практически перестают общаться друг с другом, скача по реке времени подобно камешкам-«блинчикам».

В «Жарком сне» Кард сосредоточивает основное внимание на стремлении Абнера Дуна изменить устоявшийся порядок. Впервые Дун появляется в «Капитолии», но там даны лишь отдельные фрагменты его жизни. В «Жарком сне» Абнер Дун и его протеже Язон Вортинг становятся центральными действующими лицами. Дун принуждает Вортинга стать капитаном космического корабля-колонии, несущего в себе три сотни наиболее достойных представителей Империи в самое сердце Галактики. Но в результате несчастного случая сомеккассеты, содержащие записи разума колонистов, гибнут, и Вортингу приходится принять на себя роль псевдобога, пробуждая и обучая взрослых младенцев. Во второй половине романа Кард полностью порывает с Капитолием и концентрируется на развитии изолированного мирка Язона Вортинга.

Здесь, однако, видение Карда простирается далеко за пределы романа. В последних главах Вортинг топит свой космический корабль в океане и приказывает компьютеру разбудить его, когда судно будет обнаружено людьми — предполагается, что если «дети» Вортинга смогут справиться с такой нелегкой задачей, как освоение океана, то они готовы будут понять сомек и существование Вортинга. Язон надеется, что боль и страдание, которые перенесут его люди, приведут к великому добру, и роман завершается на оптимистической ноте.

Но на этом дело не закончилось. В 1983 году появляются «Хроники Вортинга», и в предисловии к книге пишется, что отдельные ее части «были использованы в книгах автора «Капитолий» и "Жаркий сон"». Комментарий к роману обращал внимание читателя на то, что «Хроники Вортинга» — это не просто продолжение, но переосмысление миров Вортинга, простирающееся на пятнадцать тысяч лет в будущее. Читателя ожидала новая встреча с проснувшимся Язоном Вортингом и последней частью его плана.

«Хроники Вортинга» — не просто отдельные части, изъятые из «Капитолия» и «Жаркого сна» и перемешанные друг с другом. Кард ужал и полностью переработал предыдущие истории; к примеру, целый рассказ из «Капитолия» мог теперь умещаться в одном абзаце. Акценты сместились — значение придавалось не истории конкретного индивида, а истории вообще.

Чтобы как следует понять Карда, необходимо постоянно помнить о его преданности Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней и влиянии «Книги Мормона» на него как на человека и писателя. «Книга Мормона» — одно из четырех писаний, принятых приверженцами этой религии. Ее отличает неразрывная целостность повествования. Это было особенно важно для Карда, который не раз читал и перечитывал ее в детстве. Было бы странно, если бы она не повлияла на стиль и облик его работ. В интервью, данном научно-фантастическому журналу «На переднем краю», издаваемому студентами Университета Бриэма Янга, Кард сказал, что одними из любимейших его авторов являются Рэй Брэдбери, Стивен Р. Дональдсон, Дж. Р.Р. Толкин и К.С. Льюис, но все же наибольшее влияние на него оказал Джозеф Смит. Язык «Книги Мормона», говорит Кард, вкупе с двумя другими писаниями, «Учениями и Заветами» и «Драгоценной жемчужиной», «оказали на меня такое воздействие, что язык их и поведанные в них истории так или иначе присутствуют во всем, что я пишу, и во всем, что я есть».

Последний летописец «Книги Мормона», Морони, отзывается о самом писании как о подведении итогов предыдущих хроник. С самого начала и до конца читателя не оставляет впечатление, что история, рассказанная в «Книге Мормона», тщательнейшим образом составлена, вымерена и ужата до предела, чтобы полностью исследовать эволюцию моральных и духовных ценностей человечества. В результате было создано нечто наподобие книжных «амери-

канских горок»: нации существуют в мире, праведности и процветании, затем их охватывает гордыня, они впадают в грех, начинают разрушать все и вся и, только заново открыв для себя законы праведности, восстают из пепла. Каждый эпизод очень краток и направлен на освещение чего-то одного, здесь ведется речь не о человеке, а о жизни, которую он прожил. Даже самые важные персонажи весьма абстрактны, их жизни служат лишь мотивом для создания панорамы истины.

Как фантастический роман «Хроники Вортинга» преследуют ту же цель. Ранние истории были ужаты до такого состояния, что некоторые, это, в частности, относится к циклу «Лес Вод», практически исчезли. «Ферма Вортинга» и «Постоялый Двор Вортинга», первые два рассказа из данного цикла, были включены в главу под названием «Ферма Вортинга»; их внутренняя структура настолько изменилась, что они уже не воспринимаются как отдельные повествования. В романе больший упор делается на засуху, нежели на глаза и проклятие Вортинга. И только «Медник» сохранился практически в первозданном виде. Версия рассказа, содержащаяся в этой книге, была впервые опубликована в журнале «Вечность НФ» в 1980 году; поскольку «Медник» неоднократно перерабатывался, сейчас он обладает более целостной структурой, нежели «Ферма Вортинга» и «Постоялый Двор Вортинга». Этот рассказ вобрал в себя все основные черты творчества Карда, как, впрочем, и повесть «Игра Эндера», появившаяся в 1977 году. Основная проблема, поднятая в рассказе, состоит в том, что индивид, обладающий каким-то весьма специфическим талантом-даром, должен нести ответственность за благополучие общества, неспособного даже понять природу своего спасителя. Практически все персонажи Карда так или иначе соответствуют данному типажу: Ланик Муэллер из «Планеты по имени Предательство», Анссет из «Повелителя песен», Пэйшнс в романе «Вирмы», Пастырь в рассказе «Королевское мясо».

И конечно, нельзя не упомянуть основных двух героев Карда — Эндера Виггина из цикла «Игра Эндера» и «Голос Тех, Кого Нет» и Элвина Миллера-младшего из серии «Истории Элвина-Создателя». Однако в отличие от остальных работ «Медник» весьма трагичен. Спаситель принесен в жертву, что влечет за собой еще больше смертей и страданий, которые только в далеком будущем смогут переродиться в великую надежду. Джон Медник — один из христианских персонажей Карда, хотя и не самый удачный. Его функции ограничены, сжаты, но тем не менее важны. Может быть, именно поэтому «Хроники Вортинга» практически целиком сохранили его историю, тогда как от «Фермы Вортинга» и «Постоялого Двора Вортинга» практически ничего не осталось.

В главе с соответствующим названием «Зимние сказки» Кард воссоздает канву истории Джона Медника. Девочка Сала извлекла это сказание из воспоминаний Юстиции, дальнего потомка Язона Вортинга и, по сюжету романа, полубогини. Повествование во многом лишилось описательной силы, но только потому, что должно было соответствовать словарному запасу и строю речи маленькой девочки, которая сама не уверена в точности переложения истории.

В то же самое время Сала дает весьма интересные намеки на то, как следует толковать рассказ. Джон Медник убит потому, говорит она, что людям Вортинга «не нужен был бог, который не мог уберечь их от всех напастей на свете». Смысл написания Кардом «Медника» становится значительно яснее, когда история излагается устами ребенка. Ужатие рассказа до нескольких абзацев подчеркивает христианскую суть страданий и смерти — точно так же Морони в «Книге Мормона», сокращая ранние хроники, выводит на первый план трансформацию духа. Как отдельное произведение этот рассказ исполнен чувств, проникнут идеями альтруизма и человечности, но, становясь частью большего повествования, эта история

приобретает одновременно и более узкий, и более широкий смысл, как это парадоксально ни звучит. Она теряет силу отдельного законченного рассказа, зато становится ключом к морали всего произведения.

Однако публикация в данном издании «Фермы Вортинга», «Постоялого Двора Вортинга» и «Медника» преследует несколько иные цели, нежели простое восполнение недосказанного когда-то Кардом. Эти рассказы призваны продемонстрировать многослойность произведений Карда. Как эпизоды отдельного романа «Хроники Вортинга» они подчеркивают умение писателя подчинить себе сюжет и заставить повествование служить каким-то конкретным целям. Здесь же можно заметить тень «Книги Мормона», ведь рассказы эти являются, по существу, оригинальными документами, вплетенными Кардом в паутину миров Вортинга. Иной взгляд на вещи, особое прочувствование на призвания и цели, алмазная огранка персонажей и, самое важное, акцент на морали ответственности — все это демонстрирует, насколько близко мировоззрение Карда к мировоззрению творцов «Книги Мормона». Рассказ захватывает сам по себе, однако притягательность его кроется не только в сюжете, но и в самой — реальной или выдуманной — сути повествования. В руках Карда история становится силой, персонажи обретают особую значимость, и таким образом рассказчик достигает уровня поэта-проповедника, неся Истину посредством иллюзии вымысла.

Тысяча Дубов, Калифорния
январь 1989 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Хроники Вортинга 13
Капитолий 373
Сказания Леса Вод 547

По вопросам оптовой покупки книг
издательства АСТ обращаться по адресу:
Звездный бульвар, дом 21, 7-й этаж
Тел. 215-43-38, 215-01-01, 215-55-13

Книги издательства АСТ можно заказать по адресу:
107140, Москва, а/я 140, АСТ – «Книги по почте»

Исключительные права на публикацию книги
на русском языке принадлежат издательству АСТ.
Любое использование материала данной книги,
полностью или частично, без разрешения
правообладателя запрещается.

Литературно-художественное издание

Кард Орсон Скотт
Сага о Вортинге

Фантастические романы

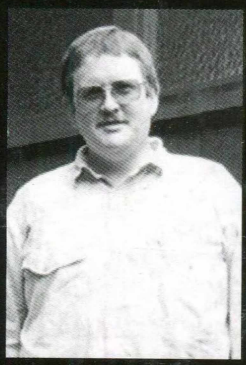
Редактор Д.Г. Селиверстова
Художественный редактор О.Н. Адаскина
Компьютерный дизайн: А.С. Сергеев
Технический редактор О.В. Панкрашина

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Гигиеническое заключение
№ 77.99.11.953.П.002870.10.01 от 25.10.2001 г.

ООО «Издательство АСТ»
368560, Республика Дагестан, Каякентский район,
с. Новокаякент, ул. Новая, д. 20
Наши электронные адреса:
WWW.AST.RU
E-mail: astpub@aha.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии издательства
"Самарский Дом печати"
443086, г. Самара, пр. К. Маркса, 201.
Качество печати соответствует предоставленным диапозитивам



Орсон Скотт Кард — одно из самых ярких имен в современной научной фантастике. Произведения этого писателя удостоены высочайших премий — «Хьюго», «Небьюла», «Локус», однако главное не это. Мерой таланта Орсона Скотта Карда, резко выделяющего его творения даже среди лучших «военно-космических» романов, выступает неподдельная оригинальность его сюжетов и откровенная, мощная эмоциональность.

Этот автор не оставит равнодушным ни одного читателя.

Прочитайте — и проверьте сами!!!

Это — хроники времени, когда наука подарила людям бессмертие — и дар бесконечной жизни оказался проклятием. Потому что жизнь без риска, без опасности, без конца — суть жизнь, лишенная смысла.

Это — хроники времени, когда человечество лишилось будущего — казалось бы, навсегда. Однако в мир пришел НОВЫЙ ЛИДЕР. Лидер, готовый принести человечеству НОВЫЙ СМЫСЛ ЖИЗНИ. Лидер, готовый повести легионы завоевателей Вселенной — вперед, к неизведанным и еще не покоренным звездным рубежам.

Так начинается сага о войне, мужестве и героизме.

Так начинается «Сага о Вортинге»...



ISBN 5-17-015138-1



ОРСОН СКОТТ КАРД

САГА О ВОРТИНГЕ